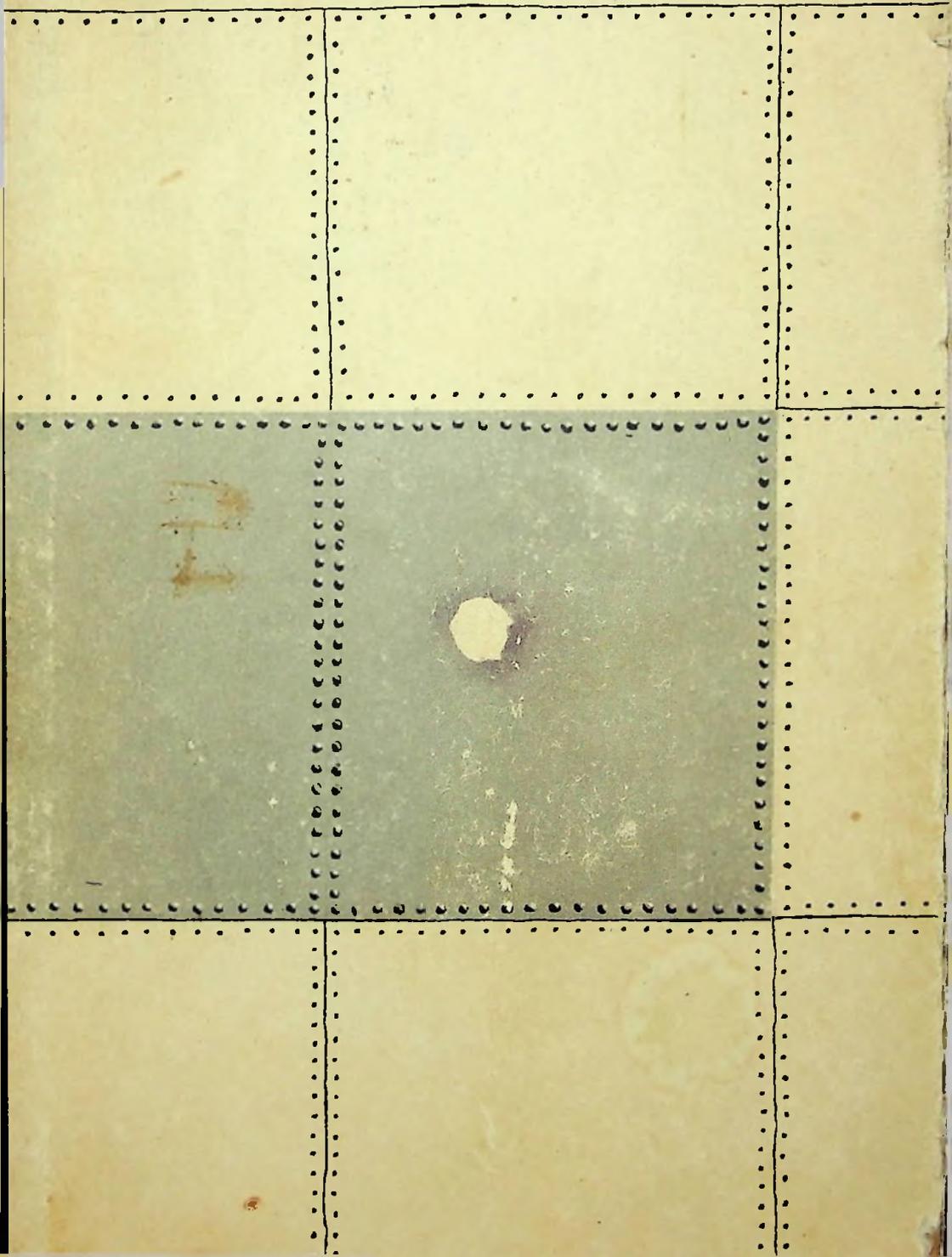


7м. 4 (7м)

0 88

Ян Отченашек

Хромой Орфей





JAN OTČENÁŠEK

Kulhavý Orfeus

PRAHA

1964

ЯН ОТЧЕНАШЕК

Хромой Орфей

РОМАН



Издательство ЦК ВЛКСМ
„Молодая гвардия“
Москва

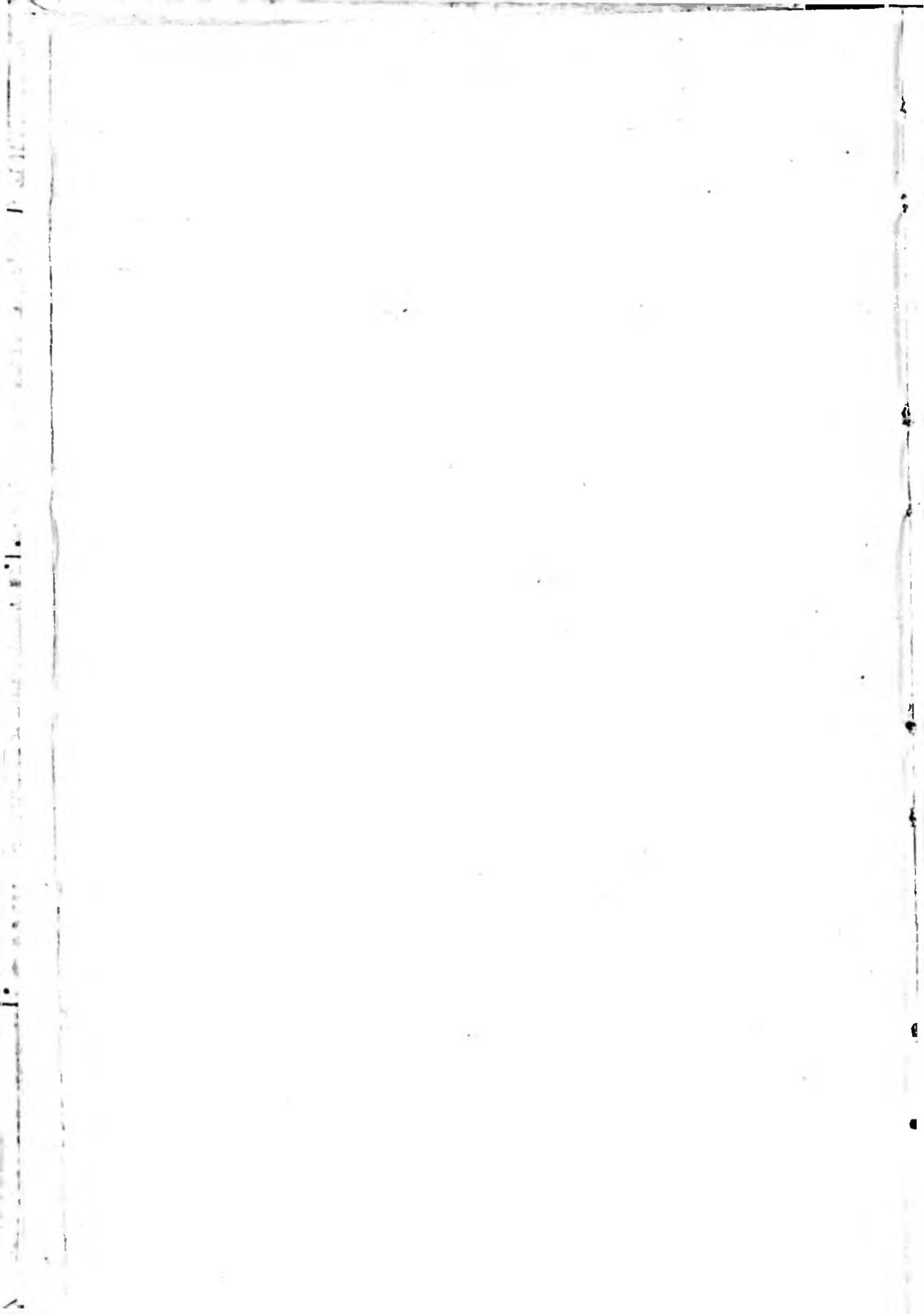
1967

И(Чехосл)
0—88

Перевод с чешского Т. АКСЕЛЬ,
Н. АРОСЕВОЙ и Д. ГОРБОВА
Редактор Б. ШУПЛЕЦОВ
Художник В. ЧУМАКОВ

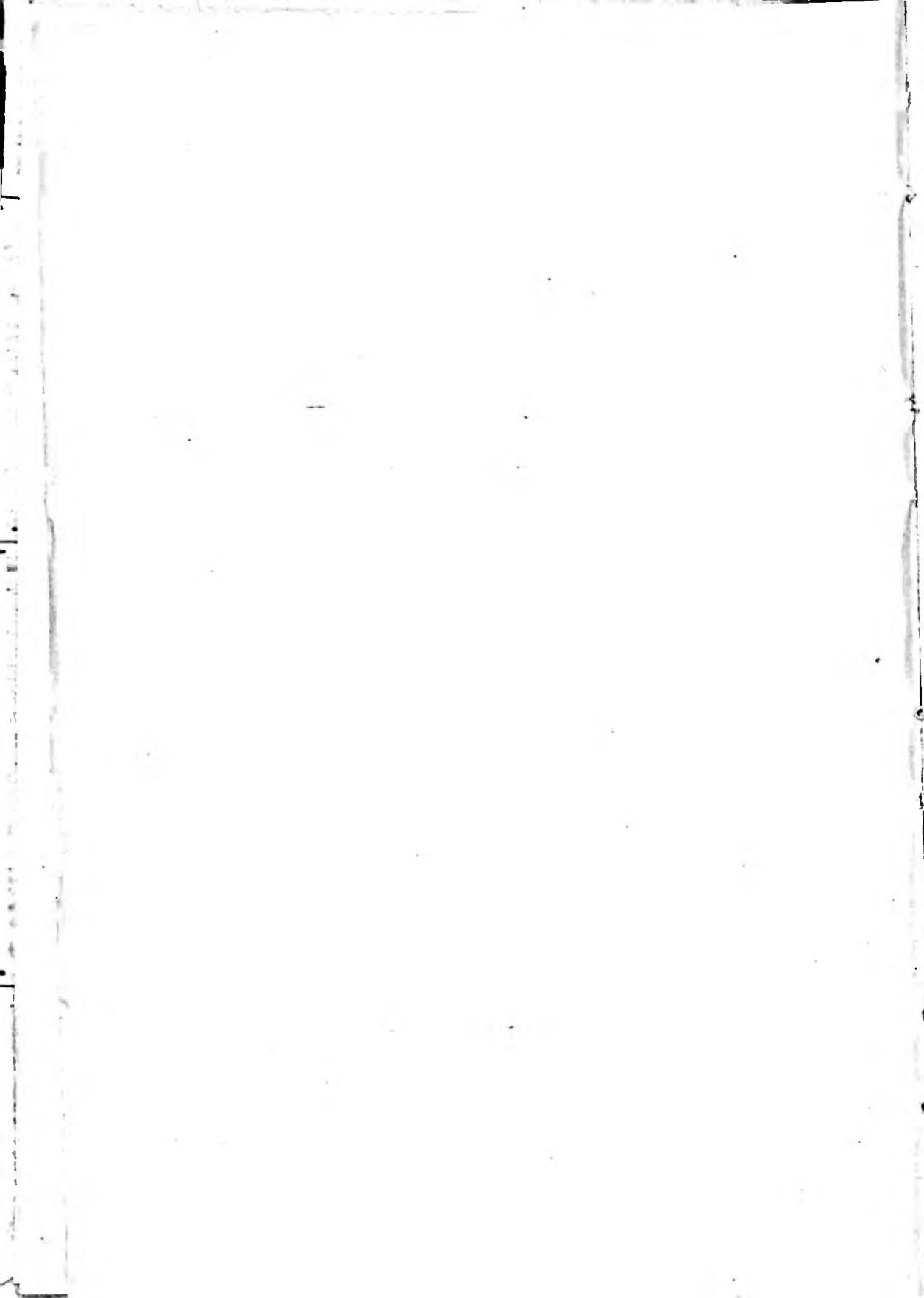
...я человек, Юпитер, а каждый человек обязан найти свой путь.

Жан-Поль Сартр





Часть первая



...Все было знакомо — сад, забор с поломанным штакетником, старое грушевое дерево — рисунок тушью по низкому горизонту; под деревом старик ковыряет лопатой землю, а выпрямился — оказывается, это учитель химии в поношенном сатиновом халате с карманом, который оттопыривает захватанный блокнот. Вот он ткнул пальцем в воздух. Ошиблись, пан учитель! Сегодня нет опроса. Вы лентяй, садитесь! Заметил, как за спиной химика дурачится Итка, передает что-то условной азбукой на пальцах, а он никак ее не поймет. Побежал за ней по мокрому лугу, догнал уже в лесу, под триангуляционной вышкой; она ловко взбирается по подгнившим перекладинам — вверх, вверх, в облака! Над вершинами сосен — вольный простор, ветер гуляет, скрипит деревянная вышка, а они сидят рядышком, болтают ногами над пропастью. Откуда вы взялись, Манон? Ведь вы должны быть в рейхе, Эшбах в Саксонии... Пришла ко мне открытка с безобразной площадью. Жива ли ты? Отчего это, Манон, я, хотя мне всего шестнадцать лет... О кавалер де Грие, ваша Манон теперь повязывает голову платочком, а ладони у нее как терка... Засмеялись. Голоса отдаются будто под сводом, с ними смешивается металлический лязг контрольных часов...

...Подбадривающий пинок входит совсем из другого мира, он мягок, но реален, все исчезает, и Гонза начинает соображать: над ним стоит дед, хрипит астматическими легкими. Март — на печку марш! Спать! Еще минутку! Пока досчитаю до ста, ну хоть до шестидесяти! Что такое минута в сравнении с вечностью? Отвяжись, весь мир, не хочу тебя видеть! Подтянуть коленки к животу, зарыться носом в расслабляющее тепло и считать... На чем он остановился? Манон — мотылек... Эшбах в Саксонии, надо написать ей, в сотый раз говорит он себе...

Гонза очнулся. Как пьяный шатается он между стулом и смятой постелью на кушетке, зевает, стучит зубами, вырванный из сна, раздавленный усталостью, совершенно лишний на свете — так и захныкал бы, как мальчишка, только подумать о двенадцати медленно ползущих часах, ожидающих его впереди, об этой смрадной бесконечности для существа, называемого «тотальник».

— А не шляйся по ночам... — доносится воркотня из угла, где стоит сундук; воркотню покрывает шипение спиртовки.

Гм... Легко деду ворчать. А что я такого сделал? Выплыло в памяти ламентозо для кларнета Эллингтона — вчера слышал его у Коблицев пять раз подряд, смутные обрывки соединились, звучали ясные, синие.

Постарел, одряхлел дед! Гонза помнит, как дед еще шагал по мостовой виноградских улиц бойкий, словно подросток. Старик гордился своей профессией, в ней было нечто возвышенное — прямо ангел-провозвестник в форме почтальона! — и хвастал неутомимостью своих ног. Шаги, ступени, звонки, лица! Тысячи лиц. Дни. Недели. Годы. До недавних пор дед — богатырь, участник одиссеи чехословацкого легиона, умел горячить фантазию внука сочным изображением сибирского похода. Четыре военных года пообщипали то, во что дед некогда так трогательно верил; человечество ополоумело, мир стал другим, непонятным, события его собственной жизни казались уже ничтожными. И война эта была другой: жестче, шире, но — лишенной поэзии. Она была ему не по душе. Не его это война. Оскорбленный, дед перестал интересоваться чем бы то ни было, замкнулся в себе. С чувством обиды отложил сумку почтальона, влез в шлепанцы пенсионера и занял командный пост на сундуке возле печки.

И сидит там целыми днями, караулит изнемогающий огонь, а утомленная память крутит рваный, мелькающий фильм без сюжета, без конца. В нем ступени, тысячи ступеней, звонки, тысячи звонков, он нажимает на кнопки, и звонки ясно звенят в глубине квартир, и еще — дощечки на дверях, фамилии, фамилии, двери и еще двери... Никто не открывает, и он бредет по лестницам дальше, с выносливостью шахтерской лошади, тащит свою набитую сумку, а ноги слабеют. Все теперь плохо, все насковзь изолгалось, потеряло цену. Кроме его корок... Старик предсказывает голод. Вероятно, в усталом мозгу проносятся апокалиптические видения: не люди — скелеты бросаются друг на друга из-за куска заплесневелого хлеба. Кто тогда сжалится над бедным стариком? Он не хочет подышать как собака, значит надо собирать корки. Он предусмотрителен, он знает — сухари долго хранятся, не портятся. И он украдкой собирает их, тщательно сушит, ворует в кладовке ломти хлеба, с хитрым видом потирает сухие ладони. У него много тайников. Недавно мать обнаружила у него под кроватью мешочек с хрустким содержимым, и в других местах находили его тайные склады. Гонза с мамой молчали об этом — старческая привязанность к жизни была гротескной, но будила жалость.

Гонза встал из-за стола, подхватил свой потертый портфель; он брал его на завод скорее по привычке, в портфеле лежала только книжка да стопка бумаги. На листках он записывал мысли, мелькавшие иногда в его усталой голове.

Мамина железнодорожная шинель висела у двери. Она походила на висельника и была ему противна уже тем, что доставала чуть ли не до пят, делала мать бесформенно-толстой. В шинели мать возвращалась из долгих поездок в промерзших вагонах, возвращалась с горь-

кими складочками у рта, с глазами, погасшими от усталости; она забиралась в постель и впадала в беспокойный сон, в котором протяжно гудели поезда. Когда они в последний раз говорили с мамой по-человечески? Давненько, пожалуй! Так только, встречаемся в дверях, и нечего нам сказать друг другу. Привет, мама! Привет, Енка! — так она всегда его называет. Бедная мама! А все же и ей отпущены минутки цветенья, пусть ложного. Одно время у нее был служащий страховой кассы, с рыхлым лицом, с оспинами на лбу и трясущимися руками. Ох, этот геморроидный тип! Потом он перестал ходить, надежда угасла, осталось только воспоминание о его тонких дрожащих руках. А потом за нашим столом появился этот верзила в незастегнутом железнодорожном кителе — теперь мать встречается с ним. И спит. Наверняка. Может, он и добрый человек. Каждый раз он тяжело опускается на один и тот же стул, вешает свою форменную фуражку на один и тот же крючок и выкладывает костлявые кулаки на одно и то же место на столе. И упрямо молчит. В лучшем случае односложно буркнет в ответ на мамины вопросы. Ужасно много ест. Просто жрет. Глотает без разбору все, что мама ни подсунет ему под нос, противно чавкает, потом вытирает синий подбородок тыльной стороной ладони — и следит за мамой мохнатым взглядом. И так каждый раз — до отвращения одинаково, — в этом чувствуется ритм отхода и прихода поездов, подчинивший себе, видно, этот медлительный мозг. Тьфу! Гонза ненавидит этот терпеливый взгляд полуживотного, которое набило себе брюхо и теперь хочет утолить голод другого рода. И это мама? Гонза страдал, наблюдая, как она суетится перед гостем, покрываясь девичьим румянцем, внезапно расцветшая и преображенная. Подождете, мысленно обращается он к ним в немой ярости, дайте мне хоть доесть, хоть помучаю вас немного перед тем, как смотаться, — вижу, вижу, с каким нетерпением вы этого ждете! И Гонза многозначительно хлопает дверью, бежит на улицы, придавленные темнотой, уносит туда свою ненависть, чувство тоскливой брезгливости, ощущение измены. Измены — чему, спрашивается? Ухажеры матери отравили мне мысли о доме. А был ли он у меня вообще когда-нибудь? Неужели дом — это та сомнительная ночлежка, куда приходят сложить свою усталость, где несет холодом, где бродят непереваренные сны? Гонза призывает на помощь разум, но и разумом не отогнать назойливое воображение. Дурак, одергивает он рассудок, в прошлом месяце тебе исполнилось двадцать, в чем ты ее упрекаешь? Собственно, ни в чем. Она только хочет жить, наконец-то жить, урвать хоть крошку... У нее на это святое право после унижительных, жестоких лет, по которым она влачила долю незамужней матери, брошенной негодяем в тот самый момент, когда ей больше всего нужна была его помощь. А тут еще ублюдок, то есть я. Она из кожи лезла, чтоб учить меня в гимназии. Подлец папочка, порой с отвращением думает Гонза. Где-то он бродит? Если б встретил — с лестницы спустил бы! Спасибо, сказал бы ему, спасибо за жизнь, но не стоило утруждать себя. Слишком дорого обошлось. Я знаю тебя только по выцветшей фотографии с обломанными уголками, но и этого довольно, чтобы с гадливостью признать, что я очень на тебя похож: тот же нос.

глаза, чуть-чуть припухшие губы. Совсем не красавец! Послушай, что она в тебе нашла? Тебе не приходит в голову: с какой радости торчишь ты у нее вечно перед глазами? Если б она меня возненавидела, я бы нисколько не удивился.

Он вздохнул свободнее на пронизывающем ветру, который мел улицу.

Без конца моросило, мартовский денек, пропитанный унылостью, неохотно выпутывался из тумана. Пение петухов производило дикое впечатление, но не удивляло. На четвертом году войны были свои секреты в квартирах, в деревянных сараях во дворах. По дому ходил слух, будто Кубаты выкормили гуся в клозете. Наказания за это чудовищно несоразмерны преступлению, но как ни странно, пока что в нашем квартале не нашлось доносчика. Опять петух! И еще раз! Гонза уже полюбил этого невидимого крикуна, который не соглашался молчать и молодецким кличем приветствовал каждый новый протекторатный день, хотя в любой из них мог печально кончить свою жизнь в супе с лапшой.

Спрятавшись за выступ витрины, Гонза ждал трамвая; в груди покалывало при вздохе, в желудке урчало от выпитой бурды. Зубы стучали. Несколько фигур бежало к островку остановки. Тени... Далекое дребезжание трамвая... Потом он увидел, как трамвай трудолюбиво взбирается в гору, скрипя несмазанными осями. Из промозглых сумерек медленно выплыла голубая махина. Ну, отлепись от стены, возьми штурмом забитый телами вход! Локтями пробейся хотя бы на площадку. А повезет — продерись к скамейке, втиснись между дремлющими.

Может, и она войдет в вагон. И случится что-то необычное.

Он лелеял в душе огонек сумасшедшей надежды, огонек этот светил ему в хмуром вагонном полумраке. Затхлое тепло тел; волглая одежда пахнет кислотой. Он едет, а с ним едут лица — измятые, изломанные усталостью, хмельные от недоброго сна, синеватые в тусклом рассветном свете — утопленники! Всплыли в памяти строки из какого-то стихотворения... Голова у старушки дергается резко — ну прямо курица, сейчас закудахчет, а парень рядом с ней — рыба: голова запрокинута, приоткрыт идиотский рот. Помер, что ли? Да нет. Вагон рванул, трогаясь с места, парень поднял отяжелевшую голову, озирается, моргая глазами, — точь-в-точь разбуженная сова. Записать бы все это, попытаться уловить подавленное настроение... Утра тысяча девятьсот сорок четвертого года! А зачем? Что, собственно, записывать? Эту тягомотину бессилия, это оглуляющее ожидание чего-то неизвестного, этот гнусный эрзац жизни — вроде искусственного меда, от которого жжет на языке и в желудке?

— Beim Blindfor! Слепые ворота! — кричит кондуктор.

Взгляд через чье-то плечо на сложенную пополам газету. Вермахт в упорных боях с большевистскими ордами имел полный успех, хотя и отошел на заранее подготовленные позиции... Ожесточенные бои под Витебском... Еще один пиратский налет на Берлин... Ничего нового,

самый обычный день, где-то далеко люди убивают друг друга, режут орудия, деревни пылают, как стога соломы — вчера показывали в киножурнале, — конвейер смерти, а тут скрипит трамвай, жалуется на недостаток смазки, газеты хвастают, что всюду покой и порядок. Здесь не стреляют, здесь только ждут. Ждут, цепенея. Попробуй пожалуйста, а тебе скажут: благодари судьбу, паренек, что не пришлось тебе с чемоданчиком в руке катиться в рейх, как большинству твоих принесенных в жертву сверстников рождения несчастного двадцать четвертого года. Повезло тебе: остался возле маминой юбки, и бомбы тебе на голову не сыплются, так что будь любезен, попридержи язык! Да знаю я все, только кто нам потом вернет эти годы? Или их будут выдавать по особым талонам? Я мог бы быть уже на втором курсе, мог бы... мало ли чего! Ах, чепуха...

Она вошла в вагон — и внутри у него что-то дрогнуло. Он готов был поклясться, что стало даже светлее.

Толпа, берущая с бою ступеньки вагона, внесла на площадку ее, затертую меж пальто и сумок. Шипящая перебранка, злобный звонок кондуктора. Освободите, черт возьми, вход! Сдавленную телами, ее кружило, как щепку в водовороте, в синеватом свете он узнал ее по волосам, они заблестели в лучах уличного фонаря, по лицу быстро пробежали свет и тень. Толпа притиснула ее к нему, и от волос ее, под самым его носом, запахло свежестью.

Он вдавился в угол, спиной к чугунной решетке, вытянул руки по швам и затаил дыхание. Вагон дернулся, набирая скорость, — ее бросило на него. Вот она полуобернулась, он на миг увидел ее профиль: высокий лоб, прямой нос и сжатые губы — полные, быть может, слишком полные губы, он прочитал по ним замкнутую гордость и самообладание — и ему стало страшно, как бы она не услышала бниения его сердца. От тела ее исходило какое-то приятное тихое тепло. Никогда она не бывала так близко к нему, он вдруг воспринял это как предзнаменование, пусть совсем невятное. «В твоём тепле, ах, как спалось бы мне...» — сквозь скрип и толчки вагона вынесла ему вдруг память стихи... Как там дальше?!

А что, если, пришла в голову сумасшедшая мысль, что, если приблизить губы к ее уху и шепнуть: «Слушай... это я... стою вот сзади. Ты меня знаешь?» Но Гонза был твердо уверен, что не посмеет, потому что никто не смеет ни с того ни с сего обращаться к человеку с такими задумчивыми карими глазами, в которых может отразиться недоумение. Что тебе надо? Кто ты такой? Лицо твое мне почему-то знакомо...

Тут он с испугом спохватился — трамвай тормозил у остановки напротив вокзала; он знал, что она сейчас выйдет, и ему вдруг стала невыносимой мысль, что она затеряется в утренней мгле, более того, что он с таким преступным легкомыслием упустит момент, который наверняка не повторится.

Он опомнился, когда уже потерял ее из виду.

Это было как приказ: за ней, болван!

К трамваю прихлынула толпа, люди лезли на площадку, штурмовали вход, забили его совсем. Эти мужики и толстые старухи притащились из деревень ночным пригородным поездом, они не выспались, извелись и ломились в трамвай со своими набитыми мешками и чемоданами, тяжело дыша от усталости; они счастливо избежали проверки, натерпелись страха и теперь теснили Гонзу назад, на площадку.

Он пробивал себе дорогу сильными рывками, ругался, работал локтями...

Ветер. Дождь облизал лицо.

Где она? Расплывающиеся тени мельтешили в предутренних сумерках у входа в вокзал.

Гонза вошел в зал и снова вышел в коридор, он наткался на людей, разглядывал проплывавшие мимо лица — ее нигде не было. Чемоданы, мешки, на сквозняке дремлют пассажиры, уронив головы на грудь — печальные пассажиры блуждающих поездов. А на заплеванном полу храпят солдаты вермахта, подложив ранцы под головы, разинув рты; эти ждут бог весть какого поезда, который отвезет их бог весть куда...

Унылый зал приветствовал его шумом, который прорезал нудный голос диктора.

Где она? Очередь с мучительной медлительностью ползла к окошку кассы. Гонзе пришлось встать в самый конец. Он с трудом переводил дыхание, кашляя простуженно. Эй-эй, куда без очереди? Впереди поднялся возмущенный гвалт. Очередь отгоняла взмыленного толстяка — ишь, хочет пробраться к окошку! Видали таких! Собака! Становись в очередь, как все! Людям на работу ехать! Надо вести себя по-человечески!

А вдруг не найду ее? Так мне и надо, я совсем одурел... Еще опоздаю на поезд, что тогда?

Обычно он ездил автобусом, что означало: час тряски в переполненной машине до конечной остановки — за это время тысячу раз можешь перечитать фамилии на вывесках всех магазинов вдоль дороги или поразмышлять хоть о бессмертии амбарного долгоносика, а потом, надрывая легкие, топай по проклятым тремстам восьмидесяти трем ступеням на Вапеннице! Оттуда, от улочки между скромными маленькими виллами, до главных ворот завода ходили разбитые, до невероятия переполненные автобусы. А жестокость лестницы состояла не только в том, что она до конца выжимала ту каплю бодрости, которую успеешь накопить за время недолгого сна, но главным образом в том, что на ней с безнадежным постоянством встречались люди, возвращающиеся после двенадцатичасовой смены. Вверх-вниз, туда-обратно, триста семьдесят три ступени и столько же на обратном пути! Лица, смятые усталостью, глаза, погасшие после ночной работы, — привет, здорово, Гонза, хороша житуха, а? Дерьмо...

Жестоким было и бесконечное ожидание на пронизывающем ветру в длинной очереди, пока втиснешься в автобус! Но все же этот путь

казался ему предпочтительнее уже тем, что был на несколько минут короче, чем поездом, в оупляющей тряске вагона.

Поезд стоял на предпоследней колее, туда уже не доходила сводчатая крыша вокзала, вагоны мокли под дождем, по пустому перрону кружил мокрый ветер. Паровоз шипел где-то впереди, окутанный липким паром. Половина шестого! День нерешительно занимался, вагоны дышали негостеприимством и неприязнью к людям; большинство окон было забито досками, а через те немногие, что по воле случая сохранили, как роскошь, стекла, внутрь вагонов пробивался чахоточный рассвет.

Гонза потянул носом воздух, передернулся. Его пробрала холодная дрожь. Запах дыма напомнил мамину шинель: грязь, смрад отхожих мест, запах заношенной одежды, невыспавшихся человеческих тел — гадосты!

Он прошелся по обшарпанному составу, открывал и закрывал двери вагонов, купе, и надежда найти ее испарялась. Теперь ему стало казаться даже невероятным, что ее вообще можно обнаружить в такой обстановке. Она к ней никак не подходила. В купе храпели: одни — сидя, засунув руки в карманы и упершись подбородком в грудь, другие — растянувшись во всю длину на сиденьях. Не открывай окна! — проворчал кто-то в душном полумраке. Потом более мирно: — Сигарет нет? А то куплю. Шесть за сто. Нет? Тогда проваливай, дружок!

Он наткнулся на нее, когда потерял уже всякую надежду, наткнулся в пустом коридоре предпоследнего вагона. Она стояла, глядела в окно, почти касаясь лбом стекла, а руки держала в карманах старенького пальто.

Смотрела, как рассветает. Неподвижная, тихая. Может, и не дышала.

Не оглянулась, даже когда за его спиной громко хлопнула дверь. И ему показалось, что она отделена незримой стеной от удручающей обстановки раннего поезда, что она послала сюда, к ним, только тело свое, а сама осталась где-то... Он замер в двух шагах от нее, прислонился спиной к перегородке, стараясь успокоить сердце. Она не может не услышать, как оно бьется. Искоса он смотрел на ее профиль, вычерченный на сером фоне рассвета, и не двигался. Вот видишь, все-таки нашел! Так делай же что-нибудь!

Поезд дернулся. Она обернулась, без улыбки посмотрела, как смешно он изогнулся, удерживая равновесие, как взмахнул руками. Найдя ручку двери, он ухватился за нее.

И только тогда осмелился поднять глаза.

Впервые она обратила на него внимание! Лишь на долю секунды и совсем без интереса остановила взор на его помертвевшем лице — он благословил в эту минуту полумрак, — и в глазах ее, кажется, мелькнула улыбка, но скорее всего это ему показалось. Быть может, он и сделал попытку что-то выжать из себя, чтоб не упустить даже

этот, совсем не возвышенный случай, но ничего не вышло. Закашлялся, смешался, отвел глаза.

Когда через минуту он глянул в ее сторону, она уже снова уставилась в окно и была далеко-далеко. Утонула в самой себе.

За окном проползали слезящиеся стены доходных домов, скелет эстакады, глубокое ущелье улиц внизу, облысевшая насыпь, окна, заклеенные крест-накрест, вонючие дворики с перекладинами для выколачивания ковров. Трубы, антенны. Дома показывали поезду свою изнанку. Звякнул колокольчик, поезд ускорил перестук колес, ветер размазывал капли на грязном стекле. Мир поднимался из стоячей воды.

Уйди ты лучше! Недотепа!

Гонза дернул ручку двери и застиг врасплах единственного пассажира купе. Притаявшийся в углу старикашка со сморщенным лицом, — откуда я его знаю? — испуганно вздрогнул. Сплюнул даже:

— Тьфу! Ну и напугал!

Левой рукой он все еще сжимал ремень для опускания окна, в правой у него был нож, которым он старался этот ремень срезать. Старик застыл было в этой недвусмысленной позе, но только на миг. При виде Гонзы он облегченно вздохнул и выпустил ремень. Провел ладонью по щетинистому подбородку.

— А я-то испугался, думал — проводница. Натяни на бабу мундир — хуже черта станет! Крику-то из-за паршивого куска кожи...

Он с подчеркнутой неторопливостью сложил нож и засунул его в карман брюк. Ткнул пальцем в ремень:

— Я и подумал: ну к чему он тут? Так только, болтается зря... Все равно после войны новые вагоны будут. Это уж точно.

Отнюдь не желая открыть шлюзы старческой болтовне, Гонза зябко забился в угол у двери. Отличное место: наискосок, через дверное стекло, он мог видеть девушку, мог беспрепятственно смотреть на нее, обращаться к ней с долгим, взволнованным монологом — только замолчал этот старикашка. Смешно. Подумаешь, ремень. Мне-то что? Везде воруют — на заводе уголь крадут целыми вагонами, топить-то нечем, все крадут: железо, лаки, резцы, лампочки, уголь, рабочее время, и все об этом знают, и никто слова не скажет; воруют даже такие люди, которым это раньше и в голову бы не пришло.

— Ты не думай, я не воришка... Таких мыслей ты не допускай, несправедливо это будет, малый...

— Да ради бога, на здоровье.

— Я ведь только для ботинок. Понял? Гляди — вот так выкроить, и готовы две набойки. И сойдет для грязи. Если это останется между нами, я тогда... — он изобразил, как перерезал бы ремень. — Чик — и готово!

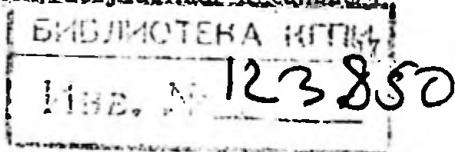
— Отстаньте от меня, — сердито сказал Гонза. — Ничего я не видел. Я спать хочу.

В тишине монотонно постукивали кастаньеты колес, паровик втащивал вагоны на холмы предместья, сипло вздыхая.

Светало. Где-то хлопнули дверью, разнесся хриплый кашель —

и опять бормочущая тишина и ритм, от которого опускаются веки, наливаясь горячей тяжестью, и слабеет тело в сладкой истоме. Гонзе так знакомо это промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Заменитель, эрзац — не более. Но со временем учишься спать в любом положении: скорчившись, зарывшись в мешки на крыше маллярки, на стульчаке в уборной, уткнувшись лицом в ладони, в раздвалке на калориферах центрального отопления, стоя, как лошадь; со временем все это складывается в целостную систему, ты делаешься мастером молниеносного засыпания в любом положении, на самое короткое время — пожалуй, ты ухитрился бы заснуть даже вися вниз головой, как летучая мышь, или на ходу, на бегу даже. Достаточно закрыть глаза — и падаешь, падаешь... А потом в испуге схватываешься, что вот-вот брякнешься башкой в тарелку с похлебкой — стоп! И приходишь в себя от всех этих снов и засыпаний, от дрем и дремот, полуснов и четвертьснов — с выпотрошенным мозгом, с жарким пятном на лице, а во рту у тебя собралась слюна. Но даже и в таком минутном сне есть известное облегчение. В нем — бегство. Бегство! Начинаешь вдруг воспринимать все острые углы жизни как-то сглаженно, как нечто далекое; через блаженно отрешенное сознание твое свободно льются представления обо всех цветах, всех ароматах, всех звуках — представления, не связанные меж собою ничем, что помешало бы воспринимать их, — и ты в этом особом состоянии гипноза то всплываешь, то погружаешься, как водолаз, и падаешь на дно, и тогда какой-нибудь посторонний резкий звук мгновенно выносит тебя на поверхность сознания, в настоящее — к утреннему пригородному поезду, к силуэту девичьей фигуры в коридоре, а потом ко всему этому припутываются вчерашние лица, они приближаются и уплывают — вот Павел, вот лица тех, кто был у Коблицев на вечеринке, и Бацилла, и все остальные, которых свели друг с другом завод, военное время, и даже обшарпанная кофейня, где еще немножко топят; потом всплывает обрывок из Брамса, и треск шаров на бильярде, и плеск ночного ливня за бумажными шторами затемнения...

Она едет в том же поезде, ему достаточно приоткрыть веки, глянуть сквозь щелочку, но лучше закрыть глаза, так он видит ее явственнее, совсем живую. Вот мелькнула она между стапелями, в тесных рабочих брюках, в платочке; в руке несет тигель с заклепками. Он издалека узнает ее шаги. Двигутся одни ее ноги: туловище, плечи и прямая шея остаются в непостижимом покое. И все же нет и намека на неестественность в такой походке. Гляньте, говорит кто-то, как выступает! А Гонза ест ее глазами, и приходит ему на ум Настасья Филипповна из «Идиота». Точно! В ней гордая красота Настасьи, и чужие взгляды она несет на себе так, будто их не замечает. Темные, чуть-чуть раскосые глаза устремлены вперед без интереса, без удивления, будто смотрят сквозь предметы и сквозь тебя — куда-то далеко, но в них ты не найдешь высокомерия. Скорее это сдержанность. Весь день она среди людей, в грязи и грохоте фюзеляжного цеха, и все же как-то странно одинока, замкнута в невидимом кругу, в который не пускает никого, равнодушная к окружающей грубости, безучастная к салтыкам.



этот, совсем не возвышенный случай, но ничего не вышло. Закашлялся, смешался, отвел глаза.

Когда через минуту он глянул в ее сторону, она уже снова уставилась в окно и была далеко-далеко. Утонула в самой себе.

За окном проползали слезящиеся стены доходных домов, скелет эстакады, глубокое ущелье улиц внизу, облысевшая насыпь, окна, заклеенные крест-накрест, вонючие дворики с перекладинами для выколачивания ковров. Трубы, антенны. Дома показывали поезду свою изнанку. Звякнул колокольчик, поезд ускорил перестук колес, ветер размазывал капли на грязном стекле. Мир поднимался из стоячей воды.

Уйди ты лучше! Недотепал

Гонза дернул ручку двери и застиг врасплох единственного пассажира купе. Притаившийся в углу старикашка со сморщенным лицом, — откуда я его знаю? — испуганно вздрогнул. Сплюнул даже:

— Тьфу! Ну и напугал!

Левой рукой он все еще сжимал ремень для опускания окна, в правой у него был нож, которым он старался этот ремень срезать. Старик застыл было в этой недвусмысленной позе, но только на миг. При виде Гонзы он облегченно вздохнул и выпустил ремень. Провел ладонью по щетинистому подбородку.

— А я-то испугался, думал — проводница. Натяни на бабу мундир — хуже черта станет! Крику-то из-за паршявого куска кожи...

Он с подчеркнутой неторопливостью сложил нож и засунул его в карман брюк. Ткнул пальцем в ремень:

— Я и подумал: ну к чему он тут? Так только, болтается зря... Все равно после войны новые вагоны будут. Это уж точно.

Отнюдь не желая открыть шлюзы старческой болтовне, Гонза зябко забился в угол у двери. Отличное место: наискосок, через дверное стекло, он мог видеть девушку, мог беспрепятственно смотреть на нее, обращаться к ней с долгим, взволнованным монологом — только бы замолчал этот старикашка. Смешно. Подумаешь, ремень. Мне-то что? Везде воруют — на заводе уголь крадут целыми вагонами, топить-то нечем, все крадут: железо, лаки, резцы, лампочки, уголь, рабочее время, и все об этом знают, и никто слова не скажет; воруют даже такие люди, которым это раньше и в голову бы не пришло.

— Ты не думай, я не воришка... Таких мыслей ты не допускай, несправедливо это будет, малый...

— Да ради бога, на здоровье.

— Я ведь только для ботинок. Понял? Гляди — вот так выкроить, и готовы две набойки. И сойдет для грязи. Если это останется между нами, я тогда... — он изобразил, как перерезал бы ремень. — Чик — и готово!

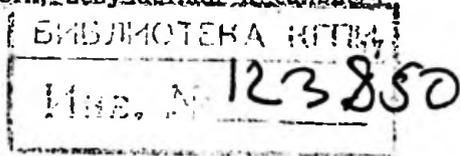
— Отстаньте от меня, — сердито сказал Гонза. — Ничего я не видел. Я спать хочу.

В тишине монотонно постукивали кастаньеты колес, паровик втащивал вагоны на холмы предместья, сплюсываясь, вдыхая.

Светало. Где-то хлопнули дверью, разнесся хриплый кашель: —

и опять бормочущая тишина и ритм, от которого опускаются веки, наливаясь горячей тяжестью, и слабеет тело в сладкой истоме. Гонзе так знакомо это промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Заменитель, зрзац — не более. Но со временем научаешься спать в любом положении: скорчившись, зарывшись в мешки на крыше малярки, на стульчаке в уборной, уткнувшись лицом в ладони, в раздвальнойке на калориферах центрального отопления, стоя, как лошадь; со временем все это складывается в целостную систему, ты делаешься мастером молниеносного засыпания в любом положении, на самое короткое время — пожалуй, ты ухитрился бы заснуть даже вися вниз головой, как летучая мышь, или на ходу, на бегу даже. Достаточно закрыть глаза — и падаешь, падаешь... А потом в испуге схватываешься, что вот-вот брякнешься башкой в тарелку с похлебкой — стоп! И приходишь в себя от всех этих снов и засыпаний, от дрем и дремот, полуснов и четвертьснов — с выпотрошенным мозгом, с жарким пятном на лице, а во рту у тебя собралась слюна. Но даже и в таком минутном сне есть известное облегчение. В нем — бегство. Бегство! Начинаешь вдруг воспринимать все острые углы жизни как-то сглаженно, как нечто далекое; через блаженно отрешенное сознание твое свободно льются представления обо всех цветах, всех ароматах, всех звуках — представления, не связанные меж собою ничем, что помешало бы воспринимать их, — и ты в этом особом состоянии гипноза то всплываешь, то погружаешься, как водолаз, и падаешь на дно, и тогда какой-нибудь посторонний резкий звук мгновенно выносит тебя на поверхность сознания, в настоящее — к утреннему пригородному поезду, к силуэту девичьей фигуры в коридоре, а потом ко всему этому припутываются вчерашние лица, они приближаются и уплывают — вот Павел, вот лица тех, кто был у Коблицев на вечеринке, и Бацилла, и все остальные, которых свели друг с другом завод, военное время, и даже обшарпанная кофейня, где еще немножко топят; потом всплывает обрывок из Брамса, и треск шаров на бильярде, и плеск ночного ливня за бу-мажными шторами затемнения...

Она едет в том же поезде, ему достаточно приоткрыть веки, глянуть сквозь щелочку, но лучше закрыть глаза, так он видит ее явственнее, совсем живую. Вот мелькнула она между стапелями, в тесных рабочих брюках, в платочке; в руке несет тигель с заклепками. Он издавна узнает ее шаги. Двигаются одни ее ноги: туловище, плечи и прямая шея остаются в непостижимом покое. И все же нет и намена на неестественность в такой походке. Гляньте, говорит кто-то, как выступает! А Гонза ест ее глазами, и приходит ему на ум Настасья Филипповна из «Идиота». Точно! В ней гордая красота Настасьи, и чужие взгляды она несет на себе так, будто их не замечает. Темные, чуть-чуть раскосые глаза устремлены вперед без интереса, без удивления, будто смотрят сквозь предметы и сквозь тебя — куда-то далеко, но в них ты не найдешь высокомерия. Скорее это сдержанность. Весь день она среди людей, в грязи и грохоте фюзеляжного цеха, и все же как-то странно одинока, замкнута в невидимом кругу, в который не пускает никого, равнодушная к окружающей грубости, безучастная к салтыкам



взглядам, которыми ее ошупывают. Ее безучастность внушает особое уважение, хотя на первых порах это свойство дразнило тех, кому незнакомо чувство неловкости. Многие из фюзеляжного цеха пытались познакомиться с ней поближе, но никто не преуспел. Эта свинья Пепек Ржига пытался назначить ей свидание. А после неудавшейся атаки презрительно сморщил свой пяточок и выразился так: «Маркиза! Цену себе набивает! А я вам говорю: шкура она. Ей подавай хахала с деньжатами. Знаю я таких».

Доказательств такого нелепого обвинения не было, но прозвище пристало к ней. Маркиза!

Спать! Кончится эта треклятая война — зарююсь в одеяло и буду дрыхнуть три года без перерыва! Кто попробует разбудить — убью. Хоть раз выспаться досыта! Что там все бормочет этот надоедливый старик?

Гонза повернул голову к дверям, приоткрыл свинцовые веки.

Она все еще стояла в коридоре, и день уже высветлил ее лицо. Он видел, как она вынула из кармана пальто сложенную бумажку — верно, письмо, — внимательно перечитала и положила обратно. Потом вытащила смятый платок и высморкалась. Гонза невольно улыбнулся, будто застиг ее на бог весть какой слабости. Это было так трогательно-обыкновенно. Видишь, чего же в ней таинственного? Навоображал бог знает что, а она самая обыкновенная, и, может быть, к ней можно подойти, и...

Послушай, кто ты? Ты мне нравишься. Ты не такая, как все. Если б ты знала, чего только я не выдумал о тебе! Еще, пожалуй, посмеешься надо мной. Только объясни ты мне, почему я до сих пор не могу просто подойти к тебе, заговорить? Я ведь не желторотый гимназистик! Знаю ли я тебя? Могу ли я сказать, что знаю человека, если прочитал его имя на карточке, на которой отбивают час прихода и ухода, если человек этот дни и ночи у меня на глазах, но я не общаюсь с ним еще ни единым словом? И для которого я до отчаяния не существую? Впрочем, с чего замечать именно меня? Чем я могу тебя заинтересовать? Лицо, каких сотни, ни красивое, ни бросающееся в глаза безобразием, обыкновенное лицо. Знаешь, а я ведь еще не слышал твоего голоса!.. Есть в тебе что-то такое, что несказанно волнует меня, притягивает и в то же время зажимает рот непонятной застенчивостью — ничего подобного я не испытывал с другими девушками. Я часто пробовал выговорить вслух твое имя: Бланка. Легкое, прозрачное имя, в нем — вкус ветра. Но что я знаю о тебе? Какую-то чепуху, сплетни, грубые замечания ребят... Вот если бы ты дала мне совет... Я застенчив до дикости и порой завидую тем, кто не так чувствителен, у кого шкура потолще, которые просто не понимают, что ставят другого в неловкое положение. Эти не знают препон. Может, во мне есть какая-то дурацкая гордость и потому я боюсь поражений. В сущности, я и себя-то не знаю. О себе я знаю всего лишь несколько неинтересных и малозначительных подробностей. Зовут меня Ян, ребята чаще на-

зывают Гонзой *, я живу, дышу... и не знаю себя. То мне кажется, что я никакой, то — очень сложный, и если б меня заставили написать что-нибудь о самом себе, о своем характере, о том, чего ищю, — я изжевал бы от растерянности немало карандашей. Добрый я? Или злой? Гордый? Скромный? Все это есть во мне, до невозможности перемешанное, не ограниченное, не решенное. Я строящееся здание и потолка не имею, каким оно будет готовое. Труслив я? Или смел? Откуда мне знать? Бывают всякие дурацкие мечты, и порой мне кажется, что я вовсе еще и не жил, что я скорее наблюдатель, очевидец того, как живут другие, а не человек с собственной историей. Я, в сущности, только жду. А больше в этой помойке я и не могу ничего делать. Но разве ожидание — жизнь? Сомневаюсь. Жизнь будто отложена на неопределенное время. Вот после... Но хватит, поговорим о тебе! Что ты? Замужем? Любишь ли кого-нибудь? Я этого боюсь. Ты тоже одинока? Почему люди теперь так одиноки? Оттого что война? А как было до войны? Я совсем не помню. Когда эти явились, я был сопливый мальчишка, лет четырнадцати-пятнадцати, подросток с угрями на лбу. Влюблялся в лицо на экране, вид женских ног волновал меня, я думал о смерти и страстно желал, чтоб мне было уже двадцать лет, и я мечтал о том, кем я стану. Это будет грандиозно! Мир и его беды очень отдаленно затрагивали меня. И влипли мы во все это, желторотые юнцы, ткнулись носом и мыкаемся в этом бедламе, и кто-то гонит нас взащей, развеяло нас ветром по заводам протектората, по всем уголкам рейха. Что делать? Ждать? Вот после... Как это понять? Где это «после»? И в чем? В книгах, которые случай вложит в твои руки? Не знаю. В себе? Сомневаюсь. Каждый ищет по-своему, но ищем все мы, хотя большинство из нас не сознает этого и прикидывается циничными грубиянами. Выжить, выжить — так писал Карел из Эссена после очередного налета. В этом вся штука, Гонза! Если бы ты пережил такое, как я, понял бы. Только дураки да книжники-мечтатели вопрошают о смысле жизни. А в чем ему быть, смыслу-то? В воздухе, которым мы дышим, в еде, в любви, если таковая существует, в голом факте бытия... Вопросы... У тебя тоже столько вопросов? Может, я ошибаюсь, но кажется мне, все стало бы легче, умей я сблизиться с тобой. Что может найти человек, когда он один? Не нужен никому, ни для чего? И я внушаю себе, что вдвоем мы могли бы что-нибудь найти. Что-то такое, чему можно было бы верить — вероятно, нашли бы уверенность или хоть основание для того, чтобы жить. Смысл. Или я псих? Хоть бы ты посмеялась надо мной — по крайней мере заметила бы, по крайней мере я существовал бы для тебя! Почему ты всегда только молчишь? Отчего вдруг такая странная тишина?

Действительно, была тишина. И она разбудила его: уже совсем светло, и поезд покорно стоит на станции, и под окном по шлаковой дорожке скрипят поспешно шаги; за полотном — задние ворота завода, и по деревянному мосту над путями ползет толпа.

* Гонза, Енка, Еник, Енда — уменьшительные от имени Ян.

Гонза нащупал портфель, протер глаза. Спал, как сурок.

В коридоре у окошка никого не было, и в купе Гонза остался один. Старикашка испарился как бесплотный призрак, и Гонза мог бы принять его за сонное видение, если б на месте ремня не болтался под оконной рамой куцый обрывок кожи.

II

Осторожно нажать на педали — сколько раз читал об этом в брошюре? — слегка отвести рычаг, и самолет послушно ляжет набок, земля опрокинется — огромная, бескрайняя плоскость наискось приклеится к крылу и со свистом понесется назад, испещренная узором узеньких речек, ручьев и дорог, с телеграфными столбами не больше спички. Неверное движение, и крыло со зловецким треском врежется в лесной массив. Спокойно! Высота шестьсот пятьдесят, скорость триста, мотор «Вальтер Кастор» гудит со шмелиной назойливостью...

— Сколько нахалтурил?

Войта вздрагивает, моргает светлыми ресницами, таращась на Падевета. Потом соображает, что вопрос относился к электроплиткам, и смущенно отнимает руки от железных перил, с помощью которых управлял самолетом. Простуженным голосом бурчит:

— Двадцать.

— Маловато.

— Ток выключали.

Войта отвернулся — болтать не хотелось. Совсем, совсем он в другом мире. Высоко, далеко... И нет никакой войны. Он сейчас где-то впереди самого себя, и двенадцать часов ночной работы у него в теле. Ночью его выставили из амбулатории, фельдшер сунул градусник: температуры нет — проваливай!

Войта нажимает ладонью на рычаг, и машина со сказочной легкостью лезет вверх, в синюю пропасть, все выше, выше, а он насвистывает, подхваченный вихрем, и кричит, кричит от счастья, и кровь стремительно пульсирует в жилах — он живет! Резкий поворот — теперь вниз, человек и машина мягко снижаются... Загремел вниз по лестнице, ушам больно...

— Шляпа! Глаза раскрой...

...а там, вдали, уже выкруглись крыши ангаров, уж виден мешок, набрякший ветром. Там его ждут. Быть может, ждет и она. Побежит навстречу по скошенной траве, в легком летнем платье с синими крапинками, ветер откинет ей волосы, и она издали махнет ему рукой. Нет, махать она не будет. Не будет. Он знает это, и это царапнет его где-то внутри, но он только сожмет губы, отведет от себя рычаг, уменьшит подачу газа. Свист у ангара...

...а за окошком, полуслепым от грязи, с тягостной медлительностью проплывают картины — скучные, сто раз виденные, грязь, море грязи, облупившиеся домики, кроличьи шкурки сушатся на заборах, треснувшая стена старого кабельного завода, трубы и опять трубы, аэродром

соседнего завода, несколько промокших «мессеров», раскисшие поля: в неглубоких ложбинах — грязные лоскутья снега, и лужи, и иззябшие деревья.

Вот тебе и мечтай.

Автобус стонет от напряжения, трясет на ухабах свою человечью начинку, воняет древесным газом... Посадочная площадка с головокружительной быстротой подстилается под крылья, блестит, как река на солнце... Вот первые виллы предместья мелькнули за окном — сонные, исхлестанные ветрами, расслезившиеся предвесенним дождем. Сел. Мотор еще раз грозно взревел и стих. Войта снял руки с рычагов управления, но никто не ждет его, никто не ликует — просто автобус извергнул его в ветреную сырость, и все.

Топай, наземная крыса!

Час пути туда, час обратно.

Еще с угла увидел гордую виллу. Двухэтажный ларец с мезонином. Тот, кто строил дом, не скупился на жилую площадь, на кирпичи. И вышло: не монументальность, но огромность, правда, чуть аляповатая, однако и не совсем уж безвкусная. Расчлененный фасад с полустершейся надписью: «Гедвига». Вилла стоит на холме. Из окон второго этажа открывается широкий вид — река, набережная, силуэт Вышеграда; из зимнего сада — Смиховская низина и горстки вилл на противоположном склоне. Для того, кто передвигается на своих двоих, путь от трамвайной остановки достаточно длинен: по крутым улочкам мимо особняков бывших богачей. В домах, принадлежавших лицам неарийского происхождения, поселились немцы — генералы и прочие могущественные особы. Ветер гуляет здесь даже тогда, когда ниже, в городе, царит полное безветрие. Просто как назло, говорила мама.

Из трубы тянулся к небу дымок; у калитки Войта столкнулся с паном Кунешем — с паном полковником, как его величали на вилле. Кунеш запрещал теперь называть себя так, да теперь это уже и не соответствовало истине: Кунеш снял элегантный полковничий мундир в тридцать восьмом. Ныне он сидит за перегородкой почтового отделения, штампует конверты... От былой роскоши остались у него только выправка да еще отрывистая манера разговаривать.

Впрочем, в последние годы он редко открывал рот. Старый холостяк с седыми висками, франт довольно облезлый. Он доводится братом милостивой пани и потому бесплатно живет в мансарде; он поселился там со своей престарелой овчаркой и воспоминаниями о минувшей славе, не менее полинялыми, чем его собака. Он никому не мешает — живет себе тихохонько, и только одного не выносит: это чтоб в его присутствии упоминалось о политике, о положении на фронтах и тому подобное. Он лично проследил, чтобы в доме во всех приемниках удалили устройства, принимающие на коротких волнах; решительно и без лишней сентиментальности велел убрать портреты прежних государственных деятелей, все охотничье оружие и даже безобидные духовые ружья и пугачи — короче, все, что хоть отдаленно напоминало оружие.

Однажды Алена, с прозрачным намерением подразнить его, спросила как-то на лестнице:

— Дядя, когда же немчура сядет на горшок? Вы, как бывший маршал, должны в этом разбираться.

Кунеш так и застыл на ступеньках.

— Вы... вы все рехнулись! — в страшной тревоге прохрипел он. — Неужели не помните, кем я был? Мне в десять раз больше грозит опасность, чем любому штатскому! Напротив, через улицу, живет полковник их авиации... Вы что, хотите моей гибели? Хотите выжить меня отсюда? Что ж, я уйду... — с трагическим жестом закончил он и склонил голову.

И вид у него был такой убитый, что милостивая пани резко прикрикнула на дочь; с тех пор «полковника» оставили в покое.

— ...ссте.

Кунеш узнал Войту, приветливо кивнул ему и побрел вниз по улице. На коротком поводке он вел своего собачьего патриарха, в другой руке нес банку из-под варенья, собираясь купить дафний для своих рыбок. Пес, уныло взглянув на хозяина, остановился у излюбленного каштана и с трудом поднял заднюю ногу.

Сад одичал, от него веяло грустью запустенья. Войте вспомнились другие времена. Тогда струйка фонтана дерзко устремлялась к небу, щебет птиц сливался с хлопотливым постукиванием маленькой ветряной мельнички. А теперь на облысевшем газоне гниют прошлогодние листья, и каменная наяда посреди высохшего бассейна бесстрастно усмехается ненастному утру.

В вестибюле Войта увидел Алену.

Она спускалась вприпрыжку — никогда не умела сходить по лестнице медленно.

Войта поспешил к ступенькам, ведущим в подвальный этаж.

— Привет, Войтина!

Он не поверил своим ушам. А она подбежала, чуть-чуть запыхавшись, остановилась в конце лестницы — рука на гладких перилах, странная улыбка на губах. Вид у нее невыспавшийся, но бледное лицо красиво оттенял синий дождевой плащ.

— Привет.

Минутка молчания затянулась.

Войта упрямо стиснул зубы.

Ее лицо медленно открывалось через улыбку; было в нем обычное конкетство, но и еще что-то.

— Знаешь, что меня интересует?

Он упрямо молчал, и она сама ответила:

— Долго ли мы так выдержим — не разговаривать? Лично я — недолго.

Он непонимающе посмотрел на нее, тряхнул головой, неохотно усмехнулся.

— Ходишь мимо, как немой! — накинулась она на него. — Меня это просто бесит. Ведь я ничего такого тебе не сделала! Да скажи же ты что-нибудь! Скажи хоть «а»!

— А, — выдохнул он.

Он начал понимать, что не устоит перед этим натиском нежности, и постарался не рассыпаться сразу, после двух-трех ласковых слов. Такое сопротивление доставляло ему весьма относительное удовольствие. Он еще сохранял равнодушный и свирепый вид, но предательская улыбка уже проклеивалась на его лице.

— Наконец-то! — Алена ухватила за единственный изданный им звук. — Медведь! Нарочно меня мучаешь! Ну, я какось, как Мария Магдалина. Ну да, я вела себя по-идиотски, но разве ты меня не знаешь? Хватит, ладно? Кто старое вспомнет...

— Не я начал-то...

Алена приложила палец к его губам.

— Ты чудесный парень. И больше не сердись на меня, совсем-совсем, правда?

— Правда, — хрипло сказал он и откашлялся.

— Ни капельки?

— Ладно. Ни капли.

— Этого мало! Мы друзья, да? Как раньше? — радостно тараторила Алена. — Теперь все будет по-другому, Войтина. Заходи ко мне, а то ведь совсем перестали видаться. Или ты, может, влюбился — я лопну от ревности... Нет, нет, не буду... Знаешь что? Давай мы это закрепим, ладно?

И не успел он опомниться, как она бросила портфель на кядну с пальмой, в несколько прыжков взлетела на лестничную площадку, взмахнула рукой: внимание! Поехала!

Села на перила и с ликующим криком скатилась вниз.

Войта подхватил ее — она свалилась бы на ковер — и поставил на ноги, как маленькую.

Они стояли лицом к лицу и хохотали на весь дом.

— Рехнулась, — сказал он и тут же охладил ее пыл: — Разучилась совсем...

Она обиженно задрала нос:

— Сказал тоже! — И сейчас же весело ткнула его в грудь: — Слушай, до чего я рада, что мы помирились, ты понятия не имеешь. Ты тоже? Сходим как-нибудь в киношку, ладно? — Она бросила беглый взгляд на часики, ужаснулась. — Ух, мне пора бежать! Выше нос, Войтина, ты ничего не понимаешь! Я тебе потом все расскажу. Договорились?

И дверь за ней захлопнулась.

Ну что ж, оно и к лучшему, говорил он себе, и по лицу его блуждала улыбка. Теперь он не старался ее согнать, и, когда спускался в подвальный свой этаж по узкой лестнице, все в нем сотрясалось от безмолвной радости. Внезапные перемены легко выводили его из равновесия, вносили сумбур в его мозг, привыкший работать, правда, на более медленных оборотах, зато с основательностью, которая пугается всякой приблизительности, всего, что невозможно ощупать своими руками.

Он был рад, что столкнулся с матерью в полутемном изгибе коридора.

...и она не могла разглядеть его лица. Мама та-
...ведра угля на второй этаж.
...дом отапливали печами.

...пусть сами таскают, коли мерз-
...на второй этаж. Спускаясь,
...будто не веря, что все было

...картофельную похлебку; он
...с полным аппетитом.
...и нырнул в перины на

...с мыслями. Что это
...своего скорее зашел к ней.

...опираясь головой на подуш-
...А что еще! Ну и пусть
...Однако, помолчав, про-

...дверь. На шкафу тикал
...но Войта и не по-

...блуждал взглядом по
...остывшая
...оставили на месте, не
...универсальный умывальник,
...картинка покособи-

...Когда-нибудь
...часто решал

...старый-престарый во-
...раздражен-

...грустный от
...повторял
...принадлежит
...направду
...облаженный

голыш обладал чудодейственной силой. Граница между «наверху» и «внизу» тогда была совершенно незрима, а потому и не существовала.

Сначала была маленькая девочка с синими глазами и светлой челкой, быть может, уже немножко властная, но в общем отличный товарищ. Весь мир был полон ее щебетаньем. «Аленка! — настойчиво неслоь сверху. — Куда ты спряталась? Опять в дворницкой. Бедная Фанинка!» — «Тсс», — девочка прикладывает пальчик к пухленьким губкам и — зzzzz! — скатывается по натертым перилам вниз, а в дворницкой наедается картофельными лепешками, потому что там делают самые картофельные лепешки на свете, а Фанинка — то есть мать Войты, — самая фанинковая из всех Фанинок! Ей не составляет никакого труда зашить платье на барышне или умыть поцарапанный нос. Здесь любопытная девчушка может жать на педаль старенькой швейной машинки или досыта любоваться на диво дивное: парусную лодочку в бутылке. Как она туда попала? Знал об этом только отец Войты, а он всегда молчал. Он был ужасно неразговорчивый и немножко таинственный, но никто его не боялся. Он ухаживал за садом, был немного угрюм, и в легких у него что-то странно хрипело; зимой он сидел у маленькой железной печки, попыхивал трубкой и вечно что-то делал своими ловкими руками. И вдруг получалась лошадка или кукольная комната, резная шкатулочка, что угодно! Видно, тогда-то и попала парусная лодочка в бутылку. Войта определенно унаследовал от отца страсть к ручной работе. Оба могли возиться часами — отец с ножом (он ведь был дипломированный резчик и только из нужды работал садовником), а Войта с отверткой и плоскогубцами. Ни один будильник не избежал его изобретательских рук. Войта часами простаивал с раскрытым ртом перед соседней мастерской, где ремонтировали автомобили, а в доме ни один механизм не ускользнул от него. На первых порах приступы его изобретательства кончались криками и шлепками, но довольно скоро, когда Войта, десятилетний шпингалет, сумел починить стенные часы в вестибюле, остановившиеся много лет назад, он стал признанным чинильщиком всего, что было металлического в просторной вилле. «Фанинка, — говаривал порой с важным видом сам пан архитектор, особа, обожествляемая в доме, — у вашего парня настоящий технический талант!» Мама радостно краснела.

«Войтина, ты что изобретешь, когда вырастешь большой?» Он только отмахивался от таких приставаний. Что изобрету? Не знаю еще. В тесном закутке рядом с котельной Войта оборудовал верстак и долгими часами копался там, и уши у него горели от волнения, пока не докопается до сути. Ага! Вот как оно устроено! В мирке машин и механизмов было хорошо, — в нем жила надежность предметов, которые можно ощупать, повозиться над ними, а под конец шлепнуть себя по лбу с радостным чувством откровения. «А что это будет, когда ты кончишь?» — приставала Аленка, заглядывая ему через плечо. «Моторчик для авиамодели. На сжатом воздухе»... Гм... Это ей ничего не говорило, и было немножко скучно. «Войтина, пойдём отсюда! Я хочу!» — И он послушно шел. У забора в дальнем углу сада он по-

строил ветряную мельницу и никак не мог понять, чему Аленка так радуется. «Подумаешь, — он вздернул нос, — такая чепуховина!»

Тогда можно было дергать ее за вихры, втаскивать насильно на старую черешню, злорадно хохотать, когда она неловко сваливалась в траву, или присоединяться к насмешливому хору ребятишек за оградой, скандировавших: «Але-на, Але-на, нога как поле-но!» Реветь и жаловаться она убегала к себе наверх, но никогда не бывал прегражден ей путь вниз, и, день-другой поупрямившись, она съезжала по перилам и примирительно кляничла: «Войтина, Войтишек, ну возьми меня с собой! А то я не знаю, во что играть!» Ну и хитрюга! Войта сначала резко отвергал ее общество — смелые экспедиции по чужим садам не для девочек, которые то и дело режут, но в конце концов смягчался с неприятным предчувствием, что шайка грубых ковбоев жестоко над ним посмеется. «И чего ты все таскаешь с собой эту реву? Девчонки все выбалтывают. Эй, а куклу ты перепеленал?» Войта против воли превратился в этого сказочного Иванушку, каждодневно спасающего царевну от стоглавого дракона — озорных мальчишек... Она же платила ему кошачьей ласковостью, восхищением и слушалась его с первого слова. Однажды он едва не взбунтовался. На их ограде корявыми буквами вывели мелом надпись: «Войта + Алена = жених и невеста!!!» Его облило стыдом, он соскоблил позорную надпись и ожесточился. Но все-таки она сломила его упорство. Кроткой мышкой прокралась в его мастерскую, долго смотрела ему через плечо, потом исподволь взялась уговаривать, отлично сознавая силы своих чар. «Они все дураки! Не обращай внимания! Ведь я тебя правда люблю и, если хочешь, в самом деле выйду за тебя замуж...»

...Одиннадцать, двенадцать, четырнадцать лет... Когда это началось? Стучилось-то не сразу, вкралось меж них незаметно, коварно. Просто в один прекрасный день ветряная мельница остановилась, а кукла Зуза сделалась до невозможности старомодной и без сожаления была убрана на чердан, где хранился ненужный хлам. Конец детской беготне, воробьиному щебетанью! Смотрите, смотрите! Аленка поднимается теперь по лестнице, важно выпрямившись, углубленная в себя; иной раз Войта замечал, как она останавливалась в вестибюле перед зеркалом, заглядывала в него изучающим взглядом. И вообще не годится четырнадцатилетней даме скатываться по перилам, а тем более наедаться картофельными оладьями. Точно так же оказалось со временем невозможным заводить болтовню с мальчишкой своего же возраста. Она уже чувствовала на себе взгляды кое-кого из семиклассников-гимназистов, взгляды, полные явственного интереса. А Войтина? Старомодный, чумазый, добрый! Такой неуклюжий, угловатый! Что это с ним? Еле буркнет «привет» и скрывается в подвале. Она его раскусила. Сначала ее это трогало, потом стало забавлять. Здесь было что-то новое, что лучше всякого зеркала отражало ее — пока еще только предчувствуемое — женское могущество. Она ловила Войту под лестницей — с некоторых пор там расходились их дорожки — и с самым голубым невинным взором говорила: «Погоди, не убегай, что я тебе сделала? Видал новую папину машину?» — «Гм...» — «В воскресенье поедem купаться.

А у меня новый купальник!» — «Ну и пусть», — неохотно бормотал он, но не отговаривал ее. Руки у него неуклюже висели вдоль тела. Отодрать ее, что ли, за волосы, как бывало? Он прятался в мальчишескую грубость, как улитка в раковину, но не мог обмануть своего тирана, скорее наоборот, побудил его к открытому выпадку. «Что-то в последнее время ты даже не смотришь на меня, — мелодраматично вздыхала Алена, а в уголках ее губ притаился смех. — Ну скажи же что-нибудь умное, я ведь не кусаюсь! А знаешь, я начинаю сомневаться, что ты изобретешь хоть что-нибудь путное. Все пустячки!»

Уходя, он чувствовал, что она смеется у него за спиной. Заперся в своей мастерской. Ну почему она такая? Злоба в нем боролась с бесильным сожалением. Он слышал наверху ее шаги, голос, потом звуки рояля, ее смех. Ночью ворочался на продавленном диване, пялился во тьму. В потолок. Там спит она. Какие-то неведомые чувства просыпались в нем, несли с собой сладковатую истому и беспокойство, и он совершенно не знал, как с ними справиться.

И росли они теперь не рядом, а над и под. Перед ним была одна дорога — затеряться учеником в грохоте авиационного завода; она же горделиво вышагивает в гимназию, читает непонятные стихи, бренчит на рояле. «В этом году наша Алена пойдет в танцкласс, Фанинка, как время-то летит!» — услышал он голос милостивой пани. Мать под лестницей всплеснула руками. «Чистый ангелок!» — восклицала она, в то время как по ступенькам спускалось голубоватое облако тюля, кружев и раздушенных воланчиков. Хлопнула дверца новой машины — поехали! Ночью раздался всхлип. «Что с тобой, мальчик?» — это голос мамы в темноте. Войта затаил дыхание, притворился спящим. А он не спал. Кто ты? Чумазный заводской мальчишка, никто, нуль. Что тебе надо? Поднять глаза и то не осмелишься. То, что было раньше, просто обман. Ложь. Просто такая игра была. Понарошку!

Ну и пусть! Когда-нибудь покажу тебе! Покажу!

Теперь по лестнице во множестве поднимались новые подруги, рядные гимназистки, потом даже долговязые — почти мужчины, — из шестого класса, самоуверенные мальчишки из приличных семей. Под благосклонным дозором милостивой пани устраивались безупречно-нравственные чаепития; до Войты доносился сверху громкий смех, заглушаемый истошными воплями радиолы.

«Я вся для ритма рождена-а-а, и от него мне нету сна-а-а...» — до омерзения щебетала невидимая певица.

Один раз его позвали наверх: перегорели пробки, квартира утонула в темноте. Войта вошел в переднюю, опасаясь глядеть по сторонам, поднялся, как некий комический дух из подземелья. Из гостиной доносилась болтовня молодых людей и барышень — темнота была весьма удобным обстоятельством для рискованных шуточек. Войта исправлял пустячное повреждение, а Алена светила ему свечкой. Он чувствовал ее за спиной, и ловкие руки его по-дурацки дрожали. Он проглотил слюну.

— Ты славный, Войтина, — сказала она, дохнув ему на шею. — Знаешь что? Давай запустим в ход нашу мельницу, а?

Он обернулся, глубоко изумленный. Лицо ее освещал снизу трепетный огонек свечи, глаза широко и жарко раскрылись. Но это длилось один миг. Войта не поддался на удочку! Тогда она подошла к нему вплотную и быстро коснулась мягкими губами его словно зашитого рта. Он испуганно отшатнулся, отчего смутилась и она. Опомнилась разом.

— Не хочешь посидеть с нами?

Он повернулся к электрическим часам и отрицательно мотнул головой. Алена усмехнулась.

— К твоему сведению, это как раз замечательные ребята и девочки. А ты задрал нос. Я уж давно заметила, что ты здорово задираешь нос. С чего бы это?

Потом, переждав минутку напряженной тишины, спросила еще:

— Ты в самом деле меня не любишь?

Стиснув зубы, Войта ввинтил пробку в гнездо: ни слова не вырвалось из его стянутого горла. Вспыхнул свет, встреченный взрывом ликования в гостиной. Алена задула свечу и озорно посмотрела на Войту:

— Сколько я вам должна, пан изобретатель?

С той напряженной минуты, озаренной свечою, их взаимное отчуждение одним скачком достигло высшей ступени. Он вскоре понял это. Прекратились ее ехидные насюки. Сначала он было облегченно вздохнул: ага, проучил я ее, притихла! Но прошло немного времени, и он ощутил всю сомнительность своего торжества. Теперь ему даже недоставало ее насмешек. Раньше он был пусть комической, пусть старомодной фигурой, но все же напоминавшей о прежнем — чем-то вроде куклы Зузы, теперь Войта вообще перестал существовать для Алены. Просто не было такого. Безразличие Алены, сначала чуть-чуть наигранное, постепенно стало настолько искренним, что она уже совершенно спокойно стала отвечать на его нечленораздельные приветствия. «Здорово!» — «Здорово!» — бросят, бывало, проходя мимо. От Алены веяло жестокой самоуверенностью, которой Войта, неизвестно почему, не обладал ни капли. Она становилась девушкой в полном расцвете, стройная, хотя и склонная к полноте, не ослепительная красавица — для этого слишком пухлыми были у нее щеки, недостаточно глубокими глаза и губы — в отца — чувственно полными, но, холеная, жизнерадостная, она была достаточно хороша для того, чтобы затмить в воображении Войты всех других девушек. Слишком часто попадалась она ему на глаза. Он увяз по уши. С очень сложными чувствами слушал он ее рассыпчатый смех, ее голос, когда она напевала новые шлягеры — Алена открыто мечтала о карьере джазовой певицы. Желание, гнев, ощущение собственной неполноценности, ненависть, зависть, влюбленность теснились в сердце Войты. Влюбленность он упрямо отказывался признавать и боролся против нее столь же решительно, сколь и напрасно. На заводе — парень что надо, а дома — размазня. В минуты отрезвления он проходил по всем шкалам стыда, страдая за эти мечты, но тайно продолжал грешить ими, потому что в них Алена любила его страстно и покорно. Они жили волнующей

жизнью. Он сделал великое изобретение... Победил в автомобильных гонках... Перелетел океан... Спас потерпевших кораблекрушение, выброшенных на льдину, так что весь мир безумствовал, восхищаясь его геройством...

— Вставай, Войтишек, — будил его голос мамы, — кофе в духовке, а мне пора с пылесосом наверх...

Когда-нибудь раскроет она глаза, пожалеет, кого упустила!

Вот тогда-то и обуюла его мечта: летать. На авиазаводе строились новые истребители, каждый винтик, каждый рычажок их был ему знаком. Дайте нам крылья! Накануне Мюнхена все бредили авиацией. Он будет летчиком! Да не простым. Сконструирует сам новые аппараты и достигнет на них таких скоростей, что у людей дух захватит.

Увы! Настал день, и отец угас — так же незаметно, как жил; и с ним угасла мечта о техникуме. Пан архитектор, правда, неопределенно намекнул, что он охотно... то да се, впрочем, при условии, если Войта согласен обучаться строительному делу. Быть может, пан архитектор желал Войте добра. Ох, этот пан архитектор! Он любил женщин, доброе вино и Алену. Добродушный прожигатель жизни, онпил ее, как свое любимое мозельское, но сумел при всем том поднять процветающую строительную фирму, которая наляпала в предместьях сотни однообразных коттеджей, этаких коробочек под девизом «малое, да мое», и виллу «Гедвига», и еще одну — в Полеградах, куда ездили на лето. Зевс-громовеержец в своем доме, в семье, он же покровитель танцовщиц и завсегдайта сомнительных кабачков... Он любил Войту. «Не трогайте его, Фанинка, — утешал он маму с обычной жизнерадостностью. — Войта не пропадет».

Мечты и планы тогда казались простыми: сначала он станет слесарем, потом поступит в авиацию. Но явилась немчура, потом началась эта сволочная война, прибила его к земле. Наземная крыса...

А старого жуира, пана архитектора, смерть настигла за стаканом мозельского. Плач, рыдания, слезы — дом был похож на пожарище. «Какой человек! — до сих пор слышит Войта причитания матери. — Помнишь, как он сам отвез отца в больницу? Золотое сердце! А сколько одежды тебе подарил со своего плеча! Как родной к нам относился! Бедненькая милостивая пани, бедняжка Алена, сиротка горемычная!» Войта рядом с плачущей матерью шагал за гробом хозяина, посматривал искоса на горемычную сиротку. Черная вуаль была ей к лицу, слезы тоже. Охватила жалость, Алена будто чуть-чуть стала ближе. Войта пробормотал над могилой неуклюжее выражение соболезнования и получил в благодарность мокрый от слез поцелуй. «Ах, Войтина!» — и она зарыдала.

Некоторое время царило трогательное перемирие, в вилле ходили на цыпочках, разговаривали шепотом, а потом все вернулось в наезженную колею.

Чужие. Год, другой. Наверху часто кутили; милостивая пани была слишком занята своим уделом пригожей и далеко не бедной вдовы, которая вовсе не собирается удалиться от жизни. А жизнь наверху разворачивалась вовсю. Восемиклассники, сынки из приличных семей, не-

удавшиеся студенты, пижоны, страстные устроители оргий, стихоплеты и забулдыги, юные спекулянты и картежники, девицы, которым стараниями родителей удалось избежать загребущих лап тотальной мобилизации, — пестрая смесь молодежи, днем болтающаяся по холодным кафе, все чаще поднималась теперь по широкой лестнице виллы, чтоб на рассвете хлынуть вниз развинченной, шумной массой; под хранительной рукой молодой хозяйки тут устраивались бесстыдные бдения, во время которых все болтало, пило, горланило, блевало в унитазы и мимо... Мама не успевала убирать. Только всплескивала руками: «Ну и поросята! И как это милостивая пани позволяет! Этот верзила опять вылил водку в аквариум, и рыбки подохли. Видел бы пан архитектор! А занавески-то прожгли! Просто войти стыдно», — робко добавляла она и тащилась наверх с пылесосом, чтоб высосать из толстых ковров осколки стекла. «Не сердитесь на них, Фанинка, — говорила милостивая пани. — Молодость-то раз в жизни дается... Что они, бедняжки, видят сейчас? Завтра им на голову могут бомбу сбросить... Алена немного необузданная, в отца, балованная девочка — одна ведь дочь! — но сердце у нее доброе».

В прошлом году Алена закончила гимназию, отмечали это событие несколько ночей подряд. Хорошо еще, что ей удалось уклониться от мобилизации — поступила на какие-то фиктивные курсы секретарш, ходила туда скорее, чтоб погреться, чем для учебы, но и эти курсы спасали ненадолго... «Ах, злополучный двадцать четвертый год! — слышал порой Войта, как вздыхает милостивая пани. — Почти всех подружек Алены уже угнали в рейх, Фанинка... И когда это кончится?»

Когда? Ох, скорей бы! Тогда сбегу, все забуду! Хоть не будет ее на глазах... Потому что: ты — и она! Смешно! Слышишь ее речи и ни черта не понимаешь. И бесишься. Признайся, признайся! Да что толку? Тянет тебя к ней? Как канатом! Ведь ты знаешь ее, знаешь по почным мечтам: бедра, грудь под выутюженной блузкой, развилка лона, вдавленная ветром в юбке... Стыдись! Смотри, она ходит не одна! Кому подставляет сегодня свои пухлые губки? И сколько таких ухажеров уже, пожалуй, у нее перебывало?

Потом как-то ночью — вернее, уже на рассвете — задребезжал звонок. Видно, кто-то из живущих в вилле забыл ключ. Еще с порога Войта увидел Алену с кем-то в яростном объятии — и застыл на месте. Парочка была до того поглощена ласками, шепотом, что и не заметила его — оторвались друг от друга, только когда он зазвенел связкой ключей. Он отошел, стал ждать у крыльца, громко стуча зубами от холода. Она шла к нему по шлаковой дорожке, и взгляд ее был неподвижен, а по неверным шагам, по ее насвистыванию Войта понял, что она пьяна. Провела рукой по растрепанным волосам, узнала его, вызывающе подмигнула.

— Вот как, — не без усилия выговорила она, — изобретатель в роли дворника! Ну и дела... — Ей, видно, пришла охота поболтать. —

Да ты не отодвигайся, не задирай нос! Мы ведь с тобой старые... как это... друзья. Или нет? Ах... «То было время игр, невызревшей малыны...» — продекламировала она, раскачивая сумочкой.

Войта каменно молчал, но это ничуть не мешало ей продолжать:

— Сирано — вот ты кто. Да ты и не знаешь, кто это, правда? Коллега — тоже изобретатель...

Она неверными пальцами дотронулась до его носа, зашлась смехом.

— Нос у тебя совсем как у Сирано! Только у него длиннее. Вот такой паяльник!

Пятясь, он вошел в дом; очутившись под лестницей, схватил ее за плечи.

— Ступай спать! Не ори! Весь дом перебудешь.

Она прислонилась спиной к перилам.

— А мне плевать! Тебе что, не нравится, что я шикарно повеселилась? Завидуешь? Ух... Пожалуйста, не воображай, понял? — Она горстью захватила его растрепанные волосы. — Так глазами крутишь, будто я тебе противна, а я не противна! Верно? Не противна. Наоборот. Вы врезались в меня по уши, господин де Бержерак! — Она хохотала, дергая его за волосы. — Дурачок! И не старайся убежать, не поможет... Тебе ведь хочется побить меня? А ты попробуй! Ты не думай, я ведь знаю, как ты за мной шпионишь! Мне бы следовало разозлиться, но у меня сегодня чудесное настроение. Такое чудесное, что, хочешь, поцелуй меня. Хочешь? Или, может, мне будет от ворот поворот? Я ужасно спать хочу, так что скорей...

Она округлила губы, приоткрыла их для поцелуя, притянула его к себе. Дышала ему в лицо винным перегаром.

— Ну, чего ж ты? Есть возможность — кради случай! Кради...

Он вырвался от нее в последнюю минуту, оттолкнул так, что она пошатнулась. Его что-то душило, глаза жгло от непролившихся слез.

— Ах, ты...

Он не дождался — пощечина сорвала слова с губ, привела его в чувство. Он повернулся и бросился в подвал, гремя ключами, а в спину ему хохотала Алена.

С той ночи они не сказали друг другу ни слова. Вот только сегодня.

III

Пишкот почесал свои рыжие патлы и сильно втянул воздух. Это был сигнал. Ребята, околавившиеся у шкафчиков за ступенями, почтительно стихли: знали, что сейчас будет. Пишкот своим удивительным хриплым голосом умел подражать тысячеголому реву, каким раздражается берлинский «Спортпаласт» во время сеансов массового гипноза: «Зиг ха-а-айлы!.. Ха-а-айлы! Зиг ха-а-айлы!» Это был его корочный номер, Пишкот отшлифовывал его до виртуозности.

— Блеск! — очарованно прошептал Бацилла, моргнув светлыми ресницами. — Можно поклясться, что слышишь радио...

— Не выношу я этого, — жалобно протянул «малышка» Густа. — Изобрази-ка лучше пьяного Буриана, ладно?

От этого номера Густа всегда помирал со смеху.

Польщенный артист не заставил себя просить и тотчас забормотал комично-гносавым голосом. Помрешь! Но этим репертуар его отнюдь еще не был исчерпан: сей прожженный скоморох охотно и талантливо изображал — для развлечения других, для изгнания скуки — все, что только его просили: грохот бомбардировщика, звуки сельского двора, включая бляение козы и щелканье кнута, равно как и последнюю речь Эммануэла Моравца, а то еще — что пользовалось особенной популярностью — невозможный немецкий акцент самого Каутце: «Рапотшие, трузья, дофаришчи. Тшас победы плисок...» Когда же Пишкэт завывал сиреной, то просто хотелось бросаться наутек.

Гонза выглянул в проулок между стапелями, успокоился. Горизонт чист, ни одного верищуца в поле зрения; Даламанек, мастер участка, сидит за своим столиком, подперев голову ладонями, клюет носом над ведомостями. Его никто не боится, Даламанек — фигура скорее комическая, кредо его проще простого: ничего не видеть, не слышать, как-нибудь переждать без вреда для себя, причем сохранить репутацию не только мастера и лояльного подданного протектората, но и добропорядочного цеха, который в жизни ни на кого не донес, хотя для этого нередко приходилось закрывать оба глаза. Порой только вдруг перепугается он чего-нибудь, и пойдет ковылять на своих кривых ногах между тесными рядами стапелей для крыльев, и шепчет людям в лицо — наполовину с угрозой, наполовину умоляюще: «Ребята, не дурите, господи твоя воля! Хоть показывайте, будто что-то делаете, я не собака, но ведь и у меня семья... Да если черт принесет сюда Каутце, меня же первого схватят. Давай, давай!» Рабочие относятся к Даламанеку с шутиливой снисходительностью, разве что иной раз кто-нибудь бросит ему ехидно: «Ты мастер, ну и вкалывай сам!» Никто не стремится скинуть его. Он далеко не худший из мастеров фюзеляжного цеха; есть среди них и настоящие мерзавцы, есть и телята; однако особой близости с ним рабочие не допускали.

Четыре часа! Под гулким сводом цеха притих адский грохот, хотя до конца смены еще далеко. Время от времени задребезжит где-нибудь одинокий пневматический молоток, потом другой — сменяют друг друга, чтоб создать для нежелательных лиц из заводоуправления иллюзию усердного труда. Трррра! Трррра! Привычная идиллия, когда можно без особой опаски слоняться по заводу, выкурить «бычка» где-нибудь в сторонке, поболтать с ребятами.

Время ползет невыносимо. Что делать? Нельзя ни читать, ни писать, ни думать — только ждать. Ждать, покрываясь ржавчиной от скуки. Гонза, зевая, болтался в пыльном проходе между распластанными крыльями. Задание на сегодня выполнено, а сверх того — пальцем не шевельнем! Мелихар куда-то смылся, да и сам Гонза давно бы смотал удочки, если б не обещал некоторым ребятам — они испарились — отбить их карточки.

В проулке между корпусами ветер швырнул ему в глаза пыль. В ти-

жом занутке за кузнечным цехом он наткнулся на шайку безобразников и от врожденной любознательности остановился посмотреть. Эта шайка рекрутировалась из одних тотальников; и, хотя душой ее был Пепек Ржига, в нее входило достаточно интеллигентных ребят, окончивших гимназию, сынков почтенных родителей. Они устраивали состязания в различных возвышенных видах спорта, например кто громче рыгнет, кто выше пустит струю мочи; признанным фаворитом был Башус из малярки — о нем ходил удивительный слух, будто он может по заказу пустить любое количество ветров. Считали вслух: раз, два... десять... двадцать... Рекорд!

Гонза вернулся в душное тепло фюзеляжного цеха. Там, прислонившись к железному столбу, стоял Павел — как обычно, угрюмый, погруженный в себя; был он высок ростом, широк в плечах, а руки всегда держал в карманах штатских брюк, которые протер еще паверняка за партой в восьмом классе гимназии. Штатская одежда — форма тотальников, ею они — впрочем, совершенно неумышленно — отличаются от кадровых рабочих.

— Ну как?

— Затянуться до смерти охота. У тебя нету?

Павел только плечами двинул.

— Выклянчил у Гияна малость самосада. Хорошей закутки не выйдет, разве что «фаустпатрон».

— Ну хоть так. Пепек продавал набитые гильзы. Десять за сотню.

— Шкура! Знаю я: сверху чуточку табаку, а дальше опилки из матраца. Меня он не облапошит. Хочешь, посидим в нужнике?

Они пошли рядом по главному проходу, разделяющему участки, и деревянные подметки их тупоносых рабочих башмаков стучали по пыльному полу; с левой стороны — двадцать высоких стapelей с подвешенными скелетами крыльев, которые покрывали серебристым дюралем; Гонза и Павел оба работали тут, это был тяжелый мужской труд. С правой стороны, на меньших стapelях, склепывали элероны и рули высоты. Этот участок назывался «Девин», потому что там работали женщины, главным образом девчонки-тотальницы. Это было место сосредоточения эротических помыслов, сюда, презрев угрожающие взгляды мастера, бегали на секундные свидания, чтоб договориться мимолетом или просто сорвать беглую улыбку.

Гонзе достаточно было бросить украдкой взгляд — и он тотчас нашел ее. Она склонилась над отверстием в элероне, светила лампочной своему напарнику, который работал внутри пневматическим молотком. Она стояла, прислонившись к стapeлю, и утомленно зевала. Свет лампы снизу желтил ей лицо, обрисовывая профиль. Гонза поймал взгляд Павла и, чтобы скрыть смущение, спросил прямо:

— Ты ее знаешь?

— Нет. Но, видать, порядочная.

— Почему ты так думаешь?

Павел пожал плечами.

— Слышал я, предлагали ей место в конструкторском. Тут хватает таких, которые пошли бы, а она отказалась. А ты ее знаешь?

— Откуда? — удивился для виду Гонза. — Знаю только, что зовут ее Бланка. И что никого к себе не подпускает. Может, просто задавала.

— Правильно делает. В этом хлеве шлюх сколько хошь. А у нее необыкновенные глаза. Ты заметил?

— Пожалуй, — сказал Гонза пересохшим горлом. — Кажется, да.

Мутные отсветы плафонов; куда ни посмотришь, за что ни возьмешься — грязь, пыль; всепроникающая смесь отвратительных запахов: кисловатый запах металла, одежды, грязных носков, угарный запах кузнечного цеха, серный — из термички. Пронизывающий холод, только раструбы на столбах продувают его потоками сухого тепла. Возле них можно после наступления утра согреть ооченевшие руки и ноги.

Фюзеляжный цех похож на гигантский ангар. К главному помещению, как паразиты к телу кита, примыкают помещения поменьше: склады, конторы, чертежные мастерские. Пулеметный перестук пневматических молотков, шипение сварки, протяжный воркующий звук электрических сверл, удары молота, голоса, голоса, стук деревянных подметок, хлопанье дверей, и сквозь все это траурное мычание гудка: ненавистное в начале смены, несущее облегчение в конце, а еще и трагическое: то падающий, то взвывающийся и все же исполненный надежды вой воздушных тревог. Таковы сложные голоса фюзеляжного цеха. Здесь склепывают части фюзеляжа истребителей, готовые оттаскивают в малярку и далее на сборку; раз в неделю на помятую траву аэродрома за заводской стеной выкатываются новенькие самолеты для «героической люфтваффе».

А внутри, разделенные на две двенадцатичасовые смены, вяло передвигались, отлынивали, скучали, прикидывались работающими и лишь в самом крайнем случае работали более тысячи человек. Однако слоняться, заложив руки в брюки, было небезопасно, хотя работы едва хватало на одну треть народа. Настоящих рабочих было меньшинство; основную массу составляли тотальники обоого пола, самых различных возрастов и профессий. Студенты и студентки, только что окончившие гимназисты, счастливы жертвенного двадцать четвертого года рождения, избежавшие милостью судьбы отправки в рейх, бродяги и робкие мечтатели, хрупкие девочки, вырванные из объятий любвеобильных мамушек, тарачившие в испуге свои глазенки на эту грубость и грязь, и рядом грудастые матроны, торговки, работницы предприятий, не удостоенных категорий «крингсвихтиг» *; розоволицая девственность рядом с вульгарностью проституток. Мелкие ремесленники и разносчики, подпольные изготовители пошлых картинок, закоренелые бездельники, толкователи библии по карманным изданиям, музыканты из баров, вышедшие в тираж спортсмены, сомнительные литераторы — пестрая, с бору да с сосенки, толпа людей, случайно занесенных сюда волнами тотальной мобилизации.

* То есть имеющие оборонное значение.

И все же фюзеляжный цех представлял собой лишь незначительную часть завода и даже относился к допотопной его истории. Напротив, за разбитой дорогой, лихорадочно возводилась новейшая часть завода, так называемая «двойка». Тысячи людей месили там грязь, лениво орудуя лопатами, все там бросалось на ветер, все разворывалось, там царил великолепный хаос, но требования тотальной войны почитались настолько священными, что стены гигантского предприятия все росли и росли, хотя положение немецких войск становилось все более критическим, и с каждым днем все меньше оставалось для них надежды, что продукцию нового завода успеют обратить против недругов «Новой Европы». Завод постепенно расплзался во все стороны, заглатывал участки полей, вспухал от притока все новых и новых контингентов — возможно, рос он уже только по чудовищной инерции.

Из дверей уборной достойной походкой вышел Капела с богемским шарфом на шее. Во времена немого кино он был тапером; звуковой фильм лишил его заработка. С тех пор он кормился малеванием одного и того же мотива Кампы*, который освоил с грехом пополам. Свои пошлые картинки он сам продавал по домам всем тем, кто желал за дешево приобрести «оригинал», исполненный маслом. Тихий, безобидный человек. У него было большое сердце, и потому его приставили к делу высшей специализации: терпеливо и достойно выстаивал он свои часы у дверей цеха, откатывал их, чтоб пропустить тележки, довольный собой, неприхотливый, как мышь, приветливый со всеми, как добрый боженька.

Павел пинком распахнул дверь в уборную и первым ввалился туда, оборвав гул голосов; люди, окутанные таким густым табачным дымом, что он казался осязаемым, как некое плотное тело, встревоженно обернулись.

— Гад, врывается, как веркшущ!

Желтоватый полумрак, струится вода, запах мочи, скверного табака и хлорки, атмосфера солидарности. Зимой уборная была единственным клубным помещением; здесь ты мог постоять, не преследуемый подстерегающими взглядами, поболтать, выкурить «бычка», а то и до спать на унитазах, уперев голову в ладони. Раньше можно было спокойно спать за запертой дверью кабинки, и спали там иной раз по четыре человека сразу. Но однажды все двери с кабинок оказались снятыми. Эта подлая мера тотчас была прокомментирована надписью, нацарапанной на штукатурке: «Гитлер нам не верит, будем срать без двери». Смех, крики, расследование, все с веселым удовлетворением наслаждались унижением веркшущев, которым пришлось приволочь ведро с известкой и замазывать двустежние, позорящее третью империю. Однако на следующий день оно появилось снова, и все повторилось; стишки множилось, становились все смелее, все ядренее. «Швейки!» — с отворачиванием плевался глава заводской службы безопасности, сам вели-

* Живописный уголок Праги, остров между Влтавой и речкой Чертовкой.

кий, хотя и плешивый, Каутце; и он пошел с последнего козыря: кабинки спилили до половины, в результате чего получились как бы ящики, над бортами которых потешно торчали головы, видные от самой двери.

Гонза с Павлом протолкались к окну, защищенному сеткой; они любили беседовать, сидя на калориферах отопления.

Павел высыпал в бумажку щепотку грубого самосада, ловко свернул и всунул в обкуренное отверстие вишневого мундштучка: «фаустпатрон» был готов.

Он зажег и подал «фаустпатрон» жадно ждущему Гонзе.

— Ну как? — начал тот разговор. — Прочитал?

— Прочитал.

— Ну и что?

— Думаю, как бы тебе сказать... Я ведь не специалист.

— Не важно. Давай ругай. Дрянь, правда?

— Почему? Мне кажется, написано даже хорошо, я только подчеркнул некоторые выражения. Они мне показались какими-то нарочитыми.

— Может быть. Я ведь не говорю, что выдумал новый стиль. Не Ванчура! *

— Конечно. А мысль интересная, — нерешительно проговорил Павел.

— Спасибо! Только...

Павел чуть заметно усмехнулся — видно, он тщательно подыскивал слова. Подхватил:

— Только... не могу понять, зачем ты писал. Спрашивал я себя — неужели ты пережил нечто подобное?

— А разве это необходимо? — упавшим голосом спросил Гонза. — Написал я это, наверное, потому, что мне эта мысль показалась интересной. Я понимаю, что тебя смущает. Вы, математики, все стремитесь втиснуть в какую-нибудь формулу. Какова мораль? Или: что хотел сказать поэт, так? От этого у меня навсегда отбили охоту еще в гимназии.

— У меня тоже, — невозмутимо поддакнул Павел.

— Вот видишь! Впрочем, я не собираюсь никого поучать. Навязывать свои мнения. Неизвестно еще, есть ли у меня они. Знаешь ли ты хоть что-нибудь настолько хорошо, чтобы сметь проповедовать это другим? Я — нет.

Павел отвел взгляд, недовольно нахмурился. Ему вовсе не хотелось начинать обычный спор.

— Почему же нет?

— Ты, может, и знаешь, — Гонза только скривил губы. — Но в лучшем случае знаешь ты какую-нибудь математическую истину. А что еще? Идеи, в которые должны уверовать люди? Не знаю таких. Я проглотил немалую кучу книг, кое-что понял, кое-что, вероятно, нет и нашел в них кое-что интересное. Но что существенного было сказано

* Выдающийся чешский писатель-коммунист. Казнен гитлеровцами в 1942 году.

о человеке как об индивидууме? Что определенного? А он — существует! И до сих пор не раскрыт, и раздираем смятением, и страдает, как собака, и ничего не понимает. Дрожит от холода посреди подобных себе. И дна ему нет. Ни границ. И все есть в нем, все в куче, вперемешку, ангел и дьявол, поэзия и преступление, Девятая симфония Бетховена и убийство. Достоевский знал это.

Павел старался выковырять из швов кармана хоть несколько крошек табаку; он сердито перебил Гонзу:

— Ну ладно! Я не знаю. Но о чем же ты тогда собираешься писать?

Взволнованная тирада Гонзы была ему чем-то неприятна, казалась пустопорожней, по-книжному высокопарной. Особенно по контрасту с обстановкой. «Закрой, дура, — окликнул кто-то кого-то. — Или у тебя оглобля в зад?»

— В общем-то и я как следует не знаю, — погас было Гонза, но сейчас же снова воспрянул духом. — Лгать не буду. По крайней мере сознательно. Ты, верно, думаешь, он это где-то вычитал. Может быть! Просто хочется мне писать о людях. Как я их вижу. И не более. Мое свидетельство, пусть не очень нужное, но мое. Никаких рецептов. Меня оторопь берет при виде исписанной бумаги. Человек, наверное, сложнее всех уравнений, вместе взятых. Я не жалуюсь — если б было наоборот, было бы, возможно, куда ужаснее. Он тайна. Пожалуйста, смейся сколько хочешь! А я всегда страшно любил читать об альпинистах. Зачем поднимаются люди на Эверест? Что они там ищут? Тайну? Может быть. И лезут, лезут за этой тайной, как муравьи, мерзнут, головы себе разбивают, мучаются как собаки, а там, наверху-то, ждет их одна пустота, да мороз, да оползни... может, смерть. Это меня всегда волновало. В том, что валяется под ногами, как лошадиный помет, не вижу никакой ценности. И поэт вовсе не призван вскрыть эту тайну, как анатом, разложить ее по полочкам, втиснуть в точно ограниченные формулы. Поэт не реформатор и не мессия. Скорее он сомневающийся. Достаточно лишь чуть-чуть приоткрыть завесу, осветить... Хоть на долю секунды!

Он внезапно умолк, покраснел от смущения.

Павел нетерпеливо поерзал на калорифере. Чугунные ребра труб врезались ему в зад, желудок сводило от голода.

— Ну что ты расстраиваешься? Я, может, действительно в этом не разбираюсь...

Он почувствовал напряженный взгляд Гонзы и сник. Господи, как будто ждет смертного приговора! Где взять слова, достаточно деликатные, чтоб высказать все — и не ранить человека! Проще всего было сказать: «Здорово, Гонза, я от восхищения рот разинул. Будущий Бальзак!» Но нет, нет, он не заслужил такой грубой лести, в сущности он славный парень, хоть и чумовой немного, какой-то одержимый... И вечно одно и то же. Зачем он сует мне свои произведения? Скорее всего мое мнение и не нужно ему, просто сомнения его раздирают, вот и дрожит он над каждым словечком похвалы, будто от этого вся жизнь его зависит!

— Скажи, почему ты не пишешь о том, что знаешь? — подошел он с другого бока.

— Например?

— Ну, хотя бы об этом вот.

Гонза возмущенно вскинул голову.

— Обалдел! О чем писать, скажи на милость? Как я тут заживо гнию? Да что тут, по-твоему, делается? Не жизнь ведь это, просто оцепенение какое-то! Тут человек только ждет, связанный по рукам и ногам и до того ненужный, что с ума сойти... Ты этого не чувствуешь разве?

Павел не ответил; склонил голову, стиснул зубы.

— А я чувствую именно так. Никогда я не чувствовал себя таким ненужным, как здесь. Тотальное дерьмо... Сколько лет пошло к черту под хвост? Мы могли бы уже что-то делать, куда-то уехать, пусть ко всем чертям, пусть башку разбить, или кого-то встретить, что-то сказать ему... вообще могли бы жить! А тут? Да если не бежать отсюда хоть в писанину, если не выдумать для себя какой-то другой мир — окончательно рехнешься! Хоть бы стреляли тут, что ли, хоть бы бомбы бросали на этот курятник... Ты что?

— Все думаю о девушке из твоего рассказа...

— Ну и что?

— Не знаю. Не верю я, что она любила того человека.

— Почему?

Павел уставился на исчерченную стенку, словно выискивал свой ответ среди непристойных стишков и неумело выцарапанных рисунков.

— Точно не скажу, а только не любила, — повторил он с таким упорным несогласием в голосе, что Гонза удивился. — Понимаешь... есть в ней какая-то искренность, она только играет в любовь. Если б любила по-настоящему — вернулась бы. Потому что гордость ее — только жест. На эффект бьет. Ты не сердись, не поверил я ей... и вообще всему. Ты это чувство выдумал. В настоящем-то больше... тишины, что ли...

Он прямо-таки с облегчением вздохнул, когда кто-то заглянул в дверь. В уборной воцарилась испуганная тишина; потом дверь снова закрылась, кто-то свистнул облегченно. Произнесенное шепотом ругательство было смыто хриплым смехом. Человек, спавший в соседней кабинке, сполошно вскочил со сна, выругался, застегивая ширинку.

— А что, если это всякий раз по-иному? — вяло возразил Гонза на последнюю реплику Павла.

— Все-таки что-то, пожалуй, есть и общее.

— Может быть, — опустил глаза Гонза. — Но что?

— С тобой это когда-нибудь бывало?

Гонза поежился, захваченный врасплох прямым вопросом. Никогда больше не дам ничего читать Павлу — ручаюсь, у него всегда было отлично по математике! Чем мой сюжет так рассердил его? А что я, собственно, о Павле знаю? Гонза досадливо сплюнул в водосточный желоб.

— Понятно, — довольно едко проговорил он. — Пожалуй, не бывало. Врать не хочу. Я даже не уверен, что нечто подобное вообще существует у людей... Постой, дай мне докончить. Может быть, это одно только жалкое желание, а его моментально заворачивают в тонкую бумагу, в слова и вздохи, обкладывают ватой, чтоб не видно было животное, и называют: любовь. Слово из тумана, а за ним суеверия, тонны фальшивых чувств, жиденькая поэзия, после которой наступает похмелье...

— Тогда зачем ты об этом пишешь? — перебил его Павел, прыгая с калорифера. — Вот чего я не могу понять.

— Да в общем-то я и сам не понимаю, — тихо сказал Гонза и усмехнулся. — Может, затем, что тоскуешь о чем-то таком... Вот и выворачиваешь нутро словами.

Меж ними наслаивалась тишина, в ней — пустота разочарования; пронесся над крышами истребитель и затих вдали, а сумрак, сгущавшийся за треснувшим стеклом, легко заползал в души.

— Ты на меня обиделся?

— За что? — звучало это неискренне.

— Может, я действительно сделал тебе больно.

— Нет. Ты прав. Я способен признать это. Рукопись здесь?

Павел вытащил из нагрудного кармана несколько сложенных листов, захватанных по краям, и молча смотрел, как Гонза, стиснув челюсти, с излишней энергией стал тщательно рвать их в клочья.

— К чему такая демонстрация? — спросил Павел, нахмурившись.

Гонза молча бросил обрывки в унитаз, спустил воду и только тогда обернулся к Павлу с кривой усмешкой.

— Вот и все! Не правда ли, точь-в-точь трагедия матери, которая вдруг сообразила, что родила кретина. И сразу легче дышать, понял? Но писать я все равно буду.

Дверь распахнулась, в проеме появился румяный блин — физиономия Даламанека. Мастер протолкался к ним поближе и набросился на Павла:

— Ты что, сдурел? Хочешь на меня беду накликать? Я тебя ищущу, с ног сбился, а ты...

— Пожар, что ли? — спокойно проворчал Павел. Он стоял перед мастером, возвышаясь над ним на целую голову, и невозмутимо разглядывал его.

— Кончай тут и — марш в контору. Спрашивают тебя.

Павел не торопясь вытащил руки из карманов, едва заметным движением плеча дал знать Гонзе, что понятия не имеет, в чем дело. Но не успел он и шага ступить, как Даламанек ухватил его за отворот пиджака и шепнул, приблизив лицо:

— Послушай... уж не натворил ли ты чего, бездельник этакий?

— А как же, — Павел оттолкнул его, дерзко ухмыльнулся. — Подложил динамит под этот бардак, если уж хотите знать, пан мастер. Не забудьте уши заткнуть, когда взорвется. — добавил он с совершенно серьезным видом и пошел, плюнув на ходу в желоб.

Теперешняя владелица виллы, или «милостивая пани», как ее неуклонно величали в подвале, приняла Войту в такой просторной комнате, что в ней без труда можно было бы давать уроки танцев.

Она сама открыла ему дверь, всплеснула руками.

— А, это вы, Войтишек! — воскликнула она со счастливой улыбкой, будто впускала самого ангела-хранителя, и тут же чуть-чуть зарделась. — Не знаю даже, можно ли вас еще так называть. Вы ведь уже взрослый мужчина... Я очень жду вас, войдите, пожалуйста. Надеюсь, я вас не отрываю...

Она порхнула в комнату, шелестя шелком халата.

Войта поплелся за ней, как служка за ксендзом; он начал подозревать, что дело будет необычное. Неужели же это она так старается ради какой-то ржавой колонки?.. Войта редко и всегда неохотно переступал порог хозяйской гостиной — ну, разве принесет лампу для радиолы или пойдет выпустить воздух из калориферов. Через широкое окно открывался вид на город, лежащий в золотистом свете предвесеннего утра. Торжественная тишина... Почти всю стену занимала картина маслом: нагая женщина раскинулась на подушках в бесстыдном экстазе — говорят, копия со знаменитого оригинала. «И как им на такое безобразие смотреть не стыдно», — поражалась мать всякий раз, как вытирала раму. В гостиной, куда ни глянь, статуи, статуэтки; пепельницы, до того тяжелые, что можно убить человека. Все эти дорогие безделушки приводили Войту в смущение, ноги его утопали в коврах, шаги делались неслышными по-кошачьи, и он сам себе казался до невозможности неуклюжим.

— Садитесь, Войта, — плавным жестом она указала на кресло, сама устроилась на пуфе напротив.

Он послушно присел на самый краешек, стал чинно ждать.

— Я бы предложила вам чашечку чаю, да газ закрыли. Ох уж эта война! У меня даже сигарет нету...

— Если вы не обидитесь...

— Ну что вы, конечно, не обижусь, мой мальчик, — ласково засмеялась она и без стеснения взяла сигарету. — Хороша хозяйка, а? Стыд, позор!

Войта смотрел, как элегантно держит она сигарету тонкими пальцами, как выпускает дым. Все в ней, собственно, было приятно и красиво, ему казалось — она живет окутанная ароматным облаком, в крупной скорлупке, герметически отделяющей ее от сурового мира. И вместе с тем она не была чопорной, этакая приветливая щебетунья, Войта ни разу не слышал, чтобы она кричала или сердилась. Ничего дурного он за ней не знал. К матери она относилась с дружеской сердечностью — ведь это была их Фанинка, к нему — с неизбежным превосходством пожилой дамы. Несмотря на свои сорок пять лет, милостивая пани могла похвалиться белоснежной кожей, гибкими движениями, фигурой стройной, хоть и полной, и говорила она глубоким, ласкающим альтом. Когда-то она прилично пела и, пока не надела вдовий убор,

прилично играла в теннис. Войта, мальчиком, резво бегал по двору, подбирая мячи. Милостивая пани! Его чувство к ней было смесью глубоко вкоренившегося почтения, застенчивости и сдержанного безразличия, как к существу другого мира, с которым трудно, да скорее всего и нежелательно, завязывать сколько-нибудь более близкие личные отношения.

Покурили молча. Милостивая пани наслаждалась, смаковала сигарету; смотрела на Войту с добродушной улыбкой, но вместе с тем пытливо.

Он беспокойно поежился и решил сам начать разговор:

— Колонку-то в Полеградах я почию... — Собственный голос показался ему слишком грубым, плебейским, и, смутившись, он пояснил: — Прокладки новые нужны...

Она усмехнулась, грустно кивнула.

— Хороший вы, Войта, спасибо, что о нас не забываете. Но тут время терпит. Видите ли... дело в том, что у меня теперь совсем иные и, к сожалению, более серьезные заботы. О них-то я и хочу с вами поговорить.

— Со мной?

Милостивая пани улыбнулась, как застенчивая девочка, отвела глаза.

— И даже только с вами. Вы удивляетесь, правда? Я была к этому готова, но другого выхода у меня нет. Иной раз жизнь подстраивает нам странные штуки — вы сами знаете. Я вообще не решилась бы даже начать этот разговор, если бы не знала вас, ваших родителей, если бы мы с мужем не любили вас всегда.

Войта не понимал, к чему такое торжественное начало. Вид у него был не очень-то умный.

— То, о чем я вас буду просить, действительно вещь необычная! Для меня — тоже. Но уверяю вас, я это... мы это хорошенько продумали и взвесили. Быть может, моя просьба покажется вам дерзкой, но очень прошу вас — примите ее как просьбу друга, который не знает, что делать. И еще, уверяю вас, если вы, подумав, скажете «нет», ничто не изменится в отношениях между вами и нами. С нашей стороны я могу заявить об этом твердо...

— Но о чем речь?

Милостивая пани склонила голову, потом встала, раздавила окурки в граненой пепельнице — пальцы ее чуть дрожали. Медленно отошла к окну, посмотрела в него, углубленная в трудные мысли; провела рукой по сетчатой занавеске, словно ища в ней опору. Молчала.

Войта чувствовал себя неловким актером в коварной светской драме.

Милостивая пани обернулась от окна; ее глаза теперь пристально и вопросительно смотрели прямо ему в лицо.

— Речь об Алене.

Он поднял брови, сглотнул слюну — так удивился.

— С ней что-нибудь случилось?

— Пока ничего. — Милостивая пани быстро отошла, села напра-

тив него, сцепила пальцы. — Пока ничего. Но так не может долго тянуться... Как вы знаете, она до сих пор посещала курсы. Теперь грозятся эти курсы прикрыть. Их даже наверняка прикроют, это известно нам из достоверных источников. Алена, как и вы, родилась в несчастном двадцать четвертом году. Что это значит, не мне вам объяснять. Тотальная мобилизация и отправка в рейх!

Как только вырвались у нее эти зловещие слова, выдержка изменила ей.

Войте от души было жаль ее. Он огорпело смотрел на взрыв материнского отчаяния, оно казалось ему несколько преувеличенным — сколько ребят и девочек туда потопало, но женские слезы всегда повергали его в смятение. Он беспокойно заерзал.

— Простите, Войта... но я все ночи только об этом и думаю! — Она прижала к глазам батистовый платочек, плакала тихонько, элегантно. — Я за нее боюсь больше, чем за собственную жизнь. Эти ужасные палеты, разруха, болезни... А если приблизится фронт? Везде голод, грязь. И потом — она такая беспомощная, это я виновата, она у меня избалована, вы ведь знаете ее — доверчивая, легкомысленная! Да я умру от страха, если... Ах, дети, несчастные дети! Что с вами будет? Когда же, господи, кончится этот ужас! — Милостивая пани так и вспыхнула: — Хоть бы он сдох, этот страшный безумец!..

— Успокойтесь, милостивая пани, — попросил Войта, сделав неопределенный жест.

— Я знаю, я невозможная, такая малодушная... Правда? Другие матери тоже ведь боятся за своих детей, а я тут сцены устраиваю...

Она взяла себя в руки, отерла слезы и послала Войте жалостный взгляд.

— Но... я не понимаю, чем я могу... — пробормотал он.

— В самом деле не понимаете?

Она наклонилась к нему с видом человека, который размышляет, и, комкая в руке мокрый платочек, заговорила. Дело действительно было скверно. Она уже советовалась со своим юристом.

— Вы ведь знаете доктора Годена? — Войта его знал. Он часто его теперь встречал здесь. — Это давнишний друг моего покойного мужа, следовательно, он больше, чем юрист. Он предпринял кое-какие шаги, но все это висит в воздухе, все так неопределенно, без всякой гарантии, что поможет; в управлении труда что-то произошло, теперь у него там нет знакомых, и все боятся. На медицинскую комиссию тоже положиться нельзя, там все немцы, а Алена, слава богу, здорова как репка. Доктор Годек тщательно изучил все возможности. — Милостивая пани сделала паузу перед последним аккордом, опять жалобно посмотрела ему в лицо. Потом снова сцепила нервные пальцы, отвернулась. — Из этого несчастного положения есть один только выход, дающий надежду — нет, даже уверенность в успехе. Правда, и он не спасет ее от работы на заводе, но это уже не страшно. Работают же другие. Зато останется дома. Единственный шанс для Алены, Войта...

— А именно?

— Замужество.

Среди изумленной тишины дорогие часы в углу комнаты пробили мелодичным звоном, Войта невольно оглянулся на них. Что она сказала? Замужество... Но мне-то что до этого? Вдруг его пронзила невысказанная догадка — ни за что на свете он не решился бы высказать ее, такой блаженной, невероятной была эта мысль.

— Вы хотите сказать... — выдохнул он и осмелился поднять глаза. Она поощрительно улыбнулась.

— Наконец-то сообразили...

Встать, уйти! Пока не поздно. Он грубыми ладонями сдвинул лицо, ему не хватало воздуха. Не позволю им делать из меня шута. Смех. Блестящие зубы. И голос: «Вот как — изобретатель в роли дворника!» Так вот причина неожиданного примирения! Бедняжка, как ей, видно, пришлось пересиливать себя! Его охватили горькая жалость, гнев, лихорадка сомнений. Доверчивый болван!.. Возвращаешься утром с завода, ничего не подозревая, а тебя хвать — и сидишь тут теперь дурак дураком. Возьми же себя в руки! Остаться бы одному, одному... Мысли вихряются в голове, словно сухие листья... Возможно ли? Алена! Но что, если, спрашивает сомнение, что, если я несправедливый, тщеславный воображала? И эта женщина, милостивая пани... Ее пристальный взгляд покоится на нем, как легкая ладонь. И опять не решился он поднять глаза, даже когда голос ее погладил его из теплой дали.

— Вот видите, Войта, — усмехнулся этот голос, — думали ли вы когда-нибудь, что я однажды, предложу вам руку своей дочери? Да, жизнь подстраивает иной раз странные шутки...

Войта откашлялся.

— А она... Она знает?

Милостивая заколебалась. Встала, медленно прошла, сжимая виски кончиками пальцев, потом повернулась, открыто сказала:

— Да. Знает.

Он зябко протянул:

— Почему именно я?

— Причин много. Во-первых, у Алёны нет серьезных знакомств. Пока у нее только безобидные развлечения, не более. После войны она будет учиться дальше, мы ведь и не думали о замужестве. — Голос ее звучал то ближе, то дальше, вился над ним, как шарф, обвинял мозг. — Слушайте, Войта, будем говорить откровенно! Не следует смотреть на это слишком серьезно, важно ведь только спасти ее, не больше. Помочь. Если вы не захотите, вас этот шаг ни к чему не обяжет. Это уж ваше с ней дело. А конец войны не за горами. Все это может быть просто... формальностью, понимаете?

Слишком внезапно все это обрушилось на него.

Она кружила вокруг него по пушистому ковру, голос ее мягко проникал ему в мозг, от голоса исходила спокойная убедительность — и все же Войта не находил в себе решимости ответить. Голова трещала.

— Не знаю точно, каковы в последнее время ваши отношения с ней, но мне кажется, они уже не так теплы, как раньше, когда вы были крошками. Ведь вас, бывало, водой не разольешь, прямо как двойняшки — конечно, люди меняются, тем более теперь; и все же

я надеюсь, что вы ее любите, хотя бы как давнюю подругу детства. Или я ошибаюсь?

Она остановилась у него за спиной, а он все молчал, молчал, уставившись на пестрый узор ковра; тогда она положила ему на плечо неземной легкости ладонь. Войта не смел шелохнуться.

— Я не хочу принуждать вас, Войта. Не имею права. Все зависит от вас одного. Никогда не допущу, чтоб вы ответили мне сразу, необдуманно, чтоб вы совершили поступок, в котором позднее раскаивались бы. Знаете что? Подумайте-ка об этом на покое, а потом мы обо всем поговорим. Завтра, ладно?

Он выкарабкался из объятий кресла и неуклюже двинулся к двери, пробормотав «до свидания». Дверь закрылась за ним бесшумно, он стоял на лестничной площадке, взгляд его скользнул по красному дереву перил; потянуло съехать по ним — удержался.

Схватил себя за волосы, подергал. Нет, не спит!

Вот история-то! А когда он достойно и медленно спускался по ступеням, входная дверь распахнулась, в вестибюль ворвалась Алена, портфель под мышкой, волосы раскиданы ветром, лицо красное от бега... Она насвистывала по-мальчишечьи и была такая хорошенькая! Заметив его, нахмурила брови, заколебалась, но тут же решительно пошла по ступенкам наверх, навстречу ему. Они встретились на середине лестницы.

Алена оперлась на перила и начала разговор с непривычной серьезностью:

— Слушай... ты был у мамы?

— Да.

Она вопросительно посмотрела на него, смущение пробежало по ее лицу.

— И... вы говорили об этом?

— Да.

Он не отвел глаз, только переступил с ноги на ногу; он немножко мучил ее, сознательно — это доставляло ему какое-то смутное удовольствие. Алена утратила спокойствие, потупилась, закусилась нижней губу, двинулась было своей дорогой, да вдруг повернулась и схватила Войту за мятые лацканы пиджака.

— Войтина, я знаю, что ты думаешь! — воскликнула она с несчастным видом. — Ты вправе так думать, но... это не так! Нет! Поверь мне хоть в этом. Я, может быть, шальная, иногда, наверное, бывала и злой, но... не это. Не грязь. Я всегда любила тебя, хотя... И сегодня утром я вовсе не врала. Слушай, обещаю тебе, — тут она трянула его, будто дело шло о спасении ее жизни, — обещаю тебе, что не сделаешь этого... если по-настоящему не захочешь! Ты должен обещать мне! А то все испортишь, понимаешь? Тогда уж лучше взять мне узелок да добровольно махнуть в рейх. Пожалуйста, обещай мне!

Ну что тут будешь делать? Он еле-еле опаматовался, снял ее руки со своих лацканов, сжал их в ладонях. Руки были холодные, пухлые и легкие, и ему захотелось согреть их, подышать на них, погладить ее по растрепанным волосам, поцеловать ее глаза; глаза смотрели на

него снизу, такие влажные, умоляющие, такие синие — он узнал их: то были глаза девочки в летнем платице в синюю крапинку.

— Ладно, обещаю, — буднично проговорил он, подавляя растроганность. — Факт... Ну, ну, хватит...

Он оставил ее, немного упавшую духом, и пошел вниз на ватных ногах, а на его простом лице вспыхивали и гасли робкие улыбки, какими улыбаются только люди, захваченные врасплох неправдоподобным счастьем. Но Алена их уже не видала.

Под лестницей он остановился и, не снимая руки с перил, крикнул наверх:

— Эй! Передай маме... то есть милостивой пани... что я это... согласен, ладно? И не бойся больше!

— Войтина!

Он не успел перевести дух, как она слетела вниз падающей звездой, впилась губами ему в рот.

— Ох ты... — прошептала восхищенно, зарывшись пальцами в его волосы. — Я знала, ты pomoжешь... честное слово, знала...

Немного погодя, когда он, чтоб успокоить мысли, возился в своем чулане с проржавевшим мотором, у него за спиной открылась дверь. Он знал — это мама.

— Чего было нужно милостивой пани?

Не оборачиваясь даже, он сказал будто так себе:

— Да ничего особенного. Она только хочет, чтоб я женился на ихней Алене.

V

...Слова, слова, слова. Павел прав: фразы, высокопарные, завитые, стилистические экзерсисы... На вид ужасно тяжеловесно, а постучи — отзовется пустотой. Видно, нет у меня того, что называется талантом. Так просто, валяю дурака, балуюсь, порчу по вечерам бумагу — на доске для глаженья, под слабой лампочкой.

«Смотри, глаза испортишь, Енка!» — это мама. Она, пожалуй, права! Но разве мог я иначе? Наверное, у меня своего рода тихое помешательство, одержимость, за которую, к счастью, не надевают смирительной рубахи. Сколько раз уже приходил в отчаяние от тягостного чувства, что ты жалкий графоман, переводишь бумагу, вымышляя все новые сюжеты-ублюдки, все новые фигуры, которым никто не верит. Хочешь бежать и вновь возвращаешься к гладильной доске с лихорадочной дрожью внутри, с сумасшедшим предчувствием, что сейчас, вот сейчас наконец-то высидишь что-то такое, чего никто еще не написал... Надуманное? Прав ли Павел? Прав. Не лги самому себе! Так и быть, признайся, брат, ведь твой несчастный шедевр уже в канализационной трубе...

И что значит «пережил»? Могу противопоставить этому тысячу аргументов: слово «искусство» — от «искусности», а не от «переживания!» Латинское «агс» — как удар мечом, беспощадно! Так-то, Павел. А что я успел пережить?

Например, такой заголовок: «Моя жизнь». Звучит довольно смешно!

Место действия: крутая улочка на окраине Виноград. Если она чем-нибудь и отличается от других улочек, так только тем, что солнце появляется на ней вдвойне неохотно и на очень короткое время. Это мой мир, мир ветшающих доходных домов с обитыми углами, стертыми фризами и ненужными башенками — наследием стиля «сецессион»; кроме домовладельцев, богатые люди тут не живут, но нет тут и настоящей бедноты, скорее скучное, пропыленное мещанство. Разбитая мостовая и морщинистые каштаны, раз в году издающие слабый аромат. Здесь мальчишки на спор играют старым теннисным мячом — кто больше подбросит его «головкой». Лестница с захватанными перилами, с неистребимым запахом жареного лука и стирки. В гимназии — изрезанная парта: ее доска многим поколениям служит полем для настольного футбола. Тацит, трепет перед математикой, споры с учителем литературы во время разбора «Мая»*, выпускные экзамены. Аттестат можешь спрятать теперь куда-нибудь подальше.

И — дом. Это значит: комната с кухней, водопроводная раковина и клозет в коридоре, без света, без уютного тепла, продавленная кушетка на кухне и окно, глядящее в такие же, не менее обыденные окна. Вдохновляющий вид на банки с вареньем, с маринованными грибами, на ящик с фуксией, на цветы в горшках. Мама, да дед, пресловутая фотография незнакомого человека, якобы моего отца, и ухажеры, самоотверженно качавшие меня маленького на коленях. Тягостное чувство, что ты обуза. И книги. Книги и еще раз книги. Глотаешь одну за другой... Фантастический, нереальный мир, ароматы чужих судеб, головокружение, упоение прочитанным. Потом — угарные мечты, томление созревающего тела в душные ночи, свидание с девчонкой, на которое мчишься, дрожа от нетерпения; в темноте кинозала пальцы так крепко сплетены, что делается жарко и потно, и неумелый поцелуй в подворотне; навязчивые мысли о женском теле, неотвязное чувство стыда; потребность подвига, потребность отличиться, ковбойские фильмы с Томом Миксом на детских сеансах... Потом время всего первого: первая бритва; первая сигарета, от нее слезы градом; первая девушка...

Первая девушка — это Итка: больше чем товарищ, меньше чем любовница, нечто весело хохочущее, чудесно несложное, возле нее сладко таешь, не думая ни о чем, с ней хорошо, но и без нее не испытываешь никаких мучений — первая моя Манон, в настоящее время проживающая в Эшбахе, Саксония. Строго говоря, не хватало самой малости, чтобы я не познал этого с ней, она была не против, и со мной ей было бы не так страшно, как с другими.

«Сегодня вечером наши уходят в кино», — шепнула многозначительно и отвела глаза. Странная дрожь охватила нас, чтоб справиться с ней, мы нервно смеялись. До сих пор в ноздрах у меня совсем детский запах ее маленьких грудок, вдруг скользнувших мне в ладони. Они казались мне ласковыми, подвижными зверюшками, и я совсем не знал, что мне с ними делать. Нам всякий раз мешали звуки с лестницы.

* Поэма чешского поэта-классика XIX века Карела Гинекы Махи.

По ней все время ходили: «Шаги, опять шаги, слышишь? А вдруг это наши возвращаются раньше времени? Господи, пусти!..» Жаль, что я не познал этого именно с ней. Жаль, страшно жаль!

А потом книги, книги. Они тебя мнут, месят, убаюкивают, и вдруг в их шепот ворвалось: мобилизация! Улицы заволновались толпами, что-то выкрикивают, куда-то идут, но тебя это не касается — брысь отсюда, щенок! Дед воодушевился, заговорил в нем старый пулеметчик: та-та-та, и немецкие дивизии валяются, как скошенные, за что дед заслужил в доме прозвище «горломет»; пан Кубат и еще несколько соседей были призваны, прославлены и оплаканы, но скоро вернулись; махнули рукой: один обман!

А дальше...

В слякотный мартовский день выкатываешься после дневного сеанса — как еще называлась та белиберда? «Лизин полет в небо», что ли? — а по знакомым-презнакомым улицам разбрызгивают снежное крошево и х мотоциклы. Так вот они какие! Гонза почему-то представлял их себе с рогами и хвостами, как чертей, и вот они тут, и вид у них жалкий, рожи заляпаны грязью, они не смотрят по сторонам, будто им стыдно в чужом городе, а мотоциклы трещат, дребезжат по торцам мостовой... «Ну и рухляды!» — крикнул кто-то из толпы, кто-то поднял кулак, еще кто-то заплакал, а у фонарного столба поднимал ножку дрожащий линчер. И застрянет же в башке всякая ерунда. Позднее оказалось, что немецкие машины далеко не рухлядь, но все это как-то не очень тебя трогает, разбираешься в этом как свинья в апельсинах, живешь себе кузнечиком в траве, и все твои проблемы не выше стебля. Перемены во всем. Но ты осваиваешься и с ними, учишься в школе прогуливать их проклятый немецкий. А его в нас впихивают по двенадцать часов еженедельно, и верхом и низом. Возьму вот да назло забуду, когда все это кончится, нарочно буду учить английский и русский! Ни звука по-немецки, дайте только распрощаться со школой! Вот какой герой! А потом привыкаешь, перестаешь удивляться. Киножурналы крутят по целому часу — фанфары, барабаны... Опять потопили столько-то тонн водоизмещения и отразили бешеный натиск большевистских орд... Трепитеесь, трепитеесь! А там Москва, и Африка, и Сталинград, и вот вам — здорово живешь! — уже везут миленьких, уже союзники им накостыляли по шее, и геронческий вермахт вагонами волокут с зимнего фронта. Полюбуйтесь! Лапы в лубках, хари, заштопанные, как старые носки, расплзлись по всему городу, ковыляют на костылях... Как это по-русски?.. «Да здравствует...» Ох, скорей бы! А что ты? Что ты можешь? Ни фига! Ученье в школе никто не принимал всерьез — какой уж тут синус-косинус! Математик бормочет что-то по-немецки и, видно, сам себя не понимает, на задних партах дуется в карты, дисциплина ни к черту... А под партами совсем неплохо можно устроиться и читать. Бальзак, и Кулен, и Ванчура, и Ницше, и Чехов, и Бретон, и Селин — все, что случай сунет тебе в руки; и бродишь по пустынным улицам, шепча стихи, — они живут в тебе, десятки их, сотни, ты их смакуешь, упиваешься метафорами: Галас и Ортен, Тереза Планэ и Рембо, и... И читаешь,

и лишешь, изводишь груды бумаги и бьешься, и мечтаешь о том, какие ты сотворишь прекрасные произведения! Но в один прекрасный день выставляют тебя из школы, и оказывается вдруг, ты — взрослый. Кончилось для тебя это тепленькое затишье, и перед тобой встает жизнь. По какой-то неисповедимой случайности — теперь ведь, собственно, все случайность и бессмыслица — трудовое управление не отправило тебя в рейх, мама вздохнула свободно, а для тебя это тьфу! Поначалу ты чуть ли не предпочел бы катиться пусть хоть к черту в пекло. Что-нибудь происходило бы. Боялся бы, трясся бы от страха перед бомбами, которые там сыпались бы тебе на голову, как Карлу и Миреку, или... в общем по крайней мере ты хоть что-нибудь увидел бы, пережил, вырвался бы из этой мертвящей скуки... Потом потащили тебя по разным канцеляриям: беглый медицинский осмотр (важны только руки и ноги — ум, знание латыни не требуется, нужна только преданность рейху), и сунули в какой-то древний гараж, рядом с вонючей бойней, и там выучили на слесаря, жестянщика, сварщика — всему понемногу, а в общем ничему толком. И там ты портил железо своим напильником, отлынивал, часами трепался с теми, кого постигла та же судьба, марал стешки на верстаке, ругался, плевал — кто дальше, успешно опускался и не только не противился этому, а даже наоборот: свой протест выражал тем, что нарочно ходил в самых драных обносках деда, а разговаривал, как погонщик скота. С известным успехом в течение известного времени прикидывался больным — сначала ревматизм, потом желудок: чрезвычайно увлекательная борьба с врачебной комиссией, но всему приходит конец. Всему.

В один прекрасный день втолкнули тебя в крытый грузовик и вместе с другими тотальниками вывалили в октябрьскую слякоть прямо перед главными воротами вот этого самого завода. Фью-ю-ю, ребята, далеко-то как! И — смены по двенадцать часов, днем и ночью, мать родная! Полтора часа сюда, полтора обратно, спасибо, не хочу! Что же останется на жизнь? На сон? На встречу с ребятами и кафе? На чтение? На писание? Все пропало! И вот опять: канцелярия, ожидание перед дверью, за которой стучат на машинке, потом тебе присваивают номер, вручают пропуск, вталкивают в какую-то непонятную машину, чик-чик, сняли в фас и в профиль, как преступника, и не успел ты опомниться, как тебя уже вовлекло в этот ад. Тебя ошеломило, оглушило грохотом металла, в первую минуту даже лиц человеческих не различаешь: все они одинаковые, и ты чувствуешь себя, как Иона во чреве китовом.

Первый день был самый тяжелый. Даламанек старался напугать на себя важность: мастер веды! Потащил он меня по проходу между сталелей. Я спотыкался обо все на свете и чувствовал себя как тележок, которого волокут под топор.

— Мелихар! — заорал Даламанек, чтобы перекричать шум. — Получай подмогу! Ученый, интеллигент, гимназию окончил, слышишь? Смотри не испорть мне его! В чем дело?

Из-под крыла вылезла гора мяса — плечи, мышцы — и все росла, росла... Циклоп! Он повернул к нам плоское чумазое лицо, снизу об-

литое светом переносной лампочки. С первого взгляда это лицо внушало страх: сляпанное из морщинистых подушечек, не старое, не молодое, оно смотрело на меня сквозь глубокие щелки маленькими глазками, в которых ничего нельзя было прочесть. Впрочем, по мне эти глазки скользнули бегло, незаинтересованно.

— Да ты что, рехнулся? — рявкнул он на Даламанека и швырнул молоток в ящик с инструментами. — Шут гороховый!

Даламанек меланхолически стал его успокаивать:

— Бери, что есть, Йозеф, ничего лучшего у меня не будет, — и похлопал гиганта по мясистым буграм плеч, норовя поскорее улизнуть от грозы.

— Других дураков поищи! — ругался великан, вращая кулаками под носом у мастера. — Ты только взгляни!

Он показал на меня, как на неодушевленный предмет. А я оцепенело пялился на него, и в ту минуту впервые во мне пробудился гнев оскорбленного человека. А он никак не мог успокоиться.

— Гимназистиков разных можешь оставить при себе! Этими пальчиками только мух гонять, они для перышек созданы, не для молота. Не буду я за него отвечать!

Когда Даламанек скрылся, Мелихар совершенно неожиданно остыл; сплюнул, протер согнутыми пальцами глаза, фыркнул, выдувая пыль из ноздрей, и благоволил обратить на меня внимание. Видимо, поймал мой обиженный взгляд и противно ухмыльнулся. Полез рукой под крыло и, не успев я опомниться, сунул мне какой-то металлический брус, небольшой, но тяжелый: я чуть пополам не переломился. Мне показалось, что великан со злорадством и удовлетворением наблюдает, как я стараюсь удержать равновесие, и тогда-то я в первый раз укрепился в упрямстве.

— Это поддержка, гимназистик, понюхайте-ка! — заорал он мне прямо в ухо.

Стиснув зубы, я до тех пор удерживал эту тяжесть на весу, пока он не кивнул довольный.

— Смотрите не надорвитесь. — Он проворчал ругательство и отвернулся.

Я бессильно опустил штуку наземь и, задыхаясь, заявил:

— Я вам... Я вам только скажу... что я не добровольно сюда пришел. Так что не орите на меня!

Он оглянулся и хмыкнул, издеваясь над моим бунтом.

— Видали? Коготки выпустил! Ни хрена вам это не поможет — тут без ору не обойдешься, гимназистик! — И все подушечки на его лице сложились в такую улыбку, которую я не в силах описать.

А я начал уже злиться на этого «гимназистика», видно, усмотрел в этом словечке насмешку над моим бесполезным образованием, и сразу ощетинился.

— Я буду вам весьма благодарен, если вы перестанете меня так величать. Мне совершенно ясно, что здесь мой аттестат — пустая бумажка. Я просто поденщик, и все.

Он недоуменно покачал головой.

— Неужели же, черт побери, вы этого стыдитесь? Да будь у меня аттестат — плевал бы я тут на все!

И я подумал, что был несправедлив к нему. После этих слов он протянул мне руку и сказал:

— Меня зовут Мелихар.

Моя рука исчезла в его огромной лапе, как щепка. Он так пожал ее, что у меня искры из глаз посыпались.

Но этим мои мучения вовсе не кончились. Наоборот. Они только начинались.

Последовавший месяц был как страшный сон. Мелихар жестоко испытывал меня. Операция на соединительных швах — самый тяжелый, каторжный труд во всем цехе. Мне казалось, что тело мое стало совсем чужим, а тяжелый инструмент снился даже по ночам. Выдержаты! Я покажу ему, что я не гнилушка. Я укрепился, поддерживаемый сословной гордостью интеллигента, решившего не пасовать перед грубой, бездумной силой. Я воображал, что веду здесь неравную борьбу за гимназистов всего мира, что на мне лежит тем более тяжкая ответственность, что борьба моя безымянна.

— Начали, гимназистик!

От меня не ускользнуло, что Мелихар злорадно наблюдает за мной, и его щелки-глаза казались мне полными коварства. Я смертельно ненавидел их. А сам принимал невозмутимый вид и, собрав все свое мужество, работал, стиснув зубы. Скорей бы, скорей конец, не выдержу!

— Давайте, гимназистик!

Эти слова накачивали в меня волю. К счастью, я вовремя понял, что нужна не столько сила, сколько ловкость: надо научиться облегчать себе работу, переводить дух, иногда опустить поддержку на заплеванный пол, свесить руки — господи, чьи это лапы? Стереть струйку соленого пота со лба, протереть померкшие глаза, потихоньку выругаться самыми последними словами...

Это помогало. Мы слова порядочного друг другу не говорили. Его взгляд, полный явственного презрения, пробуждал во мне яростную выносливость, какой я раньше не подозревал за собой. Не бойся, я выдержу, выдержу, я тебе покажу, собака! Мое дело было упирать поддержку в головки заклепок, а он с другой стороны расплющивал стержни пневматическим молотком, который сам по себе весил добрых десять-пятнадцать килограммов: дзуб... дзуб... дзуб... — мощные гулкие удары, от них вздрагивали мои отбитые пальцы, содрогалось тело, они клевали меня в мозг, я слышал их во сне, это ужасное, мучительное, нескончаемое дзуб... дзуб... дзуб... И ничего уже не мог я понимать вокруг, не различал лиц, это дзуб... дзуб... вытряхивало из головы мысли, фразы, идеи, все многоцветные, ароматные, таинственные слова; дзуб... дзуб... — я тебе покажу стишки, белоручка с гимназическим аттестатом, пачкун, принимай удары, дурей от них, превратись в машину, в рабочий скот без мысли, без чувства, вот так же, верно, было на галерах — дзуб... дзуб..., тут свой ритм, и в этом ритме надо пере-скакивать с заклепки на заклепку; промешкать, не поставить вовремя поддержку — значит выпасть из ритма, заклепка треснет, получится

остроконечная шишка вместо головки, которую не пропустит контроль, тебя же так ударит по пальцам, что будут гудеть долгие часы, а то и еще что похуже выйдет. Ох! После этого электросверлом высверливай испорченную заклепку, выбивай ее, собачье занятие, да и задержка.

— Опять! — слышу над собой голос Мелихара. — Эх ты, гимназист!

В такие минуты его лицо в подушечках, потное, измазанное диоралевой пылью, освещенное снизу, похоже на дьявольское, не человеческое. Сплюнув, он грохает молотком по чему-нибудь и убегает, будто боится собственной вспыльчивости.

Моя борьба, как видно, нуждалась в гласности, и я заплакал в жилетку ребятам в уборной: не понимаю, чем я так провинился, что мне судьба послала такую зверскую морду! Теперь пусть никто не поет мне про золотое рабочее сердце. Коленкой под зад нападдам! Мой-то ведь тоже рабочий. Ну ладно же, после войны рассчитаюсь...

Я завидовал тому же Павлу: его приставили к Гиану. Гиан — молодой рабочий, парень что надо и весельчак; он подвязывает проволокой ухарский завитой чуб и вслух говорит, что вовсе не собирается уморить себя на работе во славу нацистов. Таких рабочих тут немало, однако встречаются и похуже моего мучителя. Всякие бывают. Бацилла вон жаловался, что старый Маречек даже в сортир сходить ему не дает спокойно, а Густикю его главный оплеуху закатил да еще нажаловался на него в конторе.

Я понимал, что катастрофа близка. И она наступила. Инструмент выпал из трясущихся рук; все тело была мелкая дрожь, страшная, тупая слабость охватила меня — руки сами упали. Лучше умереть, лучше пусть арестуют — что угодно, только хватит! Хватит! Я мешком свалился на ящик, свесил голову и закрыл глаза. Вокруг моих висков бушевал цех — гром, треск и визг, а мне уж было все равно. Умереть, уснуть! Сначала ничего не происходило. Это было странно. Потом над головой раздалось:

— В чем дело?

Я открыл глаза. Мелихар, с молотком в руке, смотрел на меня вопросительно и сосредоточенно, но, как это ни удивительно, спокойно. Он все понял. Ага, — с ненавистью подумал я, — теперь тебе меня жалко? Все что угодно, только не жалость! От тебя. — никогда ее не приму! Я заставил свое тело слушаться. Встал, покачиваясь. Можешь смеяться, свинья! Смейся, а я не сдамся!

Когда я с чувством приговоренного к смерти протянул руку к поддержке, Мелихар прогудел:

— Передохните малость, гимназистик, а я пойду покурю! — Он положил молоток и скрылся.

Что это с ним? Хочет дать мне собраться с силами? Игра кошки с мышью... Он вернулся, приволок с собой два чурбака, сел на место и сделал из них простейший рычаг.

— Попробуйте-на так, — сказал он, нахмурив брови, и завертел моим инструментом, словно это была зубочистка.

Я попробовал. — действительно, так было легко.

— Ну, начали! — гукнул он уже с той стороны крыла и полез внутрь. Еще ухмыльнулся напоследок: — В другой раз, прежде чем душу-то выплюнуть, подайте голос, гимназистик!

Потом тучи над головой немного разошлись: тело окрепло, мускулы затвердели, начал я различать лица вокруг себя и даже как-то расслышал, что мой мучитель за работой мурлычет какую-то все одну и ту же песенку. Постепенно этот тяжелый труд начал даже доставлять мне какое-то смутное удовольствие — я ощутил спортивный интерес и надулся от гордости. Мужская работенка, а я с ней справляюсь! Дзуб... дзуб... дзуб!.. Однажды, когда мы доклепали ряд, Мелихар отложил молоток, подошел ко мне и со всей силы ткнул меня в грудь.

— А что, молодой, пол-литра в руках еще удержите? А то во рту у меня как в прачечной.

Пошли мы в забегаловку. Я залпом опрокинул стакан какой-то горькой бурды и в тот день услышал, как Мелихар говорит старому Царвану с соседнего стапеля:

— На вид парень — комар женатый, а воля как у буйвола.

С той поры он не называл меня больше «гимназистиком», теперь я был «молодой», и на том осталось.

Он всегда говорил мне «вы» и, неизвестно отчего, держался на некотором расстоянии даже тогда, когда напряжение между нами отчасти рассеялось. Подчеркиваю — отчасти.

— Ну вот, — сказал он мне как-то невзначай, — вкалываем мы тут вместе, а как все кончится — вы вернетесь к вашим книжкам, а я так и закисну при своем молотке, верно?

Я заметил, что слово его имеет бог весть почему большой вес среди рабочих цеха. Он нюхом разбирался в людях и редко ошибался. «Берегись Жабы», — выразился он об этой скотине, о мастере из «Девина». На похвалу он скуп. Скажет: «Кокта парень что надо!» — и точка. Порой мне казалось, что чем дальше, тем меньше я его понимаю.

— Сколько вам платят за час, молодой? — спросил он. — Две восемьдесят? А ну-ка сядьте, не хватало еще, чтоб вы бегали с заклепками, этого я не потерплю.

И он отправился к Даламанеку и до тех пор стучал кулаком по столу, пока мне не прибавили платы. О личной своей жизни словечком не обмолвится и вид принимает такой необщительный, что я не позволяю себе расспросов. Он явно гордится своим ремеслом, и его злит, что нынче всякий тотальный губошлеп вправе совать в это ремесло свой нос; он не терпит, чтоб работали спустя рукава. Однажды, когда я попробовал схалтурить, он отчитал меня такими словами:

— Слушайте, молодой, для вас это всего-навсего поденщина, и вы ее ненавидите, а ведь я-то делаю это всю жизнь. Хитрости тут никакой особой нету, а только и здесь умение нужно. Здесь надо работать, а не свинячить.

Я ему ничего не ответил, но подумал: а знает ли он вообще, для кого мы все это делаем? Он, видно, догадался, о чем я думаю, хмурился недовольно и вполголоса ругался, какие-то слова так и просились у не-

го на язык, и, только когда мы уже мирно топали в столовку, он нехотя пробормотал:

— Пожалуйста, не воображайте, что я дурак. Черт возьми! Но дело-то не виновато, верно?

Я кивнул головой: дескать, ничего такого я и не говорю. Он скользнул по мне испытующим взглядом, плюнул.

— Что я вам буду объяснять, молодой, это же крылья! Вы гляньте на стартовую площадку, ведь наши гробы облетывают чешские ребята, понятно? — Он завершил этот странный, отрывочный разговор злобным жестом: — Собачья жизнь! И все равно контроль не пропустит.

Больше мы об этом не говорили, но он меня не убедил, да и не очень-то старался. Ведь я всего-навсего «молодой»!

Но бывают и у него минуты особенно хорошего настроения, тогда он хохочет во всю глотку, дразнит работниц, подстраивает ловушки для Даламанека. Он любит хвастать своей силой. Поднырнет под крыло, лежащее на деревянных козлах в ожидании отправки в малярку, и приподымет его на плечах. Буйвол! А то поймает в проходе между козлами Анделу, задастую бабенку лет тридцати (у Мелихара явно барочный вкус), подбросит ее — как перышко и хохочет:

— Попробуй со мной, Анделушка, понравится! А то что панский писарь — тряпка!

Ходят слухи, что до войны, во время безработицы, Мелихар подрабатывал, выступая борцом в ярмарочном балагане; появлялся он в маске, под видом таинственного священника из Норвегии, и зазывала хриплым голосом объявлял сто крон премии тому, кто продержится против него дольше трех минут. Но это слухи! Когда я с дурацкой прямотой спросил Мелихара об этом, он набросился на меня чертом: враки!

Мелихар! Мы все единоборствуем с ним, и день, и ночь, недели, месяцы, но временами, в редкие минуты примирения, мне кажется, что с ним хорошо. Заклепаем ряд, сотрем пот, он подмигнет мне:

— Ну как, молодой? Есть еще порох в пороховницах?

— А как же? — отвечаю я бесшабашно, схвачу поддержку и начну поднимать ее над головой: раз, два... Раньше меня шатало после пятого раза, теперь могу уж и двадцать раз выжать, и это мой личный рекорд.

— Ишь ты! — уважительно прогудит Мелихар. — Теперь вполне можете бегать за пивом для взрослых! — И схватит инструмент, буд-то он из бумаги, сразу несколько человек окружают нас, считая вместе со мной...

— Ох, хвастун, гляньте-ка! Йозеф, лопнешь!

...Пятьдесят, шестьдесят... сто!

— Смотри, в штаны не напусти!

Голос разогнал дрему. Гонза поднял разомлевшее лицо, моргая, взглядывался в полумрак. О перегородку кабины опирался парень, худой, в форме веришуца, в фуражке, небрежно сдвинутой на затылок.

— Вздумал тут дрыхнуть, так хоть штаны расстегни, олух!

Веркшущ, заговорщически подмигивая, обвел глазами стоящих вокруг, в полутемном помещении загрохотал смех, он повернулся и вышел из двери.

Ладно получилось! Гонза перевел дух, встал. Гавел — один из хороших веркшущев, ничего не будет. Он никогда еще ни на кого не накапал, любит, правда, пропустить чарочку и закрывает оба глаза, когда кому нужно ночью смотаться с территории завода. «Сегодня дежурит Гавел», — шепотом оповещали друг друга. Его часто можно видеть в заводской столовке. Сидит меланхолично над кружкой пива, клюет носом, скребет ногтями по подбородку — потом вдруг оживится, запоем... Приятным, хотя и не поставленным тенорком напевал он арии из знаменитых опер: из «Травиаты», из «Аиды»... «А это «Далибор», господа, то-то рты разинули — красотища! Ох-хо-хо», — вздыхал Гавел и запивал жиденьким пивом какие-то свои неисполнившиеся мечты. Не везет! Его слушали с восхищением, ему аплодировали, но он делал отстраняющий жест, отвергая похвалу, и плелся прочь, может быть, боялся расчувствоваться. Веркшущ — певец... Никто не знал, отчего он поступил к ним. «А жаль, — сокрушались многие, — достанется и ему вместе с прочей сволочью...»

За дверью на Гонзу налетел запыхавшийся Пепек Ржига.

— А я, старик, ищу тебя, с ног сбился.

Гонза нехотя остановился, даже рук из карманов не вынул. Он с трудом переносил этого парня со щучьей мордой, но не показывал виду. У Пепека всегда было курево. От природы он был жаден, но тот, кто хоть как-то поддерживал с ним отношения, мог рассчитывать на «бычка». Всюду, где только собиралась кучка тотальников, громче всех раздавался его надтреснутый голос ярмарочного зазывалы; он смаковал непристойности с увлечением, а в карманах таскал захватанные снимки порнографических сенок, которые любил подсунуть какой-нибудь ничего не подозревающей девчонке, чтоб вволю насладиться ее смятением.

— Пошевели мозгами, а то мне крышка, — жалобно сказал Пепек. — Хочешь курнуть? — Он щелчком выдвинул из пачки одну сигаретку, и Гонза не отказался. — Был я сейчас в амбулатории, и вышло дрянь дело, Карпатов чуть слезы не ронял, но все-таки направил на медосмотр в централку... А у меня, понимаешь, новая баба, так что надо бы...

— А болезнь-то какая? — прервал его Гонза.

— Да этот... ревматизм, понял? Мышечный. Мне братишка присоветовал. Говорят, ты с этим делом валялся? Сколько отхватил?

— Три месяца без малого.

Пепек удивленно свистнул.

— Вот это да!

— Только важно не сорваться. Если раскроют — пиши пропало. Тут нужны нервы, чтобы все делать по науке. И не трепаться.

— А то! За кого меня принимаешь? А на худой конец — там-то разве не хотят курить? Ну, давай советуй.

— Палка у тебя есть?

— У папани. А на что она?

— Надо ходить с палочкой и все время прихрамывать. Потом — РОЭ. Наверняка у тебя возьмут.

— А это что?

— Анализ крови. Как пойдешь на анализ, тебе велят прийти натощак и не курить, а ты нарочно нажрись всяких азотистых продуктов. Гороху, яиц, достань уж где-нибудь, накурись побольше, выпей как следует спиртного. Я так до тридцати трех РОЭ догнал. А глаза чуть подвел обгоревшей спичкой, придает подходящий вид.

— Как слово божие. Все?

— Нет. Главное, смотри не ори, когда тебя схватят за мышцу. Тогда сразу поймут, в чем дело, потому что при мышечном ревматизме трогать не больно. Многие на этом срываются, я видел, как одного погнали в три шеи да еще с сопроводилкой на завод.

— Шик! — возликовал Пепек. — Нынче вечером надрызгаюсь властью, а коли все сойдет, за мной пачка сигарет, я человек благодарный.

Пепек убрался.

Гонза брел вдоль стапелей, озирался. Архик сидит на ящике, читает через толстые стекла очков книжку с золотым обрезом, верно, каная-нибудь богословская нудота. Архик хочет стать священником, но никогда в этом не признается. Сначала его прозвали «епископ», потом даже — «архиепископ», а отсюда уже произошло сокращение «Архик». «Ну как, святой?! — кричит, бывало, ему издали хулиганистый Пепек. — Патеры уже объяснили тебе, как у баб устроено? Чтоб не запутался!»

Гонза вспомнил, что должен еще отбить карточку Войты на ночную смену: они давно разработали эту остроумную систему, и все шло гладко. Отбили уже кучу ложных рабочих часов, и никто в этом бедламе ничего не заметил. Бухгалтерия механически высчитывает цифры, и сумма в выплатной ведомостичке растет на радость ребятам...

Гонза зыркнул в сторону «Девина», и что-то тихонько дрогнуло в нем. Она сидела на стуле, спиной прислонившись к стапелю, руки ее трогательно упали на колени, голова свесилась: девушка, видно, спала. Котенок в корзинке... Платочек сполз на шею, волосы излучали золотистое сияние. Завтра опять поеду поездом, обязательно! Павел этого не поймет. «Ты это пережил?» Откуда я знаю? Но зачем его вызывали?

Павел еще не вернулся в цех. Потом Гонза увидел его: неверным шагом он шел вдоль стены, наклонив низко голову, и руки его висели плетями.

— Павел, что с тобой?

Павел встряхнулся, вздохнул, а лицо оставалось неподвижным.

— Я-то в порядке. Домой вот еду. Мама умерла...

Мелихар был не в духе, видимо, мучили фурункулы на шее.

— Хватит гулять, молодой!

Гонза поспешно протиснулся под крыло, схватил поддержку. Вели-

кан влез верхней половиной туловища в отверстие посередине крыла, как всегда, когда хотел что-то сказать Гонзе.

— Сегодня из моторного цеха забрали двух ваших. Тоже студенты...

— За что?

Подушечки мясистого лица заходили ходуном.

— За что? А газетки! Листовочки! Сунули прямо в лапы какой-то курве. Да еще имели глупость держать целые стопки в своих шкафчиках! — Мелихар был возмущен. — Выпороть бы как следует дураков! Вот увидите, сколько еще из-за них невинных людей пострадает!

Он осекся, взгляд подручного заставил его замолчать. Фыркнул, выдул пыль из ноздрей, кивнул головой в ту сторону, где был стол Даламанека.

— Видали? Следующие, пожалуйста бриться!

Бледный писарь из отдела кадров, в плаще, болтающемся на нем как на вешалке, вел недружную кучку только что переученных тотальников: пожилые мужчины, тощие юнцы, женщины, старушки, несколько девчонок с тоненькими палочками-ручками — лица, руки, ноги, номера, бегающие, робкие глаза. Жалко выглядели они, такие чужеродные в этой незнакомой для них обстановке, давящей их страшной тяжестью. Они стали полукругом возле столика мастера, переминались, ежились смущенно под сотнями изучающих и в общем-то участливых взглядов, а Даламанек был в своей стихии. Он пыжился перед ними, важным тоном выкрикивал их имена, величественно хмурился.

— Бардак, не завод, — сплюнул Мелихар; он всегда ругался, когда приводили новых тотальников. — Всякое дерьмо тут теперь работает. Подите спросите этого холуя, нет ли у него для нас какой-нибудь повитухи? Интересуюсь, когда они мобилизуют Христа-младенца или святого Вацлава? Что он торчит без дела на коне, мог бы тут бегать, заклепки таскать. Пойду-ка я горло промочу, молодой, тошно мне от всего этого!

Ничего необычного во всем этом не было и ничего особенного, строго говоря, не случилось, если не считать того, что с новой волной тотальников в фюзеляжный цех забросило и Милана.

VI

Она вошла неслышно, повинувшись зову мечты, вдруг появилась как ни в чем не бывало, и отзвук голоса развеял тоску.

Слышишь?

Закрой поскорее глаза! Не шелохнись, не спугни ее! Она здесь, в нем. С той самой ночи никто другой не имел права перешагнуть порог каморки. Он слышал голос, иногда и смех, и, пока он слышит это, ничего не потеряно. Все возвращалось к исходной точке, к ничем не приметной скамье, и великолепно начиналось сызнова. Он отвечал ей, не разжимая губ, не нарушая таинства звуком слов.

Я тебя обидел? — спрашивал нетерпеливо.

Обещай, Павел, что ты ни разу не взглянешь на часы!

Ах, это просто глупая привычка, не более...

...Но от этого кажется, что ты все время собираешься уйти...

А тут все то же. Сцена, с которой ушли актеры, и теперь распростерлась над ней тишина, за окном скрипят расшатанные половицы галереи, а здесь покрытый пылью звездный атлас, его давно никто не открывал. Как будто перестали крутить фильм, и изображение замерло на глади экрана. Две двери: за одной целый день под стук стареньких зингеровских машинок шумели знакомые голоса, за другой раздавались шаги: там был мир, был старый дом.

Долго тебя тут не было. Я уж боялась — забудешь.

Понимаешь, с отцом были хлопоты. Мама у меня умерла.

Тебе грустно? Мне тоже. Почему я так и не узнала ее? Быть может, она бы меня полюбила. Как ты думаешь? Ты сказал как-то раз, что похож на маму. Наверное, у нее тоже были серые глаза и твои губы, когда ты улыбаешься, и эта морщинка на лбу, когда ты озабочен. Как все это было давно. Помнишь ли ты еще мое лицо? Не помнишь?

Он беспокойно задвигался.

Сидел он, упершись локтями в колени, и сумрак ложился ему на лицо, на противоположной стене со степенной медлительностью постукивал маятник часов, вот внутри них что-то заворчал, и металлическим звоном пробило половину.

Половина восьмого. Пора идти!

А знаешь, прошло ведь уже два года... Что эти два года в сравнении с тем, что ждет нас впереди? Ничтожная малость! В один прекрасный день... и день этот не может быть далеко, вижу его так явственно — только в тот день сирены уже будут ржаветь, и всюду будет розоватая тишина, как после грозы, — и я вижу тебя очень четко, ты подходишь ко мне, у тебя растрепанные волосы, а в глазах еще слезы, но уже такие хорошие слезы, они не жгутся... Сначала, наверно, будем молчать. Сначала найдем друг друга руками, коснемся друг друга легонько и чуточку недоверчиво. Это ты? Это я. И ужасно живая, тронь же, Фома неверующий! Вот здесь бьется мое сердце.

За окном уже наслаивалась темнота, но он не опустил шторы затемнения, не зажег огня. Сумерки давили сердце тоской, он сопротивлялся ей всеми силами. Кто-то прошел мимо окна по галерее, половицы скрипели, хлопнула дверь, откуда-то сверху слетел девичий смех.

Какая ты теперь? Я — изменился. Я уже не тот беспомощный мальчик, который не смог тебя спасти. Я многое понял. И — не хнычу. Ты всегда была умнее. Сейчас мне немного стыдно за того молокососа, за того безмозглого юнца, который так легкомысленно вообразил, что весь мир остановится в благоговении на пороге вот этой коробки, в которой он укрыв бабочку. Мир не остановился. Тогда, после той ночи я хотел убить себя. Это казалось мне самым легким и логичным, это было как решение простого уравнения с одним неизвестным.

Не говори так!

Понимаешь — страшно смотреть на свои пустые ладони. Земля ушла у меня из-под ног, я вдруг очутился в пустоте, в сумасшедшей

стремнине, один. Возненавидел людей. Все они были частицей той смердящей гадости, которую называют миром; мне опостылел даже этот ненужный стук в груди.

Все это уже позади.

Что же случилось? Ничего. Вот это-то хуже всего: ничего! Я во-рвался сюда, в эти стены, а тебя не было. Не было! Вот и все. И потом тоже ничего не случилось. Я обшарил каждый уголок, перерыл всю каморку, сам теперь не знаю, что я хотел найти. Быть может, записку, несколько слов, хотя бы только такую. «Вернись! Я ушла ненадолго». Но — куда?

Зачем опять спрашиваешь? Сколько раз я тебя просила?

Знаю, но должна же ты знать, что творилось тогда со мной. Я знаю только, что заболел, и не помню ничего, кроме упрямого своего желани-я не просыпаться, не возвращаться к этому горю, а мама плакала, бедная, она даже не подозревала ничего. Один папа все знал. Садился ко мне на кровать, брал мои руки — до сих пор ощущаю прикоснове-ние его портновской ладони. И мы молчали. Он не утешал меня — просто сидел, иной раз кивнет головой, прищурит глаз; слезы он остав-лял про себя. Как долго это тянулось — не знаю. Так я стал взрос-лым. Потом я поднялся и кое-как пошел по земле, по раскаленным улицам города, из которого постепенно выветривался ужас; люди чуть-чуть вздохнули, и река опять заблестела на солнце, кто-то смеялся, стоячее болотце вернулось к своей неподвижности. Протекторат! Только я изменился. Бродил наугад по горячему городу, искал тебя в прохлад-ных пассажах, под мостом у реки. Каждый вечер сидел на той лавочке в парке. Помнишь? Вот тут сидела ты, а тут — я. Вот подниму гла-за — увижу очертания тонкой фигурки в летней темноте, волосы, рас-сыпанные по плечам; и что-то желтое на груди, и черный чемоданчик в правой руке. Услышу: «Знаешь, я искала тебя...»

Нет, не поднимай головы! — остерегал меня мозг. Там только тьма.

А знаешь, после довольно опасных поисков мне удалось найти ад-рес твоих родных! Я был упрям до сумасшествия. Такая ледяная лест-ница, как будто по ней давно никто не ходил, весь дом сильно пах кожей, перила с узорчатой решеткой холодили ладони; помню, лифт застрял на третьем этаже, и за одними дверьми яростно лаяла собака. Табличка с фамилией в богатой рамке. Кто-то спускался по лестнице, пришлось удирать на улицу, но потом я вернулся. Звонок испуганно вскрикнул в квартире, долго все было тихо, потом зашлепали шаги, и в глазке появился глаз — один глаз без лица наводит жуть. Женщина была худа, движения ее отрывисты, и она беспрестанно оглядывалась в глубь квартиры, будто боялась, что ее застигнут за нехорошим делом. Где-то лилась вода. Женщина не пригласила меня войти, страх ее был просто осязаем. Сначала она даже от всего отпиралась. Совсем тебя не знает... Я дал ей понять, что ей нечего опасаться, она испуганно оглядела лестничную площадку. Что вы, что вы? Откуда ей тут взять-ся? Уехала с зшеломом еще в конце апреля, а больше, честное слово, ничего о ней мы не знаем. Женщина костлявыми руками придерживала у горла ворот халата, качала головой. Нет, этого не может быть! Зачем

бы ей это делать? Не сердитесь, мужа и мальчигов нету дома, а я... Она совсем растерялась, в глазах её мелькнул как бы отблеск печального понимания.

А вы? Вы, верно, ее...

Дверь захлопнулась.

Как быть дальше? Где путь? И есть ли он вообще? Есть. Это асфальтовая дорога, она выбегает из города длинной прямой чертой, бежит между двух рядов поспевающих черешен; в июльский зной я нажимал на педали велосипеда, рубашка прилипла к телу, двадцать, тридцать километров — и вот оно, местечко со скучным квадратом площади, скучным зданием школы, аптекой и гостиницей «У Солнца»; слюнявый сенбернар стоит на плитах прохладной подворотни. Духота. Спрошу вон того человека — он внушает доверие. Устремил на меня испытующий взгляд, потом покачал головой. Они давно не живут здесь. Евреи, знаете ли. Идите мимо школы, у пивного завода сверните налево, дом найдете легко: это белая вилла, облицованная кафелем. Ага, вот она: номер двадцать три. На кирпичном столбе у калитки остался след от сорванной дощечки с фамилией местного врача, пустые дыры от болтов были как пристальные глаза. Стоял перед садовой оградой, и бог весть почему мне казалось, будто я уже бывал здесь. Зеленая беседка постепенно разваливалась, сорняки завладели клумбами. Здесь бегала маленькая голосистая девчурка, потом — худенькая девочка-подросток на журавлиных ногах, бродила между клумбами, с книжкой в руке, клонила задумчиво голову. Не лазала ли она вот через эту дыру в ограде? На веревках под деревьями сушилось белье, где-то упрямо ворковал голубь, разбивая раскаленное оцепенение. По ступенькам веранды сбегал веснушчатый мальчик, за ним по пятам — великолепная овчарка, мальчик держал в руке кусок хлеба, от которого то и дело откусывал, а другой рукой он подбрасывал теннисный мяч. Мяч упал в мою сторону, я отступил, но собака учуяла чужого и с бешеным лаем кинулась к ограде.

— Куш, Аста! — раздался грубый голос. — Вы кого ищете? — Человек неторопливо подошел ко мне, в руках у него были клещи. — Куш! — Он ногой оттолкнул собаку; его подозрительный, сумрачный взгляд скользнул по мне сверху вниз и снова поднялся к лицу.

— Никого!

Он сдвинул шляпу на затылок, усмехнулся чуть косо, будто ему было больно улыбаться, и вытер пот со лба. Вид у него был почти добродушный. Вот только глаза: неподвижные, как бы тающие во влаге.

— Не хотите напиться? — спросил он. — Жара как в печке. Не иначе и грозе...

— Спасибо, не надо!

У пруда было так хорошо, я лег на живот, смотрел, как лучи солнца сверкают на морщинах воды, и жевал травинки — как делают собаки перед дождем. Здесь мы вместе когда-то молчали, слушали жужжание насекомых, следили за пчелой, застывшей в воздухе над цветком... Следы... Они должны быть тут, ведь из всего необъятного мира

именно этого клочка земли касались две босые ноги, оставляя свои отпечатки. Ищи их! Спросить вон ту женщину, что тащит к пруду корзину с грязным бельем...

— Давайте помогу вам, пани!

От сверкания лучей она заслонила рукой глаза.

— Как не помнить, пан доктор вылечил нашего Зденека от дифтерии, а Марушка ходила с их девочкой в школу. Как время-то бежит! — А когда женщина поверила твоему лицу, она добавила вполголоса: — Бедняги! Они-то были из хороших... — Что еще может она сказать?

И все же я расспрашивал дальше, видно, мне нужно было снова и снова убеждать себя в том, что ты не приснилась мне, и я спрашивал десятки простых людей в этом местечке, вероятно, я находил в этом какое-то ничтожное облегчение и, наверное, уже обратил на себя внимание со своим запыленным велосипедом и покрытыми пылью вопросами; за гардинами, за цветами на окнах я подметил уже тревожные и почти враждебные глаза. Гляньте, вон он опять! Кто? Да этот парень все что-то вынюхивает, спрашивает о докторском семействе.. Несомненно, я был в их представлении ненормальный, подозрительная личность, помешанный, который слоняется на жаре по разбитой мостовой и, низко нагнувшись, ищет тень на земле. А может, он из тех... провокатор?

Если б вы знали!

Большинство жителей городка совсем простые, хорошие люди.

Почему же молчат, если хорошие?

Не знаю. Наверное, боятся — одни больше, другие меньше, но может быть, в этом и нет ничего дурного. Я не имею права упрекать никого, я сам ничего не сумел сделать для тебя. Так это было...

Не так, Павел. Если б ты знал!.. Я боялась всего: уехать с эшелом и остаться тут, от страха я потеряла рассудок. Даже мыши в соседней мастерской я боялась, помнишь? Ты всегда надо мной смеялся. Боялась шагов на лестнице. Умереть боялась — не умею сказать, до чего.

Но — почему?

Вездесущий вопрос.

Пришлось уезжать. Разве не знаешь? У нас было так мало времени друг для друга. Сколько дней, часов, минут — ты когда-нибудь подсчитывал?

Где найти тебя? Ждать? Это страшно. Так страшно было — очутиться вдруг одному... Помнишь ли ты Чепека?

Помню. Я тогда очень обидела его. Что он поделявает?

Ничего особенного. Возится с пластмассой, ковыляет по мастерской, нашляет. От него-то я знаю все, что тут разыгралось, и знаю, кого я должен убить своими руками. Добрый старик мучился от мысли, что во всем виноват сам, оттого что не сумел тебя здесь удержать. Все молчало. Все люди вокруг меня. Отводили глаза, проходили на цыпочках мимо со взглядом, полным жалкого сострадания. Говорите же! Что о ней знаете? Что с ней случилось? Трусы! Бонтесь, потому что она носит желтую звезду? И вот все же: раз как-то остановил меня на

лестнице один человек из нашего дома, сжал мне локоть, кивнул головой, показывая наверх. И я понял, о ком речь, и сторожу его. Непостижимо, что он еще дышит. Ничего, не убежит. Теперь не долго ждать, их фронт рушится, я не успеваю переставлять флажки на карте Восточной Европы. Скорее, скорее, бога ради! Я понял уже, что он не один виноват, он всего лишь жалкое порождение чего-то более страшного, уничтожить его — еще ничего не решить, но столько во мне хорошей, великолепной ненависти, и я вовсе не стыжусь ее. Где найти тебя? Нет ведь крыльев у человека, он сделан из мяса и костей и занимает пространство, иногда слишком большое...

Слышишь ли ты меня еще? Почему молчишь?

Часы на стене бьют металлическим звоном, громко хлопнула входная дверь.

Улицы, улицы, рдеющая точка сигареты проклеивает тьму, истекает.

Павел застал отца за столом. Теперь он просиживает так вечера напролет, сложив руки на пожелтевшей клеенке, и едва поворачивает голову, заслышав стук двери.

— Ты ел?

— Нет.

Торопливое тиканье будильника на комодe усиливает чувство сиротства. Павел сел напротив отца, без аппетита стал есть постный гуляш, только бы успокоить желудок. Видно, сжалился кто-то из соседок. После похорон несколько дней пробыла тут тетя Ружа, убрала все, пришила пуговицы, наварила еды впрок и уехала со слезами к своим курам и козам.

Первые дни после смерти матери оба бродили по квартире как слепые и молчали. Поддерживали педантичный порядок — подметали пол, заводили будильник, мыли посуду, поливали пальму у окна в спальне, заботливо клали вещи на места, определенные для них. Куда поставить сахарницу? Не помнишь, где она держала иголки? Быть может, им казалось, что этот непоказной пиетет помогает им выполнить некое невысказанное завещание, что, сохраняя установленный ею порядок, они дольше смогут удержать ее в этих стенах.

Портной перестал читать, не включал радио, не разводил огня в плите. Все впадало в неподвижность: и вещи и они. Посмотри: отец встал от стола, побрел в спальню, к окну, опустил шторы затемнения, зажег лампочку; постоял у супружеской кровати, застланной еще ее руками, потом, не веря, вернулся на свое место за кухонным столом. Горе его немо и бесслезно. Спит он теперь на кушетке, лицом к стене; наверное, пустое место на правой половине кровати наводит на него ужас. И будет он здесь спать до тех пор, пока люди не закроют ему глаза и не снесут следом за ней. Смерть еще не выветрилась, оба чувствуют ее ледяной закон. Кричи, вой диким зверем, тряси самого близкого тебе человека, пади перед ним на колени — не дозовешься!

Десятки мучительных подробностей отпечатываются в сознании с не-

нужной четкостью: кладбищенская часовня, венки, ленты, гроб и в нем остывшее тело, из которого ты некогда появился на свет; рядом сдавленные рыдания отца, пламя свечей дрожит в струях сладковатого воздуха, где-то сумрачно гудит орган, и лица, знакомые по дому, по улице, по лавочкам, и никто тебе не улыбнется, не моргнет глазом, на всех на них страх и любопытство; ты стал вдруг главным персонажем заграничной трагедии, и все вокруг немного нереально и грустно-традиционно — поношенная помпезность в черном с серебром, тягостная организованность, с какой человека выдворяют из царства живых... Когда выносили гроб, заревели сирены, похоронная процессия застряла в часовне, все стеснилось вокруг гроба, а на них напирали провожающие другого покойника, погребальные служащие — черные птицы — уже поднимали на подставку другой гроб с другими венками, ставили перед ним дощечку с другим именем — и все начиналось сызнова, слезы, всхлипы, теснота и нафталиновый запах воскресной одежды. Когда это кончится? Сирены провыли отбой, жизнь за кладбищенской стеной возобновилась, по дорожке между могилами потянулась поредевшая процессия.

Павел шел за гробом рядом с отцом и с удивлением видел, что на бедных могилах уже вылезла реденькая, как щетинка, трава. Шла весна тысяча девятьсот сорок четвертого года, шла война, а тут глинистая земля разверзлась узкой щелью, кто-то с омерзительной многоопытностью выжал слезы из глаз, потом хор певчих прогнусавил «Ближе к тебе, господи наш». Под открытым небом пение звучит так жалко, так неуместно, голоса испуганно жмутся друг к другу, и нет им отклика — хватит, хватит! Мускулистые руки завозились с веревками, гроб гулко стукнулся о стенки — ради бога, осторожнее! Но нет, это только добрый старый обычай, могильщикам некогда; потом леденящие кровь частые удары комьев земли о крышку гроба, как-то топорно проходят люди мимо могилы, начищенные башмаки хлюпают по размякшей глине, в голых ветвях свистит ветер, и грохочет вдали город; кто-то смочил тебе щеку своими слезами, кто-то пожал руку, растроганно борются что-то, и вот все кончилось, люди вздыхают с облегчением, торпятся в тепло. Отец и Павел одни возвращаются на трамвае домой и не могут постичь, что нет с ними ее, что оставили ее в этой сырой, вязкой земле — эти морщинистые руки, мягкую родинку под мочкой уха, пучок поседевших волос...

Павел еще раз забежал в свою каморку, даже не зажег огня. В кармане брюк нашел окурок, раскурил, жадно затянулся, до того жадно, что закашлялся. Нагнувшись, пошарил под кушеткой, вытащил оттуда основательно запечатанный сверток с вошеной бумагой, обвязанный бечевкой. Еще раз ощупал его.

Выйдя на улицу, сунул руки в карманы, чтоб сверток не выпал из-под плаща. Приказ ясен, как слово божие, задача до смешного легкая. Сначала он даже почувствовал разочарование, но запретил себе проявить его хотя бы движением век. Тем более что Прокоп не терпит

отговорок, излишних расспросов и любопытства. Абсолютная дисциплина — вот закон конспираторов. Или подчинись ей, или ступай себе подобру-поздорову. Павел сидел перед Прокопом с благоговейной сосредоточенностью — это было в пыльном чулане позади лавчонки староместского антиквара, от волнения у него спирало дыхание. Прокоп, нахмутив брови, изучал лицо Павла, как бы взвешивая, способен ли тот выполнить задание, и вид у него был необыкновенно серьезный. Выглядел он решительно и внушал уважение. Он даже опустил штору и предусмотрительно заглянул в клозет, чтоб убедиться, что они одни. К делу! Он заговорил повелительно-отрывистыми фразами, однако не сказал ничего конкретного, видимо, задание Павла являло собой незначительную деталь общей операции центральной группы, с которой связан один Прокоп. Но прежде чем передать сверток, Прокоп заставил Павла слово в слово повторить инструкцию. Для тренированной памяти это были детские игрушки: номер трамвая, конечная остановка, время, часы поставить по радиосигналу. Ясно? Дальше! Двести пятьдесят метров в направлении движения трамвая, потом направо по улице, в конце которой начинаются стена и аллея тополей. Остановиться у двадцатого тополя, ждать. Связной придет с противоположной стороны и попросит огня закурить. Ответ: «К сожалению, я некурящий». После этого пароль: «Смерть бежит петушиного пения!» Отзыв: «Утренняя звезда двадцать восемь». Связной пойдет в пяти шагах впереди и отведет к месту передачи пакета. Не оглядываться по сторонам, дорогу забыть! Материал передать человеку, возможно, женщине, который представится под именем Оноре. Как поступать, если встретится что-нибудь непредвиденное? Пакет уничтожить! Ни в коем случае, даже ценой жизни, не отдавать его в чужие руки. Ясно? Ясно. Порядок! Мужественное рукопожатие, пристальный взгляд, глаза в глаза — будто шел Павел на штурм, а не на конечную остановку восемнадцатого трамвая. Шепотом — боевое приветствие: «Смерть нацистским оккупантам! Правда победит! И — ни пуха ни пера, брат!»

Павел соскочил с трамвая, двинулся в сырую тьму.

Вот это место!

Нет, ошибки быть не могло: правда, стена, о которой совершенно ясно говорилось в инструкции, оказалась кладбищенской, а аллея — не тополиной, а каштановой. А неподалеку мигал в темноте огонек в проходной будке казармы, занятой частями СС; за спиной то и дело громыхали военные машины, по тротуару мелькали фигуры, затянутые в мундиры с пресловутыми знаками молний на рукаве. Но ничего. Не важно!

Ждать! Павлу казалось, что от ожидания нервы обнажаются, становятся струнами, на которых волнение играет довольно жесткими щипками. Шаги, шаги... Подкованные сапоги все ближе, ближе, их стук бьет по вискам; когда они совсем приближались, Павел теснее прижимал к себе пакет и силой воли заставлял тело сохранять спокойствие, хотя в ногах было бегство. Бежать сломя голову... Нет!

Успокоив прерывистое дыхание, расслышал между порывами ветра мужские голоса — под душещипательный визг гармоники орал

песню эсэсовцы. Холод вползал под одежду. Не может быть, чтоб на него уже не обратили внимания.

Ветер заскулил в вершинах каштанов, вытряхнул дождик из туч, не сильный, но мелкий, упорный, темнота наполнилась тревожными звуками и шорохами, усиленными во сто крат настороженным слухом: железо лязгнуло за стеной, далеко где-то пискнул свисток и — шаги. Десятки, сотни шагов. Подходили, уходили...

Протащился мимо сгорбленный, тепло укутанный прохожий, а Павел все торчал на месте, стучал зубами. В отчаянии, в сомнениях. Время текло, и он чуть не плакал.

Что могло случиться? Два, три часа — скоро полночь! Он еще раз заставил память повторить все по порядку, вернулся бегом к конечной остановке и еще раз отсчитал метры, деревья — нет! Правильно! А если все же?..

Нет! Вот он! Должен быть он! Наконец-то! Павел пошел навстречу, остановился в двух шагах от смутной тени, напряженно ожидая, когда же тот попросит огня. Ничего! В конце концов он сам шепотом, умоляющим тоном, пробормотал пароль:

— Смерть бежит...

Прозвучало это как бред несчастного, только что перелезшего ограду сумасшедшего дома...

— Вам что? — В сердитом вопросе был испуг. — Что угодно?

Павел оторопело замолчал, отшатнулся, испытав странный стыд: в голосе, шедшем из темноты, он уловил намек на гнусное подозрение.

— Рехнулся, что ли? — Тень прохожего далеко обошла Павла — из осторожности, — и звук его шагов растаял в шелесте дождя.

Мужайся! Вон кто-то идет, это уж наверняка он. Нет. Шаги — равнодушные, поспешные, потом он спугнул запоздалую парочку, пьяница, шатаясь, проковылял мимо, трамвайщик с сумкой, и все. Пусто. Павел каменел, прижавшись спиной к корявому стволу каштана, тупел от безвыходности положения.

Когда стрелка на светящемся циферблате приблизилась к двенадцати, случай сыграл с ним одну из своих шуток, до которых никогда не додуматься человеку. Сначала Павел услышал шаги, уверенные, повоенному четкие, подковки звякали о плиты тротуара; потом из темноты вынырнула тучная фигура в мундире унтер-офицера СС; фигура росла, вспухала перед ним, черная на более светлом фоне, и вдруг замедлила шаг, сунула руку в карман. От мозга по телу помчались приказы, смятенные, противоречивые: беги, уничтожь пакет, скорей... нет, ни с места!

Эсэсовец направился прямо к нему, в пальцах у него что-то белело.

— Энтшульдигизи... Хамзи фойр? * — отрывисто пролаял он на невообразимом наречии, и мозг Павла, парализованный испугом, отказал.

— Was?

Он выпрямился, покорный судьбе, не вынимая, однако, рук из карманов.

* Простите... Нет ли у вас огня? (н е м., и с к а ж.).

— Фойр... Ферштензи? Фойр! * — громко объяснил эсэсовский унтер, поводя сигаретой у Павла под носом.

Когда Павел сообразил, в чем дело, ошеломление его ничуть не уменьшилось, скорее наоборот: возможно ли, чтоб... да нет, челуха, быть не может! — проносилось у него в голове, между тем как эсэсовец общепонятными жестами старался пояснить ему, как дурачку, что ему нужно. «Фойр!»

Павел прижал сверток к себе и, сделав невероятное усилие, вытолкнул из стиснутого горла:

— Nein... ich gauche nicht... **

Тишина, потом:

— Ах, зоо... на я... ***

Подковки прозвывали, фигура в мундире уплыла в темноту.

Дождь припустил — теперь он лил потоками.

Час ночи... половина второго... Ошибки быть не могло, и все же никто не пришел!

VII

Он кинул машину почти отвесно вниз, вокруг разом стемнело — самолет, как снаряд, пробил слой мутных туч, и потом в сиянии солнца он снова увидел «мессера»! «Мессер» набирал высоту, пытался спрятаться в редких клочьях облаков, но при этом потерял превосходство в скорости. Попался! Он несся за «мессером», твердой рукой повторяя все его повороты. Ну-ка, «бигглс»! Поймал «мессера» в скрещении прицепа и, воинственно выставив челюсть, нажал на спуск.

Калитка скрипнула, на улицу вышел пан Кунеш, ведя на коротком поводке своего облезлого пса.

— Добрый вечер!

Сделав несколько шагов, полковник остановился, опытным глазом обозрел местность. Опасности никакой.

Он почувствовал облегчение. Широкие окна виллы напротив затянуты гардинами, но это не собьет с толку обстрелянного солдата! Хитрость! Потому что за теми тяжелыми гардинами, внушающими ложное впечатление безопасности, живет немецкий полковник от авиации. Можно сказать, коллега! Кунеш часто смотрит сквозь застиранные занавески своей мансарды, как немец садится в открытый «мерседес»: великолепная выправка, размеренные, как у машины, движения, шофер, вытянувшись в струнку, четко взбрасывает руку, приветствуя его. Да, настоящий полковник! А какое у них чувство дисциплины — что и говорить, мы по сравнению с ними просто тряпичники, даже если взять времена нашего блеска, с горечью думает про себя полковник, шлепая в комнатных туфлях по своей мансарде. Ох, этот коллега напротив! Противник, ко-

* Огонь... Понимаете? Огоны (нем., искаж.).

** Нет... я не курю... (нем.).

*** Ах, вот что... ну ладно... (нем., искаж.).

нечно, но... Полковник не может запретить себе некоторой восхищенной симпатии. Он ни минуты не сомневается, что тот, в вилле напротив, знает о нем! И конечно же, следит за каждым его движением, докладывая об этом по инстанции. У него ведь инструкции! Как ведет себя полковник Кунеш? Следите за ним — отличный офицер, представляет особую опасность для третьей империи! Один раз — он может поклясться! — в окнах напротив блеснули стекла полевого бинокля. Ага, следят! Быть может, в вилле установлен даже легкий пулемет, со сладостным замиранием сердца подумал полковник Кунеш, достаточно неосторожного движения, и... Я в осаде! — сказал он себе, выпрямляясь. Ничего, полковник Кунеш выдержит, у Кунеша стальные нервы, господа германцы! Так жил полковник Кунеш. Ночами, за шторами затемнения, сидел над картой, решал сложные стратегические задачи. Мысленно горячо спорил о тонкостях стратегии с благородным коллегой из виллы напротив — легко одерживал верх над ним, в возбуждении щелкал худыми пальцами. Замечательная школа! Прошу, досточтимый коллега! Извольте! Мое мнение? Я избираю фронтальное продвижение пехотой вот до этой высоты, при поддержке танков, и здесь, — постукивание пальцем по карте, — бой!

Устарело? Позвольте возразить. Нет, благодарю, я принципиально не пью коньяк. Ха! Нет, мне еще рано на свалку, это выяснится, когда кончится теперешняя бестолковая война и с меня снимут осаду.

Полковник Кунеш пересек трамвайные пути, стараясь сохранить достоинство походки, хотя нетерпеливый пес тащил его вперед, и, не дойдя нескольких шагов до калитки виллы напротив (он любил переживать то приятное волнение, с каким проходишь совсем близко от вражеского гнезда), вдруг застыл на месте.

По пустынной улице снизу приближался открытый «мерседес», а на заднем сиденье... Он! Наконец-то они станут лицом к лицу, два настоящих солдата, опаленных порохом... Спокойно, Кунеш!

Пусть видит, кто перед ним!

Визг покрышек отдался в самом мозгу, хлопнула дверца, и Кунеш, как бы издалека, услышал лаконичное приказание:

— Also... morgen früh! *

— Javóleróbrst! ** — пролаяло изваяние шофера.

Обстоятельства встречи были не самыми благоприятными: пес в решающий момент присел на корточки под каштаном и с виноватым выражением морды принялся отправлять естественную надобность. Изменник! Оставалось крепко держать его на поводке и беспомощно ждать. Ладно! Его хотят унижить, а он не сдастся! Кунеш демонстративно выкатил впалую грудь и застыл в позе, в какой, вероятно, гордо ждут роковую пулю, упрямо решив ни на волос не отводить взгляда.

Вот я! Полковник Индржих Кунеш!

Немец вылез из машины, оскорбительно мимолетным взглядом скользнул по жалкой фигуре человека с собакой. Komisch! И, не оста-

* Итак, завтра утром! (нем.).

** Так точно, господин полковник! (нем., и с к а ж.).

навливаясь, спесивец этакий, четким шагом промаршировал в свой садик.

Невероятно. Кунеша охватило чувство горького разочарования, но потом он догадался, и разочарование сменилось восхищением. Как владеет собой! Невозможно сомневаться, что немец, несмотря на гнусное штатское платье, распознал в нем офицера высокого ранга — солдат нюхом чует. Но он и бровью не повел! Враг, конечно, но — достойный уважения! Коллега.

Он почувствовал, как натянулся поводок, глянул в преданные глаза своего друга, очнулся и с тихим вздохом последовал за собакой по крутой улице.

В вестибюле под лестницей, там, где обрываются гладкие перила, Войту догнала Алена; он узнал ее по частому стуку каблучков, но не оглянулся.

— Привет, супруг!..

И промчалась мимо, на лестницу, шелестя плащом.

Он поднял глаза — она была уже на втором этаже; оглянувшись, махнула небрежно.

— Ты посмотри, что тебе милостивая пани прислала, — послышался укоризненный голос мамы.

И в эту минуту за Аленой захлопнулась дверь.

Громче стало тиканье будильника, а сверху слетел знакомый смех, пронизал до костей, как рентгеновы лучи.

Войта потрогал сверток; он был мягкий, на ощупь податливый. Он разорвал бумагу и вывалил содержимое на стул.

Одежда; куча одежды, пиджак с плеча великана, из самых дорогих довоенных материй, какие нынче только во сне увидишь, брюки, жилеты, все чуть-чуть пахло старостью и нафталином. Гм... Ну и что? Сполкон веку все поношенное платье переходило с бельэтажа в подвал, и даже свадебный костюм спустился к Войте из того же щедрого облака. Чего ж тут удивительного? Войта перебирал эту мягкую кучу, будто что-то искал, потом сунул руки в рукава пиджака. Ватные плечи отстали, пиджак болтался на нем как на палке! Глянь — пугало огородное! Сюда влезет еще один такой жених!

Посмотрел в зеркало и прыснул, потом вдруг стало стыдно, он сорвал пиджак, швырнул на стул, рванулся прочь.

Игла шипела в бороздке, из превосходного «биг-бена» лилась дурманяще-сладостная мелодия скрипки, коротко и резко лаяли в унисон саксофоны, и голос певицы тек, как ручей по сглаженным валунам, капал медом, дразнил.

— Конни Босуэлл, — мечтательно шепнула Алена.

Она слушала, плотно сжав ресницы, уронив руки на колени. Войте ничего не говорило имя, но музыка приятно обволакивала его, она так подходила к теплоте вечера, он без сопротивления отдавался ей. Си-

дел он возле Алены, в ее белой комнатке, на хрупком пуфе, выложив на колени кулаки, и дохнуть боялся, чтоб не помешать. За окнами, в низине, город кутался в предвесеннюю мглу, а здесь все светилось белизной, все было благоуханно-нежным, царство хрупкости, в которое он провалился, как в царство давно забытой сказки, и в котором казался сам себе неуклюжим и неприятно-плотским. Все повторялось: опять была девочка с синим взглядом и светлой челкой. «Войтина, пошли играть!» — лепечет детским голоском ветряная мельничка... Ах нет, вот Алена рядом, поконится в кресле, и свитер натянулся на большой, твердой груди. Он не может подумать о ней без дрожи в теле. Знает ли она об этом? Схватит вдруг его руку, в невинном порыве прижмет ее к груди.

— Войтина, как я рада, что мы опять подружились! — горячо воскликнет, блестя глазами. — Обещай, что всегда так будет!

А он без раздумья обещал бы ей три золотых волоска деда Всеведа или кусочек прошлогодней радуги... Кто ты такой? Ничтожество из подвала. В такие минуты Войта уверен, что сумел бы умереть за нее.

— Вот голос, а? — проговорила Алена в полумраке, когда пластинка кончилась. И, не дожидаясь ответа, запела сама, так точно копируя голос певицы и произношение, что трудно было заметить разницу.

— Ты умеешь по-английски? — только и смог он спросить восхищенно.

Алена тряхнула волосами, обхватила колени.

— Учусь. Хочешь вместе со мной?

— Пожалуй, у меня не получится, — скромно возразил он.

— Откуда ты знаешь! Это замечательный язык! Слушай! — Она негромко стала декламировать, смаковать незнакомые слова. — Слышишь музыку? Все сонги звучат прилично только на английском, тут уж ничего не поделаешь. — Она встала, подошла к окну, задумчиво загляделась на темный город. — Пригодится после войны... если, конечно, не захочешь киснуть в этом медвежьем углу...

Войта беспокойно привстал, снова сел.

— А ты хочешь уехать?

Она обернулась, уперлась ладонями в подоконник, покачала головой:

— Только тсс, миленький! При маме ни слова. Ты ее знаешь. Сентиментальна до невозможности, уговаривает себя, что сделает меня солидной ученой дамой. Детским врачом. Может, это и шикарное занятие, да я-то хочу петь, понимаешь? Притом никаких опер. В хорошем джазе! — Она постучала каблучком об пол, задвигалась в бодром ритме. — Та-да-да-да, та-да-да... Элексадрз регтайм бенд... Тебе не нравится?

— Нравится, — охотно поддакнул он. — Отчего же...

— Видишь! У меня хороший голос и тембр. Это сам Кели говорит, а уж он-то в этом разбирается. Он такой замечательный ударник, что хоть сейчас в американский джаз. И фигура у меня ничего, правда? А петь я люблю. И ничего в этом нет плохого. От полек и вальсов меня просто тошнит — от них несет луком и пивом.

— А если не выйдет?

Она подошла ближе:

— Что не выйдет?

— Уехать.

Положила ему руки на плечи:

— Дурачок! Почему же не выйдет? Ведь потом-то будет свобода! Фрррр из клетки... И ты, — она тряхнула его, — ты поедешь со мной, Войтина. Хочешь? — Прозвенела рассыпчатым смехом, запустила пальцы в его жесткую шевелюру. — Например, закончишь свое изобретение, что-нибудь замеча-а-а-ательное, такими вот буквами будут о тебе в газетах писать, а я лопну от гордости.

— Да, но... — трезво пробормотал он. — все это не так просто...

— А ты сумей. Для меня! А что вообще ты хочешь делать, когда война кончится? Ты ведь мне еще не говорил.

— Летать...

— С лестницы кубарем? За пивом для начальства? Или в самом деле?

— А что? — обиженно вскинулся он. — Тебе не нравится?

— Наоборот! — восторженно воскликнула она, обняла его сзади. — Это здорово! Я буду замирать от страха, когда ты помчишься по воздуху. Так и вижу: ты вылезает из самолета, очки на лбу, а я тебе машу. Воздушный ас Войтех Сыручек...

— Ладно тебе, — недовольно перебил Войта. Он не был уверен, не смеется ли она над ним немножко, и к тому же фамилия Сыручек как-то неуместно звучала рядом с его воинственным именем*.

Дверь у них за спиной открылась, деликатная тень с шелестом вошла в комнату. Слабо повеяло духами, такими же нежными, как и голос вошедшей.

— Что же вы не зажжете свет, дети? — ласково прозвучал этот голос. — Накурено у тебя тут, Алена, как в трактире. Надеюсь, она не кланчит у вас сигареты, Войта? Не нравится мне, когда она столько курит.

— Ну да, вчера ведь мне исполнилось десять лет, — фыркнула Алена.

— Разума у тебя не больше, — парировала милостивая пани и снова отнеслась к Войте: — Я хотела спросить, вы не забыли о домовой выписке? Понимаете, без этой дурацкой бумаги...

— Все в порядке, — с жаром уверил он милостивую пани. — У меня все есть.

— Ну, тогда не стану мешать, — сказала она, уже взявшись за ручку двери. — У меня гость: мы с доктором Годеком в гостиной. Не хотите чашечку чаю? — Она медлила открыть дверь, будто старалась что-то вспомнить. — Ах да, Аленька... у тебя нету хотя бы двух сигарет? Бедняжка доктор совсем извелся...

— Слушай, мама! — воскликнула Алена, словно вдруг ей стало стыдно чего-то. — Ты ведь отлично знаешь, что...

* Войтех — от древнеславянского «Радующийся бою».

— Ну хорошо, хорошо... Незачем так сразу накидываться...

Войта встал, опустил руку в карман.

— Если вы не обидитесь... У меня остались две.

— Да нет... Что вы, что вы, мальчик, — решительно отнекивалась милостивая пани. — Я запретила себе так злоупотреблять вашей любезностью. Нет, правда, надо с этим покончить. Довольно уж мы от вас требуем...

— Пожалуйста, не беспокойтесь! — испуганно перебил он ее, протянул смятую пачку. — Завтра получу на заводе...

Она еще поколебалась, прямо трогательная в своей чуть ли не девичьей застенчивости, потом смиренно вздохнула.

— Господи, я ужасная! Ну, может быть, когда-нибудь я смогу вознаградить вас за все... Ладно, раз вы завтра получите, как вы сказали... Но это уж в последний раз, Войта, хорошо? И — с отдачей!

Она выплыла благоуханным облаком, и слышно было, как в прихожей она говорит гостю:

— Представьте, Бедржих...

— Она просто невозможная, — прошептала Алена, когда дверь захлопнулась за матерью.

— Почему? — недоуменно спросил Войта. — Я всегда ее любил...

— А меня? — живо откликнулась Алена, приблизила к нему лицо: ее волосы защекотали ему лоб. — Ну говори же! А то приревную, несчастный!

— Ты сама знаешь, — вздохнул он, хотя все существо его так и дрожало от необъятного счастья. Он выразительно хлопнул ладонью о колено. — Факт!

Алена посерьезнела, легонько коснулась губами его рта — она редко целовала его в губы — и, выпрямившись, отошла к окну.

— Послушай... ты не раздумал?

Он поднял голову. В рамке окна рисовался ее профиль, и в наклоне ее головы было что-то странное, сбивавшее его с толку — то ли печаль, то ли усталость, тревога. Со страхом он понял, что не узнает ее. О чем это она?

А она передернула плечами, прижалась лбом к холодному стеклу.

— Понимаешь, я не хочу, чтоб ты разочаровался, Войтина, нет, дай мне досказать! Может, все это дурацкая шутка... но что мне делать?.. Если б не необходимость.. Ты не будешь горевать, правда? Не надо! Ты чудесный парень и по-настоящему любишь меня, я это знаю. Нет, не бойся, я совсем не сентиментальная и не такая уж плохая. Обещай, что никогда так обо мне не подумаешь! Я, может быть, не такая, как ты себе представляешь, но другой быть не собираюсь. Хочешь, бросим все это, пока не поздно. Маме не верь, она вся из сладкой лжи. Я ее не выношу!

Он прервал это непонятное излияние, прервал чуть ли не сердито, с оттенком кроткого достоинства:

— Слушай, хватит, ладно? Раз я обещал, так хоть лопни, слово сдержу!

— Ну хорошо, не будем больше, — согласилась она и коротко

усмехнулась: Войта узнал прежнюю Алену, вздохнул легко. — Рах тесит*, медведь!

Она подошла к адаптеру и поставила пластинку.

Две недели, прошедшие от обещания до исполнения, были как сон в розовом облаке. Войта двигался в нем плавно и как бы парил над землей; эти две недели были наполнены разговорами, шепотом, сладко бередеющей музыкой, которую не в силах был заглушить в нем даже грубый грохот пневматических молотков. Они встречались под лестницей, Алена заговорщически подмигивала ему, и после этого он спускался к себе на дрожащих ногах. В подвале стало как-то светлее, первые солнечные лучи падали на землю перед окном, и обитая нажда уже не так бесстрастно таранилась в пространство, и помешанный полковник вдруг превратился в милого человека с великолепным благородным псом. Войта починил подгнившую мельничку у забора. Ну-ка, ущипни себя, не спишь ли? Ты — и она! Нет, не спишь, дуралей, вот это да!

Мама стремительно молодеда, ходила по дому в каком-то экстазе.

Да могла ли я и подумать-то! — сто раз повторяла на дню. — Золотце мое, принцесса, все Фанинка да Фанинка, а помнишь, как она уплетала картофельные лепешки? Щечки, бывало, так и лоснятся! А как корью болела — никого не хотела видеть, только Фанинку. Ах, дети, дети, вот бы дожить покойному отцу! Каждый день за вас молюсь... Ах, что же я надену-то? Скорей отдать перешить то черное платье...

Войта бежал от излишней матери; он хотя и понимал ее, но всякий раз его охватывал какой-то странный стыд. Он дал согласие на то, чтоб свадьба была самая скромная и незаметная, без оглашения, без внешней пышности, свидетелями будут доктор Годек и его сын Алеш — обоих он видал, они были среди наиболее частых посетителей виллы. Конечно, в отделе кадров ему пришлось заявить о том, что он вступает в брак, обойти это было никак нельзя.

В последний вечер Алена схватила его за рукав на лестнице:

— Вечером приходи наверх. Познакомись с Годekom и Алешем. Ничего не поделаешь!

В ожидании Войты они собрались вокруг чайного стола в гостиной, где уже были спущены шторы затемнения. Доктор Годек мог бы играть в пошленьком фильме роль благородного генерального директора. Алена называла его «пан Того-с». Сын его Алеш непринужденно развалился в кресле и от души забавлялся. Он обладал способностью забавляться всем и вся.

— Я полагаю, что все в абсолютном порядке, пани Гедва, — снисходительно произнес адвокат, прикрывая ладонью руку хозяйки дома; но тут же вспомнил что-то, хлопнул себя по лбу и вытащил из портфеля бумажку с отпечатанным на машинке текстом. — Еще одна мелочь. Я подготовил небольшое заявление, и, думаю, будет хорошо, если этот юноша подпишет его. — Он снисходительно протянул бумагу че-

* Мир тебе (латин.).

рез стол. — На первый взгляд это пустая формальность, но после войны она облегчит... того-с... безболезненное разрешение всего дела. Юношу я лично знаю, а посему... того-с...

Алена прочитала бумажку через плечо матери и взорвалась:

— Нет! Не допущу я такого свинства! Войта не подлец какой-нибудь!..

Милостивая пани легким толчком заставила ее сесть на место и сама заговорила своим бархатным голосом:

— Нет, правда, доктор, я думаю, это излишне, да к тому же и унизительно. Он Алену любит, потому и согласился. Кроме того, мы знаем его с детства. Его мать — женщина чрезвычайно набожная и порядочная. Я сама очень люблю его и уверена в его безусловной честности...

— Но, конечно, конечно, моя дорогая! — с невозмутимой улыбкой пошел на попятный адвокат, быстро пряча бумажку в портфель. — Вы только поймите... того-с... мою точку зрения. Я стараюсь, естественно, защитить прежде всего интересы Алушки...

— Не предоставите ли вы это мне самой, доктор? — невежливо перебила его Алена. — И будьте любезны, не называйте меня «Алушка»! Ваша заботливость выводит меня из себя!

— Колоссально, Алка! — захохотал Алеш, сделав рукой одобрительный жест. — К черту адвокатскую осторожность! Я сгораю от нетерпения, честная невеста! Отпразднуем так, что небу станет жарко...

— Бездельник, — обругал сына Годек, впрочем, без всякой злобы, скорее с некоторой гордостью.

— Будь добра, сбавь немножко тон, — одернула милостивая пани свою дочь, взглядом прося прощения у Годека. — Ты достаточно взрослая для того, чтоб понять: пан доктор относится к тебе, как родной отец. Ужасная молодежь, друг мой! Я совершенно ее не понимаю.

— Оставьте ее, — всесело вступился Годек за Алену, которая в ярости кусала ногти. — Молодежь на то и существует, чтоб приводить в ужас родителей. И Алеш такой же, вы сами сейчас слышали. А я нынешней молодежи никак не завидую. Эта война и все прочее — жестокое для них испытание. Сами видите, какие шаги приходится предпринимать. Алушка... того-с... взволнована, и это понятно. Что ж, завтра всему будет конец. Итак, вы говорите, этот юноша...

Звонок прервал его; милостивая пани с трогательно-просящим видом прижала палец к губам.

— Это, верно, он. Прошу всех вас быть поделикатнее. А главное, вас, Алеш. Алена, поди открой!

Со стены прямо на него взирает надутое лицо президента страны, рядом водянистыми глазами сам фюрер всматривается в тысячелетие. Войта заметил, как муха, слабая после зимней спячки, ползет по стеклу, от молодцеватой челки на лбу фюрера к усам; вот она перелетела на стол, села у локтя совершающего обряд — он был в темном пиджаке — и направилась к документам, разложенным на плюшевой ска-

терти; развернула сетчатые крылышки, закружилась вокруг благородной головы чиновника, совершающего обряд, — з-з-з-з, з-з-з-з, чиновник незаметным движением головы прогнал назойливую нарушительницу, а из его медоточивых уст слова так и сыпались; заведенный органчик в нём болтал о хрупкости супружеского счастья, о подводных рифах жизни, о верности до гроба, об обязанностях перед государством, над которым простерта хранительная десница сражающейся империи, но нетрудно было понять, что думает чиновник совсем о другом и работает у него только язык; он, наверно, не успел как следует доесть второй завтрак, в уголке рта у него осталась хлебная крошка.

Войте приятно было следить за мухой. Теперь она полетела к окну, стукнулась о стекло. Войта покосился на Алену, та стояла рядом с таким видом, будто слушает этот поток никому не нужных слов, а сама с трудом подавляла зевоту. Солнце, бывшее в широкие окна, двумя пыльными столбами налегло ей на плечи. Она была хороша; до того хороша, что сердце у него отчего-то вдруг сжалось. Сзади них стояли только Годек с сыном; тот лениво рассматривал линию невестиних бедер, обтянутых простой юбкой. Милостивая пани стояла в сторонке в неброском костюме, отлично подчеркивавшим молодость ее фигуры, и лицо ее под слоем пудры не отражало никакого волнения, которое следовало бы испытывать матери на свадьбе дочери; в лице милостивой пани было одно лишь заметное нетерпение да еще затаенный гнев. Господи, когда же этот человек кончит?

Вообще все с утра было странно. Войта ходил как в тягостном сне, в котором ты голый и все на тебя смотрят. Вчера вечером мама слегла с небольшим жаром: вилла должна, конечно, блистать чистотой, и пылесос гудел с рассвета до ночи. И сегодня утром мама осталась в постели, под полосатой периной, утопая в слезах. Войте так и не удалось ее утешить. Сама милостивая пани спустилась к ней, ласково потрепала прислугу по горячей руке; ничего, мол, Фанника, не расстраивайтесь. Здоровье важнее. Да и что нынче за свадьбы? Даже и убирали-то напрасно. Милостивая пани была в обычном костюме, и Алена прискакала в холл в том самом платье, в каком прошлый раз ходила в кино. Войту это несколько озадачило, но в конечном счете он даже рад был, потому что всякая пышность приводила его в ужас. Другое его огорчило: мама хотела хоть взглянуть на свою дорогую сношеньку, перекрестить ее материнской рукой, а Алена резко отказалась: «Не выношу этих комедий! Давай двигайся!» И покраснела. Она даже наотрез отвергла букет увядающих тюльпанов, который Войта с трудом раздобыл вчера, повинувшись настоящим уговорам мамы. «Как же, стану я разыгрывать идиотку на глазах у всех!»

Она положила букет на столик в вестибюле, так он там и остался.

Достать такси было невозможно, а пресловутый свадебный трамвай решительно отвергли и мать и дочь, поэтому шли пешком по круто спускающейся улочке к трамвайной остановке и молчали. Милостивая пани с хорошо разыгранной неумышленностью отставала от них на несколько шагов, так что никто не заподозрил, что это свадебная процессия. К чему разыгрывать спектакль для уличных зевак? Трамвай

полз безобразно, набитый до отказа, его расхлябанные сочленения терзали нервы скрипом. Войта отыскал глазами Алену. Ее побледневшее лицо подергивалось от волнения, и была в ней какая-то тревога, которой Войта не мог понять. Почувствовав его взгляд, она невесело усмехнулась, притронулась к его руке и отвела взор на убегающую за окном улицу. Ох ты...

У входа в отдел бракосочетаний, нервничая, ждал Годен с сыном. Адвокат был как на иголках. Одет он был в поношенный костюм, а лицо его выражало такое будничное безразличие, словно он должен был выполнить утомительную служебную обязанность. Куда девалась та обходительность, то деятельное чувство превосходства, с каким он встретил Войту вчера вечером? Теперь он скользнул по жениху беглым взглядом, а его рослый отпрыск выплюнул окурок — вероятно, нечаянно — чуть ли не на ботинок Войты.

— Скорей, скорей, мы опаздываем! — повелительно произнес адвокат и помчался вперед, как борзая.

Все поспешили за ним по холодным коридорам — марионетки из немой кинокомедии: двери, еще какие-то двери, стертые плиты пола, посетителя на скамейках...

— Пожалуйте сюда, — услышал Войта, кто-то назвал их фамилии, откуда-то сверху из рупора хрипло заиграло «Наша верная любовь», и вот они очутились перед столом, покрытым толстой плюшевой скатертью.

З-з-з-з, з-з-з-з — кружила муха над их головами, президент надутو взирал со стены, а чиновник-златоуст все перемалывал слова и фразы. Органчик! А вдруг в нем произошло короткое замыкание и он теперь не может остановиться? — профессионально подумал Войта.

— Господи! жених! — Чиновник взвизгнул свой голос, подтяв его до заученного пафоса. — Хотите ли вы взять в жены присутствующую здесь Алену...

Войта вздрогнул, опомнился, чужим голосом пробормотал что-то такое, что могло означать и «да» и «нет», но чиновник не терял времени на сомнения; Алена выдавила свое «да» через стиснутые зубы и не подняла глаз; колец не было, так что не к чему было долее пребывать перед столом и портретами государственных мужей, брачующиеся быстро поцеловались, чиновник подергал руку жениху, как ручку насоса, буркнул что-то про счастье и скрылся в боковой двери, как человек, только что совершивший некрасивый поступок. Из рупора зазвучало «Как же нам не радоваться», а в зал уже заглядывали нетерпеливые участники следующей брачной церемонии.

— Ну вот, можно... того-с... идти домой, — сказал из-за спины адвокат, подавая сигнал к отступлению.

И опять — двери, двери, коридоры, лестницы, которые словно текли вниз, и последней волной их вынесло на улицу, на яркое солнце. Войта зажмурил глаза от этой яркости, но заметил, как Годен энергично отстраняет свору поджидающих фотографов.

— Не нужно, господа! — кричал он, взмахивая руками. — Не трудитесь понапрасну!

Один из них все же прицелился объективом, и Войта увидел, как Алена находчиво отвернулась и предложила новоиспеченному супругу двигаться дальше.

Но сумасшедший дом еще не кончился! На плечо Войты вдруг опустилась тяжелая рука, и он, обернувшись, замер от испуга. Сзади стояло трое здоровенных парней в дешевых воскресных костюмах: Падевет, его прежний напарник, ухмылялся ему прямо в лицо, а рядом торчали Швейда и этот бабник Гиян, с букетиком в руке, и все трое в знак мужской солидарности хлопали его по спине. Господи, откуда они-то узнали? Видно, хотели его обрадовать, сделать сюрприз, что и вышло в наилучшем виде. Он так и прирос к месту и только, мигая, смотрел на Алону.

— Кто же так делает? — Падевет, разойдясь, шутливо ткнул его в грудь. — Женится, паршивец, а сам ни гугу! А я-то помню его еще учеником с соплями под носом... Ну не беда, пришли мы, дорогой Войтишек, поздравить тебя малость, пусть у вас... как говорится... с паничкой совет да любовь будет, да смотри не халтурь, ха-ха-ха! Ну-ка, похвались... А у тебя губа не дура, гром тебя разрази!

Невеста не успела опомниться, как все трое по очереди пожали ей руку. Она уставилась на них, бледная, и только тогда пошевелилась, когда Гиян сунул ей в руку дешевенький букетик.

— Значит, кучу детишек, молодая пани, — щедро пожелал Гиян в придачу, — а парня вы для этого дела выбрали толкового, так пусть же у вас будет много маленьких жестянщиков!

«Ради бога, спасите!» — телеграфировала взглядом милостивая пани своему защитнику, адвокат встрепенулся, и под его умелым руководством инцидент был ликвидирован за несколько секунд. Он со значительным видом заслонил обеих женщин, изобразив на лице учтивую улыбку.

— Простите, позвольте представиться — доктор Годек... Весьма рад, господа, — он так и сыпал словами, с очаровательной небрежностью пожимая всем троим руки. — Благодарим вас от души, очень мило с вашей стороны, но, к сожалению, неотложные обстоятельства... придется вам уж нас... того-с... извинить... Еще раз большое спасибо, до свидания, господа! Нам пора, не правда ли?

Он круто повернулся, сбросил улыбку, жестом пригласил дам следовать вперед, и не успели поздравители рта раскрыть, как новобрачные со своими свидетелями уже быстро шли к остановке. В последнюю минуту Швейда успел сунуть оторопевшему Войте сверток с подарками.

Гм... Они остались торчать на мостовой в своих воскресных костюмах, но ни один из них словом не коснулся того, что сейчас разыгралось.

Падевет только сдвинул кепку на затылок да вытер лоб тыльной стороной ладони.

— Н-да, брат, — высказался он лаконично и сейчас же добавил: — Вот жара, верно?

— Жарковато, — оживился Гиян и губы облизнул. — Сейчас бы... пивка! Ох и напился бы я до отвала!

Из дверей повалила на солнце новая, многолюдная свадьба, ожили фотографии, и трое рабочих были незамедлительно оттеснены, чтоб, не дай бог, не попали в кадр.

На трамвайной остановке адвокат поцеловал милостивой пани кончики пальцев.

— Благодарю вас, друг мой, — прошептала она убитым голосом. — Это было ужасно!

Он улыбнулся ободряюще.

— Зато все кончилось. Только еще, как мы условились. — Он наклонился к ее маленькому ушку. — Я немного... того-с... опасаясь вашей мягкости, а между тем... слишком уж чувствительной быть не нужно, поверьте! Это вредно даже для него. А он, кажется, в самом деле славный малый...

Алена с окаменелым лицом бросила букетик в урну, спросила каким-то высохшим голосом:

— Эту комедию ты устроил, Войтина?

— Нет, — вяло пробормотал он. — Понятия не имею, как это получилось... ей-богу!

Алеш слушал, вальяжно опершись на столб, и кротко улыбался. Смятение невесты, как видно, доставляло ему известное удовольствие, и он решил насладиться им до конца. Был он на голову выше Войты, с отшлифованной спортом фигурой, на которой даже лохмотья бродяги и те казались бы элегантными. Он излучал неуязвимую самоуверенность, его белозубый смех обезоруживал. С Войтой он держал себя хорошо, даже с неуловимым оттенком сочувственной симпатии.

Он выплюнул изжеванную спичку.

— Колоссально, — пустился он в анализ. — Ты обратила внимание на этого чинишу? Вид у него как у оптового торговца осами! — И весело захохотал собственной шутке. — Держу пари, у него геморрой и супруга весом в центнер. А эти три молодца!

— А что в них смешного? — неожиданно ошетинился Войта, помешав Алешу сообщить свои дальнейшие наблюдения. — Они порядочные люди, — уже совсем тихо закончил он.

— Оставь, — устало сказала Алена молодому Годенку. — Я не в настроении.

Что все это значит? — ломал голову Войта, пока они поднимались к вилле по крутой улице. В нем бурлили противоречивые чувства, он в них не мог разобраться. Вагон трамвая, переполненный телами и запахами, шатался из стороны в сторону, бросал пассажиров друг на друга, милостивая пани отважно страдала, обмахивалась надушенным платочком. Ему было чуть ли не жаль ее, но когда он поймал ее беглый взгляд, то уже не нашел в нем той приветливо-ободрительной улыбки, какой она одаряла его вчера вечером. Его охватило совершенно необоснованное, но до странности определенное ощущение, что он сам

во всем виноват: в том, что война, что тотальная мобилизация, что Алена родилась в двадцать четвертом году, и за свадьбу эту он в ответе и даже за духоту в вагоне.

Войта поднял глаза на Алenu и Алеша — они стояли рядом, красивые, стройные, и в этот миг он с предельной ясностью понял, до чего же они подходят друг к другу. Это кольнуло его, он постарался скорее прогнать неприятную тревогу и тут заметил, как Алена ни с того ни с сего подмигнула этому красавцу — так подмигнула, как это делают близкие люди. А когда в полном молчании подходили к калитке, милостивая пани по-прежнему на несколько шагов позади, Войта со странным смущением констатировал, что топает он с правой стороны своей жены, в то время как молодой Годек с великолепной непринужденностью вышагивает с левой. Ну и что?

Да ничего, конечно, глупости, — он отбросил эти мысли и приравнял к ним свой шаг.

— Наконец-то дома! — со вздохом облегчения воскликнула милостивая пани на пороге виллы.

Холл приветливо дохнул им в лицо, за спиной захлопнулась входная дверь, и тут-то на месте, где до недавних пор всегда расходились пути Алены и Войты, у нижнего конца сверкающих перил, это и произошло.

Что произошло?

Да, собственно, ничего особенного, только в момент, когда Войта собрался последовать вверх по лестнице за Аленой и Алешем, он наткнулся на непредвиденную помеху. Милостивая пани остановилась на первой ступеньке, прямо напротив него, загородив ему с прекрасно разыгранной неумышленностью дорогу.

Он не сразу заметил, что она протягивает ему свою холеную руку.

— Так, — сказала она ласково приглушенным голосом, — а теперь, Войта, я должна наконец-то как следует поблагодарить вас. За себя и за Алenu.

Войту насторожил торжественный тон хозяйки, он поежился, недоуменно поднял на нее глаза, не отпуская руки с перил. К чему это она?

— С вашей стороны было так благородно... Я ни минуты не сомневалась... И бог даст, представится случай...

Признательность ее переливалась через край, но милостивая пани ни на шаг не отступила, и он понял все скорее по ее позе, чем по медовым словечкам, порхавшим вокруг его ушей. Он так и замер. Невольно отшатнулся от ее руки, прогнувшейся к его волосам, — если не считать этого, он не в силах был двигаться. Нет, ты слушай! Что она говорит?

— ...Полагаю, нет нужды еще раз повторять, что никаких дальнейших обязательств с вашей стороны отсюда не вытекает... Чисто формальная мера, чтоб не придрались власти... После войны спокойно и дружелюбно мы все приведем в порядок...

Где Алена? Увидел ее через плечо милостивой пани; она поднималась по лестнице бок о бок с Алешем неестественно медленным шагом и ни разу не оглянулась. Он хотел позвать ее, но не смог выжать из себя ни звука. Оглушенный, таращился он на стоящую перед ним чрезвычайно приветливую даму и судорожно цеплялся за перила.

— ...Живем мы одной семьей... Но господи, как же мне отблагодарить вас хоть в какой-то мере? Быть может, вы не обидитесь, нет, вы в самом деле не должны обидеться, если я пошлю вам еще кое-что из одежды покойного мужа...

Что-то в нем крикнуло, он попятился с выражением ужаса — последний удар был, возможно, нанесен неумышленно, но попал точно в цель. Замолчи! Да замолчи же наконец!

Наверно, она заметила выражение его лица, потому что осеклась на полуслове; когда он пришел в себя, она уже поднималась по лестнице — ступенька, еще ступенька, и вот она наверху, дверь бесшумно отворилась, бесшумно затворилась, и дом разом, стремглав низринулся в перепуганную тишину.

Тишина дрожала и в нем. Тишина — и никакой боли. Ничего нет.

Войта провел ладонью по лицу, лицо вспыхивало и тотчас леденело, это было не его, чужое лицо; он озирался, ничего не узнавая, хотя все стояло на своем месте. На столике у двери лежал свадебный букет. Смех?.. Нет, тихо. Он осознал, что держит подарок заводских ребят; взвесил сверточек на руке.

Поплелся в свой подвал; постоял перед дверью, держась за ручку. — усталый кашель, донесшийся из комнаты, прогнал его. Нет. Забрался в свой чуланчик, упал на стул, уставился через подвальное окно на скудный газон. Картинка с изображением истребителя, клещи, напильник, тиски — он трогал эти вещи, они холодили ему пальцы, зато были надежны, тверды, они не обманывали, не ускользали. Не думать об этом! Потом сорвал бечевку с подарочного свертка. Будильник, солидный кухонный будильник. В коробочке поменьше детская дудочка, под нею шуточный стишок, он едва разобрал слова в полутьме чулана. Сколько будильников починил он? Завел — ничего, покачал будильник — механизм прилежно затикал. Поставил на верстак. Тут и стой!

И только теперь — будто включили свет — понял все. Упал головой на стол, измазанный машинным маслом, смазкой, заваленный молоточками, гаечными ключами, и закрыл глаза.

Наверху, этажом выше, царствовала благородная тишина ковров; светлая комната плыла в дневном свете, подобная раковине.

Алеш валялся навзничь на тахте, бессильно разбросав руки и глядя в потолок. Потом поднял ноги и, упершись ладонями в бока, заработал мышцами икр. Он держал себя с естественной уверенностью друга дома и, казалось, вовсе не обращал внимания на Алену, ходившую по комнате в домашних туфлях.

Она остановилась у окна, грызя ногти.

— Послушай, может, перестанешь?

— И не подумаю, — спокойно ответил Алеш.

Однако он скоро опустил ноги, с удовольствием переводя дух; когда Алена прошла мимо, он опытным движением обхватил ее бедра. Она отбросила его руки.

Его недоуменно было трогательным:

— В чем дело?

— Ни в чем. Поменьше вульгарности, сэр, — обрезала она его. — Я замужняя женщина...

— Ах да! — он хлопнул себя по лбу, кивнул. — Да, да!

— И кроме того, я не в настроении.

— Сочувствую. Хотя и не понимаю причины.

— Причина, быть может, та, что я не так уж цинична, как ты думаешь. — Она отвела со лба перепутанные волосы. — Еще не стала такой...

— Наоборот! — Он перевернулся на бок, оглядел ее с вызывающим выражением превосходства, которое она не выносила, и оскалил свои безупречные зубы. — Дело куда хуже. Главное, не пытайся переделывать людей. Напрасный труд, кошечка. Ты для этого ужасно непоследовательна.

Алена словно и не слушала его; обессиленная, рухнула она в кресло, перебросила ногу на подлокотник, запрокинула голову. От этого выгнулась ее пышная грудь, волнистые волосы, отсвечивая медовым блеском, струились на ковер. Алена ковырнула ногтем обшивку ковра.

— Слыхал, как она?.. «Вы вели себя благородно...» — передразнила она мать. — Фу! Ворона! И твой трепач папаша тоже...

— Подозреваю, что в их годы мы будем до странности походить на них.

— Ты — может быть, — вспыхнула она. — А я — нет! Нет!

— А именно? — с сомнением протянул он.

— Сбегу! Удержу! Мне тошно от всего этого, понял?

Добродушно расхохотавшись, он повалился на спину.

— Да разве это тебя отпустит! Ты без этого и жить не сможешь. Оно, видишь ли, въедается в кровь. Я тоже не могу, но я хоть не боюсь признаться! Стоп! — быстро переменил он тон, когда Алена злобно передернулась. — Понцем хотя бы более оригинальный повод к ссоре! Я сегодня очень тебе противен?

— Ужасно! И я просто не понимаю, почему не прогнать тебя.

— А я тебе объясню: потому что все равно потом приплетешься... И сама это знаешь... Послушай... ты заметила, как наши предки спелись? Прямо голубки! Не первой свежести, однако для своих лет еще ничего. Особенно в полумраке. Колоссально! У них уже все слажено.

— Что ты имеешь в виду? И не можешь ли ты хоть на минуту прекратить свой идиотский смех?

Алеш постучал пальцем в стенку, оценивающе сказал:

— Домишко построен довольно солидно. У папочки твоего вкус был не так чтобы очень, зато деляга был...

— Как бы пан... того-с... того-с... не просчитался, — презрительно возразила Алена.

— Исключено, — возразил Алеш, копируя голос своего отца. — Этого в его практике еще... того-с... не случилось. Видимо, он подумывает о двойной свадьбе. Со временем все, по-видимому, утрясется... И так далее. Ясно?

Алена возмущенно замотала головой:

— Совершенно неясно.

— Ах да! Забыл... — Он утомленно улыбнулся ей, протянул руку, стал перебирать пальцами прядку ее волос. — Пожалуй, мне лучше проститься, не мешать семейной идиллии? Понятно... Супруг в подвале... Возможно, он там мастерит семейный автомобиль. Педальный.

Алена вырвалась, порывисто встала.

— Какой ты грубый!

— А что? — притворился он удивленным. — Да, послушай! Как, собственно, твоя фамилия? Я в этой свалке и не разобрал.

Она сначала повернулась к нему спиной, потом строптиво глянула в лицо и с вызывающей четкостью произнесла:

— Сыручкова... Здорово, да? Ну и что?

Она ждала, что Алеш просто заржет от удовольствия, но он любил неожиданные эффекты и потому только кивнул с сострадательным видом, приложил палец к губам:

— Тише, зачем же всех посвящать в это, кошечка! При наших, пожалуйста, ни гугу, а то эта фамилия вызовет у них нежелательные ассоциации из области гастрономии...

— Да уж, для этого они достаточно тупы! — отрезала Алена.

— Верно, впрочем, могло быть и хуже, — понимающе согласился он, как бы желая утешить. — Знавал я одного по фамилии Фрк*. Представь — Фрк! Да еще — Адальберт. Колоссально, правда? Болтали даже, будто он — с такой фамилией! — стал членом масонской ложи... Так что видишь, и с этой фамилией можно ходить по земному шару, жениться, наделать много других Фрков...

— Перестань трепаться! Войта — славный парень, ясно?

— Да я последний, кто в этом усомнится, кошечка. — Алеш сел на тахту, взъерошил волосы, зевнул с некоторой скукой. — Гм... Он, может, даже лучше, чем ты в силах вообразить. Незачем защищать его. Я к нему испытываю даже некоторую симпатию.

Алена беспомощно вскинула руками.

— Симпатию... Ты это серьезно?

— Совершенно. Мне было неприятно за него. Признаюсь, довольно гнусная комедия. Да что делать?

Она круто обернулась, будто ужаленная.

— Так почему же ты это допустил? Почему не сделал этого сам? Я тебе скажу. Потому что ты умеешь только пялить глаза да хихикать. А он мне помог, он лучше тебя, хотя он простой рабочий...

Алеш с любопытством следил за ее вспышкой, делал понимающий вид — вероятно, не хотел раздражать ее еще больше.

— Вполне возможно. Истерия, правда, тебе идет, но мы-то с то-

* Буквально: «Фррк!» (для звукового изображения полета птицы); в переносном смысле — болтовня, сплетня и т. п.

бой можем разговаривать на равных, правда? Не понимаешь, почему я не мог этого сделать?

— Нет, не понимаю! Не понимаю, почему ты не мог.

И это не вывело Алеша из равновесия.

— Потому что между нами это было бы серьезно. А так, пусть это довольно безвкусная комбинация — в конце концов прими ее как не очень удачный анекдот, зато после войны запросто сможешь переиграть и начать с другого конца. Не отрицаю, что на другом конце, возможно, буду я.

— Я вне себя от счастья, — презрительно отрезала она. — Мол, после войны будет видно.

— А как же! Ведь кто знает, что тогда будет? Я должен прежде доконать свою юриспруденцию и малость оглядеться в жизни. Тебе, конечно, все кажется просто: свобода, чешский лев опять стряхнет с себя оковы, люстры зажгутся, на каждом углу будут наяривать джазы. А станет скучно — махнешь на Флориду. Довольно забавно, когда это представляет себе женщина с такой развитой грудью, как у тебя, только еще вопрос, какие эта самая свобода примет формы? А может, она окажется нам вовсе не по нутру?..

— А! Следуют рассуждения на излюбленную тему. Знакомо!

— Не сомневаюсь, тебе отчаянно скучно слушать такие рассуждения. — Сочувственно сказал он и тут же с очаровательной наглостью прищурил глаза. — К тому же мне еще не совсем ясно, люблю ли я тебя вообще. У меня ведь такая сложная натура...

Алена оцепенела, на миг ошарашенная такой грубой откровенностью, но сумела оценить ее: есть все-таки размах у этого молодчика, даже в наглости он умеет оставаться невероятно милым. Она шагнула навстречу его рекламной улыбке и даже позволила обхватить себя вокруг бедер.

Задумчиво посмотрела ему в глаза.

— А главное, ты настоящий мерзавец, — деловито констатировала она.

— Еще что скажешь? Не стесняйся.

Она выдохнула:

— Я, кажется, ненавижу тебя...

— Может, серной кислотой? — посоветовал он, озабоченно сдвинув брови и не переставая гладить ей бедра.

Потянул к себе — она не удержалась, только глаза прикрыла, упершись ладонями ему в плечи, размякла у него под руками. Господи, — подумала, уже покоренная, — вот всегда так: глухая ссора, борьба с его самоуверенностью, его невозможный, отвратительный, раздражающий смех, потом слабость...

— Для постели я тебе, видно, хороша...

— У-у, — передернулся Алеш, — ты сказала это, как соблазненная горничная. Когда наломаете спичечных головок в стакан молока, Мари? — Он весело хохотал под ее ладонью, которой она старалась закрыть ему рот. — И хороша! Ты роскошная, бешеная и совершенная... бесстыдница!

Он прижался лицом к ее животу, опрокинул ее на себя. Настроивал ее, как опытный музыкант: волосы, поцелуй возле уха, от этого постепенно и неудержимо тает ее ребяческое сопротивление, потом ладонь скользнула по бедрам вверх, проникла под блузку.

— И признайся: ты ни о чем не жалеешь!

— Страшно! — вскрикнула Алена и схватила его за волосы. — Молчи! Не хочу ничего слышать, видеть, ни о чем думать не желаю! И тебя я не люблю, я глупая, подлая... и еще не знаю какая...

Ветер прилетел из сада, тронул занавески.

Кларнет? Откуда-то донеслись его фиоритуры, к ним присоединились отчаянно фальшивящие, визгливые скрипка и гармошка. Дикая какофония ворвалась в белую комнатку, разогнала дрожавшую тишину. Все это звучало почти нереально — полька пыталась прыгать, как пьяная коза.

Что это? Алена и Алеш изумленно переглядывались.

Эста, эста, эм-цара-ра... Казалось, играли в саду.

Алеш встал с решительностью защитника, подошел к окну посмотреть. Заглянув через плотную занавеску, он так и скорчился от смеха.

— Колоссально! По-видимому, этому конца не будет...

Перед запертой калиткой торчали три комические фигуры в потертых костюмах — бродячие музыканты низшего сорта, такие уж только шатаются по свадьбам, выкачивая свои грошки из карманов развеселившихся дядюшек и тетюшек. Они упорно трудились. Самый тощий, моргая, поднял глаза на пустые окна, нажал кнопку звонка. Трррр! — зазвенело по примолкшей вилле. Отклика не было. Минута удивленной тишины. Музыканты с упорством рассматривают номер виллы. Еще и еще раз заухала полька, потом «Мою милую ведут от алтаря», и опять: тррррр!

— Пойди посмотри, — надсаживался от смеха Алеш, — это ведь в твою честь играют, кошечка! Оригинальные ребята... У этого, со скрипкой, грация балаганного зазывалы. Мамочки, помру!..

Он почувствовал Алену за спиной, оглянулся, но, увидев ее лицо, перестал смеяться.

— Что с тобой?

— Ничего.

— То-то же! В чем, собственно, дело? Чепуха все это!

Алена кусала губы, заткнула уши — заезженный мотивчик невыносимо терзал ей слух. А он тоже слышит? Несомненно. Каково ему-то? И когда она повернулась к улыбающемуся человеку, стоящему рядом, все в ней сжалось от отвращения. Алена в ужасе крикнула:

— Ради бога, уйди! Скройся с глаз! Неужели не можешь понять, что мне нехорошо?.. От всего нехорошо!

Она закрыла глаза и услышала издали его голос:

— Пожалуйста... Как угодно, Алка. Видимо, нет смысла... Впрочем, тебе стоит только спуститься в подвал. И музыкальное оформление есть... приятного развлечения!

Он пошел прочь, но не успел взяться за ручку двери, как его нагнал окрик Алены:

— Погоди! Ничего ведь такого не случилось...

Музыканты разом оборвали. Через плотную занавеску видно было, как они растерянно топчутся, поворачиваясь во все стороны, в который раз звонят, пожимают плечами.

Только сирены, возвестившие городу полуденный налет, отогнали бедняг от калитки.

VIII

Апрель еще насвистывал под пасмурным небом, но утра уже звенели пеньем птиц и пахли терпкой свежестью редиски.

С того дня Гонза ездил на завод утренним поездом; отчасти из упрямства, но для себя он легко обосновывал это. Ничего нового. Просто в соседнем купе была она. Гонза до сих пор не осмеливался занять место рядом с ней или напротив нее. Он погружался в мысли над книжкой, раскрытой на коленях, а если в купе никого не было — вытаскивал из кармана блокнот, огрызок карандаша и принимался писать. Название «Баллада о переднике»! Эпиграф из Терезы Планэ — это самое легкое. А как дальше? Дело шло туго, от тряски карандаш скакал по бумаге, мысли рассеивались, ускользали от слов. Начни снова! Сколько бывает начал? Вариантов — тысячи. Гонза лелеял эту ненаписанную и до боли прекрасную историю, и всякий раз как брался за карандаш, от волнения у него чужь побаливал живот. Наконец-то вот то, что нужно! Только как изобразить это на бумаге? Фразы, слова... Нет, нет, не то! Сначала! Вот это из Ванчуры, это — из Шульца... да нет, я ведь чувствую-то не так, не мое это. Надуманное. Но где же мы? «Ты млеком должен слово омыwać...» Галас! Ох, как противно храпит этот чурбан напротив... Сначала! Белая плоскость бумаги изводила — злобно порвал ее, написав несколько фраз, а под ней — новый листок, открылся перед ним пропастью, жестоко равнодушный к его мученью. Писака! Долго грыз карандаш, потом сдался, сунул блокнот в портфель, между «Кандидом» Вольтера и котелком с кнедликами; покорно вернулся к действительности. Впрочем, и она не так уж плоха.

Потому что часть этой действительности — девушка в соседнем купе. Ездят вот так: вместе и все же каждый сам по себе, и Гонза не в силах постичь, как сумела она за столько дней не задержать на нем своего задумчивого взгляда. Объяснение — если отбросить то, что подсказывает фантазия, — наверное, трезво и просто: попросту он ее не интересуется. И тут ничего не поделаешь. Может, есть у нее кто-нибудь. А ты-то что же? Странная вещь: Гонза не мог уже хорошенько представить себе, как это вдруг подойти, заговорить с ней — после стольких часов нерешительности! Видно, это должно случиться иначе, неожиданно, и фантазия охотно предлагала ему самые разнообразные решения. Например: во время ночной смены кто-нибудь будет к ней приставать, он подойдет и даст ему в зубы. Это по-рыцарски. Только, как назло, никто не собирается приставать к ней, значит надо ждать,

вооружиться терпением, то есть свойством, совершенно у него отсутствующим. Но что будешь делать?

Паровоз уже отфыркивался на станции; Гонза соскочил на перрон, пошел следом за нею в спешащей угрюмой толпе; обычно уже на деревянном мосту над путями он терял ее из виду.

Все шло сегодня как по маслу. Мелихар был в благодушном настроении и потому, поймав вопросительный взгляд Гонзы, понимающе ухмыльнулся.

— Вижу вас насквозь, молодой. Смотреться хотите.

— Если можно...

Мелихар поскреб в затылке, высказался:

— Ох и пройдохи же вы, тотальники! Без году неделю на заводе, а уже... Смотри, шею свернешь!

Гонза знал, что воркотню эту нечего принимать всерьез, на Мелихара положиться можно, но все равно бегство следовало обставить различными мерами предосторожности: кто-то должен за тебя отбить карточку, и не всегда легко миновать проходную, где караулят два веркшуща; для этого существовало много приемов, в высшей степени индивидуальных и совершенствуемых опытом. Главное — установить, кто из веркшущев дежурит. Случались между ними добродушные папаша, завербовавшиеся по глупости или из врожденного отвращения к труду. — этих уже от страха мороз по коже подирал, они не орали на рабочих, не доносили; и если самим ничего не грозило, отворачивались, когда ты проскальзывал мимо стеклянных дверей караулки, и преспокойно читали ворон. Другие были взяточники. Оглянувшись, не следит ли кто, откровенно протягивали лапу. Давай сигаретку! Нету? Тогда ка-тись обратно, пока пинка в зад не получил! Выработался твердый тариф: за одну «викторку» — просто уход; за две ты проходил с набитой сумкой без всякого осмотра; за пачку — спокойно выкатывай детскую коляску, которую смастерил в рабочее время из краденого дюрала, а за несколько пачек выпускали без бумажки хоть целый грузовик, груженный углем или изделиями подпольных мастеров. Конечно, и этому «бескорыстному» типу веркшущев не следовало особенно доверять. Встречались, однако, настоящие изверги, фанатичные стражи порядка, доносившие на рабочих со сладострастием. В большинстве своем это были судетские немцы, негодные к фронтовой службе, калеки; они счастливы были натянуть любую форму, лишь бы она скрыла их неполноценность, лишь бы давала право орать на людей. К счастью, таких становилось все меньше, и каждое новое героическое отступление вермахта на заранее подготовленные позиции удивительным образом смягчало их. Но все равно с этой разновидностью веркшущев сговориться было невозможно — их надо было перехитрить.

Гонза козырнул Мелихару и побрел прочь.

Милана он застал возле железного шкафа, в котором подогревали свои котелки те, кто мог себе позволить пренебречь гостеприимством заводской столовки. Милан сосредоточенно выдалбливал ложкой из

котелка сухую мятую картошку и алчно поглощал ее, ни капельки не интересуясь окружающим.

— Хоть бы спрятался куда. Только что тут болтался Каутце с Мертвяком.

Милан невозмутимо поднял глаза, пробормотал с полным ртом:

— А пусть он меня поцелует в... Где много запретов — нет ни одного. Рванем?

— Если будет тревога.

Гонза вытащил свой котелок, задвигал носом, как кролик. От горячего смрада, шедшего из шкафа, его всегда мутило. Есть до обеденного сигнала было, правда, строго запрещено, но нужны же человеку скромные радости, минутки роздыха, когда можно дать себе волю. Если перекусить раньше сигнала, можно продряхнуть обеденный перерыв в раздевалке, на скамейке, придвинутой к калориферу, что являлось неотъемлемой частью тайного сибаритства.

— Железно, — произнес Милан, тщательно выскребая дно котелка. — В половине первого они будут в небе как из пушки. — Он кончил есть, аппетитно причмокнул, сунул котелок в сумку, вытер губы тыльной стороной ладони. — Американцы обожают точность. Это мне импонирует, хоть они и капиталисты.

Оглядевшись, Гонза присел за шкафчиками, чтоб не видно было из цеха. Он вяло пережевывал невкусную еду и, только поймав на себе голодный взгляд Милана, догадался:

— Хочешь? Мне что-то сегодня не лезет в глотку.

— Давай! — оживившись, воскликнул по-русски Милан и с волчьим аппетитом набросился на остатки паприкаша.

Милан мог есть все подряд. Порой видели, как он в заводской столовой энергично подчищает тарелку с кровяной колбасой или картошкой или знаменитое «крупотто»*, обращавшее в бегство кого угодно, а он ел с таким видом, будто это изысканнейшее лакомство. «Ты жрешь, как Балоун»**, — сказал ему однажды Гонза. Милан покачал головой, нахмурился. «Ошибаешься, друг! Не воображай, будто мне нравится эта Schweineerei***. Иной раз и мне тошно, да надо... Мне чахотка грозит, — деловито пояснил он. — От нее загнулось большинство моих родичей. Надо мне как можно больше жрать и нельзя курить. С легкими у меня дрянь дело, зато желудок что-то особенное. Мне, знаешь, вовсе неохота сейчас давать дуба... Не то чтобы я дрожал за свою шкуру, как гнусный мещанин, но я хочу дождаться той поры, когда Советы вышвырнут отсюда фашистов. И революции!» Возбуждение странным образом красило его некрасивое лицо. И все же Гонза ему не верил. «А если революции не будет?» — поддразнивал он Милана.

Тот смотрел на Гонзу с неподдельным изумлением, как смотрят на ребенка, спросившего, взойдет ли завтра солнце, и снисходительно

* Слово образовано по насмешливой аналогии с «ризотто», то есть не рисовал, а крупяная каша.

** Персонаж из книги Я. Гашека «Бравый солдат Швейк».

*** Свиństwo (п е м.).

хлопал его по спине: «Будет! В гимназии тебя всяким дерьмом пичкали. Школа была на службе у буржуев. До сих пор ты, верно, читал только ерунду. Придется с тобой повозиться. И не вздумай ерепениться, — заранее пресек он обиженные возражения Гонзы. — Голова у тебя хорошая, только беспорядок в ней. Может, ты за капитал? Ждешь в наследство фабрику? Если да, так прямо и говори, тогда я тебе в ухо дам! Тогда ты мой закоренелый враг, и со временем тебя ликвидировать как класс. А у тебя задница из штанов вылезает, как у меня, и потому принадлежишь ты к мировому пролетариату». Последние слова он выговаривал с гордостью, непонятной для Гонзы и немного смешной.

К чему это? — уныло рассуждал Гонза. — Я тоже за социальную справедливость в мире, но меня прежде всего интересует человек как индивидуальность, вне этих совершенно внешних отношений — буржуй, пролетарий, революция, коммунизм... Конечно, мои представления обо всем этом довольно туманны, но что могут сказать подобные понятия о тайне человеческого бытия, о смысле его существования? Обо всех этих загадках, с которых, пожалуй, одна поэзия еще может на секунду сорвать покровы!

Порой Гонза вступал с Миланом в ожесточенную дискуссию и чувствовал, как скудны его аргументы. Он просто слишком мало знал. Но так или иначе, а Милан фантазер! У него мессианский комплекс. Недавно, когда оба они сбежали с ночной смены и шагали по дороге под ветреным небом, Милан, особенно разоткровенничавшись, признался, что мечтает пасть во время революции. Ничего более прекрасного и возвышенного он, вероятно, не мог себе представить.

«Погибать — так с винтовкой в руке, за победу коммунизма. Только не медленно загибаться на своей кровати, от чахотки... Ни за что! «Чапаева» читал? Вот герой! Не читал? Я принесу...»

Немного помешанный, судил о нем Гонза, но все равно не часто встретишь такого интересного человека. Ничему Милан особенно не удивляется, все ему ясно — «железно»: это черное, то белое, и никаких сомнений относительно того, каким будет мир после этой заварухи. Уверен до того, что просто противно. «Уж не думаешь ли ты, что мы позволим буржуям опять взять власть?» Буржуй! В этом слове воплощалось для него самое inferнальное зло, он часто употреблял его с мстительной предвзятостью, и его картавое «р» угрожающе раскатывалось под небом. Стоило ему встретить где-нибудь на дворе верхуца или какого-нибудь нациста, можно было голову прозакладывать, что Милан сейчас же начнет насвистывать революционную песенку или замурлычет сквозь зубы свою любимую:

Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильнее! —

и глаза дерзко прищурит, а пальцы сожмет в кулак.

Милан был набит довольно курьезными сведениями; Гонза хоть и с легким оттенком зависти, но подозревал, что они отрывочны, путанны и почерпнуты из самых пестрых источников; тем не менее осведомленность Милана поражала. Он мог спросить, например: «Фрей-

да знаешь?» И Гонзе оставалось только — в который раз! — качать головой и выслушивать лекцию. Интерес к паучьим уголкам человеческой души именно у Милана был совершенно непонятен, и Гонза мог сколько угодно ломать голову, как это фрейдовский психоанализ сочетается с его мировоззрением. «Я сейчас прочел его работу «Об истерии», страшно интересная штука, принесу тебе. Немцы против, потому что Фрейд еврей, понимаешь?» Однажды Гонза по непонятному побуждению вдруг рассказал Милану о своих домашних неурядицах и выслушал невероятный диагноз. «Дело ясное, — убежденно произнес Милан. — У тебя обыкновенный Эдипов комплекс». Когда же он с сомнительной научной точностью объяснил суть этого комплекса, Гонза побагровел от липкого стыда и ощутил настоятельную потребность съездить Милана по уху. Он обрезал его лаконичным возражением: «Осел! Если так говорит твой Фрейд...»

Все три недели, что Милан числился в фюзеляжном цехе, ему удавалось уклоняться от какой бы то ни было работы. «Из принципиальных соображений», — говорил он. Впрочем, для этого не требовалось особого хитроумия, поскольку с прибытием последней партии тотальников в цехе уже негде было повернуться и работы с грехом пополам хватало на каждого второго. Даламанек, конечно, знал это, но все же следовало изображать деятельность на тот случай, если бы на тебя обратился подстерегающий взор кого-нибудь из немчуры; надо было куда-нибудь торопиться или тащить какой-нибудь предмет — только не шатайся руки в брюки. Милана прикрепили к старому Маречеку, и этот рвач чуть не лопнул от злости, возмущаясь ленивым подсобником. «Скройся с глаз, лодырь! — на следующий же день пакинулся он на Милана. — Хочешь разорить меня!» Милан ухитрялся испортить каждую заклепку, которая попадала ему в руки; он переломал подряд пять сверл и все это с выражением ангельской невинности и удивленным взором, способным обезоружить кого угодно. Его называли «этот, в дождевике», потому что за все три недели он ни разу не снимал поношенного плаща, перепоясанного веревкой, и вызывающе старомодной шляпы, поля которой какой-то шутник пробил пневматическим молотком вокруг всей тульи. Такой дикий наряд имел свои преимущества: сматываясь до гудка, Милану нужно было бы тайком выносить пальто, а так его привыкли видеть в плаще, и никто никогда не знал, то ли он идет по делу, то ли удирает с работы. Строго говоря, он всегда был в бегах и за три недели довел метод отлынивания до небывалого совершенства. Он часами шлялся по заводу с какой-нибудь металлической трубой в руках, самоотверженно переносил ее с места на место, что позволяло ему не бросаться в глаза верхшущам, и вид у него был самый солидный и деятельный; улучив момент, он шествовал со своей трубой через караулку таким решительным шагом, что изнывающему от скуки верхшущу и в голову не приходило заподозрить его. А то еще он незаметно приставал к бригаде грузчиков, усердно помогал толкать вагонетку, с верхом нагруженную железом, и так проходил ворота, а там уж, на дороге, опять столь же незаметно отделялся от бригады и направлял свои стопы к городу. Изобретатель-

ность его была неисчерпаема и возбуждала восхищение. Выдающийся пройдоха!

Гудок возвестил обеденный перерыв.

— Пошли на воздух, погода — во!

Милан согласно кивнул, но перед тем как встать, тронул Гонзу за рукав. Пошарив в сумке, он вытащил черную папку и оглянулся, прежде чем развязать ее.

— Нагнись ко мне, чтоб никто не видел!

В папке были четвертушки желтоватой бумаги, на них карандашные наброски, несколько рисунков пером и тушью.

Милан перебрал их грязными пальцами.

— Вот смотри!

В первую минуту Гонза оставался безмолвным: он еще не знал об этой страсти Милана, да и не стал бы искать ее в нем. Станные рисунки, на первый взгляд созданные под влиянием сюрреализма: земной шар на курьих ножках с совиными глазами, скелет на старинном велосипеде, с гитлеровскими усиками и прядкой волос на лбу, потом хаос лиц и рук, странно переплетенных, над ними серп и молот. Все было нарисовано неважно. Бог весть откуда Милан срисовал это, однако Гонза нашел среди набросков несколько чем-то привлечших его внимание; по ним можно было судить о некоторой одаренности рисовальщика. Откуда что берется! Как-то не вязалось это с обликом Милана.

— Что скажешь?

— Смотрю вот. Значит, ты все видишь так?

Милан потер заросший подбородок.

— Дурацкий вопрос. Понимаешь... Нынче художник должен писать не то, что видит, а то, как он воспринимает. Ясно? К черту вонючий реализм, долой описательное свинство! Наш Лекса мог бы тебе объяснить... Братишка мой, знаешь. Он живописец и вообще молодец! Факт! Освободить надо фантазию... и вообще... Надо поднимать, будить запечных лежебок, а не убаюкивать... — Милан вошел в раж. — Вот это «Переломный возраст», я попробовал тут сделать размывкой... — Он разом погас, утомленно пожал плечами. — Да что? Пробовать пробую, а после войны... Лекса говорит, я олух и ничего из меня не выйдет, — удрученно признался Милан, но сейчас же воспрянул духом. — Были бы у меня деньги на краски... Ему-то легко говорить, он учился, о нем уже и в газетах писали...

— А тут у тебя что?

— Так, чепуховина. Рисунок еще не ладится, и все это очень плохо.

Восьмушки бумаги на дне папки были покрыты этюдами — бегло зарисованные лица, руки, глаза... Кое-кого Гонза узнал: вот Маречек, это Пишкот, его щетинистые брови и щербатые зубы, этот длинноносый смахивает на верхшуща-певца, а вот...

— Ты ее знаешь?

— Немного. Работает на рулях, у Жабы. Переспать он с ней хотел,

да утерся. И не говори мне, будто ты ее не заметил. Ты ведь нормальный, верно?

— Я и не говорю, — с излишним жаром ответил Гонза.

— Гм... Не очень-то она мне удалась. Лекса ее знает. У нее братишку в гестапо зацапали. Меня-то женщины не больно интересуют, я их тоже, но у этой любопытный разрез глаз, взгляни... вот эта линия! Когда-нибудь нарисую ее как следует.

Он с досадой захлопнул папку, сплюнул и, когда оба уже проходили через малярку, добавил:

— Слушай, пусть будет между нами, понял? Наверно, я все-таки мазила, если так говорит Лекса. А уж он в этом разбирается, как, впрочем, и во всем другом...

Пишкот скинул башмаки на деревянной подметке — они были велики ему, он называл их «корабли» — и с наслаждением принялся массировать стертые пальцы ног; на Бациллу и внимания не обратил. А толстяк подкатился к нему в своем развевающемся сатиновом халате, прислонился к прогретой солнцем стене...

— Чего брешешь? — не выдержал Бацилла. — Перепрыгнуть через трамвай!..

Пишкот даже не поднял головы.

— Не хочешь, не верь... Не всем же быть таким пузатым, как ты! — Он усмехнулся. — На то он и Попрыгунчик. Швара видел его собственными глазами, а уж он-то врать не станет. Он сам ехал в том трамвае.

— Это еще что, — добавил Леош, не дрогнув бровью. — На прошлой неделе Попрыгунчик перепрыгнул через Богдалец, да еще возле газового завода дал по морде какому-то эсэсовцу... Стоит ему на своих пружинных ногах шагнуть раз-другой — и он уже из Михле попал в Смихов. А го еще вскакивает на крыши и перепрыгивает через целые улицы... Так, говорит, быстрее.

Никто из присутствующих и глазом не моргнул — это был излюбленный сюжет Пишкота; он был неутомим, выдумывал все новые подвиги этого воображаемого обитателя ночных улиц, и каждый день выкладывал свежие. Вчера Попрыгунчик перевернул паровоз воинского эшелона. Так из-за этого еще сегодня поезда опаздывали в Ржичаны... Или: «Слыхали — Попрыгунчик женился? И старуха у него на пружинках. Один парень из моторного цеха видел их в Видоулях — прыгали рядышком, держась за ручки. Интересно, детишки у них тоже будут с пружинными ногами?» В изображении Пишкота Попрыгунчик был не просто справедливый мститель, нападавший исключительно на «фашиг» и «колобков», — так на их жаргоне прозывались фашисты и коллаборационисты, — но еще и злорадный шутник, который для собственной потехи разгонял в парках парочки или до смерти пугал добродетельную бабку-табачницу.

В уютном уголке между раздвижными воротами малярки и бомбоубежищами можно было спокойно покурить, поболтать или послушать, как болтают другие, можно было разобрать по всем статьям

девчонок, проходивших мимо в столовую, или просто растянуться усталым телом на пустых бочках из-под красок, подставить лицо солнышку... В бомбоубежищах во время тревог спасался люфтваффе*, а теплыми ночами они служили не очень уютным, но все же прибежищем для парочек, являвшихся сюда ради мимолетных ласк. Чтобы среди посетителей не происходило столкновений, кое-кто из вершущих взял оживленную эксплуатацию этого места под свой благосклонный, хотя и не бескорыстный контроль. За пять сигарет гарантировалось четверть часика безмятежного блаженства в этом железобетонном раю, между тем как ожидавшие очереди нетерпеливо шмыгали в шелотной темноте, залегшей вокруг бомбоубежищ.

Обширное пространство, по которому узлы самолетов перетягивались в сборочные цехи, замыкала стена с колючей проволокой поверху; сквозь щель ее можно было видеть заводской аэродром и шерефугу истребителей, мирно сидевших на жухлой прошлогодней траве.

Гонза подсел к Павлу.

— Что новенького?

— Дела идут, — ответил Павел, не шевельнувшись. — Слушал я вчера. Бьют их в низовьях Днестра, направление на Яссы; на карте есть. Из Тернополя убрались...

— Гм... Высадку жди со дня на день. Может, к осени все и кончится...

Павел открыл глаза.

— К которой осени? Уже два года говорят одно и то же. Так нам и надо! Всем нам.

— Ты что имеешь в виду? — Гонза не сразу понял, куда тот гнет.

Павел передвинулся, повернул к Гонзе лицо — в глазах его засела тревога. От вопроса он отмахнулся усталым жестом.

— Чего спрашиваешь! Сидим у моря, ждем погоды. Как овцы! Только и знаем — ждать, ждать! Еще и работать заставляют. На них работать! Понимаешь ты это? Я — нет. Нагнали нас сюда, как скотину в стойло, и мы на них спину гнем! Завод работает...

— Положим, еле-еле, — робко возразил Гонза.

— Но все-таки работает! Люди ходят на работу как ни в чем не бывало, кто-то под шумок чинит крыши и крольчатники, спекулируют вовсю, мы получаем сигареты, водку — и молчим! Нас подкупают... Блевать охота! В общем голубиный мы народ, и больше ничего... Шесть миллионов многотерпеливых людишек, практичных до ужаса! Я в этом не разбираюсь, но что-то тут не в порядке, я чувствую...

Стал бы ты искать в этом спокойном, на вид равнодушном юноше такие мысли? Такое упорное, обвиняющее негодование? До сих пор они не разговаривали еще так откровенно.

— Ты не прав, — сказал ему Гонза. — Нет. Что ты, собственно, знаешь?

— Почти ничего. Только то, что вижу! Самолеты выходят на старт!

* Отряд противовоздушной обороны (нем.).

— Сумасшедший! Ты что же хочешь — взбунтоваться? Но — как? Разбить машины и всем скопом пойти на расстрел? Не городи чепухи. Этого ты ни от кого не можешь требовать... Самоубийство не подвиг!

— Ну конечно... отговорок у нас уйма! Да здравствует благоразумие! — горько усмехнулся Павел; нервными пальцами взъерошил свои светлые волосы. — Мы уж лучше подождем, пусть за нас другие отдуваются! Только б нам остаться живыми и невредимыми!

— Ты преувеличиваешь, — растерянно вздохнул Гонза; да что он в самом деле, рехнулся? — И неправда, что у нас ничего не делается. Все время кого-нибудь хватают — это что? Позавчера двоих со стартовой площадки... И вообще перебои с материалом, с током... Не говори мне, что это само собой получается, немцы организаторы отличные. Вчера мы простояли полсмены — сжатого воздуха не было. Не завод, а бардак...

— Ладно. А мы что? — перебил его Павел.

— Что — мы? Кто?

— Ну, мы, которые тут болтаются? Ты, я или Пишкот с Миланом...

— Что я? — Гонза даже приподнялся от обиды. — Я не предатель! Делаю, что могу. То есть как можно меньше! А что же еще можно?

Павел уже остыл, отвел глаза. Он наклонился вперед и сидел, постукивая каблуком об угол ящика, — опять прежний неразговорчивый парень со следами усталости на лице, замкнулся в себе, будто весь разговор вдруг перестал его интересовать. И лишь после долгого молчания произнес тихо, но с горечью:

— Ничего, конечно! Третье языком и плевать на все. А если нас когда-нибудь спросят... Эко дело! Мы были благоразумные, мы героически сачковали. Поразмысли об этом!

Он встал, потянулся так, что суставы хрустнули, и уже громко добавил, щуря глаза на синее небо:

— Хоть бы сюда, наконец, нинули. Парочку пятисоткилограммовых да зажигалок...

— Я с радостью «за»! — вмешался Леош. Он услышал последние слова Павла и ответил на них, не поднимая глаз от карт, в которые резался с Пепеком и «малявкой» Густой на стоймя поставленной бочке. От азартных ударов бочка гудела, как барабан. — Главное, пусть упадут в инструментальный склад номер пять, — мечтательно закончил Леош.

— Не скули, ходи давай! — проворчал Пепек. — Со специалистами играешь, это тебе не шалтай-болтай. Да что же ты сносишь, балда! Не видишь, у него должна быть десятка, вот бы я разжился!

Причины рассеянности Леоша были всем известны. Из-за сверхнормального роста его определили в инструментальный склад фюзеляжного цеха; ребята там были ушлые и веселые от хорошей житухи. Вот подходишь ты к окошку раздаточной без бумажки от мастера: «Эй, Леош, мне бы лампочку...» Леош хихикнет, маковкой своей кивнет: «Бумажки нет? Тогда сигаретку! Тоже нет? Ну что мне с тобой делать, на,

держи да отсупись». Заведующий складом Канька был легкомысленный джентльмен; до мобилизации он играл на скрипке в баре «Летучая мышь», и не было ему никакого дела до склада. «Тут, ребята, нервы нужны», — утешал он своих подчиненных. Много пил, щупал всех баб подряд, и порой со склада лились печальные звуки скрипки. За короткое время им удалось до того безнадежно увеличить разницу между выданными инструментами и количеством нарядов на них, что при мысли о внезапной ревизии у всех мурашки по телу бегали, и ребята во главе со своим шефом заливали тревогу алкоголем. Десять тысяч сверл, пять тысяч лампочек, тридцать комплектных сверлильных станков... Частенько про себя перечислял все это Леош, хватаясь за голову. Хоть бы бомбу сбросили! Неужели о нас, не доведи господи, забудут? Когда, вы думаете, по нам саданут? В сущности, Леош был шутник с чисто эпикурейскими наклонностями, неутомимый искуситель и балагур с гимназической скамьи. Теперь же его фантазия кишела цифрами, щетинилась колючей проволокой, взрывалась ружейными залпами. «И чего это так русские с ними возятся, — причитал Леош, — ведь немец уже цикорню пустил! Да и янки хороши! Шляются над нами, а нет того, чтобы хоть завалющую бомбочку скинуть! Ага, ребята, летят — ну-ка давай!» Во время воздушных тревог окна в складе распахивались настежь и ящики с учетными карточками переносились к окнам, чтоб их мог рассеять самый отдаленный взрыв.

Пепек смешал карты и с великодушным спокойствием сказал Леошу:

— Играешь ты как сапожник, плати проигрыш, и бросим это дело!

Он торжественным жестом спрятал колоду в задний карман брюк, вольготно развалился и вытащил — откуда только взялась! — непочатую пачку «викторок». Открывал он пачку с намеренной медлительностью, наслаждаясь жадными взорами, тянущимися к нему со всех сторон.

— По пятерке, господа, не будь я Пепек! Никто не хочет? Ну и ладно! — Он выдохнул дым.

— И где ты все достаешь? — осведомился Богоуш.

— Связи, брат... Все на свете через связи.

Он предложил сигарету только Леошу — в чем явно был корыстный расчет — и Гонзе.

— А с ревматизмом-то сошло гладко. Отхватил чуть ли не три недели, и больше бы мог, только захоти...

Увидев, что Гонза переломил пополам дареную сигарету и молча протянул половинку Павлу, Пепек с раздражением отвернулся.

— Нервы — лучше, — деловито заметил Милан. — И хромать с палочкой не надо, и даже прогулки тебе прописывают. В централке никто и не вякнет.

— Вздор, — возразил Леош. — Меня с этими нервами вытолкали вшей. спасибо еще доктор оказался не сволочь.

— Балда! Тут надо знать, как сыграть.

Разговор сейчас же перешел на всякие недуги и их использова-

ние, каждый выкладывал свои наблюдения, но веское слово ожидалось от Богоуша; его родитель был известный врач, что предопределяло и склонность сына к этой богоугодной профессии, как только все кончится. Богоуш, эта робкая овечка, ужасно стеснялся своей воспитанности, полученной в благородном семействе, и принял здесь, как он воображал, боевое крещение в молодечестве. Он старался быть грубым, по-видимому пытаясь грубостью преодолеть последствия слишком нежного воспитания. Он уже не краснел, слушая самые непристойные выражения, а иной раз отваживался и сам внести свою долю, хотя брань в его устах звучала все еще без благородной непринужденности.

— Все это дерьмо, — ляпнул он и с важным видом подергал себя за облезлый бобровый воротник. — Самое надежное — базальный метаболизм.

Вмешался Пепек, надеясь положить конец спору:

— Уж наш профессор тут собаку съел, олухи. Закуривай — приду к тебе за советом...

Ему, видно, стало скучно, и он захотел перевести разговор на более интересную тему.

Случай сыграл ему на руку — мимо проплыла неразлучная парочка из «Девина» — Анделка со Славиной. Пепек встрепенулся, его щучье лицо растянулось в довольной улыбке.

— Привет, сокровище! — с нарочитым добродушием окликнул он менее рослую Анделку. — Когда мы с тобой побалуемся? А то, говорят, ты по старости в кармелитки решила податься!

Девушка, ничуть не смутившись, окинула его наметанным взглядом.

— Для тебя у Пороховой башни девки стоят! Очень ты мне нужен! Пошли, Славина.

Никто не удивился — давно привыкли к таким перепалкам. Верная дружба двух девиц с успехом подтверждала поговорку, что противоположности притягиваются: Анделка была уже немолодая, пышная чертовка с круглым задом, который многообещающе подрагивал при каждом шаге; Славина — альбиноска с наивно испуганным взглядом и плоской грудью, совершенно непривлекательная как женщина. Андела пользовалась репутацией самой доступной и мягкосердечной потаскушки, которая без лишних экивоков готова лечь с кем угодно. Славина была маменькина дочка и несомненная девственница; одно присутствие мужчин приводило ее в смятение и вызывало краску на бледных щеках. Что связывало этих двух девиц, никто не знал, но в цехе ходил шепоток о порочных наклонностях Анделы.

— Тю-ю! — присвистнул Пишкот, когда обе удалились. — Сушеную воблу приняли на выучку! Милостивая пани советница упадет в обморок.

— Что ты понимаешь? В тихом омуте — и так далее...

— Ясное дело, — вмешался опытный Пепек. — Одним это нравится, другим до лампочки, но занимаются этим все. С Анделой по крайней мере знаешь что к чему. Кому из вас охота — за двадцатку устрой все в полной тайне, да еще с инструкцией к пользованию...

держи да отсунься». Заведующий складом Канька был легкомысленный джентльмен; до мобилизации он играл на скрипке в баре «Летучая мышь», и не было ему никакого дела до склада. «Тут, ребята, нервы нужны», — утешал он своих подчиненных. Много пил, щупал всех баб подряд, и порой со склада лились печальные звуки скрипки. За короткое время им удалось до того безнадежно увеличить разницу между выданными инструментами и количеством нарядов на них, что при мысли о внезапной ревизии у всех мурашки по телу бегали, и ребята во главе со своим шефом заливали тревогу алкоголем. Десять тысяч сверл, пять тысяч лампочек, тридцать комплектных сверлильных станков... Частенько про себя перечислял все это Леош, хватаясь за голову. Хоть бы бомбу сбросили! Неужели о нас, не доведи господи, забудут? Когда, вы думаете, по нам саданут? В сущности, Леош был шутник с чисто эпикурейскими наклонностями, неутомимый искуситель и балагур с гимназической скамьи. Теперь же его фантазия кишела цифрами, щетинилась колючей проволокой, взрывалась ружейными залпами. «И чего это так русские с ними возятся, — причитал Леош, — ведь немец уже цикорию пустил! Да и янки хороши! Шляются над нами, а нет того, чтобы хоть заваливающую бомбочку скинуть! Ага, ребята, летят — ну-ка давай!» Во время воздушных тревог окна в складе распахивались настежь и ящики с учетными карточками переносились к окнам, чтоб их мог рассеять самый отдаленный взрыв.

Пепек смешал карты и с великодушным спокойствием сказал Леошу:

— Играешь ты как сапожник, плати проигрыш, и бросим это дело!

Он торжественным жестом спрятал колоду в задний карман брюк, вольготно развалился и вытащил — откуда только взялась! — непочатую пачку «викторок». Открывал он пачку с намеренной медлительностью, наслаждаясь жадными взорами, тянувшимися к нему со всех сторон.

— По пятерке, господа, не будь я Пепек! Никто не хочет? Ну и ладно! — Он выдохнул дым.

— И где ты все достасшь? — осведомился Богоуш.

— Связи, брат... Все на свете через связи.

Он предложил сигарету только Леошу — в чем явно был корыстный расчет — и Гонзе.

— А с ревматизмом-то сошло гладко. Отхватил чуть ли не три недели, и больше бы мог, только захоти...

Увидев, что Гонза переломил пополам дареную сигарету и молча протянул половину Павлу, Пепек с раздражением отвернулся.

— Нервы — лучше, — деловито заметил Милан. — И хромать с палочкой не надо, и даже прогулки тебе прописывают. В централке никто и не вякнет.

— Вздор, — возразил Леош. — Меня с этими нервами вытолкали вшей, спасибо еще доктор оказался не сволочь.

— Балда! Тут надо знать, как сыграть.

Разговор сейчас же перешел на всякие недуги и их использова-

ние, каждый выкладывал свои наблюдения, но веское слово ожидалось от Богоуша; его родитель был известный врач, что предопределяло и склонность сына к этой богоугодной профессии, как только все кончится. Богоуш, эта робкая овечка, ужасно стеснялся своей воспитанности, полученной в благородном семействе, и принял здесь, как он воображал, боевое крещение в молодечестве. Он старался быть грубым, по-видимому пытаясь грубостью преодолеть последствия слишком нежного воспитания. Он уже не краснел, слушая самые непристойные выражения, а иной раз отваживался и сам внести свою долю, хотя брань в его устах звучала все еще без благородной непринужденности.

— Все это дерьмо, — ляпнул он и с важным видом подергал себя за облезлый бобровый воротник. — Самое надежное — базальный метаболлизм.

Вмешался Пепек, надеясь положить конец спору:

— Уж наш профессор тут собаку съел, олухи. Закуривай — приду к тебе за советом...

Ему, видно, стало скучно, и он захотел перевести разговор на более интересную тему.

Случай сыграл ему на руку — мимо проплыла неразлучная парочка из «Девина» — Анделка со Славиной. Пепек встрепенулся, его щучье лицо растянулось в довольной улыбке.

— Привет, сокровище! — с нарочитым добродушием окликнул он менее рослую Анделку. — Когда мы с тобой побалуемся? А то, говорят, ты по старости в кармелитки решила податься!

Девушка, ничуть не смутившись, окинула его наметанным взглядом.

— Для тебя у Пороховой башни девки стоят! Очень ты мне нужен! Пошли, Славина.

Никто не удивился — давно привыкли к таким перепалкам. Верная дружба двух девиц с успехом подтверждала пословицу, что противоположности притягиваются: Анделка была уже немолодая, пышная чертовка с круглым задом, который многообещающе подрагивал при каждом шаге; Славина — альбиноска с наивно испуганным взглядом и плоской грудью, совершенно непривлекательная как женщина. Андела пользовалась репутацией самой доступной и мягкосердечной потаскушки, которая без лишних экивоков готова лечь с кем угодно. Славина была маменькина дочка и несомненная девственница; одно присутствие мужчин приводило ее в смятение и вызывало краску на бледных щеках. Что связывало этих двух девиц, никто не знал, но в цехе ходил шепоток о порочных наклонностях Анделы.

— Тю-ю! — присвистнул Пишкот, когда обе удалились. — Сушеную воблу приняли на выучку! Милостивая пани советница упадет в обморок.

— Что ты понимаешь? В тихом омуте — и так далее...

— Ясное дело, — вмешался опытный Пепек. — Одним это нравится, другим до лампочки, но занимаются этим все. С Анделой по крайней мере знаешь что к чему. Кому из вас охота — за двадцатку устрою все в полной тайне, да еще с инструкцией к пользованию...

Леош нетерпеливым взглядом обвел весеннее небо и посмотрел на часы.

— Черт! Куда они сегодня запропастились?

Пишкот вскочил, сжал пальцами ноздри и порадовал приятеля:

— Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindlicher Kampfverband...
Ich wiederhole... *

Это прозвучало удивительно похоже на голос радиодиктора, и все оценили искусство Пишкота, весело расхохотавшись.

— Да что вы знаете про жизнь-то? — опять встрял Пепек. — Разве что пощупаете в киношке какую-нибудь там гимназисточку. А вот такая баба с техникой совсем другое дело! У нас в магазине, бывало, только уберется восвояси старый Тауссиг... вот бы на что вам посмотреть!

— Катись ты в болото! — с отвращением проворчал Гонза. Он встал и отбросил окурок. — Еще начни рассказывать о той, с деревянным протезом! Можно подумать, ты своими рассказами себя разогреваешь. Уж хочешь трепаться, так давай что-нибудь новенькое.

— А к твоему сведению... — начал было обиженно Пепек, но тут внимание его было отвлечено: из малярки тихий, неприметный выскокнул Архик и подсел к ним.

Он с таким скромным видом ел кусок хлеба с мармеладом, словно стыдился этого земного занятия.

— А вот и наш святоша! — Пепек уставил на него указательный палец и пропел гундосо: — *Dóminus vóbiscum...* Да ты хоть помолился перед жратвой, несчастный? Ты мне только очки не втирай, будто потихоньку за бабами не подглядываешь. Видел я этого онаниста, ребята, у него аж очки запотели.

Архик, правда, притворился, будто не слышит, но невольный румянец залил его лошадиное, в пупырышках лицо. Все слушали Пепека со стыдом, никто его не поддержал, никто не захохотал, но никто и не сказал ничего в защиту Архика; к нему испытывали какую-то смутную жалость и в то же время — легкое презрение. Он всегда держался в стороне; его набожность делала его чужим для всех.

Только Милан возмущился.

— Оставь ты его в покое! — прикрикнул он на Пепека, хотя тут же и прибавил: — Я тоже против религии. Она опиум для народа и всегда служила эксплуататорам... но оскорблять верующего не позволю!

По проудку от столовой брел Войта, из кармана комбинезона у него торчала оловянная ложка. Он шел медленно, коренастый, с непропорционально широкими плечами, с лицом, усыпанным веснушками.

Козырнул всем, присел рядом с Павлом, закурил сигаретку.

— Здорово! — Войту встретили дружелюбно, хотя он и не был тотальником. Ничего, славный парень, работяга. Его перевели из другой смены, и Павла назначили к нему подручным.

Пишкот многозначительно подмигнул Войте:

* Над территорией империи вражеских самолетов нет... Повторяю... (и е м.).

— Ну как, женатик?

— А что? — прозвучал недовольный ответ.

— Еще спрашивает! Братцы! Птичка божия не знает...

— Бледный он чего-то, — озабоченно констатировал Пишкот.

Леош оборвал его:

— Брачная ночь — все равно что смена. И что это амп* нынче лодырничают?

По цеху прошел слух, что несколько дней назад Войта женился. Скряга! Даже пирога не выставил! На свадьбу полагается три свободных дня, чего ж он их не взял? Вы что-нибудь понимаете? А ребята ее видели, говорят, раскрасавица. Да еще домишко к тому же! Многие считали уместным время от времени поддразнивать новоиспеченного «женатика», но Войта отвечал жмурьм ворчаньем: «Да отвяжитесь вы, господи! Чего тут особенного?»

— Эх, мне бы магазинчик, и чтоб уже на ходу, — размечтался Пепек, с наслаждением жмурясь от солнца. — На бойкой улице магазинчик, не очень большой, так, чтоб самому приглядывать... Вот это житуха! Два-три продавца, не больше.

Он часто так мечтал. Ярко освещенная витрина с табличками и ценниками — дзинь! — звенит автоматическая касса; целую ручки, милостивая пани, чем могу служить!

— Утром поднимаешь железную штору — и богатые бабы сами на тебя лезут. А ты сидишь это позади магазина, развалился, как, бывало, наш жидок, большие пальцы за жилетку — так, та-ак! В десять приносят тебе тарелочку гуляша с рогаликом, а он хорошо поджарен, аж хрустит, и пиво, пльзенское, двенадцатиградусное. Вечером подсчитываешь выручку — два-три куска за день.

Пишкот трезво возразил:

— Тут с самого начала деньги нужны.

— Тут с самого начала мозги нужны, а не куриный помет, — презрительно отмахнулся Пепек. — Ребята... Все будете у меня покупать! Со скидкой! Вот все, кто здесь сидит... Вот житуха, не то что болтаться по заводам, где всякое начальство тебе на голову гадит. И знаете, что еще нужно? Я вам открою — я-то давно понял: надо, чтоб в лавке была одна или лучше даже две смазливые продавщицы. Факт! Покупатели не любят тощих. Это называется психология!

— Смотри не промахнись, — ошетнился Милан. — Кончилась, брат, частная торговля, довольно, насосались. И спекулянтам уже отходную поют! В Советах с этими пиявками короткий разговор был: к стенке, и — ваших нет! Правильно сделали.

— Слыхали? — закричал Пепек, воздевая руки. — Ему бы только стрелять! Однако у нас не Советы... И не будет их! — Он обозлился, потряс кулаком. — Я за демократию, а подневольный труд — везде подневольный труд!

— Это ты у Геббельса слышал, что ли? — процедил сквозь зубы Милан, сунув глаза.

* Жаргонное прозвище американцев.

— Бросьте, ребята, — вмешался Гонза, пока дело не дошло до драки. — И чего орете, хотите, чтоб все вас слышали?

Пепек ухмыльнулся, махнул рукой:

— Трепотня!

Он вынул пачку «викторок», неторопливо закурил, наслаждаясь голодными взглядами. Три тотальника вместе смолили одну кое-как слепленную козью ножку, вставленную в мундштук, а четвертому, которому уже не могло хватить окурка, один из трех счастливицков вдыхал дым в рот: удовольствие сомнительное, но, на худой конец, выручает. «Малаявка» Густик действовал более хитро: когда курил, дым выдувал в бутылку из-под содовой, тщательно затыкал ее и позднее в случае нужды прикладывался к ней. «Эй, Малаявка, — канючил порой кто-нибудь, — дай глотнуть из твоей заветной».

— Всюду эти евреи, — вполголоса подытожил Пепек свои мысли и стукнул костяшками по бочке. — Как где приличный магазин в Праге, так там носатый и сидит. Верно говорю? Они-то знают, как к вымени присосаться. А наш брат слюнки утирает...

— Кто это «наш брат»? — сдвинул брови Милан. — Арницы, что ли?

— Те-те-те, так я и поймался на эту удочку! — хмыкнул Пепек. — Если хочешь знать, плевал я на политику, мне что Сталин, что Рузвельт — лишь бы жить давали... Гитлер, по-моему, осел и сволочь, но то, что он евреев прищучил...

— Гад! — раздалось вдруг за спинами ребят.

Обернулись. Павел. До сих пор он молчал. Теперь поднялся, вынул руки из карманов. Побледневшее лицо его было искажено гневом.

— Ах ты... скотина! — едва выговорил он, словно задыхался, и плюнул под ноги ошеломленному Пепеку.

— Иисусе Христе, что это с ним?

— Здорово, видно, припекло...

Павла трудно было узнать. Откуда это в нем взялось? Всем ведь давно известно, что у Пепека язык без костей, и кто же принимает его всерьез!

— Скажи еще слово, мерзавец... Сволочь!

— Не валйте дурака, ребята...

— Ты прав, Павел! — воскликнул Милан. — Так может говорить только фашинг!

Подвергшийся нападению Пепек наконец-то пришел в себя; он встал, обвел всех вытаращенными глазами, словно ища опору в окружающих, развел руками.

— Ребята, вы слышали... — чуть не плача, проскулил он, потер лицо ладонями — видно было, как страх в нем борется с бешенством. — Вы все слышали...

Он сгорбился, ослепленный оскорблениями, которые хлестали его прямо по лицу, потом заревел раненым туром:

— Убью-у-у! Сам нарвался, собака! Ну, выходи... Получай свое!

— Правильно! — пискнул Густа. — Не оставляй этого так!

Кругом закричали на рехнувшегося «малаявку», а Пепек уже ни-

нулся вперед со сжатыми кулаками. Павел ждал его, настороженно пригнувшись, как борец. Тут только ребята опомнились, схватили обоих за руки, стараясь разнять, поднялась суматоха, толкотня, ругань, и в это время со всех сторон завывли сирены. Протяжный, то поднимающийся, то падающий вой возвестил тревогу, ставшую уже чуть ли не регулярной.

Шаги, десятки, сотни шагов деревянных подошв, крики, смех, и над всем этим — вой сирен, но ужаса в нем нет, у всех скорее чувство облегчения, потому что никто уже не верит, что вслед за сигналом тревоги с синего чистого небосвода полетят бомбы; толпы людей валят через главные ворота и сейчас же распадаются на отдельные кучки, растекаясь в стороны — по улицам городка, по плоской возвышенности. Однообразная, безлесная равнина, окруженная колючей проволокой, полоски скудных полей, заводские трубы, торчащая мачта — печальный вид! Разъезженные дороги и дорожки, подъездные пути к сахарозаводу, пашни, превращенные весенними ливнями в сероватое месиво, налипающее на башмаки.

— Живей, живей! — орет кто-то из люфтушцев.

Павел уже успокоился, хотя и знал, что тревога только отсрочила неминуемую схватку. Вой сирен не заглушил угрожающего рычания Пепека. Павел не дотронулся до него — он тоже чувствовал, что Пепек боится. Трус отважен только в стае.

Гонза поглядел на небо.

— Бежать нет смысла. Я сегодня спал два часа, еле ноги таскаю. Пожалуй, сегодня Леош своего дождется...

— Пережил бы ты хоть раз — бегал бы не хуже зайца... — Павел увидел окурок на подсохшем торце мостовой, поднял, спрятал в карман. — Это неистребимо... Мы в Эссене тоже сперва хихикали... Говорят, человек даже к виселице привыкает, но к этому не привыкнешь. По-моему, даже с каждым разом все хуже и хуже.

— Может быть, — согласился Гонза. — Слушай, чего ты с Пепеком сцепился? Собака лает — ветер носит...

Павел только головой тряхнул, сплюнул в грязь.

— Так... Взбесил он меня, — уже без всякого жара сказал он.

— Я далеко не пойду, — прохрипел Милан. — Не дальше железной дороги.

Они трусили рядом среди толпы по избитой дороге, и ветер овал им лица; свернули на проселок, чавкающий грязью, к железнодорожной насыпи. В этом месте под насыпью был пробог низкий сводчатый туннель, там они обычно пережидали тревогу. В туннеле несло мочой, свозняк гулял под сводами, и голоса отдавались, как в бочке, но стоять там было все же приятнее, чем слоняться под открытым небом.

— Что в лоб, что по лбу, — заметил Милан. — В городе меня никакими силами в убежище не затащишь — для легких вредно, — а если прямое попадание, так все равно дело дрянь. А, черт... и чего они все гудят, ошалеть можно!

— Ну нет, — наморщив лоб, возразил Павел. — Все-таки лучше, когда над головой хоть какое прикрытие — пусть даже просто кусок железа. Иной раз их сволочные зенитки куда больше беды наделают, чем бомбы; одному парню из Брно осколком зенитного снаряда голову снесло.

Добрались до туннеля, нырнули под свод. Здесь уже теснилось человек двадцать, подбегали еще и еще. Пожалуйте, господа! А господ как сельдей в бочке. Заткни зад, дядя, дует... Павел прислонился к ослизлой каменной стене рядом с Гонзой, зажег окуроч, два раза сильно затянулся, подал Гонзе.

Сирены разом умолкли. От группы людей на дороге отделилась толстенькая фигурка, спотыкаясь, побежала к туннелю.

— Гляньте, Бацилла прет...

Толстяк прибежал весь в поту, моргая глазами. Милан встретил его довольно сурово:

— Выкладывай сигарету, толстопузый! Это входная плата. А то ты два места занимаешь.

Милан держал себя с Бациллой свысока — толстяк был сыном преуспевающего адвоката и, следовательно, в глазах Милана прихвостнем ненавистных буржуев.

Бацилла втиснулся рядом с ними, трусливо съежился под неумолимым взглядом.

— Нету у меня, честное слово! Да ведь ты и не куришь! — неудачно возразил он своему тирану.

— Вот что значит буржуй! — вскипел Милан. — А других тут что, нету? В нем ни капли солидарности, ребята! И завтрак сожрал где-то в углу! Это уж железно.

Гонза неподвижно смотрел на солнечный пейзаж, раскрывавшийся перед ним; смутные слова носились у него в голове, он их ловил, строил из них фразы. Он вернулся мысленно к незаконченной «Балладе». Как писать? Начать с середины, *in medias res*, как говорили древние, и разворачивать назад! И зачем героине имя Клара? Такое претенциозное имя, у-у! Почему ей не быть, допустим, Марией? Представь-ка ее еще раз... Никак не получается... Черт, почему опять завыли сирены? Короткие, панические вскрики, мелкими волнами... Непосредственная опасность — значит, они где-то близко. А вдруг...

— Вон они! — взволнованно крикнул рядом рабочий в плоской кепке, показывая пальцем вверх.

Сирены разом смолкли, в напряженной тишине слышен был слабый посвист ветра. «А вдруг?» — в такие минуты эта мысль приходит всем, и люди касаются друг друга взглядами. Да нет, ничего не будет. Где они?

Вон, вон, разиня!

Не вижу... Ах, есть, вон они!

Ну и высота, братцы...

Гонза высунул голову из-за свода туннеля, но сначала не увидел ничего. Сверкающая синева ударила по глазам, зажмурился. А потом:

серебряный треугольник, поблескивающий на полуденном солнце, одно звено, второе, а вон и третье... Серебряные крестики чертили небосвод на головокружительной высоте, оставляя за собой размытый белый след — борозды в голубой пашне. Самолеты приближались, и мир полнился отдаленным еще, однообразным гудением, оно усиливалось, раздражало нервы... А вообще-то красивое зрелище... Вот они над заводом — Гонза скользнул взглядом вниз — сейчас посыплют... Нет, нет... Завод лежал в мелкой ложбине, как дура курица, которая купается в пыли и не подозревает, что над нею парит ястреб.

За спиной заговорили, Милан завел беседу с какой-то девушкой.

— Идите сюда, — сказал он ей, — как падать начнет, будем руками ловить!

Потом ее голос — мягкий, удивительный, теплый алыт в этом все-светном гудении. Он не разобрал ни слова и не обернулся.

— Вы незнакомы? Это Павел... А вот наш Бацилла. Его только так и зовут. Просто — Бацилла.

Короткий смех гулко разнесся под сводом, кто-то смешно чихнул. Гром самолетов достиг апогея, от него дрожал воздух.

— А там Гонза стоит, — услышал Гонза. — Не мешайте ему, опять он ветру кудри завивает... Гонза! — И Милан ткнул его под ребро.

Гонза быстро обернулся и, холодея от странного испуга, понял, что совсем близко видит ее лицо.

IX

Слышишь? Грохот над миром, и где-то там должна быть она, затерянная в развалинах — уже не отвечает... Молчит, а ты тут жмешься в вонючем маленьком туннеле, руки твои висят, и давит неясное чувство вины. Да, вины. Лишний ты. Беспомощный. Щенок.

— Что ж ты молчишь? — безмолвно вопрошал Павел, хоть и предугадывал, что отклика не будет. Так было и вчера, и позавчера, и неделю назад. Хоть камень ногтями царапай! За что? Упрекаешь? Если б я знал, где тебя найти, то пусть что угодно... Отговорки? Нет. Просто не знаю, как быть дальше. Сколько гадости, трусости, расчетливости... Что-то тут не в порядке. Но что делать? Выбежать на улицу, придушить первого попавшегося их солдата? Руками сорвать рельсы со шпал? Сломать мост? Действие — какое угодно, любое — все лучше, чем эта трясина бездеятельности, метаний, чем эти бессильные попытки, оканчивающиеся ничем.

Отречься? Как это делается? Убить тебя в себе?

Ладонью он выбил окурок из прокуренного мундштука, тщательно продул его. Бацилла придвинулся к нему, моргая своими светлыми ресницами:

— Павел, вечером придешь?

Павел покачал головой.

— Я знаю, это было глупо с его стороны, хотя... — заикнулся было толстяк, но Павел, криво усмехаясь, перебил его:

— Ну нет, — наморщив лоб, возразил Павел. — Все-таки лучше, когда над головой хоть какое прикрытие — пусть даже просто кусок железа. Иной раз их сволочные зенитки куда больше беды наделают, чем бомбы; одному парню из Брно осколком зенитного снаряда голову снесло.

Добрались до туннеля, нырнули под свод. Здесь уже теснилось человек двадцать, подбегали еще и еще. Пожалуйте, господа! А господ как сельдей в бочке. Заткни зад, дядя, дует... Павел прислонился к ослизлой каменной стене рядом с Гонзой, зажег окуроч, два раза сильно затынулся, подал Гонзе.

Сирены разом умолкли. От группы людей на дороге отделилась толстенная фигурка, спотыкаясь, побежала к туннелю.

— Гляньте, Бацилла прет...

Толстяк прибежал весь в поту, моргая глазами. Милан встретил его довольно сурово:

— Выкладывая сигарету, толстопузый! Это входная плата. А то ты два места занимаешь.

Милан держал себя с Бациллой свысока — толстяк был сыном преуспевающего адвоката и, следовательно, в глазах Милана прихвостнем ненавистных буржуев.

Бацилла втиснулся рядом с ними, трусливо съежился под неумолимым взглядом.

— Нету у меня, честное слово! Да ведь ты и не куришь! — неудачно возразил он своему тирану.

— Вот что значит буржуй! — вскипел Милан. — А других тут что, нету? В нем ни капли солидарности, ребята! И завтрак сожрал где-то в углу! Это уж железно.

Гонза неподвижно смотрел на солнечный пейзаж, раскрывавшийся перед ним; смутные слова носились у него в голове, он их ловил, строил из них фразы. Он вернулся мысленно к незаконченной «Балладе». Как писать? Начать с середины, *in medias res*, как говорили древние, и разворачивать назад! И зачем героине имя Клара? Такое претенциозное имя, у-у! Почему ей не быть, допустим, Марией? Представь-ка ее еще раз... Никак не получается... Черт, почему опять завыли сирены? Короткие, панические вскрики, мелкими волнами... Непосредственная опасность — значит, они где-то близко. А вдруг...

— Вон они! — взволнованно крикнул рядом рабочий в плоской кепке, показывая пальцем вверх.

Сирены разом смолкли, в напряженной тишине слышен был слабый посвист ветра. «А вдруг?» — в такие минуты эта мысль приходит всем, и люди касаются друг друга взглядами. Да нет, ничего не будет. Где они?

Вон, вон, разиня!

Не вижу... Ах, есть, вон они!

Ну и высота, братцы...

Гонза высунул голову из-за свода туннеля, но сначала не увидел ничего. Сверкающая синева ударила по глазам, зажмурился. А потом:

серебряный треугольник, поблескивающий на полуденном солнце, одно звено, второе, а вон и третье... Серебряные крестики чертили небосвод на головокружительной высоте, оставляя за собой размытый белый след — борозды в голубой пашне. Самолеты приближались, и мир полнился отдаленным еще, однообразным гудением, оно усиливалось, раздражало нервы... А вообще-то красивое зрелище... Вот они над заводом — Гонза скользнул взглядом вниз — сейчас посыплот... Нет, нет... Завод лежал в мелкой ложбине, как дура курница, когорая купается в пыли и не подозревает, что над нею парит ястреб.

За спиной заговорили, Милан завел беседу с какой-то девушкой.

— Идите сюда, — сказал он ей, — как падать начнет, будем руками ловить!

Потом ее голос — мягкий, удивительный, теплый альт в этом все-светном гудении. Он не разобрал ни слова и не обернулся.

— Вы незнакомы? Это Павел... А вот наш Бацилла. Его только так и зовут. Просто — Бацилла.

Короткий смех гулко разнесся под сводом, кто-то смешно чихнул. Гром самолетов достиг апогея, от него дрожал воздух.

— А там Гонза стоит, — услышал Гонза. — Не мешайте ему, опять он ветру кудри завивает... Гонза! — И Милан ткнул его под ребро.

Гонза быстро обернулся и, холодея от странного испуга, понял, что совсем близко видит ее лицо.

IX

Слышишь? Грохот над миром, и где-то там должна быть она, затерянная в развалинах — уже не отвечает... Молчит, а ты тут жмешься в вонючем маленьком туннеле, руки твои висят, и давит неясное чувство вины. Да, вины. Лишний ты. Беспомощный. Щенок.

— Что ж ты молчишь? — безмолвно вопрошал Павел, хоть и предугадывал, что отклика не будет. Так было и вчера, и позавчера, и неделю назад. Хоть камень ногтями царапай! За что? Упрекаешь? Если б я знал, где тебя найти, то пусть что угодно... Отговорки? Нет. Просто не знаю, как быть дальше. Сколько гадости, трусости, расчетливости... Что-то тут не в порядке. Но что делать? Выбежать на улицу, придушить первого попавшегося их солдата? Руками сорвать рельсы со шпал? Сломать мост? Действие — какое угодно, любое — все лучше, чем эта трясина бездеятельности, метаний, чем эти бессильные попытки, оканчивающиеся ничем.

Отречься? Как это делается? Убить тебя в себе?

Ладонью он выбил окурок из прокуренного мундштука, тщательно продул его. Бацилла придвинулся к нему, моргая своими светлыми ресницами:

— Павел, вечером придешь?

Павел покачал головой.

— Я знаю, это было глупо с его стороны, хотя... — заикнулся было толстяк, но Павел, криво усмехаясь, перебил его:

— Брось! Бергсон и соленые палочки мне окончательно опротивели.

Бедняга Бацилла! Нетрудно было угадать причину его постоянства: она была не столько патриотически-воинственной, сколько отличалась каштановыми волосами, дерзким носиком и носила женское имя. В чем же упрекать его? Тем более что Бацилла сам привел Павла в эту компанию. Они учились в одном классе гимназии и совершенно случайно встретились на заводе. Бацилла и привязался к Павлу, счастливый, что нашел знакомое лицо. Сделаться поверенным тайн неудачливого девственника — вещь незавидная, но Павел старался вникать в его горести хотя бы потому, что толстяк, как прежде в школе, и на заводе стал мишенью довольно жестоких насмешек. Мало кто знает, что по-настоящему зовут его Камилл. Был он низенький, кругленький и, наверное, совсем мягкий на ощупь. У него начисто отсутствовали все качества, придающие обаяние мужчине, а то, что он отлично сознавал это, обрекало его на полную неудачу у девушек, заставляло жарко мечтать о любви и отчаиваться при мысли о своей неполноценности, влюбляться с регулярностью, с какой сменяются времена года, и бездумно устремляться все к новым и новым любовным катастрофам.

— Ты хоть сказал ей? — спросил без интереса Павел.

Бацилла трусливо отвел взгляд.

— Да нет еще, — пробормотал он. — С того вечера она и не смотрит на меня. Не понимаю, чем я ее обидел...

Признаться? Не признаться? — этот гамлетовский вопрос давал надежную возможность проворонить все подходящие случаи. Потребность сблизиться с существом женского пола стала центром, вокруг которого безысходно вращались все помыслы толстяка.

Павел утешил его шлепком по выпуклому животу и промолчал. Тот вечер, который следовал за непонятной, дождливой ночью, когда он провалился на первом же, до смешного легком задании, он не в силах был вспоминать без мучительного стыда, гнева и растерянности, хотя и не совсем понял, что тогда произошло.

В тот вечер пышный дом был открыт допоздна, они поднялись по мраморной лестнице на четвертый этаж; Павел прижимал к боку под плащом таинственный пакет. Бацилла остановился на лестничной площадке, хватаясь за грудь. Потом вынул из кармана гребешок, торопливо причесал слипшиеся от пота волосы.

— Довольно дурака валять! — прикрикнул на него Павел. — Еще увидит кто.

Надо было дать один долгий и три коротких звонка — условный сигнал для членов группы. На позолоченной дощечке узорным шрифтом с кудрявыми росчерками было выгравировано: «Гинск Ф. Карас, владелец антикварного магазина и присяжный судебный эксперт по вопросам...»

Всякий раз, как Павел протягивал палец к звонку, его охватывало странное чувство, покидавшее его лишь на улице. Во всем тут было

много неясного — хотя бы то, что он ни разу не видел ни хозяина квартиры, ни его жены. Судя по тому, что за одной из стеклянных дверей, выходящих в просторную прихожую, всегда горел свет — там, в глубине квартиры, проводили они свои вечера в неестественной тишине. Но возможно ли, чтоб в эти опасные времена их вовсе не интересовало, что за люди собираются в их гостиной? Сама квартира смахивала на забитый до отказа склад древностей. Гостей принимали две дочери хозяина, отлично справлявшиеся со своими обязанностями: вазы граненого хрусталя, поставленные на старинный столик с богатой резьбой, всегда были наполнены солеными палочками, приятно хрустевшими на зубах, в чашках дымился настоящий ароматный чай, иногда появлялась и бутылка красного, по карточкам полученного вина. Старшая дочь, Даша, была меланхолической блондинкой с непонятным блеском в глазах; по-видимому, обычные проявления человеческой природы, такие, как смех или удивление, были ей чужды. В своих длинных брюках возлежала она на тахте, обложенная подушками и книгами. Говорила редко и всегда при этом презрительно кривила губы. Павел как-то пригляделся к корешкам ее тонких книжек: Бодлер, Рембо, Верлен, Малларме и еще другие, незнакомые ему имена. Время от времени Даша, без приглашения, вдруг начинала, прикрыв глаза, читать стихи, изобилующие сложными образами, более хрупкими, чем стекло, ее терпеливо слушали, а Павел начинал подозревать себя в литературном невежестве: его логически работающий мозг не способен был найти какой-либо разумный смысл в этих образах, и все же они дышали особой красотой и пробуждали в нем чувство тоски и тщеты всего земного. Даша шептала в сумраке эти стихи — то по-французски, то по-чешски, и голос ее был томен и далек; все было похоже на некое мистическое радение. Она умолкала столь же внезапно, и потом долго никто не слышал ее голоса; видно, ее бесконечно утомлял язык, на котором изъясняются простые смертные. Она могла часами не сводить глаз с Прокопа, и нетрудно было прочесть в ее взгляде смесь восхищения, покорности и чуть ли не страха.

Прокоп был самый старший, но не только по этой причине считался неофициальным руководителем группы. Он умел говорить об искусстве с удивительной легкостью, пока слушатель не начинал всерьез верить, что Прокоп знает все; он умел принимать вид то задумчиво-серьезный, то саркастически-ядовитый, то вдохновенно-восторженный, то сурово-повелительный. Павел с трудом переносил его властность и самодовольство, которых не могли замаскировать самые приветливые слова. С первой встречи между ними бродило какое-то подавленное, незримое напряжение, питавшееся взаимной подозрительностью и инстинктивной враждебностью двух совершенно противоположных натур; однако до времени оно ни в чем не проявлялось. Павел терпеливо изнывал от скуки, слушал вдохновенные проповеди чистой поэзии. Аббат Бремон... В жизни не слышал! При этом Павел изучал лицо Прокопа: интересно-худощавое, будто высушенное пылью, некрасивое, но и необычное — его пронзительные глаза подошли бы скорее гипнотизеру или проповеднику-сектанту, чем владельцу лавки со старым хламом.

Когда собиралась группа, он обращался к Даше с нейтральной сдержанностью, но награждал ее декламацию одобрителем подмигиванием: «Валери тебе удастся, Даг». Всем было ясно, что у них роман, это просто бросалось в глаза, и каждый прекрасно представлял, что происходит в соседней комнате после того, как стенные часы с колонками протенькают одиннадцать. Бой часов был сигналом к тому, чтоб разойтись. С трудом подавляя нетерпение, Прокоп подавал каждому по очереди руку, пожимал, пристально глядя в глаза, а слова его, одни и те же для каждого, вдруг приобретали характер приказа: «Сугубая осторожность, друзья! Малейшая обмолвка — грубейшее нарушение конспирации и дисциплины. Ясно? Смерть нацистским оккупантам! Да здравствует демократия!»

К чему все это? — нередко размышлял Павел. Когда Бацилла впервые привел его сюда, сердце его колотилось от волнения. Он старался представить себе — не струсит ли, если придется подкладывать взрывчатку под рельсы, красться куда-то с заряженным револьвером в кармане... А вдруг меня схватит гестапо, и я не выдержу, начну говорить? Той ночью, когда ему предстояло переступить порог этого дома, десятки винтовок целились ему в сердце, и он явственно слышал хриплую команду...

...а тут разливалось приятное тепло от американской печки, кресла уютно прогибались под ногами, и все сильно смахивало на литературную вечеринку начала века. Десять, одиннадцать человек — он познакомился с ними уже здесь. Выглядели они отнюдь не воинственно. Или мне это кажется? Здесь до надоедливости читали стихи и говорили об искусстве. Читали стихи самого Прокопа, а они были особенно сложными. Какие-то комья непривычных слов, Павел ничего не понимал. Ты просто примитив, затрепанный логик, по выражению Гонзы. Но временами Павел подозревал, что и все остальные условились играть в некую снобистскую игру, и ему противны были эти лица, изображавшие восторг, бурное обожание, на которые автор реагировал скромным жестом. Павел упорно молчал, томился скукой во время этих словоизвержений, но терпеливо ждал. Иногда слушали музыку — ей Павел отдавался бесхитростно, он наслаждался, хотя и тут Прокоп обнаруживал склонность лишь к одному ее жанру: в темном полумраке разматывалась импрессионистическая прелюдия «Послеполуденного отдыха Фавна», затем дразняще-монотонный ритм «Болеро» Равеля. Дебюсси, или Цезарь Франк, изредка — Стравинский и Рахманинов. Прокоп пил музыку, повернувшись лицом к какому-то нездешнему миру, потом выключал приемник и начинал говорить с жаром миссионера, возвещающего изумленным туземцам евангелие новой красоты.

— Вы слышали? — он напоминал тот или иной мотив. — Какая красота! Чистая, поражающая, нечеловеческая!

С каждым разом множились у Павла нетерпеливые вопросы. Чего хотят эти люди? Они приходят неукоснительно, ведут разговоры, немного флиртуют друг с другом, но ни слова о каком-нибудь деле, каком-нибудь, пусть самом незначительном! За стенами грохочет война,

умирают люди по тюрьмам, по концлагерям, может, и она там! Может, ждет, и плачет, и страшно ей, страшно, каждый день может решить ее судьбу... А тут воркуют о красоте, ведут бесплодные беседы на философские темы! Что мне теперь до господина Бергсона и его *duré**, нет у меня ни малейшего желания копаться в его теориях, для этого будет время потом, когда в мире настанет тишина. Но тут же высказывали сомнения: а что, если это не более чем конспиративный прием? Откуда мне знать? Быть может, позднее... Бацилла ведь ясно сказал: Прокоп — член широко разветвленной организации Сопротивления, работающей в глубоком подполье; он связной между нею и этой группой, так он сам сказал Бацилле. А Бацилла в таких делах врать не станет. Однажды Павел выложил ему свои сомнения — толстяк до того разволновался, что пустил смешного петуха. Видно, он уже поддался обаянию Прокопа. «Хочешь сделать глупость — пожалуйста, только без меня! — пискнул он, оглядываясь на темной улице. — А то Прокоп еще подумает — кого это я привел! Пойми же ты, он должен молчать! Обязан! Такой ведь закон этой... конспирации. И мне даже нравится...» Не было сомнения, что у его конспирации капитановые волосы младшей барышни Карасовой. Остыв немного, Бацилла добавил: «А если у Прокопа есть приказ — сначала прощупать нас?» Павел сердито ответил: «Пора бы ему поспешить с этим делом». А позднее подумал, что, может, Бацилла и прав. Характер сходок постепенно изменился, иной раз даже слушали Лондон, болтали о положении на фронтах, о перспективах близкого конца войны. Могло показаться, что Прокоп черпает более подробную информацию из каких-то особых и весьма осведомленных источников; его прогнозы отличались вызывающей сложностью, а всякое иное мнение сметалось потоком аргументов, произносимых с таким сарказмом, что оппонент поскорее уступал поле боя.

Вскоре Павел столкнулся с Прокопом: речь шла о том, кто освободит Прагу и всю страну. Павлу в общем было все равно, лишь бы скорее, и он вполне допускал, что освобождение придет с Востока. Этого ждал Чепек, и Павел слышал, как отец каждый день с воодушевлением говорит о братьях славянах на востоке, радуясь, что русские кони напьются влтавской воды. Прокоп придерживался, однако, другого мнения, которое он не преминул окутать туманом сложных рассуждений о сфере западной цивилизации и ее миссии, об областях распространения римского права; он расточительно бросал чужие слова.

Позднее эти вечеринки превратились в некие семинары. Прокоп приносил в своем набитом портфеле книги и читал вслух большие отрывки из них. Прокоп в роли духовного руководителя охотно разъяснял, толковал, корил за леность мысли, очаровывал — непредвзятый, великолепно объективный ко всем идеям. Необходимо узнать все, утверждал он. Нельзя ничего отвергать априори, надо пройти через сомнение во всем, без сомнения мысль каменеет, превращаясь в тупую догму. Только тот из нас, кто пополнит свои знания тем, чего лишила

* То есть «длительности» — одной из основных категорий философии Бергсона.

нас наша эпоха, кто поднимется до уровня свободного мирового мышления — найдет себя. И выбор Прокопа был соответствующим: беглая экскурсия по творениям Платона, затем Рэскин, Паскаль и Масарик, после этого пришла очередь Бенды с его «Предательством образованных», Унамуно и Кьеркегора, прагматистов и новотомистов, один вечер был посвящен афоризмам Ницше — его кощунственность и своеобразная мания величия пленила слушателей. Почему я так мудр? Почему пишу такие гениальные книги? Читали еще из Заратустры, и не было в том никакой скуки; мысли так и кипели.

Однажды вечером — за шторами затемнения падали мягкие снежные хлопья — Прокоп принял их с необычно серьезным видом. Он долго молчал, пытливо вглядываясь в лица своими пронзительными глазами, потом сунул руку в набитый портфель и положил на старинный столик, рядом с чашечками саксонского фарфора, довольно потрепанную книгу. «Надеюсь, я не должен объяснять, — сказал он приглушенным голосом, — что за это полагается тюрьма, если не хуже».

Изумление было всеобщим, и Прокоп вволю наслаждался им. Бацилла проглотил слюну, заерзал в своем кресле, поднял на Павла восхищенный взор: видал, мол, разве я не говорил? «Капитал» Маркса! Где он раздобыл? Слова, понятия... Они пронеслись теперь в головах, не совсем ясные; самые ненавистные для нацистов и газетных проституток, они должны были звучать для этих собравшихся здесь молодых людей как брань. Еврей Маркс! Заговор всемирного большевизма! «Попадешь к ним в руки — погибнешь!» — орали плакаты. Кровавые лапы тянутся к силуэту Градчан, но рука безыменного шутника приписала снизу: «Нам-то что, не мы там живем!» В Советах — коммунисты, Сталин — коммунист, Красная Армия громит гадов, и все вокруг с жадностью подхватывают всякую весточку. Харьков освобожден! Ну-ка, где это на карте? Скорей... Ты переставляешь флажки на карте, но что ты знаешь об их идеях? Разрозненные, бессвязные обрывки, а следовательно, безнадежно мало. В рейхе Павел встретился с парнем, который тайно признался, что он коммунист. К сожалению, парень этот скоро пропал из виду; Гонза, быть может, что-нибудь знает, но часто он больше говорит, чем знает. Несколько детских воспоминаний: улицы в предвыборных плакатах, серп и молот; покойный дед со стороны матери, когда сердился, говорил Павлу: «Ах ты, большевик!» Огромная карта Советского Союза над магазином кооператива «Пчела» — это уже в дни Мюнхена. По карте показывали друг другу, скоро ли дойдет сюда Красная Армия, если Гитлер нападет на нас. Потом карта исчезла. Какой-то фильм о красных летчиках, на него пустили детей до шестнадцати лет, во время демонстрации в зале бешено аплодировали. Но вот лежит книга, запрещенная, проклятая, будто послание самого Вельзевула, — слушай же, не пропускай ни слова!

Прокоп читал совершенно непредубежденным тоном. Все очень сложно, тебя захлестывает поток незнакомых понятий, имен, и мозг не в силах постичь их, несмотря на самую твердую решимость сосредоточиться. Сначала слушали затаив дыхание, потом постепенно, один за другим, малодушно сдавались. Конца нет! Тепло от американской

печки погружало в сон, мозг окутывало тупое бессилие. Как можно понять такое? — думал Павел. — Зачем он это читает? Готов поклясться; он и сам ничего не понимает, авгур! Зачем нас-то мучает? Павел заметил, что все грызут соленые палочки, запивают чаем, переговариваются глазами. Бацилла собачьим умоляющим взглядом вперился в младшую барышню Карасову, а та, обалдевая от скуки, царапала ногтем подлокотник кресла. Все облегченно вздохнули, когда Прокоп захлопнул книгу.

Часы с колонками протенькали одиннадцать, все поднялись с необычайной охотой, повторился обычный ритуал прощания. На пороге прихожей Павел попросил Прокопа дать ему на время «Капитал» — тот лишь изумленно поднял брови. «Как тебе и в голову-то пришло? Впрочем, не жаль — сочинение умное, да не пища это для нетренированного мозга. Значит, через неделю увидимся! Смерть оккупантам!» Он хлопнул Павла по спине и заторопился к Даше, которая ожидала его в облаке табачного дыма.

На том все и кончилось, в следующий раз читали Дарвина, дни стремительно неслись вперед, но ничего не происходило.

И вот как-то раз, неожиданно для себя самого, после того, как были прослушаны известия из Лондона, Павел вдруг сказал:

— А что же мы?.. Давайте тоже что-нибудь предпримем! Я думаю...

Все удивленно воззрились на него, словно он заговорил по-эскимосски. Это его взбесило. Он смущенно взъерошил волосы:

— Я имею в виду... сделать что-нибудь, а?

Кто-то выключил приемник, наступила тягостная пауза. Павел отыскал глазами лицо Прокопа, желтоватое от света лампы, процеженного сквозь абажур; Прокоп изучающе глядел на него.

— Вот это я называю речью мужа, — кивнув на Павла, уважительно произнес Прокоп. — Знаешь что? У меня в портфеле адская машина. Ты ее возьми, а как пойдешь ненароком мимо Града, положи под окна протектора. Видно, ты питаешь страсть к фейерверкам.

Загремел смех, Павел кусал губы; однако Прокоп моментально навел порядок:

— Не понимаю, что тут смешного, друзья? Энтузиазм — качество драгоценное, Даг, милая, осчастливь нас... Попробуй Рембо... — И он сам начал декламировать, умело грассируя.

Тем глубже изумился Павел, когда после сходки Прокоп отвел его в угол, приятельски положил ему руку на плечо, сжал.

— Мне будет неприятно, если ты рассердился. Не надо, ладно? Я ведь просто пошутил. Но если ты в самом деле хочешь, — шепнул он Павлу прямо в лицо, — приходи ко мне послезавтра в лавку. Запиши адрес! Я тебе доверяю... вернее — мы тебе доверяем. А здесь — ни слова: маменькины сыночки. С ними только в теннис шлепать... Договорились?

Если Даша с успехом взяла на себя роль библейской Марии, то роль Марфы по законам своей природы приняла младшая сестра, Ганна; простенькая, смазливая хохотушка с эротическим кругленьким за-

дочком, она любила, когда собиралось много народу, и считала эти сборища какой-то волнующе-таинственной разновидностью вечеринок. «Сахар у всех есть? — заботливо спрашивала она. — Я достала новые иголки для радиолы...» — «Ах, Ганночка, бросьте вы эти пустяки, — с благожелательной улыбкой выговаривал ей Прокоп, — идите лучше слушать!» Ганка явно невыносимо скучала на этих сеансах нелегальщины, а потому рада была даже безобидному флирту, чьей жертвой мог без особых на то усилий стать любой из участников, если только не вовсе был уродом.

— Наконец-то! — она расплылась в радостной улыбке, впуская Бациллу и Павла в просторную прихожую. — Скорей, а то известия пропустите...

У вешалки они столкнулись еще с одним опоздавшим. Приятный на вид блондин небрежно кивнул Ганке и подал ей объемистую пачку книг в газетной бумаге.

— С великой благодарностью возвращаю Пруста, Ганка. Его тут ровно четверть метра в высоту.

— Погорел? — улыбнулась она.

Блондин возвел очи горе:

— Прогрызся через два тома. Слушайте, неужели действительно кто-нибудь дочитал все это до конца? — Он махнул рукой, пригладил волосы перед зеркалом. — Меня попутало название: «В поисках утраченного времени»! После этой войны оно нам до чертиков понадобится.

Девушка запрокинула голову, рассмеялась гортанным смехом, показав редкие и детские еще зубки.

— Тсс! При них ни слова! — заговорщически шепнула она. — Да-ша на Прусте совершенно помешалась. А я тут подвизаюсь в роли местной дурочки и читаю Бромфильда. Вы читали «Дожди»?

Павел незаметно положил свой пакет на сиденье источенного червями кресла, бросил сверху мокрый плащ.

Когда они вошли, в комнате на секунду прервался глухой говор.

Облака серо-сизого дыма пробивал конус света от стоячей лампы, от американской печки сладостно веяло теплом. Человек девять развалилось в креслах, Павел знал большинство из них по имени, но здесь принято было наемать на то, что это подпольные клички. Зачем? Временами, тупея от скуки, Павел рассматривал одно лицо за другим, стараясь угадать: что за человек? Три девицы, постоянные посетительницы, были бы на месте в каком-нибудь роскошном баре. Элегантность, перстни, звон браслетов. Одна из них заинтересовала Павла; звали ее Моника — тип совершенной, холеной красоты. Все, не исключая Прокопа, относились к ней с неподдельным уважением. Благодаря ей можно было слушать сообщения из Лондона непосредственно — Моника переводила почти синхронно; держалась она со всеми дружески и приветливо, щедро угощая из чеканного портсигара австрийскими сигаретами, хотя сама почти не курила. Павел ощущал, что от других ее отделяет какая-то неуловимая грань, ему казалось, что Моника ничто тут не принимает всерьез, и, может быть, именно это привлекло его внимание к ней. Что ты за человек?

Прокоп сидел на широкой тахте с книгой в тощих руках, за его спиной развалилась Даша в своих узких брюках; обхватив мягкие подушки, она смотрела в потолок застывшим взглядом. Интересно, что могло бы вырвать ее из состояния меланхолии, кроме Прокопа, конечно? Над ее изголовьем висели увеличенные фотографии обоих домюнхенских президентов; государственные мужи отеческим взором смотрели в желтоватый полумрак; между ними приколот был маленький флажок. Несомненно, это украшение появлялось здесь только на время сходов, но все равно оно как-то радовало. Как давно-давно это было! Мелькает воспоминание: на улицах иллюминация, двадцать восьмое октября*, ты стоишь на кафедре, поклонился, читаешь стишок... Высокий и тонкий старик на белом коне — это, милые детки, наш пан президент, он освободил нас от трехсотлетнего порабощения... **

Прокоп встретил вошедших легким упреком:

— Говорил же я вам не ходить всем вместе. Это противоречит элементарнейшим правилам конспирации...

Бацилла объяснил ему, что встретились они только в передней; толстяк ежился, как школьник перед строгим учителем. Ну хорошо, хорошо! — Прокоп пронизательным взглядом обвел присутствующих.

— Говорит ли вам что-нибудь фамилия Тэн? — спросил он и, не ожидая ответа, полистал в книге и начал читать.

Как я ему объясню? — думал меж тем Павел, ощущая дрожь в животе. Первая задача — и крах! Что-то он мне скажет? Вчера, когда вернулся домой, разбитый, промокший до костей, сунул пакет под кушетку и почти не спал весь остаток ночи. Вопросы, сомнения! Что, если человеческая жизнь зависела от того, передаст он сверток или нет? Или какая-нибудь важная операция? Что, если... Он провел ужасный день, сгорая от нетерпения: скорей бы вечер. Наверно, я никуда не похужусь...

Слова, слова, слова затопляли мозг — сначала он старался понимать, потом сдался, бежал в свои собственные безрадостные мысли. Легкое прикосновение к локтю... Та, которую тут звали Моникой, предлагала ему толстую сигарету, она улыбнулась и скрыто зевнула. Тоска, правда? Бог весть отчего, но в эту минуту она была ему ближе всех остальных. Неохотно признался он себе, что стесняется при ней своего мягкого хлопчатобумажного костюма и старенького отцовского галстука — будто бедный родственник... На всех лицах он прочитал ту же смесь скуки и незаинтересованности, тщательно прикрытую сосредоточенным выражением.

Часы с колонками нежно протенькали десять; Павел воспрянул в этот момент, когда Прокоп перестал читать, и наклонился к нему:

— Мне надо с тобой поговорить.

Прокоп не сразу понял:

— А что такое?

Он удивленно покачал головой, и потом все-таки отошел с Павлом в темный угол комнаты, откуда гонимая теплом печь. За столом завя-

* День провозглашения Чехословацкой республики в 1918 году.

** Имеется в виду первый президент Чехословакии Т. Г. Масарик.

зался оживленный разговор, кто-то поставил пластинку, негромко пропела труба... Отлично! По крайней мере можно будет поговорить без помех, подумал Павел. Нечаянно оглянувшись, увидел, что из кресла на них глядят любопытные глаза.

Подозревают что-то? Глупости!

— Ну, в чем дело? — шепотом спросил Прокоп.

Павел выложил сразу же все, не умолчал и о своих сомнениях и о встрече с эсэсовцем.

— Ну просто не могу себе объяснить. Так и не пришел. Я прождал пять часов. И никакой ошибки у меня не было, могу поклясться.

Странно! Прокоп не только слушал его с ледяным спокойствием, он даже легонько кивал головой. Потом сунул руку в карман:

— В самом деле никто не явился? Гм... И ты ничего не напутал? Не понимаю. Наверное, что-то случилось. Пакет ты уничтожил?

— Нет, принес сюда.

— Прекрасно, — одобрил Прокоп. — Правильно сделал.

За столом брызнул смех, и опять Павел заметил, как все на них смотрят. Что происходит? Прокоп повернулся, опалил собравшихся уничтожающим взглядом, но от Павла не укрылась усмешка, скользнувшая по его губам.

— Что теперь делать? — спросил Павел.

Прокоп с важным видом положил ему руку на плечо.

— Теперь — ничего! В другой раз обернется по-другому — в нашем деле надо вооружиться терпением. А его-то у тебя и нет... Забудь этот случай, я все объясню наверху — не сомневаюсь, ты получишь и более серьезное задание. Впрочем, — добавил он, как бы желая заранее отвести возможные возражения, — задачу ты выполнил. Был ты на месте? Был! В чем же дело?

— Да, но нельзя ведь... А вдруг...

— Ну... это уже не твое дело. Я-то думал, случилось что-нибудь похуже. Приходи ко мне завтра в лавку — думаю, у меня будет кое-что для тебя. Но, конечно, я не заставляю...

Не ожидая ответа, он отошел к столу, потер руки, остановил радиолу и вытащил из кармана сложенную бумажку.

— Сейчас я вам прочту одну вещь, друзья!

Бацлла, расползшийся в кресле, обстреливал Павла вопросительными взглядами. «Опять ты?.. — укоряли эти взгляды. — Опять дуришь?» Павел сел на хрупкий пуф, сцепил пальцы на коленях и, вооружившись терпением, стал слушать, как Прокоп с увлечением читает собственные переводы из Лотреамона. Месса! Вот бы тебя в рейх, — вдруг с неприязнью подумал Павел, — перестал бы ломаться! Часовой налет — и завизжишь совсем не лирично! Павел стиснул зубы. Почему это все на меня тарашатся? Он украдкой разглядывал лица. Встревожился. Что такое? Моника смотрит на него неподвижно, курит нервно, расточительно гасит наполовину выкуренную сигарету в переподленной пепельнице...

Павел встал с ненужной порывистостью, вышел в сумрак передней.

Когда он выходил из клозета, чья-то рука коснулась его локтя. Ганка! Видимо, ждала его — подошла, глянула на него снизу вверх:

— Вы очень сердитесь?

— Не понимаю, на что?.. — качнул он головой.

Ганка бросила ему в лицо пригоршню тихого смешка.

— Так уж и не знаете! — Маленькими пальчиками она сжала ему локоть, он не противился. — Я только хотела сказать вам — я ни при чем. И я совсем не смеялась. Но у вас-то ведь есть чувство юмора?

— На что вы, собственно, намекаете? — забеспокоившись, спросил он.

— Господи, я говорю об этом пакете! — Испуганным жестом, который ей очень шел, Ганка закрыла ладонью рот. — Батюшки, какая же я дурочка! Вечно все выбалтываю. Слушайте, вы серьезно...

— Да в чем дело? — выдавил из себя Павел, высвобождая руку.

Ганка, моргнув кокетливо, сокрушенно вздохнула.

— Вы только не злитесь, ему иной раз приходят такие идиотские идеи... Но я, правда, ничего общего с этим не имею.

— Хорошо, — произнес он, кивнув. — В общем ничего такого не случилось.

Ганка еще медлила, будто хотела услышать от него что-то более определенное; Павел встрепенулся, подтолкнул ее к двери.

— Идите вперед, не то еще подумают, что мы тут флиртуем... Я приду следом.

— Но вы правда не сердитесь на меня?

— Правда не сержусь. Я и без вас тут, кажется, шута разыгрываю.

Дверь захлопнулась. Павел огляделся, потрогал свое лицо — ему казалось, оно высохло от зноя, а внутри у него все цепенеет. Из комнаты донесся приглушенный смех... Спокойно, спокойно!

Он снял со стены старинный кинжал с инкрустированной рукоятью, бросился к креслу, скинул плащ, яростно перерезал бумажную бечевку, потом нажал кнопку лампочки над зеркалом — мельком увидел свое отражение — и стал внимательно перебирать содержимое пакета: несколько затрепанных номеров журнала для дам, старый прейскурant зубо-врачебных инструментов, прошлогодний комплект «Фелькишер беобахтер». И — все.

Прокоп оборвал чтение на полуслове, проницательно посмотрел на вошедшего. Понял — и неподвижно замер на кушетке. Бледное лицо Павла не предвещало ничего хорошего, так же как и шаги его и прямо устремленный на Прокопа взгляд.

Все притихли; взрыв висел в теплом воздухе комнаты.

— Что с тобой? — сухо осведомился Прокоп.

— Сам знаешь! — не отводя глаз, сказал Павел.

Прокоп лишь покачал с серьезным видом головой, вяло улыбнулся.

— Ну и что? Ты еще не сообразил, что это было испытание? Думаешь, можно тебе так сразу и доверить...

— Хватит болтать!

Прокоп нервно закурил сигарету.

— Валяй, валяй, — сказал он облачку дыма, насмешливо щуря глаза. — Еще что скажешь?

— Проще всего было бы набить тебе морду.

— Что меня и не удивляет. Видите? — показал Прокоп на Павла. — Отсутствие мыслей обычно сказывается в склонности к наиболее простому решению. *Sancta simplicitas!** Такая прямолинейная, энергичная...

Прокоп уже опомнился от первого испуга и сам пошел в наступление; с сарказмом, на который был мастер, он проговорил:

— Прими мой совет: когда пойдешь домой, кпнсья на первого же эсэсовца. Видимо, такие действия отвечают твоему понижанию борьбы. Не раздумывая, лупить по чем попало... — Бросив беглый взгляд на часы, он дал понять, что ссора уже утомляет его. — Ну, еще что? А то становится скучно.

Павел обвел глазами комнату: все сидели молча, отвернувшись, явно никто не пылал желанием вступить в ссору, а может быть, им это попросту было неприятно. У Бациллы от волнения подрагивали малиновые губки. Моника уставилась в пространство, Ганка нашла прибежище у радиолы, без всякой нужды меняя иголку. Даша разглядывала Павла с жадным интересом, как допотопного зверя.

— Ты прав, — выдохнул Павел. — И я только хочу еще сказать, что я про тебя думаю: ты самый обыкновенный бездельник. Вот и все.

— Говори, говори, — хладнокровно кивнул Прокоп. — Ты меня оскорбить не можешь.

— Да ладно вам, господи! — вмешалась Ганка. — Не ждала я, что вы из-за этого такой скандал закатите, Павел! Налейте-ка лучше чаю. Ведь, собственно, ничего не случилось.

— Вот именно! — вдруг взорвался Павел, и все разом всплыло у него на поверхность — гнев, стыд, разочарование. — Неужели мы сюда ходим только для того, чтоб надуваться чаем и пожирать соленые палочки...

— Что с ним? — непонимающе спросила одна из девушек.

— А сам больше всех умолотил, — заметил кто-то насмешливо, но Павел уже ничего не воспринимал.

— Я, идиот, воображал, тут будет дело... — продолжал он срывающимся голосом. — Ведь война кругом... Люди гибнут в концлагерях, а мы болтаем...

— Будь добр, брось эту сентиментальную комедию! — резко прервал его Прокоп. — Все, что ты говоришь, конечно, ужасно ново! Но здесь за все отвечаю я. И потому не потерплю! — Он пружинисто поднялся с места, он уже полностью владел ситуацией. — Ничего не поделаешь, Ганка, придется тебе спуститься и открыть входную дверь, — с неторопливой деловитостью сказал он, потом повернулся ко всем: — Спокойно! Вас это не касается. Продолжаем!

Он демонстративно перестал обращать внимание на мятежника: од-

* Святая простота (латин.).

нако когда Павел одевался в передней, не замечая укоризненных глаз Ганки, Прокоп вышел к нему, провел худыми пальцами по волосам.

— Все это не так просто, приятель, — сурово сказал он. — Еще проболтаешься где-нибудь...

— О чем? — спросил Павел. — О соленых палочках? Ты понимаешь по крайней мере, что смешон?

Прокоп глазом не моргнул: он прислонился к косяку и, мгновенно обдумав что-то, перестроился на более приветливый тон.

— Да в чем дело? Если это тебя так задело — пожалуйста: приношу свои извинения. Не лично, а во имя дела. Зайди ко мне в лавку, потолкуем обо всем, ты многое поймешь. Там, где речь идет о подлинных ценностях, личные антипатии отходят на задний план, понимаешь?

Павел упрямо молчал, тогда Прокоп уже примирительно добавил:

— Отчасти я понимаю тебя, но... «суетливость не к добру», как сказал Гамлет над телом Полония. Побольше читай и размышляй, сквозняк в черепной коробке — вещь весьма опасная. Борьба может иметь множество форм. Я жду тебя! Смерть оккупантам!

Ганка уже нетерпеливо побрякивала связкой ключей, и Прокоп поспешно возвратился в комнату. Там царило молчание; все переглядывались с едва заметным чувством пристыженности, как люди, внезапно очутившиеся после полумрака на ярком, обнажающем свету.

Моника шевельнулась, защелкнула чеканный портсигар.

— Спустишь с ними, — сказала она, решительно вставая.

Прокоп поднял голову.

— Моника! Моника! Устала? — всполошился он.

— И устала. Но главное: мне все это очень не понравилось, — ответила она деловито, и, прежде чем Прокоп успел возразить и удержать ее, дверь за ней захлопнулась.

Павел думал о ней, шагая в темноте по мокрым плитам тротуара, изо всех сил старался вызвать в памяти ее лицо, но она была где-то далеко-далеко, быть может, там, где кончается эта ненастная ночь. И все было такое путаное, расплывчатое, обманное — не за что ухватиться.

Дождь перестал, но капли еще слетали с дождевых желобов; Павел поднял воротник и так закашлялся, что в груди закололо.

— Вам бы вернуться. Теперь я сама дойду.

Этот голос напомнил ему, что он не один. Рядом шла та девушка, ее называли Моника; когда они вместе вышли на улицу, он предложил проводить ее до дому. До сих пор она молчала, и он был ей за это признателен.

— Не беспокойтесь. Мне надо проветриться.

— Мне тоже. Отвратительный вечер.

Ветер как полоумный носился в пустынных улицах, нападал из-за углов. Он теснил Павла и Моника, а они пробивались сквозь него, шли к набережной — две мятущиеся тени, смешно вздутые ветром.

Павел взял Моника под руку. Она не противилась, сама приникла к нему, грея его правую руку; она дрожала от холода.

— Зачем вы туда ходите? — спросил он без особого интереса.

— Не знаю. Быть может, потому, что нет причин не ходить. Все лучше, чем торчать дома и плевать в потолок.

Помолчав, она сказала еще:

— Ну конечно, я не разочарована тем, чем разочарованы вы..

Он не понял:

— Тогда зачем же и вы ушли?

— Наверно, потому, что мне сегодня там все опостылело: старый хлам, барышни-хозяйки, особенно Даша, эти физиономии... С большинством я знакома по гимназии. Кроме вас, никто там ломаного гроша не стоит.

Он пошел медленнее, подлаживаясь под ее шаг.

— Что можете вы знать обо мне?

— Мало ли что. Но вы, по-моему, совсем другой. Мне с вами хорошо, хотя я и не знаю почему. Мне пришло в голову, когда вы там скандалили: «Если он захочет меня поцеловать, я не откажусь». Вот сказала, а? Ничего, что я так говорю? Не толкуйте моих слов дурно, поверьте, в моих глазах никто и ничто не стоит притворства. Я вас не очень-то поняла. Вы, видимо, все принимаете ужасно серьезно.

— Что вы называете — все?

— Ну, хотя бы жизнь, людей, эту их идиотскую войну...

— Это и моя война.

На это она не сказала ничего, занятая своими мыслями.

— Для вас дважды два — всегда четыре, правда? А я в этом не так уверена. Собственно говоря, я ни в чем не уверена. Короче, вы то, что называют «человек с характером», надежный, отважный, законченный...

Он заставил Монику замолчать, крепко сжав ее локоть, и с удивлением признался себе, что она все больше и больше его интересует; она была одним из тех уникалов, с которыми он столкнулся в этой заставленной старинной мебелью квартире.

— Смотрите, у меня сейчас вырастут крылья.

— Думаете, я вам делаю комплименты?

— Нет... Впрочем, вы, пожалуй, в чем-то правы. Для меня действительно дважды два равно четыре. Иной раз, когда меня охватывают сомнения, я решаю интегралы. Ужас, да? И квадратуру круга я еще не признал неразрешенной задачей, если б не верил, что когда-нибудь разберусь в этом, — наверняка пал бы духом. Не люблю я того, чего нельзя постичь разумом. — все эти туманности, метафизику, абстрактную болтовню, как у них... Не могу я себе этого позволить.

— Вы слишком многого требуете от мира, — вздохнула Монина и добавила со странным упрямством: — И ни в чем вы не разберетесь! Ни в чем, что действительно важно! Квадратура круга!.. Так вам и надо. Не удовлетворитесь отговорками — плохо вам будет жить.

— Предсказываете судьбу? — с сомнением перебил он ее.

Попытался перевести разговор. Спросил мимоходом:

— Вы его хорошо знаете?

— Кого? А, вы имеете в виду Цельду?

— Нет. Прокопа.

— Его настоящее имя — Целестин. Забавно, да? Как будто гармошку растягивают. А Прокоп — его кличка. — Пояснив это, она насмешливо протянула: — Под-поль-на-я! Все должно быть надлежаще гаянственным и интересным. Место ли тут обыкновенному Целестину!

Павел покосился на нее — темнота поредела, глаз уже различал черты лица. Прижал ее локоты:

— А Моника?

Тряхнула головой:

— Нет... Моника — настоящая. А знаете, мне ужасно хотелось, чтоб вы его поколотили! Мне его совсем не было жалко, негодяя такого. — Она засмеялась внезапной мысли. — Как вы думаете, Мата Хари любила соленые палочки?

Он тоже засмеялся; вдруг она пошатнулась, оперлась спиной на железный фонарный столб. Они были уже на набережной, ветер с реки бросал ей волосы в лицо.

Павел схватил ее за плечи:

— Что с вами?

Она провела пальцами по векам, по вискам; дыхание ее было неровным, но она тотчас взяла себя в руки и подняла глаза.

— Ничего... Так только, дурацкая слабость какая-то. Наверно, у вас слишком длинные ноги для меня. Впрочем, я почти дома, я живу на набережной. Одна.

— У вас нет родителей?

— Почему нет? Есть даже два брата. Папа — профессор... Был... пока не закрыли высшие школы... Светило! Только взглянет на вас, поначает мудрой головой — и платите две сотни! Специалист мирового класса... По некоторым причинам он мне все разрешает. Да, о чем это мы говорили? — рассеянно припомнила она. Отделилась от фонарного столба, всей тяжестью повисла на руке Павла. Говорила она теперь прерывисто, он понял, что она борется с усталостью. — Ах да... О Прокопе! Он не интересен, если узнать его ближе. Когда-то пытался переспать со мной, но есть в нем что-то нечистое... Бывают люди, которые изо всех сил прикидываются не тем, что они есть в действительности. Если они будут самими собой — ничего от них не останется. Но всякий раз они выдают себя: какая-нибудь мелочь — и все видно как на ладони. Например, придет сборник своих стихов, изданный за свой счет, а в книжечке забудет чек на двадцать две кроны... Обязанность бесконечно ошеломлять, я думаю, отчаянно утомляет. Теперь вот у него — подпольная деятельность. Наверно, это страшно — стремиться ошеломить мир... а душу иметь тряпичника. Нет, меня скорее интересует, каким ветром туда занесло вас.

Павел молчал, не зная, что ответить. Моника казалась ему теперь более непонятной, чем тогда, когда молча предлагала ему сигареты.

— Я понял, что это было недоразумение, — пробормотал он на встречу ветру. — Какой смысл просиживать там вечера, не понимаю... Смотрите, — он приглушил голос, — ведь вот это все кругом — зло! Совершенно конкретное. Я ни секунды в этом не сомневаюсь. На соб-

ственной шкуре испытал. Познанное зло. Теперь вы меня понимаете?

— Не знаю, что я должна понимать, но вы мне нравитесь. Такой, как вы есть...

— Да нет, — досадливо отверг он. — Я действительно не собираюсь разыгрывать героя. Но ведь нельзя же отрицать, что людей убивают, что нас превратили в рабов. Через несколько часов я встану и поеду строить для них самолеты, понимаете? Для них! — Он чуть не крикнул, но сдержался, перевел дыхание. — Знаю... я мог бы сказать: мне тут ничего не изменить, на то есть союзники, они и без меня дело кончат... Но это не оправдание! Да я после не смог бы людям в глаза смотреть... Прожить остаток жизни с сознанием, что, когда нужно было что-то сделать, я... спрятался? Ну, нет!

— Послушайте, — спросила Моника через минуту. — У вас кого-нибудь арестовали?

Он не ответил, и она продолжала таким мягким, таким нежным тоном, какого он у нее еще не слышал:

— Убили? Отца? Или брата? Или... еще более близкого человека? Вы правы, не отвечайте, что я вам? Любопытная чужая женщина... Молчу!

Он недовольно перебил ее:

— Я сам еще не знаю...

Помолчав, она тихонько спросила:

— Вы ее... очень любили?

— Я очень ее люблю! — задетый, воскликнул он.

— Значит, жива?

Вопрос вынырнул слишком неожиданно, он был произнесен чужими устами, вездесущий, неразрешимый — и Павел только сжал губы. Проплыла мимо тень, прохожий тихонько насвистывал, сердито ворчал у него в руке самозаводной карманный фонарик с синей лампочкой.

— Что она сделала?

— Ничего особенного: родилась. Примерно двадцать лет назад.

— Такое же преступление совершила я.

— Но вам не надо носить на пальто звезду. Желтую.

— Ах, вот что... — шепнула Моника с оттенком пристыженности; склонила голову.

Она шла рядом с ним, спотыкаясь, маленькая, знобко дрожащая в плаще, и прижималась к его локтю.

Подняв голову, оглядела небо — черное как тушь.

— Идите домой, — сказала. — Мне уже близко.

Он молча повел ее дальше, простуженно шмыгая носом.

Позднее Павел ломал голову, почему он разговорился именно с Моникой.

— Что вы об этом думаете?

— Не знаю, — явно растерявшись, сказала она в трогательном смущении. — в иностранных передачах слышала кое-что о концентрационных лагерях... Но не в состоянии себе представить...

— Что вы слышали? — Он невольно сдвинул ей руку.

— Да нет... Не верю, это просто невообразимо! Теперь столько болтают зря... И потом: может быть, она и не там.

— А где же? Только там! Возможно, она в Терезине. В противном случае — почему не даст о себе знать? Хоть словом? Самым важным: жива! Наверно, оттуда не разрешают писать. Если бы я хоть знал, где она... — Он впервые вслух выговаривал мысли, которые тысячу раз переворачивал в душе; ветер отсекал слова прямо от губ, уносил в темноту. — А что вы в действительности думаете?

— Надежда есть всегда, — слабо прошептала Моника.

От этого затрепанного утешения холод пронзил его.

— Оставим это! Быть может, я сошел с ума, но я знаю... верю — она жива. Я... Дело в том, что... должно же иметь какой-то смысл... это ожидание, это мотание по жизни, эти бедствия... Ведь нельзя же, чтоб...

— Чего нельзя? — Она вырвала руку, остановилась; он не понял, чем ее обидел. — Вы сумасшедший, Павел! Это вам не математическое уравнение! Это в романах есть какая-то логика, там не умирают ни за что ни про что, но в жизни-то логики нет! Нет! Здесь умирают глупо, ненужно, без цели, преждевременно, незаслуженно, хоть криком кричи: за что? За что? Вы ведь были в рейхе? Там грудные младенцы умирают, не успев узнать жизни. Так почему же в вашем случае должен быть какой-то смысл? И куда вы пойдете жаловаться? Кому? Государству, философии, всему человеческому обществу? Господу богу? Вы его знаете? Я — нет! Разве вы еще не поняли, что тут нет никакой системы? Резвится случайность, тупая, слепая, бесчувственная, банальная до слез. Попробуйте найдите тут логику, справедливость — черта лысого вы найдете! Зачем же лгать себе?

Она внезапно умолкла, дышала тяжело; волнение погасло разом — так гаснет свеча, когда сожмешь фитилек; и Моника шла дальше, погасшая, снова насмешливо-безучастная. Вытащила портсигар, угостила Павла, но сама не закурила.

— Шли бы вы лучше домой. К чему обрушивать свою беду на голову другого человека? Теперь я хоть понимаю, почему вы так нетерпеливо ждете конца войны.

— Вы не ждете?

— Меня это не так затрагивает. Впрочем, вы ведь немножко боитесь конца-то войны...

— Почему?

— Почему? Потому, что за ним... За этой горой, куда не достигает наш взгляд, может оказаться маленькая могилка... И вы это знаете. Надежда — любая, пусть самая идиотская, все лучше, чем страшная правда, уверяю вас. Это люди так говорят... Вы на меня злитесь?

Павел пожал плечами:

— Не то слово. Не понимаю толком, отчего, Моника, но... мне вас немножко жалко.

— Наконец-то догадались! — воскликнула она с каким-то аффектированным ликованием.

Что ты за человек? Барышня из богатой семьи, скучающая, избалованная хорошей жизнью, или... Павел щелчком выбросил во тьму половинку сигареты, она зашипела в луже и погасла.

— Прелестно! Этого еще не хватало, — неприятно хохотнула Моника. — Что ж, давайте жалеть друг друга! Вы меня, я вас. Превосходная мысль! Глядишь, из сочувствия друг другу возьмем да и переспим за милую душу!

Павел в ужасе стиснул ее руку:

— Замолчите, Моника!

Она уже кротко отвела лицо:

— Теперь вы думаете, что я грубая и циничная! Ах, да все равно!

Павел попробовал замять неловкость:

— Скажите лучше, что вы собираетесь делать после войны?

Она долго не отвечала; казалось, мысли ее бродят далеко где-то; мелкими шажками шла она рядом с ним, осторожно обходя лужи.

— Собиралась заниматься медициной... Как папа. Видите, ничего оригинального. Только... — добавила она чуть слышно, — этого все равно не будет.

— Почему? Вот откроют высшие школы... Что же тут недостижимого?

— Все... Дело в том, что я, пожалуй, долго не протяну, — сказала она с удручающей деловитостью, как бы сообщая ему самый будничнейший факт из своей жизни. — Ну, пошли быстрее, опять закапало! А я не могу себе позволить простужаться.

Сначала отдельные капли забарабанили по плащам, потом захлестал ливень. Моника подставила дождю лицо, языком слизывала капельки с губ.

— Вы любите дождь?

Она заметила, что Павел онемел, рука его оцепенела.

— Что с вами? — И, предупреждая его слова, быстро заговорила: — Вы поражены? Знаете, Павел, не желаю слышать от вас об этом ни слова! Ни слова! Никакой жалости, а то прогоню. Нет, это не поза, честное слово... А что же мне делать? Хотели скрыть от меня, но я дозналась. Случайно. А папа! Он до сих пор играет передо мной комедию и даже укоряет меня за то, что я веду ненормальный образ жизни. А отчего все? Диагноз я знаю наизусть. Есть такая особая болезнь, знаете? Невидимая, безмолвная — ничего не болит, а сидит она во мне уже годами. Живет во мне, как неприятельный жилец, но ждет. Только ночами, когда не могу уснуть, я слышу ее в себе. От нее не убежать. Послушайте, Павел, — она подняла к нему лицо, светящее в темноте, — я уже примирилась. Понимаете? Примирилась. Так что вы теперь не тревожьте меня. А нелегко было, я ведь, в сущности, нормальная женщина... Жалость... самая гнусная пакость, самое подлое притворство, на какое только способны люди. Так и слышу: «Такая красивая девушка! Вот жалость!» А я хочу дотянуть спокойно, не прохныкать эти два-три года, а потом... потом уж как-нибудь да справлюсь. Ну вот, теперь вы знаете, сами запросились — и, пожалуйста, не опасайтесь, это совсем не заразно! Да и кроме того, бывают же чудеса,

правда? Ну что? Кому из нас труднее надеяться? Я об этом не думаю, не занимаюсь этим, мне жить хочется, понимаете? Ужасно хочется жить! А вы мне сейчас же обещайте, что ни звуком не упомянете о моей болезни — или я вас видеть не хочу.

— Обещаю, — еле выговорил Павел.

В душе его дрожала тишина; с непривычной уверенностью он обнял девушку за плечи. Она грела его своим боком.

— Моника! Вы кого-нибудь любите?

— Например, вас, — трезво произнесла она. — Мимо?

— Я не это имел в виду.

— А нечто большее я себе запретила. Мудро, правда? И — грустно. Зачем стремиться покинуть того, кого любишь? Ну, бросим это, я начинаю жалеть, что не промолчала. Вот и мой дом.

Павел поднял голову — перед ним высилась черная стена дома, мрачная, с выколотыми глазами; судя по каменным гигантам, стерегущим вход, это был довольно богатый дом, фасадом на реку; в водосточных трубах бурлила дождевая вода — монотонное, минорное пение жести.

Моника за отвороты плаща втащила его в нишу домовых дверей и, пятясь, поднялась на две ступеньки, так что лица их оказались на одном уровне.

— Ах... ключ!

Павел терпеливо ждал, руки в карманах, а вода затекала ему за воротник, он кашлял, ему смертельно хотелось спать. Но вот загремел ключ в замке, и девушка обернулась к нему.

Что это мы молчим? — подумал он с некоторым беспокойством. Моника стояла так близко, что он ощущал на лице ее теплое дыхание, за спиной чавкала темнота, она была живая, шевелилась — вода и ветер! Вдруг между двумя порывами ветра Павел расслышал дробную спешку часиков и с трудом проглотил слюну пересохшим горлом. Вынул из кармана руку — и тут Моника прижалась к нему с ласкающей решимостью.

— Иди ко мне... Я хочу сегодня быть с тобой...

Ему понадобилась вся сила духа, чтобы справиться с удивлением; он отодвинулся.

И разом все кончилось. Стояли в нише два протрезвевших и промокших человека. Он сделал неуклюжую попытку погладить ее по мокрым волосам, она отдернула голову, голос ее зябко дрогнул:

— Не дотрагивайтесь до меня... так! Вы всегда ей были верны?

— Нет... — удрученно ответил он. — Когда я был в рейхе...

— Хорошо же вы, верно, обо мне сейчас думаете! Предлагаю себя...

— Не говорите так, — попросил он. — Я не потому.

— Тогда почему же? Быть может, потому, что дважды два всегда четыре?

— Нет. Но, пожалуй, я не смог бы вам ничего дать! Или обещать.

Моника разразилась презрительным смехом, кулаками оттолкнула его.

— Да кто вас просит? Какой смешной! Ну, уходите!

Она резко повернулась к двери, перестав обращать внимание на Павла. Он сунул в карман свои озябшие руки и вышел под усиливающийся дождь.

Оглянулся еще.

Светлый силуэт рисовался на фоне открытой двери. Потом Моника вдруг шевельнулась и выбежала к нему под ливень.

— Мы не должны так разойтись. Это было бы нехорошо, я знаю. И — не хочу. Хочу, чтоб ты меня поцеловал! У тебя холодные губы. Не говори больше ничего! Обещай только, что придешь, когда тебе будет грустно... Понимаешь, невыносимо! Или если тебе нужно будет спрятаться. Все равно от чего. Хотя бы от самого себя. Знаю — ты придешь. Ну, теперь иди!

Он не стал больше ничего ждать, повернулся без единого слова и пошел в темноту, подняв воротник. Через несколько шагов он бросился бежать, не глядя на лужи.

Х

— ...а ведь мы знакомы, — сказала она и, подняв брови, улыбнулась.

Я разглядел, что на переносице у нее брови срослись светлыми волосками — чуть заметный крошечный веер.

— Поезд пять сорок две, с Главного вокзала...

Небо еще гудело, но гудение ослабевало, удалялось, кто-то сказал: «Ничего не будет, ребята»; я, кажется, разыграл удивление, ах, нет, вру! Я на самом деле удивился, я был захвачен врасплох, как человек, у которого на глазах с непостижимой простотой вдруг осуществилась навязчивая идея.

И тут я услышал голос Милана:

— Гляньте-ка, они знакомы!

— Не так все просто, — сказал я ему, не отводя глаз от Бланки.

И было мне совершенно безразлично, что ребята заметили мое волнение. У меня перехватило дыхание от того, как просто она дала понять, что от нее не ускользнули в вагоне мои взгляды исподтишка, я даже, наверное, покраснел немного, но улыбка ее чем-то помогла мне — она была такая открытая и совсем не лукавая. Если быть точным, можно сказать: она была серьезная. Такими улыбками обмениваются при случайной встрече старые знакомые. «Значит, это ты?» — спрашивали ее удивительные глаза. Вокруг порхали слова, плоские шуточки, кто-то простуженно кашлял, но я ничего этого не воспринимал. Только ее. А она уловила мое волнение и медленно отвзрнулась. Она здесь, не дыша от изумления, повторял я. Это она.

— А я и понятия не имел, что вы меня заметили, — сказал я, когда мы плелись после отбоя к дороге по жухлой траве.

Помню, я нес какую-то околесницу, а сам смотрел, как впереди, на расстоянии шага, она осторожно ступает по бугоркам межей; она накло-

нила голову и казалась мне меньше ростом и нежнее, чем тогда, когда между нами было расстояние, которое сам я никак не умел сократить. Странно, как меняется образ человека после двух-трех обыкновенных слов! Тот, что ты сплел из туманных представлений и фантазии, разорван в клочья и в миг развеян по ветру — и вот начинай сначала, трудолюбиво лепи из случайных слов, жестов, дрожания ресниц, из черт лица, увиденного в непосредственной близости, лепи иной, быть может, более точный образ! Но как знать? Да, сейчас она явилась мне чуть-чуть иной, более земной, не такой взрослой и таинственной, как та, за которой следил я издали; от этого делалось спокойней, но в то же время было немного страшно. Разочарование? В тот момент я не знал, которая из них нравится мне больше. Какая же она на самом деле? Узнаю ли я это вообще? Сейчас, когда в холодном кафе, на холодном мраморном столике я мараю бумагу, записывая этот простенький рассказ, впервые не о выдуманном, а о случившемся, я вдруг начинаю сознавать, что с каждой встречей она пусть чуточку, но меняется. Быть может, меняется от каждого слова. Можем ли мы, люди, полностью узнать друг друга? Мы разговариваем, двигаемся, касаемся друг друга чувствами, но всегда застигаем один другого лишь на известной ступени познания; думаешь, что узнал человека, а он возьмет да ошарашит тебя чем-то непредвиденным — и раскроется в нем целая вселенная или бездна, и опять меняй, дорисовывай, ретушируй... Но где же он целый, где он кончается, где в нем предел, где дно этого фантастического кладезя? Вобрал ли ты его в себя? Ты даже не знаешь, какие возможности дремлют в тебе самом, не знаешь, как поведешь себя во всяком новом положении, к примеру, если дело коснется жизни, любви, измены или страдания. Да, но важно ли это теперь?

Вокруг шумит кафе, пан Кодытек в лоснящемся фраке вьется меж столиков, из задней комнаты доносится треск бильярдных шаров, а я возвращаюсь к той мимолетной минуте...

Да, она шла впереди, а во мне дрожала тихая радость, и все, что давило меня прежде в ее присутствии, вдруг утратило значение. Ребята были в нескольких шагах позади. Чувствовали ли они, как я мысленно благословляю их за это?

Я щурился на солнце, оно зажигало ей волосы, потом в них запутался ветер. Она вытащила из кармана помятый платочек, повязала на голову, платочек не шел ей, она, наверно, знала это, потому что, поймав мой взгляд, объяснила:

— А то после не расчешешь.

И опять шла молча; потом вдруг сказала:

— В прошлую среду вас не было в поезде. Дали освобождение по болезни?

— А вы, значит, заметили?

Она перепрыгнула через канаву и подождала меня, улыбаясь своей светлой улыбкой. Мы зашагали рядом по разбитой проселочной дороге к садам, окружавшим город. Над миром было уже безопасное небо, кто-то толкнул меня в плечо и завел болтовню о каких-то глупостях; я ответил самым неприязненным взглядом, на какой только был спо-

собен, и незаметно прибавил шагу, чтоб ребята не догнали нас. Я боялся, как бы у нас не отняли этот кусочек дороги, который мы могли пройти вместе. Не знаю, заметила ли она; во всяком случае, она подстроилась под мой шаг.

— Вы мне еще не ответили, — напомнил я ей.

Кажется, я нарушил ее мысли: она вопросительно посмотрела на меня.

— А что вы хотите услышать? Ну, как вам нравится «Кашпар с гор»? — Заметив мой удивленный взгляд, она объяснила: — Сегодня утром, выходя из поезда, вы все еще были на сто третьей странице. Неужели вы так ужасно медленно читаете?

Полной грудью вдохнул я надежду:

— Это значит...

— Ничего это не значит, — перебила она меня в легком смущении. — Просто в прошлую среду в поезде мне вдруг показалось, что я как-то странно одинока. Чего-то не хватало. Вообще это совершенно понятно. Я, наверно, привыкла чувствовать вас поблизости, хотя мы слова друг другу не сказали. И мне легко вздохнулось, когда на другой день я увидела вас на перроне. Пожалуй, не следовало бы этого говорить, но это правда!

Позднее слова — «но это правда!» — я слышал часто. Видимо, они были для нее мерилom всего.

— Интересно, как я выглядел? Как мальчишка, дурак или нахал?

— Тогда бы я не шла сейчас с вами. Послушайте: обещайте, что никогда не будете говорить того, чего не думаете на самом деле.

— Сначала надо как следует понять, что ты на самом деле думаешь, — возразил я.

Теперь-то я понимаю, что и тут была попытка интересничать, и если бы можно было, я взял бы назад эту банальную фразу.

— Вы, видимо, обожаете сложности. Так что — интереснее?

— Вот теперь вы меня обижаете, — сказал я, недовольный собой. — Иногда ведь и вправду не сразу поймешь...

— Может быть, — уже более мирно кивнула она. — Но я просто не выношу, когда люди без нужды все запутывают. Нынче жизнь и без того достаточно запутана. Слишком даже! Наверно, я кажусь вам ужасно требовательной и избалованной... Зденек иногда говорил, что во мне сидит прокурор. Но это неверно. — Она чуть улыбнулась воспоминанию и подставила солнцу лицо. — Уверяю вас, каждая нормальная женщина прекрасно знает, когда на нее смотрят так, как вы на меня. И оглядываться не нужно. Даже приятно, когда думаешь, что ты кому-то нравишься. Я вам нравлюсь?

— Очень.

Я проглотил слюну, застигнутый врасплох ее откровенностью. Мне казалось, что такой вопрос подошел бы кокетке, он как-то не отвечал моему представлению о ней, но она спросила без тени кокетства и так уверенно, что я на секунду растерялся. Она сама мне помогла:

— В этом ведь нет ничего дурного. Не смейтесь, но мне казалось, будто вы хотите сказать мне что-то важное. И я все думала, как мне

держат себя, когда вы, наконец, соберетесь с духом. Но я не задрала бы нос, это-то я знаю теперь совершенно точно.

— Не могу понять, что мешало мне... — сказал я, выбрав ту же тактику: откровенность. Обычная, заезженная болтовня, которой люди, знакомясь, ощупывают друг друга, эта фальшивая развязность и принужденная шутливость бог весть почему казались мне совершенно невозможными в ее присутствии. — Скорее всего, не решался потому, что вы красивая. Вид у вас был достаточно неприступный и даже, пожалуй, гордый. Но теперь вы мне такой не кажется — нет, нет! Я выдумывал о вас множество историй и все ломал голову: что вы за человек? Порой мне казалось, что вы печальны... — Я все время искоса наблюдал за ее лицом, но ничего не мог на нем прочитать. — Мысленно я наговорил вам кучу всякой чепухи, такая уж у меня противная привычка — выдумывать всякое о людях. Потом, я тосковал. Но не могу сказать точно, о чем. Нынче, кажется, все по чему-нибудь да тоскуют. А у меня к вам тысяча вопросов.

— Начинайте с первого, — улыбаясь, перебила она меня и была в эту минуту такая милая, что я едва совладал с искушением коснуться ее.

Она еще покачала головой:

— Наверно, я вас ужасно разочарую. Во мне, видите ли, нет ничего таинственного. Живу, дышу, при этом работаю с Махачеком на рулях, обедаю в столовой и жду: вдруг случится что-нибудь замечательное. Вот и все.

— Знаете, как вас прозвали в цехе?

Она искоса посмотрела на меня, кивнула.

— Да. Маркизой. — Неясно было, льстит ей это прозвище или оно ей неприятно. — Неужели я и впрямь кажусь такой высокомерной? Ну что поделаешь! А как прозвали вас?

С наигранным смирением я пожал плечами:

— Никак. Видимо, я не очень-то интересен. Это плохо, Бланка?

Я впервые назвал ее по имени, она тряхнула головой со спокойной улыбкой, но ничего не сказала.

Так дошли мы до развилки у облупившейся стены сахарного завода; тут я остановился с многозначительным вздохом. Она подняла на меня глаза. Дело в том, что мы с ребятами сговорились смыться после тревоги, а кто вздумал улизнуть, не должен появляться в главной проходной. Я предложил ей теперь дать тягу вместе с нами, но она решительно покачала головой.

— Не выйдет. Жаба имеет на меня зуб. Осенью-то мухи особенно кусают... Вы ведь знаете мастера из «Девина»?

Знаю я этого нетопыря в широком халате, эту бестию с почечными пятнами на расплющенной жабьей харе. От него уже многие пострадали. Наверно, у него сотни глаз, он видит все, что делается вокруг. У всех найдется счет к Жабке, когда настанет час... Говорят, правда, что в последнее время он малость попритих; неожиданная оплеуха, оглушившая его как-то ночью в темноте, видимо, выбила из него излишнее рвение.

— Тяжело вам там?

Она стиснула зубы, ответила не сразу.

— Иногда да. Особенно в ночную. Вот тут понимаешь, что такое вечность. Под утро засыпаю стоя, зубы стучат, и потом весь день ползаешь, как сонная муха, а не уснешь. — Но тут же она встрепенулась, как бы сбрасывая бремя с плеч. — Ах, мы не имеем никакого права хныкать! Другим куда хуже...

— Например, вашему брату?

Видимо, я нечаянно задел больное место, ресницы ее чуть дрогнули.

— Что вам о нем известно?

— Не много... почти ничего. Его звали Зденек?

— Надеюсь его так зовут. — Она устало отвернулась. — Это Милан сказал, правда? Вот болтун! Строго говоря, я его даже не знаю. Может быть, он хороший парень, но слишком много болтает. Нынче это не приводит к добру.

Прежде чем я ее успокоил, ребята догнали нас, наш разговор утонул в их гомоне. Я их не слушал, но чувствовал на себе их жадные взгляды. Ясно, судачили о нас! Мне оставалось только молча протянуть Бланке руку и потом смотреть ей вслед. Она двинулась своим уверенным шагом к главной проходной — шла, шла, пока не затерялась среди людей. Рубикон был перейден с нечаянной легкостью, я ничего вокруг не видел и не слышал, но, кажется, улыбался про себя. Во мне стояла золотистая тишина, и солнце сладостно дышало с высоты, и в душе замирал отзвук ее слов; мне отчаянно хотелось остаться с ними одному, с этим добрым бременем пережитого, но, обернувшись, я поймал испытующий взгляд Милана.

— Ну, братцы, шевели ногами! — крикнул Павел.

Позднее, в трамвае, уносившем нас в город, Милан как бы ненароком наклонился ко мне:

— Слышь... Посоветовать тебе хочу, если только не поздно... Не вздумай с ней крутить!

Мой удивленный взгляд заставил его на миг замолчать, но, прежде чем я сообразил, что надо ответить, он предупредил меня:

— Ты меня не спрашивай, я сам точно ничего не знаю, так только... Ей нельзя ничего такого себе позволить, понимаешь, война! Ты можешь здорово навредить ей, а втюришься, гляди, и сам пострадаешь.

— Ну, знаешь, предоставь уж это мне! — отрезал я. Наверно, я походил на человека, у которого покушаются украсть только что найденную жемчужину. — Она сама сказала мне, что ты больно много болтаешь! — выложил я ему торопливо. — Война! Ну и что? Мне не десять лет... И не у нее одной брат в тюрьме...

Опять этот неприятный испытующий взгляд. Потом Милан вздохнул, как будто был не очень уверен в своей правоте:

— Ну что ж, если ты так думаешь...

Больше не было сказано ни слова, но и этот коротенький разговор встал между нами холодной тенью. Помню, тогда в душе у меня что-то оцетинилось, я стиснул зубы, но вместе с тем почувствовал и какое-то

смутное сожаление и разочарование. Если сказанное Миланом было угрозой, то подействовало оно как раз наоборот — мне хотелось закидать его расспросами; но Милан уже отвернулся, он смотрел теперь с площадки вагона на серые стены домов, на облупленные вывески магазинов, убегающие назад, и упорно молчал. А я с каким-то новым интересом разглядывал его некрасивое лицо, усеянное красными прыщиками, и тут мне ударила в голову довольно жестокая мысль: а может, он ревнует? Но к чему? Не к чему было ревновать — увы!

...Две недели! Внешне в моей жизни, скудной жизни тотальника, ничего не изменилось: дорога туда, дорога обратно, цех и ненавистная тяжесть поддержки, потное лицо Мелихара, я читаю Рильке, мысленно декламирую из «Сонетов Орфею» среди пустой болтовни в клозетной полутьме, в ночную смену после двенадцати дрыхну на мешках в малярке... Официант пан Кодытек поставил передо мной чашку с траурно-черной бурдой, за шторами затемнения свищет в весенней ночи темнота, а я пытаюсь писать. Пытаюсь — вот правильное слово, потому что с той встречи в туннеле «Баллада» моя не продвинулась ни на шаг. Сначала я мучился от бессилия, мне было так жалко, что этот сюжет, на который я поставил всю ставку, с такой легкостью выветривается из меня, но теперь я уже начинаю понимать. Действительность вытеснила мечту и вдруг до того переполнила меня, что воображаемое перестало занимать. Более того — оно мне опротивело! Оно кажется мне теперь до невозможности высосанным из пальца и насквозь идиотским. Какое мне, собственно, дело до всего этого? Зачем я все это написал? Может, я никогда ничего толкового и не напишу, приходило мне в голову, когда я сидел над «Балладой», но я с удивлением сознавал, что мне это вовсе теперь и не горько, все это кажется до смешного ничтожным по сравнению с тем, что пробуждалось во мне этой шумной весной. Ничего подобного я еще не испытывал. Это сладкое замирание сердца и радостное оцепенение, есть в этом напряженность ожидания, и вера бог весть во что, и риск, но и нежданная отвага; до всего, кажется, рукой подать — и все не такое, как прежде; словами этого не выразишь — всегда оно будет за ними и где-то рядом с ними; ведь это мелодия и стих — не совсем понятный. Во мне теперь иные слова, иной голос, иная действительность — теплая и нежная, как кожа ладони, и дни светлеют с весной, которая взяла уже штурмом унылые холмы предместий. Сквозь щелку в фанере, заменявшей стекло в вагонном окне, я вижу, что эти холмы покрылись травой, и с неизведанным изумлением гляжу на это повседневнейшее чудо.

Мы с Бланкой сидим рядышком в купе, вагон трясет, под ногами не в лад постукивают на стыках колеса, однообразный ритм усыпляет, все тут так же, как всегда, и все же не так: справа греет меня ее бок, и я не смею пошевелиться, хотя тело у меня затекло. В мышинном сумраке купе могу насытиться ее лицом; сон возвращает ей детскость, спит она, чуть приоткрыв рот, доверчиво положив голову мне на плечо. Я осторожно натягиваю на нее полу потрепанного плаща, но ма-

лейшее движение — и она открывает удивленные глаза. Добрый день!

— Ах, я спала, как сосунок, — зевает она в ладонь. — Что такое сосунок? Наверно, все плечо вам отдавила? Я эгонстка — взяли бы да и спихнули! Где мы?

— Кирпичный завод только, — шепотом докладываю я. — А вам холодно, правда? У меня в термосе немножко чаю из шиповника...

— Н-н-нет, — дрожа, говорит она и растирает лицо ладонями. — Вы замечательно греете. О чем это мы...

— Вы заснули и так мне и не ответили...

— Ах да, — смеется она из-под плаща, — девяносто седьмой вопрос?

— Девяносто пятый, — поправляю я с невозмутимой аккуратностью. — Вы уже поняли, что встретили самого любопытного человека, когда-либо попиравшего землю.

Она, нахмурившись, фыркает:

— Лучше бы вы читали!

— А если это одно и то же? — бездумно бросаю я, но натыкаюсь на ее вопросительный взгляд. — Ну да, что, если люди читают именно потому, что им любопытно посплетничать о том, как живут другие? А может, им ужасно скучно от самих себя.

— Нет, — решительно возражает она. — Не все такие. Лучшим из людей сегодня не до того.

Это как бы легкая пощечина. Не понимаю, зачем я вновь и вновь стараюсь блеснуть перед ней.

— Вы обиделись?

— На что?

Она уходит в молчание, а мне вдруг делается неловко за дурацкие вопросы, с помощью которых я пытаюсь проникнуть к ней в душу, которыми я засыпаю ее с назойливостью мухи, хотя явственно чувствую — это все равно что тыкать пальцем в небо; она устало отражает мои попытки, ускользает. Откуда у меня это ощущение незрелости рядом с ней, ощущение молокососа рядом со взрослой женщиной? Ведь говорит и смеется она легко и беспечно!

— Что подельывает «Кашпар»? — вдруг спрашивает она. — Все еще на сто третьей странице?

Я неохотно пожимаю плечами:

— Он меня больше не занимает.

— Жаль, я эту книжку люблю. А что вас теперь занимает?

Я робко щурюсь:

— Сказать правду?

— Правдой вы ничего не испортите. Но не говорите, что только я!

Я вздыхаю:

— Может, вам надоело, да что попишешь? Это так. Что вы собираетесь делать после?

— Будто это от меня зависит! Буду по-прежнему стоять у стапеля с лампой в руке...

— Да не сегодня. А когда все кончится.

Какие-то мысли изменили ее лицо, полные губы с сомнением сомкнулись.

— Что будет тогда? Вы знаете? Может быть, реки потекут вспять, а люди ошалеют, и все побегут куда-то наперегонки и будут с ума сходить от сознания, что можно делать все, что хочется: хочешь — радуйся, хочешь — забудь... И я хочу быть с ними. Может, они захотят сделать что-нибудь замечательное — как вы думаете? Построить что-нибудь огромное, ну, башню, а в школах, может быть, введут уроки смеха... Или возьмут и остановят солнце на небе и запретят печаль, и мрак, и тучи... В общем, не умею я себе все это представить...

Уж не смеется ли она над тобой? Нет, говорит шепотом, сощурив глаза, как человек, вглядывающийся в даль; мысленно я отдаю должное ловкости, с какой она увернулась от прямого ответа, и только молчу с некоторой горечью. Возвращаюсь я к этой теме, уже когда мы идем с ней по деревянному мосту над путями; шаги, голоса, лестница, ведущая к задним воротам завода. «Станьте в очереди!» — шумит кто-то, словно тут не карточки отбивают, а продают лук. Цинк! — щелкнули контрольные часы — и вот мы снова в неволе...

— Я тоже не представляю... — Это я говорю уже, когда мы торопливо шагаем по тротуару мимо хмурых стен, выкрашенных серо-зеленой краской. — А вы можете еще вспомнить, как было до войны? Дуреешь до того, что вот все это уже кажется нормальным состоянием. Фашиги — сволочи и убийцы, нынче каждый ребенок знает, что они провалились по всем статьям. Но что будет после? Плутократы с жевательными резинками, та демократия, о которой проповедуют из Лондона, или Сталин с красными комиссарами? Конечно, газетные утки — жратва неважная, но если мы из теперешней заварухи выйдем целые и невредимые — придется ведь жить в этом... Значит, надо понять это, найти, где же правда. Кому охота клевать на пустую приманку...

Бланка слушает молча, шагает рядом, опустив голову, дрожит от утреннего холода. Что это я несу? — вдруг приходит мне на ум, ужасно хочется спать, голова гудит, портфель у меня под мышкой будто набит свинцом и ртутью. Из проулка между зданиями набрасывается на нас сивозняк, швыряет нам пыль в глаза.

— Сегодня каждый представляет себе будущее по-своему. Вроде сочельника, когда всем подарки дарят... Но, видимо, желание тут — отец мысли. Для Милана смысл будущего — в коммунизме, для Пепека — в магазине с автоматической кассой и крутобедрыми продавщицами. Павел, наверно, собирается навести в мире порядок с помощью логарифмической линейки, а Бацилла займет место папочки в процветающей адвокатской конторе. Только влезем ли мы в это будущее со всеми нашими пристрастиями...

— А вы? — прерывает она мои рассуждения с улыбкой, которая мне непонятна.

— Не знаю. Я пока только спрашиваю. Это плохо?

— Нет. Если только, конечно, не останавливаться на спрашивании.

Две недели, а я все еще не знаю о ней ничего, или почти ничего;

представление о ней неуловимо меняется у меня с каждой встречей, причем оно скорее расплывается, делается неясным, вместо того чтоб вычерчиваться определеннее. И все же мне кажется — мы с каждым днем становимся ближе друг другу, только по-другому, гораздо проще. В перерыве, например, сидим рядом на ящике с песком, жуем хлеб — и в такие минуты, без слов, без моих вопросов, все как бы делается яснее. Даже сама она.

Можно сказать, она у меня на глазах днем и ночью. Стоит высунуть голову из-за стапеля, и я вижу ее в проходе между скелетами крыльев. Склоняется над переносной лампой, желтоватое пятно света ползает по ней, от груди до лба. Она тут, говорю я себе с добрым удивлением, неужели это мне не чудится? Всего в нескольких шагах, и сторожит ее цербер с жабьей мордой. Она всегда чувствует мой взгляд — выпрямляется, оборачивается, посылает мне беглую улыбку, теплом растворяющуюся во мне. Сколько раз за смену мы соприкасаемся взглядами? В этих молниеносных касаниях есть что-то восхитительно сближающее. «Я о тебе думаю! — говорит она мне глазами. — Я рада, что ты близко». Постучу пальцем по ручным часам, она надвинет платочек на лоб, кивнет. Как будет гудок на перерыв... Сколько сейчас? Только три...

Треск над головой, оглушительный удар металла о металл возвращают меня на землю: пневматический молоток Мелихара ударил впустую, и Мелихар таращится на меня. Вообще он, кажется, все заметил, его запавшие глаза щурятся на меня с добродушной снисходительностью взрослых. Ну и пусть! Она — и я! Это звучит прекрасно и неправдоподобно. Не сомневаюсь, ребята тоже уже что-то разнюхали и сгорают от любопытства; я догадываюсь об этом потому, что теперь в моем присутствии о ней не поминают, словно разом исключили ее из круга грубоватого интереса, с каким тут оценивают каждую смазливую девчонку. Вероятно, между порядочными мужчинами, даже теми, кто любит похвастать амурными успехами, существует некий неписанный договор, налагающий обязанность быть особенно деликатным и тактичным, как только они сталкиваются с подлинным чувством. Когда Пепек попытался выудить у меня подробности о Маркизе, мне даже не пришлось рта раскрыть: Пишкот, да и все ребята сейчас же одернули его, да так, что Пепек не успел и выговорить вопрос, не то что разукрасить его своими излюбленными словечками. «Ладно, ладно, подумаешь!» — не понял он, в чем дело, и обиженно сплюнул. Никто словом не касается нашего с ней сближения, только Павел несколько дней назад, когда мы смылись вместе с ним и топали к конечной остановке под расцветшим весенним небом, ошарашил меня неожиданным вопросом:

— Ты ее любишь?

Я тотчас понял, кого он имеет в виду, но ответил не сразу и столь же скупое:

— Наверно.

Вопрос и ответ бесследно расплылись во тьме.

— Это не настоящее, — недовольным тоном сказал потом Павел, как бы подводя итог долгим размышлениям.

— Почему ты знаешь?

Он откашлялся, ответил сипло:

— Так... Было бы настоящее — ты бы знал твердо.

Я возразил с сомнением:

— Ну, не всегда ведь все так просто...

В нем, казалось, ворочается множество слов, и он перебирал их так долго, что возникло молчание.

— А почему ты спросил? — через некоторое время заговорил я.

— Да так просто... Хотел сказать тебе, если это то... тогда держись за него крепко, не растрать... Это самое большое богатство.

Он нашарил в складках кармана окурок, чиркнул спичкой, поднес к губам огонек между ладоней, сложенных лодочкой. Я не удержался от вопроса:

— Это ты знаешь по собственному опыту?

Я смотрел в его лицо, осветившееся на секунду неверным огоньком спички; лицо было неподвижно. Из темноты, которая тотчас снова окутала его, донесся еле слышный ответ:

— Ага.

Больше мы не говорили. Откровенность Павла была скупа на слова, но в его будничном «ага» было так много значения, что это исключало простое любопытство. Молчи! Я решил ждать, пока он сам заговорит. А он круто переменял тему:

— Завтра я принесу тебе этого Джинса, — сказал он, подняв глаза к мерцающим звездам. — Популярное чтение, но кое-что можно узнать...

Гм, ладно! Если и есть что-то общее у большинства тотальников, так это страшная, неутолимая жажда знаний. Такое чувство, будто все, чем тебя напихали в гимназии, безнадежно теперь ускользает и годы бегут безвозвратно... «Господи, — мысленно слышу я Леоша, — я мог бы уже работать по специальности!» Каждый из нас много уже успел бы сделать, и каждый ощущает в себе эти бреши и провалы в знаниях. Мы забываем... Но хуже то, что никак не утолишь эту жажду, как ни глотай всевозможные книги, какие случай сунет тебе в руки; знаешь, что ничего не знаешь, а то, что знаешь, до смешного незначительно и лишено всякой системы. Как-то заглянул я к Пишкоту через плечо. Комедия! Читал он какую-то затрепанную брошюрку об оккультных тайнах. «Зачем это тебе?» — Пишкот захлопнул книжицу, поспешно сунул в сумку. «Да так... интересно узнать. А вдруг в этом что-то есть?»

Милан молчит и, кажется, старается избегать меня — мы обмениваемся общепринятыми словами, только когда это необходимо. Сам он больше не подходит ко мне, не утаскивает в какой-нибудь уголок, чтоб сцепиться в яростном споре. Не могу утверждать, чтобы так уж мне не хватало его разговоров, совсем другие вещи сейчас интересуют меня гораздо больше, чем классовая борьба и авангардизм в живописи, вот в чем дело!

Она — и я! Звучит прекрасно и до отчаяния недосказанно.

Мы сидим на перевернутом ящике под металлическими жабрами отопления, жуем сырой хлеб с повидлом; от него жжет небо. Я предлагаю Бланке желудевой бурды из термоса, она отпивает без жеманства, причмокивает губами, хвалит:

— По крайней мере горячее и сладкое...

Мы бродим по неуютному двору между корпусами; грязь и пыль, обрезки дюрала, ржавые рельсы, сгнившие доски, тяжелый смрад из сушилок, множество пробегающих в разные стороны людей. Ветер старается сбить нас с ног, мы молчим или разговариваем о самом разном.

— Вы читали переводы Чапека из новой французской поэзии?

Бланка кивает головой и начинает читать:

— «С небосклона лениво, лентяй, проливается проливень, падает па воду, падает в воду вода...»

Прикрыв веки, Бланка играет словами, смакует их звук, их окраску, а я сейчас же отвечаю. Вы знаете это? Вы это читали? «Озарения» Рембо, Верлен, «Золотая любовь» Корбьера, и Галас, и Гора — па грязном дворе, под крыльями истребителей, в проулках, где тянет сквозняк, на кучах светящихся шпон, они звучат здесь непривычно, эти слова из другого мира, маленьки оргии красоты, на которых мы торествуем и признаемся в постоянных и мимолетных привязанностях, а вокруг нас — грубость, и брань, и вонь, а в нас — усталость от постоянного недосыпания.

С немым восхищением слышу, как она дорисовывает для себя книжных героев.

— Нет, а мне совсем не жалко мадам Бовари, — в жаром убеждает меня Бланка, — она много и не заслуживает!

А что мне до этой Бовари? — думаю я. — Я хочу знать и понимать тебя! Впрочем, категоричность ее суждений немного сбивает меня с толку и потому вызывает протест. Как может она быть такой уверенной? Бланка будто сделана из цельного куска, и в этом, по-моему, она полная противоположность мне. Просто она существует — я же сам себе иной раз кажусь нереальным. И я совсем не знаю себя. Тем лучше! Но я слежу за тем, чтоб не ставить дурацких вопросительных знаков в конце моих фраз, и так мы разговариваем обо всем, а о себе говорить избегаем, и если порой все же коснемся чего-то более личного, то это лишь мелкие зонды в сыпучую почву.

— Кем вы хотите быть, когда все кончится?

Она не шевельнулась, только губы чуть-чуть приоткрылись.

— Я скажу вам, хотя и рискую, что вы про себя посмеетесь. Я хочу играть в театре.

Но я вовсе не стал смеяться и несколько не был удивлен.

— Что же тут смешного?

— Ничего. Теперь всем хочется чего-нибудь в этом роде. А вам разве не хочется? Спорить могу, теперь всюду полно будущих деятелей искусства. Стихи пишут наперебой — ну, это как-то подходит к ситуации. Но кто же будет делать столы или печь булки?

Я промолчал, ее трезвость остудила меня. Бланка откинула голову, прислонилась к грубой стене и опять закрыла глаза.

— Вы, наверно, думаете, что я ужасно трезвая и педантичная, правда? Но я вовсе не такая. Просто мне ничего другого не остается.

— Это из-за вашего... — с хитрой деликатностью предположил я.

— Не только из-за него, — с оттенком усталости тихо возразила она. — Не спрашивайте почему. Все это слишком... — Но тут же она слабо улыбнулась, стряхивая что-то с себя. — А вообще-то... Мне хватает сценической площадки между моей тахтой и окном. У меня замечательное зеркало. Посмотрели бы вы, какая я гениальная, Сара Бернар в подметки мне не годится, я плачу, смеюсь, вместе с Джульеттой выпиваю яд, и публика от восторга падает в обморок. Вы еще не слышали таких оваций. А теперь я начала репетировать Антигону — страшно тяжело. Безумие Манон — пройденный этап. Вам очень весело? — вырвала она меня из задумчивости. — Посмейте только жалеть меня!

— И не подумаю. — Я с наигранной нечаянностью положил ладонь ей на руку; она не отняла руки, но и не отозвалась на прикосновение. Мне почудилось, что в этой озябшей, огрубевшей от заклепок ладошке нет жизни. — Но хотел бы я стать единственным зрителем...

— Ни за что. Я умру от стыда.

— Гм... А вы могли бы себе представить, что не будете играть?

Она разом открыла глаза, отвела со лба волосы.

— Конечно, не могу. Ну и что же? Я и другие вещи не могу себе представить, куда более важные.

Не знаю, может, ей уже кажется подозрительным, что она натывается на меня всюду, куда бы ни пошла. Я стал необыкновенно изобретательным — с ворчливого согласия Мелихара, который тем самым все чаще обрекается на бездеятельное ожидание. Вероятно, я злоупотребляю его терпением.

На прошлой неделе возвращалась она ночью из амбулатории и, столкнувшись со мной в темноте у входа в фюзеляжный цех, ойкнула от испуга. Я поскорее заговорил, чтоб она узнала меня, успокоилась.

На руке ее что-то белело.

— А вы, часом, не вездесущи? — спросила она.

— Нет. К сожалению... Стою вот тут, зубами клацаю. Что с вами?

Моя заботливость, наверно, тронула ее, она улыбнулась, показала забинтованный палец.

— Мне даже не дали освобождения... Прищемила клещами палец. На профессиональном жаргоне это, кажется, называется «раздавить клопа», да? А вдруг я от этого умру...

— Ох, не надо! — почти умоляюще воскликнул я.

Она стояла передо мной и казалась мне очень маленькой и беззащитной, сдавленной со всех сторон ночью — просто силуэт на черном занавесе, с более светлыми пятнами лица и забинтованного пальца; в складках платья она принесла из амбулатории слабый запах нарболки. Ох! Помню, эти несколько напряженных секунд я отчаянно боролся с желанием коснуться ее, взять ее за плечи, прижать к себе, но кто-то хрипло занашлял поблизости, и все пропало.

Я опустил руки и дал ей пройти.

Она не двигалась; подняла на меня глаза.

— Вы хороший, правда? — услышал я ее, будто была она далеко-далеко.

— Нет... не думаю. Да, верно, и не хочу быть хорошим.

— Ну, пошли, — вздрогнув от холода, сказала она. — Еще на-сморг схватите, а я буду виновата.

Все эти мимолетные встречи кончаются столь внезапно, и все мои хитроумно-осторожные попытки встретиться с ней где-нибудь в другом месте, не в этом унылом муравейнике, где мы рта не могли раскрыть, чтоб нам не помешали, теряются в смущенной пустоте. «Вы видели «Лилиофе»?» — «Да». — «А «Пиранделло»?» — «Тоже. Замечательный спектакль...» — «Гм... А по вечерам вам не бывает грустно?» — «Иногда да, но... у меня много работы». — «А что же вы делаете?» — «Читаю, занимаюсь, стираю себе кое-что, не успеваю штопать чулки — обычные скучные дела». — «Гм...» И слова, так заботливо подготовленные, замирают у меня на губах. Отчего? Я уже знаю даже этот обыкновенный дом на узкой Виноградской улице и мансардное окно, слепое от затемнения — одно, второе — третье справа; не бывает, чтоб я прошел мимо, не подняв к нему глаз. Тогда в голове роятся вопросы. Ты дома? Спишь? Кто ты сейчас — Джульетта; Антигона или... — испуганно вздрагивает что-то во мне — или кто-то сидит у тебя сейчас, гладит по голове, целует светлый веер волосиков меж бровей... Нет, нет! Однако почему же нет? Стараюсь понять, неужели мужская ревность всегда так неотвязно-телесна — не абстрактная идея ревности, но кожа, руки, вздохи... довольно! Право на ревность должна дать тебе она сама. Дурень! Она не должна узнать, что ты подстерегал ее на безмолвной лестнице, торчал с поднятым воротником у ее дверей, долгими часами дрожал под дождем и ветром у фонаря на углу. Ожидание всегда пропитано тоской, а вдвойне — для того, кто уходит с ворохом сомнений. Была она дома или нет? И неужели все всегда будет так до отчаяния повторяться? Трамвай доползает до Музея, скрипят тормоза на остановке, она с рассеянной поспешностью подает тебе руку и выходит. До чего бессмысленно тянется день за днем, ничего не меняется, ничего не происходит...

И вот однажды случилось. Кажется. Не знаю. Это было вчера, в ночную смену. У меня дрожит рука, когда я пытаюсь коснуться словами той минуты. Какое бессилие: уловить неуловимое! Да что улавливать! Тишину, шипение калориферов, благоуханную тьму, предчувствие чего-то надвигающегося, страх и трепетное дуновение надежды и бог весть что еще — я лежу рядом с ней, ощущаю ее всем телом, тепло ее кожи, ее дыхание. Мне уже знаком ее милый запах, только я не умею назвать его; когда она спит, она всегда как-то ближе мне, роднее. Я каменею от усилия не шевелиться, уже не чувствую правое плечо, на котором покоится ее голова...

— Который час?

Смотрю на фосфоресцирующий циферблат:

— Три... Спите еще.

После полуночи цех — как покинутое поле боя, по которому бесцельно слоняются остатки разгромленной армии: лица, бледные от усталости, облитые ядовитым светом; холодно; порой где-нибудь взрвет пневматический молоток; рабочие собрались кучками — судачат, спекулируют сигаретами, зевают, зябко дрожат от желания спать. Полным ходом идет подпольное производство, программа пестра: электроплитки, детские коляски, детские игрушки — бабочки на колесах, махающие крыльями при движении, и все — из ворованного дюрала. Мелихар даже сварганил аппарат для домашней перегонки спирта. Мастера на все закрывают глаза, а веркшущи храпят в караулке, разинув рты, похожие на чудовищных рыб; почти исключена опасность, чтобы кто-нибудь из ревнителй порядка пустился в обход. Всюду натыкаешься на спящих: в гардеробах, в фюзеляжах будущих истребителей, под верстаками, во всех пустых ящиках, в клозетах для служащих; люди спят сидя, свернувшись в клубок, опустив голову на колени, это не сон, это беспокойное и неглубокое забытье, а время плетется обезножившим псом...

Сталкиваюсь с Бланкой в темном коридоре возле конторы. Она пытается улыбнуться — хотя бы одними глазами.

— Что с вами?

Она, не останавливаясь, зевает:

— Ничего. А что?

— Ваш вид мне не нравится.

Вздохнула:

— И что вы все за мной следите? — Но сейчас же, будто раскаиваясь в излишней резкости, остановилась, объяснила: — Есть хочу! И мне ужасно холодно. А спать хочется — хоть реви! И потом сегодня я... нездорова. Простыла, наверное, и теперь болит. Ах, вам, мужчинам, не понять!

Ее откровенность растопила что-то во мне. Я нашарил в своем портфеле огрызок засохшего пряника, и она, не колеблясь, сжевала его с аппетитом белки, и крошки смахнула с губ.

Я подметил, что в последнее время часа в два ночи Жаба исчезает из своего логова; может быть, и он ходит куда-то дрыхнуть... Попытаться? Малярка, соседний с нашим цех, это чрево, набитое темнотой и ацетоновой вонью, скупо освещенное одной красной лампочкой, ночью пустует. Шаги отдаются здесь как в безлюдном храме. Сюда можно незаметно проскользнуть через дверку из нашего цеха. На плоской цементной крыше будки мастера, в непосредственной близости от остывающих труб отопления, я устроил себе удобное ложе: натаскал мешков, которые Леош украл для меня на складе, и на этих мешках блаженно проспал уже немало ночных часов; там никто не мог меня найти.

Бланка сначала заколебалась, потом кивнула. Я незаметно подал ей знак от дверей. Давай, на цыпочках! А вот и железная лесенка, двенадцать ступенек. Я полез первым. В темноте нащупал ее озябшую руку, подтянул к себе на плоскую крышу. Третий здесь не поместился

бы. Я слышал, как она взволнованно дышит; перевалилась на мешки рядом со мной, руками ощупала темноту вокруг себя, коснулась случайно моих губ, быстро отдернула руку. Глаза стали привыкать к мраку — лампочка внизу давала красноватый отсвет, — и я уже мог разглядеть очертания лица и плеч Бланки. В меня проникло легкое волнение. Бланка свернулась клубочком, подтянула колени к животу. Наверно, ей больно... Мне хотелось ее погладить, но я подавил искушение. Трубы за нашими головами дышали теплом.

— Хватает ли мешков в рай? — шепнула она совсем близко, на ухо. — А может, там провели уже центральное отопление...

— Пожалуй, там не так воняет ацетоном. Ну, как вам?

— Чудесно... Когда я была маленькая, всегда влезала в кровать к отцу — погреться... А вы?

— Я — нет, — отстраняюще ответил я.

Стащил с себя свитер, подложил ей под голову. Она зарылась в него лицом, зевнула.

— Ну вот, а Жаба пусть хоть с ног сбивается! Ах, как греет свитер... И пахнет вами.

— Скорее потом. Или заводом, поездом, а не то — столовской луковой похлебкой. Попробуйте уснуть.

— А вы?

— Я усну даже стоя. Если кто пройдет внизу — ни гугу!

Она беззвучно улыбнулась, прошептала уже наполовину во сне:

— А вдруг я не усну без сказки? Ну, хоть одну, коротенькую...

Сон сразу сдул слова с ее губ — и наступило непередаваемое: растроганный, в трепете, как бы не помешать ей, лежал я рядом на самом краю, сторожил ее дыхание; я чувствовал ее каждым нервом. То и дело проваливаясь в короткий зверино чуткий сон, я не переставал воспринимать окружающий мир; вдали шумел наш цех, в остывающих трубах что-то странно щелкало — вероятно, есть свой голос и у тепла. И шаги: они приближались, удалялись, кружили — нет, я знал, это галлюцинирует напряженный слух. Что будет, если нас накроют? Тягостная привычка представлять себе все как на сцене: караулка, лампа, стол, рожи — и сонная харя Каутце, он говорит с удовольствием: «Ишь, голубочки, нашли себе гнездышко, гут...» Грубые взгляды нагло ощупывают Бланку: «Хороша кобылка! Что будем делать, золотце? Тут попахивает тюрьмой, там у вас отобьют охоту... У нас военный завод, а не бардачок для таких куропаточек!» Хватит! Стискиваю зубы: нет, ничего, тишина, и в ней торопливый бег моих часов. Но что это?

Ее голос: неразборчивое бормотание. Спорит с кем-то во сне... Потом дернулась резко, а когда я склонился над ней, увидел, что она широко открытыми глазами уставилась в темноту.

— Дурной сон приснился?

Она не ответила, но я мог поклясться, что расслышал тихое рыдание. Не знаю, что в этот миг побудило меня обнять ее за плечи и изо всей силы прижать к себе. Она и не думала сопротивляться, даже мне показалось — сама испуганно прильнула ко мне.

И тут я действительно услышал шаги! До ужаса реальные! Кто-то не спеша приближался от ворот, выходящих во двор, подковки цокали о цементный пол цеха, отдаваясь гулким эхом.

Я положил ей ладонь на губы — тсс, не шевелитесь! Поднял голову, и от страха у меня сжались внутренности. Высокие голенища сапог — это мог быть только веркшуц. Он явно не торопился, я услышал тихое посвистывание; луч света от его фонаря пронзал темноту, настороженно обегал углы, скользил по серебристым туловищам самолетов, по крыльям — и вдруг вспрыгнул вверх, побежал по трубам над нами.

Я едва успел пригнуть голову.

Страшный миг! Он длился невероятно долго — часы, годы, — а я сжимал Бланку и чувствовал ее лихорадочную дрожь. Да уходи же ты, а то она не выдержит, закричит от страха...

Наконец-то! Веркшуц пошел прочь, слабо скрипнула дверка в фюзеляжный цех, и снова наступила тишина. Я вслушивался в нее; тело блаженно освобождалось от напряжения; я заметил, как из одного фюзеляжа вылезла темная фигура, неслышно побрела вон. Видно, не одни мы устроились спать здесь... Я перевел дух.

— Все в порядке.

Никакого ответа. Она молчала, только мелко тряслась, упав лицом на свитер.

— Пойдем отсюда! — заплакала она. — Вдруг нас найдут... Я не выдержу... Все равно теперь не уснуть...

Как понять это? Как объяснить, что именно теперь, когда напряжение еще не отпустило нас как следует, она стала говорить мне «ты»? Во мне блеснула радость, но сейчас же уступила место иным ощущениям.

— Что с тобой, Бланка? Ничего ведь не случилось...

— Случилось... — зашептала темнота рядом со мной. — Не теперь... Ты ничего не знаешь. Но я так одинока...

— Нет! — Я сдавил эти беззащитные плечи, слегка встряхнул ее, чтоб привести в чувство. — Ты не одинока! Не говори этого, потому что... ведь я с тобой! Ты уже не одна...

Она хотела закрыть мне ладонью рот, я упрямо отклонился.

— Неужели ты так слепа? — говорил я ей близко, в самое лицо. — Но почему? Почему ты борешься? Не понимаю я этого... Разве ты не видишь, я хочу быть с тобой всегда, я бы... Я тоже был одинок, а теперь нашел тебя и не отпущу, не могу... Дай мне договорить, я должен тебе это сказать... Почему мы не встречаемся в другом месте, почему... ты не хочешь?

— Потому, что не хочу любить тебя. Понимаешь теперь? Не хочу! Не хочу!

Это было как внезапный удар, он вышиб из меня остальные слова; я растерянно отпустил ее. Я ничего не понимал. Только ощущал какой-то горьковатый привкус. Нет! Я стиснул зубы и молчал. Бланка, наверное, почувствовала, как больно задела меня ее слова — в темноте коснулась пальцами моих губ.

Я не шевельнулся. Ну что еще? Понял теперь?

— Не могу я, — услышал я ее шепот. — Даже если б хотела — не могу! Обещай, что перестанешь расспрашивать меня, обещай — я не хочу лгать. Тогда нам пришлось бы расстаться. Нет, не думай, я никого другого не люблю, нет, но ведь война... Ничего я не могу тебе дать. Поверь мне! Потому и не хочу, чтобы ты... не надо этого!

Я не верил собственным ушам, я был ошеломлен тем, что вырвалось у нее. Смятение в голове. Безумное, неопишное. Вихрь противоборствующих чувств. Что она говорит? Почему? Вопросы каркали в моей душе, как стая погребальных воронов. Кто ты? Истеричка, разыгрывающая между своей тахтой и окном актрису и сейчас испытывающая на мне свой талант, или... Нет, прости, я знаю, я несправедлив, я это чувствую, потому что в тех обрывках фраз, которые проглотила красноватая тьма, было что-то страшное, леденяще реальное.

— Слишком поздно... — вымолвил я в смятении.

Вот тогда-то и случилось: руки ее обвились вокруг моей шеи, она прижала мое лицо к своему, и было в этом какое-то благородное мужество, и непокорство, и мгновенное забытие — не могу сказать точнее, потому что не совсем тогда владел своими чувствами, и потом мне казалось, что мы падаем друг в друга, и я ощущал, как она прильнула ко мне и замерла в упрямом, бездыханном объятии, будто хотела спрятаться во мне. А потом уж совсем ничего не было — мир растекся, далеко где-то погромыхивала война и умирали люди, а здесь была она одна, та, недоступная и близкая, та, из утреннего поезда, и вся она нежно предавалась мне. Я коснулся губами ее глаз и почувствовал слезы. Нет, она не лжет!

— Ни о чем больше не буду спрашивать, — сказал я. — Обещаю тебе!

Вот, собственно, и все, потому что тотчас после этого мы очнулись...

XI

...шум кафе приблизился, выплеснул Гонзу в ранний вечер. Все было знакомо: лица, звяканье посуды, щиплющая сладость сахара на языке. Он положил карандаш, пошевелил занемевшими пальцами. Куда теперь? Домой? А где этот дом? Вечером явится этот чурбан в железнодорожной форме, вывалит свои лапы на клеенку стола и будет ждать. С терпением животного. И жрать. Чавкать. А вдруг — у него ведь волчий аппетит! — вонзят зубы в буфет, сожрет матрасы, обгложет фуксию в кадке? Ну его к черту! И его и мать...

В восьмом часу увидел Эвжена — тот пробирался к нему между столиками, издали махая рукой. Не успел Гонза засунуть исписанные листки в портфель, как Эвжен уже плюхнулся на стул и дал словесный залп.

— Здорово! Что, опять бумагу марашь? С официантом рассчитался?

— Нет, — без всякого энтузиазма ответил Гонза. — Да мне что-то не хочется уходить. Утром встаю, еще пяти нет...

— Не валяй дурака! На хазе сошлась теплая компания, в банке сорок косых, а я ушел за тобой!

Отговорки были напрасны. Гонза положил несколько монет возле кофейничка с остывшей жидкостью загадочного вкуса и встал.

Они зашагали к остановке трамвая; Эвжен по своему обыкновению болтал без умолку.

— Сакарж приволок одну ворону — деревенского мясника, тугую мошну. Поставили против него две косых, и спекулянтишка чуть не лопнул... Думал, что ему в дурачки играть на ярмарке, не понял, что попал в лапы к мастерам...

Гонза порой спрашивал себя, зачем он встречается с этим Эвженом. Не друг, даже не приятель — в лучшем случае один из сотен случайных знакомых, которых даже и не стремишься узнать поближе. Он относился к Эвжену с некоторой насмешливой сдержанностью, но того это ничуть не смущало — кроме сплетен собственного изобретения, Эвжен вряд ли на что обращает внимание. В первом классе Эвжен был из числа богатеньких, носил бархатные костюмчики с белым воротничком, и в школу его водила за ручку горничная. Когда Гонза столкнулся с ним на улице, то вышла отнюдь не волнующая встреча с одноклассником, после нескольких незначительных воспоминаний разговоривать стало не о чем. Приве-ет! Помнишь старого Клепала? А что Чейка? Ты знаешь, Янечек погиб в Гамбурге? Серьезно? Бедняга! Оказалось, что Эвжену удалось отвертеться от тотальной мобилизации: «Нервы, понимаешь? Меня сам Гитлер психом признал!» — и что он проводит дни и ночи по кафе и подпольным игорным притонам, где следит за игрой в покер через плечи профессиональных картежников. Он знал все финты и способы блефовать, но довольствовался ролью усердного прислужника покерных богов. Он с готовностью стоял на шухере или добывал для своих фаворитов на «черном рынке» сигареты, конечно за фантастические деньги. Он стал любимым и неприятельным шутком самых странных сборищ, сходящихся в задних комнатах; он метался как полоумный по голодному черному городу, от нетопленных кафе к квартирам и обратно...

Стоя на площадке трамвая, Гонза с наигранной серьезностью перебил болтовню Эвжена:

— Как подвигается твоя книга?

Эвжен захлопал глазами, шмыгнул носом.

— Двигается! — сказал он с горделивой решительностью. — Есть новый улов. Ты слышал, как Бонзо отделал того старикана из общественной уборной? Просто блеск...

Эвжен говорил всем, что пишет большую книгу об анекдотических случаях, которая увидит свет только после войны, и даже показал Гонзе некоторые свои записи. Определение, философия и история анекдотов... Мы различаем их по месту действия: в кафе, на улице, в кино, на вокзале... По объектам: полицейские, трамвайные, политические... и так далее.

Однако подлинной причиной более или менее приятельских отноше-

ний Гонзы с Эвженом было то, что именно Эвжен ввел его к братьям Коблиц.

— Вуди раздобыл новые пластинки. Услышишь — оближешься! — болтал Эвжен, когда они поднимались по крутой улочке к виллам на Смиховском холме. — Просто сенсация...

Вторая, третья, четвертая вилла — и они у цели. Эвжен брел впереди, спотыкаясь на неровной дорожке, ведущей к подъезду. Сверху приглушенно донесся свист, потом визг саксофона, соло на ударных инструментах; улучив минутку тишины, позвонили три раза — условный сигнал.

Идти надо было через гараж; из гаража узкая, крутая лестница вела через сырое помещение прачечной в холл просторнойвиллы. Сюда! Они поднимались впотьмах, держась за стены, а высокий резкий голос саксофона становился все слышнее — он как бы выклевывался из дома.

На бельэтаже, как всегда, их встречали изумрудные огоньки — вилла служила приютом множеству кошек. Атмосфера рассказов Эдгара По... Эвжен чиркнул спичкой — мягкие кошачьи лапки поспешно прошелестели по лестнице на чердак.

У Гонзы всегда было ощущение, что он так и не сделался вполне посвященным участником этих возвышенных мистерий. Светящаяся панель радиолы, как алтарь, приковывала глаза и уши собравшихся; лица, освещенные мертвенным светом глазка, были сосредоточенно задумчивы. Обладатели их сидели на всем, на чем только можно было сидеть в этой комнатке, оцепеневшие, словно в трансе, лишь ноги у некоторых тодергивались в ритм джазовых мелодий, переливавшихся в накуреном пространстве.

Гонза обычно сидел в сторонке и только слушал, он был слушатель-дилетант. И все же эта музыка, ее совершенно особенная, назойливая чувственность все больше овладевала им. Ему казалось, что ее можно воспринимать телом, кожей, нервами; это было как легкое опьянение, как приятное кружение головы, все как-то упрощалось, в крикливой красочности было что-то экзотическое и в то же время близкое, дурманящее и откровенное, безумное и неистовое — в этой музыке звучало разнузданное веселье танцулек, но оно сменялось печалью, глубокой, обнаженно-человеческой: слушай! Мелодия блюза обволакивает нежной тоской, но вот темой завладел кларнет, развивает ее в монотонно-дурманящем ритме, круто вскидывает в высоту, к самому солнцу — и там, надломившись в невыносимо мучительной жалобе, падает в индигово-синюю гладь... Игла зашипела на пустой бороздке, щелчок возвратил к действительности, но лишь на миг. Гонза следит, как пальцы верховного жреца — длинные, дрожащие — с любовной осторожностью переворачивают пластинку и возлагают ее на диск радиолы, как реликвию; такая обрядность все-таки немного смешна. Приглушенно, причудливо взвизгнула труба, потом лягушачье кваканье трэмбона, и кто-то запел голосом, в котором глубокая безнадежность и зной, и

новый вихрь чувств: печаль, тревога, сила, тоска по чему-то. Гонза впустил в этот мир и ее. За что меня мучаешь? — спрашивал он ее с горьким упреком. В этом новом мире он склонялся над нею, касался лица и любил ее всем, что было он сам, и оба витали где-то далеко от самих себя, только мир этот все еще не обрел очертаний и формы, это просто был другой мир, не тот, который он знал до сих пор. Но впереди — неизвестность. И снова давящее прикосновение страха: откуда он вынырнул во мне? Страх, что можно потерять ее в этом диком бедламе, в том, что настанет, что должно настать, что с каждым днем приближается со всех сторон вместе с грохотом фронтов, что вымолено каждым вдохом: мир на том берегу, куда люди заранее перебросили все свои мечты и представления о жизни, и смысл жизни, и веру в то, что это будет уже не смердящее «временное», а «наконец-то» и «окончательно». Но только, наверно, придется пронести узел своих трепетных ощущений, и страхов, и голой жизни через буреломы и буераки, где пахнет тленом и смертью, пронести их через страшно тесные родильные ворота, и, может быть... Но нет, пусть, тысячу раз пусть нахлынет все это, с судорогами и кровью, с криком облегчения в конце.

— Обратите внимание на альт-саксофон, — пробормотал Вуди Коблиц, извлеченная новую пластинку из альбома. Он обвел присутствующих строгим взглядом. — Кому не нравится, скатертью дорога. Это и к тебе относится, Либор! — одернул он своего брата.

Вуди Коблиц говорил строгим, брюзжащим тоном. Смешно выговаривая иностранную фамилию, он назвал музыканта и переменял иглу.

— Вряд ли это он, — возразил из темноты человек, развалившийся на тахте. — Он никогда не играл с Эллингтоном...

— Чепуха! Судя по дате записи...

Завязался краткий, но бурный спор между двумя специалистами; по горячности стычки непосвященный решил бы, что тут столкнулись два мировоззрения: так и сыпались профессиональные термины, даты, названия произведений. Большинство слушало с недовольным удивлением. Вуди, владелец одной из самых богатых грампотек, чуть ли не со слезами ярости отстаивал свою репутацию.

— Нет, ты слушай, слушай, Боб! — хрипел он, колотя себя кулачками по выпирающим коленкам.

Когда зазвучала сольная партия саксофона, он с видом торжества обернулся к тахте. Настоящий карлик! Его тело выросло как-то нелогично — выступающая грудная клетка, маленькая головка будто с силой воткнута меж плеч. Что-то обезьянье было в озабоченном взгляде его глазок под сморщенным лбом и в паукообразных руках, свисавших как плети по бокам компактного свертка-туловища.

Гонза смотрел на него с инстинктивным отвращением, смешанным с состраданием, несвободным от известной доли симпатии, потому что Вуди фанатически любил эту музыку. Правда, сам он никогда не мог понять, не больше ли в этом чувстве страсти коллекционера. Его вечный оппонент Боб, прекрасный кларнетист, говорил за его спиной, что Вуди разбирается в музыке как свинья в апельсинах и скрывает свое

дилетантство словами, услышанными у других. Ну и что же? Вуди носился со своей коллекцией, бережно хранил уникалы, доставшиеся ему ценой невероятных денежных жертв, ибо после начала войныистики, где добываются оригинальные пластинки, безнадежно пересохли. Но он обменивал пластинки на тайной бирже, шатался по аукционам, откликался на объявления в газетах и ликовал по поводу каждого улова. Коллекции пластинок Эллингтона, Фатс Уоллера, Кинг Оливера, «Хот фэйф» Армстронга, классические номера нью-орлеанских оркестров, произведения, ансамбли, исполнители — Вуди носил в голове сотни звучных имен и выговаривал их с ужасным акцентом, но с преданностью влюбленного, бескомпромиссно и пуритански непримиримый к танцевальной музыке и шлагерам. Казалось, весь смысл его существования — в двух шкафах, набитых альбомами пластинок, и всякий, кто восторгался ими, был ему как брат родной. «Приходи, когда хочешь, — говорил Вуди Гонзе и, обвинив его плечи руками-плетями, благоговейно подводил к радиоле, как к алтарю. — Фантастическая вещь, — бормотал он, — «Гарлем Хот Шорт!» Слышал? Я получил ее в обмен на одного испорченного «Кэллоуэя».

Страсть делала Вуди более интересным и привлекательным из двух братьев Коблиц. Годом старший, Либор, неудавшийся студент, был всего лишь красавец с явным налетом пижонства. Он утомлял всех самоуверенностью соблазнителя, который не отказывает себе в удовольствии похвалиться постельными триумфами. Казалось, он вознамерился восполнить неполноценность своего брата и мастерски разыгрывал милое недоумение, когда какая-нибудь из его избранниц принимала его ухаживанья без восторга.

— Либор грызет новую «кость», — говорили вокруг. — Лакомый кусочек, господа!

Эта «кость» сидела тут же на ручке кресла, и звали ее Кай; молодость, красота и глупость соединялись в ней в редкой гармонии. В Либора она была влюблена с собачьей преданностью, а грубость, с какой он к ней относился, еще больше разжигала ее страсть: видимо, Кай принимала эту грубость за проявление небывалой мужественности. Известно было, что отец Кай имеет несколько кафе в центре города и что она с необычайной готовностью опустошает его кошелек для своего очаровательного любовника.

— Если не принесет презренного металла, — решительно заявил Либор еще до ее прихода, — пусть катится, откуда пришла. Представляете, сколько нынче требуют за бутылку самого паршивого красного?

Всем было ясно, что Либор не бросает слов на ветер. Он категорически опровергал малейшее подозрение, будто его связывает с Кай какое-либо чувство. «Она мне как икота. Меня физически раздражает ее прозрачная глупость». Это он доказал однажды во время попойки, случившейся как-то в поздние часы. Гонзы там не было, но об этом говорили как о деле, от которого у самых толстокожих голова кругом пойдет. Либор заставил пьяную Кай лечь при всех на стол и обнажить живот. Погасили лампы, и при томном свете двух свечей на теплой девичьей коже сыграли партию в покер. Либор питал пристрастие

к экстравагантным сценам. Они разыгрывались порой в поздние часы, когда оставались одни посвященные, причем Либор был не только инициатором и режиссером стриптизов, но и главным исполнителем.

Гонза следил за ним из угла полутемной комнаты с интересом, с каким мы следим за яркой мухой, летающей над навозом.

Оба брата были бездельниками по убеждению, оба мастерски уклонялись от мобилизации и отдавались исключительно своим прихотям. На вопрос, чем они занимаются, Либор отвечал с откровенностью, которую находил, очевидно, остроумной: «Молимся за здоровье господ родителей. Как только старички закроют очи — мы помрем с голоду». Он говорил это совершенно серьезно. Война, несмотря на самые различные ограничения, не портила им настроения, не интересовала их, не касалась их. Они жили исключительно сегодняшним днем и только для себя. Стены их комнаты были оклеены этикетками коньячных бутылок, и в этих стенах можно было устраивать по ночам совершенно непристойные оргии. Пока есть что пить и есть, пока отец здоров и полон трудовой бодрости!.. Видно было, что главную роль в семье играли господа сыновья — явление довольно курьезное, и Гонза тщетно ломал себе над этим голову. Старый Коблиц, инженер на одном из крупных заводов, и жена его держались в стороне, чтоб не мешать. Милые детки, Вуди и Либор! Ни разу родители, до безумия обожающие своих отпрысков, не попытались вмешаться — даже если поздней ночью вечеринка превращалась в пьянку, и звенело стекло, и визжали девчонки. Гонза представлял себе этих престарелых супругов как этаких современных Филемона и Бавкиду, сидят, поди, скромненько у себя на кухне, залепив уши воском, и нежно глядят друг другу в глаза, сладостно изумляясь успехам детей, рожденных от их честного супружества. Гонза страдал, испытывая за них глупое чувство унижения.

И зачем я туда хожу? — думал обычно Гонза, возвращаясь домой по пустынным улицам, голодный, одуревший от усталости и вина, которое желудок отказывался принимать; в перспективе было пробуждение в холодной кухне, а потом трамвай, завод и неясное ощущение грязи и виноватости, которое он всегда уносил из дома Коблицев. Но откуда это ощущение? Разве я моралист? Ну и что ж, что я туда хожу и слушаю их болтовню, что ж, что я надрался? И кому я так уж нужен, чтобы упрекать меня? Я и сам могу упрекнуть! Только вот кого? Жизнь? Слишком отвлеченно. Время? Войну? Людей? Фашиг? Гитлера? Кого же? Ни перед кем я ни за что не в ответе, никому я ничего не должен, и важно мне теперь в жизни только одно: Бланка!

И вообще в часы, когда к матери является ее гость, мне просто неохота шататься по уютным кафе. У Коблицев по крайней мере топят, там музыка, какую нынче не везде услышишь, и там люди... Можно сколько угодно воротить нос от этой пестрой компании — такую собрать воедино могло, пожалуй, только наше сумасшедшее время, но ведь нельзя отрицать: у них не скучно. Всякий раз какие-то новые, незнакомые лица — может быть, как и его самого, их занесло сюда случайно, а может быть, тут есть какая-то неясная Гонзе система. Одни приходили часто — это было ядро компании, другие появлялись

но одному разу. Обычно собиралось не более десяти-двенадцати человек: адепт какого-нибудь искусства, два-три поклонника сюрреализма, всезнайки, снобы и бездельники, девицы с непонятными интересами, пижоны обоего пола, анекдотщики, мистики, молодые невротики. Играющие на джазовых инструментах были люди серьезные и приличные, поглощенные своей музыкой и собственными импровизациями, — здесь даже составилась неплохой квинтет во главе с кларнетистом Бобом. А еще приходили какие-то незаметные существа, желательные декаденты и нежелательные тупицы, и рядом с ними — люди, на первый взгляд интеллигентные — они молча и стыдливо убирались восвояси еще до того, как старший Коблиц брал инициативу в свои руки; ходил сюда полоумный Эвжен и ему подобные, ходила Кай и ей подобные девушки с ангельски-невинными глазами, и некая Магда, эксгибиционистка и эротоманка, заявлявшая, что не может уснуть, если с кем-нибудь не переспит. Она внушала страх. И печаль. Временами появлялись любимцы компании — парочка педерастов, некий Маржинка и с ним юноша с нежным девичьим лицом и по-женски плавными движениями. Их звали Гита и Батул. Они были очень утонченны, учтивы и совершенно поглощены друг другом, ибо любовь их только расцветала. Они нежно держались за руки, словно влюбленные в кино. Гита держался мужественно-внимательно и покровительственно, Батул, по-женски преданный ему, — немного капризно и ревниво. «Ты кашляешь, золотко, — озабоченно сюсюкал Гита в своей неподражаемой манере, — тебе надо в постельку, и выпьешь отвару с аспирином, у тебя ведь слабые легкие...»

Иногда в компании толковали об искусстве; двое потрепанных псевдобогемных молодчиков свирепо спорили, эротичен ли Пикассо; третий пугал всех, вещая, что-де искусство умерло.

Это возвышенное пустословие поначалу сбивало Гонзу с толку. Сам он редко участвовал в разговорах, поскольку был достаточно чужд всем этим потребителям джазовой музыки, которые только терпели его.

Зато он мог внимательно, со стороны, наблюдать физиономии, которые его интересовали.

Например, Боб: щуплый молодой человек, правильное, всегда немного мечтательное лицо с печатью пресыщенности. Он больше играл, чем говорил, — он говорил своим инструментом. Казалось, Боб презирает обоих Коблицев, и неясно было, что ему тут нужно. Быть может, он просто искал возможность поиграть. Простучав ритм ногой, он проигрывал мотив «Олд Вирджини», и тут же его подхватывали контрабас, гитара, барабан и пианино; играли хорошо, охотно. Вуди не навидел Боба бессильной ненавистью дилетанта и втайне восхищался им. Если квинтет не собирался, Боб сидел на тахте и тихонько наигрывал в полумраке, поглощенный своими яркими вариациями известных «Инспирэйшн», «Моод индигс», песенок из репертуара Гудмэна. Как-то вечером — это было прошедшим мартом — Боб, после обычной их позывной «Чайна таун», вдруг заиграл какой-то непривычный и в то же время страшно знакомый мотив... Остальные музыканты не сразу

опомнились от удивления и смущенно подстроились к кларнету. Да ведь это же «Где родина моя!»* Школьные парты, детство, но в ритме джаза! Боб как бы смаковал мелодию, импровизируя сложные и страстные вариации; это было сумасшедше, не очень уместно, но трогательно. Быть может, таким образом он воздавал дань уважения запрещенному гимну. Он оборвал разом, с обычным невозмутимым видом, и, прежде чем Либор успел запачкать этот случай равнодушными словами, Боб снова поднес кларнет к губам и заиграл «Мэн ай лав...».

Толстый Фан покоился в своем любимом кресле, сложив руки на животе, и, видимо, ему стоило больших усилий держать глаза открытыми. Он всегда сидел так, он уже стал как бы частью мебелировки — тихий, нетребовательный, как бедный родственник; он был сделан из жира и лени, которая тормозила каждое его движение, как второе земное тяготение. Тем не менее ему были рады: отцу его принадлежал небольшой ликеро-водочный завод, и Фан всякий раз приносил с собой в оттянутом кармане плоскую фляжку дешевой водки. Сам он не пил. Мобилизации он избегал какими-то сложными способами, вероятно, симулировал болезнь, и потому весь день должен был сидеть дома на случай, если бы явился контроль из врачебной комиссии. Он выходил после наступления темноты и один-одинешенек катился шариком по черному городу. А здесь он усаживался и сидел, ни во что не вмешиваясь и почти не разговаривая — от лени. Вполне вероятно, что Фан когда-нибудь погибнет просто оттого, что ему станет лень дышать.

Что сходного между всеми этими людьми?

Трудно было найти общий знаменатель. Гостей братьев Коблиц не объединяли ни личные качества, ни искренний интерес к джазу, ничто внешнее, и все же было в них что-то такое, что возбуждало в Гонзе смутное ощущение утомленности; нечто такое, чего он напрасно искал бы у Милана, у Павла, у Пишкота, у большинства заводских ребят. И Вланка не подходила к этому обществу. Слава богу! А я? Что общего между мной и, например, Самеком? В любую фразу он старается вставить хоть одно английское словечко. Ну и что? Нынче одни зубрят английский, другие — русский, в зависимости от склонности, от желания провозгласить славу тому или иному освободителю, но у этого скелета с лошадиным лицом изучение английского языка не имело, казалось, никакого политического оттенка. Как только все это кончится, он поедет в Англию. Зачем? Да просто так. Неясно было, что там Самек собирается делать, чего он ждет для себя именно от Англии. Ничего. Просто хочется туда поехать, и больше его ничто не интересует, ни романтика детективных книжек, ни понятие британской демократии, и поэтому непонятно было, почему именно эта страна, а не, скажем, Мадагаскар или остров Пасхи, притягивает его, как огонек ночную бабочку. Уехать! Быть может, это просто мания шизофреника. Нет, у Гонзы нет с ними ничего общего. И — ни с кем из них!

* Гимн Чехословацкой республики.

Разве что с Душаном? С ним по крайней мере хочется иметь что-то общее. Но это совсем другое дело. Душан сам здесь как чужой. Гонза наблюдал за ним: сидит в кресле, скрестив ноги, закрыв глаза, слушает музыку; его совершенной формы руки с тонкими пальцами вертят серебряный карандаш. Необычное, интересное лицо: с первого взгляда угадываешь исключительную интеллигентность; спокойный, пронизывающий взгляд таких темных глаз, что даже на свету не отличить радужную оболочку от зрачка. Неизменный черный свитер, застегнутый до горла. Душан тем более притягивал к себе внимание Гонзы, чем безучастнее относился к болтовне присутствующих. Он редко вмешивался в разговор, а уж когда делал это, то своим невозмутимым голосом высказывал такое зрелое мнение, что тотчас, как правило, наступала уважительная тишина. Самый недалекий чувствовал, что мысли этого на вид равнодушного ко всему юноши имеют весомость знаний, не нуждающихся в том, чтобы их поспешно выставляли всем напоказ. Ничего в нем не было снобистски нарочитого, ничего искусственного, и Гонза, питавший просто инстинктивное отвращение к дутым авторитетам, чувствовал, что ему не избежать хотя бы безмолвного восхищения Душаном.

Как-то ночью, на улице, они вступили в короткую дискуссию. В тоне Душана не было и тени пренебрежения или заносчивости — и все же рядом с ним ты ощущал, как скудны и порой банально-прямолинейны твои знания, как ты даже скорей нащупываешь, предчувствуешь, чем знаешь. Откуда в нем такое свойство? Ведь он не старше меня, неужели он все уже перечитал? Я испытывал его: Душан охотно переходил к авторам и книгам, которые я успел проглотить. Дос Пассоса читал? А что ты скажешь о Рильке? Андре Жид, Достоевский, Вассерман, Рамю, современные поэты, имена, идеи, цитаты — Душан знал, кажется, все! И не только это: казалось, все он читал иными глазами, иным, более емким мозгом, с ним можно было не соглашаться, бунтовать против его всеразъедающей критичности, ругаться с ним — в одном ему нельзя было отказать: при всей необычности мнение Душана всегда было необыкновенно остро, законченно и опиралось на исключительную глубину восприятия. Все будто попадало на мельничные жернова, все будто калилось в горниле мысли, не останавливающейся ни перед чем, — и все же, чтоб отстоять то, что было дорого ему, Гонза упрямо твердил: «Нет, не согласен!»

Он остался один на улице. Нет! С чем соглашаться? Почему? Я необразованный чурбан в сравнении с ним. Холод — ага, вот оно, вот нужное слово, в этом ключ. Гонза схватился за это слово, как за спасательный круг. Смелся ли Душан хоть когда-нибудь над страницами книги? Бывал ли растроган, раздавлен чувствами, от которых у меня перехватывает дыхание, чувствует ли он вообще хоть что-нибудь? Послушать только, как он говорит!

Когда в разговоре затронули философию и был назван Кьеркегор, Гонза с каким-то вызовом сознался: «Мне только фамилия известна». Душан подал ему тонкую, холодную руку: «Я принесу тебе что-нибудь». Можно было допустить, что он забудет это мимоходом данное обещание,

но при следующей же встрече в прихожей Коблицев он протянул Гонзе тонкую книжечку.

— Попробуй, может, тебе будет интересно.

Что я о нем знаю? Наверно, по своему обыкновению нафантазировал о нем бог весть что. И тот ночной разговор был совершенно безличен и кончился зевком на ветру...

Щелкнув, остановилась пластинка, утомленные звуки блюза медленно растекались в тоске. Вуди выключил радиолу.

— Хватит на сегодня, — объявил он. — Ящик перегрелся.

Он повернул выключатель, и свет, упавший на лица, завершил обряд.

XII

— Прочитал? — спросил Душан, когда оба шли по пустынной улице.

Гонза поднял воротник пальто от дождя.

— Угу.

Они ушли еще до разгара вечеринки; никто их и не удерживал.

Дождь мелкий, упорный; ущелья смиховских улиц доверху налиты темнотой; ближе к центру города покачивались голубые огоньки фонарей, пустой трамвай дребезжал по рельсам, за ним лениво скользил по мокрым камням мостовой автомобиль. Шаткая тень пьяницы, бубнящего какой-то укоризненный монолог; сдвоенная тень влюбленных; человек с сумкой, просгуженный кашель, шаги, шаги, и ветер, и мрак...

— Ты понял?

— Не очень. Наверно, привычки нет к чтению таких вещей. В общем-то я больше думал о человеке, который это написал.

Душан отозвался не сразу.

— Я не удивляюсь... И счел бы тебя одним из этих, если бы ты сказал другое. Потому что, видишь ли, вещь эта почти непостижима и безумно парадоксальна. В этом весь Кьеркегор. Поэт и философ в нем часто спорят друг с другом.

Дождь чавкал у них под ногами, ветер бросал в лицо водяную пыль. Гонза поймал себя на том, что больше прислушивается к голосу, вдруг ставшему взволнованным и настойчивым, чем старается понять эти сложные рассуждения: о том, что в мышлении невозможно перешагнуть через себя, что истина — субъективна, она только то, что касается одного меня, моих восприятий, того мира, который я воспринимаю моими органами чувств, мозгом, страстями, и потому с точки зрения объективности она парадокс. *Credo quia absurdum**... Тертуллиан... У Гонзы закружилась голова. Он поежился от холода и сунул руки в карманы.

— И все же Кьеркегор непоследователен. Когда он постиг все одиночество бытия, когда глотнул этого ужаса, увидел этот покинутый

* Верно, потому что абсурд... (латин.) — изречение Тертуллиана (ок. 160 — ок. 222 гг.), который, защищая христианскую религию, выступал против античной науки и проповедовал мистику и иррационализм.

корабль в море абсурда — он обнес себя стеной лжи. Взять хотя бы его бога! Он непостижим, он парадоксален, как все, чего он коснулся, — жалкий постулат. Кьеркегору надо было взвалить на него весь свой страх перед познанным, чтоб не сойти с ума. Вымысел, в который можно поверить при нужде, банальный и немножко трусливый...

В ушах мучительно шумит от усталости, сердце сжимает боль, а голос Душана доносится издалека, профильтрованный сквозь дождь и ветер. Спать, господи, спать! Набережная, речная сырость; поднялись по ступеням на безлюдный мост, ветер уперся им в грудь, срезал с губ слова.

— Не знаю, как тебе объяснить, — заговорил Гонза, когда его спутник умолк. — Такое было ощущение, что все это меня не касается. Это примитивно, но, пожалуй, мои проблемы более земные, вполне осязаемые: вот наш мир, я попал в него не по собственному желанию, но теперь этот мир разбивают вдребезги. За что? Я-то в чем виноват? Строго говоря, я даже не умею хорошенько представить себе, что такое свобода...

— Она не в том, в чем ты пытаешься искать ее. — В голосе Душана появилась незнакомая решимость. — Она не во внешних явлениях, это только мираж, это эрзац. Настоящая, абсолютная свобода — в тебе. Никто не может ее отнять — она дана в удел каждому. В конечном счете это безумие, ему нет пределов...

Гонза слушал эти рассуждения с возрастающим изумлением, он не совсем понимал их, но они были новы, волнующи, они приводили его в смятение.

— Полагаешь, что и сегодня... и в наше время?

— Не заблуждайся! Эта идиотская оргия, которую привычно называют войной, протекторатом, национальным угнетением, — все это лишь случайные приметы времени, они не имеют никакого отношения к подлинной свободе. На все это можно начхать... — Помолчав, он презрительно усмехнулся. — Даже то, что утром вот встану и поеду на завод Юнкерса насаживать какие-то там латунные колпачки на какие-то шланги, по восемьдесят штук в смену, в общем то, что я должен туда ездить, я вовсе не воспринимаю как несвободу. Несвобода в чем-то ином, более существенном. Но для меня свобода — это свобода решения, выбора любого... хотя бы выбора смерти или физического уничтожения — эта свобода остается. Теперь понимаешь?

— Нет, — искренне ответил Гонза, но потом мягко возразил: — Не говори, что все это тебя не затрагивает. Я не верю...

— Не затрагивает, — произнесла тень, шагавшая рядом. Душан закашлялся на ветру, зябко укутался в пальто. — Это лишь внешнее. То есть несущественное. Ты только не думай, я не хуже других. Нет, нет. В конце концов и я могу считать это идиотством, жестокостью, бесправием, могу испытывать негодование или сочувствие к тем, кто падает жертвой... Ну и что? Нет, не затрагивает! Потому что вся эта бессмыслица — логическая и далеко не самая важная составная часть главной бессмыслицы, случайный обломок абсурдности бытия вообще, и кто это постигнет... Но оставим это, здесь нет циниз-

ма, как ты, возможно, думаешь... Если, конечно, всякое подлинное познание не выглядит цинизмом.

Остановились посреди моста; Гонза положил руки на мокрый парапет; камень приятно охлаждал ладони, такой грубый и успокоительно-материальный, твердость его Гонза ощущал как некую опору в этой ветреной тьме.

Спутник молча стоял рядом и, покашливая, смотрел в темноту.

Река, старая знакомая обоим, катилась под ними с весенне-кипучей мощью. Они не столько видели, сколько угадывали ее в широком русле, прислушиваясь к ее шуму; кто-то прошагал позади них; ветер с реки дул им в лицо.

Гонза перегнулся через парапет, плюнул в темноту.

— А что ты скажешь о них... Об этих, у Коблицев?..

— Ничего. — Голос Душана понизился до обыкновенной усталости. — Они мне не интересны. Снобы вперемешку с недоучками и сумасшедшими. Животные. Это и сгоняет их в кучу.

— Я из их компании.

— Ты — нет. Ничего ты там не найдешь. — Душан тоже наклонился и плюнул в пустоту, наполненную ветром. — И все же немножко страшно становится, когда поймешь, что в наших чувствах есть много общего с ними, правда?

— Ты-то зачем туда ходишь? — спросил Гонза.

Вопрос, видимо, оторвал Душана от его мыслей, он посмотрел искоса на профиль Гонзы, смутно вырисовывавшийся в темноте.

— Я об этом не думал. Вообще-то ведь все равно, куда ни ходить. — Помолчав, он вдруг спросил: — У тебя есть отец?

— А я и не знаю, — равнодушно ответил Гонза. — Я с ним незнаком.

— Быть может, это к лучшему.

— Может быть. Если б я когда-нибудь встретил его — сказал бы: «Что вам угодно? Вас умиляет, что есть на свете человек, у которого нос примерно похож на ваш?» Надеюсь, такой встречи не будет.

— И потом... я люблю эту музыку, — проговорил Душан. Он повернулся спиной к парапету и медленно пошел дальше, сопровождаемый Гонзой. Ветер вздувал полы их пальто, пробирался к телу. — Сколько я себя помню, отец пичкал меня так называемой серьезной музыкой. Я вырос под сенью семейного рояля марки «Петрофф». И все в таком роде. Музыка! С большой буквы, понимаешь? Все, что он уважает, пишется с большой буквы. Тебе бы следовало с ним познакомиться, — добавил он с еле заметной усмешкой.

— Что ты против него имеешь?

— Ничего. И — все. Это трудно объяснить. Известен тебе тип образцового человека? Образцовый патриот, гуманист, супруг, отец, специалист... Во всем и всегда — само совершенство. Трудолюбивый, суетливо-активный. Папаша Полоний, знаешь такой тип? Никогда ни в чем не сомневается, и на все-то есть у него ответ. Банальный позитивист. Помнишь, что называли древние греки «καλοκαγαθία»? * Вот

* Идеал мужчины (древнегреч.).

эти-то образцовые все и заварили, ручаюсь! В том числе и теперешнюю кашу. В его представлении слушание музыки есть духовный комфорт. Да и всякое искусство вообще. Оно у него имеет функцию чисто гигиеническую, нечто вроде чистки зубов или утренней гимнастики с гантелями. Гадость! Его разгадать нетрудно. В сущности-то он вообще музыки не понимает. Разве что Вагнера... Сейчас ему приходится кое-что откладывать впрок. В глубине души он обожает шум, помпезность, пышные декорации — главное, чтобы было возвышенно и звучно, как фанфары...

— Ты его ненавидишь?

— Вряд ли. Ненависть уже проявление какого-то чувства. Она требует усилий. Все это у меня позади. Я для него *terra incognita* *.

— Он журналист?

— Да, так можно сказать. Пишет только о культуре и под псевдонимом. Впрочем, он неглупый человек, только пустой, понимаешь? Осведомленный. Нет, не думай, с ними он не связался. По крайней мере открыто. Мне даже любопытно, с чем-то он выступит после всего этого. Не сомневаюсь, он уже поставил и на ту карту, он предусмотрителен. Меня заранее тошнит! Настоящий лицемер так умеет убеждать в правоте своей морали, что и сам начинает в нее верить. Он совершенно уверен, что честен, справедлив, в высшей степени почтенен... Такой он и есть. Полоний. И естественно, не оставляет своих добродетелей при себе — обожает поучать. Кого угодно. Сейчас у нас с ним перемирие, и все же у меня такое чувство, будто я хожу слушать эту музыку тайком от него. Понимаешь? Как уличный мальчишка, который тайком писает на ворота школы. С известным удовлетворением представляю себе там отца с его благородным лицом. Ведь та музыка — с малой буквы, грубая, простая, зато до ужаса искренняя, обнаженная, дерзкая. В ней все — печаль, и страх, и недобрые предчувствия, а потом вдруг такая взрывчатая, сумасшедшая радость, судорога между первым и последним вздохом. Мы уж вряд ли способны на такую непосредственную радость...

Улицы, улицы... Недалеко от Карловой площади из подворотни им вазывно свистнула проститутка; оглянувшись, увидели очертания ее фигуры и белое пятно лица.

Обошли эту подворотню далеким полукругом, зашагали дальше.

— Думаешь, другие тоже так воспринимают?

— Почему? Ни в коем случае. Кроме кларнетиста и двух-трех еще. Но и этим там не место. Ведь они что-то любят. Наше время всех сваливает в одну кучу. Так бывает, когда начинается дождь, и под навесом собираются все: интеллигент, спекулянт, поп, карманный воришка, влюбленные и педераст; дождь ведь, так не все ли равно... А у прочих из компании Коблицев от музыки только ноги подергиваются, да заглушает она их *hoggo casu* **.

Гулкие удары посыпались с близкой башни, разлетелись над крышами, замирая в шорохах. Полночь! Сколько же осталось до утра?

* Неисследованная земля (латин.).

** Страх перед пустотой (латин.).

Какое мне дело до Кьеркегора и до всего прочего, когда так хочется спать, спать, рухнуть в перину как подстреленному...

Одинокий автомобиль катился по пустынной Вацлавской площади; прошло мимо несколько неясных фигур; кучка немецких солдат и хочущих проституток разделилась перед ними на две половины, обтекла с двух сторон и снова слилась, солдаты пьяно мычали что-то, девицы заливались смехом; шенк мир дайн херц, о Мария! * — неверным голосом тянул кто-то из них.

На этом углу они всегда расставались.

Тонкая рука на мгновение остудила ладонь Гонзы.

— Ну, звони и приходи еще, — сказал Душан с необходимым безразличием; он зевнул и усталым тоном предупредил возможное возражение Гонзы: — И пожалуйста, не надо говорить, что ты помешаешь. Ведь я по большей части один, а книги у меня найдешь такие, каких не найдешь ни в одной публичной библиотеке. Телефон ты знаешь.

Телефон Гонза знал. Он был записан у него на обороте заводского пропуска; впервые он набрал этот номер много месяцев тому назад, в один ноябрьский вечер. В гостях у мамы сидел ее неразговорчивый обжора, улицы рвало мгlistой тоской, кафе зевало от скуки.

— Ты пошевеливайся, пока не заперли входную дверь! — сказал в трубку голос Душана. — Монета в полкроны найдется? Тогда поднимись на лифте! **

Начиная с того вечера Гонза — не очень часто — приходил в эту просторную квартиру в неприветливом доме стиля «сецессион», напротив парка Гребовка, разбитого на склоне холма; приходил, приносил в набитой сумке прочитанные книги, унося к себе новые. Душан ничуть не хвастался, говоря о своей библиотеке; у Гонзы голова пошла кругом, когда он увидел эту гибель книг. С чего начать? Глядя на стеллажи, тянущиеся по стенам до самого потолка, он приходил в отчаяние от собственного невежества. Как видно, целые поколения пополняли эту библиотеку редкими книгами.

— Этого не читай, — советовал Душан. — Тупая чепуха, жалкая компиляция. Достоевский? Да, кажется, он тут полный. Карамазовых можно читать без конца — в каждом возрасте читатель воспринимает их по-разному. Только идиот никак не воспримет. «Будденброков» знаешь? Я их ненавижу. Ужасная книга. Совершенство. Ранние роды. Только молодой человек может с таким последовательным садизмом написать умирание...

Душан ничего не навязывал, он советовал; говорил о книгах со спокойным знанием дела.

Гонза, строго говоря, узнал только комнату Душана, но по дверям, выходящим в огромную прихожую, можно было судить о величине всей квартиры. Другую такую не скоро найдешь! Без труда можно было вообразить, как вот у этой вешалки снимал свое долгополое паль-

* «Подари мне сердце, Мария!» (не м.).

** В некоторых пражских домах лифт действует как автомат: чтоб подняться, надо бросить в него монету.

то сам Ригер* или иной великий человек прошлого века. Замкнутая тишина незаметно ветшающего буржуазного жилища, неуютность, исполненная достоинства, — ею дышала массивная, темная мебель, без урона пережившая целые поколения, и дорогие драпировки, поглощающие всякий звук, и почерневшие картины в резных рамах. Оригинал Маржака! Гардины консервировали свет, фильтровали воздух, придавая ему невыразимый запах старины и дисциплины, здесь невольно понижаешь голос. Гонза редко видел кого-либо из семьи.

— Это верно, — сказал как-то Душан, — каждый из нас живет немного сам по себе. Встречаемся иногда — как обитатели древнего замка. Надо знать наше семейство. Дед и прадед были видные пражские деятели прошлого века — династия адвокатов. Патриоты! Это обстоятельство использовалось еще до первой мировой войны. Ну, а теперь здесь просто квартира. Живем — каждый как умеет. Это и не плохо, в сущности, меня это вполне устраивает, хотя этот саркофаг бывшего величия давит меня.

Никогда Гонза не видел хозяйна квартиры — только слышал издали его сытый голос да тяжелую поступь. «Полоний», — как всегда именовал его Душан. Порой в недрах квартиры звучал рояль.

— Музыцирует, — с усмешкой констатировал Душан. — Гиппокрит!

Однажды донеслись до них рыдающие звуки гитары и пение. Это Клара, сестра Душана, — робкая одинокая девушка, преждевременно похожая на старую деву. Она хорошо пела под гитару грустные старофранцузские песенки; она воспитывалась во Франции и, видимо, оставила там свою душу. Как-то Гонза столкнулся с ней в прихожей и заметил, что она хромот.

Обычно Гонза заставал Душана в его неуютной комнате, в черном свитере и стареньких тренировочных брюках; Душан читал, лежа на клеенчатой кушетке. Он очень подходил к обстановке; все здесь было темное и немного обветшалое: кресла, письменный стол, потертый ковер... Казалось, Душан совершенно равнодушен к холодной безличности вещей, его окружавших. Книжки, книги! И полумрак — оттого, что горит только торшер.

— Здорово, присаживайся куда-нибудь!

В этом приветствии не было дружеской горячности; звучало оно устало-равнодушно, хотя и не обидно. Интересно, что могло бы взволновать его? — думал порой Гонза, наблюдая лицо Душана, до половины затененное охровой тенью абажура. Рядом с ним он всегда испытывал неясные опасения, какую-то робость, но любопытство было сильнее и возрастало с каждой встречей. Да, Душан интереснее прочих ребят.

Сначала, сидя в креслах, наливались невероятным количеством настоящего чая — Душан был страстный любитель чая, бог знает где он его только добывал, — и разговаривали о всевозможных вещах; потом рылись в библиотеке. Гонза уходил с неопределенным ощущением избегнутой опасности, несколько польщенный непонятным интересом

* Франтишек Ладислав Ригер (1818—1903) — крупный чешский политический деятель XIX века.

к нему этого еще более непонятного человека — в чем Гонза, конечно, не желал сознаваться.

Один раз в дверь без стука заглянул юноша в помятой форме люфтшца: манекенно-правильное и противно-самоуверенное лицо, только глаза те же, что у Душана. Юноша попытался вытянуть у Душана сотенку и был безжалостно выдворен.

— Не обращай на него внимания, — с неудовольствием сказал Душан, когда дверь закрылась. — Мой брат. Взаимно презираем друг друга. Полоний номер два. Прожорливостью и аппетитом к жизни напоминает миногу. Во рту у него не тридцать два зуба, а больше. Если бы война затянулась, он и в люфтшце сделал бы карьеру. А так, видимо, кинется в политику — болотный тип.

— А ты? — подхватил Гонза. — Что ты собираешься делать после войны?

Душан изящно отпил из чашечки, устремил взор в полумран.

— Неважно. Быть может — пить много чаю... Сначала буду присматриваться. Но недолго, потому что это довольно утомительно. Особенно здесь. Мне кажется, я как бы заключен внутри пирамиды Хеопса... Потом как можно незаметнее убраться...

Гонза пошевелился в кресле.

— А я думал, ты интересуешься философией... или литературой. С твоими знаниями...

— Почему ты так думаешь? Потому, что копаюсь в этом? Так это я просто убиваю время. Может быть, раньше я и искал чего-то... Да не нашел, уверяю тебя. Эти знания дают человеку сомнительное чувство превосходства над другими. Философия! Высокомерное суесловие, бессмыслица... — Он улыбнулся вяло, с непривычным оттенком смущения. — Я ведь немного и пишу. Разное... Только так, для себя. Нет у меня ни малейшей потребности делиться этим с другими. Все это вроде... слабительного. Меня, видишь ли, совершенно не интересует так называемая литературная деятельность, слава, бессмертие... Довольно смехотворный вымысел! — Слабым движением руки он отверг возможные возражения. — Знаю, скажешь, Гомер. Да? Две тысячи лет и даже больше... Ну и что? Пусть о нем будут помнить и еще двадцать тысяч лет — его-то нет. Какое же тут бессмертие? Просто упрямая фраза, человеческое стремление к высокопарности. Меня куда больше трогают совсем простые вещи, особенно те, в которых нет притворства: детские слезы, деревенские похороны с музыкой и веселыми поминками или маленькие зверушки. Люди смертны! Что Гомеру до собственного бессмертия? Оно его не касается — для него уже нет мира, одно ничто. Если тебе что-нибудь приятно, не насилуй себя. Не стоит. Нет, я ни во что не стремлюсь вмешиваться, хотя бы потому, что не знаю ничего, что имело бы вечную ценность, смысл, постоянство... — Он машинально помешивал ложечкой наполовину выпитый чай, помолчал, а потом, как бы вновь осознав присутствие постороннего человека, добавил тоном примиренности: — Кроме смерти. Кроме исчезновения моего «я», исчезновения мира во мне. Только это неизбежно и вечно, это единственное, что окончательно. Лечь, сделаться неподвижным, не-

одушевленным предметом. И — навсегда. Это даже не страшно — это логично. Перед лицом той единичной случайности, которая, не спрашивая, хочу ли я, послала меня в этот мир бессмысленности и к которой я, не прилагая никаких усилий, должен вернуться, все ценности и понятия, какими люди унижают друг друга, которыми они заслоняют свой бездонный ужас перед пустотой, для меня превращаются в ерунду. Понимаешь? Вообще-то я об этом ни с кем, кроме тебя, не говорю... Впрочем, мы с тобой совершенно случайно знакомы, не обременены никакими отношениями и можем говорить открыто. Если это тебе, конечно, не противно... Мораль, характер, мировоззрение, все виды любви и прочих нелогичных отношений — все, что стремится внушить человеку, будто он не одинок, страшно одинок с единственной своей определенностью — исчезновением, будто есть ему смысл как можно больше суетиться тут, дабы оставить свой след в грязи, который смоем первый ливень... Нет! Что мне до всего этого? Через секунду после того, как я перешагну порог и закрою глаза, не будет ничего! В том числе и того, что называют жизнью, что есть якобы величайшее благо человека! Упрямое метание между двух абсурдностей, блуждающий огонек во мраке, в безучастной пустоте...

Он говорил об этом без всякого волнения, как о будничном деле; встал, заходил по ковру, руки в карманах, стройный, неумышленно элегантный в своем черном свитере, остановился перед полкой с книгами, провел ногтем по кожаным корешкам.

Гонза следил за ним с недобрый стеснением в душе.

— Ты ее ненавидишь? Я имею в виду жизнь, — решил он спросить.

— Нет. Зачем? В сущности, я упрекаю ее в мелочи, впрочем достаточно непростительной: в том, что она бессмысленна, никому не нужна. Потому что конечна. Порой она обременительна, порой подстраивает человеку ловушку: покажет красоту природы или женское тело, искусство... Не думай ни о чем, жри — праздник никогда не кончится. Размножайся, ты будешь жить в детях, переверни мир вверх ногами, тогда останешься бессмертным в памяти других. Фантастическая ересь! Но довольно безобидная, вроде шор на глазах. Все равно ведь...

— Ну, если так рассуждать... Тогда действительно человеку только и остается, что жрать, наслаждаться, заботиться о себе одном, урывать побольше, пока есть время...

— А почему бы и нет? Конечно, гедонизм такого рода — признак очень примитивного развития. Это наиболее просто.

Душан вернулся в кресло, сцепил тонкие пальцы, прогнул их.

— Равнодушие лучше — оно наименее мучительно. И есть в нем достоинство. Просто надо научиться ничего не принимать всерьез, не зависеть от этого жалкого стука в грудной клетке. Конечно, это мое мнение. Я никому его не навязываю. У меня часто бывает ощущение — не знаю, знакомо ли оно тебе, — я его сильнее всего испытываю, когда вокруг много людей. В кафе, в концерте. Не люблю туда ходить. Будто вдруг прозреешь и как бы испугаешься, выступишь из чего-то привычного, из себя самого, что ли... И крикнуть хочется: да что вы

дурака валяете, несчастные? Во что играете? В жизнь, в театр, в смех и слезы? Как смешно поглощены вы этим окружающим вас обманом, тряпками, огнями... а между тем каждый из вас уже несет в себе это! Это не постороннее, оно всегда в вашем теле, под фраками и ожерельями, под кожей у каждого безобразный скелет, это — не вне вас, оно в вас самих, и вы завопили бы от ужаса, если б с вас вдруг спала эта водянистая масса мяса со всеми гниlostными зародышами... Представь, как выглядел бы мир, если б в одну минуту пронеслось сто лет: всюду скелеты, в ложах, в креслах, на сцене скелет тенора открывает пустую челюсть, за прилавками гардероба зевают скелеты, и пустота зияет у них между ребер, скелет-билетер перекинул программки через кость... Смешно, и безумно, и безнадежно печально — то, что все мы обречены, и я, я... Но я по крайней мере сознаю это, беру это в расчет. Мне страшно это и в то же время как-то притягивает. Ничто другое не волнует меня так, как это. Этот страх во мне чисто биологического происхождения, точно так же, как и то, что другие не думают об этом; стадо взбесится, если будет все время видеть гибельный обрыв... а я вижу, понимаешь?.. Налить тебе еще чаю? А то остывает...

Гонза прикрыл ладонью пустую чашку. За спущенными шторами затемнения искрилась зимняя ночь, под нею попирали камни города живые, реальные люди. Хотелось выбежать отсюда, замешать я в толпу этих людей, слиться с ними. Смерть... Ее запах стоял тут. Она была в приглушенном голосе, в воздухе этой комнаты, в аромате чая. Прочь отсюда! Но Гонза знал, что все равно вернется, потому что непонятный человек в старом кресле не только отталкивал, но и притягивал; Гонза испытывал к нему жестокое отвращение, подсказанное инстинктом самосохранения, и в то же время восхищался им и странно ему сострадал. Кто ты? — мысленно вопрошал он, слушая эти противоестественные воспевания гибели. Сумасшедший? Большой человек или позер? Нет, это Гонза исключил, он чувствовал, что в Душане действительно происходит борьба, что есть в нем система, недоступная его, Гонзы, пониманию. Тем хуже! Потусторонняя тишина квартиры угнетала; чай терпко стягивал язык. Иногда разговор заходил о более земных вещах, но результат оставался тот же: в рассуждениях Душана все дробилось, таяло, начинало казаться тщетным: весь мир лежал в бесформенных обломках, по которым ползают слепцы да безумцы.

— Политика? Не верю в нее, потому что не верю в историю. А ты веришь? Когда-то я этим занимался, но бросил. Не верю, что есть какой-то смысл в истории, и не верю, чтоб существовало нечто вроде прогресса. В чем? Массовое производство иллюзий, горячее бормотание о рае, которое с подозрительной периодичностью завершается бойней. Тебе не кажется? Мне — да. Вот и в данный момент мы переживаем один из этих закономерных кровавых поносов, при виде которого старик Чингисхан заболел бы комплексом неполноценности. Инквизиция была, пожалуй, идиллией в сравнении с нынешними концлагерями. Ты слышал о них по иностранным передачам? Конечно, у нас теперь гигиена, смерть сбрасывают с воздуха, и солдаты чистят зубы и обучаются технике, чтоб лучше убивать. Прогресс! Как на конвейере.

И все это после Будды, после Христа, после Возрождения, Просвещения... После Гёте — господин Розенберг, после Девятой Бетховена — сирены! Не сомневаюсь, как только человечество выкарабкается из этого и придет несколько в себя — оно сейчас же, с тупостью мухи, бьющейся о стекло, устремится к следующему раю, на сей раз уж гарантированно подлинному. Жив буду — не соблазнюсь.

Звон гитары проникал к сердцу мучительной тоской. Что скажешь на это? Что можешь против этого возразить? Ничего. Ты окружен, это все громады взрывчатки и капли царской водки, растворяющей все...

Пыль и книги. Раз как-то Душан выискал толстую книгу с золотым обравом, долго листал ее, потом прочитал несколько строк:

— «Мне постыла эта жизнь. Ибо ничто под солнцем не нравится мне, так как все есть только суета и несчастье...» Знаешь это? Это самая мудрая книга еврейского Ветхого завета. Куда до нее всей так называемой философии! Или — Рильке: «Записки Мальте Лауридеса Бригге»... Смерть! Женщины носили ее в чреве своем, мужчины — в груди... Ты по-французски читаешь? Жаль, а то я бы дал тебе кое-что.

Душан признался, что в последнее время его захватили философские учения Востока.

— Не выношу философии, которая, несмотря на все шутовское мудрствование или прикрываясь им, учит жить. Слюнявый прагматизм — теперь он даже не в моде, философия цивилизованных кротов и полевых грызунов... Гадость! На Востоке давно поняли, что ничего этого не надо, жить — жалкий удел, недоразумение, не быть — гораздо естественнее и лучше, так как это — конечный смысл и цель. Учиться смерти своей...

Довольно! Гонза только и в силах был, что упрямо и отрицательно качать головой.

— Ты не сердись, — продолжал Душан. — Но мне все безразлично! Смерть так естественна! А что естественно — не страшно. Я об этом просто не думаю. И это ведь не только мой удел, я тут не один... Слабое утешение, — невесело добавил он. — Однако что мне до прочих? Предрассудок. Каждый одинок... И я тоже... Я, понимаешь? Признаюсь тебе, на похоронах я больше всего завидую покойнику. Для него уже все свершилось, все кончено. Жалко-то мне скорее живых. Странное чувство, но я умею смотреть правде в глаза. И своему личному ужасу, оттого, что мое «я», вот это никому не нужное, дрожащее «я», одержимое навязчивой мыслью о конце, о падении в ничто, — что этого «я» не будет! Заранее проигранная игра. Что остается? Смириться. Жизнь? Чем больше у человека желаний, тем глубже он попадает в ловушку жизни и тем страшнее падение. Лучше всего, когда не надо ни с кем и ни с чем прощаться, ничего не жалеть, ничего не иметь, а потому и не покидать. Ничего не ценить, ни к чему не привязываться. Умереть — единственно порядочное дело, которое совершает человек. Тем более что выбора-то нет. Мне не по себе от жизни. Только в этом моя защита, другой я не знаю, в другую не верю. И дальше — больше: надо до самого конца проникнуться мыслью,

что я от рождения неизлечимо болен, признать это неотделимым от меня, и... не быть пассивным, как скот, которого волокут на убой! Понял теперь? Самому решить, добровольно... Идти смерти навстречу с достоинством и презрением — вот единственное мыслимое облегчение!

Что с ним такое? Впервые Гонза увидел на лице Душана волнение, в сумраке глаза его тускло блестели. А ведь он серьезно, — мороз пробежал по спине, когда Гонза вдруг это понял, и все в нем оцетинилось чуть ли не физическим протестом. Сумасшедший? Спокойствие! Гонза сильно потер виски. Хотелось бежать. Нет, нет! Трус!

— Нет! — выдал он из себя. — Этого я не понимаю! И — не хочу. Не могу. Быть может, в твоих глазах я примитив, но не может быть облегчения в этом... Это, брат, ненормально.

— А ты сначала скажи, что нормально? — перебил его уже спокойным голосом Душан, откинувшись в кресле. — Я не знаю. Впрочем, можем прекратить этот разговор, если хочешь...

— Да нет, говори, говори. Я не боюсь, что ты меня переубедишь.

— Я и не стремлюсь. Пойми — таково мое решение! Люди выдумали для этого отвратительное название. До чего мне противен их пафос, то, как они выставляют напоказ свои чувства, которые всегда сопровождают смерть... Но я часто о ней думаю. Как умереть? Не знаю... Важно одно: решить самому, понимаешь? Вот что меня привлекает. Физически и психически я здоров, но... иногда мне ужасно... особенно в такое время, осенью, когда дожди и все увядает... И в этой берлоге... в этом мире, в эту эпоху... Я серьезно говорю. Не понимаю толком, что меня останавливает. Во всяком случае, не гамлетовское «какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят»... Нет, это для меня уже пройденное, и есть приятная уверенность, что никаких снов не будет. Ничто, абсолютное ничто! Может быть, жалость к матери. Она единственный человек, который мне дорог. Бедная... Ты должен понимать это. А может быть, самый обыкновенный животный страх... Придется преодолеть его, а это будет трудно...

Он выпил чай и удивил гостя вопросом:

— Ты когда-нибудь испытывал чувство умирания? Этот миг перехода?

— Нет, — отрезал Гонза. — Я живой. Погожу, пока само придет. Надеюсь только, что умирать буду недолго. А большего мне и не надо.

— А мне надо, — сказал Душан, сжимая руки. — В сто раз больше...

Потом он рассказал, что иной раз лежит на этой вот старомодной кушетке и силится испытать это. Лежит, неподвижно вытянувшись, долгими часами, впериwв взор в одну точку на темном потолке. Вот то пятнышко, видишь? Похоже на собачью голову, правда? Или на облачко. Постепенно оно начинает расплываться, тает в дымных кольцах — последние очертания этого тягостного мира, — и наступает тишина, тишина, поднимающаяся изнутри, в ней медленно замирают жалкие змные судороги, и странный шум слышится, это плещет отлив, все застывает, цепенест, изменяется, и этот холод, холод, не изведанный еще, холод неодушевленных предметов — температура тела уравнивается

с температурой земли, трав, времени года, и это совсем не то, что бывает, когда уснешь и не сознаешь себя, это иное незнание, иное бесчувствие, единственная неведомая, неосознанная секунда превращения в ничто, а потом тьма, абсолютная... Нет, даже не тьма, тьма ведь что-то, понятие какое-то, противоположность свету, нечто, что можно видеть или не видеть: а это нельзя видеть, оно просто есть или нет его, — нет, тьма еще не то сумасшедшее ничто, совершенное, законченное, замкнутое в себе ничто, перед которым все теряет цвет и форму — это падение без дна, последняя судорога в груди. Сожаление? Зачем?

— Душан! — раздался робкий голос из-за стеклянной двери в прихожую. — Ты у себя?

Душан дрожащими пальцами взъерошил волосы.

— Да, мамочка! Нет, я не забыл. Завтра зайду туда. У меня гость...

Вдруг, как бы застыдившись, он встал, погасил лампу, поднял штору.

— Посмотри!

Ночь, зимняя, в торжественном сиянии, дохнула в лицо свежестью. Звезды, созвездия, морозный воздух, дышащий дымами; ветер заботливо тронул тяжелые гардины. Вид темного, отдаленно грохочущего города под мерцающим небосводом брал за душу. Отдаленно грохотал город... А рядом, в темноте — спокойное дыхание. Неужели это дышит тот же человек? В эту минуту молчания Гонза готов был поклясться, что даже сквозь броню равнодушия, которую упрямо натягивал на себя Душан, он доступен преходящей земной красоте. Более того, что она до отчаяния, до боли дорога ему. Бедняга! Когда Гонза пришел к нему сегодня — застал его над рисунками Домье. «Посмотри-ка!» — Душан был искренне взволнован, на лице его играло совсем ребячье, бесхитростное восхищение, но он сейчас же стряхнул его, остыл, будто устыдился некоей слабости. Нет, он еще не конченный человек, он просто внушил себе...

— Люблю ночь! — проговорила легкая тень Душана; он упирался локтями в подоконник. — Она целомудренна. Темнота стирает банальность лиц и позволяет воображать. Смотрю я в нее и говорю себе: спят! Все спят. Владыка, тиран, нищий, узник, приговоренный... Во сне они равно бессильны. Как легко было бы задушить их. Я не властен над безумной чепухой, которой набиты их головы. Во сне тиран хрипит от страха и превращается в гонимого, а нищий повелевает миром, чуть более реальным, чем тот, который освещает солнце. Смешно!

Гонза пришел с портфелем, набитым книгами, и в комнате Душана застал незнакомую девушку.

— Входи, входи, — сказал ему Душан. — Ты нам не помешаешь. Это Рена, познакомьтесь.

Действительно не помешаю? — растерянно соображал Гонза, пожимая покорную девичью руку. Фамилию свою она прошептала так тихо, что он не разобрал, и одарила его мимолетным взглядом. Но и

в нем Гонза успел уловить рассеянное равнодушие. Все время, пока они были вместе, Рена почти не разговаривала. Гонза не мог избавиться от тягостного чувства, что она вообще не замечает его. Сидела в тени, утонув в кресле, обнимала руками колени, непонятым взглядом следила за Душаном, словно боялась упустить малейшее его движение. Какое-то особое смирение было в ее безмолвии; немножко трогали и немножко отталкивали ее преданность, безграничное восхищение и благодарность за каждый взгляд, которым касался ее Душан. Он же обращался к ней с непринужденной вежливостью, но Гонзе казалось — он только терпит ее. Красивая? Да, но в этой скульптурно-стройной фигуре жила холодная сдержанность, Гонзе не нравилось, как плавно она подносит ко рту чашку чая, эта медлительность казалась ему нарочитой. Черные как смоль волосы увязаны на темени в узел, лицо, не отмеченное никаким очеловечивающим пятнышком, матово белело в сумерках. Статуя. Вот такой представил он себе египтянку Нефертити. От Гонзы не ушло, что Душан несколько смущен, — видно, его сковывало при постороннем присутствии этой неприятельной и восхищенной девушки; разговор, который Душан поддерживал, чуть заметно пересиливая себя, вертелся вокруг обыденных вещей и то и дело иссякал. Что ты за человек? Что за люди вы оба? Вы так подходите друг к другу, молодые, красивые, совершенные во всем — не удивительно, что чувствуешь себя с вами нежеланным гостем. Любовники? Непохоже. Знакомые?

Пробило десять часов, и Душан обратился к ней спокойно, но настойчиво:

— Думаю, тебе пора, Рена. Поздно.

Она встала без возражения, попрощалась, не подавая виду, что расстроена. В этом было что-то неестественное. Снова пожал Гонза ее мягкую руку, на этот раз взгляд ее непонятных глаз остановился на нем чуть подольше, но по-прежнему без интереса: Рена смотрела мимо него. Или скорее сквозь него. Он хотел было воспользоваться случаем и уйти вместе с нею, но Душан его удержал:

— Сиди! Ты еще не выбрал книгу. Я поздно ложусь спать...

Он вынул из кармана медный ключ и пошел проводить Рену до двери. Вернувшись, он показался Гонзе несколько более оживленным. Без всякого предисловия спросил:

— Что скажешь?

Гонза даже моргнул от внезапности вопроса.

— Красивая. Наверно, очень умная?

Душан прошел к стеллажам и долго молчал, разглядывая корешки книг, наконец ответил:

— Когда человек молчит, еще не значит, что под этим скрывается исключительный ум. Собственно, с этой стороны я ее недостаточно знаю. А вообще в ней нет ничего загадочного: обыкновенная семья, гимназия, перворазрядный танцкласс, а теперь Колбенка... Она производит несколько экзотическое впечатление, а в сущности — проста и довольно сентиментальна. Умеет владеть собой. Скажи по правде, как она тебе показалась?

— Не знаю... Она показалась мне холодной. По крайней мере на мой взгляд.

— Так кажется! Но, может, в этом известная гарантия, что с ней я зайду не дальше простого восхищения телом. Оно у нее совершенно, можешь мне поверить. В этом отношении я ужасающе нормален. Приходит иногда... У нее удивительный дар являться не вовремя. — Душан устало улыбнулся. — Стендаль говорит, что никто не докучает так, как нелюбимая женщина. Что и подтверждаю.

Это было до непонятности жестоко, но Гонза привык уже ничему здесь не удивляться.

— Ты, значит, не любишь ее?

— Нет.

Душан вернулся к столу с целой охапкой книг, принялся перелистывать их и, казалось, совсем забыл о Рене, но вдруг поднял голову:

— Пойми меня, я и не хочу любить! Нечего объяснять тебе почему. Бессмысленное усложнение. — Вертя в пальцах самопишущую ручку, он продолжал, то и дело прерывая себя паузами: — Рена скромна, притворяется, что ничего ей не нужно, но я ей не верю. Не понимаю, впрочем, что она во мне нашла. — другие сбежали куда скорее. А эта бешено упряма. У меня отвратительное ощущение, что она догадывается и хочет меня спасти. Понимаешь, от чего? И во имя чего? Во имя фикции, с помощью которой обеспечивается продолжение рода. Может быть, она задалась целью как-то меня переделать, ослабить чувством... одолеть меня тем, что она называет любовью!

Гонза опустил нахмуренный лоб.

— А если ты лжешь самому себе? Мне ее жалко.

Он готов был поклясться, что удар попал в цель. Душан замолк, удивленный, а когда заговорил снова, то голос у него срывался от волнения.

— Да что... А ты думаешь, мне ее не жалко? Сознаюсь... иной раз просто задыхаюсь от жалости. Но что я могу сделать? Ломать комедию из сострадания? Мне жаль всего, всего живого... — Ручка с легким стуком упала на стол. — А порой, когда чувствую в ней это, кажется, просто ненавижу ее, она мне тогда отвратительна! И я теряю власть над собой, мучаю ее, бываю холоден, смеюсь ей в лицо. И к твоему сведению, это доставляет мне низкое, злое наслаждение! А она никогда не плачет, понимаешь ты? Никогда! О господи! — воскликнул он с печальной горечью. — Если б умела она хоть немного выходить из себя, это совершенство! Приносить себя в жертву — вот ее эротический феномен, без этого ей, может, и любовь не в любовь. Ангел мазохизма! А было бы легче, если б мы с ней раскрыли наши карты. По крайней мере я не казался бы себе таким разбойником ошую Христа, понимаешь? Нет, тут ничем не поможешь. Меня одиночество не пугает, я приучаю себя к нему, это нормальное состояние, а смерть — величайшее одиночество. Абсолютное. И не сумею я примириться на каком-нибудь жалком эрзаце. И никогда не бывает во мне так пусто, никогда так не скалит она на меня свои зубы, как после сожительства с Реной. Да и с любой иной! Но оставим это.

Волнение подняло Душана с кресла; он заходил по ковру, чтоб стряхнуть его. Успокоился; протянул Гонзе книгу:

— Вот я откопал кое-что, интересно, что скажешь. Когда-нибудь я вообще брошу читать...

Куда я иду? Гонза понял, что ноги сами несут его к знакомой улице; вот он, дом-магнит, этот обычный виноградский доходный дом. Он хорошо его знает. Внизу табачная лавочка и магазин церковной утвари: кропила, образки, облачения, раскрашенные гипсовые статуэтки святых — ярмарочная краса богоматери с карминными каплями крови. Гонза поднял голову, стал отсчитывать едва видные окна верхнего этажа: первое, второе... третье слева — ее!

Там спит она! Рука наткнулась на столб уличного фонаря, из печурки на углу запахло хлебом, Гонза обхватил пальцами холодное железо. Нет, — мысленно повторял он, стуча зубами от холода, — вот он, мир, вот камень, мостовая, вот город, а утром взойдет солнце как ни в чем не бывало, и просить не надо. И она есть! Ухватиться за нее, за надежную точку вселенной; обнять ее, сказать со вздохом облегчения: ты смертная! Живая! Я влюбился в тебя, и я хочу жить! С тобой, рядом, тобой, для тебя. И в общем-то мне совершенно и окончательно безразлично, что я не знаю, почему существую и какой в этом смысл. Мы просто существуем — и в этом все! И смысл и вся красота мира. Душан этого не знает — он не умеет ощущать то, что сейчас ощущаю я, в его мире темно и холодно, а в моем... так мало нужно, чтоб в нем начало светать! Ты слышишь?

Долго стоял там Гонза, по лицу его стекали капли дождя, а он все ждал в сумасбродной надежде, что случится чудо...

Не случилось. Окно оставалось темным и неприветно молчало.

XIII

Моторчик карманного самозаводного фонарика тихо урчал под нажимом большого пальца, синий свет шарил по лестничной стене: отстающая штукатурка, бесстыдные рисунки, нишка с фигуркой Распятого; истоптанные ступени визжали, гудели.

Синий кружок света прыгнул вверх, упал на лицо: ни один мускул на этом лице не дрогнул, только расширились глаза. Лицо старой собаки — в нем было что-то беззащитное, оно тряслось, как студень, оно внушало отвращение.

Вот теперь бы можно — все спят, шаг, второй, вперед, укротить свое сердце, нащупать пальцами дряблое горло и — сжать, бешено, но с хладнокровной мыслью жать до конца... Пальцы Павла уже знают эту алчущую судорогу...

Почему я не сделал этого? — спрашивал Павел себя, очутившись в своей комнатухе. Зажег лампочку у изголовья, свалился на кушетку навзничь. Выпершая пружина давила бок. Возбуждение медленно замирало в тупом спокойствии разочарования; стук ходиков за стеной убаякивал.

Убить этого человека! Когда-то эта мысль безраздельно владела Павлом. Он носил ее в себе как завет — совершенно логичный и ясный, как день: ведь этот человек виноват во всем! Такой безобидный на вид рот этого человека — щель во мрак его тела — издал тогда крик, заставивший ее покинуть дом. Может, он вовсе не хотел этого, кто знает? Может, он не сделал бы этого, если б в ту ночь в нем не взвыл страх, безумный страх живого существа перед гибелью. Ах, к чему рассуждать! Павел не осуществил своей мысли не потому, что в нем проснулось сострадание; эта мысль бледнела сама. Она приходила к нему лишь временами, когда он видел, как этот человек плетется на слабых ногах по скрипучим половицам галереи, или когда сталкивался с ним ночью лицом к лицу.

Впрочем, он окружен. Он не уйдет. Он знает об этом, и живет как в осаде, и его стерегут десятки прищуренных глаз, а его приветствия падают в пустоту. Он двигается, но он давно уже мертв.

Он не уйдет! Достаточно ночью взбежать этажом выше, приложиться глазом к замочной скважине, затаить дыхание — и можно наблюдать за ним, долго, со спокойной, созревшей ненавистью. Он ли это еще? Эта хилая тень, которую пугает любой шорох? Павел видел уже внутренним взором: однажды эта дверь распахнется, и люди ворвутся к нему, и среди них буду я. На шаг впереди всех! И все же есть что-то непостижимое в том, что он еще дышит, еще двигается; это ведь нелогично.

Павел встал, сжал лицо в ладонях. Взгляд его упал на циферблат ручных часов — он бросился к приемнику. Застанет еще известия из Лондона! Повернул рычажок — в приемнике тихонько запело, потом сквозь свист и треск прорвались четыре удара тимпана: ту-ду-ду-дум! Голоса с того берега, заглушенные шорохом далей, — Павел слушал их, прижавшись ухом к матерчатой шторке, он впитывал их в себя с жадным нетерпением, которое чувствовал прямо физически. Скорее же! Почему диктор так спокоен? Названия, названия, фронты — Павел выучил всю карту Европы, он видел ее перед глазами, ее горы и реки, театры военных действий — странная география... И где-то в самом центре живет, дышит он, незаметный, бессильный... Концентрационные лагеря. Эти слова он слышал уже несколько раз, но не умел за ними ничего представить. Что это такое? Это смерть — и люди, загнанные за колючую проволоку, по которой проходит ток, и за этой проволокой — она, одна, одна... нет, это невозможно, это не может быть правдой. Там ли она? А где же еще ей быть? Вот почему не откликается — не может! Но она вернется, обязательно вернется, пусть исхудалая до кости, пусть обезображенная, с ужасом в глазах, и, может, я не узнаю ее с первого взгляда. Нет, узнаю, узнаю тебя!

Почему ты молчишь?

Павел закрыл глаза и резко выключил приемник.

— Посмотри, — сказал Павлу Прокоп.

Они сидели в чуланчике за антикварной лавчонкой. Тикали часы, пыль лежала на бухгалтерских книгах и на лице Прокопа. Узкое окно

глядело на сумрачный староместский дворик с натюрмортом: тачка, мусорный бак, перекладина для выколачивания ковров.

— Моя страсть — старинная резьба...

Тонкие, сухие пальцы Прокопа любовно ласкали поверхность резной шкатулки.

— Похоже, что это конец восемнадцатого века, но может оказаться и подделкой. Случайная покупка — ту женщину отправили с транспортом... Надо содействовать тому, чтобы подобная красота оставалась в стране и не попадала им в руки. Тоже работа, хоть и незаметная и неэффективная.

Зачем он мне это рассказывает? — Павел шевельнулся, источенный червем старинный стул предостерегающе качнулся под ним. — Я ведь пришел не для того, чтоб глазеть на резьбу и фарфор... От пыли зачекотало в носу, Павел не удержался — чихнул. И второй раз. Целый приступ чиханья, но Прокоп невозмутимо продолжал говорить. Редкостные часики с колонками из алебаstra — примерно конец восемнадцатого века! Он передвинул стрелки — и сейчас же тоненькими колокольчиками часики затенькали знакомый менуэт; Прокоп вынул из ящика деревянного пухлого ангелочка, сдул с него пыль.

— Драгоценность! — произнес он, глядя на статуэтку влюбленными глазами — восхищение очень красило его. — Чистая работа. Барокко. Оценит только знаток! Гляди! И к твоему сведению — эта не продается. По крайней мере теперь. Ни за что не продам ее за ничего не стоящие немецкие бумажки. И не уверен, продам ли вообще когда-нибудь. Время, в которое нам довелось жить, не настолько неизменно и надежно, да и вряд ли когда оно будет таковым! Это время, когда красота прозябает и гибнет, время эпигонства, серийной мебели, насекомообразного единообразия...

Прокоп уловил неподвижный взгляд Павла и замолчал, обхватив статуэтку. Потом стукнул себя пальцем по лбу, губы его дернулись в понимающей улыбке. Минутку! Он спрятал свою драгоценность, энергично прошагал в магазинчик, повернул ключ в двери, выходящей на староместскую улочку; возвращаясь, сбросил широкий плащ чернокнижника, сполоснул руки над раковиной в нише стены.

— Ты, возможно, недоумеваешь, почему я не удивлен твоим приходом?

Он сел на стул напротив Павла и, барабаня пальцами по доске стола, поощрительно улыбнулся гостю.

— Не удивлен, как видишь! Я знал, что ты придешь. — Он перевел глаза на окошко, выходящее во двор; сдвинул виски пальцами, как будто с трудом выжимал из перегруженной памяти обстоятельства их последней встречи; в конце концов махнул рукой. — Чепуха. Я не представлял, что эта шутка с макулатурой так тебя обидит...

— Ну, это уж неважно, — пробормотал Павел.

— Très bon *, забудем! Хочешь, приходи послезавтра. Обещаю — никто даже не улыбнется. В последний раз был довольно интересный

* Очень хорошо (франц.).

спор об Унамуно. К тому же, — добавил он с легкой усмешкой. — подозреваю, что твое присутствие будет приятно кое-кому...

— Это ты оставь! — с излишним раздражением оборвал его Павел. Выражение скрытности на иссушенном пылью лице побуждало его к откровенности. — Что мне там делать? Слушать стихи и грызть соленые палочки? Нет... Не думай, что я такая уж дубина. В иных обстоятельствах все это было бы мне даже интересно... Но не теперь! Не теперь. Не обижайся, но все это кажется мне таким...

— Что ж, договаривай, — вставая, сказал Прокоп. — Таким трусливым, да? Ненужным? Гм...

Он обошел вокруг умолкшего Павла и присел на краешек стола прямо напротив него.

— Сколько тебе лет?

— Какое это имеет значение?..

— Ну, все же, — протянул Прокоп с высоты своих двадцати пяти лет и фыркнул. — Да ты не хмурься. Понимаю. Приступ идеализма. Комплекс самопожертвования. Нет, погоди, дай мне теперь сказать, я ведь тебя не оскорбляю. Без правильного диагноза нет правильного лечения.

— Однако... Я вовсе не желаю ни от чего излечиваться...

Выражение безнадежности в голосе Павла слегка озадачило Прокопа, а может быть, и растрогало немного. Во всяком случае, продолжал он уже без насмешки:

— Ну, хорошо, давай в открытую. Видимо, ты не совсем понял смысла этих... ну, скажем, заседаний. На твой вкус они, видно, недостаточно эффективны, но... Не кажется ли тебе, что сначала надо во всем разобраться? Да, раз-о-браться! Уверяю тебя, это не так просто. Ведь мы живем в пустыне. В навозной куче. Посреди духовной целины. Более того, в сумасшедшем доме. Понять надо... а потом действовать!

— Да, но... — уже соглашаясь с ним, все же возразил Павел, — ведь за это время и война может кончиться...

Недоуменный взгляд Прокопа остановил его на полуслове.

— Ну и что же? — Прокоп примиряюще усмехнулся: взял нож для разрезания книг, рассек им воздух. — Вот так, что ли? Гм! Годится для деревенских парней в храмовый праздник. Кому ты этим поможешь? Визг слепых щенят... Они с этим здорово умеют справляться. *Sancta simplicitas!* Скажи, пожалуйста, что ты вообще понимаешь?

— Может быть, и ничего, — Павел постучал костяшками пальцев по спинке стула, — но я по крайней мере знаю, что люди умирают!

— И хочешь разделить их участь?

— Нет! Но не желаю безучастно смотреть на это! Пойми! Ведь это зло. Реальное. Я не сомневаюсь, что это зло...

— Колоссальное открытие! — не скрывая нетерпения, перебил его Прокоп. — А я-то не мог сообразить... — Он бросил нож на стол. — Ну, продолжай, надо же до чего-то договориться. Значит, ты думаешь схватить книжал и — марш в поход против танков! Жест! Давид использовал в борьбе с Голиафом пращу и камни, и об этом пишут до сих пор — так?

Рука Павла повисла в растерянной пустоте — дальше была уже только печальная неудовлетворенность. Ощущение пут.

— Ага, начинаю понимать! — сказал Прокоп: он соскочил на пол и положил ладонь Павлу на плечо. — Просто ты пришел, чтоб убедиться, действительно ли... существуют те, «наверху». А вдруг! Так или нет?

Это было так. Павел резким движением стряхнул руку Прокопа; стиснув губы, он молчал. Жалел, что вообще переступил порог этой дыры.

— Ну, а если те, «наверху», действительно существуют? — сдерживая смех, напирал Прокоп, которого ничуть не смутила неприязненность Павла. — Что, если они и впрямь руководят борьбой? Не беспокойся, в них сейчас недостатка нет. В известном смысле их около семи миллионов. Не веришь? Послушай, ты отдаешь себе отчет в том, что борьба всегда идет не только прот и в чего-то, но и за что-то? Не понимаешь? А ты как думал? Замолчат орудия, немцы уберутся, и у нас начнется мармеладная идиллия? А тебя нисколько не интересует, кто эти люди «наверху»? И как они себе представляют то, что будет потом? И чего они хотят?

— Не интересует. Если они, конечно, хоть что-нибудь делают. А не болтают.

— Ты больше ребенок, чем я ожидал, — серьезно осадил его Прокоп.

Он помолчал, обдумывая что-то, будто перебирал мысленно слова, которые следовало сказать; потом доверительно наклонился к Павлу, и голос его дружески смягчился:

— Оставим страсти, они для трактирных спорщиков. Смотри: я не имею никакого желания затрагивать твои чувства. Они и мне не чужды. Просто я знаю немного больше. Ты лист бумаги, на котором еще ничего не написано. Под словом «понять» я, конечно, подразумеваю слово «предвидеть»! В любом случае выигрывает тот, кто умеет предвидеть. Логично? Проверено на опыте истории. Предвидеть — значит быть подготовленным.

«Ну, а дальше что?» — спросил Павел прищуром глаз.

Прокоп, похоже, понял немой вопрос — лениво усмехнулся, видно не решаясь на что-то. Вытащил из ящика стола помятый альбом, перелистал — в нем были эстампы. Показал их Павлу с восхищением ценителя красоты:

— Что скажешь? Прелесть, правда? Вот это...

Павел глазом не моргнул — только скользнул взглядом по листам и отвернулся. Прокоп разочарованно вздохнул.

— Кажется, ты еще не понял, что важно уже не то, что есть теперь, а то, что будет потом, — объяснил Прокоп со скукой в голосе.

— Я сейчас об этом не думаю.

— В том-то и дело!

— А что будет потом?

Прокоп пристально посмотрел на Павла.

— Я не пророк. Но у меня есть свои опасения. Потому что так

просто дело не кончится. Понял? Ничего не будет кончено. Наоборот. Только тогда-то и начнется борьба, и это будет наша борьба. Моя. Для нее-то и надо вооружиться, потому что та борьба и будет решать судьбу всех ценностей, созданных человечеством за все время существования. К твоему сведению, — добавил он, сдвинув брови, — я ненавижу любительство. Во всем — в искусстве, в войне, вообще!

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что борьбу с ними, — он ткнул пальцем по направлению к улице, — я совершенно спокойно предоставляю русским. И армиям западных союзников. В общем солдатам. Немцы уже при последнем издыхании, и когда на Западе произойдет высадка... Но и это предоставим им, это их бизнес, не наш. Теперь это уже не вопрос веры — это знает каждый ребенок и, конечно, большинство немцев. Вот почему так называемое Сопротивление, каким его представляют себе некоторые люди с бараньими мозгами, вся эта нелегальщина, если хочешь знать мое мнение, просто романтическая глупость. Чистой воды любительство и халтура, за которые без всякой нужды платят многими жизнями; а вся-то цена ему — грош в базарный день. Школярство! Хорошо для тех, кто не хочет или попросту не умеет заглядывать вперед.

Два пристальных взгляда встретились, вперились друг в друга. То, к чему столь осмотрительно приближался Прокоп, постепенно вырисовывалось из его слов.

— Но ты не можешь так думать серьезно...

— Совершенно серьезно.

— Тогда... к чему эти бдения... эти лозунги... весь этот балаган... Я-то думал, что... Я думал...

— Я не отвечаю за то, что ты думал, — жестко перебил его Прокоп; волнение заиграло в его пальцах, на пергаментном лице и вдруг разразилось в словах, произнесенных сдавленным голосом: — Не хочется верить, что ты так безнадежно ограничен. Я предполагал — и все еще предполагаю, — что ты интеллигентный, образованный человек, воспринимающий жизнь реально, а не мальчик, которого швыряют из стороны в сторону возрастными эмоциями. Уже теперь, — Прокоп постукивал костяшкой пальца по столу, — уже теперь происходит отбор. Этого не избежать ни тебе, ни кому бы то ни было в нашей стране.

Он ходил кругами вокруг замершего Павла, и в нем вдруг стал явствен особый интерес к Павлу: этот интерес вынырнул из-под насмешливой и самоуверенной невозмутимости, к которой Павел уже привык, и подчинил себе все движения Прокопа. Он ткнул указательным пальцем в Павла.

— А чего, собственно, хочешь ты? Да ты и сам не знаешь! Нашему поколению не дано идиллий. Мы вползаем в апокалиптические времена, и я не строю себе никаких иллюзий, никаких! Разгромить немцев — это еще не решение. Нынче уже гораздо важнее, что будет после всего этого... Что? Мир, каким мы все его представляем. Не сомневаюсь, что и ты в своих розовых мечтах представляешь его таким, уверяю тебя, иначе я не стал бы с тобою возиться, — мир, в котором еще будет место для человечности, для интеллекта .. для красоты, — или но-

вое варварство, чуждое нам. Повторяю: чуждое нашей стране и, может быть, еще более страшное и могущественное, потому что более обоснованное идейно! — Он остыл: перевел дух, усмехнулся меланхолически, и в голосе его зазвучала грустная усталость. — Если б мог человек избирать эпоху, в которой он хотел бы жить... если бы! Тогда я не сидел бы тут с тобою. Нет, я не преувеличиваю, к сожалению! Вот почему — понимаешь теперь? — вот почему уже сейчас надо собирать воедино всех интеллигентных, порядочных людей, учиться понимать... другими словами — вооружаться, готовиться... Об одном прошу тебя — не поддавайся всем этим истрепанным панславистским лозунгам, выброшенным на потребу черни и тупоголовой толпы, всей этой болтовне о братьях-освободителях... Как видишь, я с тобой откровенен... Не воображай, что они спят! Блажен, кто верует... Они уже теперь сбиваются в кучу, чтоб захватить весла...

— Кто — они?

Озадаченный прямым вопросом, Прокоп замер на месте, оглянулся.

— Тебе особенно к лицу выражение грудного младенца.

Кошка за окном вспрыгнула на крышку мусорного бака, с царственным видом озирая грязный, покрытый сажей мир.

— Я серьезно.

— Как видно, ты считаешь мои опасения преувеличенными.

— Я считаю все это свинством, — сдавленным голосом проговорил Павел. — Ты меня не за того принял.

— Вижу. И кажется, напрасно говорил так открыто, — вздохнул Прокоп. — Надеюсь, по крайней мере ты будешь держать язык за зубами. Я бы не советовал тебе звонить.

Павел усмехнулся с отвращением:

— Да и не о чем...

Собеседник его уже успел натянуть привычную маску надменного спокойствия. Дурачок, ты меня не можешь оскорбить, — явственно говорило пергаментное лицо. С нарочитой небрежностью Прокоп стал перебирать бумаги на столе, давая понять, что считает аудиенцию оконченной.

— Не понимаю, впрочем, зачем ты вообще дал себе труд приходить сюда, — сказал он, не поднимая головы.

Павел, шедший к двери, обернулся:

— Я тоже.

Взялся за ручку двери — она была заперта изнутри. К чему? Павел повернул ключ, вырвался на улицу и так хлопнул дверью, что задребезжали стекла.

Куда теперь? К ребятам? Поговорить бы с кем, выложить все, что на душе... Да кому? Гонзе? Этот еще ближе других, хотя и он...

Нет, этого словами не выразишь.

Павел перевернулся на бок, вперил глаза в раскаленную проволоку лампочки; вокруг наслаивалась тишина. Горы тишины! Ее можно было трогать руками. Почему она молчит? Ведь дышала здесь, смеялась,

телом своим касалась его — и вот уже лицо ее в нем расплывается, даже не слышит он ее далекий голос, потому что время — самая страшная даль. Почему она не откликается больше?

На ходу Павел потушил лампу — и настала тьма, в ней он сбегал по гулкой лестнице — сырость подъезда, дверь, широкая, тяжелая дверь, через которую тогда вошла она, и вот улица с шорохом дождя. Павел глубоко вдыхал влажный воздух, подставил дождю лицо, капли нежно постукивали по его векам, он слизывал капли языком с губ.

Бежать от себя — в этом было неожиданное облегчение; Павел без цели бежал по улицам, и только будка телефона-автомата, вдруг выступившая перед ним из промозглой темноты, остановила его бег.

Огонек спички метался по густым строчкам телефонной книги. Павел долго прижимался ухом к холодной трубке — никто не отвечал. Еще раз! И когда уж хотел повесить, услышал сквозь писк и потрескивание далекое, едва различимое «алло!».

— ...Вы слышите меня, Моника?.. Нет, нет, ничего не случилось, не пугайтесь, я не хотел вас отрывать, я только...

— ...приходите... Нет, что вы, не мешаете, я ждала вашего звонка, честное слово! Все равно не могу спать. Я буду ждать вас в подъезде, давайте скорее...

XIV

Эта ночная смена началась, как любая иная, и ничто не предвещало, что она не изгладится из памяти. В половине седьмого провыла сирена, и двенадцатичасовая вечность развернулась как скучный ковер, по которому топать и топать вплоть до мутного рассвета.

Гонза пробежал глазами свою карточку у контрольных часов: ага, приход отмечен в четыре! Чудесно. Оглянулся; мастер Даламанек склонился над своим столиком с бумагами; он, несомненно, знает обо всех этих проделках, но у него другие заботы. Ведь завтра четверг, день, когда немецкое руководство и свирепый божок Каутце созывают на совещание начальников цехов и мастеров. Тоже мне совещание! Кто там советуется? Сгоняют, как собак, в кучу и грозят тюрьмой! «Империя, — твердит каждый раз Каутце, — не собирается больше терпеть безобразие, которое тут творится, в то время как она ведет титаническую борьбу!» Ничего, пока он только глотку дерет, дело не так плохо. Кое-что можно свалить на катастрофически скверное снабжение — вражеские налеты все чаще нарушают доставку, — кое-что на чудовищную аварийность, без конца все перемещают, переставляют, дня не проходит без происшествий! Бардак, не завод! Саботаж! Это слово растет, щекочет спину сотнями паучьих ножек. И чем все это кончится, господи боже мой?

«Малявка» Густик корчился на стуле между железными шкафчиками в гардеробной, кулаками месил свой живот. Видно, съел какую-нибудь тухлятину.

— Б.....я жизнь, — кряхтел он в перерывах между приступами

боли. — Лучше подохнуть, чем вот так... Папенька с маменькой позавлялись пять минут, а ты теперь мучайся, как собака!

— Факт, сплошное дерьмо, — мужественно поддакнул Богоуш.

— Не говори грубостей! — прикрикнул на него Пепек, натягивая рабочие брюки. — В ад попадешь! — добавил он, многозначительно кивая в сторону Архика.

Когда тот скромно удалился из гардеробной, Пепек созвал ребят в кучку.

— Андела поклялась, что после полуночи в малярке распробует нашего небесного женишка...

И он захихикал, представляя, как этот святоша падет в объятия многоопытной шлюхи из фюзеляжного.

— Сомневаюсь, — сказал Леош, чтоб раззадорить Пепека.

— На что спорим? Она с него штаны стащит, не успеет он аминь сказать! Она его уж надкусила. Вчера я слышал, как она ему пела: мол, тягостна ей эта грешная жизнь, и ужасно ей страшно, что в пекле так жарко... Даже слезки цедила! Слыхали бы вы, как он ее на путь праведный наставлял да звонил об этом самом милосердии... Нет, он уж с головой увяз, так и трясется. А кто при нем что вякнет, тот подлец...

Пришел Пишкот и, как всегда, внес с собою приятное оживление.

— Ну, как Попрыгунчик, Пишкот?

— Вчера, как гнались за ним, перескочил через Влтаву и трамвай скovyрнул. Пятый номер.

Милан нахлобучил на голову свою знаменитую шляпу с пробитыми полями и, не сводя глаз с Бациллы, который тихонько жевал у своего шкафчика хлеб с маслом, поддержал рассказ.

— Слышать, он теперь все на жирных нападает, — убежденно проговорил он. — На твоём месте, Бацилла, я бы не вылезал ночью на улицу. Отвали-ка! — И он, не ожидая разрешения, отломил кусок от бутерброда Бациллы, который тот ел, и затолкал себе в рот.

— Очень важно, — коварно заметил Леош, — на чьей стороне будет Попрыгунчик, когда разразится твоя революция, Милан.

— Дурак!

Гонза подошел к Пишкоту:

— Курнуть нету? Верну, когда паек выдадут.

Пишкот сокрушенно почесал в лохматой голове.

— Нету, дружище. Вчера, вишь, дождем мою лавочку залило.

Известно было, что Пишкот не стесняется нагнуться за самым крошечным, хотя бы даже и затоптанным окурком; он называл это «ловить тигров». Окурки он прятал в жестяную коробку из-под боснийского табака, чтоб они пропитались запахом, и свертывал из них сигарки или «фаустпатроны».

— Впрочем, лично я эту проблему решил, — продолжал он, двигая бровями, — только это не для неженков.

Пошарив в глубине своего шкафчика, он подал Гонзе сигарку, подозрительно шелестевшую в пальцах.

— Подохнуть можно! Солома или похоронный венок?

Гонза закашлялся после первой же затяжки, слезы брызнули у него из глаз, но он не сразу сдался.

— Травка от ревматизма. Марки «Лесняк»! — Пишкот имитировал голос диктора из кинорекламы. — Не забудьте! «Лесняк»! Легкий, нежно ароматический! — Он шутовски ухмыльнулся. — Черт побери, не может же это вредить здоровью, раз в аптеке куплено, а? Мой фатер выращивает самосад в цветочном горшке, по-моему, он никогда не вырастет. Вчера папахен срезал стебелек, на нем еще и листочков-то не было, и высушил в духовке. Ему-то нипочем это зелье, но обыкновенного человека от одной затяжки пронзает насквозь, до пяток, и он сейчас же в слезы, как на похоронах...

— Ладно, заткнись... — Гонза погасил сигарку, сжав ее пальцами, но не бросил, сунул в карман. Рукой разогнал воюющий дым перед носом.

Пишкот обиженно завертел головой.

— Больно ты нежный. Когда глотка притерпится — не стесняйся, у меня целый ящик припасен на тот случай, если людишки откроют эту травку в аптеках. Марка «Лесняк», помни!

Мелихара Гонза застал под стапелем; тот привертывал шланг к крану воздухоподачи, мурлыча единственную свою песенку. Привернув, нажал на спуск, но молоток молчал. Молчали все молотки; рабочие, сунув руки в карманы, слонялись между стапелей, чесали языки, в то время как Даламанек в панике бегал по своему участку — только полы халата развевались — и призывал всех образумиться.

— В чем дело?

— Воздуха нет. Раньше полуночи разрыва не найдут.

Это уже второй раз за неделю; а вчера для разнообразия на полсмены вышла из строя электростанция: Каутце гонял ремонтников как бешеный, орал и грозил гестапо, пока не была обнаружена причина аварии. Саботаж!

Гонза, нахмурив лоб, наклонился к Мелихару:

— Похоже, будто кто нарочно...

Глазки, всаженные глубоко в подушечки лица, строго обожгли его.

— Насчет этого, гимназистик, спрашивайте у Каутце...

Гонза оскорбленно поплелся прочь. В проходе между стапелями Даламанек возбужденно спорил с рабочими.

— А в чем дело-то? — развязно громыхал Гиян. — Над нами не каплет... Пускай герр Каутце пошлет сюда веркшугца потолще, мы ему шланг к заднице привернем...

Слова его утонули в хохоте, Даламанек убежал, как побитый. Восемь часов! К шкафчикам за стапелями пришел Леош, оторвавшись от своей картотеки: с несчастным видом он встряхивал птичьей головой.

— Надвигается погром, ребята, — вещал он. — Десять тысяч сверл и две тысячи лампочек! Поджечь, что ли, все? Если ревизия — мне не выкрутиться, а эта свинья Канька опять вино хлещет и на скрипочке пиликает. О дева Мария! «Мы еще насладимся жизнью, — толкует он своей команде, — прежде чем нас повесят за причинное место». Нет, это блюдо с перцем, здорово глотку щиплет...

— А кто в проходной?

— Гляди в оба, — поднял голову Пишкот, ковырявший ножом кусок дерева. — Там нынче Заячья Губа сидит. Обер-свинья! В понедельник лазил по сумкам, даже баб проверял. Куча штрафов. Янечека-грузчика подкузьмил.

Предполагалось как нечто совершенно естественное, что Пишкот знает все, что происходит на заводе. Он был ходячее телеграфное агентство.

— А что Янечек сделал?

— Воровал на пару с одним из склада, а Заячья Губа возьми да залезь к нему в шкафчик. Держать такие вещи в своем шкафчике — голое любительство. Верно? А вообще-то он только помогал другому. По дружбе. Ну, сначала сцапали этого другого да в живодерне все из него и выколотили. Воровать тоже уметь надо.

Бацилла в ужасе хлопал глазами:

— А что он теперь?

— Если его пошлют на отдых в Градиштский лагерь — пусть благодарит господу бога. Там хоть со свету не сживают.

Мимо грушки, в которой царствовал Пепек, шмыгали девчата из «Девина». Сортировка их с детальной оценкой, с выставлением отметок относилась к излюбленным развлечениям Пепека и его прихвостней в ночные скучные часы. Власта больно дорожится. Чепуха! У нее какой-то хахаль с контроля. Вранье? Спроси ребят с выдачи. А новенькая — форменная двойка. Сам взгляни! Сзади-то ничего нет!

Прошла мимо тихая парочка влюбленных, их называли «Еничек и Марженка»*; они всегда держались за руки и преданно смотрели в глаза друг другу. Счастье робко озаряло их некрасивые лица. Дети, заблудившиеся в дремучем лесу... Грубость, царившая кругом, казалось, их не достигала — они видели и слышали только друг друга. Еничек и Марженка, где ваша пряничная избушка? — всякий раз думал Гонза, увидев их, и вид этой парочки действовал на него успокоительно. Незамеченные, они выскользнули во двор.

Девять часов, а молотки все молчат, снаружи в цех доносятся крики, топот сапог; в уголке за ящиками шлепают картами.

— Ба, да к нам гости! — оживленно закричал Пепек. — Кипятите кофеек, мальчики! Анделушка, я вот он! Мыдохнем от тоски, жемчужинка моя...

Местная богиня секса приближалась вальяжной походкой. Она вся расцветала под мужскими взглядами. Пепек хотел было схватить ее, но она шлепнула его по руке, ничуть не обидевшись.

— Отзынь! — Андела оскалила острые зубки, улыбнувшись дразнящей улыбкой, и огляделась, словно выискивая жертву.

Пепек доверительно наклонился к ней:

— Если ищешь святошу, так он вон там, за четвертым стапелем, зубрит в обратном порядке семь смертных грехов, а сам трясется — очень уж ему хочется совершить первородный грех.

* Персонажи чешских детских сказок.

— Не квакай!

Наконец Андела нашла того, кого искала. Это был Капела; он сидел на перевернутом ящике, сложив руки на острых коленях, и с мирным достоинством глядел в пространство. Через плечо его был перекинут нарядный, ручной работы шарф, и выглядел Капела необычайно благородно.

— Эй, Капела! — заорал Пепек. — К тебе клиент пришел! Ну-ка предскажи ей какого-нибудь двухметрового — обычного-то ей мало...

Эти слова ввергли девицу в непривычное смущение.

— Не слушайте его, пан Капела! Дурак он. Найдется у вас для меня минутка?

Художник ошастливил Анделу приветливой улыбкой.

— Конечно. С удовольствием, барышня...

Он поклонился со старомодной галантностью и повел ее в сторонку, не спеша, не роняя достоинства. Всем было известно, что к многочисленным талантам и знаниям Капелы относится и искусство графологии; так он, нимало о том не заботясь, всегда бескорыстно приветливый, сделался предсказателем судеб для многих женщин и девушек. Он умел молчать, как могила, но популярность его росла не только по этой причине; будущее, которое он раскрывал в своих предсказаниях, таинственных и невнятных и потому возбуждавших доверие, было как сладкий пирог, обильно утыканный изюмом. Сам бедный и незначительный — Капела щедро дарил обещания, выслушивал своих клиенток, понимал их и отпускал грехи, как добрый боженька.

Десять. Гонза увидел, как Мелихар машет ему рукой от двери. Понял — зовет в столовку. Обычно он чувствовал себя слегка польщенным таким приглашением, но сегодня еще не переварил злость на Мелихара.

В темноте двора он узнал его по очертаниям спины и по медвежьей походке, присоединился к нему, но упрямо молчал. Так и шагали они рядом мимо моторного цеха — Мелихар на две головы выше, — и теплый ветер ощупывал им лица. Гонза начал было насвистывать, но бросил, услышав воркотню спутника.

— Ну, в чем дело, молодой? Язык отнялся?

Гонза неохотно бросил:

— А что?

— Что опять не по вас?

Гонза поколебался, подыскивая слова.

— Ладно, скажу. Работаю я с вами уже не первый месяц, вот и досадно, что вы все мне не доверяете. Я, знаете, не предатель.

Прошел мимо веркшущ с овчаркой на коротком поводке.

— Глупости, — сердито сказал Мелихар, когда веркшущ скрылся. — Не так все это. Только и у нас есть кое-какой опыт по части болтовни, так-то, молодой.

Гонза упрямо не отвечал, и потому Мелихар через некоторое время сам заговорил:

— Вот что я вам скажу: видал я тут много таких, что выхвалялись

бог весть как, а язык развязывали после первой же затрецины. По моему, кто больше задается, тот раньше в штаны накладывает и выбалтывает, чего и не знает. Оно ведь совсем другое дело, когда тебе вывеску разобьют. Не хотел бы я это испытать. А вам приходилось? Разве что от папаша, а?

— Нет, не приходилось, — буркнул Гонза.

— Ну вот, — удовлетворенно вздохнул Мелихар. — А мне приходилось. Не сейчас, до войны еще. Да ничего особенного. Работал я тогда в бродячем цирке рабочим, лавочка называлась «Диана»... Надо же было где-то работать, клепальщиков всюду как собак нерезаных, на завод-то не попасть... Был в том цирке эдакий плюгавенький хлюстик, очень уж он ко мне придирался — со мной это часто бывает, всякие недоноски на меня зуб точат. Мне бы его разок двинуть, небось в мостовую по плечи вошел бы! Не так-то это просто, молодой, когда бьют взрослого мужика, да еще отца девчонки. Дело не в боли, а странно как-то... Выдрали тебя, будто уличного мальчишку, думаешь потом, только что штаны не спустили да девчонку не позвали: смотри, мол, как отца дерут. Тьфу! Ну, арестуйте, согласен — только не это!

Он сплюнул в темноту: и было по его словам, как воспоминание об этом унижении не забылось даже после стольких лет. Помогло ему на ние, тронувшее Гонзу,

— Слушайте, папаша, обидитесь, правда? Прага борец?

хотел вас спросить, вы ведь не арке выступали под маской как

В следующее мгновение. Мелихар грузно т

хотел, что не подавился этим воплем с присвистом.

— Ну и что? — буркнули люди! И чего мне, черт побери, стыдиться?

хотел. — Кому какое дело? Вот болтают люди! И чего мне, черт побери, стыдиться?

— Да нечего, — быстро сказал Гонза, переводя дыхание. — Мне, например, даже хотелось бы посмотреть вас на ковре.

— Чепуха! — проворчал великан. — Враки все. Ясно?

Но через некоторое время он опять заговорил об этом, и в голосе его звучала нотка тщеславия и гордости оттого, что он так силен. Это сразу сблизило его с Гонзой.

— А в общем-то не такая уж это безделица — сделать двойной нельсон Свенсону или несколько минут продержаться против Абулы из Абиссинии! Публика тогда болела за него из-за той войны. Ну и ладно! Он-то был лучше, чем эти мартышки с человечьими рожами, которые орут вокруг ринга. Только для настоящего клепальщика это все равно не дело. И не помню я ничего про это, молодой.

Он рывком распахнул дверь столовой. Угар, состоящий из различных запахов и табачного дыма, недвижно стоял над грязными столами в мертвенном свете плафонов; от него щипало глаза. В столовой у Гонзы всегда сжимался желудок от отвращения к этим неопишуемым, ужасающе постоянным запахам. Грязь и холод...

Зеленоватые лица за столиками неподвижны. Гавел, верхуц-певец, развалившись над кружкой скверного пива, до предела напрягает голосо-

вые связки. «Смейся, пая-ац!» Его хриловатый тенор, испорченный пивом и дешевой водкой, бьется среди грязных стен, хватая за сердце слушателей. Несколько пожилых женщин растроганно вытирают глаза... «Ха-ха-ха! — хохочет, рыдая, певец. — Над разбитой любовью!» В паузах Гавел отирает ладонью губы, прикладывается к кружке.

— Тсс! — со всех сторон зашипели на вошедших.

Певец оборвал разом, будто проснулся; нахмурился, встал. Bravo! Гавел под аплодисменты пошел к двери неверной, пьяной походкой, а пистолет, которым он в жизни не воспользовался, болтался в кобуре на незатянутом ремне.

— Добро, — оценил его искусство Мелихар, почесывая большим пальцем свой раздвоенный подбородок. — Эх, жаль, пропадает канарейка... За сердце берет.

В столовке торчало несколько знакомых тотальников. Пишкот, двигая густыми бровями, рассказывал им что-то смешное. Замечательный шут, — с одобрением подумал о нем Гонза. — Принимает ли он всерьез хоть что-нибудь?

Мелихар величественным движением поднял пол-литровую кружку, обтер края тыльной стороной ладони и осушил залпом.

Гадость! Пиво холодило желудок, Гонза отпивал его маленькими глотками, поглядывая на Мелихара поверх кружки. Отношения у них опять наладились. В который раз? И надолго ли? Собственно, Мелихар — первый рабочий, с которым Гонза близко познакомился. Милан утверждает, что будущее принадлежит таким Мелихарам, что они выведут человечество из всей этой неразберихи и устроят рай на земле. Коммунизм и так далее. Гм. Милан — псих. Однако кто знает? Во всяком случае, не я. Душан? Но тот живет в каком-то нездешнем мире. А где живу я? Нигде. Я только бреду ощупью, озираюсь хмуро, и все так сложно и запутанно! Я — и мир, я — и она... Даже я — и Мелихар ничуть не яснее. Понять бы, разобраться, что к чему! Чепуха. Рабочие — это и есть Мелихар, Гиян, Маречек и Войта, в общем все из нашего цеха, кроме нас, тотального сброда, которому нельзя доверять, и еще кроме мастеров, колбков, и веркшущев. Стало быть, им-то и принадлежит будущее! Это показалось Гонзе довольно невероятным. Почему же им? Немцы, ясно, лижут им задницу, потому что без них не будет ни пушек, ни самолетов. И вообще ничего не будет. Что же в них такое? Они вроде совсем непохожи друг на друга, это и Мелихар говорит. Есть среди них славные ребята — таких Гонза представлял себе, когда читал «Первую спасательную» Чапека: с такими не побоишься и к черту на рога лезть. Но есть ведь другие — и спекулянты и работяги, которые за лишнюю пайку сигарет или водки готовы пупок себе надорвать, есть и добычливые хозяйчики, те самые, которые спешат перекрыть крыши своих гнилых домишек и воруют цемент не для того, чтобы поскорее столкнуть в гроб немцев, а чтоб достроить свой крольчатник. Ох уж эти папаши семейств! Они ужасно честные, да только для себя и своих. По воскресеньям отводят душу на футбольном поле, а так им на все наплевать. Нет, не могу я их себе представить ни в какой

революции. Разве что неосторожно зацепят заборчик их огородика... Впрочем, и тут, видно, не так все просто. А я не Павел, которому хочется погнать всех на танки и пулеметы. «Ничего вы тут не понимаете, молодой, не жили вы тут раньше», — говорит Мелихар. Наверно, он прав. Он думает иначе, потому что прожил другую жизнь. Недавно заклепали очередное крыло, и Гонза, яростно отбросив поддержку, зло сказал: «Ох, хоть бы расколошматили всю эту лавочку! Вдребезги!» Он ожидал одобрения, но Мелихар смерил его непонятым взглядом. Какие-то слова, видимо, вертелись у него на языке; он плюнул. «Хороши же вы, молодой!» Тон Мелихара ясно свидетельствовал о том, что опять он отдаляет Гонзу от себя. «Вы-то потом вернетесь к своим книжкам, верно? А нам где тогда работать? Это вам не приходило в голову? Понадобится — и расколошматят... Хоть бы и в конце войны. Только я-то от радости плясать не стану. Машины ни в чем не виноваты» И Мелихар постучал себя пальцем по лбу. Прав он или нет? Ведь тут работают на Гитлера, на его сволочную войну, значит пусть разбомбят завод к черту! Тысячу раз! Рабочие... Что-то происходит между ними прямо на твоих глазах, они переговариваются безмолвными взглядами и не подпускают тебя к себе. Ты — чужак, незванный гость, по кличке «тотальник». Наверняка есть среди них и коммунисты. Но кто? По лицу не узнаешь, а чувство такое, что они-то между собой знают, хотя и слова не обронят. Раз как-то в получку Гонза заметил, что Мелихар сует Гиану в руку несколько бумажек. Спросил Мелихара прямо, ответом было неохотное ворчание: «Бабам с детьми, у которых мужей посадили, тоже есть надо, как думаете? Да вас это не касается». Гонза мигом сообразил. «А я думаю, касается!» Глубоко посаженные глазки Мелихара приклеились к нему испытующе, потом он кивнул: «Добро. Коли хотите — отчего же... Больно вы любопытны, молодой...» — добавил он, отфыркиваясь и криво усмехаясь. Но слова эти звучали не сердито. С той поры Гонза от каждой полочки отделял сотню и молча передавал Мелихару, понимая, что этим не купить его откровенности. Язык у него чесался от множества вопросов, но он был осторожен. Вот ведь как — на первый взгляд все просто; завод, на заводе сотни людей, они работают, ругаются, лодырничают, а за всем тем и подо всем тем разыгрывается что-то такое, чего ты не понимаешь: ходишь, как в джунглях, ты вроде зайца, который видит мир со своей кочки, и любопытство мучает тебя нестерпимо. А есть ли здесь подпольные группы? Гонза в этом не сомневался. Аварии, хаос, с которыми все труднее справляться начальству, — это не случайность, здесь есть система. А то, что никакая случайность не может срабатывать так интенсивно, знает, конечно, и сам великий божок Каутце. Как-то Милан назвал несколько имен, которые произносятся тут шепотом, которые уже овеяны легендой, но большего Милан не знает, так как сам из числа пришельцев. Коммунисты! Слово это пахло смертью — и тем более оно дразнило воображение. Гонза слышал, что большая часть коммунистов арестована, кое-кто расстрелян, кое-кто скрылся или попал в тюрьму и концлагеря. Но, конечно, не все. Гонза готов голову прозакладывать, что каждый день проходит мимо кого-нибудь из них, может быть, стоит рядом в уборной или прикуривает

бы он сейчас свое философское спокойствие, свое ослепительное равнодушие? Аромат чая... А тут уже не теория ужаса, тут практика его... Страх? Да, но не так просто: видимо, существуют разновидности страха и различные степени его интенсивности. Тот страх не был похож ни на один из тех, что я испытывал в жизни: он просыпался где-то в области желудка, неестественным холодом отдавал вниз, безболезненно сжимая чресла...

Да шевельнитесь же наконец! И — карканье вопросов: за кем? За мной? Ручаюсь, такие вопросы возникли в ту минуту у всех, кто увидел вошедших. Нет, уже сосредоточенность их подсказывала, что они явились не для того, чтобы схватить шутника, нацарапавшего издевательскую надпись в уборной, — тут дело серьезнее... Но что же? За кем?.. Голос Мелихара за спиной: «Гляди в оба! Они!»

Даламанек! Он опомнился первым, кинулся к стапелям, театральными, просительно-угрожающими жестами умоляя изобразить кипучую деятельность. Да пошевеливайтесь же, господа Иисусе! Действительно, грохот пневматических молотков на минуту усилился, умножился, но тут же и сник в остывающем шипении. Последнее одинокое «трррра» — и смолкло все...

Гонза посмотрел в сторону «Девина» и по выражению лица Бланки понял, что она все заметила, все знает. Тогда он оглянулся: рядом, сгорбясь, стоял Павел. Исхудалое лицо с натянутой на скулах кожей болезненно бледно, пальцы обхватывают железную подпорку стапеля так крепко, что суставы побелели. Дышит ли он? Коснулись друг друга беглым взглядом. И тотчас перевели глаза на Даламанека: тот, невероятно уменьшившийся, усердно кивая, отвечает на какие-то вопросы; вот обернулся, показал рукой в дальний конец прохода между стапелями.

Сотни глаз устремились вслед его жесту.

Чужаки двинулись. Пошли по проходу тесной кучкой, не торопясь, не обращая внимания на взгляды, провожавшие их, — заведенные роботы, неумолимо направленные к цели...

Тишина, тишина, размеренность шагов...

...и в этой тишине — там, в конце участка, возле невысокого ряда шкафчиков с инструментами, за последним скелетом крыла, на месте, невидном отсюда, родился шум движения... Стук деревянных подметок, грохот падения и опять этот стук... Он был как сигнал, будто кто-то нажал кнопки под плащами пришельцев — они рванулись вперед. Шорох, лающие выкрики. Все вдруг неправдоподобно убыстрилось под топот окованных сапог.

— Weitermachen! * — орал обезумевший Каутце, размахивая руками, а его никто не слушал: — Weiter...

«...и не подозревал ничего, — рассказывал позднее дрожащим голосом Бацилла; он давился словами и все оглядывался. — Только уж когда вошли... «Бог мой, — говорит, — что это вдруг как тихо стало... Пошли дрыхнуть, Бацилла...» Пузырь — так еще назвал меня... А тут уж Гиян машет, показывает туда... Я заметил, как он вздрогнул, глянул в

* Продолжать! (н е м.).

проход и затрясся всем телом... «Ну, ребята, мне конец», — успел он еще сказать и не сразу сообразил, куда кинуться... завозился в своем шкафчике... Потом вдруг как-то дернулся и сорвался, как бешеный... Может, не следовало ему бежать, лучше бы стоял спокойно, не знаю... Споткнулся об ящик, запутался в проводах от сверла, но все-таки встал потом...»

Или тебе только чудится? Нет, это шум охоты... «Weiter arbeiten! * — орет Каутце, и жилы вздуваются у него на шее. — Всем оставаться на местах! Не двигаться!..»

— Пишкот, —дохнул над ухом Павел.

Гонза заметил, что Павел весь дрожит.

Нет, зрение их не обманывало. Они увидели Пишкота, видели, как он с проворством куницы мечется между верстаками в дальнем конце цеха — там было пусто и полутемно, свет туда падал издали, от ступеней, — Пишкот бежал... А страшный, предательский стук «кораблей» бил прямо по костям. Загнанный заяц... Взгляд через плечо, и дальше... топот сапог, и крик, и лай команд. Чужаки разбежались в стороны, чтоб окружить его... Вот он исчез из виду, но сейчас же мелькнула его светловолосая голова, вон он... мчится к дверям термички... От двери отделилась темная фигура, бросилась навстречу... Назад! Пишкот, назад! Куда ты? В малярку и через нее вон, в ночь... Топот, рев... Закрой глаза, чтоб не видеть, прямо тошнит, до того все это нереально... Были бы у него пружины на подметках, ушел бы, может... Почему не стреляют?... А кругом глаза, глаза, раскрытые в ужасе, с помертвевшими зрачками — и лица, искаженные смятением... Даламанек, Мелихар, Гиан, некрасивое лицо Милана, более некрасивое, чем всегда... И кусок льда, скользящий вниз по сведенным судорогой внутренностям... «Лесняк», травка от ревматизма... Да проснись же, сделай что-нибудь, не стой истуканом! За человеком охотятся, как за зверем, а ты... Петух! Петух с их двора, Гонза узнал... Совершенно явственно услышал кукареканье — петух сошел с ума...

Или — я. Нет, это невозможно!

Поймали... окружили, загнали в темный угол — нет, не сдался еще... Слышишь? Рев борьбы, глухие удары... Конца нет, бьют, бьют и бьют, распаленные погоней... Хватит! Да хватит же!

И сразу — тишина. Непостижимая, слишком внезапная.

Это было как вечность, какая-то невыносимая вечность. Большая стрелка перескочила цифру семь — всего пять минут, триста фантастических секунд прошло, а все изменилось, я чувствовал, что и я другой и Милан тоже. Я уставился ему в лицо и видел, как он шевелит губами. В руках он сжимал свою неизменную трубу, и поля его шляпы были пробиты пневматическим молотком. Рядом с ним тяжело дышал Павел. Помню и лицо Бланки — мне вдруг стало страшно жаль ее, хотя я не знал отчего, и хотелось реветь, перенестись куда-то туда, где еще ничего не случилось, а у секунд были мышинные лапки, они щекотали у меня под черепом, и еще я помню, что мне хотелось проснуться,

* Продолжать работу! (нем.).

да некуда было просыпаться — ведь вот это и был наш мир; убедительно материальный, угловатый, со всеми оттенками света, и вони, и звуков, и не уйдешь от него никуда... И были шаги в этом мире, они все приближались, сотни шагов по натянутой барабанной перепонке, я ждал это учительское лицо с блестящими стеклами очков, а Каутце все еще орал, но уже не так неистово, он охрип и просто доругивался... Шаги! Почему не пошли они другим путем, подумалось вдруг, ведь могли же пройти через малярку! Но, видно, был в этом умысел — нагнать побольше страху; так ведь всегда делается при казнях.

Потом я увидел их! Самый высокий прихрамывал, ощупывал свой локоть, другой стирал пот со лба.

Как странно смотреть — секунду, не больше — в открытые глаза, которые тебя не видят; нет, это глаза не Пишкота, а кого-то чужого, отделившегося от нас, кого-то, стоящего по ту сторону, — нет, это уже не Пишкот, это разбитое лицо и губы, с которых капает кровь. Нет! Его вели мимо нас, нет, скорее несли или тащили в когтях, в глаза мне бросилась его разорванная куртка — и «корабли», волочащиеся по бетонному полу носками внутрь... Чужаки шли, не оглядываясь по сторонам, будто проходили через стан побежденных врагов, и видно было по ним, что они тоже потрясены. Я мог поклясться, что каждый из них подсознательно желал поскорее убраться отсюда. Оказаться в темноте. Если бы ненависть можно было вдыхать, как ядовитый газ, они не ушли бы живыми.

Я с изумлением осознал, что сжимаю потными пальцами поддержку — не помню, когда я ее схватил, — что с конвульсивной силой сжимаю этот ненавистный кусок железа, когда-то так унижительно пригibasший меня к земле. Стою и скриплю от бессилия зубами. Бессилие, ненависть, страх... Я огляделся. Ребята. Рабочие. Лица. Каменно-неподвижные, напряженные. Да, в них было то же чувство. Это просто видно было — и, может, хватило б, чтоб кто-нибудь один, не рассуждая, выкрикнул команду — одну-единственную, безумную, освобождающе-прекрасную... Кажется, в этот миг я все воспринимал через них, и моя воля уже не моя. Особенное, неведомое доселе ощущение. Не умею объяснить его и описать, а может быть, и нету средств выразить точно это головокружение, это сжимающее, полубессознательное напряжение, охватившее меня. Команду! Команду! Довольно было б малого: запереть двери, вырвать Пишкота у них из лап, растерзать их голыми руками, забить до смерти железными палками вместе с Каутце и верхшудами. Команду!

Нет, тишина.

В ней удалялись шаги. С грохотом захлопнулись двери.

Еще никто не заговорил.

Чужаки растворились в темноте, но что-то осталось, сладковатой гарью висело в воздухе. Ясно было — этим дело не кончится, теперь начнут обыскивать и шпионить, может быть, допрашивать, арестовывать, бить. На кого еще падет жребий? Что сделал Пишкот? Пишкот... Быть не может! Этот весельчак?

И звери собираются, обнюхивают друг друга, когда протрубят конец охоты. Курить! Гонза нашарил в кармане выкрошившуюся сигарку, но вдруг отдернул руку, будто его обожгло. «Лесняк»!

В проходе между крыльями увидел Богоуша: будущий врач, уткнувшись лбом в сгиб локтя и опершись на железную плиту, весь извивался в позывах рвоты. Его лицо, обрамленное щетиной бороды, было серо-зеленым.

Куда я иду? У шкафчиков с инструментами сходятся ребята — бледные лица, движения машинальны, оттого что их коснулся ужас, пронесшийся мимо; они жмутся в кучку, потому что каждый боится остаться наедине с собой. Все знали друг друга по именам и фамилиям: Купса, Фафейта, Башус — лидер в состязаниях по непристойностям — и Адольф Шерак, который до конца войны запретил называть себя по имени и предпочитал мириться с прозвищем «Серак». Сбились в кучу все эти злополучные тотальники, загнанные сюда несчастным жребием, выпавшим на долю тех, кто родился в двадцать четвертом. Стояли в мутном свете, молча пялились друг на друга, чуть не лопааясь от вопросов. Стрелка часов, легонько щелкнув, соскочила с цифры два, но никто ничего не делал. Ничего. И это было хуже всего. Ничего.

В чем виноват Пишкот? За что его взяли? Где он теперь? Что с ним сделают? Ох, ему бы сейчас пружины Попрыгунчика! И кто бы подумал, что именно он?.. Вечно он занимался всякой чепухой, умел кукарекать, и лаять, и подражать всем голосам — Каутце, сиренам... Кто с ним заодно? Кто из нас знает об этом хоть что-нибудь? Если есть такой — пусть не зеваает, пусть вовремя испарится, не то еще нас в это дело впутает... Кто же? Ты? Или ты?

Скорей бы утро, сил никаких нет. За кем еще придут те, с оттянутыми карманами, с запахом смерти? А вдруг устроят обыск? И найдут в моем шкафчике в гардеробной наворованные гвозди и мыло? Или книжку? А вдруг она запрещена? Дурак! Не стой, скорей туда, пока время есть...

Неестественная тишина держала в тисках кучки людей, сбившихся в проходах между крыльями.

Половина третьего... Только-то? Тсс!

Веркшущ в форме четким, как на параде, шагом прошел по проходу, сапоги, словно в кошмарном сне, цокали по бетонному полу; по рассеченной харе узнали Заячью Губу. Что ему надо? Хочешь еще ного-нибудь забрать? Нет. Он прошел в конец участка, спросил о чем-то старого Маречена и потом заостренным концом молотка взломал дверцу одного из шкафчиков — все знали чьего, выгреб все: щербатую расческу, обмылок, засохшую корку хлеба, брошюрку о тайнах оккультных наук. Все это веркшущ внимательно осмотрел, сложил в грязное полотенце и завязал узлом. В самой глубине шкафчика нашарил еще картонную коробочку, в ней что-то шелестело — открыл пальцем, понюхал и, брезгливо фыркнув, зашвырнул обратно. «Лесняк», травка от ревматизма... «Легкая, нежно ароматическая...»

Три часа.

Появился Даламанек, глаза его горели лихорадочно, он, видимо, вср-

нулся от туда, и то, что он видел, вытряхнуло из него угодливую живость; но не мужественное спокойствие делало его движения более медленными.

— Не стойте так, ребята, — проговорил как бы совсем другой Даламанек, — прошу вас... и никто... пока не должен покидать. Они еще тут... погубите вы меня, поймите, я ведь мастер...

— Что с ним? — спросил из-за спины Даламанека Павел.

Мастер обернулся, непонимающе заморгал.

— С кем — с ним? — просипел он; руки его взметнулись и упали, хлопнув по рабочему халату. — Не знаю... ничего я не знаю! Что с ним? Не спрашивай меня!

Слышишь? Движение вокруг цеха? Мы в западне! Топот сапог на лестнице к раздевалке, по коридору за дверью конторы; где-то далеко взревел автомобильный мотор, но, может, все это тебе только чудится. Шаги... Время от времени кто-нибудь из верхшущев пробежит через цех и исчезнет... Тоска, ядовитое облако колышется под сводом крыши. Слышишь, как плещется время, но ничего не происходит. Больше никого не вызывали, никто не орал, понуждая к работе. Воздух молчит, во внутренних роеется крот, с наступающим утром в кости заползает холод. Чего они ждут?

Четыре!.. В дверях появляется знакомое лицо Гавела — верхшуща-певца. Он как вестник спасения. Огляделся слезящимися глазами, потом зашагал на своих тонких ножках вперед, по проходу. Весь он какой-то сникший, от него разит потом и пивом, ворот мундира расстегнут, обнажая морщинистую шею. Всем своим видом Гавел показывает, что наплевать ему на все. Он вошел в толпу серых и блекло-зеленых комбинезонов, принял протянутую кем-то сигарету, спрятал под фуражку с твердым козырьком; подергал себя за унылый нос, и видно было, что он готов говорить, что ему хочется говорить, более того: что он не может не говорить.

— Убрались камрады, — прикрывая рот рукой, бормочет он и идет, не останавливаясь, переступая через шланги и провода. — Дело, видать, крупное... Не у нас... Жив ли? Не знаю... Вряд ли. Ему уже не много было надо. Я видел, когда его грузили в машину... Меня туда не пустили. — И с красноречивой ухмылкой он чуть ли не горделиво добавляет: — Старик мне не очень-то верит... Не зевайте!

Рассвет поколебался на грани ночи и дня, предвещаемый гомоном птиц. Стало быть, вот неизбежность: все идет своим чередом, повторяясь с тягостным безразличием, от мертвенной бледности надломившейся темноты веет мучительной тоской. Где-то Гонза прочитал, что чаще всего умирают на рассвете: ночь выбрасывает человека к его печальным берегам, обессиленного борьбой, беззащитного — погляди, мол, в последний раз, вот твой мир, смотри, как его очертания выплывают из мутных вод! Стонущий напев блюза в памяти... Стена с колючей проволокой поверху, за нею травянистая плоскость аэродрома, трубы и спя-

щие киты-ангары, стены, провода и бетонные квадраты двори́ков, отда-
ленное ворчанье, шипенье... Все это неотъемлемая часть пугливой, кар-
минной тишины.

Мир был скользкий от утренней сырости, и в нем рассветало.

Гонза смотрел на рассвет недоверчиво и не сразу заметил, как ти-
хонько подсела к нему Бланка. Очнулся он лишь от ошущенья чьего-то
присутствия и увидел ее рядом. Неестественная бледность портила ее —
он даже испугался.

— А я тебя искала, — проговорила она, помолчав и глядя в про-
странство. Гонза тоже смотрел куда-то вперед и не ответил. Тогда она
спросила: — Я тебе не мешаю?

— Я рад, что ты разыскала меня.

Тут он вспомнил, что за все это время как-то почти не думал о ней,
она не вмещалась в те чувства, которые опустошали его душу, но сейчас
он не лгал: он действительно был рад, что она сидит рядом.

— Не будем об этом, ладно? Во всяком случае, не сегодня.

— Хорошо.

Тогда в нем заговорила обычная заботливость:

— Тебе холодно?

— Не чувствую... Ничего я не чувствую. Сиди, не двигайся!

Это она удержала его, когда он хотел стянуть с себя свитер, про-
тертый на локтях.

Светало, как во времена потопа. Небо впереди озарялось, а пред-
меты на земле как-то робко прятались в мышинные тени. Гонза слышал
дыхание Бланки и, неизвестно почему, жалел ее. Жалел все живое. Вот
она дышит, — с неосознанным изумлением подумал он в этот замерший
миг, — дышит, пульсирует в ней горячая кровь, она живет! Он затрепетал.
Им овладел какой-то непонятный, неведомый ужас и вместе бояз-
ливая радость и страх за эту ничтожную струйку воздуха, какое-то жа-
лостное умиление тем, что вот дышит, живет девушка из утреннего
поезда... И нестерпимо вдруг захотелось схватить ее в объятия, закрыть
ей глаза перед чем-то, впиться в нее с возрастающим чувством безна-
дежности, слиться с ней, чтобы и он и она уж не были бы сами по се-
бе, чтоб растаяли два горестно одиноких и нелогических «я». Падение...
Лжешь, Душан! Гонза протер глаза и не сказал ей об этом ни слова.

Забили насмерть человека, а теперь светает, смотри! Так безразлич-
но, так глупо.

— О чем ты думаешь? — спросила Бланка.

Уже было почти светло, стена пододвинула свою тень им к ногам.

— Ни о чем.

— Правда?

Ох, это ее «правда»! Она употребляет это слово с женской легко-
весностью. Вероятно, она не способна лгать. Быть может, в этом есть
известное достоинство, но в то же время как-то чуточку холодно от
этого. Почему?

Гонза невесело усмехнулся.

— Правда. Представь! А ты?

Бланка задумалась, наморщив лоб; локти уперла в колени, переплела худые пальцы.

— О нем. Я горжусь им. Мне сразу о нем подумалось. Меня ведь не было, когда его забрали, а потом я его больше не видела. Но я горжусь им.

Это прозвучало страстно и упрямо, и Гонза моментально понял, о ком она говорит. Рассвет окрасил ее лицо яркими пятнами. Как безвкусно!

Гонза недовольно отвернулся.

— Он жив?

— Да.

— Откуда ты знаешь?

— Я получаю от него весточки. Очень короткие, но это неважно. Довольно того, что он жив. Я запретила себе быть малодушной — он бы никогда этого не одобрил. Это я знаю.

Гонзе опять подумалось, что она говорит о брате как о возлюбленном. Он, видимо, жил в ней, держался за нее неотвязной тенью. Всякий раз, когда они мимоходом заговаривали о нем, Гонза испытывал нечто похожее на ревность. Его мучило глупое чувство, будто тот, отсутствующий, все время оттесняет его на задний план.

— Ты его очень любила?

— Я очень его люблю, — невозмутимо поправила она. Говорила она тихо, отделяя фразы кратким молчанием; за каждой из них была бездна смысла, чуждого ему. — Тебе это трудно понять... Ты его не знаешь... Ты можешь подумать, что я сейчас сужу не объективно, но только он лучший человек, какого я знаю. У меня только он один. Наши родители умерли, когда мне было двенадцать лет. Если бы не закрыли высшие школы, он был бы уже инженером. Он ведь мог бы, как другие, думать о себе одном, устроился бы, например, продавать хлебцы в буфете, чтоб как-то перебыть это время... Но тогда он изменил бы себе. Он должен был действовать... Собственно, я даже не знаю, что именно он делал, — он никогда не рассказывал мне. Но я знаю, он сделал бы это снова, любой ценой! Первые дни мне казалось, я потеряю рассудок, но теперь притерпелась, потому что знаю, он вернется. Понимаешь? Знаю! И совершенно ни в чем его не упрекаю... за то, что происходит со мной... Я ужасно горжусь им.

Двор все еще был пуст; взъерошенный воробей сел на потрескавшийся бетонный квадрат, подозрительно глянул на них одним глазком и порхнул прочь.

— Почему ты искала меня?

Пауза. Дневной свет уже растекался по их лицам, устремленным вперед, но солнце еще скрывалось за стеной с колючей проволокой сверху; далеко где-то раздались шаги, хлопнула дверь — и опять шелестящая тишина зари.

— Я хотела спросить, любишь ли ты меня.

В изумлении он поднял голову, но к ней не повернулся.

— Ты ведь не хотела этого слышать.

— А теперь хочу.

— Да.

— Ты уверен? — спросила она со странной настойчивостью.

Он не понимал ее. Справился с внутренней дрожью.

— Совершенно уверен. Больше чем кого-либо на свете. Я не знаю ничего похожего. И еще больше после этой ночи. Сегодня я понял, что мне страшно было бы жить на свете, если б тебя не было.

Пучок травы тщеславно лез из трещины в бетоне, и Гонза не отрывал от него глаз, будто в нем искал нужные слова. Рассветный ветер прилетел с аэродрома, лизнул их холодным языком.

— Я еще никогда не называла тебя по имени! А ты ведь Ян, Енда... Гонза... а скорее — Гонзик. Я пока не решила.

— Для этого ты и искала меня? — спросил он; у него пересохло в горле.

— Нет, — тряхнула она головой. — Не для этого! Ты только не поворачивайся ко мне, смотри вперед. А то я не смогу говорить. Обещаешь? Ну вот, так лучше.

Он подумал, что сейчас ему бесконечно трудно в чем-нибудь отказать ей. Даже не дышать по ее желанию было бы невероятно легко.

В этот миг неслыханной тишины над стеною выскочило солнце, залило им лица, тепло тронуло руки. Гонза зажмурил глаза, спасаясь от прибоя света, но лучики тонкими иглами проникали под веки, и он нагнул голову.

— Я пришла сказать, что и я тебя люблю. Молчи и не говори сейчас ничего! Это странно, но именно сегодня ночью, когда уводили Пишкота, я поняла, что скажу тебе. Люблю тебя. Нет... я давно уже подозревала, только боялась признаться в этом самой себе. Боялась тебе сказать. Но это правда, и ты должен знать ее, Гонзик. Нет, не оборачивайся, я все скажу сама. Понимаешь, я думала... что не могу... не имею права... пока Зденек там, и пока война, и пока... Но это сильнее, чем я ожидала. Люблю тебя! Это так! Люблю — и не знаю даже, за что. Может быть, за твою ребячливость... и за твое сумасбродство, и гордость, которая так боится, что ее ранят... За твое хвастовство, которым ты иногда стараешься меня поразить... Ты не сердись, что я об этом говорю, я знаю, под этим что-то очень чистое. И беспокойство твое я люблю, и то, что ты вечно чего-то ищешь, и сумбур, и неуверенность, и робость, с какой ты смотрел на меня в поезде. Помнишь? Как хотелось бы мне, чтобы ты всю жизнь смотрел на меня так! Я просто дура. Я люблю твое тело, и руки, и волосы, и твой свитер, потому что он пахнет тобой, и твое дыхание, когда ты лежишь рядом со мной и стоишь... нет, ты не думай, я ведь тоже иногда не сплю и чувствую тебя рядом, и тянет меня к тебе, и ужасно хочется чувствовать, что и ты ко мне тянешься, может быть, это плохо, что я говорю об этом вслух, но ведь это так. И я люблю в тебе что-то, о чем уж и не скажешь, потому что это, наверное, и не слово, потому что это, наверное, просто ты. Мне страшно, но теперь уже все равно, что случится, когда... Может быть, я люблю тебя и за те страдания, которых нам не миновать, пусть это эгоизм, но я самая обыкновенная и не могу идти на попят-

ный. И ты никогда ни о чем не спрашивай, чего я сама тебе не скажу, я ведь не умею лгать и жить во лжи, понимаешь? Тогда нам придется расстаться, а я хочу, ужасно хочу, чтобы мы были вместе как можно дольше. А большего не хочу и не могу. Как можно дольше, дольше, дольше, помни об этом, пожалуйста, это наш девиз, Гонзик! Как можно дольше! Если в тебе все так же, как и во мне, то ты должен удовлетвориться тем, что я теперь тебе говорю, а это правда.

Гонза молчал, стиснув зубы, — к сказанному нечего было добавлять — и неотрывно смотрел на чахоточный пучок травы, пробившийся сквозь бетон. Только спустя некоторое время, не поворачивая головы, он протянул руку с раскрытой ладонью и, почувствовав на ней тепло, сжал ее пальцы.

Вот и все.

Шаги спугнули их, они встали. В ту же минуту разом взревели моторы, терзаемые тормозами, и рев их потряс воздух.

XV

Вечером, когда дребезжащий автобус подвозил их к главным воротам, Бацилла решил заговорить. Но кому довериться? Ему?

Почему именно ему?

Рядом с Бациллой Милан перелистывал тонкую брошюрку и не обращал на него никакого внимания. Бацилла уже привык — так было всегда. Время от времени он поглядывал искоса на профиль этого некрасивого парня, готовый тихим толчком привлечь его внимание к своей круглощечкой незначительности, да все не решался. «Ну, что тебе, буржуй? — представлял он, как отзовется Милан и потом скажет еще: — Что у тебя на завтрак? Отвали!» Буржуй! — горько думал Бацилла. — Я для него только буржуй; откормленный, толстый буржуй, которого он, конечно, должен ненавидеть. Но разве я виноват? Может, если б спросили меня, я бы выбрал себе другую семью! Наверно... Даже обязательно. Надо бы ему сказать это. Только всегда в присутствии Милана он испытывал смесь застенчивости, неуверенности и неясного чувства вины, и это заставляло его молчать. И вообще он не понимал, почему именно этот заядлый мучитель так его привлекает. Ну почему именно он?

Бацилла зевнул. После вчерашнего он глаз толком не сомкнул, валялся, потный, в перинах — господи, как он их ненавидел! Сколько раз тайком отбрасывал их, нарочно спал как можно неудобнее, под одним тоненьким одеялом... В полудреме вновь и вновь разыгрывалось вчерашнее, только в грозно увеличенном и искаженном виде — будто смотришь через выпуклое бутылочное стекло. За зашторенными окнами комнаты — бывшей детской, ныне холостяцкой — ликовало майское солнце, а Бацилла лежал, навалив подушку на голову, и вздыхал... «Барашек! — услышал круглый голос с порога. — Что у тебя болит, сынок?»

Это мамуля! Бацилла притворился спящим, терпеливо выжидая, чтоб

она ушла, потому что в ее постоянной заботе о нем было что-то недостойное, что сталкивает мужчину назад, в теплую беззащитность детства, с его ненавистными бархатными костюмчиками и завитыми локонами; в глазах мамы он не вырос, для нее он по-прежнему был «Барашком», — о ужас! — избалованным служанками, возвращенным в нежащей атмосфере богатой и культурной семьи, единственное позднее дитя, чье здоровье до сих пор меряется килограммами живого веса, очаровательный пузанчик, в котором все не чают души, — фу! Бацилла переносил это с врожденным терпением, он не умел грубить, но по-своему бунтовал против такой конфетной тирании — бунтовал несмело, незаметно, но упорно. «Барашек»! А для этого дьявола Милана, который кичится тем, что он коммунист, — просто «буржуй»! Для мальчишек он «Бацилла». Вся жизнь. Нечто толстое, неповоротливое и комическое. Хоть плачь! Быть бы как они! Быть бы длинным, жилистым, худым, заядлым уличным драчуном, одним из этих задавал с дерзким лбом и вызывающим взглядом, уверенным в своих чисто мужских качествах, одним из тех, за которыми Бацилла маленьким мальчиком завистливо следил из окна жарко натопленной комнаты; уметь бы драться, отколотить бы хоть этого Пепика Чейку, самого знаменитого силача в классе, воровать бы у торговки брюкву, шататься с кучкой себе подобных по пассажам, украдкой, за спиной швейцара, прокатиться на лифте, рискуя схлопотать подзатыльник, — в общем насладиться бы всеми волнующими приключениями, которые предлагают вам джунгли большого города, мнимое царство взрослых! Так нет же. Ты «Барашек», еще случится с тобой что-нибудь, и что скажет пани советница, крестная твоя, этого не читай, это вульгарно, надень шарф, не пей столько малиновой воды, кушай как следует, ты сегодня еще не какал, золотко, покажи-ка язычок, нет ли у тебя температуры? Будешь хорошо себя вести — Анежка сделает для тебя шодо с вином. Шодо Бацилла страшно любил. Пробовал бороться: нарочно не ел, тайно прятал свой обед под стол, всегда отдавал в школе свои завтраки — мечтал похудеть; и откровенно симпатизировал самым отъявленным озорником, охотно брал на себя их проступки — и все без толку! Никто не хотел верить в его буйство. Учительница в очках допрашивала его при плачущей мамуле: «Камилл, кто тебя подучил?» А он упрямо молчал, смотрел на носки своих ботинок. «Никто, — шептал про себя, — я сам! И вот нарочно буду ругаться и плевать на ковер! Я докажу им, докажу!..» Разрезал бритвой бархатный костюмчик — ничего! Портной заштопал. С бьющимся сердцем разбил однажды витрину у зеленщика. И гордо остался на месте подвига да еще укусил за руку человека, схватившего его за бархатный воротничок, заранее предвкушая роскошную порку. И что же? Опять ничего! Унизительно! Папуля только головой покачал над томиком Вольтера, приподнял величественно брови и произнес «ц-ц-ц»... Зеленщику заплатили, и бунт закончился пшиком. И теперь все по-прежнему, хотя Бацилла уже не носит бархатных костюмчиков. Попытались отстоять его от тотальной мобилизации — он сделал все, чтоб эта попытка не удалась. Хватит! Он взрослый, он мужчина! Господи, неужели же никто этого не видит? И он ненавидит свое вечно потеющее, неповоротливое тело — тело увальня-медвежонка, ему

противно выражение добродушия, которое придают ему румяные толстые щеки!

Женщины... Они заставляли его страдать тем больше, чем больше он желал их. Девственник! Свою нетронутость он ощущал как неполноценность, явственно читающуюся на его лице; все мальчишки хвастаются своими амурными победами — он подозревал, что они хвастают зря, но никогда не сознавался в своем унижительном состоянии. Правда, стыдливость немедленно выдавала его с головой. Он не мог без предательской краски рассматривать порнографические открытки — они потом снились ему под пуховыми перинами. Знала бы мамуля! Знала бы она, что ему удалось достать и прочитать при свете карманного фонарика «Любовника леди Чаттерлей» Лоренса, нумерованное приложение к «Мемуарам» Гарриса и другие книги, заботливо изымаемые из библиотеки бдительными родителями... Знала бы она, что он не может удержаться от соблазна и подсматривает порой через замочную скважину за стареющей горничной... У-у! Впрочем, Бацилла знал, что и эту заботу он мог бы спокойно предоставить мамуле: она бы, конечно, женила его на такой же упитанной и солидной девице, и он перелег бы в другие пуховые перины — в перины супружества, благополучного и нудного, как воскресный день. Никогда! Если не суждена ему страсть, всепоглощающая и головокружительная, как полет, то уж лучше пусть ничего не будет! Вот бы иметь любовницу... Собственно, любовница у него есть. Она великолепна, как богиня, она близка, как сестра, — он дал ей чужестранное имя Кора — по прекрасной героине одного немецкого фильма, который Бацилла с затаенным дыханием просмотрел двадцать раз. Кора приходит иногда к нему распаленными ночами, и в ее объятиях он испытывает все бури всепожирающей страсти... Но есть у Кору один-единственный, зато существенный недостаток: она живет лишь в его воображении.

- На скучной вечеринке выпускников он напился для храбрости отвратительного вермута. Объектом его усилий была некая Власта; неуклюжая попытка поцеловать ее закончилась самым удручающим образом: он чмокнул девицу куда-то в напудренную щечку возле ушка. И чмокнул-то как смешно! Власта захохотала насмешливо: «Бацилла, ты целуешься, как моя тетушка!» Он обиженно уполз в раковину своей девственности. Власта не Кора. Нет, нет, пора что-то делать!

Один раз он был совсем близок к этому. Особого рода заведение, с таинственными немymi окнами, зажатое где-то в улочках Старого города, называлось очень поэтично: «Ирида». Информацию мальчишки дали обнадеживающую: публичный дом находился под медицинским надзором полиции, женщины красивые, обстановка вполне гигиеничная, плата за страсть — пятьсот протекторных крон. Бацилла тайком продал полное собрание сочинений И. Ш. Баара в кожаном переплете и, сбрасывая в глаза старанием не бросаться в глаза, долго бродил мимо скромного входа, сжимая банкноты в потном кулаке. Вошел наконец, ослабев от волнения, — короткие ножки сами внесли его в дом. Атмосфера разврата с соизволения полиции, многообещающий полумрак, лицо швейцара освещено настольной лампой. Равнодушие, спокойствие,

услужливая деликатность, с какой ему за пятьдесят крон вручили вступительный билет и к нему картонную коробочку с презервативами — все это было еще ничего. «Входите, пожалуйста, молодой человек!» Но молодой человек словно прирос к полу. Услышал высокий смех. И вдруг почувствовал себя приговоренным, которого тащат на плаху, и затрясся всем телом; он долго торчал перед недоумевающим стражем райских врат и — позорно бежал. На улице почувствовал себя в безопасности. Мчался по мостовой, словно стремясь обогнать самого себя, и было у него такое чувство, какое испытывает дезертир, покинувший передовую. Постепенно успокоился: когда-нибудь еще вернусь туда, и тогда уж не сбегу! честное слово! Он дал себе слово — он всегда так делал, когда не мог побороть своей робости, — и незаметным образом выбросил коробочку с презервативами — чтоб мамуля не нашла в карманах.

За пыльным окном неслись назад садики рабочих коттеджей, вот черешневая аллея, насквозь просвеченная закатным солнцем; все такое красивое и невинное... Смелее, Бацилла!

— Чего тебе?

Милан поднял голову от брошюрки и бросил на него взгляд, полный явного презрения и предвзятости.

— Мне очень нужно поговорить с тобой, — пискнул Бацилла.

Растрескавшиеся губы растянулись насмешливо:

— О чем? Как похудеть? Рецепт ясный: не жри так много!

— Да ведь... да ведь я ем ужасно мало! — перешел толстяк к вялой обороне, не забывая, однако, о цели. Он даже добровольно открыл свою сумку и протянул ничего не понимавшему Милану промасленный пакетик; Бацилла обрадовался, что Милан не стал ломаться. Может быть, теперь смягчится немного... Он понимал, что человек Миланова склада не может опуститься до благодарности какому-то буржую.

— Но мне серьезно надо...

— Что ж, выкладывай, — с утомленным смирением предложил Милан.

— Не здесь... здесь нельзя, понимаешь?.. Где-нибудь с глазу на глаз...

Нет, тем дело не кончилось, действие вчерашней ночи вернулось в некое уменьшенном виде, и Милан изумленно выкатил глаза. Он даже положил свою трубу на калорифер. Подождав, пока все уйдут из раздевалки, Милан сдвинул свой шутовской колпак на затылок и вперил в толстяка испытующий взор:

— А не треплешься?

— Нет... — с несчастным видом воскликнул Бацилла, сейчас же снизив голос до лихорадочного шепота. — Клянусь тебе... все было именно так!

— Как же это его не нашел Заячья Губа? Ведь он рылся...

— Он обшарил шкафчик только внутри. А под него не заглянул.

— Гм... — Милан допустил, что это возможно, и нахмурил брови. Однако он все еще не верил. — Почему же ты вчера-то не сказал?

— Не знаю... — Бацилла ежился под строгим взором Милана, раз-

махивал короткими ручками. — Не знаю... меня как по башке стукнуло... И потом я думал, может, все это мне чудится, пойми ты...

— Ладно, — уже мягче сказал Милан, отводя глаза.

Видно было, что он тщательно обдумывает дело — тревога заставляла шевелиться его губы. Потом он опять повернулся к Бацилле и вполголоса, оглядываясь, хотя раздевалка была пуста, спросил:

— А ты уверен, что, кроме тебя, никто не видел?.. Я тебя пугать не хочу, ты, поди, и так уж в штаны наложил, но с этим шутки плохи. Так как же все было-то?

— Но ведь я тебе уже... Там был один Гиян, и тот ушел... Я это знаю совершенно точно... Почти... Может быть, Пишкот хотел мне это передать, но я, наверно, не понял его или еще что... все так быстро разыгралось... Он бросил эту штуку на пол и ногой затолкал под шкафчик...

— Это был сверток?

— Перевязанный веревкой... Небольшой такой... Думаю, он еще там.

Старик гардеробщик заглянул в дверь, помешал им. Когда он скрылся, Милан встрепнулся, глубоко вздохнул, резко прищурил глаза и ткнул Бациллу в грудь:

— Ну слушай: прежде всего язык за зубами, ни слова никому! Ясно?

— Ясно! — усердно кивнул Бацилла.

Сладостное волнение пробежало у него по всему телу, и грозящая опасность была ничто в сравнении с тем, что вот этот обстрелянный парень и храбрец разговаривает с ним как с равным. Впервые!

— Бог знает, что в нем такое, — слышал он голос Милана. — Не стал бы Пишкот зря его прятать. Может, какое-нибудь сообщение, которое надо передать, понимаешь? Факт, сделать это должны теперь мы с тобой. Трусость — предательство, а предательство у революционеров не прощается. Надо улучшить минутку, когда там никого не будет, и перепрятать! Я знаю одно местечко. Один пусть сторожит, другой возьмет...

— Я возьму, — выдохнул Бацилла.

Кто это говорил его голосом?

Милан смерил его пренебрежительным взглядом.

— Ты? Смотри, обделаешься!

— Ну и пусть!.. А я все равно возьму. Дай я сделаю!

— Ладно. Тем более, это твое право, ты ведь был при этом. Тут, брат, нервы нужны... У тебя они хорошо укрыты под салом, верно? Ты сначала глянь, там ли сверток, и подай мне знак... А вот как вынести с завода, уж это дело другое... Постой! Если ночью будет все в порядке, я попробую смяться. Ну да, правильно! Надо перебросить эту штуку через стену, в самом конце, рядом с аэродромом, знаешь, где канал проходит... А я унесу. — Он тихонько свистнул сквозь щербатые зубы. — Вот. Три раза так свистну. Это значит: кидай! А если что — выбрось и мотай прочь. Но сначала подумай, я тебя не заставляю. Ясно тебе?

— Ага. Можешь на меня положиться, — горячо заверил его Бацилла.

Плечо его сжала рука Милана — в этом было что-то торжественно-обязывающее! — и ему показалось, что он растет. Что вот прорвалась окружающая его оболочка, и из нее выглянул на свет мужчина. Мужчина! Бацилла возмужал за эти несколько минут. Ах, Кора! Ах, мамуля! Ты умерла бы со страху, если б узнала! Он думал теперь о матери с сочувственной любовью, с ощущением своей торжествующей зрелости — он это выполнит!.. Докажет, что он мужчина. Сейчас он чувствовал себя способным выполнить все, и еще ему казалось, что этот некрасивый бунтарь, стоящий перед ним, стремительно хорошеет и что он, Бацилла, любит его жарко и необузданно. Нас двое — он да я!

— Ну ладно. К делу, Бацилла! И — язык за зубами!

— Язык за зубами! — торжественно повторил толстяк и выкатился из гардеробной.

Ох, каким легким стало вдруг все! Откуда взялась в нем эта окрыляющая отвага, эта ледяная сосредоточенность, которая теперь, когда настал час действовать, завладела всем его телом? Даже руки не дрожат.

Время близилось к десятому часу, под сводчатой крышей постепенно утихал грохот, как всегда перед перерывом, люди потянулись из цеха. Бацилла огляделся. В проходе возле шкафчиков никого не было. Роковая минута! Милан? Милан торчит возле крыла со своей неизменной трубой, незаметно смотрит сюда и зевает, как лев.

Еще взгляд... Давай, Бацилла!

Бацилла проворно нагнулся к ботинку, завязывая шнурок; от неудобного положения кровь бросилась в толстые щеки, но он не обратил внимания. Выпрямился и так же еле заметно кивнул Милану. Этого достаточно, теперь он может уйти. Но внезапная мысль! Она пронзила его, как пуля. Вот сейчас, сейчас, пока в нем этот великолепный холод, это доселе неизведанное наслаждение опасностью, эта жажда риска, проснувшаяся оттого, что на него смотрит человек, которым он восхищается... Бацилла ущипнул себя за руку. И припал к щели под шкафчиком, а сердце так и замирало, — пошарил по полу пухлой рукой. Пыль. Нащупал. Оно было твердое — бумага, бечевка — и странно тяжелое... Вот оно уже и на свету! Скорей! Видит ли Милан? Выпрямился. Конечно, видит. Бацилла разглядел его глаза и мог поклясться, что в них было одобрение. Восхищение даже.

Ужасно громко стучат по бетонному полу сапоги — кто-то идет сюда. Прочь, скорее! Бацилла круто повернулся, засунул добычу под куртку. Сразу заметно потолстел. Попробовал втянуть живот, но почти ничего не получилось. Беда! Проклятое пузо, этот ненавистный буржуйский бурдюк теперь его погубит, выдаст! погоди, я от тебя избавлюсь, — яростно грозился Бацилла, — я похудею, стряхну тебя, хотя бы мне для этого пришлось подохнуть с голоду... Ведь, наверно, видно! Он потел от страха, но все-таки перешагивал через шланги и провода. Сцепил пальцы на животе, со всей силой вдавливая в себя таинственный сверток, до боли, до тошноты...

Милан все понял, кивком головы позвал за собой.

Страшный путь! Бацилла топал в пяти шагах позади Милана по проходу, разделяющему участки цеха, сотни глаз смотрели на его торчащее брюхо, но он шел вперед, тащился вперед с окаменевшим лицом, с которого напряжение выпило все краски, и вздыхал, сопел, даже на-свистывать попытался, но только беззвучное шипение вырвалось через пересохшие губы. Спокойно! Пока все идет хорошо...

Ах! Катастрофа, конец! Бацилла не разглядел лица, увидел только форму веркшуца, фуражку, ремень с кожаной кобурой пистолета... Все пропало! Ах, Кора, ах, мамуля моя, откуда он взялся? Веркшуц зыркал по сторонам, кажется, он еще не заметил твоего живота, беги, Бацилла, брось эту штуку или хлопнись в обморок... Но и этого нельзя, нет, нет, можно только идти вперед, тащить бремя своего тела да прикрывать глаза в предвидении неминуемой беды... Камень, мешок со свинцом... Сверток под курткой растет и пухнет, как на дрожжах! Кончено!..

Нет, смотри! — какое чудо свершилось! Милан! Прется прямо на веркшуца, загораживает ему дорогу, нахально спрашивает о чем-то, тычет свою трубу. Веркшуц остановился, раздвинул ноги, сбил фуражку на затылок, чешет щетинистый подбородок, ничего не подозревая, — и ты проплываешь мимо него невидимым облаком...

Бацилла ускорял шаг, одновременно сдерживая себя, — в каблуках будто заложена взрывчатка — и вжимал сверток в живот. Скорей за дверь, в темноту, в ней спасенье, ну еще, еще несколько шагов... Кто-то из ребят крикнул вдогонку: «Бацилла, смотри не выпусти!» Нет, не слушать, не видеть, не слышать, ни за что не оглядываться, как жена Лота...

Темнота на дворе утешающе дохнула в лицо. Сколько себя помнил, боялся он ее черных объятий: ведь в ней так и кишели духи, привидения из сказок — мамуля, зажги свет! Но теперь он глотал темноту полуоткрытым ртом, как птица, измученная жаждой. Привалился спиной к стене бомбоубежища и даже не заметил, как из него крадучись вышмыгнула влюбленная парочка; он приходил в себя от пережитого страха. Только теперь ноги у него ослабели, стали мягкие, будто слепленные из картофельного пюре. Он терпеливо ждал — кто знает, сколько времени? — пока к нему не приблизилась знакомая тень и не тронула его за плечо.

— Есть?

— Есть.

— Блеск... — вполголоса отозвался Милан.

Больше он ничего не сказал, но в самом тоне было уважение, по-мужски немногословное, зато тем более приятное. «Завтра надо заглянуть в словарь, — совсем пьяный, подумал Бацилла. — Что оно, собственно, означает: «мо-ло-дец»?»

На первый взгляд жизнь в фюзеляжном цехе постепенно возвращалась в наезженную колею, но только на первый взгляд. То, что произошло вчера, спряталось внутрь, прочно застряло в мозгу, застыло в глазах, которые уже не способны были прямо смотреть в глаза другому;

происшедшее сказывалось в том, что люди бесцельно бродили по заводу и не заканчивали фраз, когда нерешительно, с явственным чувством вины касались вчерашней ночи.

Незадолго до полуночи Павел наткнулся на Гонзу в пустой уборной.

— Ты ничего не знаешь? — уголком губ спросил он.

— Нет. Откуда? А ты?

Павел подсел к нему на калорифер, искал в карманах окурков, хмуро глядя в пространство.

— Кое-что знаю...

Он пожал плечами, помолчал. Окурков так и не нашелся.

— Сегодня днем, по дороге сюда, заехал я... к нему. Рабочий поселок в Либне, бараки, сам знаешь. Номер дома — тысяча двести три. Толевая крыша, убожество, грязь. Узнал я немного — люди боятся рассказывать. Я и не удивляюсь. Вид у меня был, наверно, довольно подозрительный. Но напал я на одну словоохотливую бабку...

— И что же?

— Дело, оказывается, довольно крупное, хотя никто ничего толком не знает. Или просто не говорят. Не знаю. Вчера ночью их всех забрали... двух братьев, сестру и отца Пишкота. Матери у них нет. А за ним приехали сюда, но, видимо, это не связано с заводом. Одна собака осталась в будке, выла от голода. Все перевернули, но никому не известно, нашли ли что-нибудь... Вот, собственно, и все.

— Да, не много, — сказал Гонза. — И вообще у меня не укладывается в голове...

— Что?

— Да что именно он... Вот уж никогда бы не подумал, факт! Вроде он ни к чему не относился серьезно... Если бы это был, скажем, ты, я, пожалуй, меньше бы удивился. А может, и совсем не удивился бы.

— Вот видишь, — тоскливо пробормотал Павел; глаза его блеснули лихорадочно. — В том-то и дело. — И повторил: — В том-то и дело.

В дверь заглянул Милан. Вошел, прислонился около них к стене, испанной непристойностями, стал слушать их разговор с прикрытыми глазами, не вмешиваясь.

— В чем же дело?

Павел опустил голову.

— В том, что Пишкот, оказывается, кое-что принимал всерьез. Он вырвался... — удрученно закончил он.

Павел был спокоен, но Гонза обратил внимание на то, как его тонкие пальцы впиваются в железо калорифера.

— Откуда вырвался?

Сначала Павел ответил лишь пожатием плеч. Потом заговорил:

— Из болота. Все это ни к чему, но если хочешь знать мое мнение... Кто мы? Коллаборационисты! Я — в том числе. Мы не одни — вокруг нас таких около шести миллиончиков. Конечно, уж я-то не имею права судить кого бы то ни было! Это может показаться сильно преувеличенным, но это так.

— Чего болтаешь! — возмутился Гонза.

Нет, право, не к чему разговаривать с Павлом об этом. Славный па-

рень, но самоистязатель какой-то. Не понимаю я его. Все же Гонза спросил:

— Кто же, по-твоему, коллаборационист, скажи на милость?

— Всякий, кто работает для них или с ними. Прямо или косвенно. Добровольно или из-под палки, как мы. Все равно. — Волнения почти не чувствовалось в его словах, оно скорее овладело глазами. — Всякий, кто пальцем не шевельнет, видя, как они расположились. Всякий, кто свыкся. Понимаешь? И не только это. Всякий, кто читает их газеты и слушает их радио. Кто в состоянии смеяться, ходить в кино или на футбол, пока они тут; кто в состоянии дышать одним воздухом с ними — и ничего против них не предпринимать... Думай что хочешь, но в этом пункте ты меня не переубедишь. — Он закончил этот взрыв обвинения безнадежным взмахом руки, прокашлялся и обернулся к Милану, будто разом забыв обо всем: — Покурить нету?

Милан безмолвно покачал головой, задумчиво уставившись в пространство. Гонза открыл портсигар. Под резиночкой лежало несколько пузатеньких сигарок.

— Откуда ты взял?!

— А этого добра во всех аптеках полно, — объяснил Гонза, не моргнув глазом.

Дым вонял жженой травкой, щипал глаза. Сумрачное помещение уборной постепенно наполнялось: входили люди, открывалась и со стуком закрывалась дверь, журчала вода, над позорными остатками перегородок торчали головы.

Гонза щелчком отбросил сигарку в желоб и встал.

— А что мы можем?

Каждый знал, о чем думает другой; что-то носилось вокруг них в воздухе. Лицо! Разбитое до крови... Огромные «корабли» скребут носками бетонный пол. Вопросы. И что-то еще. Оно душило, если думать о нем... Пожалуй, Павел в чем-то прав, сказал себе Гонза. Это «что-то» давило липким стыдом, пробуждая ярость и страх. Куда денется все зло мира, когда кончится война? Ведь не исчезнет же оно самой собой, наверно, только спрячется, замаскируется, но останется в мире, и мир по-прежнему будет неверный и страшный...

Но как же тогда хочешь ты в него верить?

— Что мы можем? — встрепенулся Павел и тоже встал. — А ничего. Ждать будем. И без нас люди найдутся, верно?

Пергаментное лицо в сумраке староместской антикварной лавчонки хитренько усмехалось, слова шлепали крыльями, стоящие часы малиновым звоном отбивали время, а из этого времени смотрели на Павла вопросительно расширенные темные очи.

— Блевать охота!

Павел бросил окурочек и побрел прочь, сунув руки в карманы.

Гонза двинулся было следом, но локоть его стиснули, удержали. Оглянулся. Чего надо? Опять трепаться? Да ну тебя! — Он заранее ощетинился, но какая-то особенная настойчивость в шепоте Милана поразила его:

— Погоди, мне необходимо потолковать с тобой. Необходимо! Завтра мы свободны. Есть у тебя время вечером? Адрес скажу. Ровно в семь. И никому ни слова, это серьезно. Договорились?

Издали дом походил на дворец, построенный архитектором в припадке помешательства. Поблекшая штукатурка треснула под тяжестью лепных украшений, широкие ворота, предназначенные для въезда экипажей, были загадочно закрыты. Дом был странно молчалив и как-то очень подходил ко всему облику Милана. Между камнями мостовой жадно тянулась к свету жиденькая травка, крутая улочка хранила тишину, шаги отдавались здесь неестественно громко. И если бы за спиной вдруг загремели копыта коня со всадником без головы, ты, может, перепугался бы до смерти, но не очень удивился.

Подойдя ближе, Войта увидел, что окна здесь слепые, и заколебался. Между тем название улицы и номер на клочке бумаги указывали именно на этот дом. Войта решительно взялся за ручку двери, вошел. Сырость подворотни, пустота; только на сумрачном дворике встретил человека в халате, невероятно забрызганном красками, и этот человек неохотно указал ему дорогу. Вон туда! Через большой высокий зал, где пишутся декорации, потом в коридорчик налево.

Вот так-так! С обыкновенных улиц Войта попал вдруг в какой-то причудливый мир. Запахи красок и олифы, тряпок и всепоглощающей пыли; уголок хвойного леса с пнями, со щупальцами вылезших из земли корней; идиллическая деревенская площадь; часть средневековой крыши с зубцами... Затаив дыхание Войта прошел мимо морского горизонта, мимо языческого капища с идолами и развалившимися колоннами, и ему сделалось немножко не по себе при мысли, что сейчас вдруг бесшумно поднимется занавес... Он осмотрительно обогнул королевский трон — при дневном свете трон выглядел весьма неказисто — и невольно ускорил шаги.

— Войдите!

Он узнал голос и повернул ручку двери. Удивился, что застал Милана не одного — у окна на стуле сидел Бацилла. Чего ему тут надо? А посреди комнаты, спиной к двери, стоял, сунув руки в карманы, Павел.

— Не пяль zenки, входи! — приветствовал его Милан, который, сидя за столом, пил молоко из бутылки. — Ты опоздал. Запри за собой дверь...

Валяет дурака? — подумал Войта, усевшись на расшатанный стул. Позже сообразил, что все были приглашены так, чтобы являться с промежутками в четверть часа, но и это ничего ему не объяснило. Кого еще ждут? К чему это таинственное молчание? Стул жалобно скрипел под ним, надо бы подклеить шипы, впрочем, тут вообще наберется починки ой-ой-ой...

Пыль, засохшая грязь, фантастический беспорядок, нары со смятой, разбросанной постелью, заляпанный мольберт, палитра, куски мела и угля для рисования. Пахнет скипидаром, непроветренной одеждой, недоеденным сыром — огрызки его, завернутые в бумажки, валялись на

холодной печке. На стенах картины, каких в жизни не видывал Войта: непонятная, но хитроумная путаница линий и форм, цветные пятна — от них кружилась голова.

— Работа Лексы, — сказал Милан, увидев, что Павел от скуки рассматривает картины. — Посмотри вот это. Чистое изображение мечты... эмоции... фантазии! Это я больше всего люблю. Я ее называю «Цветы зла»... Бодлера знаешь? Но Лекса еще никак ее не назвал, он всегда долго ищет название. А эта шкала... Что скажешь?

Павел только одобрительно кивнул, однако ничего не сказал.

Сумерки уже занавешивали окно темнотой, но огня Милан не зажигал.

— Когда кончится эта заваруха, станет ясно, что Лекса выше тысячи мазил-реалистов, вместе взятых. Традиционность, сюжетность — для иднотов, не способных воспринимать искусство.

Милан явно с кем-то спорил. Он сидел на широких нарах, судя по всему, самодельных. Произнеся последнюю фразу, он тронул отзвучившие струны гитары, висящей на гвозде. Сухо покашлял.

— А сейчас ему приходится малевать дурацкие декорации. Надо же чем-то жить, как и каждому... Только революция может окончательно освободить искусство и красоту от лжи...

Полемический задор, с каким он все это говорил, был излишним, поскольку никто не собирался ему возражать.

В сгущающихся сумерках приоткрылась дверь, и все узнали лицо Гонзы.

— Влезай! Опаздываешь.

— Еле нашел. Здорово!

— Теперь все в сборе, — сказал Милан. — Все, кого я позвал.

Он подошел к окну, спустил штору затемнения и, повернув в патроне лампочку под расписным абажуром, зажег свет; убрав с грязного стола бутылку недопитого молока, подошел к двери, приложился к ней ухом и послушал тишину. Кивнул удовлетворенно.

— На ключ запереть я не могу. Если кто придет, не показывайте виду. Будто просто сошлись потреться. Садитесь вокруг стола!

Он включил старенький приемник, и вскоре монотонный голос стал выбрасывать в эфир вечерние известия: «...Успешные оборонительные бои вермахта против большевистских орд в районе... Очередной пиратский налет на северогерманские города...» Бравурный марш и пение солдатских глоток были странным музыкальным сопровождением к тому, о чем им предстояло говорить.

Сидели молча — серьезный тон Милана и все эти приготовления не допускали глупых вопросов, хотя от любопытства их так и распирало. Павел поражался спокойствию Бациллы — толстяк обводил товарищей взглядом, полным самоуверенности.

Милан стоял, опершись кулаками на стол, верхняя половина его лица была в разноцветной тени абажура; он все еще молчал, обводя собравшихся испытующим взором.

— Прежде чем вы все узнаете, — начал он, — я хочу иметь гарантию, что мы будем молчать. Достаточно простого рукопожатия. Вы не

думайте, что я дурачусь, так надо, скоро вы сами поймете. Так вот, во-первых: кто услышит то, что будет здесь сказано, в ту же минуту окажется... как бы это выразиться... вне законов этого... бардака. Ясно? Здесь есть риск, и, может быть, крайний. Я долго ломал голову, кого позвать. Думаю, пять человек — как раз, больше уже не годится. Я никого не принуждаю, кому не по себе; пусть сматывает удочки, пока ничего не узнал. Добровольно! Это будет лучше, чем если бы он потом раскололся. Одно только знание этого дела уже налагает обязательство. Предлагаю две минуты на размышления...

Что он мелет? Что-то подползало к ним в сладостной тишине весеннего вечера — догадки, легкий озноб, но это не было неприятно, и, конечно, никому и в голову не приходило уйти. Опять Милан преувеличивает, — подумал Гонза, — вечный фантаст и поздний романтик, сейчас он, верно, упивается нашим изумлением. Гонза вытащил портсигар, предложил Павлу и Войте по сигарке.

«Denn wir fahren, dumm-dumm...» — доносилось из приемника пение... ..а секунды капали чуть ли не явственно; Войта положил на стол кулаки, Бацилла от волнения сильно дышал носом, с присвистом даже, и преданно тарасился на Милана.

— Ну хватит, чего зря тянуть? — Павел шевельнулся первым, протянул Милану свою тонкую руку. За ним остальные. Был в этом невольный пафос, державшийся на границе смешного. Никто, однако, не улыбнулся.

— Ладно, — сказал Милан и с шумом придвинул стул. — Каждый из вас решил сам, добровольно! — Он оперся на стол локтями и наклонился вперед, заставив тем самым всех сдвинуть головы. — Вчера перед началом смены ко мне обратился Бацилла.

И неторопливо, без лишних слов, с несвойственной ему до тех пор трезвостью он рассказал о том, что случилось вчера ночью; он ни в малейшей степени не пытался подчеркнуть свое участие в этом деле или с прежним предубеждением умалить заслугу Бациллы, чье мужество было обнаружено столь неожиданным образом. Подумать только — Бацилла!

Затаив дыхание все в изумлении воззрились на толстяка. Кто когда предположил бы такое хладнокровие в этом вечно потеющем бурдюке? Сказка об Иванушке-дурачке! Бацилле удалось сохранить невозмутимый вид, только его черепашьи веки сонно помаргивали. Молодец Бацилла!

Долго никто не мог вымолвить ни слова. Опасность? Страх? Испуг? Да, по волнение, охватившее их, перекрыло все это. Гонза, красный до корней волос, проглотил слюну.

— Эта штука здесь?

— Ну, а где же еще? — ответил Милан.

«...Фюрер принял сегодня посланника Румынии...»

Ребята еще не опомнились, а Милан уже слазил под нары, и на стол, освещенный конусом света, со стуком лег пакет. Обыкновенный пакет из плотной бумаги, тщательно перевязанный бечевкой, без имени отправителя и адресата; только это и отличало его от сотен и тысяч

других, какие разносят по домам почтальоны. Он лежал перед ними, такой обыкновенный, но казавшийся им почти нереальным.

«...за прошедшую ночь вражеские самолеты сбросили бомбы на...»

— Я его не открывал, ребята, — сказал Милан. — Может, в нем ничего и нет, но я хотел, чтоб это было при свидетелях, понимаете?

Они понимали. Приглушенный голос диктора мешал им, но никто не протянул руки, чтобы выключить приемник. Это сделал сам Милан: встал, резко завернул рычажок.

Их прикрыла тишина, и в этой тишине они явственно слышали удары своих сердец. Павел переплел пальцы, прогнул их — громко хрустнули суставы. Пакет! Похожий на тот!

— Ну что? — спросил кто-то из них. — Чего мы ждем?

— Но что в нем может быть? — пролепетал Бацилла. Страх шевельнулся в нем мохнатым зверьком — он не зависел от воли Бациллы, он действовал самостоятельно. — А вдруг там...

И Бацилла смущенно замолчал, моргая с виноватым видом.

Скоро же он скапустился! Тоже мне герой! — подумали ребята.

— Вдруг там бомба, а? — ехидно подхватил Гонза. — А ты уши заткни! — Он и сам нервничал и находил облегчение в нарочито бесшабашном тоне. — Вместе взлетим, ребята!

Павел протянул руку к свертку, тонкими пальцами провел по бумаге, ощупал, попробовал прочность бечевки. Все перевели дыхание.

— У меня нет ножа, — пробормотал он. — Надо разрезать...

Войта взялся за дело. Привычным движением он достал из кармана свой складной нож, потом взял в руки пакет. Легко разрезал бечевку, пальцы его двигались ловко и спокойно под пристальными взглядами всех остальных.

Нет, никакого взрыва не произошло. Под слоем плотной бумаги оказалась еще бумага, обыкновенные протекторатные газеты, стопка «Полегли листы» с портретом фюрера на первой полосе — фюрер в полном здравии отметил пятьдесят пятый год своего рождения, — затем потрепанный учебник русского языка, маленькая коробочка с сорванной этикеткой, в ней что-то странно гремело, свисток, кусок обезжиренного протекторатного мыла, моток бумажной бечевки, и еще... со стуком упал на стол еще какой-то предмет, завернутый в промасленную тряпку. Войта осторожно развернул ее.

Молча и зачарованно уставились ребята на этот предмет, кто-то — позднее никто уже не мог вспомнить, кто именно, — громко свистнул, потому что...

...на грязном столе мирно лежал перед ними черный револьвер среднего калибра, и его металлические плоскости и выпуклости матово отражали свет лампы.

— Спокойно! — сказал Милан. Он первым опомнился, и опять в его голосе появилась неприятно-повелительная интонация, фразы стали отрывистыми, как приказы. — Прежде всего спокойно, друзья!

Это «друзья» прозвучало с торжественностью, подобающей историческому моменту. Милан потер глаза и громко откашлялся.

— Как видите, дело серьезнее, чем кто-либо из нас предполагал...

Он говорил один, и в голосе его отзывалась холодная рассудительность; она действовала успокаивающе. А это лежало перед ними. До ужаса материальное; протяни руку — и дотронешься... В черном отверстии ствола сгустился мрак. Револьвер был нацелен прямо в выпуклый живот Бациллы.

— Ясно вам, что все мы, сидящие тут, причастны к этому? Назад пути нет — только ценой предательства. Предательство! А за предательство — смерти! Нечего говорить вам, что достаточно только знать — даже за это нынче платят головой. Они расстреливают моментально...

Он проповедовал: слова стучали, будто падали комья земли, с ними смешивался металлический лязг затворов, команды и залпы расстреливающего отряда. Рев, кулаки, разбитое лицо и «корабли», скребущие носками по бетонному полу... У-у!

Бацилла задним числом задрожал от мысли — что он нес вчера под вздувшейся курткой. Господи Иисусе! Если бы он знал! Он незаметно постарался отодвинуться со стулом из-под траектории полета пули, на лбу его выступил пот. К счастью, никто не обращал на него внимания. «Ах, ну какой я герой, — пищало что-то в нем, — это недоразумение!» Он сейчас же одернул себя, но... Быть бы теперь где-нибудь в другом месте! Дома! Пуховые перины, мамуля, безопасность... Ах, Кора! Поздно! Вот оно лежит, смотри!

— Ладно тебе! — обиженно прервал Гонза Миланову проповедь. — Сами знаем, чем тут пахнет. Не обделаемся же мы теперь, верно? — В грубости этих слов он обрел своего рода опору. — Ясное дело, кому охота лезть в петлю как раз теперь, в конце войны. Тем более — понапрасну. — Он понимал, что выражает сейчас общее чувство. — Предать никто не предаст, только надо как следует мозгами раскинуть, и нечего играть в героев. Думать надо! Бацилла, ты уверен, что тебя никто не видел?

Спрошенный очнулся, испуганно заморгал. Он было замечтался за партой, а латинист вдруг вызвал... «Смотрите, домечтаетесь до переэкзаменировки, лентяй!..» Бацилла просипел что-то, что могло означать и да и нет, на выбор. Так вам и надо, лентяй, следовало вовремя убраться!

Павел взял его за плечи, встряхнул.

— О господи, да соберись ты с мыслями! Да или нет?

— Да... то есть, нет, я думаю, что...

— Видели тебя или не видели? Черт знает что! Сначала геройствуешь, потом в штаны накладываешь! Говори ясней, осел!

— Не видели, — в отчаянии прошептал толстяк.

И все кончилось: опять перед ними был прежний Бацилла, этот пачкун и маменькин сынок, этот откормленный буржуй; он сам себя развенчал.

— Могу поклясться...

— Оставьте его, — на удивление мирно сказал Милан. — При мне он выносил. Все в порядке.

Идет кто-то? Нет, дом утопал в тишине, в какой-то даже неестественной.

— Кто-нибудь умеет с ним обращаться?

Выяснилось, что никто. Большинство видели это только в кино, однако теперь это лежало перед ними ужасающе реальное, и почему-то никто не испытывал чрезмерного любопытства. За исключением Войты: покойный пан архитектор стрелял крыс в саду полеградской виллы из такой же штуковины. Бац! Раз как-то дал Войте в руки, позволил разобратить. Ничего сложного. Войте казалось, что его моральная обязанность — признаться теперь в своем опыте. К тому же в нем проснулся чисто технический интерес.

— Ну-ка дайте, — сказал он с таким невозмутимым спокойствием, словно речь шла о починке будильника. — Я малость разбираюсь.

Он осторожно взял револьвер, обхватив пальцами инкрустированную рукоятку, и отнес его на нары; все напряженно следили за ним. В гробовой тишине Войта вертел револьвер в руках.

— Марка «Че-Зет», — пробормотал он понимающе, не переставая возиться.

Щелчок! Нет, ничего. Бацилла боролся с нестерпимым желанием заткнуть себе уши — он всегда так делал, когда в театре по ходу действия ожидался выстрел, — но взял себя в руки. Вскоре Войте удалось вынуть обойму и высыпать патроны. Он взвел курок, нажал на спуск, револьвер щелкнул впустую. Войта снова взвел курок и уже без опаски заглянул в жуткую темноту ствола; удовлетворенно кивнув, он вставил пустую обойму.

— Ну вот и все, — сказал он, как мастеровой, довольный своей работой.

Подошел к столу, подбрасывая патроны в горсти, показал их товарищам при свете лампы и аккуратно сложил в коробочку с сорванным ярлыком. Оказалось, что она наполнена патронами.

— Отличная штука, — похвалил Войта, покачивая на ладони безопасное теперь оружие.

В этом не было ничего показного, никакой похвалы — просто Войта оказался в своей стихии. Каждый механизм был для него безопасным, являя собой плод человеческой изобретательности.

Он начал разбирать револьвер, объясняя товарищам его конструкцию с такой обстоятельностью, будто отродясь ничем иным не занимался. Ребята смотрели, невольно стараясь держаться подальше, но слова Войты успокаивали своей твердостью.

— Ясно, нет? Предохранитель не забывайте, как бы не бабахнуло в кармане. Просто, как репа. Попробуйте без патронов, он не кусается.

И разом все превратились в мальчишек, поглощенных запретной игрой: по очереди подержали оружие, взвели курок, щелкнули спуском. Кроме Бациллы. Один вид того, как он держит оружие, далеко отставив пухлую руку, заставлял корчиться от смеха. Бацилла вздохнул с явным облегчением, когда Павел взял у него револьвер. А Гонза, развеселившись, подмигнул Милану и прицелился в остолбеневшего Бациллу, кротко закрывшего глаза.

— По буржую — огонь!

Милан сердито вырвал у Гонзы оружие:

— Прошу без глупостей. Не время.

Пауза, заполненная смятенными, бесформенными мыслями. Тиканье будильника в соседней комнате. Гонза принялся перелистывать газеты из свертка, нет ли в них чего-нибудь. Ничего. Ни имени, ни адреса. Обыкновенные газеты. Он тщательно просмотрел учебник, нашел между страниц его тоненькую брошюрку о героях древнегреческой мифологии: Геркулес, Язон, Орфей. Показал всем. Пишкот и Орфей — как-то это не укладывалось у него в голове, и вообще он не понимал, что в этой брошюрке могло занимать кудлатого зубоскала. А кроме этого, ничего не было. Перелистываемые страницы шелестели, все выжидающе молчали.

— А если это вовсе и не его вещи? — задумчиво проговорил Павел. — Что, если мы оборвали какую-то цепь...

И сейчас же все заговорили наперебой, пошли догадки. Как теперь выяснить? Все равно настоящий владелец не может объявиться. Он даже и знать-то не может, куда девался сверток, — конечно, если Бацилла не наврал. Ну, а если вдруг кто-то ждет эту самую штуковину? Братцы! Вдруг кто-нибудь такой — с большим заданием? И если от этого зависит человеческая жизнь? Даже жизни? Ужасная ответственность. Так и давит. А что делать? Ходить, спрашивать — не вам ли предназначается этакая маленькая и блестящая штучка марки «Че-Зет»? Или выбросить? А может, положить на старое место и ждать?

— Ерунда! — вскипел Милан. Он уже места себе не находил от лихорадочного нетерпения, лицо его горело неестественным румянцем; он хлопнул ладонью по столу. — Такая мысль может взбрести на ум только идиоту. Или трусу. Надо тщательно просмотреть, что было в свертке, и найти следы...

— Ни фиги там нет, — устало сказал Гонза.

— Значит, просмотреть еще раз, основательнее. Это наш долг!

— Не ори на меня, — обиженно возразил Гонза; он не выносил патетических фраз насчет священного долга и подобных вещей, не выносил проповеднического тона Милана.

— Ну, а если мы все же ничего не найдем? Чье тогда все будет?

В вопросительном молчании взоры всех устремились к Милану. А он смотрел на товарищей, стиснув зубы, и что-то совершалось в нем. Может быть, его посетила какая-то мгновенная мысль, но, может быть, облекалась в слова мысль давнишняя, неотступная. От блеска его глаз, от упрямого выражения некрасивого лица всех слегка зазнобило. Милан взял револьвер, положил на ладонь, показывая всем, и обвел ребят строгим взглядом.

— Тогда, — он, казалось, с трудом отламывал слова, как камни, — тогда, логически мысля, он должен принадлежать кому-то одному. Это ведь не просто кусок металла, который можно отдать тому или другому. Он взывает: отомстите! Поэтому он должен принадлежать только тому... — Милан возвысил голос, — кто употребит его в дело! Во имя справедливости, против того зла, которое плодит старый подлый мир!

Слышнее стал тикать будильник, но, может быть, это только так казалось, потому что тишина вокруг сделалась тише и бездоннее, и каж-

дый в этой тишине, не дыша, смотрел куда-то вдаль... Так, значит... — И каждый предчувствовал что-то. Один Баццлла до сих пор не понимал ничего. Войта сидел, сложив руки на коленях, лицо его сохраняло спокойствие; Гонза трясущимися пальцами закурил самокрутку; громко трещала, сгорая, травка от ревматизма марки «Лесняк».

— Значит, ты полагаешь... — протянул он, выдохнув струйку вонючего дыма.

— И я полагаю, — неожиданно проговорил Павел.

Все на него оглянулись. Лицо его оставалось безучастным, волнение не коснулось его черт, оно изменило его изнутри. А на вид был тот же Павел, та же помятая куртка, то же лицо с прядкой соломенных волос на лбу. Он положил руки на стол и добавил с трезвостью — новым своим свойством, — как предложил бы простую прогулку:

— Предлагаю нам самим употребить его в дело.

Самим! Что с ними случилось? Вот Павел сказал это — и все, что мучительно роилось в их душах эти два дня, сразу нашло выражение в самых обыкновенных словах, и в них было освобождение, удивительное своей естественностью, — так бывает с каждым открытием, — и все вдруг почувствовали, что это правильно; и нужно, и яснее дня, и должно быть только так и не иначе. Призыв, призыв к действию — только действие может избавить их от всего этого... Да, да, это так! Пишкота схватили, может, уже забили до смерти, но он им с самого края бездны успел бросить эстафету — вот она, ребята, лежит перед вами: пятеро за одного! Отомстить! Это был завет. Логический. Не выполнить его — значит позорно предать. Они это чувствовали. Предать Пишкота. Предать себя. Предать то, что грядет, чего они жадно ждут. Влачить-ся по жизни долгие годы, дышать, сознавая собственный позор? Да, я был трус, ничтожество, дерьмо! Мир мой был скверен и труслив, но я заслужил это, потому что я урод и раб. Я дезертир! Нет, нет: подхватить эстафету, чем бы это ни грозило! Пишкот... О нем не упомянули ни словом, но он сидел тут с ними в конусе света от лампы, со своим зашмыганным лицом, покрытым веснушками, с рыжими патлами — этот шут и весельчак, ничего не принимавший всерьез — и так серьезно ко всему относившийся!

Ясно и без торжественных слов. Назад пути нет! За шторами затемнения громоздилась весенняя темнота, а здесь, под лампой, шли горячие споры. Неизведанный восторг охватил всех.

— Тише вы, ребята, — вмешался Милан, — а то не услышим, если кто придет. — Он взял револьвер. — Кто может спрятать его у себя? Здесь оставлять нельзя.

Павел! Павел забрал у Милана револьвер и сунул его в карман своих брюк, будто это простая зажигалка.

— Но ты за него отвечаешь! Чем?

— Всем. Положитесь на меня! И вот еще что: тут нехорошо. В следующий раз можем собраться у меня. Если соблюдать минимум осторожности, там безопасно.

— Но это значит организовать, как... — Гонза попробовал подойти к делу с практической стороны.

Оказалось, Милан заранее все продумал и даже заранее тщательно взвесил, кого пригласить на эту сходку. Все прошли через его отбор — он заколебался только относительно Бациллы, но именно Бациллу невозможно было исключить, потому что он уже выдержал испытание, и несправедливо было бы не верить ему, хотя он и представитель проклятой буржуазии. Быть может, со временем удастся оторвать Бациллу от его класса. Такие случаи бывали.

— Ну, слушайте! Я вам кое-что скажу. Давайте все как следует обмозгуем. Я ведь вовсе не считаю геройством переть на рожон по собственной дурости, как, может быть, думает обо мне Гонза...

— Ладно, ладно, — буркнул тот, — не будем ругаться. Продолжай.

— Так! Впереди у нас дела поважнее, но это после; когда Красная Армия вышвырнет фашизм. Мировой капитал, который посадил в седло Гитлера, все равно еще жив, он еще силен, и не так-то просто он примирится с победой Советов, это ясно. Тут и Америка, и Англия, и вообще...

— А как же Рузвельт? — перебил его Гонза. — Мне он нравится.

— Мне лично — тоже. Но один он ничего не сделает, потому что окружен капиталом. Только революция и победа пролетариата...

— Я за то, чтобы не впутывать сюда политику, — недовольно возразил Павел. — Может быть, ты и прав, я в этом не силен, но как только начнется болтовня, так можно отправляться домой. Это всегда успеется!

— Ну нет! — горячо воскликнул Милан и даже ладонью по столу прихлопнул. — Об этом надо говорить сейчас. Кто хочет делать то, что мы, тот должен знать не только, против чего он идет, но также и — за что! А я не собираюсь бороться за то, чтобы после войны тут распоряжалась буржуазия...

Он способен сделать несносной самую истину, подумал Гонза с нарастающим неудовольствием, но вслух сказал примирительно, успокаивая оратора:

— Никто и не собирается бороться за фабрикантов. Брось это, Милан!

— Ладно, но за то, что после войны у нас должен быть социализм, — за это я буду спорить с любым, хоть бы и до крови. Кто этого не понимает, тот или тупица, или сволочь. Что с тобой, Бацилла? Крутишься, будто у тебя под задницей стул горит. Не по носу тебе? — колочке спросил он.

— Да нет... то есть да, — испуганно залепетал толстяк. — Я с тобой совершенно согласен насчет социализма... Просто у меня живот болит.

Этот инцидент оставили без внимания, Милан только рукой махнул. С минуту он вслушивался в тишину, потом трескуче откашлялся и начал говорить. Удивил всех: то, что он предлагал, как это ни странно, было вполне закончено и необычайно трезво и продуманно. Быть может, здесь сказался какой-то опыт, хотя Милан о нем и словом не упо-

мянул. Организация, система связи, все как можно проще. Многие группы провалились именно на сложной конспирации; чем меньше людей посвящено в дело, тем безопаснее. Их будет только пятеро. Первое условие: абсолютное молчание. Никому ни слова. Даже самым близким. Болтовня равнозначна предательству. А за предательство мыслимо одно лишь возмездие... Понятно? На заводе ограничить свои отношения до минимума, однако же так, чтобы не бросалось в глаза. Никаких письменных сношений, только устные. Регулярно собираться — иногда тут, а чаще у Павла. Можно у тебя? Можно. Система паролей. Их разрабатывает Гонза. Разделение задач. Связным будет Бацилла, у них дома есть телефон, ему станем звонить, если случится что-нибудь исключительное, а его дело — как можно быстрее информировать остальных. Командир? Старший группы? Милан поразил товарищей, предложив, чтоб не было никакого командира. Нас мало, обо всех операциях будем договариваться совместно, решать простым большинством. Нейтральная точка зрения исключается. Ясно? Потом он предложил еще собираться для самообразования, это можно делать здесь. О чем говорить на таких собраниях? Обо всем! Будут обмениваться запрещенными книгами, обсуждать их, потому что надо объединиться и идейно, попросту говоря — политически. Мы не гангстеры и не анархисты.

Поначалу ребята не видели смысла в таких сборищах, но Милан так упорно настаивал, что в конце концов убедил всех.

— Имейте мужество сознаться, что в башке у вас дикая путаница! — запальчиво кричал он. — Я не хвастаюсь, у меня дело обстоит не многим лучше. Ну, нахватался кое-чего, но ведь ясно же, на этом останавливаться нельзя! Вот передо мной мир, и если я хочу что-то такое делать в нем, должен же я хоть немного в нем разбираться! Нельзя отмахнуться от него, потому что он нас в покое не оставляет, хотим мы того или нет...

С этим должен был в конечном счете согласиться и Гонза. Что в самом деле знаем мы? Ни шиша! Коммунизм, социализм — под этими словами для него скрывались только общие и безнадежно путанные представления о добре и социальной справедливости. А дальше-то что? Где узнать что-нибудь толком? В книжках из публичной библиотеки? Чепуха! Где же взять те, настоящие? Раз как-то попала ему в руки одна такая; он бился над ней, продирался, как сквозь дремучий лес, сквозь сложные экономические выкладки, но ему не хватало соединительных звеньев, основ, в общем всего. Демократия, капитализм... Само собой, уже простая и вполне определенная ненависть к нацистам и безусловная симпатия к тем, кто бьет их в хвост и в гриву, не позволяли клюнуть на idiotские сплетни, извергаемые газетными писаками. Даже те, кто вынужден был выслушивать все эти гадости в гимназии и потом держать по ним экзамен перед немецкими инспекторами, — и те им не верили! Гонза вспомнил, как однажды пошли они всем классом на выставку с мнимо невинным названием: «Советский рай». От чудовищных экспонатов всех бросило в дрожь, Бациллу чуть не стошнило. Вот и пиши об этом сочинение для «немца»! Брр! Решающее большинство надело броню неверия, но были и исключения. Страшно, правда? А в трам-

вае Патка, одноклассник, сказал: «Если это правда хоть на одну десятую — благодарю покорно!» И был он совсем бледный. Не могли же вот так просто взять да из пальца высосать! Еще как могли! Все это штучки из арсенала колченогого пустобреха Геббельса. Пропаганда! Ребята не поверили и не хотели верить всем этим гнусностям о терроре в Советах, о варварстве на Востоке и о плутократах на Западе, о заговоре международного еврейства против арийской расы, во имя которой на всех фронтах проливает кровь героический вермахт. Гнусность, тупая клевета на тот мир, который приближается, и поверить в это значило авансом рехнуться и спрятать голову под крыло. Вранье! Тем более что, кажется, и взрослые-то не верят этому, даже дед, а ведь он воевал против большевиков. Так что тут вроде порядок, только... Одно дело — вера, но ведь надо еще и самим все узнать, ощупать собственной мыслью, и тут Милан прав, хотя в общем-то он фанатик и в голове у него, пожалуй, путаница невероятная. Ррреволюция, грохочущая раскатистым «р»!

Послушай, как они перебивают друг друга, Милану приходится даже успокаивать их, хотя сам он пылает ярче всех!

А не мало нас? Может, прихватить еще, например, всех приличных ребят из цеха? Нет, для начала не надо. Там посмотрим. А кого бы еще? Леоша? А, у него свои заботы с недостающими лампочками. Густа бешеный какой-то и обиженный на судьбу за то, что ростом не вышел. Богоуш? Нет, труслив больно, а фатер его, говорят, подписал какое-то сволочное воззвание Лиги против большевизма. Да, но Богоуш очень переживает, говорит, отца заставили подписать. Ни хрена не заставили. Но Богоуш ни при чем — он за отца не ответчик. Ну, так кого же? Никого! В том-то и выгода, что нас будет только пятеро, поймите же наконец, черт возьми, и никаких осложнений... Думаете, мы одни такие на заводе? Чепуха, спорить готов, что нет, все эти аварии не сами по себе получаются. Как бы установить связь с другими? А как ты это хочешь сделать? В газетах объявление дай, олух! Хватит трепаться, ребята, думайте! И к тому же, — добавил Милан, — не стану я связываться ни с какими горе-патриотами: если не с левыми — так ни с кем! Ясно? Не то лучше брошу это дело. Ребята, не начинайте со ссоры! Сначала будем работать одни, на свой страх, а там увидим. Да, но что мы можем сделать? Пять человек и один пугач! А мы попробуем начать с малого. Потом все больше и больше. Вредить на каждом шагу, тормозить производство. Воровать! А что? И листовки! Распространять по заводу, пусть люди знают, что фашиги не полные хозяева, что им объявлена подпольная война...

Войта предложил портить машины. В сборочном, на электростанции, короткие замыкания у сверлильных станков... А взрывчатка? Где возмешь? Кажется, ее можно сделать самим. Кто разбирается в химии? Ладно, посмотрим! Дальше! Отомстить за Пишкота и сотни других! Правильно. Но как? Сделать налет на живодерку? Не сходите с ума, ребята! А если убить Заячью Губу и нагнать страху на всех верхшущев? Пристрелить Каутце? Или директора-немца с его нацистским значком на лацкане? А чего ты этим добьешься? Кого еще прикончить? Может.

самого Адольфа? А вот бы избить Жабу, напугать всех «нолобков»... В этом что-то есть!

— Ну, хватит на сегодня, — сказал Милан, протирая глаза, которые щипало от дыма. — Гонза, да не кури ты все время эту гадость, сдохнуть можно!

Шаги в коридоре встревожили их. Где револьвер? Порядок. Павел сунул руку в карман, Гонза успел сгрести все газеты на край стола, Милан бросился к постели, за гитарой.

— Не подавайте виду, пойте.

Он провел пальцами по струнам, простыми аккордами нащупал меланхолический мотивчик. «Вот видишь, Маня, мы с тобой расстались...»

Вошел худощавый человек в куртке, вызывающе заляпанной красками; необычное, какое-то выдуманное лицо. Венчик спутанной бороды придавал ему оттенок исключительности. В нем было что-то от отрешенности Христа, если б в колючих глазах не засело озорство.

Вошедший ухмыльнулся:

— Вокальный квинтет или пакостные разговоры о бабах?

От слов его веяло пренебрежением к этим молокососам, хотя сам он был ненамного старше их.

— Это Лекса, ребята, — чуть ли не виноватым тоном проговорил Милан, он мог бы и не представлять брата, у них было что-то общее в чертах лица и одинаково раскатытое «р». — Лекса, это мои товарищи...

Они собрались было встать, подать руку Лексе, но, как выяснилось, он вовсе не желал утруждать себя проявлением интереса к пятерым козликам; прошел мимо них в соседнюю комнату и только на пороге обернулся к Милану, строго сказал:

— А ты в следующий раз не копайся в моих вещах, не то я тебя отсюда вышвырну, друг любезный!

В наступившей смущенной тишине слышно было, как Лекса пощипывает за дверью, у Милана был такой пристыженный вид, что и всех охватила неловкость. Он опять забренчал было на гитаре, но никто не подхватил напева. Гм... Вскоре художник появился тщательно причесанный, в стареньком вельветовом пиджаке; завязывая на ходу галстук, он снисходительно сказал:

— Через полчаса извольте убраться, лорды. Ко мне придут. Это и тебя касается, Милан, и предлагаю явиться не раньше полуночи. Итак, адье!

Дойдя до входной двери, он обернулся, окинул стол беглым взглядом и ни с того ни с сего, как бы догадавшись обо всем, бросил с усмешкой, показывая на покрасневшего Милана:

— Не советую связываться с ним... — Лекса очень понятным жестом постучал себя по лбу. — Он вас доведет до беды, оглянуться не успеете. Псих!

Хлопнула дверь, шаги, свист Лексы замерли в тишине этого странного дома, а за столом испортилось настроение. Будто ребят окатили ледяной водой.

Милан сидел понурился голову и кусал губы.

— Как... Как он догадался, ребята? — вертел головой Бацилла. — Мы еще и не начали, а уже все видно...

— Ничего не видно, — хмуро сказал Павел, стукнув по столу костяшками пальцев. — Случайности! Пошли дальше!

И вдруг как-то сразу оказалось, что им, собственно, не о чем больше говорить; воинственный восторг испарился, и сидели они тут мокрыми курицами, будто их застигли врасплох за ребячьим грехом. Гонза вертел в руках продавленный портсигар и отчаянно дымил.

— Вот воображала, — бросил он.

— Нет! — Милан поднял голову, медленно покачал ею. — Нет, ребята! Лекса хороший. Вы его не знаете. Он настоящий художник... хотя это пока никому не известно. Вы должны понять. Он озлоблен и мучается. А насчет меня... тут он прав, да! Я виноват... — Милан с мучительными усилиями выворачивал из себя признание, и голос его срывался от волнения. — Я его подвел один раз, не из трусости, просто глупый был. И он никогда этого не забывает, я знаю...

Слушать это самообвинение было просто невыносимо, хотя никто ничего не понимал. Опять он преувеличивает, — с неприятным чувством подумал Гонза. — Видно, оба братца чокнутые немного. Черт знает, что там между ними происходит? А может, Милан бредит?

— ...но если вы думаете, что я и вас подведу... как Лекса сказал... Если вы хоть чуть-чуть сомневаетесь, ребята... Тогда я отойду от дела добровольно...

Да ладно уж! Гонза положил ему руку на плечо.

— Слушай, хватит молоть чепуху, понял?

— Если бы мы так думали, не сидели бы тут, — проговорил Павел.

Милан распрямился от этих слов мужественного доверия и обвел товарищей таким взглядом, будто к нему возвращалась вера в спасение.

— Ну и ладно. И хорошо, — уже спокойно прошептал он, поднимая голову, и снова загорелся. — Я ему докажу! — Он ударил кулаком себя по колену. — Докажу, что он во мне ошибается, ребята! Что он несправедлив! Он хороший, но несправедливый, вы сами видали, как он меня обидел. Он думает, что я никуда не годен... Всю жизнь он бросает это мне под ноги... И сбивает с ног... А я даже не знаю, за что! Завидует мне, что ли? Может, у меня дарование больше... А я страшно уважаю его за все, что он знает, и за то, что он не мещанин... Но я докажу ему, что и я не лыком шит... Что и на меня может положиться мировой пролетариат... даже если придется жизнь отдать...

— Иди ты в болото! — довольно грубо прекратил его излишняя Павел. — Нам до всего этого дела нет, и пора уматывать отсюда.

— Еще бы! — язвительно подхватил Гонза, показывая через плечо большим пальцем на нары. — Тут работа предстоит. Живопись, она вдохновения требует...

— Знаете, ребята, — робко заговорил Бацилла, — мне пора домой. Меня ждут к ужину...

— Слыхали? — вдруг оживился Милан. — Ему пора домой! Вот будет он нужен где-то, а что он сделает? Домой побежит! Чтоб мамочка не волновалась. Хорошо же ты начинаешь, Бацилла.

— Я только сегодня, — с несчастным видом отбивался толстяк. — У нее сегодня как раз день рождения, и я обещал ей...

На него махнули рукой, попытались придумать ещё что-нибудь, да ничего нового не приходило в голову. Гонза собрал вещи из свертка в бумагу и вызвался подробно изучить их дома. Павел, хмурясь, предложил все остальное обсудить в следующий раз. Как, где? Он сказал свой адрес и объяснил, как приходить, чтобы не внушить подозрения обитателям старого дома. Довольно и десятиминутного интервала, три раза стучать в дверь его чуланчика из коридора. Два удара сразу, третий — погодя: вот так!

— Решено?

Все решено. Но никто не вставал. Переглядывались растерянно, и казалось им немножко неестественным, что вот разойдутся они после такого волнующего заседания, буднично и незаметно, словно собирались перекинуться в картишки. И тот же Милан позаботился о том, чтобы этого не случилось.

— Не можем мы так разойтись, ребята, — провозгласил он с важным видом и, взяв с плиты бутылку недопитого молока, поставил ее на стол. — К сожалению, нет ничего приличного, чем бы запить, у меня есть только это. Но кто хочет глотнуть молока, еще осталось немного...

Он первым сделал глоток, за ним остальные: каждый отпил немножко этой синеватой протекторатной жидкости; все разыгрывалось в благоговейной тишине.

— Так, — удовлетворенно промолвил Милан, когда бутылку снова поставили на стол. — То, что мы тут говорили, может быть, просто слова, брошенные на ветер, но то, что мы собираемся делать, ужасно серьезно. Вопрос жизни и смерти. И прежде чем приняться за дело, надо нам как-то обязаться друг перед другом, что мы не подведем. И что тот, кто хоть как-то, пусть одной лишь болтовней, предаст своих товарищей по борьбе, — тот сам себя осудит и сознательно подчинится приговору остальных. Это главная заповедь всякой конспирации, друзья...

Опять — друзья, а не просто ребята. Важность совершившегося наложила отпечаток на их лица, и пафос Милана, который они терпеть не могли, оказался теперь уместным. Это вам, братцы, не детская игра в индейцы, так надо, если они не хотят провалиться на первой же операции. Даже Гонза, который в каждой ситуации старался сохранить свой врожденный скепсис и сдержанность, был взволнован и слушал с трепетом. Чего потребует Милан? Присяги? Подписей кровью? Но так или иначе, а надо будет подчиниться. Надо! Только уж скорей бы, хватит этого карканья, этого «прредаательства» с раскатистым «р»!

Ребята вздохнули легче, когда Милан вынул из кармана исписанный листок бумаги — он, видимо, заранее сочинил формулу клятвы. Текст клятвы приятно поразил их неожиданной лаконичностью, хотя Милан все-таки не обошелся без напыщенных и смешных романтических оборотов. «Клянусь честью своей и жизнью...» Так начиналось, и такое мог написать только Милан. Оказалось, однако, что он неплохо

придумал всю церемонию. Он попросил Павла положить револьвер на середину стола, под лампу, и тогда второй раз прочитал текст клятвы: каждый должен был приложить три пальца к блестящему стволу и четко произнести: «Клянусь!» Ясно? Ясно!

— Вы еще подумайте, друзья, — повторил Милан, сверля товарищей завораживающим взглядом.

— Да чего ты все дурака валяешь? — не выдержал Павел. Все эти оттяжки, эти церемонии на грани комизма, видимо, были для него пыткой. — Чего тут думать? Шуты мы, что ли, черт возьми?

Он первым, без колебаний, притронулся пальцами к металлу ствола и громко, твердым голосом произнес: «Клянусь». После него в тишине, нарушаемой лишь дробным тиканьем будильника за дверью, это сделали остальные.

Готово, вздохнули все, *alea jacta est**. Как застряли в их памяти уроки латыни! Смело перешли Рубикон, вместе с Бациллой, у которого невыносимо болел живот.

Молча встали из-за стола, чтоб ненужной болтовней не разбить серьезности момента; вдруг Милан хлопнул себя по лбу:

— А имя-то! Забыли совсем...

— Какое имя?

— Ну, название. У каждой такой группы должно быть название, правда?

— А это обязательно? — недовольно усомнился Павел.

— Думаю, да.

Правда, почему не придумать названия? Они растерянно молчали, а в головах проносились все эти «Кулаки свободы», «Удары» и «Плана мести», но никто не осмеливался предложить что-либо подобное.

Вот только Гонза... Он задумчиво перелистывал брошюрку о древнегреческих героях и явно разделял общее опасение, как бы высокопарное название не оказалось в вопиющем противоречии с их фактическими силами.

— Я предлагаю, ребята, «Орфей», — деловито сказал он.

Что? Он страшно поразил их, ребята пытались найти хоть какую-то связь между этим мифическим певцом и их задачей, но таковой явно не существовало. Что мы, певческий кружок, что ли?

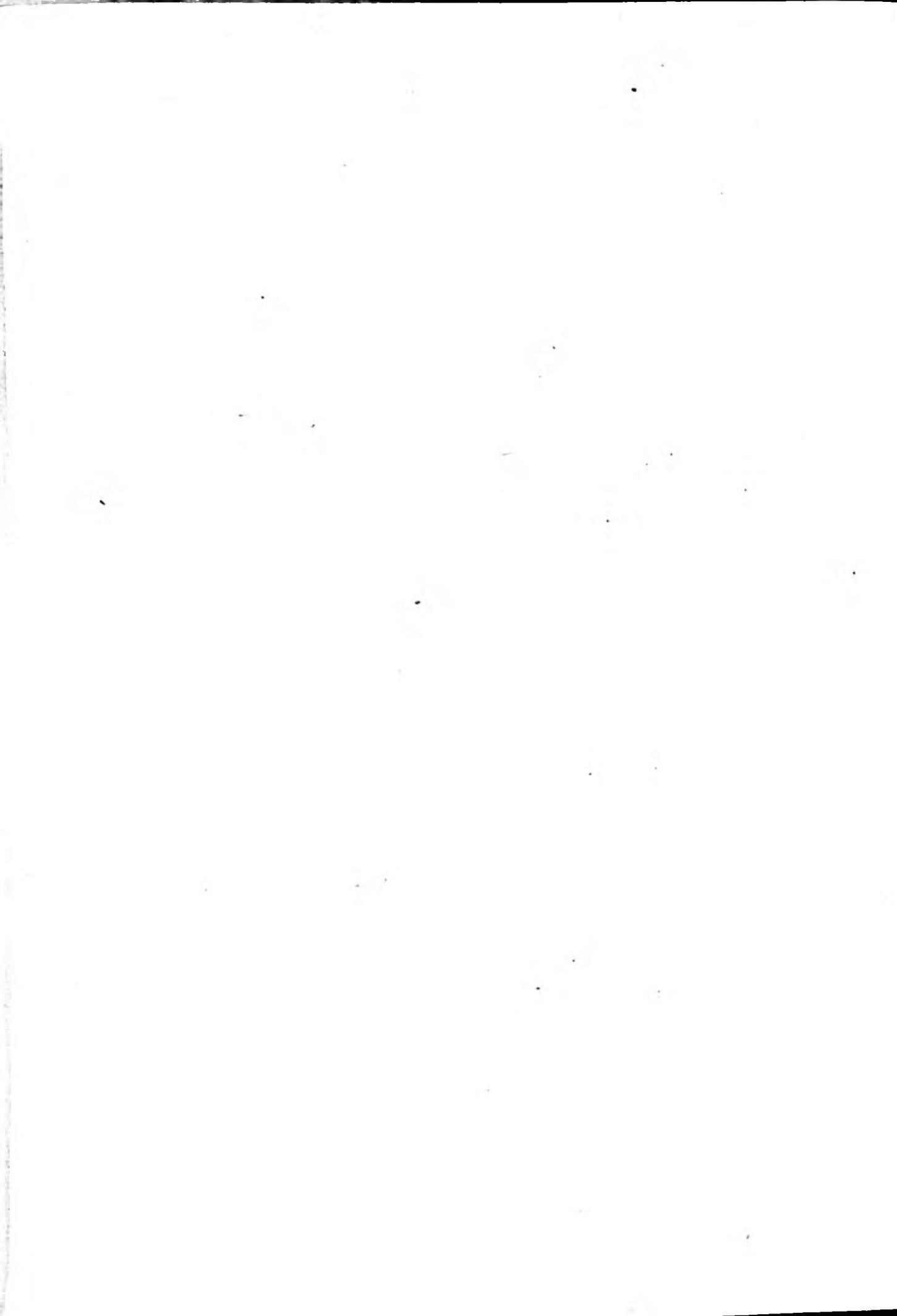
— А звучит очень красиво, мальчики, — добродушно похвалил Бацилла.

— Это-то так, — согласился Милан, но тут же возразил, что такое название будет недостаточно поэтичным. — И почему именно «Орфей»? Откуда ты взял?

— Отсюда, — Гонза показал рисунок в брошюре. — Дело случая. Совершенно так же и я могу спросить: а почему не «Орфей»?

Против этого уже нельзя было выдвинуть никакого серьезного аргумента: название как название. И в тот протекторатный вечер третья империя содрогнулась от ужаса, потому что за спущенной шторой затемнения родилась одна из бог весть скольких группок, о которых вряд ли найдется упоминание в книгах будущих историографов.

* Жребий брошен (латин.).





Часть вторая



Июнь навалился на крыши зноем, и жизнь под солнечным рефлексором текла как будто в большей безопасности, хотя спireны были все грознее и небо над шпилями башен гудело все чаще.

Город, казалось, подернулся пеленой плесени.

— Наверху снова гвалт, — вздохнула мать. — Только бы этот верзила не налил опять водки в аквариум. Безобразники до того дошли, что на картине усы под носом нарисовали. Чернильным карандашом! Никак отмыть не могла.

Войта смотрел, как мать, сидя на краю постели, растирает себе камфарным маслом опухшие суставы. Знакомая жалость сдавила горло, он поторопился опустить глаза в тарелку и упрямо молчал, чувствуя на себе ее взгляд. Сейчас начнет наседать: надел бы чистую рубашку да пошел бы туда, сынок. Ведь она твоя жена. Просто ужас! Впрочем, эти шумные вечеринки уже перестали возмущать его — пускай хоть на голове ходят! Что ему делать среди этих пижонов и их девчонок? Нет, не думать об этом... Мама! Что-то она ему не нравится последнее время. Иногда он видел, как она остановится на лестнице и положит руку на сердце — потихоньку, чтоб никто не заметил, словно боясь встревожить других своим недомоганьем. Вчера ночью он проснулся и услышал, как неправильно она дышит; это его испугало. Лунный свет, отражаясь от стены, озарял ее лицо на полосатой подушке, ему показалось, что она как-то неестественно бледна и тиха... И тогда он весь сжался от страха, что мама умрет. Это было просто предчувствие, рожденное, может быть, даже лунным светом, потому что кто же всерьез верит в смертность родителей? Но Войта не смог от него избавиться. Надо показать ее врачу! Это будет нелегко: ни разу в жизни она не переступала порога врачебной приемной, привыкнув верить все свои страдания невидимому богу и пресвятой деве. Она вставала каждый день в пять утра, и Войта, услышав шепот ее молитв, испытывал такое чувство, что все в порядке. Надо вытереть пыль на перилах да белье посушить, пока солнышко светит, а то вдруг дождь соберется. Что-то кости ломит. Да и!

Шум наверху стал громче, вечеринка, видно, была в разгаре, что-то тяжелое грохнулось так, что потолок в подвале задрожал, вода

за тем виллу потряс взрыв смеха. Визг. Загудел контрабас, к нему присоединился рояль, потом гитара. Усилилось шарканье подошв по паркету.

Войта встал, потянулся, зевнув, и пошел к двери, провожаемый взглядом матери. Пиджака он не взял, давая понять, что не собирается выходить из дому.

Войдя в мастерскую, он закрыл за собой дверь, но делать ему сегодня ничего не хотелось. Изобретения! Он вытащил из портфеля брошюру о системе охлаждения авиамоторов, взятую у одного инженера из конструкторского бюро, и сделал невероятное усилие, пытаясь сосредоточиться, но шум наверху, врывавшийся в открытое окно, отвлекал его. Он поймал себя даже на том, что прислушивается, и ему показалось, что в гуле голосов он различает ее волнуемый смех. Да, это она. Среди этих выютюженных фигур и самоуверенных физиономий она в своей стихии.

Ну и ладно!

Он стиснул зубы и достал тоненькую, сильно потрепанную брошюру. Ее дал ему Милан: редкостный, мол, экземпляр, запрещенный, он головой за нее отвечает! Уже одно название совершенно непонятное: «Азбука диалектического материализма — метод правильного мышления». Вся мелким шрифтом и словно назло грамматике, которую он так ненавидел в школе. Мысли! На первой же странице дело застопорилось, так как речь здесь шла не о дюзах и клапанах в выражениях, усвояемых его мозгом без всякого труда, а как-то иначе, и удивление его росло с каждой фразой: окно открывается, одна створка уже открыта, муха хочет вылететь наружу — к свету... и так далее! Что это значит — диалектический? А схоластика? А материализм? Во всяком случае, это не имеет никакого отношения к аптекарским товарам. Или нет? Но что тут запретного, не поймешь? Странно: когда Милан говорит об этом на сходках, все ясно и понятно, как дважды два: да, это так, чего же тут не понять? Борьба классов, революция, Советы, диктатура пролетариата — да, да, да, — но это значит... Пстой! Покойный хозяин был капиталист, а я? Ну, ясно! А она? Странно, правда, получалось: значит, где-то там, где кончаются перила красного дерева, проходит пограничная черта между бельэтажем и подвалом? А все-таки! Вся его одежда из гардероба щедрого хозяина, и, когда отец умирал, архитектор проявил большое человеколюбие.. Ну вот, начал читать сам, и плохо дело. Не беда, читай дальше, не жалея свою дурацкую башку, должен же ты все это раскусить, черт возьми!

Визг саксофона заставил Войту вздрогнуть. Он открыл отяжелевшие веки. Проснись! Читай дальше! Что такое? Виллу вдруг затопила тишина... И в этой тишине совершенно неожиданно в передней зазвонил звонок.

Звонок всполошил компанию в самую неподходящую минуту. Все сидели вокруг мощного «Биг-Бена» и слушали вечернюю передачу из Лондона: волнующие ту-ду-дум и потом... «дальнейшее наступление войск вторжения в Нормандии...». Пирушка была устроена как раз по случаю высадки западных союзников, сомнений больше не было: за-

крепилась! Закрепились и пошли вперед. ура! Моргнуть не успели, дойдут до нашего скрытого голодом города, и тут то начнется по-селе! За это стоит выжить! Алеш погасил большую люстру, и освещение стало похоже на торжественную церемонию: он обладал белоничным чувством эффекта.

— Тихо! — прикрикнул он на них.

Они послушались, и так как были уже в возбужденном состоянии, разгоряченные снотом и друг другом, а окон нельзя было открывать из-за маскировки, в душном сумраке воцарилась явно эротическая атмосфера. Шелест платьев, тайные прикосновения, мимолетные поцелуи.

Алена непринужденно развалилась в кресле, перекинув ногу через подлокотник, и стала всматриваться в полумрак. Двое на диване уже потонули в нежном объятии, в промежутках между фразами диктора слышался их страстный шелест. Не могут подождать, бесстыжие. Она нашла лицо своего любовника: оно было освещено шкалой радиоприемника, и сосредоточенное, серьезное выражение очень к нему шло.

Как он хорош, негодяй, — чего-то не миновать. Она стала судорожно грызть ногти. Хоть бы уж кончалось скорей, это отравы, а мы все делаем вид, будто бог знает какое важное дело. Эту дурацкую войну выиграют и без нас, а у тех, кто здесь торчит, есть ведь и свои собственные беды. И у меня тоже. Целый ворох. И потому я хочу привести себя в полный порядок, и танцевать до ошаления, и галдеть на весь дом, и устроить тарарам, только бы не думать об этом!

Дррр...

Алеш дернул головой и тотчас выключил радио. Кто это может быть? Половина десятого, и мы все вроде в сборе...

Один из сидевших у окна приоткрыл занавеску.

— Милые, не зажигайте света и пойдите посмотрите. Мне, видно, снится...

Пустынная улица купалась в лунном свете, и ошибки быть не могло: у края тротуара разлегся широкий «мерседес», а перед калиткой стояла высокая и широкоплечая фигура в форме немецкого офицера. Прямая неподвижная фигура наводила страх.

— Господи, чего ему надо? — воскликнула одна из девушек.

— Спокойно, детки. Это всего-навсего Геринг.

— Ты позвала его на вечеринку, Алена, дорогуня?

— Замолчите! — решительно прервал Алеш болтовню, плохо скрывавшую испуг, и показал себя человеком действием: вынул стоячую лампу, вынул из радио «черчильки» и кинул их на ходу и вилу. — Насколько мне известно, вечеринки устраивать не запрещено...

— Кто-то пошел ему отворить, — сказала Алена, хотя услышав Войту. Сгорбившись, он шел уже обратно к дому, и по шагам за ним следовал как бы сам вермахт: по-строгому, точно чекани шаг. В глубокой темноте надменно поблескивали погоны.

— Сюда идет, — заметил кто-то с преувеличенной серьезностью. — Предлагаю оборонять позицию до последнего Забарринадирова...

мужчины — под ружье, женщины — ухаживать за ранеными. Умрем как герои. Смерть оккупантам!

Чуть заметная паника, нервное закуривание сигарет выдавали тревогу. Хмель как рукой сняло. Из соседней комнаты, шурша элегантным халатом, вышла милостивая пани. Нежное лицо ее было белей багистового платка, который она бог весть почему прижимала к виску. Испуг углубил морщины вокруг глаз, нескромно выдавая ее истинный возраст.

— Что-то случилось, — прошептала она испуганно. — Как же быть?

И, не видя в трудную минуту своего надежного защитника, устремила умоляющий взгляд на его столь блестящего сына.

— Алеш, будьте добры... женщине так страшно одной! И потом — мой немецкий язык...

Алеш с решительным выражением на мужественном лице, не колеблясь, последовал за ней.

— А вы оставайтесь на месте! — скомандовал он без излишнего стеснения. — Думаю, ничего серьезного.

Он был прав: происшествие оказалось пустяковым, а в сравнении с их первым испугом даже комичным. Грозная тень в свете освещенной передней превратилась в полковника люфтваффе, жившего в вилле напротив.

Алена с площадки увидела, как незваный гость, щелкнув каблуками, склонился перед ее матерью в галантном поклоне, всем своим поведением давая понять, что не хочет волновать даму.

— Verzeihen Sie gnädige Frau *, — начал он с отточенной предупредительностью, отвечавшей всему его облику.

Он представился. Алеш, сохраняя полное спокойствие, стал переводить.

— Владелица виллы, не правда ли? Очень приятно. Быть может, вы заметили, что я живу напротив... Я не желал бы, чтобы вы приняли мое появление как попытку нарушить ваш вечерний покой, сударыня...

Он держался уверенно, но не нагло, дружелюбно, но не фамильярно, и милостивая пани, успевшая прийти в себя, сумела это оценить. Увядшее лицо ее на глазах помолодело, и испытанная улыбка растерявшейся девочки произвела нужное впечатление на доблестного воина, который возвышался перед ней, увешанный добрым килограммом металла. Хозяйка виллы слушала его с благосклонностью королевы, втайне жалея, что не имела времени привести себя в порядок... Но в чем же дело? Он пришел обратить ее внимание на то, что в одной из комнат — потом выяснилось, что это белая комнатка Алены, — не спущены шторы и с улицы виден свет. Он был бы огорчен, если бы у сударыни возникли неприятности из-за нарушения действующего предписания касательно гражданской воздушной обороны, особенно теперь, когда пиратские налеты — разумеется, временные — становятся все

* Простите, сударыня (нем.).

более дерзкими и частыми. В заключение он выразил удовольствие по поводу того, что получил возможность, хоть в неурочное время и при обстоятельствах не совсем обычных, познакомиться с сударыней.

— Алеш, передайте, пожалуйста, что я горячо благодарю...

Визит прошел бы совершенно благопристойно, если бы при прощании не произошло нечто озадачившее всех присутствующих, не исключая посетителя.

Вдруг сверху послышался шум. По лестнице не спеша спускался Кунеш — полковник в отставке в помятом штатском костюме: во всем его облике была какая-то обветшалая торжественность... Подойдя среди изумленного молчания к немецкому коллеге, он на положенном расстоянии стукнул каблуками и на чудовищном немецком языке представился:

— Herr Oberst... mein Name ist Kunesch. Ich weis alles... *

— Индржих! — воскликнула в испуге хозяйка. — Что с тобой?

Оставив без внимания этот возглас, он еще раз стукнул каблуками и выпятил тощую грудную клетку.

— Ich stehe Ihnen zur Verfügung... selbstverständlich... ** ...само собой... Полагаю, что со мной будут обращаться, как с военнослужащим согласно международному праву... И готов! Ich stehe Ihnen zur...

Посетитель приподнял брови, слегка расставил ноги и тревожно спросил, приготовившись дать отпор возможной провокации:

— Was soll das bedeuten? Ich verstehe kein Wort... ***

В голосе его прозвучала острая резкость команды. Он не знает этого господина и просит объяснений. Сохраняя без особого затруднения свое достоинство, он окинул это чучело угрожающе-презрительным взглядом.

— Ich bin ganz vorbereitet, Herr Oberst... ****

К счастью, тут вмешался хладнокровный Алеш — он объяснил на вполне уверенном немецком языке, что это чистое недоразумение: данный господин не совсем здоров; он нервнобольной. Ach, so! ***** Гость понимающе кивнул, на губах его промелькнула легкая улыбка, и он перестал обращать внимание на ненужного заложника.

— Na gut... ***** Тогда желаю ему поскорей выздороветь, а вам, сударыня, покойной ночи...

Он откланялся, повернулся на каблуках и выстрелил дверью, словно убежал из сумасшедшего дома.

Трах! Алеш повернулся к Кунешу, стоявшему неподвижно, как соляной столб, и не спускавшему глаз с дверей. Прыснув со смеху, он похлопал его по плечу.

— Отправляйтесь к своим рыбкам, пан полковник. В заложниках видно, теперь нет особой нужды.

* Господин полковник... моя фамилия Кунеш. Я знаю все... (н е м.).

** Я в вашем распоряжении... разумется... (н е м.).

*** Что это значит? Я не понимаю ни слова... (н е м.).

**** Я совершенно готов, господин полковник (н е м.).

***** Ах, так! (н е м.).

***** Ну, хорошо... (н е м.).

И весело побежал по лестнице, а за ним королевской поступью проследовала хозяйка.

Невероятно! Полковник в отставке все никак не мог прийти в себя. Неужели они не знают, какой остроумный план наступления против них разработал он в своей скромной каморке? Конев пальчики бы себе облизал! Во всех этих их наступлениях нет и одной сотой тактической гениальности; старик Клаузевиц умер бы от стыда. Схему окружения, пришедшую Кунешу в голову сегодня вечером, он уже успел минуту назад проглотить. Собственно, надо было бы убить немца за оскорбление, пришло ему вдруг на ум, когда он с трудом поднимался по лестнице. Он тряхнул головой. Оплеван! А что, если... — промелькнула у него в мозгу захватывающая идея, — что, если... это была хитрость? Безумно утонченная, так сказать, нордическая! Его охватил почти опьяняющий ужас. Получалось фантастически логично: это была разведка, рекогносцировка местности — ведь он прекрасно знает, что надо захватить его внезапно, склоненного над оперативными картами и планами, ударить из засады — вот как! Бдительность, особая, двойная бдительность, полковник Кунеш!

Он живо переступил порог своей мансарды, повернул ключ в замке и энергично потер руки. Он обдумывал лобовую атаку с максимальным использованием танков — блестящая операция! Расставил на столе фигурки из «Милый, не сердись» и в волнении опустился на стул. К нему подбежал облысевший пес и преданно облизал его руку.

Взрыв! Он долетел со второго этажа — там грянул смех, когда Алеш доканчивал свой рассказ:

— Ну, не в себе... если бы вы, милые, только видели... Ich... Ich stehe... Я думал — лопну...

Хохотали прямо до слез, потом кто-то из девушек заметил:

— Ты бы его пригласил...

— Кого?

— Да этого немца... Могло получиться славное перемирие. Генерал Лаудон едет через деревню...

— Зюзка права. Я бы, может, завела свой собственный вермахт. Что скажете насчет свинга «Хорст Вессель»?

Знакомый голос позвал Войту. Он заморгал глазами, ослепленными электрической лампочкой над столом, и оглянулся; под локтем, на который он положил голову, засыпая, лежала раскрытая брошюра.

— Войтина!

Алена стояла, прислонившись к косяку, волосы у нее были растрепанные, глаза широко раскрыты. Он сперва испугался.

— Ты что?

— Пойдем наверх.

Она подошла, схватила его за руку.

— Я хочу, чтоб ты пошел со мной. Хочу, понимаешь?

Он попробовал освободить руку.

— Не дури. Что мне там делать?

— Если ты любишь меня, то должен пойти. Должен. И так хочу. Хочу!

Был уже третий час ночи, и, судя по шуму наверху, вечеринка достигла своего апогея. Что это с ней? Пьяная, что ли? Она настаивала на своем, как избалованный ребенок, и из-за всех сил танцевала его от стола. Он больше не сопротивлялся, но сон на минуту опять сморил его.

— Должен!

Потом он сообразил, что она заплетавшимся языком твердила ему что-то о сломанной радиоле.

Окончательно очнулся он уже на середине лестницы.

Сумасшедшая, напилась до чертиков! Все его существо охватило отвращение и ненависть к тем, наверху, он ухватился за перила. «Не пойду дальше!» — «Нет, ты должен. должен!» И он послушался, пошел покорно. Все стало ближе, ближе: голоса, вой и рев радиолы, пущенной на полную силу, — ага, значит, она меня обманула, а я болван... Вот они уже в матовом полумраке прихожей; за стеклянными дверями кипело и хлопотало, слышались стоны, как в застенке, звон стекла, топот, и над всем этим шелковисто-безучастный голос певицы, льющийся с пластинки. Мимо мелькнула мужская фигура, размахивающая руками в возбужденном монологе, кто-то другой дергал ручку уборной, где кого-то уже рвало.

Алеш! Он вынырнул откуда-то, взлохмаченный, с развязанным галстуком, но, по-видимому, еще вменяемый.

— Ты хоть понимаешь, что ты противна? — с возмущением набросился он на Алену.

— С дороги, голубчик! — в бешенстве закричала она и пошатнулась. — Это мое дело.

Пьяная, она становилась скандалисткой и несла бог весть что.

— Ты тут самый обыкновенный гость, не больше, так что не заносись! Посторонний. Понятно?

Она запрокинула голову и захохотала.

— Я могу приказать, чтоб тебя отсюда вы... вытурили... очень просто! Хоть ему. Тсс, я тебе вот что скажу: это ведь мой муж. И... дворник! Тсс! Тут нет ничего твоего: ни хибарки, ни меня. Войтица, пошла!

Оба не успели опомниться, как Алена открыла дверь и втащила Войту в комнату.

— Ребятки, кого я привезла...

Алену обогляло, что никто не слушает, она зажала руками рот, одержимая, но голос ее потонул в ошурившем шуме.

— Пить! Дайте мне выпить!

Она опрокинула в себя рюмку и обессиленными руками оттолкнула Алену, который безнадежно тряс ее.

Затопала ногами:

— Тихо, идиоты!

Где я? Искаженные лица с мало опухшими глазами, шипящие ренные зубы, неподвижные зрачки. Дым кофемашины. На Войту...

не обратили внимания, каждый ревел и орал свое, жестикулируя, слоняясь по комнате, занятый самим собой. Чьи-то руки дернули его сзади, заставив сесть на софу, под которой лежал навзничь худой парнишка с козьей мордочкой. Чье-то искривленное гримасой лицо приближалось к нему из дыма со столпой зеленоватой жидкости... «Пей!» — лепетал прямо в лицо пьяный голос.

Теперь Войту заметили и накинулись на него с дружескими воплями.

— Ты кто такой? Я тебя еще тут не встречала. По трубе спустился, что ли? Ура-а-а... детки, это черт!.. Признайся, ты черт! — верещал тоненький голос у самого его уха. — Так пей, чертяка, у вас там небось такого пойла нету. Глотни хорошенько!

Сперва Войта растерянно отнекивался, но его заставили опрокинуть бокал на брудершафт; ему страшно обожгло горло и перехватило дыхание, он весь передернулся.

— Ура-а-а-а! Черт пьет... Еще бокал! А скажи, чертяка, какие у вас там девчонки? Зна-а-атные, наверно... Поцелуй меня, я ни разу не целовалась с чертом. Хочу в ад, девочки. На небе страшная скука, сидят в этих безобразных ночных рубашках и поют всякое старье.

Что я делаю? После четвертого бокала ему все уже казалось смешным; пятый он осушил добровольно. Ребята, ну и хлещет! Он чувствовал, как в голове так чудно проясняется, успокаивается, лица удалялись, расплывались, и вот он оказался один в безопасном уединении, и вдруг все стало ему безразлично, потом он услышал, как сам бурно хохочет и несет околесицу; никогда не чувствовал он себя таким чудесно свободным и несказанно счастливым, а лица вокруг стали милыми, дружескими. Его смешило, как пианист храпит, свесив голову на клавиши, а другие поят контрабасиста водкой. Над головой у него редела радиола, а танцующие пары потешно впились друг в друга. Умора! Когда же они примутся поедать один другого? Вон мужская рука там, за пальмой, кинула окурок в цветочный горшок и скользнула между округлостями девичьих колен, во тьму под юбками. Широкоплечий блондин ходит в ботинках по кушетке и страстно целует в живот голую бесстыдницу на картине — видела бы мама! — а этот, как слон, носит на плечах визгливую брюнетку с жадными губами, она колотит его пятками в бока — трах! — оба повалились на паркет, под ноги скачущим в свинге, а юнец с козьей мордочкой поминутно выныривает из-под стола и кудахчет: «Знаешь, что говорил Зара... Заратустра? Ни хрена не знаешь. Садись! Кол!»

— Тихо, павианы!

Он оглянулся на голос Алены и от испуга слегка отрезвел. Что она собирается выкинуть? Она добилась, чтоб ее слушали хоть несколько человек, поближе! Что это она показывает на меня? Пьяная в дым...

— Будет тебе! — услышал он голос Алеша.

Но Алена его даже не заметила, она закусила удила.

— Я обещала вам сюрприз. Вот он! В кресле сидит...

— Алена!..

— Позвольте представить — мой муж!

Шум, кто-то свистнул, все глаза обратились к Войте, но смысл сказанного не сразу дошел до них. А когда дошел, прорвался вопль восторга. Ура! Вот так номер, милые мои! Изумлению пирующих не было конца. Муж! Они отнеслись к этому как к курьезу, зазвенели рюмки, тут же жадно осушаемые.

Матушки! Значит, ты уже дама, девочка! И не скучаешь... Да не обижайся... Чего ж ты скрывала? Ведь это гран-ди-озно!.. По этому случаю надо сейчас же выпить, я умираю от жажды! Так это твой муж? Захмелел малость, а так парень что надо! Слышишь, Вратя, пьяное животное, это Аленин муж! Боялась, бедненькая, в девках засидеться, что ли? Известно. А как тебя зовут? Серьезно? Да это неважно, каждый должен как-нибудь называться. Послушай, это черт знает что. Тебе повезло.

Это ее рассердило, она трахнула рюмкой об пол, запустила пальцы себе в волосы.

— Нет! Я каждому могу доказать. И ему тоже... — Она указала на Алеша, стоящего в ожидании, что будет дальше. — Это мой муж, и он лю-ит... лю-ит меня! Скажи им, Войтина! Он не прохвост, не кретин, как вы все... Он рабочий... И каждому из вас с ходу морду набьет. Перестаньте ржать по-идиотски, а то велю всех вышвырнуть вон!

Это было невыносимо. Войта уставился в пространство, неспособный пошевелиться. Что она, с ума сошла? Надо уйти! Но как? Слишком поздно. Послушай, что они говорят.

— А я думала — черт! Эй, муж! По такому случаю как не выпить? Стакан мужу! Балда! Когда же была свадьба? А как насчет потомства? Алеш, тебе придется с этим примириться, бедняга... Кто бы мог подумать, что ее уведут у тебя прямо из-под носа...

— Уведут! — крикнула Алена, указывая на любовника пальцем.

Алеш сдерживался, он наблюдал холодно и пристально за ее беснованием, но в нем чувствовалось напряжение тигра перед прыжком.

— Этого не... не понадобилось, — продолжала она, давась от хохота. — Он великодушный, понимаете? Весь в отца. Адвокат! Он был даже свидетелем... вот это... это называется преданность, а? Собой пожертвовал... и даже готов заменить в постели...

— Замолчи! — крикнул Алеш, хватая ее за плечи. — Ты пьяна!

— Не трогай меня! — Она вырвалась, чуть не потеряв равновесия, и показала ему длинный нос. — Ишь ты!.. Хочешь, чтоб я молчала? Герой!

— Алена, я предупреждаю! Подумай хоть о нем!

— Ах, ты о нем беспокоишься?..

Он тряс ее, и было видно, что сдают его превосходные нервы.

— Ступай ложись! Сейчас же. Ты мерзка. И невыносима. Я тебе приказываю!

— Шут гороховый! Паяц! Ты не имеешь права за него заступаться, подлец! Пусти меня, хам! Я буду об этом кричать... Он порядочный человек... Кто станет над ним смеяться — убью! У-бью! Он лю-

бит меня, вы даже не знаете, что это такое, потому что вы пьяная сволочь... Он один меня любит... и никогда меня не бросит...

Остальное заглохло под ладонью спортсмена, она ужом извивалась под этой ладонью и в конце концов укусила его за палец так, что Алеш зашипел от боли. Потом раздался звук пощечины. И еще. Алена пошатнулась, лицо ее выразило испуганное изумление, но она не перестала кричать. Правда, хрипло, так что ничего нельзя было разобрать. Он шлепал ее по лицу тылом руки — не сильно, только чтоб замолчала...

— Оставь ее! — послышался крик со стороны кресла. — Оставь!

Присутствующие пьяно таращились на эту оскорбительную экзекуцию, потом девицы в панике завизжали, но никто не посмел вмешаться.

— Войтина, он меня бьет! Войтина!

Войта сорвался с кресла, в глазах его стоял красный туман, и, не раздумывая, с яростью бешеного быка кинулся вперед. Разбить, размолотить эту смазливую морду, разбить! Бац! Неожиданный удар, нанесенный всей тяжестью корпуса, лишил Войту равновесия. Бить! Пошатываясь на скользком паркете, Войта бессмысленно тыкал кулаками в пустое пространство, уже не достигая цели.

— Разнимите их! Господи Инсусе...

Крики, все повскакивали с мест, обступили дерущихся, девушки истерически вопили.

— Да он убьет его... зверь... с ума сошел... помогите!

Войта опять промахнулся, он задыхался. Где Алеш? Он разглядел его в дыму перед собой, сосредоточенно спокойного, в стойке боксера, с выставленной вперед левой рукой — один вид этого бледного самоуверенного лица бросил его в атаку. Мимо! В воздух. Не успел Войта восстановить равновесие, как его поразил страшный удар под ложечку. У него перехватило дыхание, он согнулся пополам, схватился за живот и зашатался с мучительным кряхтением, но следующий удар в подбородок заставил его выпрямиться. Третий; четвертый... У Войты подкосились ноги. Град точно направленных искусных ударов, наносимых всей упругой мощью тренированного тела, посыпался на него. Он отбивался все слабее, вслепую тыча кулаками, подвывая от напряжения, а тут еще ошеломленный слух ловит ободряющие клики. Шалишь, не поддамся!

— Бей его, Алеш... Прочни грубияна!.. Ага, получил сполна!

Конец. Он изнемог. Весь исчерпался. Руки повисли. Огонь в глазах. На языке. Нет, еще не все. Нет! Последний удар приподнял его и тотчас поверг на землю, узор исшарканного паркета взлетел и понесся на него, лакированные ботинки, девичьи туфельки, край свернутого персидского ковра. «Сколько мама с ним возится», — почему-то мелькнуло в мозгу, — и удар об пол. Жестокий. Но Войта его почти уже не почувствовал. Где-то застучала ветряная мельничка, в ушах завыли корабельные сирены. Колокола. Почему вдруг колокола?

Слова, отдаленный гул слов в остановившемся времени, кто-то подымает его, как пустой мешок, проваливается мягкость кресла, кто-то

обращается к нему из звездной дали, но он не в состоянии пошевелить губами.

— Конец забаве, детки! — услышал он ненавистный голос. — Собирайтесь и марш в постели! Вон, вон, вон! Довольно валять дурака, Зузанна...

Шаги, голоса, свист, хлопанье дверями. Не осталось ли чего выпить? Сыпь, сыпь! Валили вниз по лестнице горячей лавой, пьяный контрабасист мотался во все стороны. Кто-то съехал по перилам, за ним другие. Смех. Вот это пирушка! Историческая! Изумительная постановка! С матчем по боксу в заключение!

...Он приоткрыл глаза, попробовал шевельнуться, не вышло. Ощущения возвращались к нему как бы издали, тело давало о себе знать болью рассеченной губы, но внутри горело еще сильнее. Штора затемнения сбилась кверху, в окно нерешительно заглядывал рассвет, и запущенный сад превратился в птичий вольер. Нереальный, внезапный переход от тьмы к свету.

Он почувствовал какое-то шевеленье у своих ног — забытый гость, паренек с козьей мордочкой, заболтал головой:

— Знаешь, что говорил Заратустра? Ни хрена не знаешь. Садись! Чьи-то шаги остановились у него над головой, чья-то рука опытным движением ощупала ему челюсть, палец приподнял вспухшее веко.

— М-м, ничего серьезного, — произнес ненавистный голос. Алеш примирительно сдвинул ему плечо. — Извини, приятель... я не хотел тебя так разделать... Гонза, пьянчуга! Марш спать...

За окном быстро рассвело, через минуту из сада влетел в комнату ключ от входной двери, тихонько звякнул о паркет.

Приглушенный звук остановил его у двери передней. Звук был похож на рыдание. Он направился в ту сторону. Попробовал пошевелить губами, но боль была нестерпимой, голова трещала. Он приложил ухо к двери белой комнатки, прислушался, потом осторожно взялся за ручку и вошел, сам не зная зачем.

Алена лежала на цветастой тахте под написанным маслом изображением голубоглазой девочки; волны волос разметались в беспорядке по подушке, глаза неподвижно уставились в потолок. Под лучами света на опустошенном лице видны были следы слез.

Стук двери заставил ее очнуться, она узнала вошедшего.

— Войтина... — всхлинула она.

Он проглотил жгучую слюну и заковылял к ней, стискивая зубы при каждом движении. Она нащупала его руку и притянула к себе на тахту. Он не сопротивлялся, рука ее была горячая как в лихорадке и мокрая от слез, трогательная, детски пухлая рука с родинкой выше локтя. При виде его разбитого лица и треснувших губ с пятном засыхающей крови она горько заплакала от жалости, отвернулась и закрыла глаза руками.

— Войтина... что я наделала! Я скверная, презирай меня, возне-

навидь... но я не виновата, не виновата... ведь это не потому, что я напилась... Я должна была напиться... должна... понимаешь?

Гибкие пальцы, блуждая по его распухшему лицу, остановились на палящей ссадине. Это было приятно, резкая боль отступила перед легкими теплыми прикосновениями.

— Войтина, я хочу, чтобы ты меня поцеловал. Ложись рядом и целуй меня в губы! Ты так из-за меня пострадал... Я хочу сейчас, сейчас же!..

Он не вырвался. Держа обеими руками его лицо, она коснулась его рта своими теплыми губами и кончиком языка, сначала тихонько, с бережной нежностью, омывая его губы своим дыханием, а потом все с большим упоением и одержимостью. Когда она задевала рану зубами, возникала резкая боль, но он терпел. Он покорился этому обезволивающему безумию, он захлебывался от волнения. Что же это? Он не верил, не верил этому сумасшедшему завершению самой сумасшедшей ночи в своей жизни; быть может, это сон, и в этом сне он лежит рядом с ней, чувствуя ее всеми фибрами своего существа, а она печально обнимает и согревает его теплом своего тела.

Она отпустила его, испуганно заглянула ему в лицо.

— Какая я дура, ведь тебе, наверно, больно, бедненький...

— Теперь не так, — пробормотал он кротко. Каждое слово причиняло ему страдание.

Ему не нравилось слово «бедненький». Он отвернул голову, но остался лежать рядом с ней. На груди у него покоилась ее рука, а над головой утренний ветерок шевелил белоснежные занавески.

Спать, закрыть глаза и больше не открывать, чтоб это никогда не кончалось!

— Ты простишь меня?

— Да не за что, — самоотверженно солгал он. — Я уж ничего не чувствую.

Она громко вздохнула.

— Я знаю... ты сильный, все выдержишь. Всегда умел меня защитить, помнишь, как всех колотил, если кто...

Он беспокойно шевельнулся, но она продолжала:

— Войта, а почему теперь все не так? Зачем мы выросли? Как-то, увидев на чердаке привидение, я побежала к Фанинке, и она сказала мне, что забыла там наволочку, а привидений вообще никаких нет. Ты поднял меня на смех, и мы пошли играть. Теперь все страшно сложно, и какой мне прок оттого, что меня называют «барышня» и я хожу на высоких каблуках... Я ничего не понимаю, и меньше всего самое себя, и страшно боюсь, потому что не знаю, что будет дальше. И все отвратительно — мама и эта хибара, и... все же: ненавидишь все это, а никак не избавишься. Я когда-нибудь сбегу отсюда. Войта... и ты пойдешь со мной! Уедем куда-нибудь, где нет бельэтажей и подвалов, совсем к другим людям, если они вообще существуют... Тебе знакомо это чувство? Вот считаешь что-нибудь правильным, и все тебе говорит — да, да, сделай так, но ты не знаешь, действительно ли хочешь этого или только себя обманываешь... И потом получается вот та-

кая чепуха, как сегодня... Ты, наверно, думал про меня черт знает что... Нет, нет, не говори, меня от самой себя тошнит, честное слово! Знаешь, чего мне сегодня страшно хотелось?

Он не знал и молча слушал, чувствуя, как в нем пробуждается нежность.

— Чтоб ты его избил, хорошенько, крепко...

— Еще изобью, — пошевелил он губами.

— Я знаю, верю. Ты не представляешь, как я его ненавижу...

Она опять зарыдала.

— Ты не знаешь его, никто его не знает, он над всеми смеется и считает себя выше всех. Ненавижу его смех! Все считают его ужасно милым, а на самом деле он злой эгоист! Приятный в общении, как и его отец, такая змеиная, профессиональная приятность, наверняка и дедушка его и прадедушка были приятными, целый род приятных мерзавцев! Не хочу его больше видеть, не хочу, не хочу! — упрямо твердила она, хлюпая носом. — Слышишь? Конец!

Он провел кончиком языка по запекшимся губам, во рту была настоящая Сахара. Пить, до смерти хочется пить, сполоснуть рот, освободиться от отвратительного вкуса алкоголя!

— Войтина! — промолвила она через мгновение удивительно спокойно.

— Что?

— Ты коммунист?

От неожиданности он приподнялся. Вздохнул глубоко.

— Что тебе пришло в голову?

— Да? — настаивала она с знакомым ему упрямством.

— Нет... я думаю, что... это не так просто... Почему ты спрашиваешь?

— Как по-твоему? Русские сюда придут или западные?

— Русские... То есть советские! — убежденно ответил он. — А что?

— Я хочу, чтобы пришли они! Они ведь большевики, да? Понимаешь, он их боится, американцев ждет. Говорит, что в России тирания и диктатура, и что это правда, хотя это пишут в наших газетах, и что они заберут все дочиста и сделают всех рабами...

— Грубая ложь! — взорвался Войта. — Клевета... Ничего он не знает, оттого что сам капиталист!

Она разволновалась.

— Ты рабочий. Тебе ничего не грозит, там ведь у власти рабочие. Ты наверняка коммунист!

Дико было слышать от нее такие вещи, но все это, как видно, было частью сумасшедшей ночи.

— Пускай берут все! Все! Я тоже стану коммунисткой и хочу, чтоб обязательно пришли они... Хотя и говорят, что там плохой джаз. Но ведь они могут научиться, правда? Послушай, они не запретят джаз, как по-твоему?

— С какой стати? Дурацкая пропаганда...

Это, видимо, ее успокоило, тело ее расслабло. Наступило утомлен-

ное молчание, возбуждающая близость не давала обоим уснуть, а над головой у них свершалось повседневнейшее чудо рассвета.

— Послушай, — ни с того ни с сего прошептал он. — Кто был Орфей?

Вопрос как будто не особенно удивил Алену, она подняла руку и стала чертить в воздухе круги; может быть, отыскивала обрывки гимназических знаний.

— Мифический певец, видно, классный. Укрощал своим пением диких зверей, но Бинг Кросби, может, тоже сумел бы. Ты когда-нибудь слышал Кросби? А почему ты спросил?

— Просто так. Слышал недавно.

— Странный ты человек, Войтина, — сказала она, помолчав. — И вообще все странно, правда? Даже то, что мы с тобой вот женаты, а в первый раз лежим вместе...

— Что ж, — пошевелил он большими губами. — Официальная подпись ничего не значит. Это-то я уж понял... Пора мне...

— Не уходи! — испуганно воскликнула она и прижалась к нему упругой грудью.

Она обхватила его плечи голыми руками, словно желая удержать этим, ему было больно, но именно это заставило его поверить в искренность ее испуга.

— Я не хочу! Гляди мне в глаза, Войтина, я кое-что тебе скажу, а ты в это время гляди мне в глаза. Я знаю, что делаю, и теперь не так уж пьяна. Я хочу, чтоб ты остался! Навсегда. Навсегда, Войтина! Ведь ты мой муж, и мне без тебя страшно. Слышишь? Ну скажи что-нибудь! Скажи хоть, что тоже хочешь остаться, мне надо это услышать...

— Хочу остаться у тебя.

Она вздохнула с облегчением и выпустила его из объятий. Опустила голову на подушку и закрыла глаза.

— Если б ты знал... что со мной... если б ты только знал! Может, это и не так страшно, Зюзка уже это делала и Итка тоже, но я до смерти боюсь... Он все уж устроил... и гроши... ну, да я знаю, так надо...

Она вдруг разразилась сдавленным, горьким плачем, от которого все его существо сжалось в странной тревоге.

— Когда это будет, я умру со страху. По ночам и то мерещится... будет чужой человек, с вымытыми волосатыми руками... и будут там белые изразцы, и белый потолок, и я на него буду смотреть, и кто-то будет держать меня, и закрывать мне рот рукой, чтоб я не кричала, и будет страшно больно, и это будет такая скверная боль... а потом все кончится и ничегошеньки не будет, ну ровно ничего... а потом опять явится он как ни в чем не бывало и станет отпускать свои дурацкие шутки, а во мне уже будет пусто... Господи, хуже всего, что этого не избежать... В школе перед контрольной по латыни я обычно сматывалась... А тут...

— Довольно! — услышал он свой хриплый голос. — Ради бога, замолчи!

Войта не рассуждал, это вырвалось у него невольно. То, что он услышал, было невыносимо. Он пошевелился и сразу ощутил наболевшим телом все полученные удары, нащупал возле себя руку Алены, отчаянно сжал ее.

— Ты этого не сделаешь... Я не позволю!..

Она притихла. Потом он почувствовал на лице ее дыхание, оно скользило по губам, проникало в волосы на висках.

После своих слов он почувствовал слабость и какую-то опустошенность.

Она запустила ему пальцы в волосы, повернула его лицо к себе и глядела на него с глубоким изумлением. У нее дрожали губы.

— Что ты говоришь, Войтина? Но ведь это... Ведь это — от него!

— Я говорю серьезно, — шептал он, закрывая глаза.

Он боялся дальнейших слов, боялся ее взгляда, боялся мыслей.

Она поняла.

— Сострадание, да? Тебе меня жалко...

— Нет! Но... ведь понимаешь все — и не мучай меня. Я не хочу, чтоб тебе было страшно, слышишь?.. И не хочу, чтоб тебе было больно. Ведь неважно, от кого... раз ты не хочешь, в чем же дело?..

Рассвело, за окном щебетали птицы, а здесь была белая тишина, чистая, замороженная тишина после потопа. Оба погрузились в нее, растроганные удивлением перед самими собой, и молчали — рыцарь на деревянной лошадке и голубоглазая принцесса со светло-русой челкой. «Не плачь, — сказал мальчик девочке, ушибшей коленку, — до свадьбы заживет!.. Я никому не дам тебя в обиду!»

Она спрятала голову ему под мышку, от волос ее пахло мылом и табачным дымом.

— Войта! Ты мой... добрый... ты не знаешь, что ты для меня сейчас сделал. Останемся вместе, слышишь, Войтина? Вместе. Господи, какая я была невероятная дура! Сколько напрасно мучала тебя! Ведь все ясно... как это утро... мы его не забудем, да? Если я вдруг опять задурю, скажи только: «Утром! Вспомни, как ты была маленькой! Вспомни!» И я усмирюсь. И если мама что скажет, ты ее не слушай. Обещаешь? Это она все затеяла! Она всегда портила мне жизнь и говорила, что для моей же пользы. А сама думает только о себе, хочет еще нравиться и ненавидит меня за то, что я красивей ее и молодая. Если она начнет меня отговаривать, я плюну ей в лицо. Я замужем, скажу ей. Я могу ее выгнать из этой комнаты, я прекрасно знаю, что хибара наполовину моя понимаешь, — она озорно засмеялась, — а значит, и твоя! И кончено! Войта, Войтина, ах, сколько мы сделаем вместе! А когда война кончится, мы с тобой поедem куда-нибудь далеко-далеко и никого не станем слушать. Никого. Будем совершенно свободны, правда, и все будет наше... и тот, кто родится. Ах, я теперь так счастлива...

Он не вникал в смысл ее слов, только вслушивался в звук ее голоса.

— Войтина, — услышал он прерывистый шепот, — хочешь меня?

Я тебе докажу... Погляди на меня, я этого хочу, хочу, чтобы ты меня увидел...

Сейчас, сейчас... И он с замиранием блаженного ужаса понял, что лицо его — на ее обнаженной груди, она сама расстегнула измятую блузку и прижала его голову, и он может целовать эти несказанно нежные груди с маленькими сосками и чувствовать, как они волнуются под его распухшими губами. Сейчас, сейчас... в этом безумном «сейчас» был свой ритм, вступивший в них прерывистым дыханием. Сейчас, сейчас...

— Не сейчас, мы оба пьяны — умереть, не пробуждаться от этого сейчас! — пусти меня, Войтина!

Свет ударил ему в глаза, он таращился на него с удивлением, с разочарованием — и мгновенно вернулась боль. Ты! Не может быть! Да. Он видит ее. Лежит рядом, опять замкнутая в своем теле, пальцы застегивают последнюю пуговицу блузки. Она погладила его по лицу, коснулась его губ. Потом он услышал ее ровное дыхание и заснул мертвым сном.

В таком виде их застала милостивая пани, первой заглянувшая в белую комнату.

II

Открывая коробку с инструментами, Гонза испытывал волнение восьмиклассника, которому учитель заглядывает через плечо. Мелихар взял бумажку пальцами, окинул его возмутительно-беглым взглядом, фыркнул и стал читать, скребя ногтями в затылке. Заметив вопросительный взгляд подручного, сунул ему бумагу сквозь отверстие в крыле.

— Гляньте, ежели любопытно.

Сирена проревела о наступлении утренней смены, между стапелями шатались привычные фигуры, Даламанек, как всегда, носился с развевающимися полами плаща и жужжал как шмель.

Мелихар зевнул и попробовал пальцем острие сверла. Он был на редкость невозмутим.

Гонза прикинул, сколько времени нужно, чтоб прочесть двадцать строк, и ему казалось, что он неплохо изобразил удивление.

— Что вы на это скажете? — спросил он небрежно.

— Чепуха!

Гонза облилизал сухие губы.

— Почему вы так думаете?

Мелихар смерил его укоризненным взглядом, словно его спросили, какое впечатление произвела на него порнографическая картинка, и сплюнул.

— Я такой ослятины вороха читал.

Эгими резкими словами он будто поставил точку на разговоре, но через минуту, опробовав спуск пневматического молотка, остановился в раздумье:

— Может, это крем какой для загара?

— Вы про что?

— Да про Орфея. Или как там его.

— Вряд ли, — вырвалось у Гонзы с излишним раздражением.

Опустив красные от недосыпания глаза, он сделал вид, будто ищет на земле свою поддержку. Смеется, что ли, Мелихар? Неужели ради этого я встал на час раньше и трясся на первом поезде? Да еще без нее? Гонза почувствовал, как в нем снова загорается ненависть к этой туше, которой с грехом пополам придано подобие человека.

— Вы и вправду думаете, что это дело нестоящее?

В проходе появились Гиан с Падеветом. Мелихар втиснулся в отверстие крыла, чтоб можно было говорить вполголоса.

— А мне-то что до этого, молодой? Всею свое время, говорил папаша...

— Это как? — не сдавался Гонза.

— Коли кто хочет что сказать, должен знать время и место.

Довольный, видимо, своим пифийским ответом, Мелихар, однако, ворчливо добавил:

— Что наци — свиньи, это новость разве что для моего сверла, понятно? И потом — экая каша! Пролетарская революция, Советы, Сталин, папаша Масарик, только Иисуса Христа да Белой горы* не хватает. У людей другие заботы. Не в том дело.

— А в чем?

Может быть, только оттенок грусти в голосе Гонзы удержал бывшего ярмарочного борца от взрыва.

— Да что я, двоюродный брат Сталину, что ли? Не задавайте вы таких дурацких вопросов, гимназистик. — Мелихар страдал вспыльчивостью, и Гонзе было ясно как божий день, что пора прекратить вопросы; впрочем, не успел он опомниться, как тот сунул бумажку ему в руки.

— Уничтожьте сами, а то как бы не попало в лапы кому не надо. Тогда пропащее дело. Лучше всего в нужник, бумага-то довольно деликатная.

Догадался он? Дзуб... дзуб... Мелихар долбил по заклепкам так, что кончики пальцев у Гонзы колко немели, — угрюмый, потный истопник адской котельной, вид которого вселял страх. Ничего нельзя было прочесть на его рыхлом лице, до самого полдника работали молча, хотя нависшую между ними напряженность можно было чуть ли не пощупать руками.

Дзуб... дзуб... И так до перерыва.

— Баста! Третьего крыла не будет, я с Лишкой говорил...

Мелихар освободился от пыли в носу, схватил поддержку и, миролюбиво ослабившись, подбросил ее в воздух, словно карандашик. Сколько раз? Гнев его был яростный, но недолгий, и, когда Гонза су-

* Белая гора — местность под Прагой, где в 1620 году чешские войска потерпели поражение в битве с австрийско-баварской армией и Чехия на три столетия потеряла независимость. Здесь выражение «Белая гора» употреблено в смысле исключительного по своему трагизму и значению события в истории чешской нации.

мел поднять поддержку тридцать раз, Мелихар ощупал его мускулы под мокрой от пота рубашкой.

— Ну что ж, вас теперь соплей не перешибешь, молодой!

Он больше не обращался к Гонзе с обидным словом «гимназистик», но к начатому разговору они вернулись только по дороге в столовку. Июньское солнце кусало им щеки, раскаляло серо-зеленую стену моторного цеха. Мелихар показал на надпись, наспех сделанную мелом на стене: «ОРФЕЙ». Расхохотался.

— Потехи с этим кремом. И нагонит же он нынче страху на Каутце...

Гонза ничего не ответил, только выплюнул погасшую сигарку.

— Вряд ли. Но люди хоть будут знать, что кто-то борется.

— Станет им от этого легче, особенно как увидят вон ту надпись!

— Вы думаете, они единственные?

Вопрос, брошенный так небрежно, заставил Мелихара замедлить шаг...

— Не знаю, единственные ли, но уж наверняка отменные дурни. А ежели угодно знать больше, спросите у Каутце. У него, может, есть точный список.

— Но я спрашиваю именно вас, — упрямо настаивал Гонза.

— О чем?

Позже Гонза старался понять, что побудило его задать следующий вопрос, хотя он знал, что на успех рассчитывать нечего. Он окинул двор внимательным взглядом.

— Может, и вы состоите в какой-нибудь такой?..

В том, что ничего не произошло, было что-то неестественное; они шагали рядом, Мелихар щурил в небо глубоко сидящие глазки; он отозвался не сразу, с подозрительной любезностью:

— А больше вы ничего не желаете знать, миленький?

— Вы тоже коммунист? — дрожащим голосом, чуть слышно прошептал «миленький».

Сейчас взорвется. Он глянул искоса на Мелихара — не пора ли бросаться наутек. Нет. То, что он увидел, было удивительнее всего: великан, раскачиваясь, шагал рядом; вот он провел пальцем по синему подбородку, растоптал валяющуюся коробку из-под лампочки. Жара была нестерпимая.

— Как вы думаете, за что его забрали?

— Кого?

— Да того, в «кораблях».

Мелихар только пожал плечами.

— Я не ярмарочная гадалка.

Он шел, глядя прямо перед собой, на ходу кивнул знакомому, потом оглянулся через плечо. В голосе его появился оттенок усталости и безразличия, но Гонзе ясно было, что надо быть настороже.

— Я знаю только одно. Кто-то проболтался. Может, нарочно — таких достаточно, а может, просто перед девчонкой бахвалился. Таких еще больше. Хоть убейте, не знаю. Но когда туго приходится, бывает трудно молчать-то. Может, у тех, кто этими делишками занимается, и

оружие есть... я ничего не знаю и знать не хочу... На политику мне наплевать, у меня своих забот хватает. А только, думаю, у гестаповцев таких немало.

— Ну и что? Думаете, это значит...

Мелихар вскипел:

— А мне наплевать, что это значит! — Однако сейчас же овладел собой. — Те, из живодерки, не такие болваны, у них всюду шпики. Мы, которые тут не первый день вкалываем, отлично видим что к чему, а попробуйте спросите кого! Язык за зубами держим. Особенно перед чужими.

— То есть перед нами, тотальниками? — с горечью уточнил Гонза.

— Пожалуй, — согласился великан. — Я против вас ничего не имею, но вы из этого сброда. Чуждый элемент. Вы здесь с боку припека... а мы не привыкли быть больно доверчивыми. Вот и молчим. Один оттого, что за ним никаких грешков не водится, другой — чтоб ненароком по башке кирпичом не попало. Думаете, среди рабочих мерзавцев нету? Есть. И такие есть, которые не стесняются по этой... гейдриховой путевке в отпуск ездить. Начальство рабочим задницу лижет, потому что они нужны, и находятся прохвосты... Гроши не пахнут, молодой. А только не каждый, кто орет да грозитя, уж обязательно сволочь. Нынче в людях разобраться не легко, тут бардак, а не завод.

Прошел верхуц, Мелихар замолчал и оглянулся.

— Бывало тут всякое... Был, к примеру, такой парень — Бухач звали. С виду порядочный, ругал их, давал на арестованных и даже с нелегальной печатью как-то был связан... очень популярный, за левого полусреднего играл как бог, а здесь это ценят. Футболист... А может, он и не хотел, да прищучили. Ну и пошло. Двенадцать человек — приличная порция, а? Нашли его потом за стеной, у подъездных путей, а узнали только по одежде да документам, голова — всмятку, чем-то железным. Так ни о чем и не дознались, да никто особенно о нем и не жалел. В то воскресенье он должен был играть против Кралупов, и, может, таблица иначе бы выглядела, кабы он играл, ну ничего не поделаешь... А то еще мастер был в малярке, Бребтой звали, педерастик, все, бывало, глотку драл, гестапо грозился — тут уж у нас на него зубы точили: мол, погоди, курва... А цапнули его прямо в конструкторском. Копировал ночью какие-то ихние секреты, которые тот немецкий инженер испытывал в заднем ангаре, то ли турбовинтовой самолет, то ли не знаю что еще... Отбрехаться-то нечем, ну и выдали ему... Мне с головой расставаться неохота, у меня дочка семнадцати лет... И вообще ступайте вы к...

Они уже подошли к столовке, впереди них покачивала великолепными бедрами Андела, на ходу шептала что-то своей бледненькой подружке.

— Ладно, — промолвил Гонза: он постарался, чтоб это прозвучало грустным укором. — Вы не обязаны доверять мне. Я понимаю...

— Я этого не сказал. Мне нечего скрывать, молодой...

— Так зачем же вы мне все это рассказываете?

— А для смеху! — сплюнул Мелихар. И прибавил, не повышая голоса, словно сообщал самую обыкновенную вещь: — А только скажу вам, коли вы опять полезете ко мне с дурацкими расспросами, я вам вот этими самыми руками голову оторву, баран ученый. Плевать я на все это хотел. Понятно?

Понятно!

Мелихар будто сразу забыл весь разговор. В три шага он догнал девушек, непривлекательной тощей Славине только подмигнул, а Анделу обхватил сзади за плечи и в ответ на ее испуг хихикнул с игривостью ухажера из предместья.

Она взвизгнула, стала вывертываться из его объятий, потом привычным движением уперлась в его могучий живот.

— В чем дело? Я дал этому сиплону предсказателю на пиво, чтоб он нашел меня в твоих лапках, девочка.

Гонза смотрел на грубоватую сцену совершенно безучастно и очнулся, только когда Андела с жалобным кокетством стала просить его защиты.

— Не позволяйте этому хаму обижать меня, миленький!

Он равнодушно махнул рукой и зашагал в столовую.

Гонзу одолевали сомнения. Стоит ли игра свеч? Может, все это глупость, детская забава? Слышал? Уничтожь в нужнике. Бумага, мол, больно деликатная! Он чувствовал эту «деликатную бумагу» в заднем кармане обтрепанных брюк, она прямо жгла его.

Увидев Павла за одним из столиков, Гонза незаметно кивнул ему, но не подошел. Они уговорились общаться на заводе друг с другом как можно меньше, чтоб не навлекать подозрений.

В сущности, это было первое дело, на которое они решились после бесконечных споров в каморке у Павла. Пора переходить от слов к делу. Павел больше всех горел нетерпением. Хватит болтать, ребята! Он вытащил из-под развалившейся кушетки револьвер и бросил его на столик. «Ты что! Спрячь сейчас же!» — закричали на него с испугом. Листовки? Гм... Средство довольно затасканное, но и оно дышало опасностью и, кто знает, оправдает ли себя? Разве для начала... Чья это была идея?

Гонза задумчиво тер виски, Милан сухо покашливал, потом не спеша кивнул. А что? Это тоже может сыграть какую-то роль, попробуем. Бацилла горячо поддержал его, но остальные в душе подозревали, что этот пухлый маменькин сынок готов поддержать любое, самое бессмысленное предложение. Войта согласился без оговорок, хоть и не знал, чем сможет помочь, поскольку еще в школе сочинения всегда наводили на него ужас. Больше всего намечаемая акция не нравилась Павлу: бесплодная, слишком медлительная и малодейственная. Он сидел с мрачным видом, упорно молчал и блуждал взглядом по галерее за грязным окном. В конце концов он признал, что это все же лучше, чем просто чесать языком, а зря спорить в самом начале — подорвешь единство; но он поставил условие — это только для начала! «Принято единоглас-

но», — важным тоном констатировал Милан и с опаской заерзал на единственном стуле, у которого от резких движений отваливалась ножка, так что иной раз сидящий, ничего не подозревая, позорно шлепался на пол. Теперь это произвело впечатление неуместной и пошлой клоунады.

— За дело! Не зажечь ли свет? Здесь как в склепе. И дышать нечем! Откроем окно и будем говорить тихо.

Кто напишет?.. Достаточно набросать, отредактируем вместе.

— Ясное дело, — отозвалась от окна тень Павла, — пусть пишет Гонза.

— Почему именно я? Милан...

— Ты пишешь лучше нас всех.

Что он — серьезно или втайне надо мной смеется? Другие представления не имели об упражнениях Гонзы, и у него было такое чувство, будто Павел неделикатно выдал его. Он оглядел товарищей — взгляды вопросительные, но не удивленные, а выражение лица Павла успокоило его и даже чуть-чуть ему польстило.

— Ладно, — скромно кивнул он. — Попробую.

Видали, — думал он уже ночью, беспомощно кусая кончик карандаша, — видали, теперь я, оказывается, умею писать! Господи Иисусе! Все такое знакомое — столик у окна, светлый круг от лампы, кухонные запахи, на подоконнике в цветочном горшке лук, а в полутьме за спиной с присвистом похрапывает дед. Гонзе грустно. Он скучает по ней. Часа не прошло, как они стояли рядом, опираясь на парапет над рекой; он еще слышит ее слова и ее смех, он до сих пор полон ею: он привык с нею беседовать, даже когда бывал один; это был бесконечный диалог, но сейчас надо ее отогнать — погоди, сейчас мне некогда!

Застрял он в самом начале. Нужно обращение, но какое? Чешский народ? У-у! Такой жирный пафос, прямо шпик, хоть ножом режь. Нет! Нация? Нет! Товарищи рабочие? Но листовка предназначена не только рабочим... Товарищи по груди? Товарищи по страданиям? Одно глупей другого! Братья? Но разве мы Соколы? Отчего так моргает лампочка? Или я совсем обалдел от усталости. Спать, спать! Он сравнил себя с той чеховской нянькой, которая до того хотела спать, что задушила ребенка. Если б хоть дед так не храпел. Может, в нем свисток зашит. Что сказала бы она, если б заглянула мне через плечо? Довольно, уходи, просит Гонза. Значит, так. Трудящиеся, чешские мужчины и женщины, тотальники, товарищи, братья и сестры... Какие-то сопли, а не боевое обращение. Он зачеркивал и писал, зачеркивал и приходил в отчаяние, все выбрасывал и начинал сначала. Как же это я не знаю, что писать? Я ведь ненавижу их, как чуму; закрою глаза и вижу их перед собой и перечисляю эти потерянные дни, пустые месяцы, пропащие годы жизни; закрою глаза — и всплывает озорное, курносое лицо, обрызганное веснушками, — Пишкот! Он кукарекает петухом и воет сиреной. Но имею ли я право писать от его имени, от имени всех, у кого слетела голова с плеч, от имени евреев и ребят, погибших во время налетов в рейхе? Чем, собственно, пострадал я, чем пострадали мы, пятеро, кроме того, что не по своей вине болтаемся на заводе и все ждем чего-то?

Павел прав. Еще раз, попроще, без красноречия! Фразы вздувались, намокали чернилами, разбухали от слов и тотчас опадали, как проткнутые рыбы пузыри, — в жизни он так не потел над одной-единственной страницей. И наконец, сдался, хотя ни малейшего удовлетворения не получил. Лучше не могу. Снова задумался над обращением, и вдруг его осенило — он начал совсем просто: «Люди!» Это пленяло своей безыскусственностью и показалось ему возвышенным и благородным. Люди!

Гонза заснул, уронив на стол опустошенную голову.

Свое творение он представил на суд товарищей с еще неизведанным волнением, хоть и делал вид, будто ничто не может его задеть. Неправда, задело! Потому что вокруг этой с таким трудом составленной страницы разгорелся отчаянный спор, какого меж ними еще не бывало. Разумеется, непримиримый тон спору задал Милан, он морщился, его некрасивое лицо пылало как в лихорадке и казалось, пожалуй, еще некрасивей обычного.

— Нет, это не то, черт побери! — кричал он, постукивая пальцем по бумаге.

Гонза смотрел на него с кушетки, прищурясь.

— Почему?

— По-моему, очень хорошо, — растерянно пищал Бацилла. — Ведь там все правда?

Войта смущенно молчал, а Павел был бледен от гнева.

— Классное сочинение на патриотическую тему! — наседал Милан. — Одно обращение чего стоит! «Люди!» Что это? Кому адресуется?

— Ну людям, ты что, читать не умеешь?

— Чушь, слишком общо! Болтовня!

— Ну и пиши сам, коли ты такой умный! — не выдержал обиженный Гонза. Он старался держаться спокойно, с достоинством, но каждое его слово выдавало уязвленное самолюбие. Тем более что возражения Милана казались ему слишком резкими, чтобы быть принципиальными. Знаю, откуда ветер дует. Завидует, — думал он, глядя на Милана.

— Перестаньте ругаться, — останавливал Павел, — так мы ни к чему не придем. Как же договорятся люди во всей стране, когда мы не можем сойтись на нескольких словах? Дело ведь не в словах, правда?

— Как это не в словах?

— Ну хорошо, но не будем думать о престиже, — сказал Павел, взглянув на Гонзу. — Подумаем о существе. Это не беллетристика. Что ты предлагаешь, Милан? Только не ори на весь дом, незачем всем знать, о чем мы говорим. — Он встал и прикрыл окно своего логова.

Милан устало закашлялся, отер вспотевший лоб и заговорил, понизив голос, но с прежней настойчивостью. Он предложил простое обращение: «Товарищи!» Пусть все знают, что «Орфей» не мелкобуржуазная и не кулацкая организация, этим никого на заводе не приманишь.

— Почем ты знаешь? — холодно возразил Гонза. — Какие же мы «товарищи»? Кто из нас может себя так назвать? Уж не Бацилла ли? Да и ты еще не товарищ, не выставляйся! — Он почувствовал, что задел больное место Милана, но продолжал: — Терпеть не могу, когда

строят из себя. Это дело слишком серьезное, люди за это жизнь отдадут, насколько мне известно...

— Хорошо, — вмешался Павел, — но что ты имеешь против такого обращения? Конкретно.

— Ничего, — сник Гонза, — абсолютно, хотя думаю, что и оно всего не охватывает. Но я злюсь, когда меня все время поучают и думают, что у них исключительное право на будущее. Вот и все. — Тут вмешался Бацилла, внеся свою лепту: наверняка раньше многие на заводе состояли в сокольской и разных других организациях, где все называют друг друга братьями. Может, дополнить обращение? Ведь какое прекрасное слово, правда? Наивность этой аргументации позабавила всех — Бацилла, что с него возьмешь! Но возбуждение улеглось, воцарилась более мирная атмосфера. Теперь было можно, наконец, и порассуждать. Милан говорил уже спокойно, но все свои предложения — вычеркнуть то, вставить другое — отстаивал с упрямством, к которому все привыкли. Он их замучил. В каждую фразу вставлял свои излюбленные словечки, так что туда попали и коммунизм, и Сталин, и мировой пролетариат, и никто не находил убедительных возражений. Что ж, ладно, почему бы нет?

Каждая фраза подробно обсуждалась, но потом горячее иссякло, и окончательный текст, на котором сошлись все, усталые и волнуемые сложными чувствами, явился результатом смутных компромиссов между первоначальным наброском и дополнениями Милана. Один Бацилла громко восторгался. Все перевели дух, словно после утомительной гонки, всем было жарко.

— Давайте голосовать, друзья! — сказал Милан.

— Глупости! — возразил Гонза. — Нас всего пятеро.

Но Милан настаивал, и ему уступили — уж по одному тому, что не нашлось довода не уступить. Единогласно!

— Балаган! — ухмыльнулся Гонза. — По такому случаю надо бы выпить, а? — продолжал он нарочно самым разухабистым тоном, чтобы нарушить тягостно-торжественное молчание.

Неплохо бы! Только что? Разве вермут марки «из-под крана» — в коридоре его сколько угодно. Это явилось веским основанием для того, чтобы перенести данный пункт повестки на другое время. Павел спустил штору затемнения и зажег свет, все заморгали, как совы на солнце, сидели и болтали о том, о сем. Гонза хмуро пошарил у себя в карманах; и вдруг перед его носом раскрылся портсигар: в нем было несколько окурков.

— Бери, — непринужденно предложил Милан, — для вас собираю, сам-то не дымлю из-за потрохов своих. Ты немало потрудился, это нужно признать. На «тигра» хватит.

Гонза после небольшого колебания взял; натянутость понемногу пошла на убыль, но не исчезла.

На этом заботы отнюдь не кончились. В скольких экземплярах печатать листовки? Сотни хватит! Но как их размножить? Гм... О ротаторе и думать нечего, а переписывать от руки и бессмысленно и опасно. Бацилла заявил, что по почерку эксперт без труда обнаружит пи-

чим — и баста! А ты, Павел, оставь уж своего «Яношика» в покое, лучше споем потихоньку что-нибудь приличное, «Красного партизана» знаете? Тогда послушайте: «По долинам и по взгорьям...» Голос Милана, его раскатистое «р» зазвучали среди мягких кресел и пуховых подушек так грозно и подмывающе, что Бацилла с готовностью подтянул ему. Стук-стук-стук...

Столовка жужжала и гудела, Мелихар жмурился над стаканом бурды. Молчали. Недобрым молчанием... Великан сунул руку под рубашку и стал скрести ногтями грудь. Он не снимал рубашки на людях даже в самую сильную жару. Совсем нечаянно в пустой умывальне Гонза раскрыл его тайну: под левым соском у него была грубо вытатуирована женщина и при сморщивании кожи эта женщина делала неприятное движение. Мелихар обречен был до могилы стыдиться этого неприятного напоминания о какой-то минутной слабости. Поделом ему, грубияну!

Гонза возвращался в фюзеляжный цех через раскаленный двор; солнце мешало думать, расслабляло. В нужнике! Как бы не так! Никогда! Из самого пекла он сразу попал в длинный коридор вдоль цеха, и его охватил прохладный сквозняк. Коридор был пуст, за дверями конторских помещений стучали машинки, с правой стороны грохотал цех — как фронт. Никого! Ни души!

Идея! Он оглянулся, не вынимая рук из кармана. Еще раз! Черная доска с пожелтевшими объявлениями, плакат противовоздушной обороны, а рядом: «Schweig! Der Feind hört mit!» * Ему стало смешно. Рядом с плакатом торчал гвоздь от сорванного объявления, он-то и привлек внимание Гонзы. Зачем ему тут зря торчать?

Еще взгляд — и молниеносным, но точным движением Гонза вынул из кармана листовку, держа за самый краешек, чтобы не оставлять лишних следов, насадил ее на гвоздь.

Где-то от сквозняка хлопнула дверь. Теперь прочь отсюда... только спокойно!..

Насвистывая блюз, он двинулся по темному коридору. На повороте против уборной для служащих остановился, спокойно прислонился спиной к стене и равнодушным взглядом повел назад, сам дивясь своему гордому спокойствию.

Солнце било в открытые двери коридора, и Гонза видел только силуэты входящих в его полутьму. Двое рабочих из фюзеляжного прошли мимо доски объявлений, не взглянув. Барышня из конторы в подпоясанном халатике подкрасила губы перед плакатом и проскользнула в одну из дверей. Мимо. Потом силуэт тщедушного старичка. Этот, видимо, заинтересовался листовкой. Читал ее, как все близорукие, уткнувшись носом и смешно вытягивая шею. Потом засеменил дальше и пропал в теплом грохоте цеха. Двое мужчин в спецовках. Пробежали листовку, перемигнулись и ушли. Из уборной вышел служащий с пыльным ли-

* Молчи! Враг подслушивает! (н е м.).

цом, скользнул по доске равнодушным взглядом и прошлепал в ближайшую дверь. Какая скука! Ничего!

И вдруг... Сердце бешено заколотилось: верхуц. Он лениво брел по холодку, заткнув большие пальцы рук за пояс с пистолетом; цокали каблуки о бетон. Стоп! Цоканье разом прекратилось. Верхуц читал эти несколько фраз непостижимо долго, словно не верил своим глазам, потом одним движением сорвал бумагу и сунул себе в карман.

Есть! Внутри забили литавры. «Орфей» объявил войну, один, неизвестный и неуловимый, наперекор всем Мелихарам! А что, если я сваял дурака? Листовка уже, наверно, на столе перед Каутце. Пусты! Когда Гонза медленно проходил по цеху, он отыскал глазами светлое лицо Бланки, склоненное над скелетом руля, и ему захотелось окликнуть ее.

Он удержался.



— Почему ты молчишь? — спрашивал он ее. — Укоряешь? Но во мне все равно ничто не изменилось, клянусь тебе, я знаю, и, когда ты вернешься, я все тебе расскажу. Ничего не скрою. Не укоряй!

Расшатанные половицы, скрипя, заходили под ногами грузного человека. Павел знает эту неровную походку. Потом увидел, как человек в старом мятом плаще пробирается мимо его окна, опустив руки. Стоит только запустить руку под кушетку, прицелиться ему в голову и нажать. Нет, теперь это уже не только мое дело. Через минуту эта каморка наполнится голосами. Некогда он дал себе слово, что до ее возвращения никто не переступит этого порога. Он боялся осквернить тот безмолвный мир, в котором жила ее тень. Боялся, что ее вспугнет чужой голос. Вещей, которых она касалась, — столика и лампы с абажуром, подушки и одеяла — он не трогал. И вот он уже не один, сюда приходят поодиночке, он узнает их по шагам на истоптанной лестнице, по стуку в дверь. Смотри! Вот Бацилла. Вот Гонза. Милан. И Войта. Я уже не один. Все вместе мы носим одно странное имя. Тебе нравится? Что молчишь?

Вчера, когда он примчался с завода, отец сказал:

— Тебя какая-то девушка спрашивала. — Отец стоял, наклонившись над лоханью с посудой, лица его не было видно. — Долго ждала. У тебя на столе письмо.

Он попробовал представить себе Монику в этом жилье, откуда ушло тепло, как она сидит за столом с прожженной клеенкой, но это ему не удалось. Он привык видеть ее в желтой гарсоньерке с окном на реку — видеть ее легкие, стрекозиные движения, брюки, охватывающие невероятно узкие бедра, чувствовать неуловимый и тонкий запах. Да, она была здесь. Наверное, была как райская птица, по ошибке залетевшая в курятник. Конечно, отец принял ее со старомодной галантностью, усадил на единственный стул, с незапамятных времен предназначенный для гостей. Такой порядок завела покойная мама,

Несколько слов было набросано размашистым почерком человека, не привыкшего к экономии. Стихов Китса он не понял, зато понял унылый взгляд, устремленный через стол. Ответил незаметным покачиванием головы. Нет, нет. Я не сумел избавиться от этого. И не хочу. И не спрашивай ни о чем!

— Зачем ты все портишь, Павел? — спросила Моника при последней встрече. Это не был укор отвергнутой любовницы. — Оставался бы у меня. По крайней мере пока ты здесь.

Он повернулся к ней. Она была утомлена. Она всегда уставала после объятий. Перегорала. Трудно было поверить, что это хрупкое тело, лежащее рядом в светящейся наготе неподвижно, как отложенная в сторону вещь, только что жило и вздымалось под ним, навстречу его телу. Следы ее ногтей еще горели у него на коже, в воздухе еще как будто замирал ее стон. Она ласкала его с грустной жадностью, ненасытно, но потом ее тело неохотно возвращалось к жизни. Ему показалось, что она не дышит.

«Тебе лучше?» Она ответила ресницами — в такие минуты у нее жили одни глаза.

Он попытался уклониться от них.

— Ведь я здесь.

— Ты был не здесь.

Павел повернул лампу к стене, чтоб прикрыть желтым полумраком ее наготу. Ее цветом был желтый, она создала вокруг себя желтый мир. Павел вернулся к ней взглядом, попробовал улыбнуться.

— Я тебе не нравлюсь?

Он уловил в ее голосе едкий оттенок иронии.

Вместо ответа он погладил ее. Это было безопасней всего.

Она пошевелилась под его рукой, вяло отстранила ее.

— Так не надо! Я не заслужила. У тебя в руке — холод. — Обмакнуть ее было невозможно ни словом, ни прикосновением. Ни глазами.

— Не сердись. Я дурак, Моника.

— Скорее сумасшедший. Не говорю, чтоб это мне в тебе не нравилось. Я предпочитаю печального сумасшедшего веселому идиоту. Это занятнее. Ключ от квартиры я коварно сунула тебе в карман. Ну как?

Он отрицательно покачал головой.

— Ты знаешь, что я никогда им не воспользуюсь.

— Боишься, как бы не наткнуться на кого-нибудь еще?

— Между прочим и этого, — с такой же откровенностью отбил он ее атаку.

— Что вполне может случиться. Я не склонна быть дежурной на телефоне. Скажу тебе кое-что: если бы ты взял ключ, то не встретил бы у меня никого. Ты во всем видишь символы. А это обыкновенный кусок металла, приспособленный к тому, чтобы отпирать дверь. Раньше мне такая пошлость никогда не пришла бы в голову. Видимо, ты оказываешь на меня вредное влияние. — Она хрипло засмеялась. — Любовник с ключом в кармане! У-у! Однако из того, что я с тобой сплю, еще не следует, что мы любовники. Любовники — от слова любить, а мы не только друг друга не любим, но даже не притворяемся,

что любим. Так гораздо лучше. Мы только по взаимному согласию пожираем друг друга. Совершенно по-дружески, для здоровья, просто есть у нас свои потребности. Все в порядке. Никто не связан по рукам и ногам. Я хоть по вкусу тебе, сушеный интеграл?

Он слегка отстранился и посмотрел на нее, прищурившись.

— Зачем ты так говоришь? Врешь ведь. Ты же не такая.

— Но это так! Только, пожалуйста, не обвиняй меня в склонности к мелодраме. Не воображай, что я хнычу, как только за тобой захлопывается дверь. И не думай. Мне хочется жить, а не хныкать. У меня нет времени. И ты не ломай себе голову, как ты это обычно делаешь. У тебя бесстыдное тело, а душа протестантского проповедника. Ключ останется здесь. Раз и навсегда. Как символ взаимной свободы.

— Мне пора, — сказал он. — А то запрут дом.

— Как хочешь...

Он не вставал, знал, что не в силах оставить ее, он испытывал отчуждение и горечь, хотя ее изливания не были для него неожиданными; он знал, что она любит ранить. Себя и другого. Знал и то, что есть другая Моника. Видел ее растроганной и в следующий миг ядовитой, злой, эксцентрично-самонадеянной и все же беспомощной, сумасшедше-веселой и сквозь смех печальной, мудрой, иногда беспечно-поверхностной. Она умела быть целомудренной и тут же становилась вызывающе-бесстыдной, ее окружали какие-то хлыщи, и все же она была одинокой, одинокой со своей болезнью, о которой запретила себе не только говорить, но даже думать. Она внушала ему жалость, возмущение и непонятный страх, была ему чем-то близка, ближе, чем кто-либо другой, и в то же время далека, даже тогда, когда лежала рядом; их ласки имели привкус горького миндаля и подчас казались ему унижительными для обоих. Всякий раз, уходя от нее, он давал себе зарок не возвращаться, но за этим только что принятым решением уже чувствовал, что опять наберет знакомый номер. Все это он мог бы легко объяснить: он несет к ней свой голод, гнездящийся в его живой плоти, и свое одиночество. Но все было гораздо сложнее, и сомнительно — могут ли два человеческих одиночества взаимно уничтожить друг друга. Кто ты? Зачем я тебя встретил? Чтоб забыть? Но я не могу забыть. И не хочу. Никак не хочу. Понимаешь? Почему не понимаешь?

— Послушай! — прошептал он ей как-то в минуту удовлетворенности. — Что мы, собственно, собой представляем?

— Какое это имеет значение? — отозвалась она неохотно, но через некоторое время прибавила: — Я не люблю определений. Мы два человека. Разве не достаточно? Мы встретились, а вокруг стужа. И пусто. Тьма. Война. Что еще? Может, то, что оба мы совершенно голые.

— А почему же мы встретились?

— Почему? Сейчас наверняка спросишь: какой в этом смысл, так? — Она вспомнила какие-то стихи и прочла их на своем неуверенном, но красиво звучащем английском. — Не понял? Попробую перевести: «Жизнь только летучая тень, жалкий актер, который в свой час чуть не ломает подмостки, а после пустота... История, рассказанная дураком. Много крику и беснования, а смысла никакого».

— Спасибо, — сказал он. — Кто это так отвел душу?

— Некий господин Макбет. Попробовал стать королем, да сорвалось.

— Тогда нет ничего удивительного. Ты тоже так думаешь?

— Не знаю. Впрочем, это написал мужчина. Размышлять о смысле чего-нибудь, особенно жизни, чисто мужская черта.

— При всем уважении к классикам я все-таки думаю, что должен же быть какой-то смысл в том, что двое встретились.

— Погоди! — перебила она со вздохом. — Пожалуй, имеет. — Она ласково прижалась к нему голой грудью. — Хотя бы в том, что они согреются друг другом. Пусть на минуту. Ну, начинай греть, мне х-х-холодно...

Он обнял ее. Что ты о ней знаешь? Живет в этой желтой норке, словно оранжевый цветок. Вкусу, с которым маленькая квартирка была обставлена, не приходилось учитывать каждый лишний крейцер. Папа, понимаешь? Даже на пятом году войны ей не надо себя ограничивать, здесь Павел впервые отведал шоколаду и пил коньяк, какой ему и не снился. Моника не курила, но ларец чеканного серебра был полон австрийских сигарет — и это когда за три обыкновенные «викторки» платят по сотне крон. Книжки, книжки, по большей части английские, граммофонные пластинки, — радио она принципиально не слушала: это меня не интересует. И половодье цветов. Она любила лежать на полу, на толстом ковре, и, когда он как-то раз спросил, что это она делает, она ответила с ленивой усмешкой: просто живу. Это иногда страшно трудно. Он понял и перестал спрашивать. Он знал фамилию ее отца — громкую фамилию, которую больные произносили как заклинание. Моника, видимо, обожала его, но, почему она жила отдельно, было неясно. Она никогда не заводила речи о себе, но, если он спрашивал, отвечала со спокойной деловитостью человека, которому нечего скрывать.

— Откуда у тебя такое имя?

Она зевнула.

— Очень просто. Моя мама была немка. — Заметив его удивление, она поспешила прибавить: — Надеюсь, тебя это не смущает. Она давно умерла, и ни папа, ни я не имеем с ними ничего общего. Нет. Когда папа с мамой женились, о Гитлере еще и слыхом не слыхали. Мне это совершенно безразлично. Как и то, что мой старший братец примкнул к ним и теперь месит грязь где-то на востоке. Ну его к черту! Я даже немецкий язык не выношу. Ты страшно настроен против них, это твое дело, но, уверяю тебя, если бы ты был за них, мне и это было бы все равно. Ты мне понравился, когда разъярился у этих девчонок Карасовых, хотя бы потому, что меня всегда восхищает темперамент.

Он нахмурился. Нет у нас с ней ничего общего.

— Зачем же ты туда ходила?

— От скуки. — Она, видимо, не поняла, чем задела его. — В общем это балаган, и я рада, что ты не попался на удочку. Старик Карас снюхался с немцами, когда им еще везло на фронтах, прикарманил целый воз старинных вещей из еврейских квартир, а теперь трясется от страха. Думает, наверно, что после войны скорей забудут его грешки.

если узнают, что он предоставил квартиру для группы Сопротивления. Отсюда и вся комедия, понимаешь?

Он понял, и его замутило от гнусности этого мира. Но все позади, от унижительного знакомства осталась только Моника. Он глядел на нее и спрашивал себя с горьким удивлением, почему ей, именно ей вверился он безраздельно. Еще один вопрос без ответа.

Как это произошло? Они стояли у окна, и он рассказывал ей историю, которая не имела конца, выдавливая из себя подробности, запинаясь, и глядел в окно. На реку спускался сумрак, прозрачный, почти нереальный, по мостовой гремела колонна военных грузовиков, оконные стекла тихонько дребезжали. Тогда впервые прозвучало вслух имя той, и Павел стискивал зубы, совсем забыв о другой, живой, стоящей рядом.

Он договорил, в оглохшей тишине очнулся: в него вперились округлившиеся глаза, внимательные, печальные, все понимающие. Он притянул ее к себе, положил голову ей на плечо. Она ничего не сказала, только погладила его по волосам; в этом целомудренном прикосновении было все, и он был благодарен ей, что она не попыталась утешать. В ту ночь они впервые не ласкали друг друга. Моника не настаивала. Что-то неслышно встало между ними. Имя! Произнесенное вслух, оно становилось более реальным и правдоподобным, он не мог им насытиться. Моника всегда терпеливо слушала, когда он заговаривал о той, другой, она молчала, может быть, понимая, что говорить им не о чем, что ему необходимо воплощать это имя хоть в звуке. Он находил в этом какое-то утешение; у него блестели глаза. Эстер! Он витал где-то далеко. Но однажды заметил ее странный, непостижимый взгляд, осекся на полуслове и схватил ее тревожно за руку.

— Ты что?

— Ничего, — спохватилась она с усталой улыбкой. — Продолжай.

— Нет. Скажи мне, что ты сейчас думала? Только правду.

Вздыхнув, она стряхнула тягостное чувство, и на губах ее заиграла легкая самобичующая ирония.

— Ничего особенного, Павел. Просто любопытно, что тебе нужнее; спать со мной или разговаривать о другой. Что ж, пожалуйста, не стесняйся! Я жива и могу слушать.

Он моментально понял, что поступает дурно, эгоистично, что рассказывать ей между двумя объятиями о другой женщине, хоть и потерянной и нереальной, — извращенность.

— Не сердись.

— Говори, говори, я крепкая, выдержу. А тебе это необходимо.

С тех пор он упоминал это имя лишь изредка, но ничто не изменилось. Оно по-прежнему стояло между ними.

— Мы составляем довольно своеобразный треугольник, тебе не кажется? — говорила Моника.

И опять в этом не было укора. Только констатация. Почему она меня не выгонит?

— Ты думал о ней? — спросила она как-то раз,

Не имело смысла запираяться. Павел кивнул.

— В чем ты, собственно, себя упрекаешь? Что спишь со мной? Что я доставляю тебе удовольствие? Но я живая, и я тебе пужна. Когда все кончится, я исчезну, как пар. Улетучусь. Обещаю тебе. И ей. Он приложил палец к ее губам.

— Не говори так!

— Почему? Я не сентиментальна. Но вовсе не хочу, чтобы ты все время в чем-то себя упрекал. Это лишнее. Я угадала?

— Нет. Кажется, не в том дело. Ужасно, что я не могу дать тебе больше. Дать все!

— Я и не хочу больше. Пойми это раз и навсегда! Не знаю, почему именно ты, но ты даешь мне много. Да большего я и не могу себе позволить, потому что это было бы страшно, печально, безнадежно, а я не желаю мучиться. Если тебе со мной хоть в малой доле так хорошо, как мне с тобой, то мы в расчете. Приласкай меня! Сейчас же! Я запрещаю тебе терзаться. И меня терзать, понимаешь? Глупый!

И он взял ее лицо в ладони и горячо заглянул ей в глаза.

— Ты чудная, Моника!

Она возразила, нахмурившись:

— Ничего подобного. Но я умею быть благодарной, понимаешь? За то, что встретила тебя и что ты мне доставляешь наслаждение, какого я ни с кем еще не испытывала. А их было немало. Знаю, женщины обычно говорят так своим любовникам, но я действительно наслаждаюсь. А это много. Может, вообще самое главное. Все остальное, помимо пальцев, глаз, тела, дым. Я предпочитаю реальность, хотя бы краткую. Сейчас ты здесь, и за это я тебе благодарна. Теперь я жалею, что сказала о болезни, все могло бы быть иначе, но сделанного не воротить. А потом я уж сама справлюсь, без тебя. Не говори со мной об этом, думай о своих бедах, Павел, ведь мы с тобой так условились, правда?

Он лежал, закинув руки за голову и вперив взгляд в желтоватый потолок.

— Послушай... я сказал тебе все. Может, и мне не следовало... Не знаю. Теперь ты обещаешь сказать мне, что ты на самом деле думаешь!

— Спрашивай!

— Она вернется?

Ему казалось, что она сделалась еще более недвижимой и дыхание у нее замерло.

— Как я могу это знать?

— Я спрашиваю, что ты думаешь, а не что ты знаешь. И спрашиваю, как близкого человека, Моника.

Он настаивал с нелепым упорством, словно все зависело от ее ответа, и следил за ее сжатыми губами.

Она отклонилась в тень.

— В этом мире чудес почти не бывает. Мне ведь тоже нужно чудо. Совсем маленькое и даже не особенно важное, только для меня. Например, пусть бы такие-то люди сшиблись... Однако — в том, что для нас важнее всего, Павел; обычно прав бывает этот серый и злобный разум!

— Значит, ты думаешь...

— Не спрашивай! — вырвалось у нее. — Не спрашивай меня! К тому же тебе, с твоим мозгом, было бы страшно жить в мире, где совершаются чудеса. Довольно! Погаси свет и открой окно! Не думай! Не думай ни о чем, я хочу, чтоб ты перестал говорить и взял меня впотьмах. Иди, Павел!..

Он вернулся от окна к ее рукам, протянутым ему навстречу, просвечивающим, живым и теплым, реальным рукам, проникнутым горьким желанием, и снова они были двое, утонувшие в своих телах, а вокруг колебалась влажная тьма, она искрилась за окном и шевелила занавесками, тьма ощущений и сливающегося дыхания, а внизу текла улица с размытыми огоньками и призраками людей, и каждый из них двоих был одинок, замкнут в своем теле — посреди мира, в котором режут орудия и сирены воют голосом гиены, а люди превращаются в бледные воспоминания. Ах, Моника!

Уснула?

Он с величайшей осторожностью освободился из слабеющих рук и оделся в потемках, чтоб не разбудить ее. В кармане пиджака нащупал маленький холодный предмет. Ключ! Положил его на край стеклянного столика и подался к двери, не заметив, что за ним следит пара круглых глаз.

Вот и Войта! С обычным выражением лица он сел на диван и положил руки на колени. Здорово! Жара какая, а? Открою окно.

Они и на заводе-то были немногословны, им хватало привычных жестов. Так — означало: подай молоток. Кивок в сторону термички: сбегай за заклепками! Взмах руки в сторону: отойди! Отношения между ними определялись не тем, что один был квалифицированным рабочим, а другой его «тотальным» подручным, — они основывались на безмолвном уважении второго к первому, в них не было напряженности, а следовательно, и взволнованности. Иногда во время тревоги взглянет Войта на небо, прислушается и тоном профессионала заметит: «Глобмайстеры!» Монотонное гудение звучит для его ушей райской музыкой, и мысленно он там, наверху, за рычагами управления. Были ли они друзьями? Пожалуй, если дружба может обходиться без общительности и проявления интереса к судьбе другого: им было хорошо вместе, хотя каждый оставался в своем личном мире. Что нового? Ничего. Как живешь? Да так... Павел принес из столовки свеженький анекдот о Моравце. Войта, вполне оценив его, заулыбался: откуда только люди это выкапывают? Как дела, не слышал? Слышал — бьют немцев. Отлично. К рождеству, может, все кончится. Павел знал, что Войта недавно женился на «законной девчонке», как утверждала молва, но Войта ни словом не обмолвился о своем свежеспеченном счастье. Только раз Павел спросил:

— А хорошо это — жениться на женщине, которую любишь, и быть с ней каждый день?

Войта отвел пневматический молоток; он, казалось, не понял, к кому обращен этот странный вопрос. Потом только шмыгнул носом и нагнул голову:

— Да так...

И грохот пневматического молотка разорвал тишину, вставшую после ответа.

— Бацилла, — возвестил Павел, открывая дверь в коридор.

Толстяк вкатился в комнату, запыхавшись, как старая кляча; не смотря на это, он чуть не лопался от ликования.

— Ура! Выпьем!

Он вытащил из-под полотняной куртки бутылку чистой водки и с гордым видом поставил ее на стол.

— Стоило бешеных денег, ребята.

— А мы не ослепнем? — осведомился Павел.

— Вздор! Я пробовал и вижу лучше, чем раньше.

В комнату проскользнул Милан.

— Смерть оккупантам!

С раскатыстым «р». Увидев бутылку, откупорил и понюхал.

— Ржаная. Не буду. Я голоден и сразу свалюсь с катушек долой. Пожевать нету, Бацилла? Воображаю — сам-то набил брюхо, а? Где Гонза?

Он сухо покашливал и трогал влажный лоб.

Сквозь полуоткрытое окно в комнату лился теплый воздух с накаленных солнцем крыш, где-то наверху вопила радиолоа.

«Море, мечта-а моя-а», — надоедливо рыдал тенорок.

— Черт возьми, — выругался Бацилла, — неужели у этого типа всего одна пластинка?

Гонза влетел, запыхавшись, сослался на трамвай, отразив инквизиторский взгляд Милана.

— Не было и не было. Что будешь делать?

Милан отмахнулся, закрыл окно и важно кивнул.

— Начнем!

— Минутку! — умоляюще воскликнул Бацилла. — Может, сначала выпьем?

Не дожидаясь согласия, он открыл бутылку и наполнил до краев банку из-под горчицы.

Вкруговую! Павел первым глотнул, его даже передернуло. Банка в благоговейном молчании пошла по рукам, в конце концов и Милан дал себя уговорить, а Бацилла отважно опрокинул в себя остаток.

— А, черт... вот... сила!.. — Он поперхнулся и стал тереть мокрые от слез глаза. — Я не знал, что она такая крепкая.

В желудке запылал костер, волны приятного тепла распространились по всему телу; было в этом роскошное чувство освобождения и смелости.

— Еще по одной, ребята!

— Постой, балда, — проворчал Милан. — Мы собрались не водку хлестать... Будем пить понемногу и при этом работать. У меня уже малость закружилась башка.

Завязался тихий разговор, горячей всех говорил Бацилла, которому водка явно ударила в голову. Поверить его восторженным словам, так можно было подумать, что весь завод, как один человек, вот-вот поды-

мется против оккупантов. Еще несколько таких листовок, и вот увидите! Он так и подскакивал на стуле, качавшемся под ним, как утлый челнок на волнах. Спокойней, Бацилла, скувырнешься! Он выполнил задачу на сто процентов: не только сумел, улучив момент, рассовать свою долю листовок по шкафчикам в раздевалке, но даже незаметно вернуться потом на место действия, чтобы проверить произведенное впечатление. «Ну и как?» — с нетерпением спросил Милан, но Бацилла его не слушал. Один экземпляр он очень тонко сунул в свой собственный шкафчик, нашел его там на глазах у ничего не подозревавшего Леоша и показал ему. Что скажешь? Леош только сонно зевнул и махнул рукой. «Постарайся отделаться от этого, дурачина, — говорит, — я не хочу влипнуть в историю из-за ерунды. У меня своих забот полон рот». Впрочем, это ведь Леош, он думает только о девчонках да об этих своих нарядах. Правда, большинство людей поскорее комкали листовки и кидали их в корзину у двери, но Бацилла готов биться об заклад, что кое-кто их спрятал.

— Завертелось дело, — горячился он, стуча пухлым кулачком по колену, — завертелось.

Остальные были гораздо сдержанней. Войта, которому был поручен моторный цех, признался, что очень многие выкидывали листовки в уборную, причем некоторые еще их гнусно использовали; Павел сказал, что видел то же самое в ангарах и в малярке. Все равно что плевать против ветра — никакого толка.

У Гонзы от водки слегка кривилась физиономия. Когда он с неуверенностью в голосе сообщил о своем личном почине в коридоре канцелярии, последовало растерянное молчание. Значит... Ясно, попало в живодерку. К Каутце! Милан сердито насупился, видно, собрался читать нотацию, но Павел успел предупредить его:

— Ну и что? Надо было считаться с тем, что листовки попадут к ним в руки. Наверняка у них уже много копий, конечно, нашлись сволочи, сами отнесли. Пускай! Это ничего не меняет, Гонза! Меня больше тревожит другое. Такое равнодушие! Откуда оно? Вы понимаете?

— Не беда, — неторопливо прервал его Милан. — Очень уж мы разнылись. Долой пораженческие настроения! А чего вы ждали? Реки начинаются ручейками, большевиков сначала тоже была горстка, а в конце концов они перевернули все вверх дном и устроили революцию. Главное — иметь идею и быть готовыми отдать за нее жизнь... Тем более, с какой стати оставлять себе листовки на память, Бацилла? Это не билетки на танцы. Важно, чтобы слова западали в души и чтоб люди знали: кто-то борется. Нечего ждать, что все разразится ликованием при виде куска исписанной бумаги. Прочь субъективные чувства — и не ослаблять нажим!

— Правильно! — воскликнул Бацилла. Уши у него стали красными, как промокашка.

Речь Милана пришлась ему по вкусу своей решительностью, он потянулся к банке и основательно хлебнул.

— Черт побери! Я — за, ребята! — он яростно застучал кулаком по столу. — Не ослабляй нажима! Бей нацистов! Смерть оккупантам!

— Заткнись! — осадил его Милан и отобрал у него банку. — И перестань хлестать, а то мамулю кондрашка хватит, как увидит тебя такого развеселого, ягненочек!

Он оборвал расходившегося толстяка с обычной для себя бесцеремонностью, так что остальным даже стало его жалко. Бацилла несколько смик, но, видимо, решил на этот раз не отступать.

— Болтай, болтай... — пролепетал Бацилла. — ...Вот посмотрим, когда...

— ...Когда состязание в жранье устроим — известно!

— Ты несправедлив, Милан, — хмуро вмешался Павел.

— И к твоему сведению... — ободрился при такой поддержке Бацилла, — я не буду жрать! Я не виноват, это у нас в семье так... Сдохну, а жрать не буду!

Милан почувствовал, что пересолил, и примирительно махнул рукой.

— Ладно, Бацилла, будет об этом! Лучше поговорим о том, как все прошло и не заметили ли кого из вас. Это страшно важно.

Все растерянно замолчали: трудный вопрос! Кажется, операция прошла гладко и незаметно, только Павлу не удалось пристроить несколько экземпляров, остальные были розданы, — но кто может твердо сказать, что не был замечен случайным свидетелем? Такой риск не исключишь ни теперь, ни в будущем, и, конечно, чем дальше, тем будет трудней; особенно теперь, когда название «Орфей» уже не совсем неизвестно в живодерке, придется выдумывать все новые, более хитрые приемы. Думайте, ребята! Милан захватил инициативу, он выложил кое-какие соображения по части конспирации: в любом случае освободиться от листовок как можно скорей, не держать у себя в шкафу оставшиеся. Именно на этом завалились ребята из моторного цеха, помните? «А если...» — «Что, если?..» Бацилла проглотил слюну: «А если у кого из нас найдут?» Милан оборвал его резким жестом. «Тогда немедленно уничтожить! Хоть съесть. Не бойся, от этого не растолстеешь. А если не выйдет? Тогда твердить Каутце прямо в рожу — дескать, нашел. Воды в рот набрать. Признаться — значит предать остальных, это же ясно?» — «Ну да».

Душно. Невыносимо. Рубашка на Гонзе противно липла к телу, он оттянул ее на груди, подул под нее, чтобы охладиться, но жар был внутри. И нечувствительность. Он ущипнул себя в руку и почти не почувствовал боли, мысли застревали, бессильные, и вдруг бешено полезли вперед, размазанные, выпуклые, отдельные слова возвращались, упрямо долбили мозг. Болтаем, вертелось у него в голове, болтаем! Странное чувство: знаешь, что пьян, знаешь, а не сопротивляешься. Да и хочешь ли? Болтовня! А другие? Не лучше меня, кроме, может, Павла с Миланом. Все проповедует, пастор! Он слышал голос Милана издали, тот плел что-то о двух жизнях, которые теперь у каждого из нас, одна — личная, и ее надо безоговорочно подчинить другой, общественной. Гм... Что он может сказать о личной жизни, есть у него хоть какая-нибудь, у бедняги? Болтает, рисует свои бредовые картинки, взяв за образец проштрафившегося братца, высниживает романтические мечты о рае земном, одинокий как пес. Не надо мне было пить, опять

будет скверно: как тогда, у Вуди. Картошка и капуста на маргарине — слабая основа для водки. Прав был Мелихар, только языки чешут! Да! Господи, как хочется курить! Возьму и скажу им, что они только языки чешут. Болтовня!

Разговор растекся, утратил связность, слова неохотно сползали с одеревеневших языков, головы были как в чаду. Павел заявил, что пора переходить к действию, не ограничиваться одними листовками, хотя в принципе он не возражает и против них. Мысленно он уже отвинчивал гайки на рельсах, и направляющийся на фронт военный состав с оглушительным грохотом рушился с насыпи... Но как? Как это осуществить? Он стискивал зубы.

Бациллу, распаленного водкой, снова охватил прилив кровожадности. Застрелить свинью Каутце! Ведь есть же у нас... А что? Он недоуменно вытаращил глаза, когда на него прикрикнули, помолчал — алкоголь тряс его, как полицейский бродягу, — через минуту он предложил поджечь завод. Чем, дурак? Тогда — взорвать! Опыание у него было назойливое; Бациллу строго осадили, и он расплакался. Плаксиво стал жаловаться, что на последнем собрании у него в доме кто-то спер из библиотеки три книги, и папа это обнаружил. Все замолчали, переглянулись, испытывая неприятное чувство; не случайно вопросительные взгляды остановились на Милане. Ты? Думает, поди, что обокрасть буржуя не кража? Милан заерзал, с кривой улыбкой процедил:

— Подумаешь! Я их только почитать взял, потом верну. Велика важность! У них там тысячи, всего и не перечитают. Ну давайте дальше, у нас мало времени!

Даже своим помутневшим сознанием они понимали, что пока придется довольствоваться скромными действиями, незаметным мелким вредительством, — попросту вредить нацистам на каждом шагу, начиная с отвинчивания болтов у тележек, на которых перевозят крылья в малярку, и кончая порчей сверл и дюралевого листов. Отбивать на карточках как можно больше неотработанных часов и заставить оплачивать их, красть уголь и все, что нужно для производства. Но только, заметил Павел, надо делать все так, чтоб другим не пришлось отвечать, этого нельзя упускать из виду!

Наибольшую изобретательность по части разрушительных идей в области техники проявил Войта. Он указывал, какой именно винтик надо отвинчивать, чтобы принести больше вреда. Великолепно! «Только все делать по договоренности, ничего на свой страх и риск», — прибавил Милан, многозначительно глядя на Гонзу. «С чего начнем? Опять у Бациллы переписывать в перчатках листовки?» Милан высказал интересную идею, которая после некоторых разъяснений всех увлекла. Рыская по заводу, он обнаружил близ конструкторского бюро, над моторным цехом комнату, где с помощью фотографирования производится копировка планов и чертежей; рядом в чулане — склад фотобумаги, ее там целые горы, все высокосортная «Агфа». «Что вы на это скажете?» — «Ты думаешь выкрасть?» — «Конечно, а то подведем тех, кто там работает. В ночную смену». Он вспомнил, как похитили сахар с военного грузовика, тогда Милан проявил необычайную ловкость, приятно

было подсластить житуху, ну, а... фотобумага-то на что? «Кто из нас занимается фотографией и понимает в этом?» Оказалось, что у Павла есть дешевенький «бэби-бокс», отец подарил еще до войны за хороший табель, и Павел немножко разбирается в фотографии. Но не продавать же бумагу, чтоб карман набить? Тогда это самая обыкновенная кража, Милан. И производству особенного ущерба не причинит. Нет, не надо.

Дураки! Фантазия Милана способна была иной раз породить и кое-что дельное, и он продумал все с основательностью, которой за ним никто не подозревал.

— Слушайте! — стал вполголоса объяснять Милан, прерываемый время от времени лишь собственным кашлем. — Часть бумаги мы продадим, это я беру на себя. Нам ведь нужны и гроши, мало ли на что. Гроши всегда пригодятся, верно? Например, послать жене какого-нибудь заключенного, но не в том суть. Да хватит тебе хлестать, Бацилла! Никто не понесет тебя домой на закорках. На остальной бумаге будем размножать листовки. Так же, как копируют планы, это просто: написать текст на прозрачной бумаге, снять и проявить. Можно, правда? Ты бы справился, Павел? Я-то этим не занимался, но научиться можно. Почему бы не подучиться? Гениально! Но как туда попасть, на двери всякий замок..

— Завтра я это дело осмотрую, — сказал Войта. — Нет такого замка, которого нельзя открыть, это уж предоставьте мне! Трое будут стеречь, двое сделают.

Оставалось решить, как вынести добычу с завода, но и тут, хорошенько подумав, нашли выход: перебросить через ограду за сараями, через колючую проволоку, только надо действовать наверняка, не то катастрофа!

— Рискнем? — спросил важно Милан, впрочем, совершенно зря, все равно никто не решился бы пойти на попятный. — Завтра же и приступим, чтоб уж скорей покончить с делом.

— За эту идею глотни-ка первый, Милан, бродяга!

Павел спустил штору затемнения, лампочка отбросила на голую стену пузатые тени; все замигали, глядя друг на друга, облитые унылым светом, бледные от выпитого, от недосыпания; но решение, к которому они пришли, придавало лицам гордое и торжествующее выражение. Кроме Бациллы. Неверной рукой он нащупал бутылку, посмотрел сквозь нее на свет. Потом, выпятив губы, радостно фыркнул и объявил, что не вернется домой. Никогда, черт побери! Он сообщил присутствующим, что больше не спит на пуховых перинах, а спит на полу, так как прозрел в их обществе и буржуазный комфорт ему опротивел. Он тоже за революцию. Тут он попытался встать, чтоб провозгласить тост в честь революции, но ноги подвели его самым позорным образом. Соединенными усилиями удалось его утихомирить, Милан был вынужден зажать ему рот ладонью. Что с ним делать, ребята, пьян вдрызг! Приди в себя, ягненок!

Допьем, что ли, там еще есть на дне! Они наслаждались дружным согласием перед началом действия, банка пошла вкруговую. Да здравствует «Орфей», ребята! Смерть фашистам и их прихвостням! За ско-

рый конец войны — он уже у порога. Нам не заткнут рот, «Орфей» будет говорить!

— Да, но о чем? — вдруг послышалось от дивана.

Гонза!

Он изо всей силы сжимал виски.

— Как это — о чем? Опять у тебя зуд в башке, так и ищет, к чему бы придраться! — Бацилла наставил на него указательный палец, но Гонза все-таки объяснил свою точку зрения.

По его мнению, это все равно что воду в ступе толочь, и нечего себя обманывать. К чему долбить людям прописные истины, которые и без того всем известны?

— В чем же наша ошибка? — спросил Павел.

— В чем? В самом тексте, и я это говорю, хоть сам писал: все это одна трескотня, надо придумать что-то другое, что-то совершенно конкретное, а не лозунги о революции и сопротивлении, нужно говорить людям то, чего они, может быть, еще не знают. Легко сказать, но что именно? Может, сообщения с фронтов, не все ведь имеют возможность слушать Кромержиж*.

Все призадумались; в сомнениях Гонзы была доля правды. Только Милан усмотрел в них мелкобуржуазное копанье и капитулянтство.

— Ты что же предлагаешь — плюнуть на все и каждому заботиться о самом себе? — воинственно ощетиненный, накинулся он на Гонзу. — Стать каким-то бюро информации?

Гонза тоже перестал владеть собой.

— Мелешь вздор, Милан! Думать надо! А чем так, лучше уж ничего. — махнул он рукой, раскрасневшись.

Они швыряли друг в друга слова с тупой предвзятостью, возбужденные алкоголем.

— Никто тебя не принуждает, если для тебя это просто игра! — кричал Милан, раскатывая «р». — И сиди в своей норе, как крот!

— Слышите, что он говорит? — апеллировал Гонза к товарищам, захлебываясь от ненависти. — Демагогия... Воображаешь, что у тебя исключительное право на историю, ты просто смешон! И пожалуйста, не говори мне, что у меня нет классового подхода, твои красивые слова у меня вот где сидят... Тогда ты должен бы прогнать Бациллу и признать одного Войту, но я-то вижу в человеке еще и другие стороны... Да сам-то ты кто? Рабочий?

Напрасно Павел старался вмешаться.

— Не извращай! — с обидой отбивался Милан. — И вообще весь этот спор — на ветер. С чего ты, собственно, так раздулся? Что у тебя за галиматья в голове? Считаешь себя больно интересным?

— Верно, — икнул Бацилла и замахал короткими руками. — Верно, ребята! Долой буржуев!

— Вот полюбуйся! Совсем одурел от твоих разговоров, Милан!

Пламя ссоры перескакивало с одного предмета на другой, причем обе стороны нелепо перегибали палку. Иной раз казалось, что Милан

* Подпольная радиостанция.

просто бредит. С горящими глазами он заявил, что Пишкота схватили не как патриотического трепача, а как пролетария! Это и на них налагает обязательства, так ведь они и договорились, иначе он, Милан, бросит все дело! И если придется ему погибать, то он тоже хочет погибнуть как пролетарий, с мыслью о Советах, о Сталине, с «Интернационалом» на устах! Не иначе!

Гонза взъерошился, но сумел принудить себя к ледяному спокойствию.

— Смотри не заверещи от страха! Не хвастайся, Милан! Что он меня все время подначивает, ребята? Что болтает? Что я, фабрикант, что ли? Я не говорю, что разбираюсь в этом, но я вовсе не против коммунизма, потому что у меня нет к тому никаких оснований! Но я и не фанатик. Я знаю многих рабочих, может, есть среди них и коммунисты, однако нет среди них ни одного такого тронутого, как ты! Меня словами не запугаешь! Я хочу сперва как следует разобраться и все решить своим умом, свободно...

— Бросьте вы, — вмешался рассерженный Павел. — Несете оклеветку какую-то. На оскорблениях мы далеко не уедем, ребята.

— Не я начал, — перебил его Гонза. — Это он вечно нападает. С какой стати я должен переносить его нахальство... тем более, если мне ясно, откуда ветер дует. — Он замолчал, чтоб перевести дух, впился глазами в Милана. — Если б ты был искренним, Милан, то сам признался бы. Мы ведь знаем, в чем дело. Тебя злит, что я не верю тебе. И никогда не поверю! Хотя бы вы все так постановили. Тебе ясно?

Что он, с ума сошел? Тягостное напряженное молчание. Милан, побледнев, устался в полумрак, с лицом неподвижным, как после пощечины. Потом встал со стула, сухо покашливая; все отвели глаза.

— Ладно, — хрипло выговорил Милан сдавленным голосом. — Думай так — твое дело. Только ты ошибаешься. Сам потом поймешь!

И тотчас, словно спасаясь от неуверенности собственного голоса, он вышел, хлопнув дверью.

«Море, мечта-а-а моя-а-а.. море, виденье гре-е-ез...»

Они еще не успели опомниться от изумления, как их внимание привлек Бацилла: неожиданно, как от удара под ложечку, он перегнулся пополам, схватился руками за живот, от позыва на рвоту перекосилась его позеленевшая рожица.

— Господи... мне плохо, ребята... я сейчас буду...

Павел, не растерявшись, подбежал, приподнял его за лацканы пиджака.

— Пойдем, свиненок, я отведу тебя в уборную... Держись, ты ведь мужчина! Ничего не поделаешь, Войта, проводишь его домой, ладно? А то по дороге еще выкинет что-нибудь. Подъем, ягненок, только без шума! Удалимся без почестей!

— Ну, валяй, — вяло промолвил Гонза, когда Павел вернулся от входной двери.

Гонза лежал на кушетке, прикрыв лицо руками, и ему было скверно физически и духовно.

— Зачем?

Павел наскреб в швах кармана щепотку табачного сора, молча скрутил тоненькую сигарку, зажег и, затянувшись, передал Гонзе.

Обычно после собрания они оставались вдвоем; иногда сидели в комнате, но чаще выходили бродить по темным улицам, занятые разговором, от которого чудесным образом спадала сонливость и мозг работал на полные обороты. Случалось, что в пылу споров Павел провожал Гонзу до самого дома, они стояли на ветру, у перекрестка на Виноградах, шарили по карманам в поисках окурков, а потом Гонза вдруг понимал, что уже он провожает Павла.

Эти беседы часто тянулись за полночь, заглушая мысль о тиранибудильнике, который через несколько часов безжалостно их разбудит. Говорили обо всем на свете. Что ты думаешь о солипсизме? Этим понятием, вычитанным из «Введения в философию», Гонза оперировал легкомысленно, не высказываясь определенно ни за, ни против; Павел же, который во всем любил основательность, обычно возражал. Иногда Гонза вдруг передавал какую-нибудь не вполне усвоенную им мысль, заимствованную из книг Душана или подхваченную прямо из его уст, и спору не было конца. Ницше и его сверхчеловек. А ну его, отстань! Погоди, не относись ко всему так прямолинейно и предвзято, это не так просто, как кажется на первый взгляд! Проблема религии. Гонза старался быть объективным, он допускал и то и се, а для Павла все, чего нельзя было доказать научно, что противоречило разуму, было неприемлемо. Самое существование бога, созданного человечеством в ходе истории, он считал совершенно недоказуемым, а следовательно, опровергнутым естественными науками. Убежденность Павла вызывала яростные атаки Гонзы: но ведь невозможно доказать и обратное, то есть отсутствие бога! Возможно. Все у Гонзы было «возможно» или «вероятно». В сущности, считал он, это вопрос веры, так же как и древняя проблема первичности духа или материи. Вообще вопрос о человеческом познании и его границах. Однако ничто не могло поколебать последовательный материализм Павла; Гонзе иногда казалось, что материализм — составная часть духовной организации Павла, он лежит в основе его существа и восприятия мира; вот она, ограниченность математического ума! Но есть ведь и другие формы познания. Не верить, а ргіогі ни во что, искать, сомневаться!

— Я не Милан, понимаешь? Фанатик затыкает себе уши несколькими элементарными истинами. Что было бы, если б Галилей не усомнился в том, что в течение столетий казалось непоколебимым? Да в конце концов и Маркс...

Нечаянно набредя на тему, в которой Павел был как рыба в воде, — Галилей! — Гонза спешил протрубить отбой; он взял курс на искусство, чувствуя себя в этой области спокойнее, потому что там нет ничего точного и доказуемого разумом, все вне холодных логических аргументов и тем самым головокружительней. Великолепная уклончивость, полет!

— Ладно, — горячился он, — но объясни мне, пожалуйста, почему нас до сих пор волнует Гомер? Что у нас общего с его миром? Как буд-

то ничего, и все же! Если существует какая-то преемственность, то именно здесь. Что нашему современнику до Овидиевых «Метаморфоз»? — Он начал вспоминать стихи, но сбился.

Тень прохожего бросила горящий окурок. Подождали, пока прохожий скроется, и Павел мгновенно нагнулся за окурком, вставил его в закопченный мундштук.

— Блеск! Так на чем мы остановились?

И они продолжали спорить, засыпая друг друга шаткими аргументами, не обращая внимания на мрак и дождь, на усталость и голод, полные страсти и предубеждения, словно от их знания, от того, чему они скажут «да», зависит судьба человечества. Как будет после войны? Так же, как и до нее? А почему ты знаешь, как было до нее? Или коммунизм, как утверждает Милан? Возможно, вероятно, но... как это будет? Что мы о нем знаем? Гонза трудился над Энгельсом, которого взял почитать у Милана. «Происхождение семьи...» Он был в восхищении, хоть понял не все. Это было волнующее умственное приключение, фантастически умная книга, восклицал он, совсем иное дело, не то, что эти Милановы проповеди. Одновременно он глотал и другие книги, которые брал у Душана, ему казалось, что они утверждают другое, порой обратное, диаметрально противоположное, но и с ними он мог спорить всерьез. Хаос в голове, продвижение ощупью во мраке. Иной раз рассуждения в этих книгах кружились на месте, как собаки, которые ловят свой хвост, и расплывались в сложной необозримости.

Что читать сначала? Читаешь подряд все, что попадает под руку, напичкиваешься сведениями — в поезде, в трамвае, на заводе под стапелем, крадешь время у сна, и все же, куда ни глянь, всюду пробелы. Что я знаю о биологии? Об истории? О философии? Несколько случайных скудных фактов, ими еще можно кое-как блеснуть в уличном споре, но все это лишь ничтожные крохи, которые отщипываешь от пирога знания, без системы, без цельного охвата, безнадежно разрозненные — грош им цена!

Если думать об этом — голова кругом идет и ярость охватывает.

Злишься на это своенравное, паршивое безвременье, на завод, на немчуру, на судьбу тотальников! Упрямое негодование на всех взрослых без исключения — при них ведь заварилась эта несъедобная каша. Однако что может человек? Одиночка? Что может вообще человечество, когда его закрутит такая смертоносная заваруха! Может, это эпидемия, биологическая необходимость, черт его знает! Сколько лет потеряно зря! Где достанешь в этом болоте нужные книги? С чего начать-то, господи Иисусе? Может, эти ночные разговоры только безобидная детская болтовня, открытие давно открытого, убожество! И вообще, к чему это мудрствование, эти возвышенные рассуждения, если завтра — верней, уже сегодня — хватай портфель и тащись, как осел, через весь город в битком набитый сумасшедший дом, где толчется несколько тысяч народу, хоть работы там едва для одной трети! Строим для них самолеты! Да и те-то учебные! Выучившись на них летать, их летчики должны пересестись на боевые машины и громить союзников. Должны! Идиотизм! Теперь их машины едва осмеливаются

подыматься в воздух, потому что и над протекторатом превосходство в небе давно у союзников; русские лупят их в Польше, англо-американцы — во Франции, и весь рейх уже протекает, как дырявый горшок. Неужто немцы ослепли? Почему они не хотят признать, что проиграли эту войну, отравились своей собственной ложью, пустыми надеждами или страхом друг перед другом? Может, они уже потеряли способность мыслить, вот и вопят, и убивают, и до хрипоты орут «Хайлы!» своему идиоту! Абсурд, — и мы живем в этом абсурде, во всеобъемлющей бессмыслице! Лучше не думать об этом, лучше думать о будущем, ведь это уже неважно, от этого кошмара проснешься — если вообще проснешься — уже в другом мире. Готовиться к тому, что придет, понять это, потому что то, чем мы живем, жалкая и подлая временная жизнь. Ну, пора спать. Опять мы с тобой наговорили черт знает сколько, но вино пьется, а жизнь живется. Ну, до завтра. Пока. Будь здоров!

Павел растоптал окурок и прислушался. За окном, на галерее, слышались возбужденные голоса, но, прежде чем он успел открыть окно, где-то наверху хлопнула дверь, и в доме воцарилась душная тишина.

Хлоп, хлоп...

Гонза спустил ноги на пол и стал усиленно тереть виски.

— Мне здорово досадно, что так вышло с Миланом, — сказал он.

— Я немного боюсь за него.

— Почему?

Павел повернулся на табуретке, лицо его ушло в тень.

— Вчера я застал его за ангаром. Он харкал кровью. Ему бы к врачу пойти, одной жратвой дела не поправит, дуралей. А он, видишь ли, докторам не верит, а заводским и подавно. Спер на складе кусок колбасы и маргарину. А толку что? Поймают как-нибудь... А так он парень что надо.

— Знаю, — вяло согласился Гонза. — Просто мы с ним из разного теста. Одним словом, я неверующий, вот в чем дело! Послушай, что ты обо всем этом думаешь? Я имею в виду то, что он нам тут поет.

Вопрос поверг Павла в легкое замешательство — обычно они говорили чисто теоретически, не ссылаясь на личности. Он повернулся, и его хмурое лицо снова попало в круг желтого света.

— В общем я согласен... Может, я не все понимаю, но то, что я слышал и читал... вполне логично. И справедливо. Может, все это слишком прекрасно, чтобы не смахивать на утопию, но почему бы этому и не быть возможным? В России... знаю, что ты можешь подумать, только меня не соблазнишь на приманку, от которой воняет Геббельсом. Уж это никак! В принципе-то там ведь явно все на правильном пути. Они воюют против фашиг, и я хотел бы, чтоб они были уже где-нибудь у Ржичан, факт, хотел бы! И мне ясно, что Милан больше горячится, чем знает, но это еще не значит, что он не... Ты слышал о концентрационных лагерях?

Вопрос нарушил мрачное раздумье Гонзы.

— Кое-что слышал. Говорят всякое, но мне кажется — преувеличивают.

— Что ты слышал?

Его неторопливый взгляд смутил Гонзу, он только растерянно пожал плечами.

— Так... Разное. Что наци — звери, это факт, но... насчет газовых камер и насчет евреев... что их сжигают — этого я не могу себе представить. Если это правда, все должны сойти с ума от страха друг перед другом и сказать адью нашему веку! Прошу меня вычеркнуть, я с вами не еду... Но ведь у всех теперь страшно разыгрывается фантазия. А ты что-нибудь знаешь?

Павел опять отвернулся в тень. Когда он заговорил, Гонза не узнал его голоса.

— Нет. Только то, что и ты! — хрипло выговорил он и откашлялся. — Вот видишь, уже по одному этому все должно измениться. В корне! Иначе нет ни малейшей надежды.

Он замолчал, успокаиваясь под пристальным взглядом Гонзы; напряжение вокруг рта ослабло, выражение усталого спокойствия вернулось на его побледневшее лицо.

— А ты как думаешь?

Наверху вдруг опять заорала радиолка и сразу умолкла. Гонза повалился на кушетку, закинув скрещенные руки за голову, и долго, не шевелясь, смотрел в потолок.

— Не знаю даже, — тихо ответил он. — Конечно, я не против... во всяком случае, во всем, что касается внешнего проявления. Например, чтобы фабрики принадлежали не акционерам и чтоб не было безработицы, голода... Мама перед войной долго была без работы, и, не будь деда, мы бы сдохли с голоду. В школе на меня собирали деньги, когда класс ездил в экскурсию на Ржип, а по воскресеньям я получал крону на киношку и двадцать геллеров на резиновую змею. И все-таки я не уверен, что я — за. Еще нет. То, что рассказывает Милан, ребенку понятно, но мне подозрительна всякая простота, все представляется мне несколько сложнее, чтобы можно было свести это к такому уравнению. А человек? Что все это говорит о его жизни? Я имею в виду человека как индивидуум. Или это уравнение его не предусматривает? У человека только одна жизнь. И довольно короткая. История катится вперед, меняются режимы, а что во всем этом человек? Навоз. Скули от страха, человек, здесь творится история, прогресс... а на самом деле это бешеная скачка куда-то вперед — через его труп. А ведь в нем, в каждом отдельном человеке, целый мир. Вселенная. Закроет глаза, остановится сердце — и нет ничего. Конец, кажущийся мир исчез. Меня всегда приводили в ужас утопические романы о будущем, мне казалось, что их действие разыгрывается ночью. Я, наверно, не умею как следует выразить все это, но во мне живет какое-то смутное чувство, что все именно так. И не думаю, чтоб я был ненормальным.

Павел переплел тонкие пальцы и прогнул их так, что суставы хрустнули.

— Однако, — глухо заметил он, — человек в мире не одинок.

— Ты имеешь в виду — в человеческом обществе? Нет. Он одинок. Невероятно. По-моему, не одинок он может быть только с другим индивидуумом.

— Может быть, — уступил Павел. Он беспокойно пошевелился на стуле. — Но все-таки должно быть у него что-нибудь такое, что он отстаивает. Такое, во что он верит, как в нечто справедливое, ценное. — он должен быть на чьей-то стороне. У тебя есть что-нибудь такое?

— Есть.

От волнения Гонза даже привстал, по его лицу было видно, как напряженно он собирается с мыслями, чтобы выразить их связно.

— Слушай, это может быть кошунство, но я тебе скажу: зачем непременно нужно, чтобы человек жил ради чего-то? Объясни мне! И ради чего? Ради еще какой-нибудь истины? Идеологии? Веры? Господи! Сколько их уже сменилось, а посмотри кругом! Такой бойни свет еще не видел. И это после стольких гарантированных истин, за которые люди шли даже на костер и позволяли сделать из себя котлету! Покорно благодарю! Само собой, я постараюсь примкнуть к той стороне, которая относительно права... против любого насилия... так, чтобы примирить это со своей совестью, и в этом смысле я, наверное, не одинок... Но чтоб я поверил, что вон за тем холмиком обетованная земля, где ангелочки в человеческом образе будут от любви кидать друг другу пасхальные яички, — к этому пускай Милан меня не принуждает! Есть какая-то путаница... в самой основе, может быть, в самом человеке, не знаю. И ее не разрешит никакая борьба, даже классовая. Почему надо жить всегда ради чего-то? Почему не ради кого-то? Ради одного-единственного живого человека, с точки зрения истории, может, и незначительного, но... понимаешь?

До чего мы договорились? — подумал Павел, чувствуя странное головокружение. Он отвел глаза и прошептал еле слышно:

— Ты очень ее любишь?

— Если тебе случалось испытать в жизни что-нибудь подобное, ты знаешь — этого не выразить словами. И не написать. Этим можно только жить. Я хочу тебе сказать, что это для меня самое ценное. Идеология. Вера. Назови как хочешь. Другой не знаю, а в эту верю. Двое — именно то число, которое необходимо, чтобы человек не был невыносимо одинок. Трое, пожалуй, уже много. А все — ничто. Наверное, ты совсем меня не понимаешь?

— Отчего же? — одним дыханием произнес Павел.

Он встал. Им овладело странное беспокойство, оно заставило его ходить по пыльному полу. Он озирался вокруг, смотрел на пустые стены, словно видел их впервые, и казалось, не замечал присутствия другого человека. Хлоп, хлоп... Провел ладонью по треснувшей столешнице, потом повернул к Гонзе строгое, напряженное лицо.

— Может быть, это и верно. На необитаемом острове.

Продолжать — да и хотел ли он продолжать? — ему помешал снова шум на галерее, хлопанье дверей, торопливые шаги по гулкой вин-

товой лестнице, смесь взволнованных голосов. Женский испуганный возглас, кого-то звали... Заскрипели половицы на галерее. Старый дом, брызжа, просыпался от дремоты и наполнялся тревожным движением.

Павел предостерегающе прижал палец к губам:

— Спокойно!.. Подожди здесь, я сам посмотрю. Коли что, так мы тут занимаемся.

Он выбежал на черный ход и столкнулся с толстым жильцом, который в одном халате торопливо поднимался на пятый этаж, светя синим фонариком.

Павел побежал за ним. Сюда! Он узнал эту дверь на повороте коридора, ненавистную дверь, сколько раз он стоял перед ней и затаив дыханье смотрел сквозь замочную скважину внутрь! Над крышами многозначительно молчало усеянное звездами небо, и Орион висел прямо на кроне каштана.

Тени знакомых людей, теснившихся в панике у перил галереи, оставив открытыми двери квартир, расступались перед ним. Ах, это Павлик! Он не узнавал голосов, они сливались, и он шел через гул голосов к тусклому огоньку, светившемуся в темноте, и чувствовал на себе десятки глаз. Остановился на самом пороге, голоса стихли. «Не заходите сюда, — уговаривал любопытных один из жильцов, в расстегнутой рубашке, распорядившийся на месте происшествия, — да образумьтесь же, черт побери, это вам не театр! Образумьтесь! Позовите полицию!»

Запах сырости и затхлой одежды, разбросанные водочные бутылки, таз с засохшим кругом грязи, стул с продавленным сиденьем; на кухонном столе горбушка хлеба и серебряная бумажка от плавленого сырка, смятая в шарик. В комнате на комод молчал старинный граммофон с заводной ручкой, на полу перед комодом разбитая пластинка; свадебная фотография в овальной рамке и черная ленточка на фотографии молодого человека в форме немецкого солдата. Знакомые черты... Банальный летний пейзаж в массивной раме был прислонен к стенке двуспальной кровати, а со здорового крюка, вбитого в разбухшую от сырости стену, свисал обрывок ремня.

Крюк и ремень выдержали.

А вот и хозяин комнаты. Холодеющее тело уже сняли, положили на кушетку, обитую черной клеенкой, и грязной простыней покрыли безобразную гримасу смерти. Выступающий бугорок носа и впадина живота, ноги в стоптанных лакированных ботинках неестественно выворочены, морщинистая рука с длинным ногтем на большом пальце выскользнула из-под простыни и касается пола. Он был тих. Ушел, ушел от них в неподвижность, неодоушевленность, из-под обстрела живой ненависти.

Павел медленно отвернулся. Перед ним опять расступились, но так и впилась глазами в его лицо, словно чего-то ждали.

Не дождалось.

— Что там такое? — испуганно спросил Гонза, увидав отсутствующее выражение, которое Павел принес из темноты. — Что-нибудь случилось?

— Ничего, — рассеянно ответил Павел. — Один из соседей пове-
сился.

Но, уже не владея собой, рассказал Гонзе все.

За углом взревел мотор автомобиля, потом хлопнула дверца, и машина ушла во тьму.

Гонза оторвался от фонаря и вынул руки из карманов. Металличе-
ская штора магазина церковной утвари была опущена, и окна верхнего
этажа отражали свет месяца, висевшего над крышами. Там спит она.
Чего тебе здесь надо? Нет смысла торчать тут, дом давно заперт, в ни-
ше обнимаются влюбленные.

Он пошел было, но сразу же остановился. Стук каблучков, прибли-
жавшийся по затихшей улице, заставил его затаить дыхание. Неужели?
Из-за угла выскользнула стройная фигура в светлом платье, промельк-
нула в конусе света и скрылась в тени. Он сразу узнал ее по легкой
походке и склоненной голове — ошибки быть не могло.

Бланка торопливо, мелкими шагами шла к парадному, роясь на
ходу в сумочке.

Опомнившись, Гонза перебежал мостовую, оказался сзади нее, за-
метил, что она невольно прибавила шагу. Хватит! В несколько шагов
он догнал ее, схватил сзади за плечи.

Она вскрикнула от испуга. Быстро повернувшись, вырвалась у него
из рук, но сейчас же узнала и поникла.

— Гонзик! — Это прозвучало как упрек. — Откуда ты взялся?

— Свалился с луны.

Она, не улыбнувшись, откинула волосы со лба; ей, видимо, нелегко
было прийти в себя от испуга.

— С ума сошел!

Он притянул ее к себе и заметил, что она дрожит как в лихорадке.
Он хотел, чтоб успокоить, поцеловать ее в голову, но она в ужасе от-
странилась.

— Опомнись! Это же я. Если б я знал, что ты такая пугливая...

— Что ты тут делаешь?

Строгость тона смутила его.

— Ничего. Смотрел на твое окно и представлял себе, как ты
спишь. Это плохо?

— Нет.

— Вот видишь. Надо же считаться с инстинктом. Ну уж, поми-
рись со мной!

Она подняла на него глаза, испытующе, со сжатыми губами
поглядела ему в лицо, потом молча кивнула — нет, ей это не снит-
ся, — и напряжение ее ослабло. Вдруг она уткнулась ему в грудь и
вздохнула.

— Послушай, никогда этого больше не делай. Обещай мне, сумас-
шедший! У меня до сих пор колени дрожат.

И она с облегчением засмеялась собственному испугу. Он обнял ее
за плечи и повел к парадному, — бог весть почему она казалась ему

ребенком, разбуженным от сна. Бланка остановилась у витрины с опущенной шторой.

— Чего ты это придумал? Что-нибудь случилось?

— Нет. Просто мне вдруг ужасно захотелось быть поближе к тебе.

Она сама порывисто обняла его. Прильнула к нему всем телом, губы ее, сперва чужие, холодные, приоткрылись и будто растаяли под его губами. Ты мой! Теплое, живое тело — он сжимал его с яростной силой, они стояли, вращая друг в друга с каждым вздохом. Желание и страх. Держи ее, держи вот так, это твой мир, вселенная, ослабишь объятие, и он расплывется в пустоте, умри за него, но не отпускай! Больше у тебя нет ничего! Гонза испугался, почувствовав у себя на губах ее слезы.

— Что с тобой?

— Не обращай внимания, я просто страшно счастлива... а счастливый человек все время боится.

Он губами закрыл ее рот, слегка встряхивал ее за плечи и шептал ей в волосы:

— Я тоже. Мне необходимо было видеть тебя сегодня; на меня вдруг напал такой страх... Нет, ничего определенного, просто бессмысленный страх за тебя... за нас обоих, как бы что-нибудь не встало между нами... погоди, дай мне сказать! Может, этот страх от войны или от того, что нас ждет... не знаю. Мне ужасна мысль, что мы можем потерять друг друга, нет, это не трусость, прежде мне было все равно, только теперь... Знаешь, я шел сюда и говорил себе: не могу так дальше... И я решил сказать тебе, чтоб уж покончить с этим. Чего мы ждем?

Парочка разошлась, дверь захлопнулась, молодой человек прошел мимо, руки в карманах, лихо посвистывая.

Бланка выскользнула из его объятий.

— Покончить с чем?

Он взял ее под руку и легким толчком заставил идти. Здесь, в нише входной двери, они всегда прощались. Медная ручка, решетка, черный зев коридора, в котором печально терялся отзвук ее шагов. Он ненавидел эту нишу.

— Ты знаешь... Я пришел просить тебя... верней, сказать, чтобы ты... Вернее, чтоб мы поженились, — выдавил он из себя и глотнул пересохшим горлом.

Сперва она ничего не сказала, словно от этого неуклюжего предложения у нее перехватило дыхание.

— И это ты пришел сказать мне?

— И это я пришел сказать тебе, — уже тверже повторил он.

Чем-то ему не понравился тон ее вопроса, он протянул к ней руку, чтобы предупредить ее ответ.

— Только, пожалуйста, не говори, что я спятил. Выпил немного, но теперь совсем протрезвел. Выслушал одну историю, и сейчас я нормальной обычной.

Он почувствовал ее ладонь на своей щеке. Бланка дотронулась до его губ, но в этом прикосновении было что-то подозрительно утешаю-

ще, и он невольно отшатнулся. Снова это чувство незрелости по сравнению с ней! Откуда оно?

— Я абсолютно серьезно тебе говорю, я все продумал... Дай хоть договорить! Я, в сущности, совсем один, хотя... Все, что мне на этом свете принадлежит, поместится в одном чемодане, а остальное — это ты. Слышишь? Ты! Жить мы могли бы у тебя, я человек скромный. Как мышь. Готов спать хоть на полу, лишь бы ты была поблизости. Большого мне не нужно.

Ему страшно захотелось увидеть ее лицо, кажется, эти слова ее тронули. Она помолчала, потом охватила его за шею.

— Ах, ты... мой дорогой, сумасшедший человек... Не говори больше об этом, если не хочешь, чтоб я разревелась как девчонка... Ты сам не знаешь, что говоришь... это ведь невозможно, Гонзик...

— Почему? Хоть завтра. Что в этом невозможного?

— Война...

— Плевать на войну! Не я ее выдумал. И этот аргумент я уже слышал от Милана. Разве во время войны жизнь прекращается?

— Прошу тебя, подожди — может, может быть и так, но я... понимаешь, я не одна, есть еще Зденек, и когда он вернется...

Зденек! Опять этот удар исподтишка... Гонза упрямо перебил ее:

— Когда он вернется, я протяну ему руку и скажу, как мужчина мужчине: я ее люблю. И не сердитесь, что любил, когда вы еще... Не понимаю, что он может против этого иметь?

— Но ты ведь совсем не знаешь меня! — воскликнула она, словно защищаясь. — Не знаешь...

Это не обескуражило Гонзу, ее довод казался ему неубедительным, он готов был заподозрить, что Бланка просто упрямится.

— Я, может быть, знаю тебя больше, чем ты думаешь. Потому что верю тебе, слышишь? Верю! И может, ты тоже не знаешь обо мне всего.

Он остановился на краю скользкого обрыва. Пришла в голову захватывающая мысль, что, может, и она... занимается чем-нибудь вроде того, что делает он, и не хочет подвергать его опасности, которая грозит ей... От растроганности сдавило горло. Эх, сказать бы ей, намекнуть. Нельзя! И он говорил, и уговаривал ее, и прижимал к себе все крепче, но все яснее чувствовал, что слова его бьются о невидимую стену и не могут, не могут пробить ее...

— Нет, не надо, Гонзик, не спрашивай, прошу тебя, если я скажу «да», ты, наверное, потом возненавидишь меня и будешь презирать, а я этого не перенесу, ну, будь благоразумен, не мучай меня!

«Будь благоразумен, не мучай меня!» Он замолчал и склонил голову в знак того, что сдается, но им овладело отчаяние. Она положила ему палец на губы, потом взялась за лацканы пиджака и стала слегка тормозить его, словно просила прощения за то, чего он не понимал, что отказывался понять.

— Обещаю, — слышал он ее шепот, — когда-нибудь, когда все кончится... и если ты еще будешь хотеть меня — дурачок, слышишь, что я тебе сейчас говорю? — если ты будешь способен повторить мне

тогда... нет, не перебивай, пожалуйста!.. Если я этого дождусь — сойду с ума от радости! Задушу тебя! Ты еще не знаешь меня, вот увидишь. И ты от меня не избавишься, всю жизнь не избавишься, так и знай! Я пойду с тобой хоть камни грызть, и делать всякие глупости, и драться вместе с тобой за местечко под солнцем, и любить тебя до смерти, и я отдам тебе все, все, что составляет меня... Потому что люблю тебя и страшно хочу, чтобы ты этому верил... Ты должен этому верить, мне нужно, чтобы ты безусловно этому верил...

Гонза больше не мог слушать, он закрыл ей рот поцелуем, которым печально все смывал, но в то же время он чувствовал, что тело ее жжет, оно напряглось от желания и зовет его, и он совершенно потерял голову.

— Послушай... — хрипло вырвалось у него почти с мольбой, — не прогоняй меня сегодня...

В тот же миг он остался один, ключ загремел в замке, и звук этот болезненно отдался почти на самом дне сознания, коридорные потемки раскрыли зев, дохнули в лицо ему затхлым холодом. Он как во сне протянул руку, чтоб удержать ее, войти вслед за ней, но легкий толчок остановил его. Как всегда. Он еще раз почувствовал на губах ее губы, но, прежде чем успел опомниться, дверь с грохотом захлопнулась и шаги стали уходить в тишину, слабость, и вот их уже нет, не слышно...

IV

...я нес свое разбитое тело домой, с ненавистью оглядываясь на блестящую лепешку в небе.

Точка. Откладываю карандаш, за окном хлещет ливень ранней осени, я думаю о солнце. Половина седьмого, а на улицах уже тоскливо клубятся сумерки! В кафе еще пусто, мы тут вдвоем с паном Кодытеком, я — потому, что мне удалось смотаться с завода, а он — потому, что служит здесь кельнером. Он живой инвентарь кафе и примечателен тем, как трогательно он старается сохранить хотя бы идею кафе; никогда не забудет осведомиться, чем может служить, хотя выбор блюд, которые он может вам принести, до смешного скуден: пахнущее желудями и цикорием текучее уныние либо эрзац чая с двумя щиплющими язык таблетками сахарина. Он принадлежит к тому сорту людей, которые дают вам понять, что что-то знают о вас, но помалкивают. Из него вышел бы великолепный заговорщик. С завсегдатаями он бесконечно предупредителен, даже кажется мягким на ощупь. Когда, заложив руки за спину, он глазеет на давно знакомую улицу, то напоминает циркового льва, только недавно отрекшегося от своего величия.

Я сижу тут, под руками холодный мрамор, и пишу свою повесть, первую повесть, которую не выдумываю, которую переживаю. Может быть, это единственное ее достоинство, так как до сих пор она страдает отсутствием всего, что делает повесть повестью, — завязки, интриги, нарастания.

Впрочем, это всего лишь наша история. Мы с Бланкой в разливе

летнего света. Мы бежали из города, охваченного июльским пожаром, и трясемся в пыхтящем пригородном поезде, который ползет среди зреющих нив и важно свистит на переездах, а потом валяемся на поросшем травой откосе, и вокруг чудесное безлюдье, потому что наш выходной день во вторник. Жужжат насекомые, словно оркестранты настраивают инструменты перед концертом, а под нами томится в предполуденном зное знакомая река, и раскаленный воздух дрожит над стеблями трав; пчела с гудением переваливается с цветка на цветок, а внутри нас — благоговейная тишина, в которой время замедляет свой бег и лишь медово каплет в жарком удушье вездесущего света.

Солнце жжет мне лицо, я переворачиваюсь на живот и, подперев подбородок ладонями, могу теперь молча любоваться лежащим рядом стройным телом. Я ощущаю близость Бланки с блаженным замиранием. Веки ее сомкнуты, нос прикрыт березовым листиком, на загорелых ляжках, открытых до парусиновых шорт, сверкают светлые волосики. Слово «ляжки» сейчас, когда я пишу его на бумаге, мне чем-то не нравится: в применении к ней оно кажется слишком чувственным. Грудь ее поднимает дыхание, а блузка расстегнута до того места, где начинается ложбинка между грудей.

Приоткрыв глаза, она жмурится на солнце.

— Лежи! — говорю я. — У нас уйма времени. Вообще, что ты такое?

Она, мурлыкнув, смыкает ресницы.

— Примерно пятьдесят шесть кило счастливой женщины. Мне так хорошо в себе самой. Давай не вернемся в город!

Я тотчас соглашаюсь.

— Сначала будем питаться лесными плодами и кореньями, потом попробуем ловить рыбу. Может, я открою тайну огня. Соорудим пока шалаш из земли и веток. Я устрою тебе роскошную жизнь, а если ты будешь вести себя хорошо, может, соглашусь на матриархат.

Маленький палец, шершавый от заклепок, нашарил мои губы.

— Ты всегда меня любишь? Сегодня тоже?

— Сегодня я не думал об этом. Слишком жарко.

— Нахал! — восклицает она. — И вдобавок ты еще плохо побрился, колешься!

Я придвинулся к ней, ткнулся носом в теплую подмышку и вдохнул ее горьковатый запах. Она отстранилась, положила руку себе на грудь.

— Сейчас мир как будто совсем безопасен, правда?

— Да, — соглашаюсь я. — Но он притворяется. Словно нет никакой войны: деревья, трава, глупый жук у тебя в волосах. А что, если именно по этому лугу пройдет танк или здесь разорвется мина? Перед войной мы с дедом не пропускали ни одного дня авиации. Я дрожал от страха за человека, ходившего в воздухе по крылу, дед вытирал глаза платком и говорил: «Наши соколы! Воздух — вот наше море, внучек!» А теперь все самолеты — не наши...

Она поспешно прерывает меня:

...нет, не переживай, пожалуйста.. Если я этого дождусь — сойду с ума от радости! Задушю тебя! Ты еще не знаешь меня, вот увидишь. И ты от меня не избавишься, всю жизнь не избавишься, так и знай! Я пойду с тобой хоть камни грызть, и делать всякие глупости, и драться вместе с тобой за местечко под солнцем, и любить тебя до смерти, и я отдам тебе все, все, что составляет меня... Потому что люблю тебя и страшно хочу, чтобы ты этому верил... Ты должен этому верить, мне нужно, чтобы ты безусловно этому верил...

Гонза больше не мог слушать, он закрыл ей рот поцелуем, которым печально все смывал, но в то же время он чувствовал, что тело ее жжет, оно напряглось от желания и зовет его, и он совершенно потерял голову.

— Послушай... — хрипло вырвалось у него почти с мольбой, — не прогоняй меня сегодня...

В тот же миг он остался один, ключ загремел в замке, и звук этот болезненно отдался почти на самом дне сознания, коридорные потемки раскрыли зев, дохнули в лицо ему затхлым холодом. Он как во сне протянул руку, чтоб удержать ее, войти вслед за ней, но легкий толчок остановил его. Как всегда. Он еще раз почувствовал на губах ее губы, но, прежде чем успел опомниться, дверь с грохотом захлопнулась и шаги стали уходить в тишину, слабеть, и вот их уже нет, не слышно...

IV

...я нес свое разбитое тело домой, с ненавистью оглядываясь на блестящую лепешку в небе.

Точка. Откладываю карандаш, за окном хлещет ливень ранней осени, я думаю о солнце. Половина седьмого, а на улицах уже тоскливо клубятся сумерки! В кафе еще пусто, мы тут вдвоем с паном Кодытеком, я — потому, что мне удалось смотаться с завода, а он — потому, что служит здесь кельнером. Он живой инвентарь кафе и примечателен тем, как трогательно он старается сохранить хотя бы идею кафе; никогда не забудет осведомиться, чем может служить, хотя выбор блюд, которые он может вам принести, до смешного скуден: пахнущее желудями и цикорием текучее уныние либо эрзац чая с двумя щиплющими язык таблетками сахарина. Он принадлежит к тому сорту людей, которые дают вам понять, что что-то знают о вас, но помалкивают. Из него вышел бы великолепный заговорщик. С завсегдатаями он бесконечно предупредителен, даже кажется мягким на ощупь. Когда, заложив руки за спину, он глазеет на давно знакомую улицу, то напоминает циркового льва, только недавно отрекшегося от своего величия.

Я сижу тут, под руками холодный мрамор, и пишу свою повесть, первую повесть, которую не выдумываю, которую переживаю. Может быть, это единственное ее достоинство, так как до сих пор она страдает отсутствием всего, что делает повесть повестью, — завязки, интриги, нарастания.

Впрочем, это всего лишь наша история. Мы с Бланкой в разливе

летнего света. Мы бежали из города, охваченного июльским пожаром, и трясемся в пылящем пригородном поезде, который ползет среди зреющих нив и важно свистит на переездах, а потом валяемся на поросшем травой откосе, и вокруг чудесное безлюдье, потому что наш выходной день во вторник. Жужжат насекомые, словно оркестранты настраивают инструменты перед концертом, а под нами томится в предполуденном зное знакомая река, и раскаленный воздух дрожит над стеблями трав; пчела с гудением переваливается с цветка на цветок, а внутри нас — благоговейная тишина, в которой время замедляет свой бег и лишь медово каплет в жарком удушье вездесущего света.

Солнце жжет мне лицо, я переворачиваюсь на живот и, подперев подбородок ладонями, могу теперь молча любоваться лежащим рядом стройным телом. Я ощущаю близость Бланки с блаженным замиранием. Веки ее сомкнуты, нос прикрыт березовым листиком, на загорелых ляжках, открытых до парусиновых шорт, сверкают светлые волосики. Слово «ляжки» сейчас, когда я пишу его на бумаге, мне чем-то не нравится: в применении к ней оно кажется слишком чувственным. Грудь ее поднимает дыхание, а блузка расстегнута до того места, где начинается ложбинка между грудей.

Приоткрыв глаза, она жмурится на солнце.

— Лежи! — говорю я. — У нас уйма времени. Вообще, что ты такое?

Она, мурлыкнув, смыкает ресницы.

— Примерно пятьдесят шесть кило счастливой женщины. Мне так хорошо в себе самой. Давай не вернемся в город!

Я тотчас соглашаюсь.

— Сначала будем питаться лесными плодами и кореньями, потом попробуем ловить рыбу. Может, я открою тайну огня. Соорудим пока шалаш из земли и веток. Я устрою тебе роскошную жизнь, а если ты будешь вести себя хорошо, может, соглашусь на матриархат.

Маленький палец, шершавый от заклепок, нашарил мои губы.

— Ты всегда меня любишь? Сегодня тоже?

— Сегодня я не думал об этом. Слишком жарко.

— Нахал! — восклицает она. — И вдобавок ты еще плохо побрился, колешься!

Я придвинулся к ней, ткнул носом в теплую подмышку и вдохнул ее горьковатый запах. Она отстранилась, положила руку себе на грудь.

— Сейчас мир как будто совсем безопасен, правда?

— Да, — соглашаюсь я. — Но он притворяется. Словно нет никакой войны: деревья, трава, глупый жук у тебя в волосах. А что, если именно по этому лугу пройдет танк или здесь разорвется мина? Перед войной мы с дедом не пропускали ни одного дня авиации. Я дрожал от страха за человека, ходившего в воздухе по крылу, дед вытирал глаза платком и говорил: «Наши соколы! Воздух — вот наше море, внучек!» А теперь все самолеты — не наши...

Она поспешно прерывает меня:

— Не говори об этом! Расскажи лучше, как будет потом! В первый день, когда кончится война.

Когда я был маленький, я всегда перед сном заставлял деда рассказывать одну и ту же сказку: о марципанной стране. Я знал сказку наизусть, слово в слово, и, если дедушка, задремывая, что-нибудь пропускал, сейчас же поправлял его: нет, нет, не так! В ручьях течет малиновый сок, а под пряничными деревьями растут грибы из взбитых сливок, какие пани Саскова продает по пятаку... Я не заставляю себя просить. А Бланка внимательно слушает, иногда засмеется и дополнит мою болтовню какой-нибудь подробностью...

— Итак, — начал я совершенно серьезно, — первым делом мы затопим печку и сожжем все тряпки, которые пахнут заводом, бросим туда и заводские пропуска и немецкую «кеннкарту» * и — что еще? Да! Вот эту кастрюльку. Наварим в ней побольше «крупотто» или гнилой картошки с кровяной колбасой и потом торжественно выльем все это в уборную. Прощай, протекторатная блевотина! Мы найдем чего-нибудь получше! Это испытанное начало новой жизни после войны.

Конкретность моей выдумки всегда смешит Бланку. Я рассказываю ей об этом на солнце и в дождь, во время вечерних странствий по темным улицам и в неуютном кафе, и тогда передо мной совсем другая девушка. Есть в ней какая-то детская доверчивость, и мне страшно хочется, чтоб это была настоящая она, все вдруг становится тогда прозрачным и очевидным, как тот мир, который я строю из мечты и обломков. Я не жалею красок, я безумно расточаю их. Почему бы и нет? В конце концов это только сказка о завтрашнем дне, при мысли о котором у меня уже сейчас кружится голова и за который я трепещу, потому что не совсем ему верю. Почему? Откуда этот гнусный скепсис? Не знаю. Ведь довольно было бы, если бы осуществилось хоть двадцать процентов, даже десять, пять, одна десятая! В этом завтрашнем дне — маленькая квартирка, за окнами ласково подмигивает город. Мы обставляем ее по своему вкусу: книги, граммофонные пластинки, цветы, огромное зеркало и пропасть света. После горячего спора под ночным ливнем, захватившим нас на Петршине, промокишие до нитки, мы все же пришли к согласию насчет цвета занавесок. К согласию? Какое там! Я позорно сдался, так как Бланка была неуступчива до ужаса. Терпеть не могу зеленого, а ты ничего не понимаешь! Я чиркнул спичкой и засмеялся при виде ее мокрых, слипшихся волос. Ты похожа на злую лесную фею... Внизу под нами лежал на блюде черный город... Ну довольно! Мне стыдно выкладывать все это на бумаге, для чужих глаз это, наверно, невыносимая пошлость — *aurea prima* — золотой век, мир, начиненный миндальной начинкой. Я вижу его совершенно отчетливо: театральная школа, волнение перед премьерой, потом благоговейно затихший зал с ярко освещенными подмостками, на которых Бланка живет другими жизнями, и в них она моя и не моя. Я немного ревную ее, ловлю каждое ее движение, слово, оттенок, интонацию — сейчас будет коварное место, сколько раз она билась над ним перед

* Удостоверение личности (нем.).

зеркалом, чуть не плача от бессилия, — я дрожу от блаженного страха и радостной гордости, что та, с которой сотни людей затаив дыхание не сводят глаз, — моя. Чуть пошатываясь, выхожу под градом аплодисментов на свежий воздух и жду на улице, когда примчится она, разгоряченная игрой, и подставит еще жирную от вазелина щеку. Вопросительный и немного виноватый взгляд. Ну как? Заслужила поцелуй. Только зарпортовалась в третьем, но публика не заметила. Хватит, вскидывается она, мы сходим с ума! Ей всегда становится грустно, когда я вторгаюсь в ее мечты, а мне досадно, что она хранит их для одной себя и делается вдруг подавленной, тревожной. Не верит? Может, у меня нет никакого таланта. А что ты? Расскажи лучше о себе...

Я молчу, настроение упало, и игра наша прекращается. Не думать о будущем.

— Послушай... — спросила она однажды, когда мы тряслись в поезде, возвращаясь с прогулки. — Почему ты, собственно, это бросил?

Когда я понял, о чем она спрашивает, я стиснул зубы и пожалел, что неосмотрительно рассказал ей о своих литературных выкидышах.

— Не знаю, — с трудом выдавил я, изобразив на лице беспечную улыбку. Но получилась она невеселой. — Как-то вдруг опротивело. Что ж, по крайней мере у меня хватает духа признаться: бьешься, бьешься над чем-нибудь как проклятый, а вернешься к этому через несколько дней, и всякий раз кажется, что где-то уже читал. Не мое это. В общем чего-то не хватает, и боюсь — самого главного.

— Почему ты не дашь мне почитать?

Я испугался.

— Хочешь, чтоб я сгорел со стыда? Ты же сразу все поймешь, а я не желаю, чтоб ты мне наклеивала пластырь на «бобо». Пока что мои писания никуда не годятся.

— Почему ты знаешь? — возразила она.

— Почему знаю? Да так вот. Чувствую. Писать нужно, только если это вещь стоящая. А что? Сам в себе-то не могу разобраться, и нет у меня ничего, кроме тебя! Разве только инстинктивная потребность писать, но этого мало. Вчера просматривал, так чуть не стошнило. Брр! Одиночество, ощущение бессилия, паутина какая-то, скепсис... Что до этого людям? Печаль, безысходность, тягостность... Может быть... жизнь совсем другая, и я другой, и то, что на самом деле я чувствую, совсем не похоже, по крайней мере с тех пор, как со мной ты. Все, что я за эти годы нацарапал, кажется мне дурацким позерством. Туман. Отчаяние нынче в моде. И не удивительно. Я даже и не хочу, чтоб это было правдой. К тому же, когда ты так занят собственной судьбой, как теперь, то не особенно интересуешься чужими судьбами. Тем более плохо выдуманнами.

— Значит, ты сомневаешься в себе?

Я устало махнул рукой.

— Я сомневаюсь во многом — и гораздо более важном.

Испытующе заглядываю ей в лицо и читаю в нем печальное изобретение. Я разочаровал ее. Что делать! За окошком вагона замель-

кали толевые крыши пристанционных домиков, столбы семафоров, потом вагоны, набитые серо-зелеными солдатами, орудия танка под зеленым брезентом; металлический стук колес на стрелках заставляет ее повисить голос.

— Боюсь, как бы ты не просомневался всю жизнь... Я еще не сдалась.

Встрепенувшись, я запускаю ей пальцы в волосы, упрямое мужество, озаряющее ее лицо, передается и мне.

— Ты думаешь, я сдался? — кричу я ей на ухо под этот адский грохот. — Ничуть не бывало! Хочу, чтоб ты когда-нибудь страшно гордилась мной, просто лопалась от гордости! Куда там Стендалы! А пока не будем говорить об этом!

Иногда мы ездим за город на велосипедах, катим по пустынным дорогам, ветер бьет в лицо, и мы насвистываем в такт оборотам. У нее свой велосипед: мой, который я получил когда-то от деда за хороший табель, мама давно выменяла в деревне на мешочек ячневой крупы и на кролика. Я беру Иткин дамский велосипед у ее родителей. Они охотно дают его мне, а я, в свою очередь, терпеливо выслушиваю двухголосое причитание о дочери. Ох, эти налеты! Мы трогательно вспоминаем об Итке, и в заключение старики засыпают меня упреками, от которых мне становится стыдно за то, что и я принадлежу к нынешней бессердечной молодежи: бедняжка Итка вдруг превращается в негодницу, вот уже две недели она не шлет ни словечка...

Мужчина на дамском велосипеде. Сначала я от этого чувствовал себя униженным, но Бланка не придавала этому никакого значения. Ей даже нравится такая оригинальность. А не надеть ли тебе юбку?

Мы плаваем в текучей воде, она, немного впереди, ныряет как утка и фыркает от наслаждения, я набираю воздуха и хватаю ее за пятку. Яростная борьба под водой, и, когда мы выныриваем, наш смех оглашает лесистую долину, по которой течет река. Сидим на горячих камнях разрушенной плотины, машем одиноким лодкам. Из-за поворота реки беззвучно выплывают плоты, весла на носу и корме чуть слышно шлепают по воде, мы смотрим, как ловко маневрируют мускулистые плотогоны... Потом Бланка, смежив веки от солнца, начинает декламировать, но память изменяет ей, я подсказываю, и мы общими усилиями вспоминаем строчку. Но это бывает редко, память у нее изумительная. Знаешь это? Гм, Томан? А вот это? Отгадай! Сова? Незвал? «Одна вода»... Ну и не хвастайся! А эта вот: «Как уж та ли вода измученная, та ли вода — печаль»... К Галасу она относится с такой же страстью, как и я, знает его, наверное, наизусть. Что тут общего с рекой? Зато это о дожде. А это знаешь? Это Ортен. Я слушаю, слова вылетают из губ ее естественно и непринужденно, они живут в ней. Хватит, тут есть эхо, слушай: хо-хо... хо-хо!.. Ты умеешь «блины печь»? Я нашел плоский камень. Один, два, три, восемь. Ловко для пражанина! А ты отличишь гуся от утки? Эй, эй, не задавайся! Я делаю вид, что душу ее.

Она бежит от меня, кидается всем телом, вода — ее стихия.

— Сними купальник, я подержу, — нарочно предлагаю я, догнав ее; знаю, что она любит плавать голая. Она оборачивается, показывает нос. Не пройдет! Потом мы с жадностью уничтожаем содержимое наших тощих сумок, скромное протекторатное угощение: прилипающий к небу сырой хлеб с маргарином и тонкий плавленый сырок, иногда — кружок колбасы, в котором не сразу заметишь квадратик сала; бумажная коробочка со сладко-щиплющим мармеладом; морковка — мы выдернули ее по дороге, она чудесно хрустит на зубах. Блаженно переворачиваюсь на спину и закуриваю сигаретку из травки от ревматизма, а Бланка рядом отдувается, гладит свой загорелый живот. Вот видишь, браню я ее, это все твои трюфели, надо быть умницей, не налегать чересчур. Ничего подобного, возражает она, это ты виноват! Знаешь, что я терпеть не могу икры... Встряховаю бутылку с содовой, чтобы хорошенько запузырилась. На, запей. «Помери» — приличная марка. Куда мы едем в отпуск, милый? Что ты думаешь о Монте-Карло, дорогая? Сорвем банк, купим яхту с оранжевыми парусами, поплывем на ней в Марокко, на палубе устроим бар с высокими табуретками, за ним будет составлять коктейли настоящий негр. Ты имеешь в виду «Мабу»? Пила ты когда-нибудь «Рататам-флип»? Еще бы! Ты вспомни: у Канарских островов... Я хлопаю себя по лбу: ну да, вспомнил, это перед тем, как начался тайфун!

Когда Бланка весела и беззаботна, она все превращает в игру; это у нее в натуре, а я только подыгрываю ей. Она наблюдает людей, подмечает мельчайшие их движения и интонации, характерные обороты, а потом изумительно воспроизводит все это. Порой я с трудом нахожу в ней то таинственно-молчаливое, замкнутое в себе существо, которое привык видеть в утреннем поезде или над остовом хвостового руля: она изменилась и продолжает неуловимо меняться у меня на глазах. Какая же она вся? Этого, пожалуй, не поймешь умом, она все время чем-нибудь поражает, я воспринимаю ее скорей ощущением и чувствами и готов поклясться, что тут у меня больше надежды на успех. Любовь, наверное, единственный путь к подлинному познанию. Проводник в поезде, сморщенный старичок с рассеченным карнизом бровей, прощелкивает наши билеты, смешно надув щеки. Видел? Как только за ним закрывается дверь, она сейчас же надувает щеки, двигает бровями — изображает его обветшалое величие, и я покатываюсь со смеху. Ты обратил внимание на ту даму в трамвае? Да, с готовностью отвечаю я, это Барашкова, Ружена Барашкова, ее муж мелкий служащий в налоговом управлении, он разводит кактусы, страдает бронхитом от пыли в учреждении, а их сын Ярушек болел зимой коклюшем. Еще что? Да, сумка... Ружена Барашкова возвращалась от сестры Марии из Розток, та положила в сумку несколько клубней кольраби, уверенно добавляю я и с удовлетворением замечаю, что Бланка поверила. Ты ее знаешь? Нисколько, объявляю я, и ни за что не ручаюсь, я все выдумал, а что? Бланка укоризненно толкает меня под ребро: плохо выдумал! У нее в сумке была цветная капуста, и никакой сестры в Розтоках у нее нету, и

Яроушек ее здоровехонек. И озорник отчаянный. Ты обратил внимание на ее пальцы? Нет. А что? По-моему, она портниха, портнихи так шевелят пальцами. Ты ничего не замечаешь, а только выдумываешь. Смотришь на мир трагически, иногда корит она меня, ты мизантроп, и за это я жутко тебя ненавижу. Она ошибается, может, раньше так и было, но теперь нет, наоборот; люди кажутся мне замечательными и красивыми, они такие милые и добрые, и всех хочется любить — в этом определенно заслуга Бланки. Все стало светлей, даже солнце...

И так мчится время. Когда мы возвращаемся с реки на станцию, в лесу грежит пальба — это мы стреляем сосновыми шишками. Боевое счастье на моей стороне — один снаряд попадает ей в голову. Конец! Она трагическим жестом взмахивает руками и валится на мох, сраженная намертво. Я покрываю ее хвоей и, нарвав на просеке цветов, осыпаю ими ее волосы. Так как ей все еще не угодно ожить, я наклоняюсь к ней и читаю наизусть мучительный монолог Ромео в гробнице. Нарочно сбиваюсь, растерянно почесываю подбородок и жду, когда покойница с загорелым лбом не выдержит: сжатые губы зашевелиятся, и она мне подскажет нужное словечко — не так, пу-таник... А потом обхватит мою шею руками, притянет меня к себе. Мы захлебываемся друг другом в расслабляющем благовонии сухой хвои. И как раз в это бездыханное мгновение бог весть почему я со страшным испугом чувствую, как в этот болезненный наплыв радости за нее и за все живущее в меня вдруг вливается легкий, почти бессознательный страх — какое-то мучительное головокружение — перед нашим концом, перед тем, что нам когда-нибудь придется умереть и разлучиться, и у меня из груди рвется крик протеста и ужаса. Отчего это бывает с человеком именно в такие минуты? Тебе этого не понять. Я люблю тебя! Очнись, стряхни это с себя, ведь она тут, рядом с тобой, удивительно живая и реальная, убедись в этом губами и руками, она тут! Скорей домой, приближается гроза!

Дни вдохновений! Но бывают другие, когда она как бы ускользает, хоть и топают, склонив голову, рядом со мной. Я провожаю ее домой, мы стоим в нише входной двери, и я вижу, что в ней происходит борьба, она какая-то сама не своя, особенная, в ней непонятное мне нетерпение, я стараюсь преодолеть его, несу какую-то чушь, но она смотрит на меня отсутствующим взглядом, словно сквозь пустоту. Я касаюсь пальцем ее руки, напоминая о себе.

— Здравствуйте, барышня!

Она моргает, словно ее разбудили, проводит привычным движением рукой по волосам.

— Говори, я тебя слушаю, — лжет она и заставляет себя улыбнуться.

Это у нее получается неважно.

— В чем дело? Что-нибудь плохое?

— Нет, ничего.

— Зденек?

Она отводит глаза, а лицо у нее бледное и словно стянутое.

— Не знаю. Может, получу сегодня весточку. Я видела дурной сон.

— Я буду думать о тебе.

— Нет. Сегодня не думай обо мне! Обещай!

Я уж научился соглашаться, даже когда не понимаю.

— Ладно. Выключу тебя из головы, вот так: щелк! Странно, что до сих пор его не судили.

— Нет, — говорит она задумчиво. — Если дойдет до суда, ему конец, понимаешь?

Вижу, она кусает губы.

— Я кажусь себе отвратительной за то, что счастлива и хохочу, как дура, когда он... Поплачусь я за это, наверно...

Как ее разубедить? Я даже, кажется, немножко понимаю ее угрызения, по крайней мере стараюсь понять, и только беспомощно глажу ее по волосам. Она сейчас же спохватывается:

— Довольно! Я дура. Надо взять себя в руки! Не обращай внимания, я сегодня не в форме. И пожалуйста, уходи! Завтра все будет в порядке. Скорей бы это завтра!

Так и получается. Весь следующий день я слежу за ней на заводе ястребиным взглядом и, встретившись с ней глазами среди этого грохота, показываю на пальцах час встречи. Она кивает, а вечером вихрем вылетает из ворот, кидается мне на шею:

— Ты давно меня ждешь? Не занесло тебя снегом?

— Почти, — с упреком осаживаю я ее, показывая на витрину. — Я уже стал специалистом по предметам культа: облачения, ризы, кропильницы... тебе не кажется, что Христос на горе Елеонской чем-то напоминает нашего Павла? Я взывал к святому Антонию, вон, смотри, с полированной лысиной, поскольку он покровитель отвергнутых влюбленных... А знаешь, сколько голубых квадратиков в узоре тротуара? Ничего-то ты не знаешь.

Все в порядке, в будни у нас есть город, жаркий даже в летние вечера, он наш со своими проспектами и тихими кривыми улочками Малой страны, с рекой и островами, со скамьями в парках, с набережной и навесами кровель, под которые мы прячемся от ночного ливня, со статуями, полными страсти, с каштанами над рекой, со всеми его холмами и ложбинами, крышами и тенистыми уголками, известными, может быть, только нам двоим, с его музыкой, и дыханием, и красками, со сложными запахами пассажей, где гуляют сквозняки, запахами трамваев, хлеба и выхлопного газа. Никогда раньше не воспринимал я до такой степени физически его древнее очарование, и никогда раньше я не дрожал от холодящей мысли, что эти стены могут разлететься во все стороны и лопнуть от жара, как это случилось с другими городами в нашей части света. Только теперь, при ней, я стал думать об этом. Странное чувство: тот, кто родился в деревне, наверно, носит в себе образ своего родного края: и как бы ни бомбили этот край, как бы его ни терзали, ни жгли, край останется, и, вернувшись, ты узнаешь его. Но мой край создан руками. это дома и улицы, та, на которой я родился, и та, по которой бе-

гал в школу, и поэтому мне страшно, найду ли я их под горами развороченных каменных обломков. Что останется мне, кроме как ползать тараканом по безымянным развалинам, напрасно стараясь отыскать под ними свою улицу, квартал, свой родимый край? Чем-то ты кончишь, город? Что тебе до этой войны? Это наш город, говорю я с яростной гордостью, пусть его разграбили и все еще грабят, пусть он наводнен чужими мундирами, пусть по нему бродят подкованные калеки на костылях, без рук, без глаз, с руками на проволочных каркасах, сшитые так, что и на человека не похоже, одуревшие от ужаса, который принесли с собой со всех фронтов, пусть его мостовую дробят гусеницы танков, пусть в нем тюрьмы и застенки, пусть сама жизнь в нем похожа на горячечный бред. Что может он уделить нам сейчас со своего нищенского стола? Немного, но и этого нам хватит. Разбитую мостовую, небо над крышами, водостоки, по которым звенит дождь. Опустошенные витрины. Идиотский плакат Лиги борьбы против большевизма. Вацлавак, лишенный огней и разноцветного трепетанья неона, этот круговорот оживленной площади для меня уже только расплывчатое и неправдоподобное воспоминание детства. Теперь тут по проезжей части ползают, как улитки, пять-шесть легковых машин, нет-нет да и забредут сюда из прошлого столетия извозчицы кобылки, с меланхолическим постукиванием подков и запахом непрветренных попон. Пойдем покатаемся, все равно льет. Я плачу вперед сгорбившемуся призраку на козлах. Но-о-о — и мы трясемся по камням, прижавшись друг к другу в темном кузове, мы грохочем по чавкающей мостовой, летучие мыши взлетают над площадью, вьются вокруг силуэта княжеской статуи, потом опять вниз — и нам хорошо и немножко грустно. «Боюсь, граф, — слышу я полный достоинства чопорный голос, — что мы опоздаем на бал». — «Что делать, моя дорогая, — вздыхаю я в ответ, — мой кучер Василь напился. С прислугой опять трудно: лентяи и нахалы». — «Оставьте, князь, — возразит мне окружающий мрак, — нас боготворит наш трудолюбивый народ, такой добрый в своей простоте!»

Мы выпрыгиваем на ходу и скрываемся от изумленного старикана во тьме.

— Как Зденек? — ни с того ни с сего спрашиваю я. — В порядке?

— Наверно... То есть жив.

Куда деваться? Кино она не очень любит, не говоря уж о немецких фильмах — просто терпеть не может. Перед праздниками мы обошли все театры и переругались из-за каждой пьесы обнищавшего репертуара. Сентиментальная патриотическая гадость, заносчиво осуждал я спектакль, уже несколько лет делавший хорошие сборы. О, эти минуты в потемневшем зрительном зале! Я наблюдал за ней искаса, она была заинтересована так, что меня даже брала ревность. — происходящее на сцене воспринимала всем своим существом. Но чаще всего мы шатались по крохотным авангардистским театрикам, появившимся в парниках протектората, как грибы после дождя. Стены каждого зала или выставочного помещения сотрясались от неистов-

ства молодых актеров, играли прямо среди картин, на обыкновенных ящиках, но с неистощимой изобретательностью, фантазией и захватывающим подъемом. И это когда нет ни угла, ни ангажемента! Мы обожали атмосферу, создаваемую спектаклем, это были наши театры. Очень скоро я обнаружил, что с массой этих молодых актеров она знакома, и они знают ее. Привет, девочка, как живешь? Замуж еще не вышла? Помнишь, как мы тогда неистовствовали? Цамбус, а? Печально вздохнув, она объяснила мне, что прежде тоже играла в одной такой труппе. Долой старый театр! Играли, декламировали до изнеможения, неистовствовали, грезили о театре будущего. После ареста брата она сейчас же все бросила. Что делать? Я по-прежнему ничего не умею. Летом театры были закрыты, и теперь уже ясно, что их так и не откроют до самого конца войны. Остаются концерты, хождение по улицам и книги. Мы читаем все, что попадет под руку, между нами идут вечные распри! Рамю, Хансли, Достоевский, «Крейцера соната» — все рождает ожесточенные споры. Ужасные, но я не верю этому! В ящике перед лавкой букиниста я нашел полный комплект Прустовых «Поисков потерянного времени», полметра сброшюрованных томов, разрезаю их, с терпением кочевника пробираюсь по страницам утонченных ощущений, не признаваясь самому себе, что умираю от скуки.

Не понимаю, почему она отказывается ходить со мной в мое кафе. Ну, думай, что она не хочет делить тебя с твоими знакомыми. Я не верю этому, но подчиняюсь, зная, что она умеет быть упрямой, и в дождливые вечера мы сидим в маленьких ресторанчиках, согревая ладони о стакан эрзац-чая. Я обиженно молчу, делая вид, будто она виновата, что вокруг так неуютно. Заметив, что я в дурном настроении, она щелкает меня пальцем по носу, и я стараюсь, чтоб улыбка получилась как можно неискренней. Отвожу взгляд. В чем дело? Тебе нехорошо со мной? Я делаю нетерпеливый жест. Не говори глупостей, ты ведь знаешь, но только... Ох, это «только»! Что мне с ним делать? Разве не сущая бессмыслица — торчать здесь и говорить чуть не шепотом, чтобы никто из этих хрычей не услышал, о чем мы говорим, если она живет одна? Отчего она не разрешает мне прийти к ней? Боятся сплетен? Но это совсем на нее не похоже. Нельзя, милый, уверяю тебя. Будь терпелив. Потом. Но — почему? Я не понимаю, и мне уже надоело слышать ее вечные «потом». Когда же? Потом! Что это значит? Когда вернется брат? Но всякий раз ее заглянувший взгляд обезоруживает меня. Прошу, если ты любишь меня, не говори об этом и верь мне. Я верю, но... Чего ждать? Три месяца мы встречаемся и с каждым вздохом становимся все ближе — по крайней мере мне так кажется. Для нее я готов, наверно, украсть и убить, значит сумею и ждать, но, по-моему, слишком жестоко и непонятно то, что я до сих пор не проник дальше ненавистной ниши у входной двери. Зачем? Зачем она меня мучит? Разве не знает, что я желаю ее всем своим голодным телом, которое как будто не принадлежит мне, что даже ее мимолетное прикосновение волнует меня, и я не знаю, что делать, я высох от этой непрерывной тоски по ее телу!

Ночью и днем... Я нисколько не скрываю этого и готов поклясться, что она знает об этом не хуже меня. Я знаю, потому что и она себя выдает: слабеет в моих объятиях — каждый день мысленно отдается мне на темных улицах или на уединенной скамейке в парке — я чувствую, как ее тянет ко мне, она едва не теряет сознания, но все-таки... все-таки всегда вовремя приходит в себя! На самом краю милосердного обрыва, когда уже некуда больше шагнуть. Прошу тебя, не надо! Неужели она не чувствует всей муки и унизости этих воровских объятий? Наверное, чувствует, и все же, когда я однажды в пустом парке, потеряв голову, попытался действовать решительно, то встретил такой отпор, что сейчас же отступил. Она отрезвела. Ей стало холодно. Я испугался отчуждения, пронесшегося между нами, мне слишком дорога была наша, пусть платоническая близость, чтобы я мог взять ее силой или воспользоваться ее минутной слабостью. Иногда я подозреваю ее в обыкновенном упрямстве, и тогда во мне растет гнев. Я упорно молчу. Может быть, набивает себе цену? Не оскорбляй ее! «Не сердись, Гонзик», — говорит она, робко притрагиваясь ко мне. Ладно, я мгновенно таю, как восковой шарик, и больше не сержусь. «Я тебя мучаю, правда? А ты не сердись!» И мы опять полны чрезмерной предупредительности и с жаром прощаем друг другу воображаемые вины, растроганные взаимной нежностью, мы больше не говорим об этом, но это висит над нами свинцовой тяжестью вопроса, от которого не уйдешь. Это непрекращающееся напряжение превратило нас в странных противников, которые любят и в то же время подстерегают друг друга с настороженностью хищника; мы, даже не сговариваясь, начинаем избегать уединенных мест. Да, это борьба, тихая и ласковая, но она приводит в отчаяние! Чего она боится? Я перебираю все возможности, которые способен измыслить со своей чисто мужской точки зрения. Меня? Чепуха! Боли? Смешно так думать о ней. Последствий? Или риска, что от всего останется неприятное впечатление, которое могло бы что-то нарушить между нами? О, эта мысль повергает меня в смятение, я поспешно ее отгоняю, чтоб она не застряла во мне. Чепуха! Или она боится неизведанного? Но было ли это для нее неизведанным? Этот вопрос до тех пор не давал мне покоя, пока однажды, за столиком в пустом кафе, я не высказал его прямо, ничуть не стыдясь захватить им Бланку врасплох.

— Послушай, — начал я равнодушнейшим тоном, — я давно хотел тебя спросить... У тебя уже был мужчина?

Она отразила первую атаку ненужным вопросом, но от меня не укрылся ее испуг.

— Ты что имеешь в виду?

— Ты меня поняла, — уличил я Бланку, накрывая ладонью ее руку.

Она еще попыталась превратить все в шутку, но рука ее задрожала.

— Ты уверен, что джентльмен может задавать даме такие вопросы?

— Я не джентльмен.

Я не даю сбить себя, я хочу знать. Она ищет спасения в игре. Усталый зевок, видимо, должен служить прелюдией.

— Да... было, кажется, штук двести. Или меньше? Кто в таких случаях считает, правда? Еще что угодно, сэр?

Я сжимаю ей руку, холодную как металл, и качаю головой.

— Больше ничего. Я спросил серьезно, но ты можешь не отвечать!

Светлая прядь волос соскользнула ей на левую щеку, когда она наклонила голову; глядит в сторону, вертит в пальцах ложечку, потом кладет ее на мрамор. Ложечка звякает.

— Тебе будет очень неприятно, если я скажу — да?

Рука ее выскользывает из-под моей ладони, и при взгляде на ее глаза меня сокрушает чувство жалости. Мальчишка, сопляк! Идиот! Лучше б она надавала мне пощечин! Стыд охватывает все мое существо. Получил? Я зачем-то ерошу себе волосы, кривлю губы улыбкой.

Говори, говори скорее, каждая секунда молчания затягивает в болото!

— Я не умею лгать, — произносит она еле слышно. — По крайней мере тебе.

— Господи, — слышу я свой собственный голос, но будто откуда-то издали. — Разве мы живем в средневековье?

И мной овладевает неудержимая болтливость, я возмущаю стоячую тишину и беспечно смеюсь, но мне скверно от каждого слова.

— Забудь об этом. Ничего не было. Ведь тогда мы друг друга не знали...

И так далее.

— А ты?

Спасительный вопрос — он пресекает мою болтовню, я махнул легкомысленно.

— Я? Ах да, конечно... Я пошло нормален.

Она просительно кладет мне ладонь на руку.

— Не будем больше об этом, хорошо? Ты проводишь меня домой, Гонзик? У меня глаза слипаются...

Я перевожу дух. Знаю, что к этому нелепому вопросу я больше никогда не вернусь, но знаю также, что он застрял во мне и будет возвращаться.

Мы поднимаемся по Замковой лестнице, под нами волнуется город, и я нарочно отстаю на несколько шагов.

— В чем дело, старик? Задохся?

— Хочешь, бегом взлечу?

— Так чего же отстаешь?

— Хотя бы оттого, что у тебя великолепные ноги.

Она укоризненно сдвигает брови и ждет, чтоб я подошел.

— Знаешь, ты кто? Бесстыдник.

— Пусть будет так, — смиренно соглашаюсь я. — Но я уверен, что никогда еще не смотрел на женские ноги так целомудренно. Я открою тебе одну тайну мужчин: большинство из нас начинает оценку с ног. Душа сначала на одном из последних мест. Здорово?

— Гм!.. Ну так и я открою тебе тайну женщин: вы жестоко ошибаетесь, если думаете, что большинство из нас не знает об этом. Здорово?!

— Однако вы не можете нам это запретить. Один — ноль в мою пользу.

— Однако нам и в голову не приходит запрещать. Я, пожалуй, тоже бесстыдница, оттого что мне приятно, что мои ноги тебе нравятся. Ничья?..

Пан Кодытек появляется бесшумно, как стрекоза, и я представляю себе, как у него от удивления вытянулась бы физиономия, если б он мог прочесть, что я написал. Но, может быть, я ошибаюсь, ведь ничего особенного между нами не происходит. Только улицы и закоулки города сплошь переименованы. Вонючий перекресток на Кампе получил название «У пана в шляпе», в мрачном доме на кривой староместской улице живет Раскольников, и в покрытом плесенью коридоре пахнет необычайным убийством. Так возникает новая топография города, с совершенно новой историей каждой местности и новым прошлым мелькающих мимо нас людей. Сколько жестов и намеков, при помощи которых можно понять друг друга без слов, сколько условных выражений! Всякий раз как нам случится высказать одну и ту же мысль, просто необходимо слегка попрыгать и пробормотать таинственное заклинание: Шекспир! Бэкон! Обнаруживаю, что она суеверна, как дикарка, делает вид, будто верит в общезвестные приметы, и еще разработала для себя целую систему своих собственных примет и держится за них с детским упрямством, хоть я и не вполне уверен, что она относится к ним серьезно. Я подымаю ее на смех, но при этом замечаю, что сам тоже суеверен; быть может, это проявляется в том, что я намеренно все делаю наоборот, подтверждая суеверие самым его опровержением. Я редко называю ее по имени, а в выборе прозвищ проявляю порядочную изобретательность, но они никогда не имеют никакого отношения ни к окружающей обстановке, ни к моему расположению духа. Нет, я не в состоянии написать их на бумаге, боюсь, что, выраженные буквами и вырванные из мерцающей летучей атмосферы мгновения, они тотчас заболеют банальностью. Оттого что принадлежат безраздельно тем минутам.

Война и город! У нас нет в нем дома, и крыши над нами чужие; это безличные крыши неуютных кафе, кино и железнодорожных вагонов. Неважно: оттого что у нас нет дома, нам домом становится целый город. Возможно, если б люди не придумали заборов, им принадлежали бы сады на всем земном шаре.

Или все-таки есть? Однажды в разгар лета, когда мы купались в ерике на левом берегу Влтавы, из-за Глубочепских скал налетела буря с проливным дождем, да так коварно, что не успели мы одеться, как сразу вымокли до нитки. И куда ни кинешь взгляд — ни одной крыши. Скорей, лесная фея! Под потоками воды мы побежали по каменным плитам дамбы, в моих тапочках противно хлюпала вода, а гром гремел у нас за спиной. Куда деться? Мы углядели деревянную ограду у самой реки и, задыхаясь, вбежали внутрь. Между пустыми

бочками из-под смолы и деревянными козлами валялись лодки всех типов — от элегантных каноэ до обыкновенных рыбацких плоскодонок; в ограде были навесы с нагроможденными в них лодками, переломанными рейками, мотками проволоки, уключинами. Видимо, больница и кладбище лодок... Два-три деревянных сарая с латаной толевой крышей. Мы влетели в ближайший из них в тот самый момент, когда небо вспыхнуло синим огнем и расколосось у нас над головой. В сарае не было никого — спасены! Мы еле переводили дух. «Ну и мчались, господи! — выдохнула она в блаженстве, отводя со лба мокрые волосы. — Я тебя предупреждала...» Я стал выжимать ей мокрую прядь волос. «Подумаешь! А ты боишься грозы?» Грохнуло так, что стекла зазвенели, она в испуге прижалась ко мне. Слишком много эффектов! Я, подчеркивая свое мужское превосходство, обнял ее за плечи.

Куда мы попали?

Я огляделся: полумрак, запах дегтя и затхлая сырость холостой берлоги. Полуразвалившийся шкаф, топчан, стол, сколоченный из досок, два старых стула с продавленным сиденьем, у задней стены рассохшаяся лодка; закопченные стены оклеены цветными изображениями полуобнаженных красавиц, хорошенькие кинозвезды слащаво улыбались этому убогому жилищу, а в углу раскорячилась остывшая времянка с облупленной кастрюлей. По толевой крыше бегал дождь и хлестал за запотевшим окошком речную гладь.

— Тут, пожалуй, лучше, чем в малярке. И совсем не каплет.

Я не успел ответить — снаружи послышались тяжелые шаги, дверь открылась, и весь проем заняла фигура: толстый старик в стоптанных сапогах; с мешка, которым он накрыл голову, капала вода.

— Чего вам тут? — Запавшие глазки смотрели на нас, как на забравшихся в курятник хищников. — Убирайтесь! Я тут за все отвечаю.

Он, видимо, был зол, потому что ему пришлось выйти под дождь, и решил выгнать на дождь и нас. Он красноречиво не отпускал ручку двери, вид у него был грубый, и лицо под мешком-капюшоном, казалось, было вытесано из выветрившейся опоки. Я разозлился, но благо-разумно сдержал себя, так как преимущество было явно на его стороне. Я объяснил ему, в какое положение мы попали, и даже назвал. И пока я говорил, он заметно смягчался, но еще некоторое время недовольно хрипел. Не теряя присутствия духа, я воспользовался его колебанием и довершил его превращение с помощью последней промоченной «викторки», которую обнаружил у себя в кармане.

Он принял сигарету, сохраняя мрачное достоинство, и пошел опять под дождь.

На прощанье он еще сунул голову в дверь и брюзгливо промолвил:

— Не пяльте глаза, сушитесь! Хррр... За печкой есть маленько дров.

Дождь пошел на убыль, по крыше стучали последние капли, погромыхивало уже вдаль. Мы вдруг оказались одни и принялись хозяйничать. Пока я пытался развести огонь, Бланка рассматривала картины на стене.

— Ты когда-нибудь видел Грету Гарбо? У нее меланхолический вид, тогда это было в моде. Обязательно чтоб была чахотка.

Спички отсырели, я долго чиркал.

— Не видел. На фильмы, в которых она играла, до шестнадцати лет не пускали, и, кроме того, я презирал тогда розовую водичку о любви. Я был без ума от Тома Микса, от кольтов и Техаса. В клубе пилотов, по воскресеньям с двух часов — и всего за крону. Звуковое кино наводило на меня скуку, там слишком много болтали, а титры всегда шли по белому. Как-то раз, мне было тогда четырнадцать, я, пристроив себе усики, пробрался на фильм, на который подростки категорически не допускались. Назывался он «Брак под микроскопом», и реклама обещала, что в нем беспощадно срывается покрывало с тайны деторождения... Когда я протягивал билет контролеру, я чувствовал, что у меня дрожат колени.

— Одним словом, бесстыдник, — деловито заметила она.

— Но я был бессовестно обманут. В решительную минуту на экране появилась пара нежных голубков и какой-то ручеек с березками, а остаток фильма был инструктаж, как пеленать младенцев.

Бланка расхохоталась.

— Так тебе и надо! Какой ты тогда был? Длинный как жердь, пушок под носом, уклончивый взгляд?

— Точно. Кроме того, я был тайно влюблен в нашу француженку Мадлову, нежно называл ее Мадлен, строчил стихи и думал о смерти. Тогда шла эта торговля в Мюнхене, дедушка прилепил на окна крест-накрест бумажные полоски, а в школе нас учили правильно надевать противогазы.

Дрова затрещали, и в сарайчике стало разливаться тепло. Я поставил стулья друг к другу спинкой, поближе к времянке, и протянул бечевку от шкафа к стене, а Бланка следила за мной.

— Не пойти ли нам домой? — смиренно спросила она.

— Ерунда! Я уже растопил. Будьте добры раздеться, мадам! Она заколебалась, глаза ее округлились от удивления.

— Все снимать?

— Ты промокла до нитки... И что тут такого?

— Да в общем ничего. Но ты не будешь смотреть. Клянись, негодяй! Я поднял два пальца.

— Этого довольно? Становись сюда, и по команде повернемся друг к другу спиной.

— А если кто придет? — возразила она, уже уступая.

— А я запер дверь на ключ. Ну, кругом!

Это было совсем просто, потом наступила теплая тишина, и мы сидели на стульях спиной друг к другу, голые, и упорно молчали. Одинокие капли еще постукивали по толю, вода журчала в водосточном желобе, по железнодорожному мосту прогрохотал поезд... «Динг-донг», — звенели капли, ударяясь о желоба, потом солнце разом затопило противоположный берег предвечерним светом, мир был выстиран, надежен и благоухал влажной свежестью.

Сколько времени сидели мы так — не знаю. Я прислушивался к дыханию у себя за спиной и чувствовал тепло, исходящее от ее обнаженного тела. Потом, не нарушая своего обещания, подчиняясь совершенно подсознательному приказу, в странном головокружении я слегка повернулся на стуле и протянул руку назад. Сначала рука поблуждала в пространстве, но потом с чудесной неизбежностью коснулась голой груди. Накрыла ее. Под ладонью робко шевелилось нежное, странно самостоятельное существо — маленький зверек, я сжимал ее скорей благоговейно, без напора мешающей чувственности. Наверно, она тоже поняла это и потому не отдернулась. С той же естественностью оставила ее у меня в руке — для ласки, отдавая мне ее. И не было ничего бесстыдного ни в этом жесте, ни в ее покорной наготе, — решительно ничего. Это был подарок. Обещание.

Я задрожал, когда она взяла мою руку в свои и прижала к ней свои губы. Только не двигаться, не разрушить! Может, это тебе только снится?

Шаги снаружи вывели нас из забытья. Она встала у меня за спиной и пощупала одежду на шнуре. Я, как ни старался сдержаться, громко чихнул.

— Ну вот! Оденься, уже высохло. Не оборачивайся.

Когда она причесывалась перед обломком зеркала, я обнял ее сзади и заставил обернуть ко мне лицо.

— Любишь?

Я покачал головой, и мне показалось, будто я открыл ее заново. Вообще не могу описать, что она в это мгновение излучала.

— До смерти. Нет! Больше: на всю жизнь!

Прежде чем уйти, я отыскал под одним из навесов деда, чтобы поблагодарить. Я был преисполнен благодарности ко всему миру и распространил ее на старика. Сперва он не понимал, чего еще от него хотят, его лицо не изменило своей брызгливой неподвижности, а на мою благодарность ответил взмахом руки, в которой держал малярную кисть; тем более удивило меня предложение, которое он сделал, может быть, только затем, чтобы заставить нас поскорее уйти.

— Ну как? — прохрипел он, причем морщины его болезненно раздвинулись под напором чего-то, что можно было при известной фантазии назвать улыбкой. — Видать, встречаться негде?

К счастью, в словах его не было ни скользкого любопытства, ни свинской пронизательности, и я кивнул.

— Кабы люди нынче умели себя вести... хрр... Ключ лежит под порогом. Теперь, значит, как Карел, парень мой, в рейхе, никто там не живет. Только с печкой-то поосторожней!..

Под хриплой неприветливостью — недвусмысленное приглашение, в душе я благословлял неведомого Карела. Когда я все это передал Бланке, она сперва засмеялась, а потом с женской практичностью заметила:

— Нужно дорожить теми местами, где тебе хорошо. Их не так уж много. Чем не Итака? Дым родного очага, оглянись скорее!

И мы возвращаемся туда, мы как перелетные птицы, и так как

дом — это очаг, то мы иной раз совершенно без нужды разводим огонь во времянке и снова рассматриваем выютюженные лица кинозвезд на стене. Вечером внутри ограды никого не бывает, иной раз мы не видим даже нашего деда. «Как ты думаешь, почему он нас сюда пустил?» — «Откуда я знаю? Может, тоскует по Карелу». — «Знаешь, кого он мне напоминает? Это Гефест...» Мы убираем, подметаем пол, поддерживаем здесь образцовый порядок; как-то раз Бланка принесла вазочку на стол, чтобы у нас было здесь что-то свое, и теперь ставит в нее бедные цветы лета и стебли трав, которые растут меж камней набережной. Итака! Мы любим этот овеваемый ветрами сарай и всякий раз, как между нами нелады, идем туда мириться. Мы не переносим за его порог никаких ссор и неприятностей. Это стало неписанным законом, ведь здесь — наше убежище и приют радости. Минутку, останавливаю я Бланку перед дверью. Символически комкаю все досадное в невидимый ком и, преувеличенно размахнувшись, швыряю в ленивые струи реки.

Бланка понимает, и сразу же за дверью губы ее встречают мои.

— Знаешь что? — сказала она как-то, когда мы в добром молчании возвращались в город, и нащупала мою руку. — Обещаем друг другу, что что бы ни случилось, понимаешь, например, если мы вдруг потеряем друг друга в той неразберихе, которая надвигается, то сойдемся там. Разведем огонь, и все дурное уйдет, и опять останемся только мы вдвоем. Согласен? Договорились?

Вероятно, у каждого человека есть лето, одно лето, которое останется в нем на всю жизнь, одно яркое неповторимое лето. Мое лето — вот это, тощее и голодное, может быть, последнее лето страшной войны, и я знаю, оно останется во мне до последнего моего вздоха, останется со своими пожарами и внезапными грозами, с рекой и вывороченным наизнанку городом, с самым близким человеком во вселенной. Счастье? Я боюсь этого захватанного слова, мне кажется, у него вкус дешевых леденцов, но как сказать иначе? Я просто счастлив — счастлив так, что мне почти стыдно людей, их слез, того, что у Павла в глазах; и если бы мне суждено было умереть той осенью, я, не задумываясь, благодарно и честно признал бы: стоило жить, стоило!..

Карандаш стукнул о мрамор, кафе понемногу наполняется посетителями — кафе, где знакомые лица и знакомые речи: «Здорово, как делишки? Курнуть нету?» — «Пан Кодытек, порцию картошки да двадцать пять граммов жиров!» — «Слышал про Эвжена?» — «Балда! Все там будем». — «Пойдешь с нами на аукцион?» — «Не валяй дурака».

Я с тоской гляжу на окно: за спущенным затемнением непрерывно чавкает ливень ранней осени.

V

Два часа!

Сентябрьская ночь пронизывала тело холодом, пахла дымом, железом и гниющим деревом. Милан лязгал зубами и постукивал озябшими ногами. Пора бы уж им кончить. Быть мне папой римским, если я

не схвачу здоровый катар! Проклятые легкие! Кому охота торчать в диспансере в очереди с харкающими туберкулезными и дрожать в ожидании приговора? Пока буду держаться — ни за что не пойду! Милан делал усилия, чтоб умерить дыхание, не кашлять. Поторопитесь, молодцы! Что такое для опытного металлиста — оторвать от сарая две доски и просверлить жестяные банки с маслом? Ерунда! Он засвистел было тихонько «Красного моряка», но сейчас же перестал.

Осторожно выглянул за угол: мрак, безлюдье, верхушцы пьянствуют в караулке у главных ворот со своими шляхами из фюзеляжного — слышался там и хриплый голос Анделы, — вряд ли кто из них высушет нос на холод. Однообразное жужжание токарных станков доносится из моторного цеха; жидкий отсвет льется сквозь щель двери в жирную тьму.

Проклятый страх! И откуда только он берется в человеке? Живет в тебе, хотя ты твердо знаешь, что за первым строением сторожит Гонза, а позади него, у заводской стены, возьмется те двое; их совсем не слышно. Только бы им что-нибудь... Опять эти непрошенные мысли. Сам собой ворочаются в мозгу, высасывают все мужество. Глупость! У Милана есть его труба, медная, тяжелая! От этого металлического предмета передается удивительное ощущение отваги. Пока труба у него в руках, с ним ничего не может случиться. Он нащупал ее конец правой ногой, другим концом труба ободряюще холодила ладонь. Надо же за что-нибудь держаться в этом мире. Размахнуться, ударить... Или лучше просвистеть условный знак? А? Сегодня Павел взял «пушку» с собой, но условились стрелять только в крайнем случае. У Павла-то рука не дрогнет, у него железные нервы. И в Войте сомневаться не приходится — твердый парень: единственный рабочий среди нас, его классовое лицо ясно. Красноречие не из сильных его сторон, но если скажет — так в самую точку. Что я знаю о нем? Помирает по летному делу, с персоналом на аэродроме заводит профессиональные споры, а чешские заводские летчики, застрявшие здесь поневоле после бегства остальных за границу, для него — полубоги. «Ты летал когда-нибудь?» — спросил его как-то Бацилла. Войта печально качнул головой и сплюнул. «Летал... с лестницы! Запрещено». У машин горючего всего на десять минут, нашим парням не шибко доверяют. Гляньте, как от ветра трава клонится, вот это скорости!

Подсыпать уголь в сверлильный станок было всего опаснее, головой можно было поплатиться, но Войта уперся и сам проделал операцию. Его ругали. «Чего дуришь, — сказал Гонза, — ты женатик, зачем оставлять молодую вдову!» Целую смену работа над крыльями стояла, несколько сволочей матерились; Войту заставили дать слово, что он не будет такими своевольными действиями ставить под удар весь «Орфей». Но на него можно положиться. Вполне. Даже в случае провала. Он уже начинает разбираться, что к чему, и его мужество обходится без медной трубы. У-у! Никаких иллюзий, никакого классового братанья после войны не будет, мелкие и крупные буржуи уже теперь сбиваются в группки, надеются на Запад и только мечтают, чтоб к нам пришли американцы. «Ошибаетесь, господа паразиты, фабриканты и акционе-

ры, — уже с ненавистью обращается к ним Милан, — придет Сталин и Советы! Пролетариат даст вам по рукам, если вы вздумаете тянуть на попятный». Сгинет старый подлый мир. И потом настанет коммунизм! Милан думал об этом всякий раз, когда у него скребли на сердце кошки, когда он чувствовал себя ничтожным и слабым, и это его выпрямляло. Может, я погибну, да недаром. Кто пал просто так, ни за что ни про что, тот, может быть, храбрец, но кто пал за великое дело, за идею, за человечество, тот герой. Он видел себя с винтовкой в руке, потом — с углем и кистью. Все увидят! И Лекса тоже. Только бы легкие выдержали. Неплохо стоять в бою рядом с таким Войтой. А может, и рядом с Павлом. По разговорам судя, он как будто в порядке, хоть и нету в нем той естественности, с какой принимает вещи Войта. Что ж, сын ремесленника, в этом все дело, классовое сознание нетвердое. На мой взгляд, уж больно он трезвый, и мудрит, соглашается только после размышлений, будто решает запутанное уравнение со многими неизвестными, и в этих самых размышлениях, видно, растрчивает настоящий энтузиазм, когда перестаешь думать о своем жалком, незначительном «я» и растворяешься в массе. То, что придет, должно быть не только разумным и логическим выходом, но должно быть как вихрь, как захватывающая поэма!

Милан не удержался — чихнул. Ну вот, начинается. Он не чувствовал ног. Четверть третьего! Не надо думать! «Орфей» — это мы, пятеро. Бациллу, несмотря на его жалобные протесты, оставили в цехе; он подчинился только тогда, когда для него с грехом пополам придумали боевую задачу: явиться и доложить, если кого-нибудь из них хватятся. Чепуха! Кто кого станет искать в этом бардаке после полуночи? Часть рабочих дрыхнет, остальные работают налево, режутся в карты либо притворяются, что заняты делом. Но Павел горячо настаивал, чтоб толстяка не обижали недоверием, для которого нет оснований. Для Павла нет! Впрочем, Бацилла действительно за все так и хватается, прикидывается лихим парнем, а когда деньги нужны, тащит из дому. Смехота! Но все равно он псих, и ему, Милану, просто непонятно, зачем он сует нос туда, где ему могут его прищемить, это плохо вяжется с представлением о буржуазном маменькином сынке. После нескольких посещений этого логова богачей, то есть дома Бациллы, подозрительность Милана не притупилась, наоборот — обострилась. Эти ковры, и люстры, и весь этот сволочной комфорт! Папаша адвокат, из тех пиявок, против которых до войны бедный человек был совершенно беззащитен, и пусть Бацилла не божится, что отец таким не был! В последний раз Милан не сдержался, пересолнил маленько. Но он грозил не всерьез, а только хотел проверить толстяка: подумай, искренне ли ты радуешься тому, что будет, Бацилла? Не жди, что социализм остановится перед вашим домом. Доминшко-то, тю-тю, не бывать тебе домовладельцем, еще спасибо скажешь, если рубашку оставят пузо прикрыть. Бацилла, весь красный, божился, что готов от всего отказаться, что плевать ему на имущество и на частную собственность, но черт ли ему поверит!

Это привело к одной из безобразных яростных ссор между Миланом

и Гонзой, который вышел из себя. «А ты не пугайся, Бацилла, он брешет! — сказал Гонза и повернул к Милану побледневшее лицо. — Если ты так это представляешь, то я против! Потому что я против всякого насилия, как бы его ни называли, понятно? И еще вот что: было бы страшно жить в мире, которым завладели такие сумасшедшие фанатики, как ты».

По обыкновению вмешался Павел. Вообще пока речь шла о конкретных делах, они умели кое-как приходиться к согласию, над листовками работали дружно, но при всякой дискуссии ошестинивались друг против друга; на каждом шагу натывались на повод для ссоры. Гонзу, у которого протест против обожествления авторитетов был в крови, благоговейное преклонение Милана перед Сталиным до того возмущало, что он как-то не удержался от едкого замечания: «Ну как, Милан, будем думать или петь хором «Te Deum» * Сталину?» Моментально разразилась перебранка, в которой не скупилась на оскорбления. Слышали, что он сказал? Так может говорить только болван либо троцкист! Троцкист! Об этом слове Гонза имел явно смутное представление, да и сам Милан недалеко от него ушел. «Заразился газетными пакостями!» — крикнул Милан. «Нет! — процедил сквозь зубы Гонза; лицо его перекопилось от обиды. — Но я терпеть не могу идолопоклонства. Ни Архикова, ни твоего! Это относится не к Сталину, а к тебе, Сталина тут все ждут, и я не меньше других, и продажные суки из газет меня не запугают, но ведь он тоже только человек, верно? Меня бесит, что ты говоришь о нем так, словно он господь бог!» Ссору замяли, но всем было ясно, что отношения между двумя этими членами «Орфея» неудержимо ухудшаются.

Самой низкой точки достигли они в один прекрасный вечер, когда Гонза вынул потрепанную брошюрку в красной обложке: Андре Жид. «Возвращение из Советского Союза». «Это ты к чему?» — проворчал Милан. «Как к чему? — так же раздраженно возразил Гонза. — Книжки существуют для того, чтобы их читать, разве не так? Читать можно все, не обязательно же попадать под чужое влияние. Кроме того, Жид не какой-нибудь вульгарный пасквилянт, это крупный писатель, а я не настолько туп, чтобы не интересоваться его взглядами. Читал «Фальшивомонетчика»? Ну и не брешь зря!» Аргумент был убедителен, и Милан не сумел помешать тому, чтобы книжку прочли все по очереди. Она произвела сильное впечатление, увеличив хаос в головах, и без того немалый. Когда снова собрались, ребята, не стесняясь, заговорили о книге. «Гнусность, — лаконично определил Милан и протянул язвительно: — Мелкобуржуазные слюни, хоть и кру-у-пный писатель. С...ть я на нее хотел, так и знайте!» — брякнул он. И выложил на стол другую книгу: «Анти-Жид» Станислава Костки Неймана. Товарищи прочли ее и вздохнули с облегчением. «Ну как?» — спросил Милан, испытующе глядя на них. «Блеск!» — дружно отозвались они — у них будто камень с плеч свалился. «По-моему, точно!» Только Гонза был другого мнения. Ну, конечно, с ненавистью подумал Ми-

* *Te Deum laudamus* — Тебя, бога, хвалим (латин.) — католическая молитва.

лан, едва Гонза открыл рот, господин «Но» послушаем! «Я тоже согласен, — сказал Гонза, — в принципе безусловно, но все-таки... у меня такое чувство, что некоторые факты из Жида Нейман не опровергнул. Может, я ошибаюсь, но хотел бы...» Тут уж Милан не выдержал, вскрипел: «Ладно, раз ты этому веришь, тогда шагай прямо к немцам! Они ведь освобождают мир от жидо-большевизма!» Обвинение было до того предвзятое, что вывело из равновесия даже Павла. «Ты демагог, Милан! Так спорить нельзя». Милан неохотно отступил. Ладно, пускай, но все равно они мелкие буржуа, способные на любое колебание. Если им непрерывно не вправлять мозги...

Демагог, назвали его. Но еще хуже было, когда скверный случай дал в руки Гонзе сомнительный козырь. Как-то раз, когда они шепотом спорили на квартире у Милана, из соседней комнаты вышел Лекса. Его заметили, когда он стоял уже у них за спиной, и сразу замолчали под его насмешливым взглядом. Он ухмыльнулся и с обычным пренебрежением к ним бросил: «Не смущайтесь, детки, валяйте! Выговаривайтесь, пока можно. А то, когда Сталин на самом деле сюда доберется, не до того вам будет. Вкалывай, не то тюрьма. Ге-пе-у. Он вам покажет свободу, насидитесь за колючей проволокой!» Захохотал и скрылся в соседней комнате, оставив всех в тупом изумлении. Что он сказал? Вы слышали? Кто он такой, собственно говоря? Все растерянно посмотрели на уничтоженного Милана: эти несколько слов, казалось, dokonали его. «Это ничего, ребята, — прошептал он не сразу, некрасиво морща лицо и не зная, куда девать руки. — Я Лексу очень уважаю... Он добрый и художник талантливый... хотя в этом и ошибается. Я с ним не согласен! Не со-гла-сен!» Выглядел он так, будто сейчас заплачет. «Ну ладно, — сказал Гонза. — Мы тоже не согласны. Но я этого от него не ожидал. Задавала! Предлагаю сюда больше не ходить, ребята!» Против этого никто не возразил, и они ушли со смятением в душе.

...Половина третьего! Милан закашлялся, сердито сплюнул; в темноте он чувствует себя потерянным и бессильным. «Э-э, брат, — заговорил в нем другой Милан, — отчего бы тебе правду не сказать». Он попробовал заглушить этот голос, но голос был до отвращения упрямым. «Познай себя, милый! Проверь себя хоть перед самим собой! Боишься? Эх ты, революционер!» — «Я? Ни чуточки!» — «Тогда начинай. Все проповедуешь, а сам в своем плаще и шляпе — шут, смешная марионетка, в фюзеляжном едва ли кто принимает тебя всерьез. Даже рабочие! Вот ты теперь среди них, они будущие хозяева мира! И что? Признавайся, ты представлял их себе иначе, пока с ними не жил». — «Может быть. Но как?» — «Немножко более героичными и романтичными: Чапаев, Максим, Павел Власов! По книгам, по фильмам... Эти тебя малость разочаровали, а? Революционный класс! Они кажутся тебе слишком уж обыкновенными, есть среди них хлопотливые папаша и добычливые мужья, владельцы домиков с садиками. Гияи — страстный голубятник. Падевет — левый полусредний, есть среди них и халтурщики, и добряки, и мерзавцы, все они друг на друга не похожи, любят говорить о футболе, а совсем не о революции». — «Может быть, но что я знаю?» — «Погоди... А когда ты с кем-нибудь из них про-

бывал заводить разговор о том, что будет, и открыто выкладывал свое мировоззрение, что получалось? Ужас! Они будто не слушали. Недоверчивые, хмурые взгляды. Ты что, спятил, молодой? — скажут с недоумением, и точка. А этот Шейна — «Араб» его называют — малый как кремь, этот больше других отвечал твоим представлениям о революционере, — помнишь, как он тебя отделал, когда ты к нему пристал? «Чего мелешь, балда? — грубо оборвал он тебя в полумраке уборной. — Видали, как работать, так он левша, а языком трепать горазд не хуже попа, знаем таких!»

Было это? Было, честно признался себе Милаи, ну и ладно, что я за фигура. Все равно они рабочие, и это сидит в них, пускай даже они и говорят о чем-то другом, пускай... «Да, но то, что они тебя в свою среду не пустили и видят в тебе шута горохового, и подозрительного болтуна, и нескладеху, — все это кажется тебе обидной до слез несправедливостью. «Это недоразумение, товарищи рабочие! — хочешь крикнуть им. — Ведь я ваш!» — «Слушай, заткни пасть, — пренебрежительно сплевывает лохматый Маречек, — и сыпь с заклепками в термичку, стахановец!» Просто с ума сойти, ты не познал их, а они тебя не узнали, так оно и есть, сознайся! Вот так же и с бабами». — «Это почему же? — вяло возмутился он. — С ними я вообще не вожусь...» — «Факт, не возишься, а кан тебе обидно-то, что ни одна на тебя и глядеть не хочет. Ты в зеркало посмотришь! Глаза выпучены, нос кверху задран, зубы что ноты для барабана! Ну какая польстится?» — «А я о том не тужу, ежели хочешь знаты!» — «Не ври! Не бреши! Признай попросту, тоскливо тебе становится, и чувствуюешь ты себя бездомным псом, когда у Лексы в гостях женщина, а ты слоняйся по мокрым улицам, стучи зубами! Ну да, но... Погоди... а может, если б нашлась такая, погладила бы твои рыжие патлы, ты бы заскулил от счастья и руку ей лизал бы, как щенок». — «Нет, это неправда, человек, который решил...» — «Да что ты знаешь о любви? Несколько жалких встреч с той потаскухой с галереи — это было слишком омерзительно. Она сама тебя пожалела, слопала твою любопытствующую невинность, как ягоду: «А у тебя забавный паяльник, мальчишечка!» Помнишь? Нет! Тебя чуть не вырвало, ты ревел, руки на себя хотел наложить. Поэтому и убежал от папаша к Лексе». — «Нет, я убежал из принципа, потому что папаша бездельник, выпивоха и паразит и кормится людской дурью. Таких революция должна вымести». — «Когда-то и он был рабочим, — что, если таким его сделали нужда, безработица — почему ты знаешь?» — «Э, тогда многие рабочие голодали, но никто из-за этого не стал предсказателем. Это уж у папаша в натуре, ты его не выгораживай. Любит себя, только о себе думает. Чем было мое детство? Вонючие трактиры, пьяницы, пятикронные денки, драки. Лекса таскал ящик с рыбешками и маринованным луком, меня заставлял петь: «Бе-елая акация», — а папаша подыгрывал на гармошке. Никогда ему не прощу, что он, вместо того чтоб бороться, бунтовать, растягивал мехи гармошки да вино хлестал. И не прощу, что он сжил со свету маму и привел эту шлюху... Мне за него всегда стыдно. Карма! Предсказатель Карма! Карма предсказывает от двух до трех!

Дешево! Надежно! Секретно! Фу! Выманивал деньги у доверчивых служаночек, которым милый изменил, у суеверных старух, у всех этих бедняг, а теперь, может, у него ищут утешения коллаборационисты и буржуи, которые дрожат за свою шкуру или за гроши. В школе ребята меня иначе как Кармой не называли. «Эй, Карма, — говорят, — твой папочка сегодня предсказал, как вчера «Славия» играла». И мне приходилось с этим мириться, потому что на меня собирали деньги, когда класс ездил на экскурсию. Хватит об этом — теперь я совсем другой: у меня есть мировоззрение. Я знаю, чего хочу». — «И это все?» — «Все. Этого довольно. Потом будет все иначе». — «Ладно, но теперь-то ты просто прозябаешь и тебе скверно, признайся! У тебя только все человечество, а ни одного близкого человека». — «Что ж? Это, между прочим, самое большое!» — «Не обольщайся! Ты только выдумываешь, будто потрясешь весь мир, какие картины напишешь, а на деле ты просто мазилка, понаслушался да понахватался от Лексы, и не больше. Брр! А все великое и прекрасное ты поневоле передвинул на будущее, потому что сейчас-то у тебя нет ничего, ровным счетом ничего! И кто знает, дождешься ли ты чего-нибудь в этом светлом будущем!»

Милан топтался на месте, тело у него одеревенело, он кашлял, из глаз текли слезы. «Одна только зависть, — продолжал внутренний голос, — вот что у тебя есть! Ведь завидуешь ему, признайся!» — «Кому?» — «Не прикидывайся, знаешь кому! Отсюда и это предубеждение». — «Нет, нет, неправда!.. Во всяком случае, не совсем правда. И чему мне завидовать? Этому бедламу в башке?..» — «Нет. Ты завидуешь ему за нее. У них любовь, а ты только следишь за ней, как паук, только рисуешь ее до одури в своем блокноте и гонишь из головы». — «Я запретил себе думать о ней». — «Да ничего не выходит, видать? Вот по ночам...» — «Замолчи! Замолчи, черт побери! И вообще — разве важно, что я чувствую? Я отдал свой билет революции, так я прочитал где-то, и если понадобится, отдам жизнь за ее победу. Моя жизнь мне не принадлежит!» — «А не хвастаешь?» — «Не хвастаю. А что?» — «А то, что вдруг наложишь в штаны, когда до дела дойдет. В тебе это есть, признайся как большевик! Страх! Такой слепой, животный страх, где-то во внутренностях. Неистребимый. Может, на Гонзу-то скорей можно положиться, вспомни, как получилось, когда выкрадывали фотобумагу». — «А что? Хорошо получилось». — «Да, но заслуга-то не твоя. Ты караулил в углу коридора, возле конструкторского бюро, а когда вдруг появился веркшущ, ты вместо того, чтобы предупредить ребят или отважиться на какое-то действие, чуть со страха не помер... Все в тебе ходуном заходило, и ты сжался в своем углу в комок, и глаза закрыл». — «Я не знаю, что тогда со мной сделалось...» — «И труба тебе не помогла, баба суеверная! Ты держал ее, как морковку. У Гонзы оказалось больше хладнокровия. А кто свалил этого веркшуща? Павел. И Войта. И без всякой трубы... А тебя при этом не было, ты смылся и вернулся, когда все было кончено, да еще с дурацкой паршивой отговоркой. А они? Они, наверное, ничего этого не заметили. Так они перепугались, ведь они совсем обыкновенные ребята, не какие-нибудь Аль

Капоне. Бацилла чуть не помер, Гонзу стошнило... «Ребята, — лепечет, — я, наверное, не могу... убить человека... А что... если он загнется?» Павел даже в темноте был белый как мел, только носом потягивал, бумага из рук посыпалась, а заговорил — вроде всхлипывает. «Я тоже не могу... не надо... Если б кто другой подвернулся, а не эта скотина, было б еще хуже... Когда война кончится, ребята, я никого не ударю, честное слово...» И Войта был сам не свой, хоть и промолчал. И все-таки... в решительный момент все они хоть недолго, но держались как надо... Только ты, ты один подвел, обманул их и даже не нашел мужества в этом признаться, сказать им, что с тобой случилось. Таскать книжки у Бациллы — это ты можешь, а когда дело до головы дошло — не хватило нервов». — «Не знаю, что это такое, я не могу преодолеть... Какой-то странный холод в животе, понимаешь, вроде студень, и...» — «Но скажи-ка, за что ты, собственно, дрожишь? За свою жалкую жизнь, за эту безобразную рожу и разрушенные легкие, за твое никому не интересное «я», которое ты сам презираешь? Как все это согласуется с твоим мировоззрением, позер? Всегда так выходит, и сейчас ты будто из творога. Творожный революционер! Просто хоть плачь со злости. Ты должен им сказать, а то когда-нибудь подведешь их под монастырь! И чем дальше, тем хуже, человек имеет право трепаться и хвастаться только после того, как испытает себя, увидит, что он не старая просвирия, — не раньше! А они? Догадываются? Поверили тебе в тот раз, когда ты караулил в коридоре? Кажется, поверили... Может, Гонза и догадывается, — помнишь, что он сказал раз, когда ты расхвастался: «Смотри не завизжи от страха поросенком». Лекса это за тобой знает, потому и презирает тебя. Брехун, позер, мазилка! Помнишь ту ночь, когда ты опозорился? Убедил себя, что преодолел это, что тогда это была случайность, а теперь опять — бац! Ты обязан сказать им, сумей хоть это!» — «Погоди, еще раз постараюсь преодолеть. Но как? Может, это сидит где-нибудь в подсознании. У Лексы есть дома полный Фрейд, я его еще раз перелистаю, нет ли там о страхе, как лечить страх с помощью психоанализа, наверное, это можно. Открыть в себе причины, может, они застряли в каком-нибудь забытом впечатлении детства, какой-нибудь шок, нервная травма, надо это выдрать из себя, клянусь, я сумею, или сам на себя все скажу и пойду в обыватели, черт побери меня совсем!»

Трах! Взрыв потряс воздух, отдаленный, будто на другом конце заводской территории. Милан сперва не поверил своим ушам — это мне чудится, потому что я трус! — но последовало еще два раската, которые покончили с его сомнениями.

Странная, нелогичная тишина первого испуга. Завод упал в эту тишину, словно взрывы его не касаются, двор все еще был пуст... Милан схватил свою трубу, мозг подавал противоречивые повеления, а ноги не двигались.

Мимо промчалась чья-то тень, под ногами дребезжали обрезки жести. За ней — другая.

— Сматывайся, — узнал он голос Павла. — Что-то случилось... Все врозь! Сбор в пужнике!

— Чистая работа, — заметил Гонза, когда они встретились в следующую ночь.

В отхожем месте было пусто, но они все равно разговаривали уголками губ. Павел кивнул; лоб его прорезала вертикальная морщинка.

— Большинство ребят с дневной смены там вкалывали. Подъездные пути вышли из строя по меньшей мере на неделю, рельсы перекрутило, два вагона с металлом вдрызг и цистерна. Эх, жаль, пустая...

— Значит, мы не одни, — сказал Гонза.

— Давно ясно, — пробормотал Павел. — Они-то свое дело знают. Похоже на динамит, но не обязательно. Тсс... А мы возмемся с дурацкими бочками... Посадили несколько человек из моторного, да вроде не тех...

После взрыва завод стал похож на развороченный муравейник, но суетились только служащие заводоуправления и охрана: рабочие оставались спокойны, в глазах у одних можно было прочесть опасение, у других — ехидную насмешку. Взрыв грянул в самый разгар верхшущевской пирушки, развеселившихся шлюх успели спровадить, прежде чем на завод примчался Каутце со своими прихвостнями. От ступеней было видно, как они бегут по цехам. «Работайте, — сипел Даламанек, — все на своих местах! Уже прикатили из уголовной полиции и из Печкарны* приехали! Сейчас они в живодерке. Проверка и обыски...» Даламанек сидел за своим столиком и трясся от страха. Вот... вот они! Он увидел их сквозь половинки стекол — свора загонщиков в плащах и шляпах с опущенными полями, среди них с видом удрученного хозяина шел Каутце, и рядом с ним немец, директор завода, худой, в элегантном костюме, со значком на лацкане. Даже его разбудили! А за ними поспешали несколько ошалелых верхшущев. Даламанек потупился, стараясь уменьшиться, стать невидимым; топот сапог он улавливал сквозь треск пневматических молотков. Отлично, ребята стараются или хоть делают вид. Грохот как на фронте. Гиммлер и то порадовался бы... Прощли, не обратив на него внимания, цоканье подкованных сапог потерялось где-то в темноте малярки. Даламанек отер лоб платком, но он знал, что этим дело не кончится. Пойдут аресты, и, если схватят кого с участка...

— Куда? — взвизгнул он, вскочив на ноги. — Подвести меня хочешь, скотина?

Гонза с недоумевающим видом вынул руки из карманов.

— Что ж мне из-за них — в штаны наделать?

На это ничего нельзя было возразить. Даламанек только очумело махнул рукой.

— Смотри вернись, да побыстрее, лодырь!

Только б успеть! Гонза с ужасом вспомнил, что забыл листовку в кармане пальто, в шкафчике, и ринулся вниз по лестнице в раздевалку. Двери! Дверь отперта, в раздевалке — никого, он нашел листовку, разорвал ее в мелкие клочки и кинул в желоб под умывальниками.

Где Бланка? Вернувшись в гудящий цех, он не увидел ее. Жаба

* Так называли дворец Печка, где обосновалось пражское гестапо.

крутился вокруг ее стапеля, принохиваясь, как злой бульдог. К счастью, Гонза знал, где ее искать. Он прошмыгнул между крыльями в темную малярку, через которую за минуту перед тем прошли они, взобрался по железной лесенке на крышу будки и нащупал под мешками женскую ногу. Вланка проснулась со сдавленным вскриком, но сейчас же узнала его. «Тсс, беги на место... Что-то стряслось. В случае чего говори Жабе, что была в уборной».

Между стапелями Гонза натолкнулся на Войту с Павлом, они перемигнулись, что означало: все в порядке! Сверло? Концы в воду! Он увидел Милана — тот невозмутимо брел в термичку с тиглем в одной руке и неизменной трубой — в другой.

Когда процессия пронеслась по фюзеляжному обратно, Вланка уже была на месте, в своем платочке, и с обиженным видом объясняла что-то Жабе. Порядок. Гонза искоса следил за физиономиями, проплывавшими мимо стапелей. Они внушали страх, не смотря лучше, еще привлечет твоя вывеска кого-нибудь из них... Скрылись во тьме, теперь, наверное, засядут в живодерке и оттуда поведут атаку на завод. В фюзеляжном остались одни верхшущи, они шныряли по участкам, мрачно-неприступные, кидали на рабочих мстительные взгляды. Сволочь неблагодарная, грозили они невидимым злоумышленникам, коли втянете нас в историю, в ад пойдете первыми! От нас пощады не ждите!

Верхшущи облазили темные углы, и вскоре можно было видеть, как они гонят перед собой несколько человек, обалдевших от внезапного пробуждения. Был тут и Густик, которого выволокли из его любимого логова — фюзеляжа истребителя. «Малявка» ругался и нахально замедлил шаги, но мастерски нацеленный пинок вышиб из него лишнюю отвагу.

Архик при виде этого посерел в лице и перекрестился.

Кто следующий, пожалуйста бритесь! Верхшущи вытаскивали спящих из-под станков в темных углах фюзеляжного, из ящичков в малярке, из конторских помещений и уборных. Они рычали от бешенства. Несколько девушек из «Девина» с опухшими от сна лицами пошатывались от их толчков; они шли, опустив головы, словно подымались по лестнице к позорному столбу, и плакали от стыда и страха. Среди них была неразлучная пара: Еничек с Марженкой. Взавшись за руки, они шли рядом, как лунатики. При взгляде на этих некрасивых влюбленных у многих сжималось сердце. Женские слезы раздражили нескольких парней, они бросились на верхшущев безоружные, среди них был бледный Павел, завязалась ссора, все махали руками, но крики потерялись в грохоте молотков. Плетью обуха не перешибешь! Отступление!

— Что им сделают? — спросил взволнованный Гонза у Мелихара.

— Ничего. — Мелихар швырнул молоток в ящик, лохматые брови его поднялись над красными глазками. — Оштрафуют для острастки. С этими выгодней покончить счеты на месте. Не станут же они хвастать перед гестаповцами, как тут сладко спится.

— Что, собственно, произошло?

— А я знаю? Спроси тех, которые взорвали, черт побери! Например, у этих, с сапожным кремом.

Гонза глотнул пересошим горлом, но сделал вид, что не понял.

— Что же будет дальше?

Мелихар махнул своей лапицей и фыркнул.

— А что? Нас не касается. Наша хата с краю. Черт подери, столовку закрыли! А пить жутко хочется.

Это холодное безразличие взбесило Гонзу. Видел бы ты, как это меня коснулось, будь у нас взрывчатка, эх, ты, обыватель в рабочей одежке! Левачок! Тебе бы только гроши, а больше ничего!

Под утро была объявлена перекличка, все должны были выстроиться вдоль прохода с личными карточками в руке, выкрикнуть свое имя и показать карточку. В этой церемонии принял участие Каутце, и казалось, он с трудом удерживается от желания пустить в ход кулаки. Несколько карточек осталось на полках у контрольных часов — их владельцы, ни о чем не подозревая, смотались домой. Их ждало совсем не радостное пробуждение.

Готово! Каутце, расставив ноги и засунув большие пальцы за пояс, обратился к рабочим с одной из своих коротких, но резких речей. «Работшней!» — сурово начал он и залпом выдал множество угроз, склоняя во всех падежах слово «саботаж». Потом он сказал о мирном труде, которым они обязаны доблестному героизму немецких солдат... Это растрогало его самого, но потом он опустил до грубой брани. Судетский немец, он сносно говорил по-чешски, но, раз уж перешел на «неполноценный» язык, то выскивал самые грубые выражения. Грязных свиней вытащат на свет божий и растопчут, будьте покойны! В интересах собственных семей не поддавайтесь провокации и докажите своей работой...

При виде безучастных физиономий рабочих у него затылок налился кровью. Он повернулся на каблуках и удалился, подобный оскорбленному божеству.

Вскоре после его ухода начались аресты и допросы, крики и избивания в деревянных бараках живодерки продолжались в течение всей дневной смены. На заводе воцарился ужас, панические слухи переходили из уст в уста, но аресты были беспорядочны, производились наугад, и уже одно это показывало, что виновников не удалось нащупать. Видимо, задача состояла в том, чтобы создать на заводе атмосферу страшного суда, чему должны были содействовать и нацистские марши, гремевшие из громкоговорителей весь следующий день. После полудня полил бесконечный осенний дождь, большую часть тотальников погнали на подъездные пути, чтобы они, разбирая обломки, своими глазами убедились в размерах нанесенного ущерба и рассказали другим. Последовало несколько путаных, противоречивых приказаний, заводоуправление явно не нашло общего языка с гестапо и старалось поскорей восстановить пути, в то время как честь мундира гестапо требовала разыскать злоумышленников. Только к началу ночной смены наступило некоторое успокоение, машины уголовной полиции и гестапо с ревом выскочили из главных ворот, и большая часть арестованных вернулась из

живодерки; они были бледны, угрюмо молчали, к ним подходили с бережливой осторожностью, как к живым покойникам. Не было сомненья, что самоуверенное спокойствие гестапо только притворство и что шпики получили особые инструкции.

— Вот эта овчинка уже стоила выделки, — сказал Гонза Павлу, вспомнив их недавний разговор. — Ты был не совсем прав, будто у нас никто ничего не делает.

Павел повернулся, лицо его закрыла тень.

— Но сколько здесь таких?

— Не все ли равно?

— Нет! Представь себе, если б за дело взялись все! Как в Словакии*. В целом протекторате!

— Ну и получилась бы бойня первый сорт.

— А если нет? Я вчера слушал Лондон. Немцы убралась из Львова... Надо делать все, чтоб как можно скорей покончить с немцами...

Старая песня. Гонза уже знал все доводы, подсказанные нетерпением Павла, но все-таки оно казалось ему преувеличенным.

— А вдруг еще не пришло время? Ты хочешь рисковать? Я — нет. Играть чужими жизнями...

— Отговорки! — тонкие пальцы печально и нерешительно погладили трубы калорифера. — Когда придет время, тогда и действуй... Я будто слышу отца, я люблю его, но это его мысли... Люди как-то научились думать только о себе. Я говорю не о тех, кто набивает себе карманы при помощи спекуляции, и не о тех, кто ругается, что этот взрыв влетит им в копеечку, потому что теперь ухнули премии. Есть здесь и такие. Добрые папаши! И не о тех, которые уехали в рейх по путевке Гейдриха. Их не так много. Я имею в виду порядочных... Остров мира в сердце пылающей Европы! Ждать, не лезть на рожон... Вот в чем самая зараза, гниль протекторатская... Что будет с этими людьми потом? Я, например, не могу себе представить, как бы это я родился в другой стране, и я совсем не герой, но это меня терзает. В тридцать восьмом я был сопляк, но кое-что помню! Тогда ведь хотели воевать, помнишь ту мобилизацию?

Помнишь? Дед вслушивается, прижав ухо к радиоприемнику, потом начинает шагать, выпрямившись по-военному, на своих натруженных ногах почтальона, от дивана к плите. Убегает из дому к своим старикам легионерам и возвращается помолодевший, распаленный, как утюг... А нынче собирает корки, и в ушах у него звенят дверные звонки...

— Мне кажется, с тех пор прошло сто лет.

— Мне тоже. А почему? Из нашего дома были призваны несколько человек. Мы, мальчишки, ночью помогали нести чемоданчики. Это была для нас честь — нести чемоданчик героя... Помню Беднаржа, трамвайщика, славный мужик, жена его тогда кормила грудью, так она чуть глаза не выплакала. Все ее утешали. «Ребята, — сказал он нам перед домом, — марш в постели, мы только съездим пустим кровь ефрейто-

* В августе 1944 года в Словакии вспыхнуло национальное восстание.

ру с усами...» А когда он вернулся с границы, его будто подменили, все молчал, и было видно, мучается. «Все продали, сволочи, жулики! — говорил он отцу. — Мы-то хотели драться». Он чуть не ревел от злости, и словно в нем тогда что-то сломалось. А то, что пришло потом, и вовсе его доконало. Теперь сидит за спекуляцию, совсем другой человек. Может, образумился и даже рад в душе, что тогда не пришлось воевать. Да и зачем — мог ведь пасть смертью храбрых. Поумнел, герой. Должно быть, навсегда...

— Это, конечно, его дело, Беднаржа твоего...

— Он не один, не думай. Трудно поверить, чтобы наш народ когда-то стоял против Европы... Сколько людей утешает себя мыслью, что все обойдется мирно, что здесь не будет военных действий, что бомбы на нас не бросят, по крайней мере на их хату... А просто вывесят флаги и пойдут приветствовать освободителей. Как в восемнадцатом. Спасибо, мол, освободители, а мы вас ждали да делали против вас пушки с самолетами. Думай что хочешь, а мне гнусны все взрослые за малыши исключениями! При них это все заваривалось, а теперь они вон какие умные!

Волнение освещало его лицо изнутри. Может быть, подумал Гонза, после войны нам с ним не о чем будет говорить и мы разойдемся в разные стороны, но сейчас это правильный парень. Товарищ в невзгодах и ненастье... Да. Где настоящие слова, такие, чтоб не пахли грошовым утешением и бессильным сочувствием, унижительным для человека? Как они звучали? Говори, ты захлебываешься ими, и я тебя понимаю. После войны — вот чем живет Павел. Как будет после войны? Откроются тюрьмы и концлагеря, и поток живых принесет и ее. А если не принесет? Если она давно уже где-нибудь сгнила? Какие у нее были шансы? Какие вообще были шансы пронести через этот смертоносный, сумасшедший дом нечто столь безмерно тяжелое, как голая жизнь? Если холодно взвесить — ничтожнейшие. Пожалуй, никаких. Молчи, есть что-то невероятно заразительное в его вере, в его безумии, я начинаю его понимать. Стоит мне заменить это незнакомое лицо тем, которое я могу целовать в губы, которое могу трогать, и я чуть не кричу от страха. И если б мне не было стыдно, я бы сказал тебе, что тоже ее жду. Павел, если она вернется, это будет один из самых чудных дней и в моей жизни, и я поверю, что жизнь не одно дуновение слепой случайности. А Душан болтает зря, он ошибается. Что будет с Павлом, если она не вернется? Он будет по-прежнему ждать, ждать, может быть, искать ее, обыщет все темные углы Европы, все тюрьмы, и лагеря, и кладбища, и будет спрашивать всех, кто там был, спрашивать как безумный, не видали ли черноволосую девушку. Такой-то рост, звали так-то...

От запаха аммиака и хлорки щипало глаза, в тишине плескалась вода. Гонза встряхнулся.

— Придется, пожалуй, на несколько дней прекратить все. Они совсем взбесились. Как ты думаешь?

— Пожалуй, — Павел протер глаза с таким видом, словно вернулся откуда-то издалека. — Все равно дурака валяем.

Он не прав, — подумал Гонза. — Я не питаю особых иллюзий, но разве не удалось нам кое-что сделать? Не только бумага. Не только угольки в сверлильных станках. А вагон угля у котельной? Ночью высадили дверь, и, прежде чем верхушцы хватились утром, люди почти все растаскали в сумках. Мы спорим, но делаем дело. Другой раз, конечно, и глупости... Зачем, к примеру, после каждой операции выводить мелом: «Орфей»? Романтическая чушь, вычитанная в детективных романах. Такое ребячество могло кончиться плохо: едва-едва не поймали Войту. Первым взбунтовался Павел. Мы что — заслуживаем себе популярность или диплом, когда все это кончится? И он убедил всех. Больше того, он выдвинул странное предложение: пусть «Орфей» останется анонимным и после войны. Но почему? «Послушайте, — сказал он, — уже теперь пропасть обывателей, а есть среди них и клобки, заготавливают для себя военные заслуги. Или алиби. Я это знаю. Вот увидите, что будет! Кто только, оказывается, не участвовал в Сопротивлении! Не было и не будет в природе стольких актов саботажа, сколько найдется на них очевидцев, а то и удостоверений с печатью. Мы ведь действуем не ради этого? Ясно, нет. Так пускай же «Орфей» исчезнет в первый день после войны!» Они торжественно обещали поступить так, и это решение породило замечательное чувство. Пока все шло хорошо, — тьфу, тьфу, тьфу, не сглазят! — и, хоть внешний эффект отсутствовал, они были убеждены, что листовки, подписанные необычным именем, все же хоть немного да прижились. Каморка Павла превратилась в примитивную лабораторию, листовки выпускались на заводской фотобумаге марки «Агфа»; на ней можно было рисовать буквы, карикатуры на Гитлера или Каутце, что с переменным успехом выполнял Милан, обозначать на схемах фронтов наступление армий по сводкам Москвы и Лондона, предостерегать от мерзавцев на заводе, жестоко высмеивать их и сулить им виселицу. Мало-помалу текст утратил свой лозунговый характер, и распространение наладилось, хотя никогда нельзя было исключить возможность, что кто-нибудь из них и был случайно замечен за этим делом. «А если нам пустить в ход анекдоты? — спросил как-то раз Гонза. — Только новенькие! Слыхали о Гитлере и черепахе?» Они не слыхали, посмеялись, согласились. Через два дня Леош рассказал этот анекдот Павлу, а Гонза услышал его из других уст и наградил ничего не подозревающего рассказчика двойной порцией смеха: наглядное доказательство, что анекдот из листовки пошел гулять по заводу. Только бы не превратиться в юмористический листок, заметил Милан. Решили помещать по одному в каждой новой листовке при условии, чтоб он не был с бордой. По этому случаю надо выпить, торжественно объявил Бацилла, вытаскивая очередную бутылку с зеленоватой отравой. Только смотри не скопыться опять, клецка! Встречи незаметно теряли угрюмую официальность; иногда, раньше покончив с делами, они просто болтали обо всем на свете, или Гонза, вынуд обтрепанные карты, затевал с Войтой и Павлом марьяжик; Милан валялся на кушетке, а Бацилла только наблюдал за игрой. Сиди и не дыши, когда играют взрослые! В чем дело, Милан? Решаешь вопрос, не контрреволюция ли картишки?

Странно было, что живодерка делает вид, будто ничего не знает, не обращает внимания ни на листовки, ни на «Орфея». «Нет, заблуждайтесь, — твердил Милан с видом опытного человека, — спорю на что хотите, что каждая листовка на другой же день лежит у Каутце на столе, и он бесится. Это хитрость, он ждет нашего промаха! Сколько групп провалилось из-за легкомыслия!»

— Что ты хочешь делать еще?

Павел пожал плечами.

— Одни мы ничего не можем. Бумага скоро кончится...

— Мне ничего не приходит в голову. Голыми руками...

— Есть одна возможность. Надо ее обмозговать.

— Какая именно?

— Установить связь с ними, — промолвил спокойно Павел.

— С кем?

— С теми, кто вчера устроил взрыв. Или с другими, это все равно.

Только сейчас Гонза почувствовал, что совсем отсидел зад на ребрах калорифера, и приподнялся.

— Как ты это сделаешь? — Мысль взволновала его своей простотой и неосуществимостью. — Что ж, нам ходить от человека к человеку и спрашивать?..

— Нет. Я сам еще не знаю. Но мы должны суметь, листовками многого не добьешься... А у них есть возможности, может быть, есть оружие...

— Рабочие нам не очень-то доверяют, в этом я убедился на собственной шкуре. Мы для них сволочь, сброд...

У Павла на скулах выступили желваки, это ему шло.

— Значит, мы должны доказать им, что на нас можно положиться.

— Но ведь они нас не знают. Для них «Орфей» только название.

— Значит, надо придумать способ, как дать им знать о себе.

Бац! Как просто он это сказал! Гонза только покачал головой.

— Ты уверен, что не сбрендил?

— Да вроде нет.

— Гм... послушай: я, конечно, не герой и знаю это довольно точно. Если меня схватят и станут избивать, я, может быть, сумею не раскрыть рта, по крайней мере надеюсь, но к чему у меня начисто нет таланта — и это наверняка, — так это к самоубийству. Несмотря на все, во что я добровольно впутался, я страшно хочу жить. Это плохо?

— Пожалуй, нет. Я тоже хочу.

— А тут так и пахнет самоубийством. Абсолютное безумие.

Павел поднял на него измученные глаза:

— Ты уверен, что то, как мы живем, не безумие?

Гонза не успел ответить: кто-то пинком ноги открыл дверь, заставив их замолчать. Пепек Ржигал! Он еще с порога заметил Павла и чуть-чуть нахмурился, по все-таки вальяжно подошел к ним, вынимая на ходу портсигар, набитый «викторками».

— Помешал, что ли?

Пепек помочился, потом предложил им сигареты. Павел с гордым пренебрежением отказался.

— Черт возьми, от вашего курева вонь одна, — сказал Пепек, разгоняя рукой облако зловонного дыма. — Говорят, курево и колбасу больше выдавать не будут. Будто бы Каутце запретил все из-за этого саботажа, мол, пока не найдут виновных. И еще в приказе есть чего-то о штрафах. С правого и виноватого. Я-то с какой стати страдаю?

— Факт. Ты вне подозрений.

— Ясное дело. Динамит не в моем ассортименте.

Пепек постукивал носком башмака по радиатору, и дым, который он, смакуя, выпускал через округленные губы, извивался по его щучьему лицу.

— Я на политику чхать хотел. Причем с высокого дерева! — прибавил он.

— Говорят, у тебя были неприятности? — без всякого интереса спросил Гонза.

— Ничего, порядок.

Был слух, что после того, как в централке у него признали ревматизм, контролер из больничной кассы не нашел его вечером дома; отравили раба божьего к немецкому врачу, и там все рухнуло.

— Балда, — сказал Гонза, — надо было торчать дома даковылять с палкой.

— Ха-ха! Думаешь, я пошел на такой риск, чтоб валяться дома в постели? Хотите сигаретки? Австрийские, первый сорт. По сотняге за десять штук, как честный человек. Или две банки эрзац-меда. Этот немецкий доктор ужасный гад.

— В живодерке как было?

— Да так, — циркнул Пепек слюной сквозь зубы. — Схлопотал по морде от Мертвяка, знаешь этого холуя при Каутце... вылитый покойник в очках. Ничего, запомни! — Он хитро осклабился. — Придется мне с Богоушем потолковать насчет этого самого базального... как его... С ревматизмом я утерся.

Избалованный обильным куревом, он выплюнул порядочный окурок в писсуар у самых ног Павла и пошел вразвалочку к двери.

— А как Геббельс в рай попал, слышали? Во анекдот!

Гонза остановил его, не дав рассказать.

— Эй, иди ты к лешему! Держи язык за зубами, коли хочешь дожить до автоматической кассы!

Если события минувшей ночи не входили в чьи-либо расчеты — и не по принципиальным соображениям, а ввиду возможных последствий, — так это в расчеты Леоша. Он открылся Павлу, когда сидел с ним во время ночного перерыва в столовке. Кнедлик с повидлом противно приставал к небу, он с усилием старался проглотить его и, наконец, отдал тарелку Милану, который ждал за соседним столом. Леош отшвырнул ложку.

— Свиństwo! В глотку не лезет... Если после вчерашнего все не перероют, тогда, значит, я ничего не понимаю.

Он схватил себя за свою маленькую птичью голову, плаксиво засмеялся.

— Что-то не хочется мне при сем присутствовать! Если тебе нужна лампочка, приходи сейчас! Теперь уж наплевать... Все равно не хватает нескольких тысяч. Господи Иисусе!

Может, их всех сразу повесят на фонарях в главном проходе между цехами. Так, сволочи, ну-ка высуньте язык. А что, если устроить пожар? Да разве поговоришь по-умному с Канькой, с заведующим этой разворованной лавочки? «Спокойно, мальчишки, — с блаженным всхлипыванием успокаивает он свою команду, — у меня в гороскопе сказано, что я взорвусь под столом, закурив после бутылки спирта сигарету...»

Павел попробовал немного ободрить Леоша.

— У них теперь другие заботы, им не до копанья в вашем хлеву. Но отчаявшийся Леош совсем не слушал, бубнил свое.

— Глаз не сомкну... Лучше бы всего задать стрекача, испариться, зарыться хоть в землю и вылезть, когда все провалится в тартарары. Пока не поздно...

— Что тебе мешает?

— Тебе легко говорить. А куда я денусь? Ты такое местечко знаешь?

Гм. Пожалуй! Пожалуй, в крайнем случае Леоша можно бы спрятать. На одной сходке об этом уже толковали. Например, у Бациллы, потому что поселить его в каморке Павла значило бы парализовать всю работу или втянуть в нее Леоша. И как быть с кормежкой? Самим жрать нечего. Милан был бы против, но если б вопрос шел о жизни, мы бы взяли верх большинством голосов. Ох уж этот Леош! Флегматик, совершенно невосприимчивый к какой бы то ни было мысли, от которой хоть издали пахнет серьезностью, балагур и бабник. Снял у одного рабочего ветхий домишко над песчаным карьером на краю городка — якобы чтоб не ездить далеко — и время от времени устраивает там с некоторыми родственными тотальными душами такие оргии, о которых рассказывают затаив дыхание. А что за беда? Нужно только привыкнуть к чему-нибудь, и через некоторое время перестаешь удивляться и краснеть.

— Целая свалка, милые, — шепчет изумленный Богоуш, который недавно принял приглашение Леоша. — Шесть девушек, шесть парней, что твой бал — *сагре діепи** — игра в фанты, потом гаснет керосиновая лампа и впотьмах играют в «кукареку»...

— А ты? — чуть дыша вкрался Бацилла.

— Я? Ничего, — признался незадачливый развратник.

Он прочел целый том о венерических болезнях с цветными иллюстрациями, и этого было довольно, и потом будто бы он был седьмой. Он сидел в этой топкой тьме, полной непонятных звуков, и самоотверженно заводил граммофон с единственной пластинкой. Кроме отъяв-

* Лови момент (латин.).

ленных потаскушек, он видел там и совершенно порядочных девушек, курочек, как называл их нежно хозяин дома. Имен их он не назвал. Делали то же самое.

Вон они сидят! В сумерках за самым задним столом увидел он Богоуша, увлеченного беседой с Бациллой. Они держались конспираторами, Богоуш задумчиво потягивал себя за бородку. О чем эти двое все время толкуют? Почувствовали друг к другу симпатию, два богатеньких сынка, чем-то друг на друга похожие.

В теплое душное помещение вошел Еничек — половина неразлучной пары заводских влюбленных. Один! Где же Марженка? Необычайное зрелище, никто еще не видел их порознь, кроме как у ступеней, они ведь одно тело и одна душа, живое изваяние близнецов. Уж не заболела ли Марженка после вчерашних ужасов? Нет. Вот она в очереди за супом. Стоит, покорная, сгорбленная, в своих обвисших лохмотьях, с поредевшими волосами, с лицом нищей мадонны — тоже одна! Павел заметил, что глаза ее покраснели от слез. Потом одиноко села за свободный стол и попудрилась над тарелкой, в то время как ее друг нашел себе место в противоположном конце столовки и устремил отсутствующий взгляд в пространство. Каждый сам по себе...

Павел обратил на это обстоятельство внимание Леоша, но тот лишь тоскливо покачал головой.

— Черт их знает... Гавел говорит, будто их вчера накрыли... Понимаешь?.. Фонариком осветили. — Он хохотнул. — Не хотел бы я пережить такое с девушкой, которая мне дорога.

— Разве она такая? — нарочно с сомнением спросил Павел. Обиженный взгляд.

— Чего городишь? Я, слава богу, нормальный. Те пирушки к этому не имеют никакого отношения.

— Может быть. Почему же ты живешь в этой развалюхе, а не дома? — спросил Павел.

Леош явно смутился, заерзал на стуле, отвел глаза.

— Так... Из-за мамы.

— Можешь не говорить, если не хочешь...

— Нет, почему же? — помолчав, промолвил Леош с невеселой улыбкой. — Тут нет ничего. Во всяком случае, ничего особенного. Раньше меня это здорово донимало, я и сбежал, а теперь уж не так. У меня папаша сидит, с сорокового еще, влип в грязную историю, сейчас он в каком-то Маутхаузене, иногда и письма доходят: «Милая Блажа и сынок, я жив и чувствую себя неплохо», — пойми, это на бланке, иначе им писать не разрешают. Когда его зацапали, я думал, мама с ума сойдет, все бегала по судам и вообще...

Птичьё лицо окаменело от воспоминаний.

— Но ведь ты же не из-за этого смотался?

Леош как бы очнулся, поднял светлые брови.

— Не из-за этого. Только... у нее теперь другой. Понимаешь? Отец-то ведь, пожалуй, у каждого — один... А этот к тому же на семь лет моложе, может, он и неплохой человек, но все равно выходит нескладно. Ладно, пускай она с ним... да первый-то жив ведь. И он вернется.

Сперва я скандалил, ревел, ничего не помогло. Мать тоже плакала, говорила — упаду перед папой на колени, когда вернется... Великая любовь... Ну, любовь так любовь, я и смотался, чтоб хоть не видеть этого.

Если б он только не похотывал так идиотски!

— Не можешь ей простить?

— Могу. Но все равно ведь это не поможет. Когда такое с женщиной случается — крышка. Мол, тебе не понять, и сейчас же — что это великая любовь. Мать не плохая, нет, хотя бы потому, что тоже мучается страшно. Молодая еще, тридцать семь, и довольно красивая. За отца вышла замуж в семнадцать. Вот и пойми. Просто не всякая женщина может это выдержать — жить одной и ждать. Сперва она ужасно тосковала, плакали мы с ней вместе, а потом... да вот и пойми... Однако все это отравило для меня ту минуту, которую я ждал с такой радостью, все думал: вот кончится, вернется отец... Не хочу я жить с ними и концу войны уже не так радуюсь. Вот шлепнут нас в этом бардаке...

Гудок возвестил конец перерыва, и Павел встал.

— Я подумаю, куда бы тебе скрыться.

Отсутствующий взгляд заставил его замолчать. Леош покачал головой.

— Э-э, все равно ничего не выйдет, — сказал он, — так что брось...

— Чего дуришь?

— Да так. Еще матери расплачиваться придется, ты пойми, у нее муж в концлагере. И что скажет отец, когда вернется... Чему быть, того не миновать, от судьбы не уйдешь, — прибавил он безнадежно и без всякой охоты сполоснул тоску остатком потеплевшей бурды. Выругался, встряхнулся — и вот уже перед Павлом сидел знакомый Леош. Сагре diem. С пошловато-заговорщическим видом прищурился на девчонку из «Девина» и многозначительно подмигнул Павлу. — Недурна, а? Да я ее тебе не предлагаю, — попятился он, поймав осуждающий взгляд Павла.

Со двора в столовку ворвался веркшук. Это был Заячья Губа. Его свирепый взгляд поднял засидевшихся.

— ...Ты уверен, что тут нет риска? — спрашивает бог весть в который раз Богоуш. Он задумчиво тербит свою бородку, словно ища в ее мягких волосах решимость.

— Железно! — клялся Бацилла. — Они там под наблюдением полиции, говорю тебе, официально разрешено! А то я бы сам не пошел!

— Гм...

Богоуш все еще колебался; приключение, которое ему предлагали, притягивало его и отпугивало. К заманчивым картинам Великого Познания, сулившего великолепное завершение процесса возмужания, совсем некстати примешивались цветные иллюстрации из отцовской книги о венерических болезнях.

— А как это называется? — отдалял он еще свое окончательное «да».

Гм... Название в самом деле напоминало что-то гигиенически неж-

ное, и легальность мероприятия с таким названием внушала чувство безопасности.

— Ежедневный врачебный осмотр, — последним ударом вогнал гвоздь соблазнитель Вацилла.

— Но, понимаешь... — возразил на этот раз вяло Богоуш, чувствуя, что где-то в нем уже состоялось решение, — пять сотен — немалые деньги, коту под хвост.

— Да ты пойми: ведь там страшно благородно. Я знаю, что кого ни попало, первого встречного туда не пустят. Ну что? Когда пойдем?

Грубый окрик верхшуща испугнул их, освободив Богоуша от ответственного решения.

— Вас гудок не касается, что ли? Марш работать, лодыри! Чтоб в два счета были в цехе!

VI

Октябрь... солнце в сетке туч похоже на воспалительный очаг; мы бродим по сугробам шуршащей листвы, полные голубой печали. Быть может, ее вдыхает в нас однообразный загородный пейзаж — в нем появилось какое-то движение, легкость, порыв.

Куда хочет унести Бланку это движение?

Разве что-нибудь изменилось? Ничего. Вот она, в нескольких шагах впереди, остановилась на опушке березовой рощицы и глотает ветер, серьезная, но блаженно раскованная, как всегда, когда мы убежим из города. Ничто между нами не изменилось — в этом сознании есть что-то радостное и угнетающее. Я знаю, например, что сегодня вечером неизвестно почему я буду опять один, как отогнанная пинком собака, и знаю, что не буду ни о чем спрашивать.

Она сорвала белую мясистую ягодку, и я смотрю, как бесцветный сок стекает по ее пальцам. Знаешь, как называется? Жимолость. Знаю случайно, улыбаюсь я: мальчишками мы, бывало, топтали их, некоторые лопались, и было слышно. Лучше оставь это птицам. Знают ли птицы, что сейчас война?

Идем, пора домой, уже смеркается.

В городе осень не похожа на пьяного Вакха с аллегорической картины, это скорей подозрительного вида бродяга либо торговец запретным товаром, упорно навязывающий сырое уныние и насморк. Улицы плавали в липком сумраке, подобные разграбленным кораблям, и площадка трамвая пыталась опровергнуть закон о непроницаемости материи. Меня давило в спину колесо тормоза, вагон трясся на рельсах, будто в лихорадке.

— В шесть? — спросил я ее в ненавистной нише входной двери.

Она кивнула и подставила мне мокрую щеку, но я заметил, что все ее существо охвачено спешкой, хоть она и старается это скрыть. В общем-то это ей удалось: когда я уходил, она меня остановила и прислонилась лбом к моему плечу.

— Так не уходи от меня! Так не надо!

Я погладил ее по влажным волосам, но не шевельнулся.

— В чем дело?

— Ты в гневе. И в печали. Я знаю, хоть ты и молчишь.

Она говорила правду. С карниза на нас падали капли вечернего дождя, затекали за шиворот, холодили.

— Скажи еще что-нибудь. Любишь? — спросила она, робко подняв глаза.

— Люблю. Но хотел бы большего. Жить с тобой. Не хочу тебе надоедать, но... пойми! Я просто не понимаю, почему ты против того, чтоб мы поженились, не понимаю, отчего мне нельзя переступить вот этот порог, почему ты не хочешь, чтоб мы были вместе, — этого я понять не могу. Боюсь — и сам не знаю чего. Может быть, этой осени. Неужели трудно понять? Я тебя люблю и не хочу ничего скрывать от тебя. Больше я не могу...

Потом я остался один. Шагал в смятении чувств по неприятной сырости улиц, стучал зубами и раздумывал над тем, почему я ей все это выложил. Почему? В своем роде проступок совершенно непростительный, я знал это, но мне было все равно. Ведь это она. Я верю ей. Может, надеялся, что это признание сблизит нас, может, наивно рассчитывал, что развяжу ей язык. Нет! Она выслушала меня без единого жеста, переминаясь на мокрой мостовой, и заговорила только после короткого раздумья:

— Не знаю, надо ли мне было слышать это.

Я отстранился, разочарованный, так как уловил в этой фразе легкий упрек, и в тот миг подосадовал, что не сумел держать язык за зубами. Дьявольщина!

— Ты рада или не согласна?

Такое чувство, будто поскользнулся. И упал.

— Как тебе могло прийти в голову? Конечно, рада. — Она сама нашла мою руку и сжала ее. — При одном условии... что ты будешь осторожен. Обещай мне. Я с ума сойду, если с тобой что-нибудь случится, ведь я совсем обыкновенная и люблю тебя. Ты у меня — единственный близкий человек на свете. Понимаешь?

Он застал маму в тот момент, когда она уже уходила, надевала свою пропитанную дымом и запахом вагонов тяжелую шинель и простуженно потягивала носом. В сущности, мы не живем вместе, только встречаемся. Жалость коснулась его. В кухне неприятно, холодно, свет слабой лампочки не доходил до углов.

Надо бы что-нибудь сказать ей... Но что? Ему казалось, что все пути к самым душевным словам между ними давно уже поросли быльем.

— Ну вот... — сказала она уже в дверях. — Мне пора...

Он поглядел на нее растерянно, потом, движимый мгновенным порывом, подал ей пузатую сумку.

— Береги себя, — пробурчал он, избегая ее взгляда. — Ты простужена.

На большее его не хватило. На какую-то долю секунды поймал вы-

ражение ее глаз; в них было удивление, что-то в ней робко дрогнуло, и рука ее, эта опухшая от холода рука, уже поднялась было, чтобы погладить его, но словно не решилась, упала. Дверь захлопнулась, от плиты послышался сиплый голос деда:

— Тебе посылка. Недавно какой-то мальчишка принес.

Вот новости! Кто может мне что-то посылать? Пакет был не тяжелый, он пощупал его, потом разорвал бумажную бечевку и оттуда выпала большая толстая тетрадь в плотном охровом переплете под кожу — ни названия, ни инициалов. Он перелистал. Страницы заполнены незнакомым, мелким, но очень разборчивым почерком. Почерком интеллигентного человека.

В пакете было еще письмо. Он скользнул глазами по странице к подписи: «Жму руку. Душан...» — и вернулся к началу. Каждая строчка леденила его. Сперва он не верил своим глазам. Протер их, опять стал читать сначала, кусая себе губы, и физическая боль убеждала, что он не спит.

«...за окном снова дождь, я допиваю чай и совсем спокоен, клянусь тебе, невероятно спокоен, так что сам удивляюсь. Пульс нормальный, температура в обычных пределах, вижу четко, воспринимаю все, кажется, даже еще лучше, мыслю — и рука моя не дрожит. Но хотя сейчас, в решительный момент, все представляется мне чуть ли не подозрительно легким, я не питаю иллюзий: могут возникнуть осложнения по чисто физиологическим причинам. Других препятствий нет. Страх? Перед чем? Перед чем-то неизвестным, перед тем... что может нам присниться в том смертном сне, когда мы лишимся тела, — понимаешь, о чем я говорю? Я знаю, что страх охватывал и величайших заклинателей и отрицателей жизни. Почувствовав чуть приторный запах собственной гибели, приближаясь к этой неслыханной, непостижимой бездне... Леопарди бежит из Неаполя, спасаясь от холеры. Монтеня охватывает паника при мысли о моровом поветрии, наконец, даже Шопенгауэр слышать о ней не хочет, умом открыв в ней благо... «У меня не возникает ни одной мысли, от которой не веяло бы смертью», — пишет Микеланджело. Но я знаю совершенно определенно, что для меня это единственный выход, самый правильный и добровольный шаг, на какой я только способен и для которого я созрел. Уж по одному этому я спокоен и верю, что выдержу до конца. Надеюсь. Нынче я, пожалуй, последний раз вернулся с завода, насадив восемьдесят латунных колпачков на шланги... Значит, квиты! Долго лежал в абсолютной тишине на кушетке и снова прочувствовал это, уставившись в пятно на потолке, да, оно похоже на собачью голову, на тучку, вот последние очертания! А что дальше? Дальше — только ждать и дожидаться, наконец, того единственного полезного мгновения в этой бесконечной идиотской веренице бесполезных мгновений. Сосредоточиться на ней всем остатком воли и сильно сжать пальцы. Вот и все. Во мне светлая уверенность, что найдется такое разумное мгновение, пожелай мне этого, если хоть немного меня понимаешь, и ничего не предпринимай, потому что все будет бессмысленно! Надеюсь, что, когда ты будешь читать эти строки, со мной будет покончено. Не могу больше, и то, что я хочу сделать,

результат тщательного, а не минутного раздумья. Я никогда не пил и не напьюсь, так как не намерен обременять эту минуту собственной трусостью. Мне невыносимо дышать, и смотреть, и думать, я ни к чему не испытываю ни малейшего любопытства, всей душой ненавижу это зрелище вокруг себя — и не знаю поэтому, что могло бы удержать мою руку...»

Дед беспокойно шнырял взад и вперед по комнате, туфли шлепали о босые пятки. Будильник, секунды. Дождь играл на железной изгороди за окном монотонную мелодию, за спиной шипела спиртовка, где-то звучал устарелый вальсик. Аккуратная буковка плясала по странице письма, чудовищно вспухая.

Пахнет чаем.

«...мне ничего не жаль, даже себя. Слышу голос матери, он доходит до меня из безмерной дали, бессильный, а так — тишина. Ни одно воспоминание о близком человеке не ослабляет меня, потому что нет у меня такого, право! Но пойми меня правильно! Я не утверждаю, что мне легко удалось не осквернить себя фикцией о какой бы то ни было человеческой близости, ты понимаешь, о чем я говорю. Ни до кого мне нет дела, абсолютно никому я ничем не обязан, потому что ничего не обещал. Каждый одинок, совершенно и абсолютно одинок, я признал это, потому что познал и отверг жалкий обман. Существуют только я. Я, безнадежно закупоренный и закованный в собственном теле. Посылаю тебе эту тетрадь с несколькими ничтожными опытами, оставшимися от прошлого, от времен зеленой наивности, и не понимаю, отчего у меня нет силы уничтожить ее, как все остальное. Может быть, потому, что все написанное отчаянно хочет быть прочитанным. Видно, человеческое безумие — штука упорная, не сдается до самого конца. Ты чувствуешь иначе, чем я, знаешь ты пока немного, но у тебя недоверчивый, непокорный ум. Это мне в тебе нравилось, потому что непокорный — значит самостоятельный. Ты знаешь, я никогда никого ни к чему не принуждал, да и не к чему было, поэтому и тебя я не принуждаю портить глаза этой беллетристикой. Не без основания подозреваю, что меня с нее затошнило бы. Удерживаюсь от соблазна перелистать ее. *Vanitas vanitatum**. Кинь потом это в реку и ополосни руки, я говорю чертовски серьезно, потому что вовсе не стремлюсь, чтоб эта словесная требуха отравляла кому-то жизнь. Особенно Р.!!! Я отослал тетрадь, чтоб она не попала в руки обоим Полониям, особенно папочке. Мне противно думать, что он станет в этом копать, пытаюсь понять и решить меня своим филистерским мозгом. Он по профессии взрослый, и я убежден, что и без этой писанины великолепно объяснит меня. Как и весь мир, и эту войну, и все! Его ограниченность относится к разряду самовлюбленных и, значит, беспредельна. Он не выносит ничего неясного, это мешает ему наслаждаться жизнью. Так пускай заблуждается, как настоящий Полоний, я уже слышу, как он после всего скорбно и болтливо рассуждает на публику... Безразличие! Знаешь, как умирают пингвины?... Свернуты в комок на оторвавшейся льдине и плывут на ней в морозную

* *Sueta sueta* (латин.).

тму, никто не знает куда. Бозция* этого и «Замок» оставь себе. *Habent sua fata libelli*** — мне бы хотелось, чтоб особенно «Замок» не был осужден на вечную немоту в фамильном склепе. Вот и все, и я кончаю последний разговор с живым и совершенно случайным человеком. За окнами все льет, остается еще допить чай. Во мне дивная тишина и покой как никогда прежде...»

— Погаси лампу, — заныл дед за спиной. — Надо экономить.

...Оглянулся. Все правильно. Дрожащими руками заложил письмо между страницами и повалился в изнеможении на диван. Нет, нет. Бесмыслица. Безумие. Нет. Удалось вздохнуть. Зажег лампочку у себя над головой и в тусклом свете прочел надпись на первой странице: «Октябрьский разговор с Иваном Карамазовым!» Он не воспринял слов, были только расплывчатые образы и шумы, и из них послушно выплыл голубой мотив блюза. Чай... Чай...

Опять этот нафталиновый запах прихожей, пальто на вешалке напоминало повешенного, оно висело до странности одиноко, в глубине квартиры кто-то играл на рояле, сквозь стеклянные двери брезжил свет. Он был здесь две недели назад и теперь входил с тем же чувством подавленности и неуверенности, как прежде.

Девушка, которая ему открыла, рассеялась в сухом воздухе, но он успел узнать в ней сестру Душана. Дверь хлопнула.

В комнате он увидел другую девушку, вспомнил, что ее зовут Рена — в чем-то она показалась ему изменившейся, пожалуй, не такой холодной, как при первой встрече. Легкими прикосновениями пальцев она поправляла прическу перед зеркальцем, вынутым из сумочки, не смутившись его появлением, потом провела по губам помадой и застегнула мятую блузку у горла. Ему показалось, что она даже как будто дружески ему улыбнулась. Он понял все, взглянув на Душана. Оба они излучали то, что отличает двух людей после только что состоявшейся близости: взволнованная тишина и оттенок смущения при посторонних. Гонза остановился в нерешительности на пороге, и Душан провел рукой по волосам и оживленно пригласил его войти. Приветствие было более шумным, а может, и более сердечным, чем обычно, и это немного сбивало с толку.

— Бросай портфель. Рена все равно уходит.

Все произошло очень быстро: рука Душана оказалась теплей, чем последний раз, улыбка — менее непонятной. Вдруг Гонзе подумалось, что Рена вовсе не обратила на него внимания.

— Желаю вам приятно провести время, — сказала она.

— Я в самом деле не помешал? — спросил Гонза с виноватым видом, когда Душан вернулся из прихожей.

— В самом деле не помешал, — откликнулся почти весело хозяин. Потом, догадавшись, кивнул на дверь: — Ах, ты про это... — Он за-

* А н и ц и й Б о з ц и й (480—524) — римский философ.

** Книжки имеют свою судьбу (л а т и н.).

смеялся, откинув голову на спинку кожаного кресла. — Ну что ж, если бы ты пришел пораньше, тогда, пожалуй...

Смех его звучал немного искусственно и слишком легкомысленно, и Гонза подумал, что ему никогда еще не приходилось слышать, чтобы Душан так беззаботно смеялся. Потом сразу и столь же непостижимо, будто в нем повернули выключатель, Душан стал серьезным, поднялся и быстро заходил по ковру.

— Наоборот, — говорил он на ходу. — Ты, может быть, помог мне.

— Не понимаю.

— Это неважно. Что сказать тебе? — опять улыбнулся он. — Это латинское *post coitum* *... и так далее распространяется, видимо, только на нас. Хуже всего, когда потом начинаются слова. У них ненасытная потребность в нежностях.

Поймав взгляд Гонзы, он остановился.

— О чем ты думаешь?

— Думаю, она не заслуживает, чтоб ты так о ней говорил, — строптиво ответил Гонза, опускаясь в кресло.

— Если б она знала, какого имеет в твоём лице защитника! Но ты прав. Извини! Она действительно восхитительна — лучше, чем сотни других. Великолепная любовница и верный человек. Так?

— Кроме того, я думаю, что ты говоришь неправду.

Эти слова остановили Душана в светлом кругу под лампой.

— Как?

— Что-то заминаешь.

Душан помолчал, потом понимающе хлопнул себя по лбу.

— Любовница! Из тебя выйдет толк. Не пишешь, случайно? Попро-
... снова стал серьезным, закинул руки за голову, потянулся
... и стройным телом. — Гм... Кажется, о нас я рассказал тебе
... ты насколько я — в себе, она — во мне, я — в ней, она —
... мы друг в друге разбираемся! Это все в общих чертах... Теперь
... ей смешной борьбе прибегла к новой тактике.

Душан решительно тряхнул головой.

— Не говори так о ней.

— Разве я на нее клеветчу? Ни на столечко! Наоборот. Милый мой, в ней столько целеустремленной самодисциплины, и силы воли, и настойчивости — хватит на двадцать генералов. С такой силой воли, какую ты обнаружишь в этом хрупком создании с худенькими руками, можно выигрывать самые безнадежные сражения. Удивляюсь, как этого до сих пор не заметили организаторы войн! Я на нее клеветчу? Нет. Когда я это обнаружил, мне захотелось отослать ее, и если что меня удержало, так только то, что я не мог удержаться от удивления. И восхищения. Если так называемая любовь способна на все — даже на чистое безумие, — шапку долой! Стихия! Но это дела не меняет. Я больше так не могу!

Волнение неожиданно овладело им, это было заметно по судорожно преувеличенным жестам.

* После совокупления (л а т и н.).

— Я тебе все скажу! — воскликнул он, отодвинувшись в тень. — Она задумала иметь от меня ребенка! Понимаешь? Любой ценой! От меня! В это страшное время! Это... — Слова будто душили его, он потер лицо. — Где же граница между хитростью и святостью? Ты знаешь? Я разочарую ее! Старик Достоевский на пражской улице, да еще в сорок четвертом, в век промышленности и пустоты чувств. Ты, наверно, думаешь — я заурядный мерзавец, так? Говори, не стесняйся!

— Нет.

Душан остыл, погрузился в кресло, долил себе холодного чая.

— И на том спасибо... Однако... Скажи, что ты обо мне думаешь? Гонза заколебался, но именно это колебание заставило его ответить.

— Если б я тебя не знал как следует, я бы думал — во всяком случае, иногда, — что ты позер. Только прошу: не пойми меня дурно.

Душана это вовсе не задело.

— К чему условности, скажи на милость? Может, ты отчасти и прав, поживем — увидим. Позера окончательно изобличает неспособность к действию. И вообще, собственно, что такое поза? А вдруг все? В том числе и жизнь. Иллюзии, нелепая игра во что-то. Только в одном нет позы...

— Знаю, что ты хочешь сказать, — поспешно прервал его Гонза. — Но ты никогда не убедишь меня в этом. Я примитив и не могу себе этого позволить. У меня такое чувство, словно ты все разобрал на части, как будильник, и теперь не в состоянии собрать. Но я...

Душан опять засмеялся с незнакомым Гонзе, поражающим легкомыслием, и вид у него был чуть ли не плутовской.

— Но ты... у тебя, правда, тоже нет твердой почвы, на коготор ты мог бы стоять, ты тоже довольно шаток, только отчаянно держишься блаженной веры, что такая почва все-таки существует. Что ж, ищи — стоит закрыть, когда нужно, глаза и ухватиться за что-нибудь, неважно за что. Вот разница между нами: я-то знаю, что такой почвы не существует. Не верю, что можно что-то построить, потому что отсутствует смысл, нет ни малейших шансов... И если что-нибудь доказывает мне, что я не позер, так то, что это знание не доставляет мне никакого эстетического наслаждения и не кажется особенно эффективным. Я не литератор, и от этого знания мне худо. Не хочу разыгрывать Мефистофеля, ты сам дойдешь до этого, а остальное — уже только вопрос ощущений и свойств организма: решишь ли ты продолжать...

Он помолчал и вопреки своему обыкновению коснулся чего-то очень личного:

— Я не любопытен, но готов побиться об заклад, что ты влюблен... Гонза поднял голову.

— И ты не проиграл бы... Ну и что?

— Ничего. Все в порядке. Теперь это твоя почва. Стой на ней, если тебе это доставляет удовольствие. Хоть на время. Замерз, так и горячей картошке обрадуешься.

— Мне вовсе не хочется припутывать ее к этому разговору, но я ее люблю, понимаешь? Больше жизни. По крайней мере мне так

кажется! И плевать на то, что когда-нибудь нас не будет. Факт при-
скорбный, но естественный. У меня совсем не те заботы. Поговорим
о другом. Я не хочу обсуждать это с тобой.

Душан ударил ладонями по подлокотникам и, словно оттолкнув-
шись, вскочил на ноги.

— Отлично! Впрочем, у меня нынче хорошее настроение. Предлагаю
плюнуть на все.

— Видимо, с тобой произошло что-то очень приятное.

— Да нет, — засмеялся Душан. — Ничего особенного. Просто
я немножко выпил... У меня замечательная идея...

Он подошел на цыпочках к дверям, прислушался к тишине в квар-
тире, потом повернул ключ в замке. Минуту с озабоченным видом
копался у массивного письменного стола и, наконец, вытащил из ниж-
него ящика бутылку. Посмотрел ее на свет, против лампы. Выпито
совсем немного, показал бутылку недоумевающему гостю и принес
хрустальные рюмки.

— Где это ты достал?

— Тише. — Он приложил палец к губам, похотывая приглушен-
ным, но озорным смешком. — Коньяк. Умопомрачительной марки, ты
такого не пил, — объяснял он, пока драгоценная жидкость лилась
в пузатые рюмочки. — Каждая капля стоит бешеных денег. Когда его
закладывали, нас с тобой еще на свете не было — лет так сорок назад.
Целый клад, обнаруженный в недрах квартиры. На вид — изразцовая
печь, обыкновенная изразцовая печь, которую давно уж не топят,
а вот пожалуйста! Я нашел тайник. Обнаруживать такие хитрые тай-
ники — привилегия дураков. Его тайник, понимаешь? Полония. Пей!

Возражать было нечего, Гонза опрокинул в себя первую рюмку
и слегка закашлялся. В первую минуту напиток показался ему безвкус-
ным, вернее, вкус был какой-то мятный, слабый, сладостно-мягкий, по-
том внутри разлилось приятное тепло. Он заметил, что Душан успел
опрокинуть вторую рюмку. С ума он сходит? Пей! После третьей он
почувствовал себя слабым и будто закачался на волнах, но восприятие
не притупилось, свет стал резче, а глаза — зорче. Он осторожно по-
ставил рюмку на стол и встряхнулся. Стоп!

— Ты не подумай, — сказал ему Душан через стол, — что пьешь
обыкновенную бурду!..

Душан уже начал пьянеть, бутылка дрожала у него в руке, но он
не пролил ни капли.

— Прочти вот на этикетке, Полоний написал своей рукой. Ты
пьешь коньяк, хранившийся к торжеству победы. За мир! Я уже слышу,
как он всхлипывает: «Дети, дети, вот мы дождались...» Наверняка вы-
даст самые высокопарные фразы... из газет... Ну же, пей! Чокнемся
за то, чтоб был мир... для всех деятельных папаш Полониев, пускай
суетятся, пока следующая война всех их не сметет! Тсс, он уже, кажет-
ся, пришел домой! Пей благоговейно, момент исторический, чувствуешь?
Мы пьем за мир, а он черт знает куда запропастился. Допивай!
Да здравствует мармеладное будущее!

— Не глупи, — противился Гонза, — я больше не буду...

Он пытался прикрыть рюмку рукой, потом закружилась голова, и он рассмеялся без всякого повода. Пил еще и еще. Сумасшедшее видение: комната стала нелепо раздуваться, лампа плыла в теплом сумраке, словно раскачавшийся бакен, и подлинник Маржака бог весть почему показался ему страшно смешным. Он вцепился в подлокотники, стены заметно зашевелились, и в ушах раздался какой-то писк. Смех. Я не спятил? — зашумел в нем испуг. Его как будто подменили, движения словно у марионетки, когда ее дергают за ниточки... Смех, восторженный, злорадный, и бледное лицо его расцвело неестественным румянцем. Надо бы идти, бормотало чувство самосохранения, но он чувствовал, что не может оторваться от кресла. Надо бы идти! Вон отсюда!

— А знаешь? Давай выхлещем все! Весь его мир! Мир Реми-Мартеля или тайников виноградских вертепов, мир в бутылке! Ждут переворота, как в восемнадцатом, и потом — ура-а-а! Я уже слышу его воинственный рев. Не кричи! Миру нужны такие честные люди, как он... практически! Не то что мы с тобой. Все рассчитать наперед, все обдумать... Ты смотри... Миллионы погибли и еще погибнут... а он их запьет коньяком, выдавит слезу в их память, и это будет слеза честного человека. Его нетрудно растрогать. Для этого достаточно Вагнера... И будет махать. Молоть языком. Убедит самого себя. Во всем. Он ничего не делает против совести, он честный человек, право слово! Патриот. Не какой-нибудь примитивный подлец. Он бы наверняка тебе понравился. Во всяком случае, на первый взгляд. Это я ничтожество, понимаешь? Конченный человек. Да разве кто сможет упрекнуть его в этом? Только дураки сотрудничали с немцами, а он останется цел со своей мудрой и безвредной лояльностью... Больше того. Бьюсь об заклад, что в кармане у него будет надлежащее подтверждение, выданное какой-нибудь умеренной мафией... Он наверняка уже связался с кем надо. Он разумно-умеренный. Если пойдет к революционерам, то будет искоренять в них излишнюю романтику, причем они и подозревать-то ничего не будут. Его мир готов, и он знает его глубинные течения. Песок. Подлость. Я его насквозь вижу. Бррр... Я вдрызг пьян, но покажу... покажу тебе его тайник.

Он встал, пошатываясь, и неуверенными шагами побрел к письменному столу. Опынение качало его во все стороны и согнуло как раз над нижним ящиком. Мурлыкая какую-то невнятную мелодию, он долго тыкал ключом в замочную скважину, потом стал шарить в ящике, и движения его рук были как пассы бродячего фокусника, — абра-кадабра фикс!

— Теперь гляди в оба — поучительное зрелище... Сверточек пестрых лоскутьев. — Душан рывком развернул его перед пьяными глазами гостя, закатываясь смехом. — Гляди!..

Гонза был растроган до слез, и в то же время его разбирал дурацкий смех. Что я, с ума сошел? Откуда это взялось?

Флаги! Красно-белый с синим клином — запахло стариной, изрезанная школьная скамья, гимны, учитель в лоснящемся черном костюме и с торжественным выражением лица, я стою на возвышеньях и вдох-

новенно отбарабаниваю заученные стишки. А вот другой флаг: полосы и звезды, потом английский и, наконец, красный флаг с серпом и молотом.

Гонза протирает глаза; Душан раскладывал флаги по креслам.

— История... извольте выбирать! — Душан стонал от восторга. — Нас не застанешь врасплох! Да здравствует весь мир! И наконец, уважаемые дамы и господа, извольте взглянуть... самое замечательное! Смерть, смерть неразумным! Кто первый? Не напирайте... Безболезненность и мгновенность действия гарантированы.

Голова весила центнер, и Гонза, со страшным усилием подняв ее, узрел черное отверстие маленького карманного револьвера. Душан целился прямо ему в лоб. Кто первый? Он зажмурился и инстинктивно отклонил голову — смех, смех, Душан спятил. Господи Иисусе, конечно, спятил, считает до десяти... три, четыре... Гонза открыл глаза и увидел, что Душан сосредоточенно целит себе в правый висок... шесть, семь!..

— Перестаны! Не дури, черт!..

Он бросился к Душану, все силы ушли в этот рывок, и в момент, когда Гонза подбил его руку, что-то щелкнуло.

Револьвер выпал и глухо стукнулся о ковер, а Душан захохотал, шлепая себя по ляжкам.

— Не бойся, — он прямо зашелся от смеха, упал в кресло. — Он не заряжен!

— Болван! — выругался потрясенный Гонза.

Этонисколько не обидело Душана. Но, кажется, немного успокоило; он провел рукой по волосам.

— Здесь, видишь ли, никакой стрельбы не будет, пойми! Ты в приличном доме! Патроны спрятаны в другом месте, а может, их и вовсе нет, что весьма вероятно. Долей, прикончим это. Выпьем за мир, которого я не стремлюсь дожидаться...

Как он выбрался из этой квартиры? Последнее, что у него смутно осталось в памяти, был Душан: измученный, он спал, утонув в мягком кресле, голова запрокинулась, руки свесились до самого пола. Если бы не подрагивающие веки под спутанными волосами, его можно было бы принять за мертвого. Разбросанные флаги, бутылка с надписанной этикеткой и опрокинутые рюмки составляли вместе с ним причудливую картину. Гонза мучительно сознавал, что Душана надо разбудить, чтоб тот его выпустил. Он стал его трясти и потом помнил только, как шел за ним, качаясь, по линолеуму прихожей с диким ощущением, что внутри у него дребезжит сломанная машина.

Ночь свистела за шторой затемнения, брякала железной загородной, он расслышал за этими жалобными звуками кашель деда, и этот звук обыкновенной жизни казался теперь ему странным. Читай!

Лампа над головой и слова. Люди, скользившие по этим странным и выпукло-нереальным событиям, утратили третье измерение, это унылые призраки, отбрасываемые лихорадочной фантазией на серую стену.

Силуэты — и все же чем-то они реальны. Может быть, точностью, с которой они были подмечены и выхвачены, отблесками и мерцаниями, но он чувствовал в них известную логику, совсем особенную, не столько выраженную, сколько ощущаемую, и небо, под которым они дышали, было мутное, взвихренное. Здесь был целый мир, особый мир, мало похожий на тот, что за окном, и все же мучительно реальный, — его мир, он находил в нем себя. Он сопротивлялся. Нет! Это не твой мир. И не ее. Не наш. Он дрожал в этом мире от пронзительного холода, изо всех сил стараясь воссоздать в памяти ее лицо. Глаза. Руки. Удержаться за нее. Что-то болело и трепетало от ледящего страха перед небытием, он отчаянно сжимал ее в руках, чтобы осень не унесла ее, — не читай дальше! Иди разорви и сожги это в печке, пусть даст хоть немножко тепла! Нет! Это будет преступление! Боже мой, уметь так писать! Может быть, для этого нужно продать душу дьяволу. Уверенность, точность и в то же время трепетная прозрачность фраз, улавливающих самые хрупкие, мерцающие ощущения. Память и эрудиция, которой с мучительной завистью отказываешься верить! Пожарище, обнаруженное за кулисами самой обыденной повседневности, маски, развешанные в пустоте. Небытие. Жестокость. Гибель. Война. Отчужденность, прикованная словами к бумаге. Некоторые заглавия казались на первый взгляд невинными: «С бухгалтером Н. произошло нечто неслыханное». И тянется в рассказе жизнь обыкновенного, ничего не подозревающего человека — семья, канцелярия с тупой, выдохшейся от бесконечных повторений болтовней, спокойствие жвачного животного, а потом вдруг — точка! Непостижимо, неизбежно, неумолимо, неслыханно — смерть! Смысл? Никакого! Многоточие... Сострадание? Где там! Ничего, ничего. Любовь? Двое людей, окутанные в чувственность, в броне собственных тел, все происходит незаметно, не вызывая никаких подозрений, а потом вдруг что-то разладится и ты всматриваешься во тьму ощущений, которых не преодолеешь в себе, и тебе хочется кричать. Скрыться. Смерть. Справиться с ее угрюмой нелогичностью, признать ее с отвращением, как все, что исключает возможность перемены. По логике смерть должна бы последовательно соответствовать процессу рождения: случайный выбор, совершающийся вне тебя, воспламенение в гостеприимных недрах, рождение — и медленное ненавистное движение к бессознательности. К ней! К противоположности! И тут же сложное рассуждение о музыке. О маленьких, беззащитных зверюшках, рассуждение непостижимо простенькое и трогательное, как детская песенка. Мимолетные портреты: проходят лица с оружейного завода, коллаборационисты, рабочие, тотальники, женщины, те, кто собирается у Коблицев. Картинка с надписью: «Блюз, или наслаждение невольным воровством». Папаша Полоний с подзаголовком: «Опыт биологического исследования о честном и полезном человеке». Он описан с ледящим беспристрастием, без признаков антипатии и — что уж совершенно непонятное — даже с восхищением, как перед чужим непонятным миром, где взгляды, мысли и чувства подчинены иным законам: папаша Полоний и не осуждается ни с моральной, ни с какой иной точки зрения — он только

холодно констатируется. Стихотворение? Еще одна печальная процессия, лица, увиденные в свете тщеты и тайной, скрываемой жалости, колеблются и тают, это корабли в ночном море, а вокруг них — пустота.

Спасенья нет! Дальше!..

...Кто-то трясет его за плечо, будит: дед! Голова вот-вот расколется, и в желудке роется голод.

— Что не гасишь?

Лампочка над головой все еще горит, а в окно уже заглянуло осеннее утро, дождливое и унылое, как нищенский плащ.

Он опомнился, соскочил сразу обеими ногами с дивана, скорей, скорей туда, я должен зайти, скорей штаны, рубашку. Дед обиженно посмотрел на него, когда он только проглотил стакан чуть теплого эрзац-кофе и ринулся к двери. Лестница, вниз через три ступеньки! Дождь!

Подняв воротник, он шел, все быстрее и быстрее мчался по знакомым улицам; на проспекте остановился у обочины тротуара, чтоб отдышаться.

Военная машина обдала его брызгами.

Еще две улицы! Смятение его росло с каждым шагом.

А потом произошло что-то непостижимое. Завернув за последний угол, он вдруг увидел Душана в нескольких шагах от себя!

Не поверил глазам своим. Изумление приковало его к месту. Душан!

Шедший навстречу еще не заметил его, он приближался, опустив голову, словно пересчитывая плитки тротуара, в измятом дождевике и без шляпы; в руке он покачивал продуктовую сумку, в ней были бутылка молока, пакетик цикория и полбуханки хлеба в промокшей бумаге. Вид был жалкий, заурядный — услужливый сынок, сбегавший в лавочку.

Только не дойдя двух шагов до Гонзы, Душан остановился — может быть, почувствовав препятствие, — и поднял голову. Лицо его было бледней, чем обычно, глаза, обведенные синими кругами, глядели в пространство. Но вот он понял, растерянно показал сумку и пожал плечами. Дождевые капли стекали по его плащу, мочили волосы.

— Привет! — хрипло выдавил Гонза и откашлялся.

О чем говорить? Все ясно! Что же дальше? Что дальше?

Они молча пошли вместе по мокрой мостовой к знакомому дому. Душан простуженно покашливал, дрожа от холода, сумка смешно била его на ходу по коленям. Лишь за несколько шагов до парадного он поднял голову, рассеянно огляделся и нарушил молчание:

— Ты думаешь, что я выкинул дурацкую шутку?

Гонза постарался придать своему голосу оттенок укоризны:

— Да нет.

Казалось, стоящий перед ним незаметно вздохнул с облегчением, поглядел на носки своих ботинок.

— Но если бы...

— Не надо об этом! — прервал Гонза, тронув его плечо. — Ты хочешь, чтоб я тебе вернул? — деликатно спросил он, как говорят с тяжелобольными, но увидел, что этот спокойный вопрос заставил Душана передернуться.

— А что? — вырвалось у него. Наверное, он все-таки не сразу понял, но теперь раздраженно покачал головой и закусил губу. — Что ты, собственно, думаешь? — с измученным видом прошептал он, побледнев. — Мол, как угодно! Позер! И когда все это кончится? Все время дождь. Чего вы все от меня хотите? Оставьте меня, наконец, в покое! Все! Все!

— Успокойся!

Гонза слегка встряхнул его, но почувствовал, что в нем уже закипает гнев. Он овладел собой.

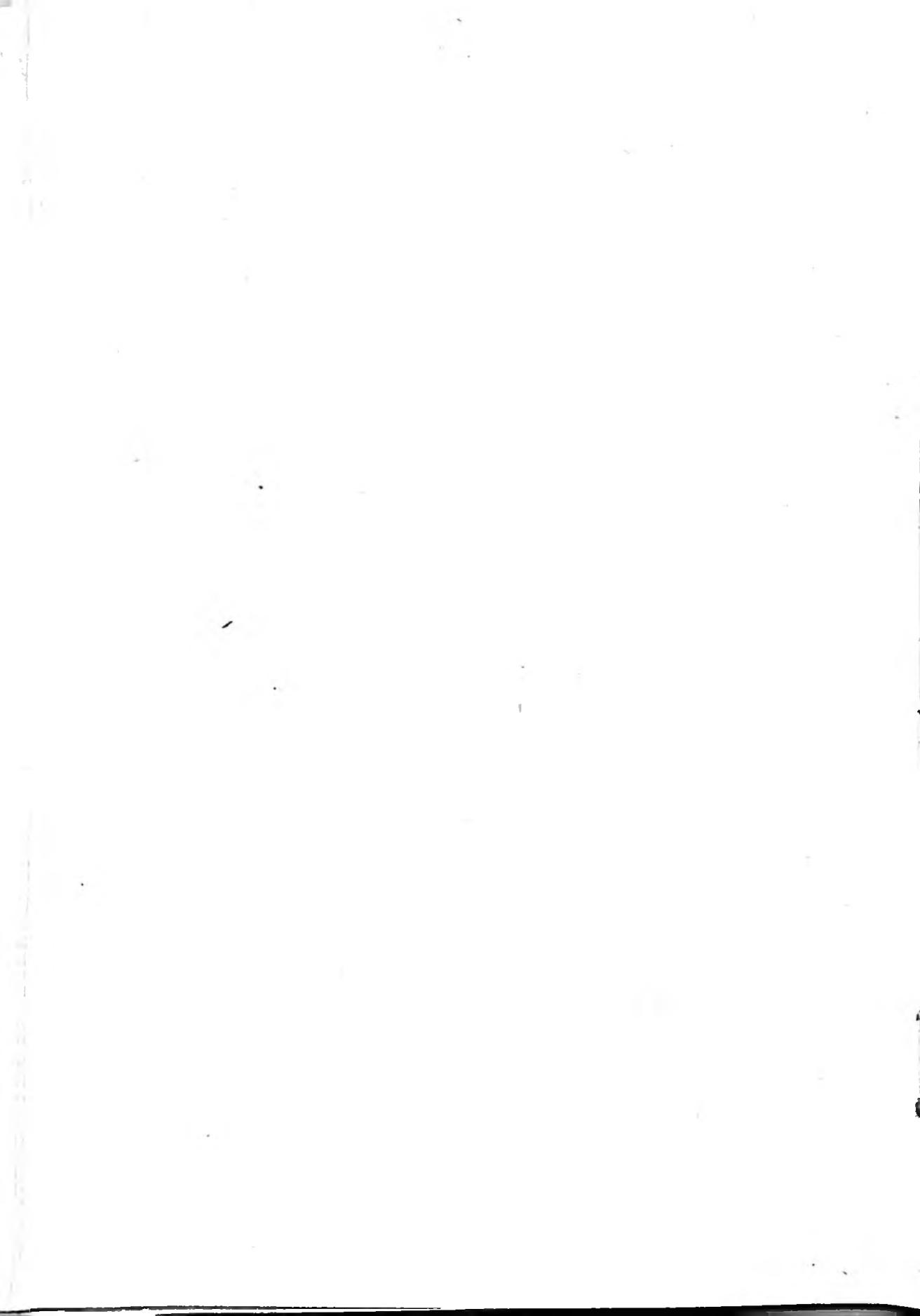
— Я ведь по-хорошему.

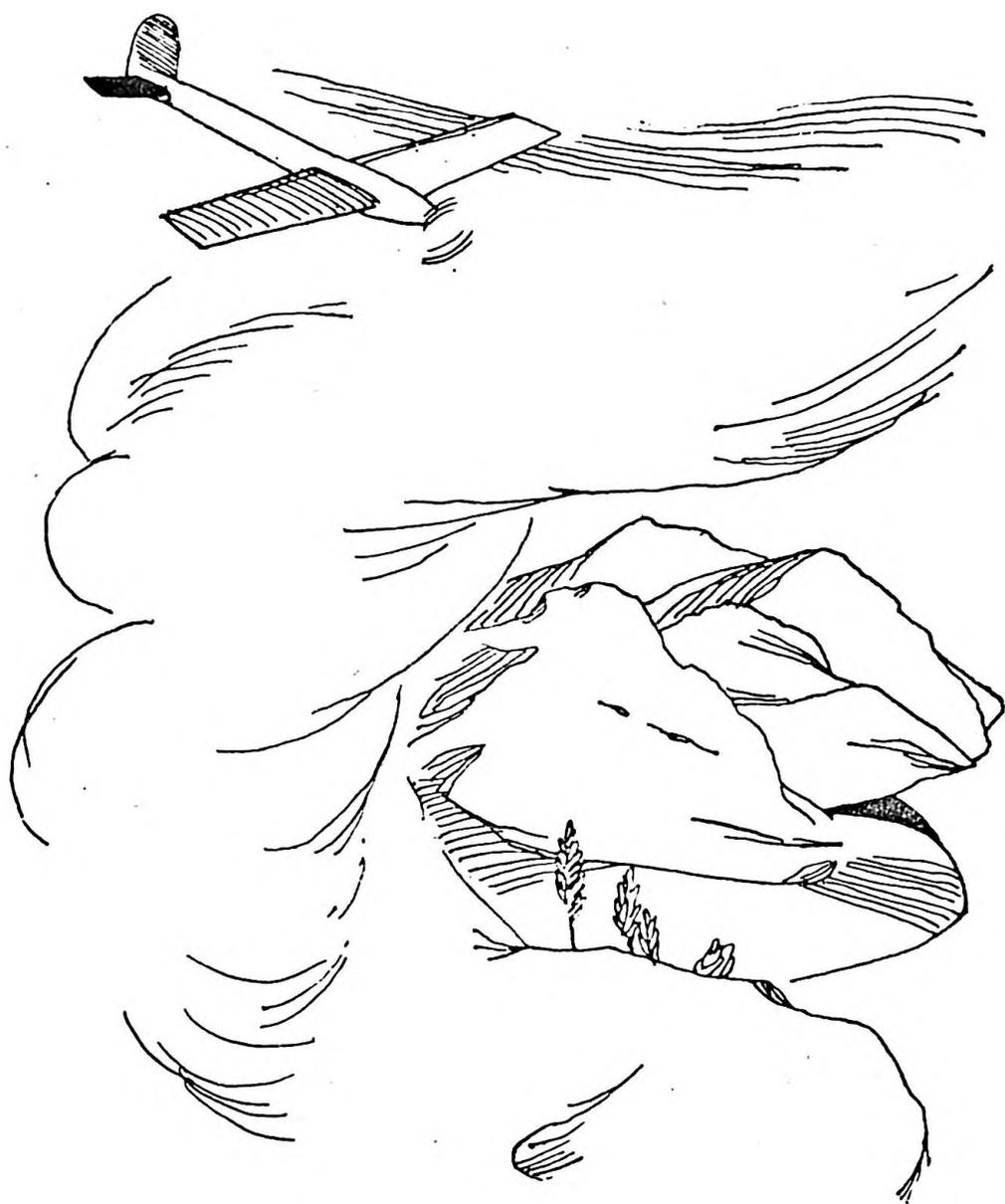
— Знаю. — Душан сразу ослаб, стоял перед ним с этой смешной суммой в руке, выражение мучительного стыда застыло на его опустошенном лице. Отводил взгляд. — Знаю.

И потом, словно боясь, что самообладание изменит ему, круто повернулся и, не прощаясь, пошел, вернее, побежал, согнув спину, непонятный, замкнувшийся в себе.

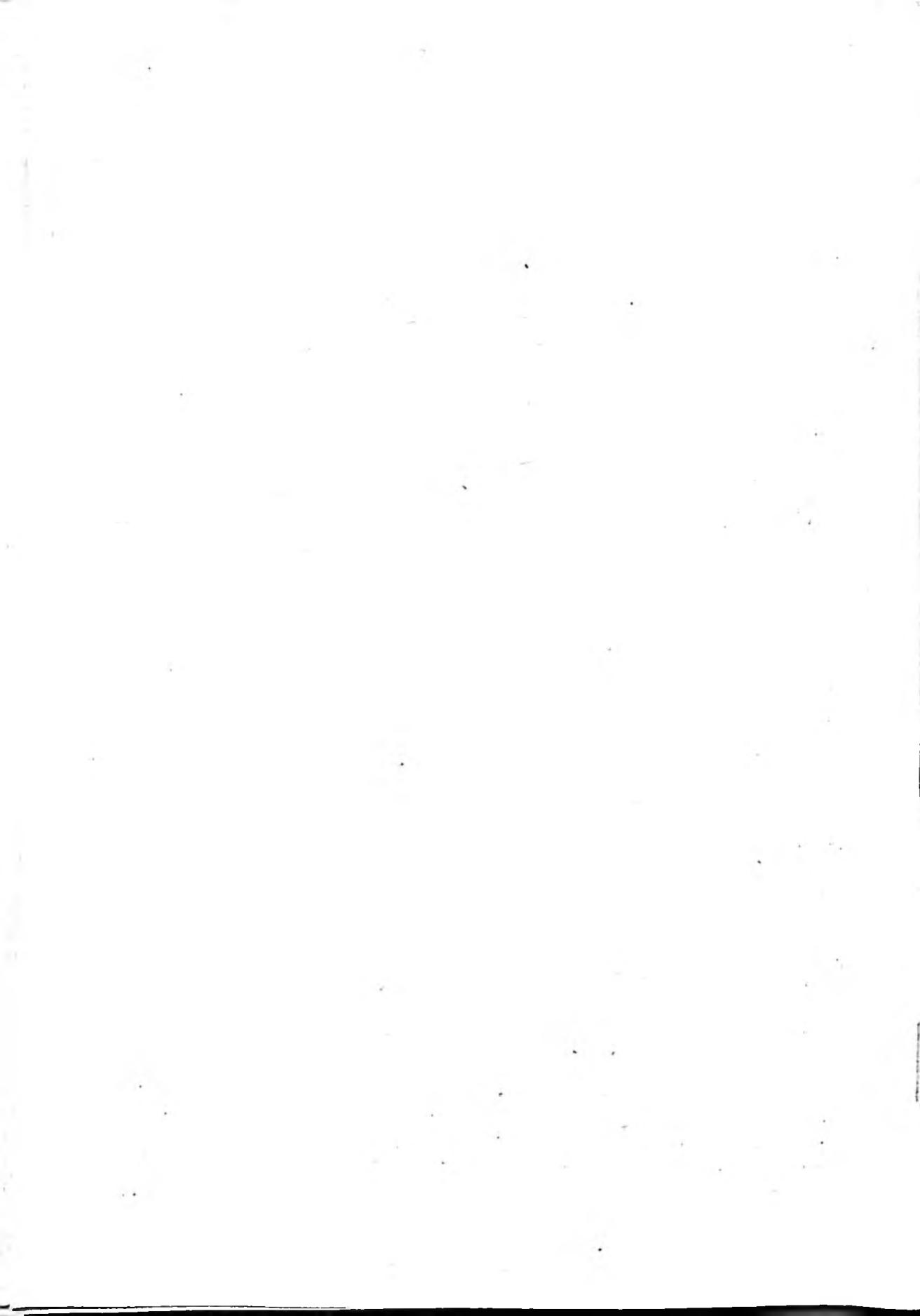
Гонза смотрел ему вслед, пока тот не исчез за массивной дверью, и в это мгновение что-то в нем робко шевельнулось. Тоска? Предчувствие? Что-то без очертаний. Зачем я с ним встретился? Дождь припустил, стуча о камни. Ступай дальше! Он взглянул на грязно-серое небо и зашагал со странным ощущением, что мостовая у него под ногами швелится и мир перед глазами расплывается.

Куда я, собственно, иду?





Часть третья



— Это сплетня, — заявил решительно Богоуш.

Он сердито скреб свою реденькую бородку, так как сообщения Леоша не выдерживали никакой критики с научной точки зрения.

— Что ж, сплетня так сплетня, — презрительно ухмыльнулся Леош.

Речь шла об Анделе и Славине.

— Вы видели их обеих утром? Андела прикатывает иной раз измученная как кошка, вокруг глаз такие кольца, что хоть качайся на них, а Славина — выпалась, розовая. За ранним завтраком обе сестры сближают головы и перешептываются. Ясно, о чем. Эта продувная шлюшонка шепотом расписывает, что парень с ней делал, а Славина вся дрожит. А после завтрака наоборот: у Славины под глазами круги и лицо такое, будто всю ночь кутила, а Андела расцвела. Умылась живой водой и — как ни в чем не бывало.

— Господи, — воскликнул Бацилла, которого ударило в жар. — Просто не верится, что такие вещи возможны.

Кружки стучали о залитые столы в заводской столовке.

— Знаете, что с Жабой? — спросил Густик, вдохновенно сияя.

Было известно только, что Жаба — к радости женщин — вот уже две смены не показывается в «Девине». Заболел, может.

— На ладан дышит, — воинственно фыркнул Густик. Самое простое сообщение звучало у него как призыв к ссоре с возможным оппонентом. — Получил по сопатке. Всю рожу ему раскрыли. — Он наслаждался кровожадными оборотами, они придавали его тщедушной внешности боевой вид. — Мне ребята из амбулатории говорили... известно только, что их много было. Подстерегли ночью, когда он домой мимо моторного шел, затащили в проулок, а там... Еще увидите, что с другими двумя сволочами сделают...

— Заткнись, трепло, — одернули его. — Как бы самому по морде не схлопотать...

Как знать, не попадет ли легкомысленное слово не в то ухо, а тогда пойдут молоть жернова! Напряжение после взрыва подъездного пути не ослабло. Наоборот. Это событие послужило началом целой серии актов саботажа, и всем было ясно, что, несмотря на внешнее спокой-

ствии живодерки и многочисленные аресты, подлинные виновники не обнаружены.

Из фюзеляжного притащился Пепек и остановился, прислушиваясь к болтовне собравшихся.

Хмурый веркшущ появился в дверях и оборвал разговор; под его грозным пристальным взглядом все поскорее разошлись.

— Что ты об этом думаешь? — спросил Гонза Войту, когда они брели по коридору в грохочущий фюзеляжный цех; он показал ему обрывок обыкновенной бумаги, на котором, явно второпях, было написано печатными буквами одно только слово: МОЛЧАТЬ!

Гонза оглянулся, сложил бумагу и сунул ее опять в карман.

Войта в нерешительности покачал головой, не замедляя шаг.

— Где ты, говоришь, нашел?

— У себя в шкафу, перед началом смены. Адресовано, ясно, мне...

Он был встревожен. Что это может значить? При ком молчать? Кому что известно? Почему именно в моем шкафу?

— Странно, — промолвил Войта. — Во всяком случае, надо обсудить. Может, это просто-напросто дурацкая шутка?

— Сильно сомневаюсь.

На пороге фюзеляжного они разошлись. Каждый из них терялся в догадках.

Мелихар смерил входящего Гонзу мрачным взглядом, сплюнул, но не сказал ни слова. Он сам сверлил отверстия и насаживал заклепки, видимо, спешил как можно скорее покончить с крылом, которое за ними оставалось, чтобы после полуночи заняться с другими «леваками» изготовлением электроплиток. Гонза слышал, как он тихо чертыкается, стуча молотком в коробке.

Дзуб... дзуб... Береги пальцы, Мелихар орудует молотком немилосердно, беспощадно. Что все это значит?

Дзуб... дзуб... Что-то висит в воздухе, дзуб... дзуб...

Вдруг — тишина, молоток разом умолк.

Выглянув из-под крыла, Гонза заметил, что Мелихар кивает кому-то в проходе за его спиной; повернул затекшую шею и увидел чьи-то пузатые сапоги. Сапоги стояли, ждали. А сверху глядело приветливое лицо певца-веркшуща Гавела, его сонные глаза смотрели испытующе.

Гонза выбрался не спеша из-под крыла, с недоумением стряхнул с одежды пыль, дюралевые стружки.

— Пошли со мной, амиго! — крикнул певец ему на ухо.

Это прозвучало скорей как дружеское приглашение.

— Куда? — Но он уже знал, куда, понял сразу всем существом, испуг был похож на холодное оцепенение, отдался в голове и кончиках пальцев. Вот оно. Вот почему — молчать!

Эта разгадка принесла сомнительное облегчение.

— Сам знаешь.

— Ничего не попишешь! — Посмотрел по сторонам: разговор их остался незамеченным; все остановили пневматические молотки и смотрели на них. Бежать? У конца крыла стоял другой веркшущ — тощий

верзила с крысиными глазами, Гонза его плохо знал. Он небрежно упирался ногой в ступень и новырял спичкой в зубах. Железный грохот терзал барабанные перепонки, глаза, щеки; Богоуш, полуоткрытый рот Бациллы, балагур Гиян, Маречкова зашмыганная физиономия похожа на сушеное яблоко, — Гонза с необычайной остротой воспринимал подробности и все отряхивался, словно это было страшно важно; наконец остановил взгляд на потном лице Мелихара. Что это? Тот еле заметно кивнул головой и облизнул губы.

— Пошевеливайся, не то влетит!

Смешно! А что смешного? Гонза шагал с двумя вершущами по бокам вдоль главного прохода и чувствовал свое сердце. Оно рвалось вон из груди, сдавленной стальными пальцами. Смотрят!

Он заставил себя выпрямиться, чтоб выдержать эти десятки взглядов. Покосился в сторону «Девина», позвал ее без слов, только волей и страхом, но она, с фонарем в руке, наклонилась над рулем и не видела его. Прядь светлых волос выбилась у нее из-под платка, и от этого все внутри него странно сжалось. Знаешь, почему я тебя так люблю? Потому что ты высший сорт... Умеешь говорить комплименты! Он целует ее в губы — ее дыхание пахнет яблоками, кончики их языков встречаются, непобедимое желание подымается в них с каждым вздохом, они сидят в «Итаке», печурка гудит за спиной, а за окошком падает на реку похоронный мрак. Глаза у нее зажмурены, ресницы дрожат. Он берет ее руки и касается губами открытых ладоней, они теплые, влажные, пальцы исцарапаны заклепками и жестью — живые, подвижные, милые пальцы. Вот они! Хорошо мужчине слышать от женщины, что она с ним счастлива? Хорошо? Это все на свете! Я с тобой счастлива. Ужасно. Грешно.

Вдруг она подняла голову, он отвернулся с виноватым видом.

— Можно мне... — с трудом выговорил он, — можно зайти в раздевалку? Мне бы...

Певец покачал головой и выразительно оглянулся на своего товарища.

— Ты что — спятил?

— Ну хоть в сортир!..

Некоторое колебание, потом Гавел кивнул и остановился у двери уборной. На окнах решетки.

— Только мигом... я ведь не один!

В тусклом свете его ждал Павел. Гонза облегченно вздохнул, но времени на разговоры не было. Он подошел к писсуару. Павел мгновенно понял и сделал то же самое. Никто из толпившихся в уборной ничего не заметил или сделал вид. Гонза и Павел встали вплотную друг к другу. Гонза говорил уголком рта, неподвижно глядя на испланную похабными надписями стену.

— Я ничего не знаю. Из меня ничего не выжмут. Сходи к маме... и к ней. Осмотрите шкафы и ящики... Мне пора... пока...

Оглянулся — в полуоткрытой двери уже торчала нетерпеливая физиономия в фуражке с козырьком. Иду, иду, показал он кивком; почувствовал пожатие ниже локтя.

Держись! Темный коридор, ведущий к выходу во двор, дохнул ему в лицо. Держись! Он твердил это про себя, как заклинание, стараясь этой примитивнейшей заповедью выбить из головы все другие мысли; он их боялся. Держись! Молчать! Кто послал мне это? Почему знать? Он лягнул зубами... Ребята! И она! Что она будет делать? Не думать об этом, держаться и ничего не знать! Все за-быть! — приказывали напряженные губы. Мелихар. Стало легче? Нет, меня в самом деле ведут туда. С жестоким удовлетворением отметил, какая в человеке может вдруг возникнуть пустота. Он отрешался от всего и от всех. Взглянул в сумраке на постное лицо Гавела — кажется, даже улыбнулся отважно, но отвага эта только мелькнула и погасла, как блуждающий огонек.

Седой ночной туман поглотил три фигуры.

Удивительной всего было то, что Гонза, в сущности, не был особенно удивлен. словно он уже бывал в этом помещении, обставленном с канцелярской скудостью: стол с глубокими выдвижными ящиками и покоробившейся столешницей, несколько простых стульев, картотечный шкаф со свертывающейся шторкой, умывальник на подставке. По стенам — плакаты с благородными, красивыми лицами солдат вермахта и два портрета: на более крупном всматривался в грядущее тысячелетие водянистым взглядом фюрер, на том, что поменьше, — физиономия какого-то вождя помельче. В чертах этого лица было что-то женственное, дряблое, но во взгляде сквозила затаенная жестокость слабого человека. Помещение было жарко натоплено.

Гонзу привели сюда по длинному коридору, мимо дверей других канцелярских помещений, и шаги стучали по деревянному полу, прогибавшемуся под ногами.

— Жди здесь, — сказал певец и, уже взявшись за ручку двери, прибавил: — И без глупостей, компаньеро. Салют!

Дверь захлопнулась, и шаги заглохли вдали.

Один. Вот арена борьбы, надо на ней освоиться. Но очень скоро не на что стало смотреть; Гонза с удивлением осознал, что он почти спокоен и что ему даже немного скучно. Сквозь деревянные стены сюда проникали отдаленные голоса, неторопливый стук машинок, смех и низкий, почти мужской голос певицы из радиоприемника: Зара Леандер поет хабанеру. У Гонзы был выбор: либо протереть глаза и попытаться прочесть имя заправилы под портретом, либо глазеть на дверь и гадать, кто в ней появится. Я ничего не знаю, не помню. Сейчас полночь, ребята сидят в столовке, и еда не лезет им в горло. Совещаются. А что она? Уже все знает? Отдаленный гудок возвестил конец перерыва, но никто не пришел, и тело начало деревенеть. Он сунул руки в карманы и переложил всю тяжесть тела на другую ногу. Зачем его заставляют ждать, какую цель они этим преследуют? Ага, вот...

Сердце заколотилось.

Приближались шаги, гремя по полу коридора, маленькая заминка,

потом повернулась ручка двери, и вошел человек в штатском; если бы не кавалерийские сапоги да орденские колодки на лацкане пиджака, вошедшего можно было бы принять за озабоченного канцеляриста. Это был Башке, заместитель и тень Каутце, обычно его видели в фио-зелянном следующем по пятам за своим здоровенным начальником и прозвали Мертвяком. Прозвище было меткое, вид у него на самом деле похоронный: болезненно-бледная рябая физиономия производила впечатление смертельной усталости, провалившиеся глаза глядели на мир с флегматичным, даже почти благодушным безразличием, и страшного в них ничего не было. Ни о каких исключительных жестокостях его не было слышно, он всегда прятался за спину своего рыкающего шефа; он был на вторых ролях, пунктуальный исполнитель распоряжений, тип полицейского чиновника, которому привычнее корпеть над бумагами, чем работать с преступниками; он заметно припадал на правую ногу, видимо, ранение на фронте обеспечило ему желанную возможность устроиться в тылу. Мертвяк...

Он поглядывал на Гонзу, но в глазах его не было ни злобы, ни враждебной предвзятости.

— Вот и вы! — Он кашлянул в кулак и указал на стул. — Что же не садитесь? У нас целая ночь впереди, и вам надо сохранить свежую голову.

По-чешски он говорил почти безупречно — был, видимо, из судетских немцев; голос звучал с сухой учтивостью чиновника.

Гонза сел, но решил по-прежнему быть начеку.

Долгое время ничего не происходило. Башке рылся в карманах, потом стал отпирать ключом ящик стола. Он перебирал бумаги, с головой уйдя в это занятие; можно было подумать, что он забыл о посетителе. Наконец он нашел, что искал, — небольшую стопку розовой бумаги, вздохнул с облегчением и положил ее на середину стола, закрыв надпись на верхнем листе пресс-бюваром. Зажег лампу. Надень он еще саржевые нарукавники, сходство с канцеляристом было бы полное. Но этого не случилось. Он долго тер кулаками усталые глаза и страдальчески вздыхал, потом устремил на гостя скорбный взгляд.

— Вам страшно?

Вопрос был неожиданный, но не смутил Гонзу — он выдержал взгляд Мертвяка, не дрогнув.

— А мне нечего бояться.

Мертвяк на секунду замер, заинтересованный, но и только. Слабо улыбнулся.

— Что-то не верится. У нас обычно боятся даже те, кто вовсе ничего не сделал. Право. Видимо, в этой стране чистая совесть — явление редкое.

К чему эти дурацкие подходы? Гонза ждал, что он сразу пойдет в атаку, и принудил себя к спокойной сосредоточенности, но не дождался. Это было не только странно, но и подозрительно. Вместо грубого допроса старание завязать интимный дружеский разговор; Башке своим усыпляющим голосом расспрашивал о самых невинных пустяках. Какой может быть для него интерес в том, есть ли у Гонзы родители? Есть

только мать, работает на железной дороге. Башке сочувственно кивнул, вспомнил даже свою мать, которая, бедная, погибла во время налета на Эссен. Не надо было посылать ее к брату, тогда она, наверно бы, осталась в живых. Сами знаете, мать никто не заменит, прибавил он с умлением.

Посмотрел на наручные часы.

— Только час!.. Тут жарко, как по-вашему?

Не дожидаясь ответа, стал спрашивать Гонзу о его занятиях, о том, что он собирается делать после войны.

— Вы двадцать четвертого года рождения? Этот возраст пострадал больше всех... Я понимаю, поденщина здесь вас не прельщает, но тотальный призыв — только вынужденная временная мера. Если б вы жили по ту сторону, скажем, в Россин, либо еще где, вряд ли вам пришлось бы теперь учиться. Скорей всего валялись бы где-нибудь в грязи на фронтах. Вы не знаете, что это такое, мой милый! — Он выразительным жестом указал на свою правую ногу. — Память о Смоленске... Вам несравненно лучше, вы, в сущности, даже не испытали, что такое война. Вот наши парни — те испытали, а есть среди них даже моложе вас. Война для всех — зло, поверьте мне! Взять, к примеру, хоть нас с вами: два обыкновенных человека. Встретясь мы при других обстоятельствах, какая между нами могла бы быть вражда? А война посадила нас за противоположные концы стола. Страшная, тотальная война. — Он печально поник головой. — Что вы о ней думаете? Ничего? Маловато.

Не жди, на такой крючок не попадусь. Да ты и не настолько наивен, чтоб на это рассчитывать. И вызвал ты меня сюда не для дружеской беседы. Вопросы были все глупее, Гонза отвечал сухо и коротко.

— У вас есть девушка? Здешняя, с завода? Если хорошенькая, — Башке ощерил зубы в желтой улыбке, — я, конечно, ее заметил. Хотя у нас тут довольно много хорошеньких девушек. И даже... гм... гм... артисток из бара. Можно бы составить очень приличную эстрадную программу, как вы думаете? Жалко, нет временп.

Наконец он стал расспрашивать о том, как кормят в заводской столовке, и, когда Гонза с отчаянной дерзостью обругал кормежку, он несколько раз меланхолично кивнул головой и, казалось, искренне возмущился.

— Там, видимо, здорово крадут, как и всюду на заводе. Иногда мне кажется, что тут работают пятнадцать тысяч воров. Чего только не крадут...

Он замолчал и снова долго тер глаза. Ну, начинай, Мертвяк, чтоб уж было ясно, чтоб я знал, в чем дело! Не тяни!

Вместо этого Башке сделал невероятное предложение: сыграть в шахматы. Не ослышался ли Гонза? Нет.

— Ночь длинная, у нас пропасть времени. Может, до самого конца войны.

И, не дожидаясь согласия, он вытащил из ящика стола коробку с облупленными фигурами и начал тщательно расставлять их на шах-

матной доске, которую разложил под лампой. Розовую стопку бумаг он отодвинул в сторону, но пресс-бювара не снял. Сел поглубже на стуле и обхватил пальцами свой бледный лоб. Гонза с отвращением заметил, как на висках под кожей у него вздрагивают голубые жилки.

— Начинайте! Вам, как гостю, белые...

Как там ребята? Как она? Мелихар? Бог знает что думают, а я тут бессмысленно передвигаю фигурки. Идиотский сон. Гонза заставил себя смотреть на доску, но мысли были далеко; он никогда не отличался особым искусством в этой игре, но тут допускал совсем уж любительские ошибки. Будь здесь Павел, тот бы тебе врезал, Мертвяк... Время течет лениво. Может, обтекает меня?

— Неважные ваши дела, — послышался бесцветный голос с той стороны стола.

Внутри все сжалось от холода, Гонза поднял глаза и увидел слабо улыбающуюся физиономию. Ничего. Мертвяк постучал по доске согнутым пальцем.

— Берегите слона. Так нельзя, открываете королеву...

После нескольких ходов Гонза оказался в совершенно безнадежном положении, понял это и посмотрел испытующе на своего мучителя. В каком кармане у него револьвер? Башке делал вид, будто поглощен борьбой на доске, казалось, он играл с наслаждением, качал головой по поводу каждого хода Гонзы и осуждающе шипел:

— Туда нельзя, Mensch! Глупый ход...

Тут послышался какой-то непонятный крик, он проникал сквозь деревянные стены, переплетались два голоса, один угрожающий, другой приглушенный; Башке только беспокойно тряхнул головой.

— Не обращайтесь внимания. Это к вам не относится... Сами понимаете: допрос!

Опять крик и грохот, от которого мурашки по спине забегали. Вскочить, ударить? На окнах решетки. Погляди какой: притворяется, будто заинтересован шахматами, норовит довести до безумия. Это игра кошки с мышью, видно, хочет сперва расшатать мне нервы...

— Ну вот, — постучал Башке пальцем по доске. — Вот и мат. Плохо играете. Жаль. Вам надо бы потренироваться, научиться правильно комбинировать и сосредоточиваться, может пригодиться.

Он с разочарованным видом смешал фигуры, встал из-за стола, без всяких объяснений вышел вон и повернул ключ в замке.

Гонза остался один, жара была невыносимая, в желудке урчало от голода. Время тянулось невероятно. Спокойно, держаться, сосредоточиться! Наши, наверное, успели все спрятать... Он расстегнул ворот рубашки, вытянул затекшие ноги. Внимание его опять привлекла розовая стопка, она так и притягивала взгляд. Надпись. Стоит только приподняться — и все станет ясным. Одно быстрое движение... тело уже напряглось, собралось, еще раз окинуть взглядом деревянные стены, вождь из мелких на портрете наблюдает за ним противными глазами... Нет! Прозрачная уловка! А если стены здесь имеют глаза, если он точно заметил положение пачки? Как бы не налететь! Ничего не знаю, не помню!

на портрете заглядывал ему через плечо, угрожающе посмеиваясь. Кто это?

— Вот черным по белому: Орфей! — Мертвяк покачал своей бледной лысой головой — лоб его покрывала зеленая тень абажура — и подергал себя за мочку уха. — Поскольку ты с этим не имеешь ничего общего, то я не задену твоего авторского самолюбия, назвав это глупой писаниной. Теперь такое пишется целыми грудями.

Опять покачал головой.

— Ладно.

Он резко встал, обошел вокруг стола, держа розовую пачку в руке, сел, как прежде, на угол стола и низко наклонился к Гонзе. Холодным пальцем поднял его голову и так, глаза в глаза, впери́л в его лицо потусторонний взгляд, а затем, после испытующей паузы, выпустил первый залп вопросов. Они следовали один за другим так быстро, что Гонза не успевал понимать — водопад, водопад в ушах! Говори! Некоторые вопросы Гонза ожидал, другие безнадежно сбивали с толку — видимо, озадачить противника входило в задачу Башке; вопросы произносились доверительно, тихим голосом, они хлестали по лицу, проникали в мозг и причиняли боль, хоть Гонза и старался их не слушать. Нет. Нет. Не знаю. Не видел. Не лгу. Он стиснул зубы, завертел головой, потом почувствовал дрожь, невыносимую дрожь во всем теле и тщетно старался сдержать неудержимый предательский трепет. Не поддавайся, не смей! Сколько вас? Не знаешь? Говори! Не отнекивайся! Хочешь, я сам тебе скажу? Где собираетесь? Громче, я не понял. Та-та-та! Какой-то странный запах, лицо Мертвяка то ближе, то дальше, оно качается в полумраке, запекшиеся губы шевелятся, мерзкое, дряблое лицо мертвеца, уже начавшего разлагаться, слабые духи. Гонза — в мучительно-беспомощном, невыгодном положении, он в кресле у зубного врача, и к нему приближается сверкающий инструмент, нет, нет, мама-а-а... Ничего, доктор только чуть-чуть дотронется, и ты получишь мороженое... Не расслышал! Говори, говори, черт возьми! Где размножаете? Забыл? А хочешь знать точный адрес? Пощечина. Это как бешеная гонка, состязание, скачки. И в эту минуту Гонза впервые, но еще отдаленно, почувствовал это в себе — ослабление воли, зажатой в кулак, — еще не сломался, но может сломаться, обвал чего-то внутри. Так вот как это начинается, невинно, с щиплющей влагой в глазах! Может быть, Мертвяк уловил это в нем и усилил нажим, левой рукой захватив лацканы пиджака у самого горла Гонзы, Мертвяк мямл их, а правой стал хлестать по лицу розовой пачкой, не сильно, но ритмично, размеренно, как машина, слева, справа, хлест, хлест, без перерыва, без конца! Будешь говорить? Вот тебе, вот тебе, боли не было, но было нечто худшее: мучительное, липкое чувство унижения, обиды и связанности, чувство тошнотворного бессилия, оно чуть не заставляло желать боли, — хлест, хлест, — оттого, что это было опасней, оттого, что это подстегивало, подгоняло куда-то вверх, к облегчающему гневному взрыву, а этого, видно, и нужно Мертвяку, потому что если Гонза взорвется, то все в нем рухнет и хлынет в неслыханном, вождеденном облегченье: да, Мертвяк, я это делал и буду делать...

А вы, убийцы, падаль, подохнете! Нет, нет! У тебя на глазах слезы — хлест, хлест, — сейчас ты не совладаешь с собой, сейчас рванешься к этому жилистому горлу, сил больше нет!.. Хлопнула дверь, видимо, кто-то заглянул сюда, но они не обратили внимания, охваченные иступлением. Говори! — Не знаю. — Хлест, хлест! — Связи? Не имеете? Ишь ты! А кто ты — знаешь? Как зовут? Год и день рождения! Говори, скотина! — Хлест, хлест! — В каком месяце родился? Тоже не знаешь? Вот и влип! Выдал себя — все врешь! Врешь, сволочь! И — слушать, когда я с тобой говорю! Не глазеть по сторонам, невежа. Ты невоспитанный мальчишка. Вбил себе в башку все отрицать? — Хлест, хлест! — Вот я тебя перевоспитаю! — Хлест, хлест! — Еще? Раз, два — кто дольше? А Олень? Олень! Не знаешь Оленя? Не слышал о нем? Рассказывай сказки. А парашюты? Тебе их тетя из Америки прислала? Говори, черт. Магнето. Кто вас предупредил? Святой Иосиф? Кто предупредил? Говори! — Хлест, хлест!

Он вырвался, уже изнемогая, из холодных пальцев, закрыл лицо руками.

— Оставьте меня! — заревело в нем, и он не сумел подавить рыдания, он дрожал всем телом. — Оставьте меня! Я... ничего не знаю... правда... ничего! Я... ничего не знаю!

Где-то захрипела радиолоа, и голос с наигранным весельем запел:

Ich brauche keine Millionen,
Nur du, nur du... *

— У тебя слабые нервы. — Башке уже снова спокойно сидел на своем стуле, вертя в пальцах самописку, и страдальчески улыбался. — А знаешь, еще немного, и ты бы раскололся.

В голосе его опять была хмурая приветливость, он посмотрел на свои часы и удивился:

— Пять часов... как время-то у нас прошло, а? Через час — конец смены, твои соратники поедут домой, бай-бай, в постельки. Без тебя. Но ты не огорчайся, им тоже будет плохо спать.

Он шуршал бумагами, перечитывая листовки, и перо его противно скрипело. Канцелярский чиновник работал. Вождь смотрел неподвижно в одну точку, и в округлых чертах его одутловато-бабьего лица можно было прочесть усталость. В тишине слух улавливал даже слабенькое тиканье в остывающих калориферах, а водопад в голове превратился в успокоительное журчание.

— Ну, значит, так просто, для порядка: ты этих листовок никогда не видал?

— Нет.

— Никогда?

Башке отложил перо и меланхолично покачал головой.

— Многое я могу стерпеть, но не это. Ведь этим ты доказываешь, что врешь. Врешь! И значит, имеешь к этому какое-то отношение!

* Не нужны мне миллионы, лишь ты, лишь ты... (нем.).

Ну, подумай сам. Листовок на заводе попадаетея столько, даже на стены стали лепить, ты никак не мог их не видеть. Это исключено! Пойми наконец.

— Я не имею к этому никакого отношения, — сказал Гонза.

Ответ прозвучал не вполне уверенно.

— Ага. Это уже лучше. Значит, все-таки видел...

— Видел... но...

Он сейчас же замолчал, закусил губы. Влип, глупейшим образом влип!

Мертвяк сидел за столом с равнодушным видом и только кивал.

— Ты плохой шахматист. Но наконец-то мы хоть до чего-то договорились... Горячо, горячо!.. И что ты с ними делал?

Он не повышал голоса, чтобы не спугнуть противника, — плел петлю с терпением профессионала.

— Не помню. Это было один раз.

— Когда это было?

— Уже давно... Я нашел у себя в шкафу...

— Вижу, — причмокнул Башке, — память просыпается, но еще зевает спросонок. Я' знал, что мы договоримся, — с первого взгляда попал. Практика! Что ты с ними сделал?

Секундное колебание. Плохо дело!

— Разорвал и бросил.

— Куда, позвольте узнать?

— В уборную...

— Какая точность! Не знаешь когда, а про уборную помнишь. В какой унитаз — тоже помнишь? Кто еще читал?

Скольжение вниз по склону.

— Никто! Я сейчас же выбросил!

— Ошибка! — взвыл Башке чуть не жалобно. — Ошибка! Грубая ошибка! Ты должен был передать нам. Разве ты не видел, что это подстрекательство против рейха? Ведь ты, поступая на завод, подписал заявление, так? Все подписывают. Уже одним тем, что ты не сдал листовку, ты совершил преступление против рейха. Измену! Уже за одно это я не могу отпустить тебя. По существу, я должен передать тебя дальше... известно куда! Понял теперь свое положение? — Башке не хватало дыхания, он обтер лоб платком и продолжал уже более мирным тоном: — Ты можешь этого избежать, если будешь благоразумным; я поступлю так только в крайнем случае. Лучше не выносить сора из избы. Да и, в сущности, это просто мальчишество. Пока ты у нас, и ты и твои товарищи могут отделаться сравнительно легко. Это я тебе обещаю. Геройский союз ваш под названием «Орфей» мы можем быстро ликвидировать, хоть я и не говорю, что это пройдет совсем уж безнаказанно для вас. Само собой!

Только тут Гонза заметил, что они не одни: в противоположном конце комнаты, у окна, спиной к ним сидел на стуле еще какой-то человек; руки в карманах штатских брюк, он застыл, опустив голову на грудь и совершенно не вмешиваясь в допрос.

— Так как же? Поди, ведь тоже спать хочешь?

В нестерпимой тишине Башке постукивал ручкой по столу — звук ритмичный и усыпительный; тонкие веки, похожие на мигательные перепонки у кур, то медленно прикрывались, то опять открывались.

— Но я действительно... — начал было Гонза.

— Послушай, — прервал Башке уже с оттенком томительной скуки. — Ты исходишь из ложной предпосылки, будто мы ничего не знаем — так? И не хочешь подводить остальных. Я тебя понимаю, но ты ошибаешься. Вы совершенно незначительный случай, у нас есть дела посерьезней. Я не хочу подымать из-за этого панику, я этого не люблю. Но нам известно больше, чем ты думаешь. Нам известны все ваши проделки, листовки ваши у меня — все полностью, аккуратно пронумерованные, и, если б не служебная тайна, я бы показал тебе занятую папочку. Там списки тех, кто нам помогает. У тебя глаза бы на лоб полезли. На заводе ведь не одни герои да саботажники, как ты воображаешь. Ты и не представляешь, сколько народу о вас знает, сколько людей вас видело, я мог бы их перечислить. Хочешь? Времени довольно! Я, собственно, знаю все главное, но хочу услышать об этом от тебя, у меня на то свои причины, которые тебя не касаются. Смотрю вот на тебя, и мне ясно, что ты мне не веришь. Говоришь себе: хятрит. Но я не втираю очков. Я маленько помогу тебе... хочешь? Знаком тебе вот этот нож?

Только не выдать себя, не повести бровью! Понадобилось неслыханное самообладание. Удалось? Кажется. Гонза чувствовал взгляд из полутьмы по ту сторону стола прямо физически, как нечто весомое. Нож! Лежит спокойно на столе, никелированные части тускло отражают свет, он узнал его с первого взгляда, по облупленному черенку. Нож! Войты! Конечно! Что они знают? Конец, конец!

— Я нашел его на складе бумаги, — послышалось из-за стола. — Дилетантские штучки, одна за другой. Мы можем продолжать. Если тебе надоело мое общество, скажи только, и хозяин придет сюда за ножом. Почему бы нам не потолковать втроем? Не веришь?

Вслед за этим совершенно неожиданно допрос кончился.

— Ну, с тебя довольно. Да и с меня тоже. Я не двуличный. У тебя будет время для размышлений, как у Марженки из «Проданной невесты».

С чиновничьей аккуратностью он принялся убирать со стола, запер розовую пачку в стол, револьвер исчез в кармане. Перед тем как уйти, он кивнул своему немому коллеге, еще раз наклонился над неподвижным Гонзой, теперь еще больше похожий на мертвеца, чем обычно.

— Видишь, я не пустые слова говорю. У вас ни малейших шансов. Теперь слушай: ты останешься здесь, пока я не вернусь, и не пробуй бежать. Впрочем, бежать-то некуда, кончится катастрофой, и не по моей вине. Я позабочусь, чтоб ты не помер с голоду. Вернувшись, хочу услышать от тебя разумное слово. Иначе придется отправить тебя на исповедь в город в один очень солидный дом. Там развязывается язык и у таких борцов, что не тебе чета. Те не занимаются такой школярской чепухой, те кидают гранаты, не моргнув глазом, им пальца в рот не кладут. Гм... послушай: а не лучше было бы организовать под этим воз-

вышненным названием, ну, хоть певческий кружок? «Орфей», гм... Или шахматный кружок? Жаль, пропадает красивое название!

Ключа загремел в замке, и прихрамывающие шаги мало-помалу затихли в конце коридора.

Далекий гудок возвестил конец ночной смены.

Посадил сверчка в спичечную коробку и приложил ее к уху: слышишь, как шуршит? Выпусти, выпусти его! Вот бы тебя запереть в коробке!.. Это было давно. За шторами затемнения выползал из тумана день, завод наполнился звуком шагов, но здесь застряла ночь, и время было как замерший поток, отчужденное и неизмеримое, он не воспринимал его бег.

Что будет? Вот откроется дверь, и в нее втолкнут остальных. Этого Гонза боялся больше всего. И еще — нож! Самое обидное, что в оскорблениях и насмешках, которыми Мертвяк осыпал их, было много правды. Молокососы, с голыми руками вышли на бой, имея один револьвер, которого так и не пустили в ход! Тем сильнее чувство поражения. Все зря! Несколько листовок, несколько блошиных укусов — и конец! Человек бессилён. Душан. Хоть плачь. Зачем мы, собственно, все это затеяли? Красивый жест, потребность дать выход энергии. Хвастовство? Пишкот! Веснушчатое лицо балагура — и душаций бессильный гнев, когда его тащили по цеху, атмосфера бойни и неотступная жажда отомстить. Но это был только порыв, этим не проживешь долгие месяцы. Совесть? Да. Бессилие? Да. Потребность что-то сделать, чтобы всю остальную жизнь не было стыдно смотреть в зеркало, обманчивое чувство свободы действия; нет, меня не волокут на убой, как барана... Да. Довольно ли этого? Теперь ему кажется, что у каждого из них были еще свои собственные причины. Ну, хоть Бацилла! Чем не герой?

Который час? Он заставил себя открыть глаза. Вздрогнул от холода. Печаль, липкий деготь печали. Ее лицо. У него даже скривились губы. Река.

Почему объединились именно вы, пять таких разных характеров? Чувство товарищества? Вряд ли. Настоящим моим товарищем был скорей Збынек, но он в рейхе. Товарищей выбираешь добровольно, ищешь их, это дело общности интересов, пережитого, симпатии, какой-то близости, а может быть, и сходства, это сложные и прекрасные, целомудренные отношения. Говорят, они крепче и долговечнее, чем любовь. В «Орфее» ничего этого нет. Ни к кому — может быть, кроме Павла, — я ничего подобного не испытываю. Нас собрал случай, этот завод и жалкая участь рабов двадцатого века, которых тотальный набор загнал в один и тот же цех, на одну и ту же свалку. Да. Мы не выбирали друг друга, и, может быть, потом — если выживем — при встрече в другой обстановке нам нечего будет сказать друг другу, кроме захватанного: «Привет! Как живешь? А помнишь? Лучше не вспоминать!» И все-таки: есть что-то, что тебя связывает теперь с ними больше, чем со всеми другими людьми на свете. Может, то, что вот распахнутся двери и... заплывшие жиром глазки Бациллы... Может, то, что ты дол-

жен молчать ради них! Ради этого толстяка? Должен! Даже если это уже бесполезно и скорее всего неразумно. Как все, что мы сделали. Просто до слез досадно! А что разумно? В чем теперь разум? У старших есть разум. Они слышат его голос. Но старшим уподобились теперь и некоторые из наших призывников. Ничего не делать, раз нет в этом никакого проку! Она все равно не вернется, Павел! Что мы можем против гестаповцев? Она давно уже истлела. Ничего не делать — это еще не измена. Не строить для них самолетов. Что можем, то должны! А вообще-то войну они проиграют и без меня, нам незачем свертывать себе шею. Разумней — не свертывать. Но неразумно ждать — чуда не произойдет, она не останется в живых. Павел! Молчи уж. Мелихар тоже разумный.

Чепуха, чистое безумие, произносят выпяченные губы по другую сторону стола. Заправила. Он смеется над нами. Есть у вас хоть деревянные сабельки, ребятишки? Он хотел спровоцировать меня своими насмешками, но он прав, мы дилетанты. У него есть разум, он сжимает его в горсти, как потную монету, гнусный разум в пальцах покойника — полюбуйся на него, червяк! Нет, не хочу его, восстаю против него, меня от него рвет, плевать я на него хотел! И если ты меня отпустишь, я опять буду неразумным. Да, да. Буду бояться еще больше, но поступить иначе не смогу. Я боюсь света разума, мне было бы страшно в нем жить. Но тогда... — качает с грустным участием своим зеленоватым черепом Мертвяк... — ты понимаешь! Понимаю. Но ты хотел учиться. Хотел. У тебя девушка. Не говори о ней! Это неразумно. Да, неразумно. Лучшая порука разума — страх. И не только это. Ты будешь говорить, будешь! Как граммофон! И против своей воли, и ты уже это знаешь. Чувствуешь это в себе, а? У тебя будет время для размышлений, но это не выигрыш, наоборот: разбираешь себя на части, как будильник. Угадал: это заколдованный круг. В нем заливающая меня уверенность в проигрыше, тщета, упорство, измена, жизнь. Откуда ты взялся, Душан, теперь, когда ты мне меньше всего нужен? Нет, не уговаривай меня, я другой, я люблю ее и хочу жить, чтобы любить ее. Лучше заткну себе уши. Не поможет! Мертвяк раскусил меня, хочет, чтобы я разбился о страх, он заметил, что я скатился на самое дно, когда он хлестал меня листовками по лицу. Он нашел ключ и открывает меня этим ключом, как коробку сардинок, у него есть еще ключи, сотни ключей, о которых я понятия не имею, и он, безусловно, ими воспользуется, так как знает, что в человеке есть кнопки, их можно нажать даже против его воли. Он пошлет меня туда, к исповедникам, — нет, не надо заранее представлять себе! Есть ли смысл молчать? Все равно выудят из меня, а потом... Этот нож!.. А потом попросту убьют. Не могу себе представить: как это быть мертвым? И не хочу.

— Ешь, — слышит он чей-то голос. — А то остынет.

Это не мама и не бред, но, прежде чем Гонза пришел в себя, дверь уже хлопнула и загремел ключ.

Глиняный горшок на столе, ложка — видно, Мертвяки держат слово. Гонза жадно проглотил содержимое горшка, сам не зная, что

такое он ест, потом встал, потянулся оцепеневшим телом, подошел к умывальнику попить и вернулся на прежнее место. Не снится же мне все это? Он положил локти на стол, опустил голову на руки. Она была невероятно тяжелая. Какой сон бывает у осужденных в ночь перед казнью? Лучше усни! Усни!

Мелихар утер себе здоровенной лапой нос. Чего он волнуется? Пускай отстанет, мне надо лезть наверх, железная лестница — без конца, эта лестница приставлена к будке в малярном цехе. Послушай, а довольно ли в раю мешков? Резкий свет слабеет, это настольная лампа, пахнет чаем, мать проходит в своей тяжелой шинели мимо кожаного кресла, и из вывернутых карманов ее вылетают маленькие птички. Чего он от меня хочет? Мучительное напряжение мозга, и, повернув голову, он видит темную дыру. Хлест, хлест! Я не хочу, я все расскажу! Боль при движении, он хнычет и жалуется, как мальчишка, поняв, что его куда-то несут, а он лежит на разноцветных флагах, а Леандер поет мужским голосом хабанеру. Рука полоснула ножом с отколупанным черенком и — мат! Дверная ниша. Спор с кем-то. Нет, ты позер, ну-ка сделай это, наложи на себя руки. В реку падает слюна, чудовищно обильная, поблескивающая слюна, он мчится по мостовой — и перед ним покачивается сетка с бутылкой молока и пачкой цикория, он их догнал, но когда пешеход обернулся, оказалось, что это она и вместе с тем совсем не она, а та кукла с равнодушным лицом Нефертити, она клюет его остывшими губами в губы... Почему именно она? И жадные, бесстыдно-язвительные поцелуи дарят ему наслаждение, он отчаянно сопротивляется и уже все понял. Нет, не хочу, ведь вы смерть, я не хочу идти с вами.

Он проснулся весь в поту и с неотложной потребностью помочиться. Жив! Заколебался у двери, не зная, решиться ли и постучать, но тут заметил ведро под умывальником...

Который час? Неразрешимая проблема! Он услышал гудок. Тишина. Потом шаги. Отдаленное жужжанье насекомых. Заправила вперил в него водянистый взгляд — я тебя запомню!.. Он моргал, глядя на раскаленную нить электрической лампочки, шаги и голоса, пол стонал и гнулся под тяжестью тел, но никто не приходил.

Забыл обо мне. Или все-таки...

Шаркающие шаги замедлились у двери — нет, это не Башке! Гонза оглянулся, когда ключ начал медленно поворачиваться в замке. Смерть? Нет, в темном прямоугольнике появилась сторбленная фигурка, проникла внутрь, и дверь захлопнулась. Вошедший попал в полосу света, и оказалось, что это низенький и какой-то совсем уж обтрепанный старичок. Морщинистое лицо с лукавыми глазками. Пришлепал ближе, со щеткой и ведром в руках, жмурясь на свет. Узнал Гонзу.

— Эге, браток! Ведь мы знакомы, а? Помнишь?

Где я его видел? А, вспомнил: холодный утренний вагон, пустое отделение, рука кромсает кожаный ремень у окна — тот самый старик! Чего ему здесь нужно?

— Знаешь, набойки-то до сих пор держатся! — начал он, показы-

вая свои чиненные башмаки. — Кожа как с бегемота, зря ты не взял. Ну, не беда... Держался ты молодцом, прямо сказать...

Он побрызгал пол водой и принялся не спеша размахивать щеткой, время от времени оглядываясь на дверь, непрестанно бормоча всякую чепуху, хотя его мучила одышка.

— Нужно же кому-нибудь здесь подметать, верно?.. А платят не плохо, между прочим, это они молодцы...

Вот пустомеля! Гонза не отвечал, но был рад, что видит знакомое лицо, пусть даже лицо этого болтливого старикашки.

— Ну-ка, братишка, отсыдь, надо подмести тут! — Старик подковылял к самому стулу. — А под тобой-то подметать нехорошо, примета такая — тогда ты не женишься и останешься бобылем, вроде меня. А плохое это дело — человеку одному на свете жить...

Что это он шепчет? Я не ослышался? Нет. Слышал внятно.

— ...Ничего они не знают... Не поддавайся на ихние штучки! Ни гу-гу! Ржигу знаешь? Из него что-то выудили... будто он тебя где-то видел...

Старик распрямил спину, на лице его не изменилась ни одна черта, он громко произнес, отдуваясь:

— Конец — делу венец! Проклятый ноябрь. На дворе опять льет, то-то слякоть будет. Ну, спасибо этому дому, пошел к другому.

Не говоря больше ни слова, он поплелся из комнаты, стуча ведром, и не успел Гонза опомниться, как за стариком захлопнулась дверь...

Узнав прихрамывающие шаги, Гонза выпрямился и напряг мускулы лица. После ухода старика протекла, наверно, бездна времени.

Он вздохнул почти с облегчением. Ключ.

— Наконец-то могу уделить вам минуту, — промолвил Мертвяк, усевшись за письменный стол.

И все началось сначала: чиновник опять вынул листовки, тщательно отвинтил колпачок самописки, снял волосок с пера и только после этого впери в Гонзу свой мертвенный взгляд.

— Надеюсь, вы тут не очень скучали. У меня не было возможности обеспечить вам приятное общество. На дворе ужасная погода!.. Так — начинай!

Короткий приказ был дан утомленным голосом и без угрозы.

Гонза поднял голову.

— Я ничего не знаю. Все, что знаю, я уже вам сказал. Эту листовку я бросил в уборную, не читая...

Решительный тон, каким это было произнесено, вызвал у Мертвяка некоторый интерес, но не вывел из себя.

— Это ваше последнее слово? — спросил он без подъема.

— Да. Не могу ничего больше прибавить.

— Гм... и то ладно. — И после краткого, но сосредоточенного раздумья: — А вы знаете, что я с вами сейчас сделаю?

— Не знаю. Но, кажется, догадываюсь, — промолвил Гонза кратко, чтобы не слишком раздражать его.

— Нет, не догадываетесь, — живо прервал его Башке и встал.

Он удалился необычно твердым шагом, заперев за собой дверь на

ключ, и вернулся не очень скоро с какой-то бумагой в руке. Перестав обращать внимание на Гонзу, он закурил сигарету и стал что-то тщательно переписывать. Канцелярский чиновник с наслаждением работал. Готово. Он с довольным лицом придвинул бумагу к своему побледневшему гостю и подал ему самописку.

— Прошу подписать! Это как будто мелкая формальность, но дружески советую вам отнестись к ней внимательно. Прежде всего прочтите. Если мы узнаем, что вы кому-нибудь рассказали, о чем мы с вами здесь говорили, нам, само собой, придется принять меры.

Текст прыгал у Гонзы перед глазами, он прочел с большим трудом, потом поднял глаза на терпеливо ожидающего Мертвяка:

— Значит...

— Вот именно, — прервал его Башке с довольной улыбкой. — Не говорите, что не рады, все равно не поверю. Понимаете теперь, что разговоры о нашей жестокости в значительной мере несправедливы? Я рад, что могу это сделать. Право! Мы не людоеды и действуем только по закону. Вы не признались — ничего не поделаешь. Может быть, тут в самом деле ошибка, бывает иногда такое странное стечение обстоятельств, и мы не непогрешимы. Бывает, бывает. Хотите закурить, чтоб успокоиться? Да не бойтесь, теперь можно. Представляю себе, что значит для курящего так долго не курить, а паек — маленький. На сей раз закроем глаза на то, что вы не передали той листовки, а то пришлось бы ползавода посадить, и производство станет, верно? Но только на сей раз! Вы теперь знаете, что должны сделать, если натолкнетесь еще на что-нибудь подобное...

Он встал, обошел, прихрамывая, вокруг стола и улыбнулся с самоуверенной благосклонностью.

— Если случайно встретитесь с кем-нибудь из этого... «Орфея»... скажите им, чтоб они бросили! Пока не поздно! Ведь глупо! Переловим их как мышей, жаль молодежь. И рук, нужных государству. Прошу передать им это от меня лично, — прибавил он со смешком. — А вы научитесь играть как следует в шахматы! Вы играли schrecklich*.

Он отковылял к двери и повернул ключ.

— Можете идти!

И это была, в сущности, самая большая неожиданность, которую Гонзе привелось здесь испытать.

Его охватило головокружительное чувство легкости и трепетной радости, хоть и не без примеси подозрения. Нет, это невозможно, не может быть, чтоб этим все кончилось... да, но я на свободе и могу идти, куда хочу, могу шататься как пьяный по заводу и дышать полной грудью...

Тьма, агатовая тьма свистела в сплетениях проводов и плескала ему в лицо облачной водой, но это было очень приятно. Он слизывал капли с губ, подставлял лицо дождю. Куда? К ней! Фюзеляжный при-

* Ужасно (нем.).

тягивал его, как свет ночную бабочку, он протащился мимо проходной, в главных воротах посмотрел на часы: половина десятого, господи, сколько же времени я там проторчал! Ребята снова уже на работе.

Услыхал, что кто-то зовет его из ворот, узнал певца.

— Иди сюда, компаньеро, здесь тебя ждут!

Мама. Он увидел ее в жарко натопленной комнатке за проходной, она встала ему навстречу в своей железнодорожной шинели, с сокрушенным лицом и глазами, подведенными бессонной ночью. Она подавила рыдания. Он был ей благодарен за это.

— Енка!

Он еще не был уверен в своем голосе и предпочитал не открывать рта — наклонился к ней и дал себя обнять и поцеловать, что ж такого, ведь это моя мать, я вышел из этого женского тела, и она имеет теперь естественное право прикоснуться к нему с этим особенным жадным чувством собственности, словно лихорадочно стараясь убедиться, что я целый и что ни кусочка меня не осталось там, нет, руки, ноги, голова — все здесь. Ну довольно, прошу тебя. Его смущали глаза веркшуца, — этот взрыв чувств как бы застал его врасплох. Он осторожно высвободился из ее объятий.

— Все уже в порядке, — предупредил он ее вопросы, боясь, как бы это свиданье не приобрело слишком патетического характера. — Павел заходил? Почему ты здесь?

— Я хотела... хотела идти туда, Енка...

Его смяла внезапная растроганность; к ее материнской тревоге приешивалась почти девичья застенчивость, он не удержался, погладил ее по каштановым волосам. Они были мокры от дождя. Красивая еще, подумал он с горькой гордостью, у меня довольно красивая мама.

— Отпустили меня. Все объяснилось. — Он нарочно сказал это громко, чтоб слышали веркшуцы. — Утром буду дома.

Вот и все, и сразу словно им больше не о чем было говорить, их охватила обычная неловкость. Балда, надо было бы ей что-нибудь сказать, ну хоть что ты очень рад ее приходу. Он не сумел выговорить этого, его хватило только на самые банальные вопросы — что нового дома, что делает дед, и все то, что несмело затрепетало между ними в первую минуту, улетучилось. Он даже преувеличенно забеспокоился, как бы не ушел последний автобус в город, а ей ведь утром на работу; она грустно согласилась и унесла во тьму свое разочарование.

Он с трудом подавил желание еще раз окликнуть ее и только помахал рукой, наугад, по направлению к автобусной остановке.

— Все в порядке, компаньеро?

— Кажется.

Он откозырял и пулей выскочил из проходной.

Все стало какое-то другое, а может, все прежнее, только я изменился. Видно, взросление — не плавный процесс, он идет скачками в решающие дни, а то и минуты.

В лицо ему ударил железный грохот, запах металла, затхлого тепла. Он втянул ноздрями воздух и зашагал по проходу, к стапелям, не глядя по сторонам. Но, сделав несколько шагов, ясно понял, что его

возвращение не осталось незамеченным. Сотни глаз следили за ним, кто как будто бы с безразличием, кто с дружеским удивлением или с безотчетной тоской, точно он вернулся с того света. Он понимал их. Но он то мог смотреть прямо в глаза кому угодно оттого, что совесть его была как перо ангельского крыла. Факт, господа! Из меня ничего не выудили.

Чей-то голос пробился к нему сквозь грохот цеха, он повернулся на него и в то же мгновение почувствовал ее губы на своих губах. Она обняла — это была она, он узнал ее по этому шалому поступку, по тому, как она обняла его на глазах у всех, впервые показав открыто, что близка ему. Он понял все это и схватил ее за руку.

— Как ты выдержала?

Некоторое время они были в забытьи, в полной тишине, они стояли в этой тишине одни, обнимаясь глазами. Потом она опомнилась и заправила выбившуюся прядку волос под платок.

— Не знаю. Умирала от страха. Тысячу раз, в последний — вот только что... А теперь я до невозможности жива. Потрогай!

Он беспокойно огляделся.

— Потом. Я обыкновенный смертный и чувствую себя на сцене дураком, понимаешь?

— Абсолютно не понимаю. Пускай смотрят, мне нечего стыдиться. Вот человек, которого я люблю, смотрите! — Она опустила ресницы. — Ты не боишься, что я тебя съем?

В проходе между крыльями на него натолкнулся ничего не подозревавший Богоушек, он вскрикнул от неожиданности и выпустил из рук шланг от пневматического молотка.

— Могилы разверзаются! Что с тобой было, друг?

— Ты не поверишь, но они решили спросить моего совета, где пустить в ход тайное оружие — на Западе или на Востоке.

— Иди ты... — выругался по-мужски будущий ученый и провел рукой по своей бородке. — Врешь?!

— Ни капельки. Кроме того, я позорно проиграл партию в шахматы. Ты случайно не видел Павла?

— Нет. А что?

— Да хочу спросить его насчет одного хода слонем. А Бацилла где?

— Болен. Вчера еще скапустился, с животом что-то. На складах вчера аресты были... Ну будь!..

Мелихар поправлял изоляцию на подвесной лампе, он кинул на возвращенного хмурый взгляд и непристойно выругался.

— Наконец-то! Я уж думал, придется мне обучать какого нового пачкуна. Нам со вчерашнего дня прибавили еще одно крыло, так что зевать нечего!

И как ни в чем не бывало он взял молоток и с нетерпением стал ждать, когда напарник найдет поддержку и залезет под крыло.

Ну вот, размышлял Гонза под оглушительные удары, пусть-ка теперь Милан врет насчет рабочих! Вот там один из них. И хоть Гонза уже знал разные капризы Мелихара, но такого он не ждал: в том,

как тот его встретил, не было ни капли дружеского участия, даже просто чувства, — одна резкость и чуть не гневное осуждение. Словно Гонза прогулял по своей воле. Сволочь, чурбан бездушный! Кретин! Его взяла досада, он работал, стиснув зубы, замкнувшись в гордом молчании, и не думал скрывать свои чувства. Дзуб... дзуб... Как можно скорее отыскать ребят и успокоить их! Неужели не знают, что я вернулся? Как же это, никто из них еще не подошел? Боятся, что ли?

Задумавшись, он не успел снять палец с головки заклепки, железо задребезжало под молотком. От острой боли поддержка вывалилась из руки, Гонза тихонько застонал и сунул палец в рот: обычно это помогало. Зажмурился.

— Что там еще? — загремело у него над головой. — Работаешь, так не думай о всякой чепухе, черт возьми! На такую работу мне...

Ох, это мучительное желание кинуть в него молотком или хоть швырнуть ему в лицо самые грубые оскорбления! Сдержался. Не опускаться до его уровня! Показать ему свое презренье! Он сплюнул и, чуть не задохнувшись от бешенства, поднял поддержку.

Давай! Меня не заденешь, дикарь!

Только когда закончили крыло и устало перевели дух, с Мелихаром произошла одна из свойственных ему непонятных перемен: он отер пот с лица, осклабился и сам надкусил кислое яблоко примирения; вид у него был как у виноватого мальчишки. Он подбросил поддержку, что обозначало обычный призыв: ну-ка, сколько раз поднимешь?

— Ну что, молодой?

Неохотное пожатие плечами.

Мелихар поскреб себе виски.

— Ежели ты рассчитывал на триумфальную арку с певчими... — Гонзу обозлило, что Мелихар понял причину его строптивости и так бесцеремонно ее обнажил. Но он промолчал. Мелихар вынул из кармана мятую пачку дешевых сигарет вчерашней выдачи — в ней оставалось всего три штуки.

— Пойдем подымим, что ли, молодой.

Приглашение нельзя было отклонить, и они пошли. Меня не умаслишь, твердил про себя Гонза. Коридор, ведущий во двор, был пустой и холодный, за дверью свистел ветер. Закурили молча.

— Дали вам там хоть кофей-то? — прогудел Мелихар.

Гонза дрожал от холода, но нарочно не спешил с ответом.

— Почти что так.

— Гм... И просто взяли да отпустили?

Гонза выдохнул облако вонючего дыма. Ломай себе голову! Потом с небрежным лаконизмом бросил:

— Взяли да отпустили.

— Ну да! — промолвил Мелихар. — Они ведь хорошие, факт.

Он сильно затянулся, огонек сигареты озарил его лицо; он перестал спрашивать, но Гонза готов был поклясться, что Мелихар усмехается в темноте. Это побудило Гонзу начать самому.

— Ничего из меня не выудили.

Это прозвучало строптиво.

— Понятное дело. Они ведь круглые дураки, это уж как есть. А вы почему знаете, что не выудили?

— Что я, совсем дурак, что ли? — В голосе Гонзы был оттенок неуверенности. — А что вы хотите сказать?

— Ничего. Не выудили так не выудили.

Мелихар простуженно раскашлялся, потушил сигарету пальцами и кинул взгляд вдоль коридора.

— Только вот что... — равнодушно пробормотал он, — другой раз можно выдать, хоть и держишь язык за зубами.

Куда он гнет? Почему не говорит прямо, черт бы его побрал!

— Послушайте, — продолжал Мелихар, чуть шевеля губами, — знаете, что такое подсадной? Нет? Старый трюк. Подсадной пьянеет оттого, что его выпустили на свободу, и приводит к ним остальных, как на веревке. Тут много глаз. — Ткнув безмолвного помощника в грудь, он прибавил: — Конечно, лучше всего, когда ты ни во что не впутывался, а потому никто из тебя ничего не может выжать, правда?

Что у тебя на уме? Вызывающая беззаботность, с которой говорил Мелихар, задела Гонзу.

— Откуда вы знаете, что из меня нечего было выудить? — вырвалось у него. — Думаете, я трус? Зас... с аттестатом? Было, если хотите знать... было!

— Заткнитесь! — резко остановил его Мелихар, невидный в темноте коридора.

Кто-то прошел мимо, дверь скрипнула, шаги удалились, но напарник долго не подавал голоса. Гонза слышал его дыхание, испытывая тягостное ощущение, что на него упорно смотрят.

— Да что я тут с вами время теряю... — промолвил Мелихар уже без всякого пыла. — Неохота мне из-за вашей болтовни беду наживать. Я ничего не слышал, хоть расшибите свой ученый кочан! Ничего не поделаешь... никогда вам не образумиться, одно слово — гимназер!

— Главное — вы сами благоразуменький! И такие, как вы... — кинул Гонза, задыхаясь от злобы. Выпрямился лицом к лицу с этой огромной тенью. Взорвался. Теперь-то я ему все выложу! Все, что о нем думаю! Гонза с изумлением слушал себя: — Вам мажут медом по губам... подкупают вас деньгами и водкой, чтоб вы для них вкалывали... вы нужны им для их войны... Вы благоразумны! Эти ваши электроплитки... эта шарашка... Деньги-то не пахнут! Плевать вам на все, так?!

Он не договорил. Прежде чем он понял, что в бешенстве наговорил лишнее, было уже поздно: крепкая рука схватила его за шиворот и стала трясти, как сухую тростинку, превратив в беспомощный предмет. В лицо ему пахло прокуренным дыханьем.

— Ты!.. Нахальный... щенок... Только еще пикни — пришибу! Ты... смеешь меня упрекать, а сам дальше собственного носа не видишь! Кто тебя кормит, дохлятина? Как ты смеешь оскорблять людей, о которых понятия не имеешь? Ты, пузырь надутый... кабы не был таким дохлым...

Сейчас он меня убьет! Зачем я это сказал, дурак... Ну и пускай, пускай знает! Гонза с бешеной силой уперся ему в грудь.

— Ну и бейте, — прохрипел он, почти теряя сознание. — Бейте... чтоб мне не отвыкнуть... я уже привык там...

Руки Мелихара разом разжались — страшная сила, прижавшая его к стене, чуть не лишила его последнего дыхания, — но теперь он был свободен. Шипенье, как из лопнувшей трубы парового отопления. Это было все. Мелихар уходил, нет, убежал, может быть, испугался силы своих рук, распахнул дверь в фюзеляжный, огромная фигура его скользнула в полосе света и скрылась в проходе.

Эхо захлопнувшейся двери отдалось в пустом коридоре.

Что же это? Что я наделал? Я там с ума сошел, совсем спятил. Оскорбил Мелихара. Что я знаю? Он прав, прав, он меня предупреждал, он добра мне хотел, конечно! Как же теперь быть? Поправить дело, пока не поздно. Подсадной... А что, если он прав и мое освобождение в самом деле ловушка? Во что бы то ни стало найти ребят и все им выложить, пока они не наделали глупостей. Ох, этот нож!

Голова трещала от напряжения, в животе урчало от голода. Гонза провел рукой по лицу и вышел во двор глотнуть чистого воздуха, но не мог освободиться от отвращения к самому себе. Извинюсь перед ним, переломлю свою идиотскую гордость!

Вернувшись в цех, он уже с порога стал искать глазами кого-нибудь из ребят, но никого не увидел. Где Павел? Где Войта? Как это они сами до сих пор меня не отыскали? Что с ними случилось? Спокойно! По проходу навстречу ему шел Пепек. Нет, я тогда не ослышался. Посмотри на него, вот кто тебя подсадил, а теперь спокойненько посвистывает себе, выпятив губы, кепчонка набекрень, вот увидел тебя, изображает удивление, хоть наверняка давно знает, что ты вернулся! Не втрешь очки!

Спекулянт моргнул как ни в чем не бывало.

— А-а, привет. Ну как дела?

— Как видишь, — отрезал Гонза с кривой улыбкой. — Цел остался.

— Славно, милоч. И ничего не выжали, а?

— А ты знаешь, что из меня что-то можно было выжать? — В этом вопросе была вызывающая двусмысленность, на которую его подбил вопрос Пепека. Гонзе показалось, что щучье лицо в какую-то долю секунды дернулось, но Гонза сам вывел его из затруднения. — Какая-то ошибка. Ничего серьезного...

— Да ну? — удивился Пепек. Сопнул носом. — Может быть. Люди — сволочи. А как... — залпнулся он, — взбучку... получил?

В вопросе таился животный страх перед побоями. Нет, начего ему не сообщать, а ребят предупредить! Если он догадается, что я о нем знаю, это может стать опасным.

— Да нет.

— Славно! Зря болтают. Как и насчет этих евреев...

Спокойно! Это не Яго, эстет, смакующий зло, это просто загнанная в угол крыса. Нетрудно представить себе, как пара оплеух заставила

его говорить, как он хныкал, давал обещания и скулил от страха, чтоб только не развеялась заветная мечта о звякающей автоматической кассе.

— Само собой. Было даже интересно.

— Вот и хорошо, — вздохнул оживленно Пепек. — Курева не нужно? По двадцатке. Набитые гильзы подшевели.

Что же ты им скажешь, мерзавец? Что ошибся?

— Не надо, — мягко отказался Гонза. — Мне бы чего-нибудь пожрать.

Пепек с удовольствием перешел на свою любимую тему:

— Андела принялась за святого. Ты знаешь?.. — Пепек был из тех, которым какая бы то ни было чистота не даст спокойно спать, пока ее не поваляют в грязи. — Затащила его в будку в малярке — должна, мол, исповедаться ему во всех своих грехах, а мы-то в окошко глазеем. Видим, у него пальцы дрожат, когда она как ни в чем не бывало руки его на ляжки себе положила... а он так насупился, и даже очки у него запотели. Заметил ты новую кошечку в «Девине»? С Коброй работает... Лакомый кусочек. Буфера — во!

— Ну, будь здоров! — прервал его Гонза на полуслове.

Он увидел Павла. Тот медленно шел от конторы к своему участку, тонкий, чуть сутулый, руки у него висели, и он, казалось, был безразличен ко всему окружающему. Гонза догнал его, тронул за локоть.

— Привет.

Павел обратил к нему бледное лицо, как будто ничуть не удивившись.

— Привет.

Он опять отвернулся и не замедлил шага, так что Гонзе оставалось приспособиться к нему. Павел будто спал на ходу.

— Мне нужно с тобой поговорить.

— О чем? — шепнул Павел, не пошевелив губами.

Все стало другое, и в Павле какая-то перемена. Гонза, озадаченный, помолчал, потом высказался напрямик:

— Что дурака валяешь? Не делай вида, будто не о чем.

— Не останавливайся, — пробурчал Павел; он упорно глядел вперед с таким видом, словно хотел отделаться от Гонзы. — На нас глядят...

Замечание было разумное, Гонза признал это и подчинился. Что они все, ошалели от страха? Или что-то произошло? Разве он не рад меня видеть? Перегибают палку с этой конспирацией! Что из того, что кто-то нас видит вместе, ведь это не первый и не последний раз и тут нет ничего примечательного.

— Все в порядке, кажется. Пока что! Они из меня ничего не вырвали, но, видимо, знают порядочно! Мы наделали кучу глупостей.

Голос его тонул в гуле цеха, он шептал Павлу на ходу, не зная, с чего начать, но с каждым словом усиливалось глупое ощущение, что Павел почти не слушает. Больше того: не хочет слушать, старается ускользнуть от него.

— Где ребята?

— Какие?

Невероятный вопрос, кинутый в пространство перед собой.

— Милан.

— Переведен в погрузочный. Бригада «раз, два — взяли». Только в дневную смену.

— А Войта?

— Завтра приступит па стартовой. На аэродроме. Тоже перевели.

— Как же так?

— А я почему знаю? — прозвучал равнодушный ответ.

— Нас разогнали, но кто? Кто это устроил? Значит, кто-то о нас знает... и так вдруг... Должно быть, это наши люди...

— Молчи!

Они подошли к крылу, у которого работал Павел, и остановились. Павел неизвестно почему глядел в сторону, и на лице его была написана тревога.

— Мне кажется, я сошел с ума. Что с тобой сделалось, Павел?

— Я ничего не знаю, не задавай дурацких вопросов и шагай дальше! Имей соображение!

— Но надо же нам...

— О чем, скажи пожалуйста? Советую тебе ничего не предпринимать, никого не разыскивать и обо всем забыть! Ясно? Так нужно, понимаешь? Когда все успокоится, мы тебя сами позовем...

Он повернулся и отошел от остолбеневшего Гонзы, как будто сразу забыв о нем; взял молоток и нажал спуск.

Тррррра! Залп карательного отряда!

Не стой, проходи! Почему? Или мне просто кажется? Ты прокаженный, отмеченный, можешь заразить всех, держись подальше! Один! Выброшен на пустынный берег посреди шумного множества знакомых людей. Что тут произошло? И что делать? Забыть, не искать их? С ума сойдешь.

Мы тебя сами позовем! Не звучит ли это как вызов на суд? Самки позовем. Кто? Мы. Мы, остальные. Но почему? В чем они подозревают меня?

Он поплелся к своему стапелю, а на душе у него кошки скребли, он насильно заставлял себя передвигать ноги. Мелихар, колавшийся в жестяной коробке, окинул подошедшего загадочным взглядом. Он не дал Гонзе открыть рот, отмахнулся от его извинений и указал ему на поддержку под крылом. Стук молотка зазвучал для Гонзы прелюдией к примирению, но в воздухе не проходила напряженность и неуловимое ощущение, будто почва уходит из-под ног, куда-то унося его, осталось.

Больше того — оно усиливалось.

II

Дверь чуть заметно приоткрылась, кто-то глянул сквозь щель во тьму коридора и сейчас же закрыл опять. Он узнал голос Бациллы.

— Ребята, это Гонза.

И снова тишина, словно они там, внутри, шепотом совещаются.

впускать или нет. Он потоптался на месте и еще раз отстукал по деревянной филенке условленный сигнал. От поворота лестницы доходил мерцающий огонек, теплящийся под распятием, бросая на исцарапанную стену его фантастически увеличенную тень; где-то играло радио, по галерее шаркали туфли.

Сколько уж дней? Один, два, три. А ничего не делается. Ровно ничего. Никто его не ищет, никто не обращает на него внимания, и это хуже всего. Просто невыносимо! Будь он дурак, он поверил бы, что тут и конец, все вернулось к однообразию приходов и уходов, звяканью контрольных часов и ночной дремоте. Разверзшаяся вокруг него пустота создавала нежеланный простор для размышлений, терявшихся в мутной мгле. Он торчал в холодном кафе, так как Бланка не могла с ним встретиться, смотрел на свои праздные руки и казался самому себе каким-то иссушенным и покинутым.

...Наконец дверь приоткрылась, послышался голос Павла:

— Входи!

Он вошел в темноту. Только после того как дверь за ним захлопнулась, на столике зажглась лампочка. Невнятное бормотанье было ответом на его приветствие. Глаза привыкли к свету и начали различать лица. Здесь были все. Они смотрели, как он снимает мокрый плащ, и молчали. Возникло гнетущее, хоть ничем и не обоснованное ощущение, будто он непрошенный гость, но он сейчас же отогнал его. Глупости!

Он хотел занять свое обычное место на кушетке, но кто-то подставил ему стул; это немного его удивило, но он сел и стал дуть на застывшие пальцы.

Почему они молчат? Он растерянно огляделся. Павел пристально смотрел на него из охровой тени — неподвижно и печально; Войта отвернулся, смущенно сложив большие руки на коленях; Бацилла, сидя на расклевшемся стульчике, избегал прямого взгляда, и его жирное лицо все обвисло, как тесто. Милан рассматривал Гонзу, пытливо прищурившись; его все время душил кашель. «Орфей»! Весь «Орфей» налицо, опять они все вместе, все по-прежнему — и в то же время по-другому. В чем? Гонза не понимал, но это было в воздухе. Даже в том, что сидит он против них на стуле, как бы отдельно. Это намеренно? В их поведении нет ничего враждебного, но напряженность такая, что ее можно пощупать.

Он вздохнул с облегчением, когда Павел тихо нарушил молчание:

— Никто не видел, когда ты шел сюда?

— Будьте спокойны. Это исключено.

Он стал поспешно описывать, как дошел, но уже во время рассказа понял, что дело не в этом, и оборвал на полуслове; смутявшись, стал рыться в карманах, но ничего не нашел. Милан протянул ему потертую коробочку, в которую собирал для других окурки. Гонза поблагодарил его взглядом и с преувеличенной тщательностью стал свертывать самокрутку, а все следили за ним.

Он закурил и поднял глаза.

— Ну давай!

Павел не пошевелился, по-прежнему лицо его было в тени.

Только заговорив, Гонза почувствовал какое-то облегчение. Он старался рассказывать как можно подробнее обо всем, что ему пришлось пережить, боясь упустить самую незначительную, пусть даже ничтожную мелочь; он опустил все относящееся к его личным чувствам, зато изложил свои соображения.

— Нужно все хорошенько продумать, ребята! Этот старикан, я его знаю, мы должны найти его и попробовать, что можно... Не знаю... Может, его кто-нибудь подослал и через него найдем нить. Что он там делает? Не знаю. Может, случайно услышал что-то, а может, и так сбрехнул — следует допустить и это. Нет, я не ослышался, в этом готов поклясться, хотя, признаюсь, я там совсем обалдел. Там знают обо всем, что мы до сих пор затевали.

Пепек Ржига. Факт. Нам надо повести дело иначе и быть остерожней, ребята, а то нас сцапают как пить дать! Твой нож, Войта, я сам видел, собственными глазами, в лапах Мертвяка...

Они слушали затаив дыхание, ошеломленные, волнение их достигло высшей точки, когда он передал им оскорбительный совет Башке. Они были явно задеты. Милан плюнул, Бацилла, выпучив глаза, заерзал на стуле. Страх снова овладел им. Господи! Какая скотина!

Они были задеты. От Гонзы не ускользнуло, что они с трудом подавляют свои чувства, но странно было, что никто его не перебивал; как будто они натянуто и строго молчат, заранее сговорившись предотвратить ему самому запутаться в противоречивых соображениях и вопросах, на которые нет ответа. У него снова возникло леденящее чувство, что он перед судом. Вздор! Он отряхнул его и продолжал говорить, как граммофон, который забыли остановить. Допустим, они хотели сделать из него подсадного — термин, который он впервые услышал от Мелихара, — и накрыть через него весь «Орфей», а может, и еще кого... тех, о ком мы даже не знаем. Но ясно одно: кому-то, безусловно, про нас известно! Он привел веские доказательства. Мы не одни, кто-то постарался капнуть, причем кто-то с нашей стороны! Может быть, есть целая группа, связанная с высокими кругами, может, из руководства, с большими возможностями. Например, эти акты саботажа! Может, таких групп гораздо больше. Среди рабочих — кто знает? Надо любой ценой установить с ними связь, потому что одни мы ничего не добьемся и провалимся все поголовно.

Он кончил, скользнул взглядом по лицам товарищей и с замиранием сердца увидел, что они отводят глаза в сторону. Тут он взорвался:

— Да говорите же, черт побери! Что у вас — язык отсох?

Бацилла испуганно опустил голову на грудь, Милан харкнул в платок, Войта кусал губы, блуждая взглядом по стенам. «Орфей»! Так вот чем все кончается, и это после всех торжественных клятв! Возможно ли?

— Как будто я пришел не по тому адресу. Ну же, Павел! Войта! Неужели я не заслужил... Что случилось?

Павел, собравшись с духом, обратился ко всем:

— Кто хочет высказаться? Что же вы молчите?

Не получив ответа, он устремил из полумрака на ничего не понимающего Гонзу сочувственный взгляд и слабо махнул рукой.

— Нет... ничего особенного. Дело не в том, и нет смысла... — Он как-то странно запинался, будто каждое слово стоило ему мучительных усилий. — Понимаешь... никто из нас против тебя лично ничего не имеет. Не может иметь. Мы верим, что ты держался молодцом. Если б ты проговорился, ни один из нас не сидел бы сейчас здесь. Этого никто у тебя не отнимает. Мы хотели тебя позвать, когда ты придешь в себя, и сказать тебе о нашем решении, но ты пришел сам... Ну что поделаешь? Оказалось, что ты нарушил главное обещание, которое мы дали друг другу в самом начале... и это... пойми...

— Обещание?

— Погоди, мы долго об этом толковали, поругались даже, но... Все, что ты нам сказал сейчас, мы учтем, но... — тут и Павел отвел глаза в сторону и слегка задохнулся, — но без тебя!

Кто-то прошел по галерее, половицы жалобно заскрипели. Все остановилось. Два слова звучали невыносимо долго, отдаваясь в четырех стенах; Милан выпустил коробочку из рук, она шлепнулась на стол — все, вздрогнув, обернулись. Стыд, темная печаль и сомнения.

— Значит... — хрипло вырвалось у Гонзы.

— Да. Так необходимо.

Приговор был вынесен, и все почувствовали какое-то облегчение; только осужденный не понимал. Рассматривал свои пальцы, потом снова стал бессмысленно шарить у себя в кармане, и Милан снова протянул ему свою коробочку. Гонза устремил на него неверящий взгляд, и пальцы у него так дрожали, что он не мог скрутить сигарку. Без тебя!..

— Вы что, ошалели, ребята?

— Нет, — возразил уже твердо Павел, выпрямившись.

— Но ведь я... я же правда ничего не выдал! Я не хвастаюсь!.. Не знаю, как было бы, если б меня прижали в гестапо, мне повезло, но клянусь вам, ребята... Мертвяку я ничего не сказал! Ничего! Поверьте мне! Ровно ничего! Подохнуть мне на этом месте, если вру!..

— Никто и не утверждает, что там...

— Так где же, черт побери? — воскликнул Гонза уже вне себя, но пристальный и словно неумолимый взгляд Павла лишил его уверенности.

— Ей. — Павел наклонил голову. — Я сам с ней говорил. Все ты ей про нас выболтал. Этого ты не станешь отрицать.

Удар был нанесен с неожиданной стороны. Свет лампочки резал глаза, по телу растекалась слабость. Да, этого он не отрицает. Это так. Они правы. Мелихар, Павел, Милан, все. Зачем я тогда рассказал ей? Сам не знаю. Они, конечно, думают — и в этом мне их не разубедить. — что мне захотелось похвастаться, блеснуть перед ней! Впрочем, разве это не так — пусть хоть отчасти? Да теперь уже все равно. Остается стиснуть зубы и уйти, как побитая собачонка.

Он встал, бледный, нагнулся, чтобы взять плащ, никто его не удерживал. Ждут, когда я испарюсь, пришло в голову, пока он одевался. Жаль. Он заметил расстроенный и сочувствующий взгляд Бацциллы, этот жирный добряк с трудом сдерживал желание сказать ему что-нибудь утешительное; Павел сидел подавленный, полный отчаянья; но лицо Милана — лицо беспощадного судьи после приговора — заставило Гонзу заговорить.

— Мне нечего объяснять, — выдохнул он, с усилием выпрямляясь, — это было. Если б я мог, я взял бы обратно все, что сказал ей, хоть в этом-то поверьте мне, ребята. Я подчиняюсь вашему решению... Понимаю вас... Ну что ж! Но я прекрасно представляю себе, кто торжествовал по этому поводу, — закончил он, вперив взгляд в Милана.

— Оставь, — прервал его строго Павел. — Ты ошибаешься.

— Может быть. Но теперь это уже не имеет значения. Я не стану выклянчивать милости. — Он говорил, чувствуя, как слова беспомощно хлопают крыльями. — Надеюсь, вы не думаете, что это она меня выдала! Вчера на Вацлавке забил фонтан нефти... Не верите? Но это куда правдоподобней. Я знаю, что мог бы сказать Милан, наизусть знаю. Личные чувства — в сторону! Может, он и прав со своей точки зрения, но это холодная, нечеловеческая правота, она для меня неприемлема. Я пошел на это добровольно, потому что до конца жизни не простил бы себе, что уклонился. Но... больше не могу! — Комок подкатил к горлу, он продолжал: — У меня нет никакого мировоззрения, как вот у Милана, и я этого не скрываю... никакого бога, никакой философии, я ни с кем и ни с чем не связан. У меня есть только она. И я не променяю ее ни на что, ни на какую фикцию будущего рая, в который я не очень-то верю, ни на какую идеологию. И ни на какое будущее! Без нее я никакого будущего даже не представляю. Мне наплевать на все. Я гордился «Орфеем»... но могу обойтись и без него. И не останусь одиноким. Не пожертвую ради этой глупости самым важным, что я нашел. Что я должен был сделать? Отказаться от нее? Нет, можете считать меня хоть скотиной... Тебе, Павел, я удивляюсь... Неужели ты не понимаешь...

— Нет, не понимаю! — Павел нервно взъерошил рукой свои светлые волосы. — Этим не объяснишь, почему ты проболтался!

— Почему? Я и сам теперь не знаю. Но это уж все равно. Может быть, потому, что верю ей. Как самому себе. Может быть, более того — потому что не сумел что-то скрывать от самого близкого человека... потому что... это...

Довольно! Довольно! В глазах у него уже накалились слезы, и все в нем собиралось взорваться; он на ощупь искал ручку двери, чувствуя, что больше не в силах говорить.

Ему удалось бы уйти, если б Милан, все время сдержанно молчавший, не пригвоздил его к месту.

— Я одного не пойму. Если ты так ее любишь, то хоть поинтересовался бы, с кем она встречается... С кем таскается по ночам...

— Заткнись! — оборвал его Павел.

Поздно.

— Что ты сказал? — промолвил дрожащими губами Гонза. Новый удар и опять с неожиданной стороны — он зашатался под ним. Но тотчас словно оцепенел. — Повтори!

Дрожь охватила его.

Милан успел только поднести руку к лицу для защиты.

— Зачем же я буду... Сам проверь, черт возьми!..

Он не договорил. Попробовал освободиться, оторвать пальцы, с судорожной силой вцепившиеся ему в горло. Гонза тряс его, поднял со стула, как тряпку.

— Говори! — хрипел Гонза у самого его лица. — Скажи еще раз, ты... скотина... я убью тебя, убью, если ты коснешься ее своей ядовитой слюной, ты, грязная крыса...

Только теперь все опомнились от неожиданности. Кинулись разнимать, вырвали Милана, который уже хрипел; шум, паденье стульев, сиплое дыханье отвратительной драки, в этом дьяволе не узнать было прежнего Гонзу, он обезумел, он убил бы, если б Павлу и Войте не удалось общими усилиями вырвать у него из рук совершенно обессиленного Милана.

— Убью тебя, сволочь, пустите меня! Я убью его!

— Довольно! — сипел Павел, почти теряя самообладание и дрожа от гнева. — Держите его, ребята! Тише ты!

Войте удалось завести Гонзу руки за спину, Павел толкнул Милана на стул и загородил его собой.

— Хватит, опомнись, сумасшедший!

Не успели они прийти в себя и собраться с мыслями, как Гонза, резко мотнувшись в сторону, вырвался из рук Войты, и дверь за ним захлопнулась. Удар грохнул по засыпающему дому и разлетелся по галереям, промчалась буря торопливых шагов по деревянной спирали лестницы, и настала тишина, испуганная, зыбкая тишина.

Они старались не смотреть друг на друга. Милан сидел, неестественно наклонившись вперед, измученный, судорожно кашляя и вытирая взмокший лоб грязной рукой. Он дышал открытым ртом, как загнанная птица, и глядел в пустоту.

— Послушай! — взорвался Войта. — Если ты это выдумал...

— Что вы на меня тарачитесь? — голос Милана сорвался смешной фистулой. — За кого вы меня принимаете? Что я — из пальца высосал?.. Мне Лекса сказал, значит, железно! Он знает всю историю с ее братом и врать не станет. Лекса не врет! Он все знает. Что же мне было — молчать? Он обаялся — значит, это уж не его личное дело! Знаете, что могло быть с нами?

Это звучало убедительно, но он все же чувствовал, что слова его вызывают в них какой-то молчаливый и в корне нелепый протест, который заставил его продолжать:

— Конспирация имеет свои законы, — опять он говорил, как проповедник. — Вы до невозможности сентиментальны. Я сказал это и для его пользы, факт! Я тоже представляю себе, каково ему будет, по

в таких делах сострадание побоку, стишком многое поставлено на карту.

Никто не возражал, но атмосфера была отравлена. И хотелось убежать от своего собственного стыда, вон из этой душной дыры, но они все сидели, погасшие и угнетаемые нарастающим чувством бессилия и бесплодности всякого начинания. Хоть плачь! За шторой затемнения опять заскрипели половицы и в тишине, упрямо разъединяющей их, нереально стучал маятник.

— Так что же? — послышался из тени голос Павла. — Нас ведь еще четверо, а?

Он вытащил из-под кушетки картонку с бумагой и поставил ее на стол.

— Я составил текст новой листовки. Надо ее как можно скорей выпустить, иначе Мертвяк убедится, что напал на след. Правильно? Ответа не было. Растерянность. Никто не пошевелился.

Кроме Бациллы.

— Я... — проямлил он с затуманенными глазами. — Я не знаю, ребята... я больше не могу... я не уверен, что мы правы... ведь он нас не выдал... и мне как-то не по себе.

— Не мели чепухи, Бацилла, — прервал его с отвращением Павел. — Мы что, вчера слова на ветер бросали?

— Нет, ребята, это не чепуха, и я...

Беспомощный жест пухлой руки повис в воздухе. Как им растолковать? Словами не опишешь: этот постоянный страх, который медленно сдавливает тебя, и вот ты раскалываешься в нем, как орех между створок щелкунчика. С той ночи он ни разу глаз по-настоящему не сомкнул, и мягкая постелька его, устланная пуховыми перинами, превратилась в котел с кипящей смолой. Ягненок, детка, я позову доктора, что с тобой? Мамуля, бедненькая, не подозревает, что нависло над ее ягненокком. В какую я влип историю! Какой дьявол напел мне в уши? Тщеславие! Молодчина Бацилла, герой! А что, если и маму будут бить? Он хватался за голову, метался по потной простыне и хныкал от отчаяния. Др-р-р-р! Звонок. Уже идут, уже ломятся в дверь — кулаки, револьверы, сапоги, внизу возле тротуара ждет машина. Конец! Каждый звонок вырывал его из постели, он весь трясся, прижавшись ухом к двери комнатки, напрягая слух. Ненадолго отлегло от сердца: нет, это только тетя из Дейвиц. Если все это кончится благополучно, но едва ли, так... что? Он договаривался с судьбою, готовый на что угодно: все раздам бедным — дом, деньги, библиотеку... Стану просто Бациллой. Лишь бы пронесло мимо! Что это? Остановилась машина?.. Хуже всего было во время засыпания, закроешь глаза — и... колючая проволока, решетка, побои.

— Должен вам сказать, ребята... я дерьмо. Не гожусь я, видно, для этого дела и не знаю, выдержал ли бы, как Гонза, если б меня начали бить...

Позорное признание растаяло в смущенной тишине, и никто не удивился. Лучше не думать, что было бы, если б Мертвяк поприжал его! Павел оглянулся на Милана: сейчас Милан обрушится на этого несча-

стного, обдаст его целым ливнем отборных ругательств: буржуй, обжора, трусливое брюхо! Катись отсюда! К мамуле! Под перинку!

Но Милан поднял голову, обвел присутствующих взглядом и, увидев их ждущие глаза, откашлялся.

— Что вы на меня уставились? Он хоть сумел об этом прямо сказать. Никто из нас ни в чем не может его упрекнуть. — Потом Милан прибавил с лихорадочным блеском в глазах: — И я меньше всех...

Изумление, которое он прочел в их глазах, не остановило его: он не позволил своим глазам уйти от их взглядов и рассказал им все о себе. Он запинался, он вонзал себе ногти в ладони и не щадил себя.

— Я думал, что преодолею, но это сильнее моей воли, моих убеждений, моего разума, Лекса знает это за мной, помните, как он предостерегал вас насчет меня... Тот раз, возле конторы, когда нас заметил веркшцц, помните? Я тогда ведь смылся, ребята! Сбежал, как трус, не думал ни о чем, кроме как о своей шкуре. И не признался вам в этом, да! Я не хочу отступаться от дела, не хочу, мне тошно было бы жить, но теперь я должен был сказать вам это. Решайте сами! — успел он прибавить перед тем, как новый приступ кашля заставил его замолчать.

Что-то всплывало на поверхность — такое, чего никто не ожидал. Гнусный вечер! Выломился один кирпич — и другие посыпались, вся стена вот-вот рухнет, конец, конец «Орфею»!

Первым встряхнулся и заговорил Павел:

— Тебе надо прежде всего лечь в постель и лечиться, Милан. Золтаешь черт знает что, у тебя просто жар. — Он положил руки на колени и совершенно спокойно оценил ситуацию. — Похоже на то, что мы промахнулись. Корить друг друга бессмысленно. Уговаривать тоже. Жаль. Конечно, войну выиграют и без нас, это ясно, и никто не должен ни в чем себя упрекать... Желание у нас было. Я хотел сказать вам сегодня важную вещь. Я встретил одного старого знакомого, это замечательный химик. Пожалуй, пора бы нам перейти от листовок к другому — понимаете? Взрывчатка... Может, ему удалось бы, хотя вообще-то он не хочет иметь с этим ничего общего... Но теперь уж о чем толковать...

Он встал, обвел взглядом грязные стены каморки, задерживая глаза на отдельных предметах убогой обстановки, коснулся подушки с выцветшим рисунком, провел пальцем по абажуру на лампе, поиграл шнуром от шторы затемнения. Встал у окна спиной к остальным и засунул руки в карманы дешевеньких брюк.

— Что касается меня, — промолвил он глухим, но совершенно твердым голосом, — то я буду продолжать. Я не бахвалюсь. Я не герой и испытываю страх, как все люди. Но я должен, ребята... Есть вещи похуже страха...

Где-то заскулило радио и торжественно пробили часы. Левый край шторы был сильно разорван, и на это место он когда-то наклеил заплату. В конце галереи хлопнула дверь, зажурчала вода, дом засыпал, но еще жил — корабль, неосвященный корабль, с живым грузом боли,

и счастья, и отчаяния, и гнева, и памяти, и надежды. Павел вздрогнул от холода и прикрыл глаза. Обернулся на голос Бациллы.

— Может, возьмемся за дело, ребята? Уже страшно поздно, и мне пора домой. А там и передача из Лондона...

Когда они ломали голову, редактируя листовку, Войта вдруг обратился к Павлу со странной просьбой:

— Послушай, Павел, мне бы надо... пожить у тебя. Хоть некоторое время. — И в ответ на изумленные взгляды прибавил с краткостью, заранее исключавшей всякие расспросы: — Я не могу вернуться домой...

Блюз, это был блюз, его блюз, название которого выскользнуло из памяти, индиговый голос кларнета забирался ввысь, чтоб потом вдруг сорваться в рыданье. Не было ничего, кроме этого блюза, он бежал рядом в хлопающей тьме, развеиваясь.

Сквозняк вдоль улиц играл полами плаща. Он спустился на мокрую скамейку в парке, перевел дух. Ветер прочесывал ободранные кусты, капли шлепали о бетон. Вода и ветер.

Он узнал угол дома по запаху свежего хлеба из пекарни, витрину с церковной утварью забила тьма, а вот и ниша входной двери! Час, когда запирают дома, должен скоро наступить... У доходных домов свои особые запахи, этот запах было трудно определить: смесь пыли и высушенных цветов, и тут же холодный, но не очень сильный запах камня и штукатурки. Пожалуй. Подъезд, голубая лампочка; он побежал вверх через две ступеньки, придерживаясь за перила.

Нащупал в кармане коробку спичек, только третья с треском вспыхнула, дрожащий огонек пополз по дощечкам с фамилиями. Чужие, ничего не говорящие имена. Иозеф Клика, д-р Жалду... Ага, вот! Он чиркнул новой спичкой и постучал в деревянную дверь. Ничего. Нажал кнопку звонка. Ничего. Попробовал повернуть ручку двери. Не повернулась. Обыкновенная дверь, с прорезью для писем, он всунул пальцы в эту прорезь — изнутри повеяло легким сквозняком. В пустых квартирах своя особая, стоячая тишина.

Постучал еще раз, настойчивей, и ему было безразлично, что удары разносятся по пустой лестнице. Приоткрылась соседняя дверь, на плитках брызнул свет электрического фонарика, подполз к его башмакам.

— Разве не видите, что нету дома? — произнес ворчливый голос. — И поторопитесь, а то запрут парадное!

Это была правда. У входной двери он наткнулся на кряхтящую фигуру — дворник брел по коридору, гремя связкой ключей, и Гонза прошмыгнул мимо, как улепетывающий вор. У него за спиной враждебно загремел ключ, и опять перед ним — тьма.

И дождь.

И улица.

Он чихнул. Минуту растерянно повертелся на краю тротуара, потом поднял воротник пальто до самых ушей и спрятал заочневшие руки в карманы. Ничего. Отзвуки одиноких шагов. С главной улицы долетал скрежет трамваев о рельсы. Высоко над головой ветер раскачивает

фонарь, стук фонаря о столб то перестает, то повторяется снова. Он сделал несколько шагов вперед, но не дальше соседнего угла, где пахло печеным хлебом. Как хочется есть!

Он стал глядеть вдоль улицы, напрягая слух, чтоб не пропустить знакомый топот туфелек. Прижался спиной к опущенной металлической шторе пекарни — хоть от дождя укрыться — и застыл, перестал воспринимать время. Превратился в статую, которую можно назвать «Ожиданье». Ее поставили перед булочной. Шелест дождя усилился, убаюкивал, погружал в полусон; Гонза сосчитал до ста, потом до тысячи, закрывая глаза и поспешно открывая их, когда слышались приближающиеся шаги. Нет, это широкий мужской шаг, шлепанье калош слабеет и сливается с чавканьем дождя, вот бьют часы на башне: бом-бом... Сколько же пробило? Он все стоял и ждал, ждал. Долго ли?

Ах, не все ли равно?

А потом... это произошло с ошеломляющей внезапностью и так быстро, что он успел сделать всего два неуверенных шага от металлической шторы под дождь. Рокот. Легковая машина с голубыми огнями — мотор еле слышно ворчал под капотом — остановилась у края тротуара, дверца, выпустив стройную фигурку, захлопнулась, и машина уплыла вниз, в темную улицу, может быть, в мир сновидений.

Дождь.

За сеткой дождя — стройная фигурка.

Перед ним была она. Их разделяли всего четыре шага.

Он узнал ее сразу, но не тронулся с места.

Видимо, она его тоже узнала. Он заметил, что она остановилась как вкопанная, рука опустилась в сумочку за ключом, но не окончила этого тысячу раз повторенного движения. Это не она, не может быть! Он воспротивился этой возможности. Отверг ее. Простуженно потянул носом, дрожал от холода, но все еще не двигался: в неосмотрительном движении могла таиться развязка, неприемлемая, как смерть, как безумие или действительность. Он отчаянно пожелал, чтоб она тоже не шевелилась. «Не двигайся!» — хотелось ему крикнуть, предупредить ее, а то произойдет что-то ужасное, непоправимое, пусть лучше она растает так же неожиданно, как появилась. Завтра расскажем друг другу об этом и посмеемся...

Он не верил, пока она не протянула к нему руку и слуха его не коснулся мучительно знакомый голос:

— Я знала, что этим должно кончиться. Пойдем!

III

И все-таки! Он здесь и, как ни удивительно, проник сюда без затруднений и без унижительных упрасиваний, был введен по бесконечным лестничным маршам, как благовоспитанная собачка, вошел в дверь и вот торчит здесь и жмурится от света, и с плаща его капает вода.

— Может быть, ты хоть плащ снимешь?

Он подчинился молча, избегая ее взгляда, ему казалось, что его

движения до смешного неловки и словно чужие. Он обтер ладонью мокрое от дождя лицо.

Здесь было тепло, его удивило, что в доме центральное отопление, хоть дом не из новых.

— Ты сядешь?

Да. Почему бы нет? Он сел на край широкой постели и тотчас понял, в каком он невыгодном положении — сидеть было слишком низко, колени под подбородком, и руки казались ему длинными, как у обезьяны. На круглом столике валялась раскрытая книжка, он заглянул в нее по привычке. Рамю... За цветистыми ширмами — умывальник и плитка. Над постелью миниатюрное радио на полочке, забитой книгами. Дальше! Мягкий комочек чулок на шкатулке для шитья. Приличная репродукция Коро. У молодого человека на фотографии правильные черты Аполлона. Тонкие строгие губы. Завоеватель. Ее глаза. Нет сомнения! Подавив предубеждение, он признал это лицо интеллигентным. В воображении эта комнатка являлась ему призрачно-нереальной; на самом деле самая обыкновенная комната, здесь хозяйничает ее рука, ее вкус, все говорит о ней. Нарушало цельность лишь большое и, видимо, дорогое зеркало суетной своей пышностью: оно не подходило к этой бедной обстановке. Он представил себе, как она глядится в него с критической сосредоточенностью — так обычно женщины рассматривают себя в зеркале.

Смотреть больше было не на что, и он перевел взгляд на нее.

Она стояла недалеко, лампа озаряла ее волосы, она глядела на него с той умоляющей жалобностью, с какой глядят на безнадежно больных. Это ему не понравилось. Говорили, просили его такие знакомые глаза.

— Мне бы надо было представиться, — промолвил он.

— Нет. Я тебя узнала.

— Но ты — это не ты. У тебя есть сестра? Она страшно на тебя похожа. Такие же руки, губы, такие же глаза и такие же брови. Я расстался с ней несколько часов назад у входной двери. Ты не знаешь, где она?

Она сжала руки, шагнула к нему, заколебалась, не посмела его коснуться.

— Гонзик...

Закрывает лицо руками, но потом их резко отдернула, подошла к зеркалу и принялась расчесывать волосы гребнем. Он смотрел на нее с изумлением, склонный видеть в этом бесчувственность содержанки. Она повернулась к нему уже с невозмутимым выражением лица. Черт побери, как умеет притворяться! Такая трогательная невинность разоружила бы целый суд присяжных — кто не попался бы на удочку?

— Говори, пожалуйста!

— О чем? Ты ведь запретила мне задавать вопросы. Как можешь тебя интересовать, что скажет идиот?

— Не говори так.

— Почему? — воскликнул он. — Прикажете осведомиться, как прошел сеанс, мадам? Или почему берете за любовь? — Он хрипло выбрасывал из себя слова, но внешне ему удалось сохранить хладно-

кровные. — Со мной-то можно не стесняться. Я totally мобилизованный подсобный рабочий, и машинны у меня нет... И вы мне не по карману.

Только ее вскрик заставил его замолчать.

Он опустил голову — в нем заговорили ужас и стыд.

Ее голос зазвучал совсем близко. Гонза брезгливо отклонился, чтобы избежать прикосновения, и подавил минутное, но сильное желание ударить ее. Она стояла перед ним, уронив руки, и ее отчаянье казалось таким искренним, что он на мгновение смешался. Полюбуйся: актриса в высшем взлете своего искусства! Bravo, вопит зрительный зал. Тем хуже! Чего ты домогался? Куда тебе до нее! Ты шутишь с нищенским узелком в руке, печальный паяц, чье выступление завершится пинком под зад. А эта далеко пойдет! Камень и тот разжалобится. Он не пошевелился, даже почувствовав ее пальцы в своих волосах.

— Чего тебе от меня еще... Оставь меня, пожалуйста! Чего ты хочешь?

— Чтоб ты взял себя в руки... на минуту... Чтоб выслушал меня!

— Зачем? У меня глаза есть. Пока еще есть.

— Теперь мне нечего таить... скрывать! Теперь — нечего, все равно я не могла больше, я боролась, но потом пришел ты... застал меня врасплох!.. И вот — кара, я знаю, но только не так, прошу тебя, так мы не должны разойтись! Только не так!

В чем смысл? — записал он через несколько дней в тетрадь. В чем смысл эпизода, который я не высосал из пальца? Продолжения не будет! Точка? Мораль? Вывод? Все на деле иначе, чем кажется, ты прав, Душан. Верить — значит стать посмешищем.

...но завтра они ведь сойдутся! Он будет ждать ее в нише двери, и она выбежит, раскрасневшаяся от спешки, и все пойдет по-прежнему, в кармане греют ему бок два билета в кино, он ради этого фильма толкался в очереди, ревели сирены, пальто перед ним с воротником, изъеденным молью, пахло нафталином, у кассирши были противные пальцы, короткие и толстые, красные, как морковки...

— Я тебя понимаю. Представляю, как тебе тяжело, но ты должен мне верить, даже если потом... может быть, уйдешь...

Он заметил, что у него невольно дрожат пальцы, надо вычистить траур из-под ногтей, как-то раз она его за это уже отчитывала. «Ты как мальчишка», — сказала она тогда.

Завтра нет, есть только сейчас.

— ...мне страшно, — шепчет где-то над ним знакомый голос, — страшно...

Не надо бы ходить сюда, не надо было позволить затащить сюда себя. Где-то он читал, что раненный пулей в первое мгновение не чувствует никакой боли. Именно так.

— Я струсила... Я боялась потерять тебя. Я не умею лгать... и

теперь я тебя боюсь... Ты — другой... Гонзик! Очнись! Стань хоть на минуту самим собой, кричи или бей меня... только не будь таким!

Он с трудом выбрался из оцепенения, кивнул головой.

— Этого не проси, — промолвил он бесцветным голосом. — Если я стану самим собой, я должен буду убить тебя. А зачем? Я убил бы человека, которого не знаю.

«Остается поставить точку! — напишет потом он в тетради. — И этот эпизод не сумел ты довести до конца, до того, что называют катарсис! Человек учится только на собственном опыте, каждый проходит свою школу. Вот это твоя школа. Ты понесешь ее в себе, но по твоему лицу этого не будет видно; до последнего твоего вздоха в тебе будет жить медленно действующий яд, от которого умирают понемногу, непрерывно, зато на протяжении всей жизни. Сумеешь ли ты когда-нибудь еще протянуть руку к чему бы то ни было без подозренья, без скепсиса, без неверия, без леденящего страха увидеть изнанку? Не сомневайся!..»

— Кто тебе сказал?

Он поднял глаза, она загоразживала свет лампы, она была тень. Силуэт. Без третьего измерения.

— Милан.

— Так и знала. Всегда я его боялась.

— Но он не солгал. Да и все они были правы. Выгнали меня как раз сегодня за то, что я все тебе рассказал. Как собаку. Сегодня — мой вечер.

— Я просто голову потеряла, когда ты был там...

— Это теперь неважно.

— Что ты сказал?

Он пренебрежительно махнул рукой.

— А ничего. Это уже неважно.

И в этот самый момент в нем будто прорвался нарыв, внутри отдалось какое-то странное, почти звериное завыванье; это было как удар, его швырнуло к стене. Он закрыл глаза. Способность чувствовать вернулась. Он повалился назвничь на постель, пальцы нащупали подушку. «Это уж неважно!» Когда он открыл глаза, над ним плыл серый потолок, томительно чужая поверхность, растекшаяся слезами. Он перестал существовать. Осталась лишь брошенная бесформенная материя. На этом дне он смутно почувствовал, что она легла рядом. Но не придвинулась, не прижалась. Он воспринимал ее только по аромату и теплу близости. Дождь отстукивал по карнизу, еле внятный звук железа, он уловил в этом звуке свое имя, произносимое тихонько и отдаленно, с робким желанием успокоить. Она протянула руку и почему-то включила радио; из хрипа и электрических шорохов вылуцился банальный опереточный вальсик; он покачивался рядом и не мешал. Пальцы пугливо коснулись нечувствительной кожи, скользнули по мокрым волосам, потом заснули у его лица. Это уж...

— Знаешь, когда я впервые понял, что хочу с тобой жить? Еще тогда — в поезде. Но я как-то стеснялся перед тобой. Как подросток перед взрослой женщиной. Ты казалась мне гораздо старше и была

слишком красива для меня. Теперь-то я знаю, что за всем этим во мне всегда таилось эдакое скверное ощущение... что-то во мне все время ждало. Кто ты?

Прошлое удивительным образом переплеталось с настоящим, искривленное, выпяченное. Она молчала; он продолжал:

— Говори же... если, конечно, хочешь. Но не обязана. И я вообще могу просто встать и уйти... Может, это было бы разумней всего. Кто он?

Как будто имя имеет значение! Она отчетливо произнесла его в обесиленной тишине. Одно имя, но от этого у него перехватило дыхание, хоть он никогда его не слышал. Он повернулся на постели.

— Немец?

— Да.

Он закрыл глаза.

— Ты хочешь совсем свести меня с ума? Опомнись!

— Но это правда.

— Что, что? Не хватало только, чтоб это был какой-то нибудь зверь из Печкарны... Да? Гестаповец?

— Нет... и не кричи. Он не оттуда... но, кажется, еще выше... у него большая власть, это я знаю!

Она назвала учреждение — название было знакомо. Гонза определенно где-то его слышал, но имел о нем лишь туманное представление; оно не так явственно пахло кровью и не имело той ужасающей репутации, как гестапо. Видимо, компания головорезов более высокого полета. В перчатках...

— И ты там шпионишь... или как?

— Нет. Я знаю только его. Он мне нужен.

— Да? Он дает тебе деньги? Побрякушки? Или сигареты? С каких пор ты куришь?

— Я не курю. Эти просто остались тут. Зачем ты меня оскорбляешь?

— Извини... — прохрипел он. — Ты не погасишь лампу? Я не хочу ничего видеть. И не щади меня. Обещаю, что теперь выдержу все.

Странно! Только теперь в этой пустой тьме она осознала, что ей очень мало о нем известно, что она знает его скорее как человека — да и то довольно относительно, — чем как сотрудника некоего всемогущего учреждения. В этом сказалось чисто женское безразличие. Да и он не любил говорить о месте своей службы, он вообще мало говорил о себе, о своем прошлом и о теперешней работе. Он как будто не придавал ей значения, во всяком случае, делал такой вид. Когда она однажды прямо спросила его, он снисходительно улыбнулся.

— Ничего возвышенного, — и махнул узкой, крепкой рукой. — Ты все равно не поймешь. — И продолжал, разговаривая как бы сам с собой: — Страшно путаное дело! Должность — формальная вещь, моя милая, все зависит от случайных влияний, от связей наверху, в общем от того, какая у тебя власть. Система — если во всем этом есть какая-

шнбудь система, даже для меня самого подчас загадка. Все друг друга подстерегают — точная копия нашего мира! Поняла? Нет. Ну вот, а я ведь выболтал что-то вроде служебной тайны. Пей и не ломай голову над проблемами Новой Европы.

Иногда, особенно подвыпив, он говорил с насмешливым презрением о делах, с которыми был связан всей своей жизнью. Пошлый кретин! Он не назвал имен, но и так было ясно, кого он имеет в виду. Видимо, он испытывал потребность облегчить душу перед человеком, который не смеет его выдать; ему нужна была ива, которой можно вышептать все свои сомненья.

— Ты меня очень ненавидишь? — спросил он ее, когда они лежали рядом.

— Зачем вам это знать?

— Опять — «вы». Не дурачься. Когда двое спят вместе, они могут говорить друг другу «ты». Ненависть — другое дело. Ты чешка, у тебя брат патриот; борец против нас... а я! Ненависть я бы понял. Не утруждай себя этим!

В мягком полумраке рисовался острый профиль с выступающим упрямым подбородком; поросшая черными волосами выпуклая грудь вздымалась и опускалась. Правое плечо было отмечено шрамом — вероятно, от пулевого ранения. Он был не стар — ему едва перевалило за сорок. Сильное, самоуверенное мужское тело отдыхало после объятий. В такие минуты он любил поговорить.

— Хотел бы я встретиться с тобой в другом месте и в другое время, как равный с равным, даже жениться на тебе, иметь от тебя детей, зажить самой обыкновенной жизнью, быть сентиментальным и, может быть, даже немножко скучать. А что? Скука не всегда плохая вещь: человек, переживший то, что пережил я, сумел бы ее оценить. Я тебе говорил, что когда-то изучал медицину? Бросил, заинтересовался другими вещами, но иногда немного жалею об этом. То ли годы берут свое. Врач! На этом поприще можно состариться и умереть с добрым чувством. Если только вообще можно умереть с добрым чувством. Я видел, как умирали многие, и сильно в этом сомневаюсь. Умирание всегда нечто противоестественное, это насилие, совершается ли оно в постели, среди рыдающих родственников, или после выстрела в затылок... Результат один: герой-патриот, мученик, дюссельдорфский убийца — ни к одному из них не приложимы все эти выдуманные понятия... после того как жизнь покинула их тело. Ты, конечно, не согласишься, и я тебя не принуждаю. А жаль. Мы с тобой друг к другу вполне подошли бы. Все зависит от обстоятельств. При других обстоятельствах я мог бы оказаться на месте твоего героического брата, а он на моем...

— Нет, не мог бы, — решительно промолвила она, натягивая на себя одеяло. Ей вдруг стало неловко своей наготы.

Он улыбнулся, глядя в потолок.

— Упрямая! В человеке есть все, все свойства: от ангела до Люцифера. Моя профессия позволяет мне многое видеть, я мог бы тебе это доказать. Все зависит от того, какие твои свойства вызываются к дей-

ственно обстоятельствами. Думаешь, твой музыкальный народец, который теперь кичится своим голубиным нравом, не восстал бы против своего крысолова, если б вас было в десять раз больше? Я не склонен его недооценивать. Сила тоже обстоятельство, да еще какое! Это магическое чувство, оно похоже на опьянение...

— Нельзя все сводить к обстоятельствам, — возразила она. — Человек не марионетка на ниточке...

— Разве я это говорю? Но его характер, склонности, чувства, любовь к жизни и так далее — все это тоже обстоятельства. Их он не выбирал, они у него с рождения, так же как не выбирал он семью, национальность, часть света, расу, интеллект.

— В таком случае он даже не виноват, даже не...

— Умница! Он и не виноват. Что такое вина? Суеверие, выдумка тупиц. Виноват всегда побежденный, потому что проблемы виновности крепко держит в руках победитель. Так же, как право, историю, мораль и всю эту возвышенную белиберду. На это у него после победы предостаточно времени. Впрочем, в том, что я говорю, нет ничего нового, и хоть все это кажется тебе отвратительным и бессмысленным, но это так. Не думай, что это доставляет мне особенную радость, я не вижу в мире ничего хорошего...

Он лжет, лжет, говорила она себе, он зло, живое, темное зло, особенно опасное тем остатком человечности, который в нем, кажется, сохранился! Он не убедит меня, пусть хоть разорвется! Ну и что же? Мы выполняем по отношению друг к другу неписанный договор, он принес мне сегодня весточку, и потому все в порядке. Какое значение имеют мои взгляды? И вообще — я?

... — Не знаю, отчего я говорю об этом. Я бы сказал, что эти речи дьявольски не к лицу германскому офицеру. — Он засмеялся при этой мысли. — В конце концов я не стремлюсь тебя переубедить, ты мне нравишься, какая есть, а ты фантастически упряма. Крепко зажала свои благородные понятия в горсти, словно крейцеры, и занятно, с каким упорством ты их от меня защищаешь. Ты красива, и у тебя великолепное тело, словно нарочно созданное для любви...

— Не говорите так, — перебила она, — я много раз просила вас об этом. Это не имеет отношения к нашему договору...

— Молчу. — Он нашел под одеялом ее руку. — Однако при условии, что ты бросишь это неуместное выканье. У тебя холодные руки. Я не хотел тебя обидеть, но мне жаль, что мы встретились так не вовремя. Все могло быть совсем иначе. А знаешь, ведь скоро у нас с тобой маленький юбилей! Три четверти года! Это надо отпраздновать! По нынешним временам невозможно ждать крупных дат, многие серебряные свадьбы не будут отмечены!

Три четверти года! Он говорил во тьму, и она слышала его близкое дыхание. Слова его были острые осколки камней; они ранили ее, но она строго-настрого запретила себе жалеть и себя и его.

— Уже тогда, когда я впервые тебя увидел, — продолжал он, — я знал, что у нас с тобой будет. Есть в тебе нечто...

Лучше б он молчал! Она даже не помнит, когда увидела его впер-

вые, не заметила его тогда, жила как во сне, в вечном страхе, что сделают со Зденеком, полубезумная от чувства беспомощности, а потом ее вызвали, она стояла среди них, и вокруг были чужие лица, она не отличала их друг от друга, были только лица да ненужные, ничего не говорящие предметы: массивная чернильница, и портреты, и толстый ковер с бахромой, у стоячих часов с чеканным циферблатом был приятный, мелодичный бой, за окнами вот так же лило... Она искала глазами, не увидит ли Зденека, — страстно желала этого и в то же время боялась себя, — нет, его здесь нет, может быть, им устроят очную ставку. Нет. Она не видала его с того последнего вечера, когда он сидел у нее, вот здесь, на этой широкой тахте, с рассеянным лицом. «Ну, Сверчок, — сказал он ей с улыбкой, в которой видна была тревога, — он с детства называл ее Сверчком — в те редкие минуты, когда они не ругались, — теперь ты должна встать на ноги — война, детка». А потом вышел на улицу в пальто, оставшемся от отца, и вот она стоит перед теми, кто его схватил и держит его жизнь в своих руках. Она, наверно, бледна, но держится, чтоб они не увидели ее страха и отчаянья, — она знала, что и он хотел бы видеть ее такой, — а они рассматривают ее, как пойманного зверька, и задают непонятные вопросы, по которым она даже не догадалась, что он, собственно, сделал, и спрашивают о людях, которых она никогда не знала, — он ни во что ее не посвящал из осторожности, — теперь она воспринимала это как несправедливость, — и это длилось без конца, без конца, а потом ее вдруг отпустили, видимо, поняли, что она ничего не знает; ей не хотелось уходить. Она спросила их: что с ним? Где он? Не ответили.

Дни, часы, минуты. Поиски его товарищей, с которыми она была знакома: одни ничего не знали, во всяком случае, делали вид, что не знают, другие утешали, обнадеживали, кое у кого от страха подергивались углы рта, иные посылали сказать, что их нет дома, а некоторых она совсем не нашла, и остались ей только отчаянье, слезы, она могла лишь бессильно метаться в постели без сна, без облегчения. Что делать? Куда обратиться? Как спасти его? Или опять пойти к ним, упасть на колени: отпустите его, пожалуйста, отпустите, он невиновен, ручаюсь, невиновен, ведь это Зденек, я знаю его с детства. Дни, недели... Потом она снова очутилась в той вилле, но там уже никого не было, за столом сидел только он, на среднем пальце у него блестел перстень с халцедоном, он не кричал и, казалось, вовсе ее не допрашивал. Выглядел он человечней, чем другие, держался дружески, и она мало-помалу привыкла к его лицу, а потом осознала, что не боится его. Он шагал по ковру в элегантном штатском костюме и, говорил, даже улыбался.

Дни, недели... Чего ему от меня надо? — невольно подумала она, когда он однажды проводил ее до двери. — Я ничего ему не скажу! Он предложил отвезти ее на своей машине, а потом сидели в незнакомом, когда-то, видимо, фешенебельном кафе, как старые знакомые, и перед ними стояли бокалы с вином. Она ничего не могла понять.

— Мне с первого взгляда было ясно, что вы ничего не знаете, — успокоил он ее с открытой улыбкой. И положил ей ладонь на руку. —

Вы не обидитесь, если я скажу, что сижу с вами не по долгу службы, хотя дело вашего брата, скажем так, на моем попечении? Тем, что вы здесь сидите, вы нисколько не грешите против него, скорее наоборот.

— Пожалуйста, скажите, что с ним будет? Чем я могу ему помочь?

Ее самоотверженный порыв как будто тронул его, он долил бокал и задумался, устремив взгляд в окно, на покрытую слякотью улицу.

— Трудно сказать... Сами вы — абсолютно ничем. Дело еще в стадии расследования, и пока, собственно, ничего не решено, но... не хочу вас обнадеживать. Это невероятно сложное и тяжелое дело...

— А надежда?

После небольшой паузы он участливо покачал головой.

— Никакой. Для него никакой... Его действия, которые уже сейчас неопровержимо доказаны, такого сорта... вы понимаете? Нет такого суда, который не вынес бы единственно возможного приговора...

Лицо его расплылось за пологом ее слез.

— Но ведь должна же быть какая-нибудь возможность...

— Трудно сказать. Пожалуй, она есть. Но единственная и довольно неверная. Успокойтесь, прошу вас! Не плачьте! На нас уже смотрят. Вы курите? Пожалуйста!

Она знаком отказалась; тогда он наклонился к ней через стол и снова, может быть, неумышленно коснулся ее руки.

— Необходимое условие — чтоб он не предстал перед судом. Понимаете? Случай необычайно сложный, и для расследования, может быть, — повторяю, может быть, — потребуется, чтобы он жил. Очные ставки, свидетельские показания и так далее — все это может длиться месяцы. Сколько понадобится. А по всему видно, что война не затянется. Понимаете? Как бы состязание со временем. Но это единственная возможность.

Она поняла. Пораженная, подняла на него глаза.

— И вы... вы могли бы...

Он не ответил, только с еле заметной улыбкой прикрыл веки. Потом оглянулся и велел кельнеру подать кофе.

— Где он? — спросила Бланка.

Слабенький, робкий росток надежды.

— Давайте договоримся с вами, что вы преодолеете любопытство и не будете задавать ненужных вопросов.

Она заметила, что у него открытая, светлая улыбка, минутами в этом твердом лице появлялась почти мальчишеская нерешительность.

— Друзья, да? — Он поднял бокал. — Вы должны понять, — прошептал он, улыбаясь шутливо-заговорщицкой улыбкой, — что все имеет свои пределы. Служебная тайна! Не кажется вам это вино слишком кислым?..

— А я что должна для этого сделать?

— Ничего. Не терять мужества и беречь нервы. И желать, чтоб скорей кончилась война. И снова улыбаться! Попробуйте, не забыли, как это делается? Bravo! Я сумасброд, правда? Итак, за вашу улыбку!

Он не торопил событий, был изумительно терпелив и приносил ей короткие весточки. Брат жив, все в порядке. Писать он, само собой,

не может. Здоров. Она была переполнена благодарностью, хотя и не могла избавиться от опасений. Она нарочно не подводила губы и, когда шла на свиданье с ним, надевала самые старые платья. Он понял почему — и улыбнулся.

— Вы были бы хороши и в мешковине, Бланка.

Как-то раз он приехал прямо к ней в блестящем мундире, черная машина барственно расположилась перед обыкновенным доходным домом на обыкновенной улице, вызывая нежелательный интерес, который Бланка скоро прочла на лицах жильцов: «Сучонка продажная, вся тут сказалась». Ну как она может им объяснить? Она ужаснулась и попросила его больше к ней не ездить и не носить при ней мундира, потому что всякий мундир внушает теперь страх. Он обещал со смущенным недоумением. Но и в штатском осанка его оставалась военной. Он сказал ей свое имя — Георг. То есть Иржи, Ирка, звучит неплохо, но она никогда не звала его по имени. И, задетая, отказалась, когда он с дружеской непринужденностью предложил ей денег — у него ведь больше, чем нужно. В комнате ее осталась только вот эта коробочка сигарет, больше ничего она не приняла, даже его предложение пустить в ход свое влияние, чтобы освободить ее от тотальной мобилизации с тем, чтоб она могла найти себе более подходящую дневную работу. Нет, ей не надо никаких льгот, она останется на заводе, как остальные. Его забавляло ее упрямство, но он ни к чему ее не принуждал, держался безупречно, временами был весел, временами печален — как все люди. И ее не удивило, когда он однажды пригласил ее к себе на квартиру: глупо слоняться по неуютным кафе, на глазах у людей; он сказал это без тени угрожающей настойчивости, но она поняла, что надо согласиться. Он занимал прекрасную квартиру на Летне с видом на парк Стромовку и даже не подумал скрыть, что до него здесь жил врач-еврей, угнанный в концлагерь. Книжки, ваза, радиола, миниатюрная кухонька, о которой она всегда мечтала, сухое тепло калориферов.

— Вы здесь у себя дома, пожалуйста, хозяйничайте, я живу один как перст.

Нет, она ни к чему не прикоснулась, брезгливо уселась в кресло и с бьющимся сердцем стала ждать неизбежного. Он не торопился. Вино, музыка, мягкий свет торшера. Она почувствовала его за спиной и замерла, когда он легко положил руки ей на плечи.

Подняла покорные глаза:

— Это — условие?

Он погладил ее по волосам.

— Нужно ли так об этом говорить, Бланка? — укоризненно промолвил он. — Зачем тащить в наши отношения грязь, в которой мы неповинны? Ты мне нравишься как женщина и нравилась бы когда угодно и где угодно. — Он первый заговорил с ней на «ты». — У тебя есть кто-нибудь?

Она, не лукавя, покачала головой — тогда у нее никого не было.

— А был у тебя уже мужчина? Я хочу сказать: ты еще девушка?

Она почувствовала, что вспыхнула.

— Нет.

— Ну вот видишь. Тебе нечего бояться. И меньше всего — меня.

Он погасил свет, и она стала вещью. «Война, Сверчок, — говорила ей ожившая тьма, — не смей думать о себе». Да, да, я знаю: где-то гремят орудия и умирают люди, а здесь только жгучая тишина прикосновений и дыхания, не кричи, не сопротивляйся! Нет, это не я, не я, еще нет! Так надо! Надо, чтоб Зденек остался жив, ведь ты ничего не теряешь, не думай, не чувствуй, не участвуй в этом! Зачем играет музыка? Она закрыла глаза, и ее подхватил вихрь, призрачный и мягкий, она сопротивлялась ему, стиснув зубы и комкая пальцами материю: «Я не здесь, здесь только мое тело, не имеющее значения, жалкое, ничтожное тело, захватанная монета», но она была здесь, хоть и сопротивлялась тому, что близилось, полыхая на нее из этого горячего и сильного тела...

— Зажги! — прервал тишину ее крик. — Ради бога, зажги!

Свет облил Гонзу, он перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку.

— Ты восхитительна, — благодарно промолвил тот, другой и поцеловал ее в ладонь. — Ты восхитительна, знаешь?

Если б он молчал, если б он только молчал!

Она обхватила Гонзу руками, прикрыла своим телом, словно желая оградить от того, что должна была рассказать ему, и уже не сдерживала слез. Он не видел их, не слышал ее больше, а когда поднял голову — у него было другое лицо. Она его испугалась. Он отстранил ее рукой, стряхнул с себя и встал с постели. Куда он? К окну. Обратное к постели. Провел погтем по листу пальмы, сжал виски, застонал. К стене. Банальный трафаретный узор. Кто живет по ту сторону стены? Где я? Потом успокоился, но не повернул головы.

— Тебе ясно, что я должен его убить? — Он произнес это неестественно спокойным голосом. — Должен. Я знаю как. Должен потому, что он не имеет право жить, пойми.

Он прижался лбом к стене, почувствовал ее неровности, и ему захотелось боли, физической боли, которая оглушила бы. Он закрыл глаза.

— Не смей! — Это донеслось откуда-то издалека, он не поверил. — Нельзя, ты должен понять, что нельзя этого... Опомнись!

Он вздрогнул, повернулся и пошел к ней с безумием в зрачках.

— Почему? Ты его защищаешь? От меня! Он доставляет тебе наслаждение. Понимаю. Наверное, делает это хорошо, этот сверхчеловек, он сильный самец?..

Он знал, что бьет в больное место, но продолжал говорить, потому что ее ужас доставлял ему горькую отраду, в этом было облегчение, ему хотелось терзать ее, ему нужно было, чтоб она страдала, чтоб упала перед ним в слезах, как библейская грешница. Этого он не дождался. Что она говорит?

Ах, хорошо бы не быть, не жить...

— Пойми! Если ты это сделаешь, ты убьешь Зденека. Тогда все было напрасно... И я не позволю. Пойми! Никогда не позволю...

Он остановился, опустив руки и дрожа, к горлу подступила тошнота, хотелось плакать — он только вяло махнул рукой. Опомнись! Он не узнавал ее, его потрясло упорное сопротивление, она другая, это уже не та девушка, что была летом в «Итаке»... Эту не сломишь, хоть избеи до смерти и как ни старайся вытряхнуть из нее упрямство.

— Не смей! Если сделаешь, я сама тебя выдам, слышишь? Сама тебя выдам!

Он чувствовал, что лицо его мокро от слез, но не стал вытирать его. Как удобно, Павел держит это в промасленной тряпке под диваном — спасибо, Пишкот! Но — не смей! Он понял, и ослабел, и вдруг почувствовал пустоту, растерянно запустил пальцы в растрепанные волосы — хороший у меня, наверно, вид, — комната плыла в полутьме и была все такая же, он ненавидел ее. Он подошел, прищурившись, к фотографии на стене, поклонился правильному лицу Аполлона, подавляя желание сбросить его на пол.

— Милостивый государь, — сказал он портрету, — ваше геройство обходится чем дольше, тем дороже. Меня, например, оно только что dokonало. Для кого вы все это совершили? Да здравствует это ваше человечество! Это ваше будущее! Я плюю на них!

Он умолк, увидев ее глаза. Изумленье, разочарованье, стыд.

— Нет, так ты не должен говорить! — услышал он. — Тогда лучше уходи и не оскверняй того, что было... И имей в виду — я его одобряю! Одобряю все, что он делал, и горжусь им... Чего бы это ни стоило, чего ни будет стоить... И никому, слышишь, никому не позволю его оскорблять. Даже тебе! Я не хочу, чтоб ты любил меня и был глух и слеп, пойми, такого я тебя не хочу!

Он был потрясен. Он стоял перед ней, испытывая удушающий стыд, и ожесточенно тер лицо. Нет. Все равно это только кошмарный сон. Бред. Только завтра ты от него не проснешься, потому что нет ни завтра, ни послезавтра, потому что...

— Хорошо, я не буду, — прошептал он, отводя взгляд. — Что было, то было, и я забуду. Если хочешь. Должен забыть, потому что люблю тебя, потому что, несмотря на все, не могу себе представить, как жить без тебя... Встану перед тобой на колени и буду просить как нищий, я не стыжусь этого, но ты должна мне обещать, что больше... что больше никогда к нему не пойдешь...

Он выдирает из себя комки слов, дрожа от бессилия перед той почти нечеловеческой непреклонностью, которую чувствовал в ней. Слушай, что она говорит!

— Но я не могу, пойми! Не могу, хоть знаю, что для тебя это ужасно... я не лгала тебе, я тебя страшно люблю... И все-таки должна... я буду к нему ходить, пока будет нужно, пока это не кончится, буду ходить, потому что не могу иначе...

Гонза опустил голову, сжимая голову в ладонях, он понял, почувствовал при этом, что жизнь застывает в нем и все рушится в

безобразный хаос. Милан! Может, лучше б она солгала? Почему она не обещает мне?.. Может, в этом был бы гнусный выход? Фу! Она просто сумасшедшая, требуя от меня такое. Все навыворот! Нет, не знать об этом! Но теперь уже поздно. Чего еще нужно от меня этому фанатику правды? Чтоб я помешался? Если это уже не произошло? Нет, это нет, этого не говори! Это ведь... Что еще?

Он не мог постичь того, что она теперь сказала, и смотрел на нее во все глаза.

— Так знай же все... Он мне нужен, чтобы Зденек остался жив... клянусь тебе, я его ненавижу, хоть он и лучше других и он тоже рискует... И я не только ради Зденека, но и ради... Думаешь, был бы ты на свободе, если б... если б...

Она проглотила конец фразы, увидев его глаза, но было поздно.

— Значит, — говорил ей тот, другой, с непонятной улыбкой, за которой он всегда прятался, — у меня есть соперник. — Он стоял у окна, спиной к ней, голову его окутывало облако дыма; он не шевельнулся. — Bravo, Бланка! Признаюсь, этого я не ждал, но в конце концов понятно, что ты не делаешь ставку на меня. Это теперь рискованно. Ну что ж! Попробую, хотя все зависит от того, в чем суть дела. — Он слабо улыбнулся и кивнул. — В общем беда мне с твоими героями, голубушка. Кто же этот мой уважаемый соперник, ты понимаешь, мне это надо знать...

— Он тебе не соперник, — возразила она. — Ведь я его люблю.

— Правильно. На это я, конечно, рассчитывать не могу. Понимаю. Меня ты, как патриотка, должна только ненавидеть. Что ж, хоть какое-то чувство...

— Нет... неправда, — прошептал Гонза запекшимися губами и закрыл ладонями лицо. — Ты с ума сошла.

Она глядела на него широко раскрытыми глазами, кусая губы; не выдержав его взгляда, она склонила голову. Прядь волос упала ей на плечо; волосы тускло светились.

— Ты не знаешь, что я пережила. Я боялась за тебя, пойми! Пойми, ради бога! Я не хочу больше утрат!

— Прошу тебя, разбуди меня... Не говори, что ты так гнусна! Я не хочу тебя ненавидеть. Ведь это неправда!..

Он смял сигарету в пепельнице, повернулся к ней уже с невозмутимым выраженьем лица; видимо, научился кое-что таить в душе и владеть собой, даже сложил складки вокруг рта в ободряющую улыбку. Она ему шла. Крепкие, невероятно правильной формы зубы годились бы для рекламы зубной пасты, если б не слегка выступающие вперед резцы, говорившие о волчьей жадности к жизни.

— В общем это весьма умирительно... Любовный роман среди военного неистовства, это надо оценить! — Он даже не обиделся, когда она отдернулась от его руки, которую он хотел успокоительно по-

ложить на ее голое плечо, он приподнял ей пальцем подбородок. — Смелей, мадемуазель Джульетта!

— Почему меня не забили там насмерть? — как в бреду шептал Гонза в пустоту. Трясина, теплая, разлагающая, засасывала и была бездонна. Он отвергал ее. — Все могло кончиться гораздо лучше... без грязи, если б меня там убили...

Он не слышал ее плача, он оглох.

— Пойду туда и все скажу о себе... Я все делал один... Ты понимаешь хоть, что не могу я принять такую свободу?

— Хорошо, успокойся, — улыбнулся он ее негодованию. — Не отрицаю, гнев тебе к лицу, но он напрасен. Я привык держать слово. Узнаю, в чем там дело. К тому же мне любопытно, чем все это кончится. Довольно забавный треугольник, не правда ли? Мне нетрудно было бы его разрубить, но я этого не сделаю. Вероятно, я лучше, чем мог бы себе позволить. Не знаешь, что он там натворил? Ты что, онемела? Очнись! Ты могла бы больше доверять мне, раз уж я ради тебя позорно предаю интересы рейха. Мой начальник лопнул бы, как жареный каштан, если б услышал наш разговор. Должен сказать, что я не специалист по мелким мальчишеским выходкам. — Он откашлялся и ласково подмигнул ей, но в глазах его светилась насмешка, за которую она его ненавидела. Он забарабанил ногтями по ночному столику и прибавил с подчеркнута серьезным выражением: — Ты, надеюсь, понимаешь, что я не жажду его благодарности? Вообще не обязательно ему знать о моем существовании и твоих визитах ко мне. Это даже может повредить его здоровью. Сильно сомневаюсь, чтоб он был вне себя от счастья, если уж он так страшно тебя любит. — Он вздохнул с наигранным мелодраматизмом. — Что поделаешь? Остается хоть пользоваться телом. Жаль, но и это немало.

— Замолчите! — она заткнула уши.

— Разве не так? Ведь чувство принаежит другому. Впрочем, по нашим временам ревность — излишняя роскошь. Если так пойдет дальше, нам придется отказаться вообще от всяких чувств. Что ж, желаю счастья — купайся на здоровье в этой водичке, пока есть время. В конце концов у тебя все равно останусь только я. Хочешь пари?..

— Нет, нет! — она обхватила Гонзу, в страхе прижалась к нему. — Ты не должен этого делать! Если с тобой что-нибудь случится, я не переживу! Пусть что угодно, но я твоя, только твоя, клянусь тебе... Но поступила бы так снова. Тысячу раз! Ты должен понять, должен, у меня нет другого выхода..

Птица... Это хищник, он машет широкими крыльями над острями елей... она указывает на него пальцем, и опять пылает лето, и опять они идут знакомой ложбиной, и она на ходу толкает хрупкие башенки

коровяка, волосы ее выбелены солнцем, на носу несколько девчачьих веснушек, она смеется, впуская в рот солнечный свет...

...а теперь они лежат рядом на дне дождливой ночи, две выброшенные вещи, уже ничьи, закутанные в испуганную тишину, и он знает, что ничего не сделает и ничего не предпримет, он догорел, и в нем уже нет гнева, а только подергивающая боль, он истлевает ею, и есть в нем сухой, нечувствительный покой, который страшит, это покой камня и глины, покой пепелища.

Заснула? Он не слышал ее дыханья.

— Сегодня была у него?

— Да.

— Всего несколько часов назад?

— Не говори об этом!

— Спала с ним?

— Да.

Это заставило его пошевелиться, он отстранился на постели, но удержал крик.

— Я больше ничего не буду скрывать, — услышал он.

— Осторожно, Горация! Ты видела «Дикую утку»?

— А что?

— При помощи так называемой правды можно и убить. Было такое дело.

Она возразила после некоторого раздумья:

— Нет, не верю. Что можно убить правдой, того вообще не существует.

— Может быть. Я уже ничего не знаю. Ни за что не поручусь. Знаешь, о чем я думал? Ужаснись! О том, что ты делаешь нечто такое, что и твой брат.

— Что же я могу делать? — горько вздохнула она. — Что такое я?

— Не знаю. Я придумал подходящее объяснение, понимаешь? Самообман. Пахнет юной романтикой. Это мне не приходило в голову. Достоевский говорит, что нет ничего более фантастического, чем действительность.

За окном позванивал железный карниз.

— Что будет с нами?

Она захватила его врасплох; об этом он не думал. Он промолчал, тело онемело в одном положении, ему казалось странным, что он вообще еще чувствует. Смешные мурашки бегают по рукам. Он что-то говорит.

— Мальчишкой я боялся ходить к мяснику напротив. Боялся не этого добродушного убийцу с огромными лапами, а того, что там висели на крюках страшные выпотрошенные туши. Я был очень нервным ребенком. Эти туши, понимаешь... Но ничего! Упрекать не в чем, собственно, все безумно логично и, может быть, правильно, я понял это, пожалуй, так, как человек, который понял, что должен умереть. Только, видишь ли, что-то во мне не понимает. Не может понять... Сам не знаю как следует, что это такое.

Встать, уйти! Так ты не можешь остаться, это бессмыслица. Он со-

образил, что дом уже заперт и она волей-неволей должна проводить его до выходной двери, до проклятой ниши; его страшил этот путь!

Вдруг он почувствовал, что она прижалась к нему всем телом, почувствовал уступчивую упругость бедер и груди. Он не пошевелился. Обнаженная рука легла ему на грудь, пальцы отчаянно впились в плечо, он им не противился, но и не нашел в себе сил пойти им навстречу. Он уже не существовал.

— Я понимаю тебя, — слышал он ее шепот, — пойму и тогда, когда ты встанешь и уйдешь, и я тебя больше никогда не увижу. Но я боюсь этого... мы с тобой не виноваты, это война... Если она скоро не кончится, все будет напрасно. Я хотела бы быть с тобой одна на свете... Ты не знаешь, каково мне было все это время, когда я видела, как ты счастлив... Ты ничего не подозревал и мог быть счастлив... а во мне это уже было, эта ночь, она отравляла мне каждое мгновение... хотя мы вместе и плавали и обнимались... это было во мне все время — даже когда мы смеялись. Ты это замечал иногда, спрашивал, что со мной. Помнишь? Я знала, что придется платить, я торговалась сама с собой за каждый день, за каждую неделю, еще раз говорила я себе, хоть разок, еще увидеть его, почувствовать его губы... Если б ты знал, каково мне было сегодня вечером, когда мы расстались и мне предстояло это... Пока я тебя не знала, пока не полюбила тебя, это не было так ужасно, потому что я была одна, принадлежала только себе — так какое это имело значение? Я ведь получала анонимные письма, меня обзывали немецкой шлюхой, грозили, но даже это мне было не так больно, как все, что было потом... Вечный страх перед тем, что будет, ощущение грязи, сознание, что я недостойна тебя, что должна буду однажды причинить тебе такое... Если б ты знал, сколько раз я в душе отступалась от Зденека... и спохватывалась в последнее мгновение... и выхода не было... и нет... не избежать... Ты меня понимаешь? Обними меня, прошу тебя, если в тебе еще осталось что-нибудь, кроме отвращения, если ты не гнушаешься мной, обними!..

Он, уже не владея собой, прижимал ее к себе что есть силы, словно желал защитить ее, не позволить, чтоб ее вырвали у него из рук, слиться с ней в одно тело, спрятать ее в себе, он захлебывался от жалости, дышал ей в волосы, сцеловывал слезы с ее глаз, неловко гладил ее тело и не мешал своим слезам течь. Милая, — говорило в нем, — я не отдам тебя, никому больше не отдам, не бойся, я здесь, с тобой и не оставлю тебя, не плачь, не плачь, не могу больше!.. Были в нем головокружение и бессильный бунт, и были в нем печаль и ужас перед тем, что их обступило. Говори, говори, прошу тебя! Я хочу тебя слышать!

— ...Теперь ты знаешь, понимаешь, почему я не могла быть с тобой вполне, жить с тобой... я боялась затащить то чистое, что было между нами и что было нашим, в эту грязь. то бы ты сказал, если бы узнал все? И мне было страшно, когда я чувствовала в тебе то горь-

кое, непонимающее желание, чувствовала, как ты борешься с собой и не знаешь... Ведь и я, я сама желала тебя и желаю, как безумная, ты должен был это заметить, я с ума сходила от желания, когда ты меня касался, я ведь обыкновенная женщина... если бы ты знал, если б я только могла передать тебе все, ох, милый... Теперь ты все это знаешь, и вот я... И если ты еще желаешь меня, даже теперь, не жди, возьми меня, ведь я твоя... Нет, я не сошла с ума, я хочу тебя... Давай убежим сейчас, сейчас же и забудем обо всем, ничего нет, только мы двое — ты и я, возьми меня без колебаний... я хочу... посмотри на меня...

Он весь трепетал, он опомнился, только когда она с неожиданной стремительностью высвободилась из объятий.

Это был не ее голос. Он услышал шорох материи.

Свет. Она не погасила, решила отдаться ему в потоке света. Сейчас, сейчас, свистело в смятённом мозгу, сейчас свершится то, чего он так страстно желал бессонными ночами, и уж нельзя отступить... «Смотри, смотри на меня!..» — «Нет, не делай этого, — хотелось ему закричать, — ради бога, не надо! Не сейчас!» Распушенные волосы раскинулись по подушке, и теплая, дышащая нагота выступала из скорлупы и открылась его глазам и отдавалась им, а он жмурился от ее сверкания и смотрел на нее сквозь ресницы. Он не дышал. Вот! Она лежит перед ним нагая, неправдоподобно белая, он не знал, что она так прекрасна — иди сюда, звали руки и тянулись к нему в мягком свете, — это была статуя, она принимала его с томным блеском в глазах, шептала полуоткрытыми губами, это было как тихий стон: и не двинулся, пока руки не охватили его шею с суровой, упрямой илой, которой он не умел воспротивиться. Вот это тело, тысячу раз познанное в беглых прикосновениях и все же мучительно недоступное, не раздумывая, бери ее, ведь это она, ее тело, ты узнал его...

Нет, не узнал, оно было другое! Чужое! Оно обжигало ладони, но тепло его не проникало внутрь, это тело молчало, и были на нем руки, чужие, алчные руки завоевателя, горячившие ее своими прикосновениями. Не думать! Преодолеть это! Он оттолкнул эти чужие руки... которые несколько часов назад... и удивленная насмешка... Не думать, господи, ведь это она, ее тело... может, еще горячее от чужих объятий, тело, в котором еще замирают отзвуки чужого наслаждения. Нет! Не думать! Он закрыл глаза и со знобящим страхом почувствовал, что все в нем остывает, он мертв, а рядом прекрасная, но отнятая вещь, уже не принадлежащая ему, и его душит стыд, и он цепенеет в позорном бессилии от этой мертвой тишины в теле.

— Не могу!

Он лег на бок, чтоб она не видела его лица, и тут, только тут, сразу, с ошеломляющей ясностью понял, что уже никогда, никогда не сможет ее взять, что это конец, что он проиграл, предал ее, что в эту страшную минуту навсегда уронил ее в пустоту.

Он уткнулся лицом в подушку и впился в нее ногтями.

Дождь по карнизу стучал слабее, щелкнул выключатель, и их милосердно накрыла тьма; он лежал в этой тьме и пил ее губами — наконец-то он на льдине, и она уносит его в ревущую бездну. Он уже не чувствовал ее рядом, понял, что она отстранилась. Здесь ли она еще? Он услышал дыхание. Тем хуже! Уйти, прежде чем рассветет, его охватил безумный страх перед ее глазами. Перед словами. Ключ от дома! Завтра? Послезавтра? Через десять лет? Теперь это уже неважно. История их любви увязла в грязи, и ему больше нечего ждать, нечего — даже конца войны, для него все только что кончилось, и остается только уползти прочь. Нет, это неправда. Он приободрился и, сев на постели, нечаянно задел рукой голое плечо, оно ускользнуло от его пальцев; он ощупывал пустоту, пока не коснулся пола потерявшими чувствительность ногами.

Свет показал ее уже одетую, она стояла перед зеркалом и расчесывала волосы. Он осмелился украдкой взглянуть на ее лицо. Оно было бледно, окаменело-серьезно, без слез. Она поняла, что произошло, и укрылась за свою особенную непроницаемую гордость. Он знал это лицо: оно принадлежало той девушке, с которой он когда-то не решался заговорить в коридоре утреннего поезда.

Звяканье ключей вывело его из забытья — многозначительный звук! — потом щелкнул замок двери, он встал с места и двинулся за своим собственным гробом по темной лестнице, ощупывая перила, и спускался как на чужих ногах, падал все ниже и не осознавал, что идет. Как давно проходил он здесь? Год назад или больше, вечность? Запах высохших цветов и штукатурки...

Металлический лязг ключа в замке. Он вышел из двери, остановился в нише и больше не оглянулся. Тьма перед ним раскрылась, смотрела ему в лицо, дождь перестал, мокрый ветер, пробежавший по каменным руслам улиц, обнюхивавший углы, навалился на него, ударил по лицу, пробирался сквозь одежду к телу.

Он его не чувствовал, потому что не чувствовал теперь ничего.

Снова загремел ключ — теперь уже за его спиной.

Шаги удалялись.

Один. Какая-то пропасть в нем. Посмотрел по сторонам.

Куда идти? Пошел вперед, свесив голову и опустив руки, жалобный голос кларнета взвился вверх и, сорвавшись в рыданье, упал в индиго-вый омут.

Он прокладывал себе дорогу в шевелящейся темноте, ударился лбом о фонарный столб на углу, застонал, зашатался на мокрой мостовой, но физическая боль, тупо нывшая под черепом, пробудила его к действительности.

Пошел дальше. На ощупь, как слепой. Улица была пустынна. Вдруг повеяло знакомым запахом свежего хлеба, пальцы коснулись спущенной металлической шторы и скользнули по ее рифленой поверхности. Дальше идти не было сил. Вот здесь. Он сел на истоптанное крыльцо булочной и, подперев лоб ладонью, разразился почти неслышным плачем.

Стрелка альтиметра показывала пять тысяч метров. Войте почувствовалось, что мотор теряет обороты, он глянул на тахометр и тотчас прибавил газу. Посмотрел через окошко вниз. Машина покачивалась над ослепительным морем облаков, концы крыльев слегка вибрировали.

— Смывайся! — Крыша над головой Войты сдвинулась, на крыле стоял Коцек и делал знаки. — Старый шляется тут. Эта машина пойдет на старт еще сегодня. Одна-единственная!

Войта выбрался из кабины пилота и поплелся за Коцеком к широким воротам. Только что отзвучал гудок после перерыва. Коцек знал слабость Войты к самолетам и, когда можно было, позволял ему влезать в машину и забавляться рулями управления. Обычно это удавалось только в перерыв — строгостей здесь было куда больше, чем в фюзеляжном, мастер Хюбш, немчура и бирюк, хотя, может быть, и добряк в душе, во всем, что касалось самолетов, шуток не любил. За самый пустяковый проступок в ангаре или на стартовой дорожке он сурово взыскивал, слово «саботаж» висело над каждым, кто здесь работал, и звучало грознее, чем где-либо, немцев вокруг было полным-полно.

Но Войте здесь нравилось больше, чем в фюзеляжном, хотя он и сам не знал, какой ветер занес его сюда, а работа не отвечала его квалификации и сильно смахивала на подсобную. Зато он был около готовых машин — он обожал их яростный рев и запах отработанного масла и горючего. Но его восхищение было в обескураживающем противоречии с тем, что на крыльях самолетов были германские опознавательные знаки и дважды в месяц являлась группа германских пилотов, чтоб улететь на этих машинах в одну из летных школ в рейхе, конечно, если воздух был чист, потому что во время тревоги они не рисковали подниматься на необлетанных машинах.

Машины тут ни при чем. Может, некоторые из них останутся, когда нацисты смотают удочки, и, кто знает, может быть, на одной из оставшихся он, Войта, будет учиться летать. Если только их не раздолбают пикировщики. Войта восхищался этими небесными охотниками — «спитфайерами» и «тайфунами», которые сейчас, когда приближались фронты, все чаще появлялись над территорией, еще подвластной Германии. Молодцы! Вездесущие властители воздушного пространства! Ни один немецкий самолет, паровоз, воинская автомашина не могли уже чувствовать себя в безопасности. Та-та-та, и не успеют залаять немецкие зенитки, пикировщика уже и след простыл! Благодаря им все меньше самолетов выезжают из ангаров под открытое небо: вместо четырех по плану — два в день, иной раз только один, а то и ни одного! Понятно, ведь постоянная бомбежка заводов, дорог, эшелонов усиливает нехватку сырья, беспорядок на производстве неудержимо ширится, этому активно способствуют малые и крупные, доказанные и недоказанные акты саботажа и такие дефекты в конструкциях машин, которых не выявить самому тщательному контролю.

Здесь Войта в своей стихии. Декабрьское солнце бьет в стеклянные своды крыши, бросает пыльные столбы света, в полумраке шеренгами стоят стройные монопланы, по ним ползают парни в замасленных комбинезонах, пахнущие машинным маслом и тавотом. механики, мастера своего дела, они знают эти машины до последнего винтика, у них есть чему поучиться.

А Коцек? Что ж, он, хоть и не принадлежит к элите, тоже знает самолет как свои пять пальцев — откуда, черт возьми? Он вообще отличный товарищ, знает все на свете и совсем не задается. Здорово, что я попал именно к нему. Здесь не такой дружный коллектив, как в фюзеляжном, начальство напихало сюда немчуры, с ними нужно держать ухо востро, они следят за каждым твоим шагом. И все-таки до чего здесь интересно! Отсюда после окончательной проверки через широкие ворота выезжают готовые машины прямо на траву заводского аэродрома для первого полета. Больше того: здесь Войта оказался совсем рядом со своими кумирами. Пробные полеты проводят три чешских летчика, которые остались здесь — говорят, что поговору. — после бегства своих коллег в тридцать девятом. Полеты были весьма короткие — немцы давали горючего не больше чем на несколько минут. Войта знал летчиков. Один из них был известный ас, входивший в тройку воздушных акробатов, которые, бывало, в день авиации приводили зрителей в восхищение. Бог воздуха! Войта трепетал от восторга, когда ему доводилось подойти к этим летчикам, услышать словечко на их жаргоне или после приземления первым дать кому-нибудь из них прикурить. Его восхищало хладнокровие, с каким они, пристегнув ранец с парашютом, садились в еще не испытанную машину.

Старт! Рев мотора, ветер гнет траву к земле, треплет волосы Войты и доносит запах бензина. Машина катится в другой конец аэродрома, ревет, разворачивается и вот уже мчится, отрывается от земли и с оглушительным грохотом проносится над стеной с колючей проволокой и крышами завода. Что, если спрятаться на заднем сиденье и... Глупости, ничего не выйдет, это был бы явный провал. «Streng verboten!» *

— Ты уже был когда-нибудь в воздухе? — спросил он однажды Коцека, когда они вместе шли к ангару.

На «ты» Коцек перешел с первого же знакомства, когда протянул Войте измазанную машинным маслом удивительно узкую руку:

— Меня зовут Богоуш, а тебя? Гм, знал я одного Войту, он играл центра защиты в «Викторке».

Это, очевидно, должно было звучать лестно для всех Войт на свете.

— Был, — просто сказал Коцек, — и много раз. У меня налетано часов четыреста. А что?

— Да просто так... А где?

— На военной службе. Я был штурманом в авиации. Тогда нам уже угрожал Гитлер, и летчиков пекли как блины. Потом мне боль-

* Строго воспрещается! (нем.).

ше летать не довелось. Но человек должен уметь все. У меня уйма увлечений, — добавил он, не замечая, что вырос в глазах Войты до гигантских размеров.

— Вот почему ты так разбираешься в наших самолетах!

Коцек почесал кудрявую голову и скромно сплюнул.

— Ну, не сказал бы, что я в этих очень разбираюсь. Мы летали на легких бомбардировщиках. В управлении там нет большой разницы, принцип тот же, и меня это интересовало. Иногда ребята пускали меня в воздухе к штурвалу. Вести самолет — плевое дело. А эти гробы и вовсе.

— Ты бы смог? — восхищенно прервал его Войта.

— Запросто! В случае чего могу и подняться и приземлиться. А что?

— Да так. А как чувствуешь себя за штурвалом?

— Роскошно! Главное — приобрести навык, а потом уже летишь и думаешь о чем угодно, не волнуешься. Если хочешь, давай смоем один из этих гробов, я тебя покаатаю.

Войта грустно усмехнулся: не поймает, мол, на удочку. Коцек всегда что-нибудь выдумывает, в ангаре у него репутация шутника и мистификатора, а смелость, с которой он разыгрывает людей, в том числе и немцев, другому, менее симпатичному человеку не сошла бы с рук. Казалось, задумай Коцек жить карманными кражами, он и тут не умер бы с голоду. «Отдай луковку, она у тебя! Вот погоди, навешься на кого-нибудь, схлопочешь по морде, паразит!» — раздраженно кричал однажды Валиш.

Коцек шагал по земле просто и легко, словно плыл над ней. О себе говорил мало, но ничего не скрывал. В общем мировой парень. Из его увлечений был футбол; сам он не играл, но в свободное время ходил судить плохонькие сельские команды и делал это таким же увлечением, как все остальное. «Вчера могло плохо кончиться, — рассказывал он на следующий день с довольной улыбкой. — Я назначил штрафной хозяевам поля в Иржинке, а там болельщики ого-го! Гнались за мной с палками до самого вокзала. Спорт требует жертв. В Закрейсов посылают уже только меня, потому что всякий другой там от страха подыгрывает местной команде, а я объективен, пусть болельщики хогь лопнут!» Таков Коцек. Худощавый, невысокий и гибкий, как пружина, ему уже за тридцать, но все еще холост. «Когда-нибудь женюсь, — говорит он, — а сейчас лучше жить одному, чтобы рук не связывать, поверь мне, женатик!» Войте с ним было хорошо, все казалось легкодостижимым. И вместе с тем постоянно открывались какие-нибудь неожиданности. Лишь по чистой случайности Войта узнал, чем Коцек занимался до войны. Однажды он застал его в укромном местечке ангара с книжкой в руке, заглянул ему через плечо и не понял ни словечка.

— Что это такое?

Коцек невозмутимо показал титульный лист:

— Тацит... «Анналы». Это проходят в седьмом классе, не хотелось бы забывать.

Оказалось, что Коцек преподавал латынь и греческий в средней школе, где-то далеко, в Закарпатской Украине.

— Без протекции не удалось устроиться поближе, но мне там очень понравилось. — И он рассказал Войте, как ездил верхом, ходил на охоту, рассказал, как в 1938 году ему пришлось возвращаться кружным путем через Венгрию и Австрию. — Вот послушай! — Коцек прочитал вслух несколько латинских фраз и тут же перевел их. — Здорово, а? Меня это увлекает больше, чем любой детектив. Кстати, если бы я дал тебе почитать Гомера, у тебя дух бы захватило. С Одиссеем никакой авантюрист не сравнится!

Однажды Войта тайком сунул ему в нагрудный карман пальто листовку и с нетерпением стал ждать, что будет. Коцек не испугался, поднял брови и без малейшего колебания показал листовку Войте:

— Две грубые грамматические ошибки. Автор путает «с» и «з» — двойка с минусом! — Войта покраснел под взглядом его прищуренных глаз. — А ты знаешь, кто был Орфей?

И Войта услышал увлекательный рассказ о мифическом певце. Коцек был в своей стихии. Он сунул листовку в карман и кивнул.

— Ну ладно. А не собираешься ли ты прилепить эту листовку Хюбшу на дверь? Интересно бы поглядеть, какую он скорчит рожу.

Войта и Коцек прощупывали друг друга. В бесконечные часы, которые они вместе лодырничали, у них было на это достаточно времени и возможностей. Войта не скрывал от товарища своих взглядов, сложившихся под влиянием сходок «Орфея», а Коцек ни разу даже не усмехнулся, слушая сбивчивые пояснения Войты, помогавшего себе руками и начинавшего каждую мысль спасительной фразой: «Я вот как думаю... А ты?» Один из вопросов Войты застал Коцека врасплох.

— Я еще не думал об этом как следует, — сказал он, — а симпатия ведь это еще не убеждение, верно? Больше всего мне нравилась бы такая политика, которой не надо заниматься и вообще замечать. Но, видимо, в нашем мире это невозможно. И всегда было невозможно. А жалы! — Он переменял тему. — Ну так что? Когда же мы провернем то дельце? Я говорю о самолете. Вижу, тебе не терпится.

Сначала это было похоже на шуточки, но друзья все чаще обсуждали свой фантастический план, обсуждали с таким увлечением, что Войта заколебался — не относится ли Коцек к этой затее всерьез? Он бы не удивился. Они перебирали все возможности, не упустили ни одной. «Sic et non», — говорил Коцек, — испытанная метода схоластов — «за и против». Эти обсуждения стали для них волнующей и увлекательной игрой, оба смеялись, а Войта нередко задавался вопросом, не испытывает ли его Коцек.

— А откуда же взять горючее? — сказал он однажды. — На пробных полетах его в баке не больше чем на четверть часа, и немцы на этот счет чертовски пунктуальны.

Коцек покачал головой.

— Ты мне ничего нового не сказал. Sic et non... И все-таки бывает время, когда баки полны. Ясно?

Лицо Войты прояснилось, он сообразил.

— Ты имеешь в виду приемку самолетов? Когда приезжают немецкие летчики? Верно! — Но тут же он остыл и безнадежно махнул рукой. — Да, но тогда кругом полно немчуры, и вообще...

Положение казалось безвыходным, но Коцек тотчас нашелся:

— Уж если бы я взялся за это дело, то выбрал бы подходящий момент. Надо брать последнюю машину, самую дальнюю от ангара, это ясно. А подходящий момент бывает. Знаешь когда? Во время воздушной тревоги. Заметь себе: по сигналу «непосредственная опасность» все сматываются в убежище. В такую минуту никому и в голову не придет, что одна из машин может подняться. Не успеют они опомниться, как я уже буду в воздухе!

Все чаще Войте казалось, что эта шальная затея продумана до малейших подробностей. Коцек был фанатически упорен в преодолении все новых и новых возражений, хотя сам провоцировал на них Войту.

— Последовательность мышления пригодится тебе в жизни. Все достижимо. Уж не хочешь ли ты вечно ползать по земле, как таракан? — поддразнивал он Войту, по-мальчишески усмехаясь. — Меня больше всего привлекает то, что кажется невозможным, — такая уж у меня натура.

— А что, если сегодня? — сказал он однажды и, прищурясь, оглядел декабрьское небо; показал на поникший ветровой мешок над ангаром и в точных терминах охарактеризовал метеорологические условия. Подходяще! Мальчишеская несерьезность сочеталась в нем с изумительной находчивостью, увлекавшей медлительного и рассудительного Войту.

— А зенитки? — возразил Войта, но Коцек нахмурился, постучал себя пальцем по лбу и сказал наставительно:

— Думайте, ученик, прежде чем что-нибудь брякнуть... Не станут же они стрелять по собственному самолету! А пока они расчухают, нас уже поминай как звали. Американцы могут обстрелять, это да. Но они держатся на большой высоте, и у них другие задачи. А нам надо лететь на бреющем. Хуже, если это будут пикировщики. Вообще придется петлять и ориентироваться по карте. У меня дома есть первоклассная спецкарта... Ну и, конечно, нужна удача, это ясно. Вынужденная посадка на территории, где пока еще немцы, означала бы... — Он не договорил и сделал выразительный жест: чик! Но тотчас же отклонил и это опасение: — Да разве в жизни не во всем нужна удача? Тот факт, что ты родился, уже первая и самая крупная удача. Один шанс примерно из восьми миллионов. Так что мы уже баловни судьбы. Вырос — опять удача! И так далее. Я лично не могу пожаловаться, что мне не везет, это была бы неблагодарность фортуне, а она этого терпеть не может. Я всегда выходил сухим из воды, вышел бы и на этот раз. Ну, хватит, сюда идет Хюбш. Интересно, какую бы он скорчил рожу, если б узнал, о чем мы тут трепались. Но у него нет фантазии...

Позднее Войта поймал себя на том, что думает об их затее как

о чем-то вполне реальном и решенном. С этим фантазером любая фантазия казалась реальностью. В один прекрасный день у Войты возникло впечатление, что со всеми «против» уже покончено и нет никаких сомнений в том, что при известной удаче побег будет успешен. Стоя на траве аэродрома, он мечтательно глядел на самолеты, с ревом поднимавшиеся в воздух, и сердце его колотилось от незнакомого прежде нетерпения. Как жаль, что все это только мечта. Улететь бы подальше от всего, от запутанной и тягостной истории с Аленой, забыть, заглушить память о ней ревом мотора! Жаль. А впрочем, неужели это только мечта? И какую цель преследует Коцек? Что творится в его башке? А вдруг он скажет: «Ты боишься?» Трудно сказать, боится ли Войта. Видимо, да, ведь ясно, что, как ни продуман побег, от всего этого здорово пахнет кладбищем. Вместе с тем Войта инстинктивно чувствовал, что никогда не признался бы Коцеку в своем страхе.

Но прямое слово, призыв к действию так и не прозвучали — все оставалось в пределах «если бы» и «допустим», просто увлекательная игра в «Sic et non».

И вот однажды... Дело было в середине декабря. По сигналу воздушной тревоги Войта и Коцек успели добежать до бетонного бункера неподалеку от главного ангара. Они оказались там одни и через узкие смотровые щели могли наблюдать, что делается в воздухе.

— «Спитфайер»! — объявил Войта.

Одиноким пикировщик, заметив на аэродроме три машины, сделал широкий заход и молниеносно устремился на одну из них. Огонь из бортовой пушки, серия выстрелов — попадание! Немецкий самолет, стоящий в нескольких десятках метров от их бункера, превратился в груды обломков. Бах, бах, бах! Взрыв потряс воздух, из мотора вырвался неправдоподобно яркий дым. Пикировщик хозяйничал над аэродромом, и никто не успел помешать ему. С ревом пронесся он над бункером — Войте даже показалось, что он на миг увидел в кабине лицо летчика, — потом исчез, но тут же вынырнул с противоположной стороны и атаковал вторую машину.

— Чисто работает! — орал Коцек, стараясь перекричать грохот; у него даже вздулись жилы на шее; он толкал Войту в бок. — Долбай его, ами! — возбужденно подбадривал он летчика, словно игрок на футбольном поле. — А мы-то, ослы, вчера возились с ним, вскалывали... А, вот он опять!

Та-та-та! На этот раз летчик промазал, снаряды взрыли землю рядом с самолетом, высоко в небо поднялся столб земли.

— Ай-ай-ай! — укоризненно воскликнул Коцек. — Ну-ка, поправь дело, парень, получишь елочный подарочек!

Снова грохот, и второй самолет завалился набок с перебитым крылом, осколки взлетели в воздух, оглушительный взрыв. Здорово! Попадание в бензобак! Ого, какой фейерверк!

Наконец заговорили зенитки, но было ясно, что стреляют они просто так — как говорится, боженьке в окошко — бум-м, бум-м!

Воздух около бункера дрожал от рева мотора, взрывов и гудения огня — захватывающая картина разрушения, но потом в воздухе замелькали раскаленные осколки зенитных снарядов, Войта и Коцек услышали шум огненного дождя, обрушившегося на крышу ангара, характерный свист неподалеку от бункера.

— Пригнись! — крикнул Коцек и стащил Войту на лавку. Они прижались друг к другу, как курицы на насесте, а за стенами их железобетонной скорлупы разыгрывалась оглушительная феерия; приятели закурили — у них нашелся окурочек, один на двоих. Жесты их были неторопливы, но в глазах светилось возбуждение. Войта нагнулся к Коцеку и крикнул ему в самое ухо:

— Мы еще не решили... куда?

Чудовищный взрыв заглушил его слова, но Коцек, видимо, понял и махнул рукой на восток.

— Ясно, куда!

Осколок просвистел у самой щели над ними, оба инстинктивно пригнули головы. Что за идюты эти зенитчики!

— А куда же еще? — кричал Коцек на ухо Войте. — Он раздолбал третью... можно и ее списать... Русские уже в Словакии — два часа лету... А можно попробовать и подальше. Знаю там каждую тропинку... небось работал в школе, около Хуста. Есть там один аэродром. Первый класс. Когда пришлось уезжать, я обещал, что вернусь... Надоело мне глядеть на Хюбша и ждать у моря погоды.

Внезапно наступила тишина, пикировщик, сделав свое дело, исчез, как дух, образумилась и зенитная батарея, сирена возвестила отбой, но тотчас возникла новая суматоха — с завода к трем догорающим самолетам с воем примчались пожарные машины, беспорядочные свистки смешались с топотом подкованных сапог люфтваффе. Но тушить и спасти было уже нечего.

Приятели с облегчением выпрямились и потянулись.

— Пошли, — сказал Коцек, выглянул за дверь, понюхал воздух и понимающе мигнул Войте. — Подготовим новую порцию машин.

Войта затоптал окурочек на замызганном полу и глубоко вздохнул.

— Послушай, — сказал он, — так я согласен.

Но странное дело: Коцек поглядел на него через плечо и удивленно заморгал:

— Ты что, блажишь, милый человек? Уж не принял ли ты это всерьез, упаси боже? Занятно было поговорить об этом, я люблю рассуждать, взвесить все «за» и «против», поупражнять смекалку. Но...

В смущенном молчании шли они к разбитым самолетам, вдыхая холодный воздух, пропитанный запахом пожара. Мимо бежали люди. Коцек нагнулся, поднял осколок снаряда и подбросил его на ладони.

— Свинство! Угодит такой, и останется от тебя мокрое место. Спрячу на память. — Заметив разочарование на лице Войты, он положил ему руку на плечо и вернулся к прерванному разговору. — Я не говорю, что в принципе это невозможно, в конце концов я один как перст, но ты...

— А что я? — огрызнулся Войта. — Сказал, значит не отступлюсь. Если ты не зря трепался, то на меня можешь рассчитывать.

Коцек трагически схватился за голову.

— Да ведь ты женат! Нет, не хочу я грех на душу брать. Не оставишь же ты свою женушку...

Он осекся на полуслове, заметив, что Войта так стиснул зубы, что у него на скулах вздулись желваки.

Милостивая пани, она же теща и совладелица виллы «Гедвига», была женщина многоопытная, свою дочь она знала достаточно хорошо, чтобы понять, что упреками, слезами и запретами с ней не сладишь. Это стало ясно ей с того самого утра, когда она застала молодых людей в комнатке Алены в подозрительной позе. Она не стала мешать им и ушла к себе. Милостивая пани была несколько панвна, что, кстати говоря, придавало ей особый шарм, но, разумеется, не до такой степени, чтобы не понять — еще даже до того, как она посоветовалась со своим другом и правозащитником, — что самое правильное сейчас — это вооружиться терпением и снисходительностью, хотя капризные скачки в поведении дочери казались ей попросту непостижимыми. Она узнавала в Алене бурную и неукротимую натуру своего покойного супруга, от которого дочь унаследовала и кое-какие внешние черты — в ущерб своей привлекательности.

Милостивая пани решила, что для вмешательства ей еще хватит времени, и не сомневалась, что Алена образумится сама... с незаметной помощью матери.

Таким образом, уже на следующий день Алена очутилась в положении боксера, который, теряя равновесие, со всей силы нанес удар в пустоту, не заметив, что противник добровольно лег на пол. Мать приняла дочь в своем благоуханном королевстве, выслушала ее, благосклонно кивая, и даже, что бывало редко, погладила по голове.

— Девочка моя, — сказала она с изящной грустью, — мы с тобой и в самом деле подчас не понимаем друг друга, что, кстати говоря, нередко бывает между матерью и взрослой дочкой. Но не так уж я старомодна, чтобы и сейчас не понять тебя. Я тебе больше чем друг и не стану тебя уговаривать. Разве может третий человек постичь всю сложность двух любящих сердец? Всякие наставления в таких делах излишни, ты сама должна решить, кого ты любишь, — ведь ты уже взрослая женщина. А кроме того, как ты сама сказала, ты совладелица нашей виллы. Кстати, нет смысла скрывать от тебя, что и я не считаю, что моя личная жизнь кончена, и... рассчитываю на твое понимание... Хотя, конечно, с другой стороны...

— Что — с другой стороны? — нахмурилась, прервала Алена, и в голосе ее все еще был остаток воинственности.

Милостивая пани не дала вовлечь себя в опасный спор и, игнорируя этот тон, продолжала с бархатной улыбкой:

— Ничего, дорогая, ничего, о чем стоило бы говорить. Я только

хотела сказать, что материнство — это... гм... очень серьезное и ответственное дело, которое связывает людей, особенно женщину. Вот так-то, девочка. Ты очень молода, а вы, молодые, еще так мало взяли от жизни из-за этой ужасной войны. Я думала, что ты будешь учиться, будешь петь, захочешь путешествовать. Но, видно, я и в самом деле не понимаю вас и зря говорю все это. Наверно, ты уже все обдумала, и я не вправе эгоистически отговаривать тебя. — Она опять умиленно улыбнулась, привычным жестом провела по вискам и трогательно вздохнула. — А мне остается лишь примириться с ролью молодой бабушки. Думаю, что в мои годы это даже не досадно, а скорее забавно.

В соседней комнате монотонно гудел пылесос, за окном, в кроках деревьев, жарко дышало лето. Мать и дочь вдруг почувствовали себя приятельницами, неожиданно всплывшими друг к другу симпатией. Алена изумлялась тому, что мать приняла ее решение, и уже почти забыла, как готовилась воевать за него.

— Я поняла, что Войта лучше всех других, мама, хоть он и не кончил школы и работает на заводе. У него другие плюсы, и он любит меня, а это главное. Он всегда будет надежной опорой.

— Ну, конечно, конечно, Алуш... Передо мной, уж во всяком случае, можно и не защищать нашего Войту, верно? Я его люблю почти как родного. И он столько сделал для тебя! Ты говоришь, он в самом деле сказал, чтобы ты оставила ребенка? Вы хорошо подумали, дети? Пойми, это не пустяк — если даже он тебя любит — всю жизнь заботиться о ребенке, который... Жизнь, моя милая, длинна, и люди меняются. А я, конечно, прежде всего забочусь о тебе. Мы живем в ужасное время, кто знает, что будет дальше.

— Войта знает.

— Может быть, — мать кивнула и сделала озабоченное лицо. — Может быть, он и знает. Я понимаю, великодушие и чуткость, с которыми он к тебе отнесся, импонируют. Невероятное благородство в нынешнее варварское время! Кстати говоря, смотреть на человека сверху вниз лишь потому, что он рабочий, — это определенно пред-рассудок. И похоже на то — я говорила на этот счет с Бедржихом... я имею в виду пана Годка, — что чем дальше, тем такое отношение будет все более уместным. Алешу должно быть стыдно за свое поведение! Времена меняются, и надо считаться с этими переменами, хотя, конечно, некоторые различия между супругами всегда будут сказываться. К сожалению!

— Какие различия?

— Может, я ошибаюсь, но любовь и постель — это еще далеко не все в супружестве, Алена. Надо, чтобы и в остальном был лад. Безусловно полезно, когда оба, муж и жена, одинаково образованны, умеют вести себя в обществе... когда у них общие взгляды на жизнь... и есть о чем поговорить...

— О ком это ты? — беспокойно прервала ее Алена. — Войта не какой-нибудь примитивный дурачок. Ты еще увидишь, какой он! Хоть

он и не умеет красиво болтать, как те вчерашние пижоны. Он умный...

— Я совсем не имела в виду Войту, — сманеврировала мать. — В его уме я не сомневаюсь. Я говорю вообще...

Они расстались, как подруги, мина была подложена незаметно, а Алене было о чем подумать. Она была немного сбита с толку: ожидала столкновения и не дождалась. Спускаясь с лестницы в сад, Алена чувствовала себя так, словно у нее отняли что-то и она лишилась мученического ореола, которым упивалась с утра, слушая нежные птиц. Жалко. Гм... Голова у Алены до сих пор трещала после вчерашней попойки, и мир казался нестерпимо трезвым. Скучные серые мирные будни! Алена их терпеть не могла. Видно, я вчера здорово налакалась, — подумала она без особых угрызений совести. — Придется пока бросить, а то рожу, пожалуй, какого-нибудь уroda. Так говорят. Вот тебе на! А мать права: ясно, как божий день, что все пойдет насмарку — учење, песенки перед микрофоном. (ох, и пластиночки же он вчера принес!), дорога в мир и все прочее! Зачем мне, собственно, ребенок? Совсем ни к чему!

Алена представила себе, как она катит по улице колясочку, где в мокрых пеленках верещит какая-то мразь. Ну, пеленки, конечно, будет стирать Фанинка, но все равно новорожденный младенец — это жалкое и смешное зрелище. Может, у него будет отцовский подбородок и насмешливые глаза. Алена разжигала в себе ненависть к этой самоуверенной физиономии. Стоило только вспомнить, что он сказал, когда она сообщила ему свою заветную тайну. «Слушай-ка, девочка, а это в самом деле от меня? Что-то я не припомню, чтобы был неосторожен». Негодяй, смазливый подлец! Надо было выцарапать ему глаза!.. Но что там ни говори, а беременность есть беременность, сама по себе она не пройдет. И зачем только я родилась женщиной, на кой черт мне это? Может, сходить туда, где у мамы налажены отпошения? Дать выпотрошить себя, как курицу, орать от боли и ни за что ни про что... Нет, никогда! Хватит об этом! Да и ни к чему, ведь есть же Войта.

Алене страшно захотелось, чтобы он поскорее вернулся с завода и был с ней. Она его любит, любит, любит!

Обо всех этих ее раздумьях Войта, разумеется, и представления не имел, и, когда Алена подробно, но без особого воодушевления передала ему разговор с матерью, он облегченно вздохнул. Понимание, проявленное ангелом с верхнего этажа, показалось Войте после недолгих раздумий даже естественным. Тучи рассеиваются — Алена в его объятиях, все кругом прекрасно, и это все явь, а не сон! Ему даже стало нравиться жить на свете.

Лето неистовствовало, Войта бродил в его огнях блаженно ошалелый. Дни были чем-то похожи на облака. Завод, сходки «Орфея» — он не пропускал ничего, но берег каждую свободную минутку, чтобы провести ее с Аленой. Снова повторилось время, которое некогда закон-

чилось фарсом бракосочетания, и снова Войту, как и тогда, не тревожили заботы, не обескураживали опасения. Все было по-иному: ведь Алена готовится стать матерью. Войта, правда, не жаждал ребенка, но смутно сознавал, что именно материнство может переродить Алену, и потому верил, что на этот раз их новые отношения не потерпят краха.

Они ходили в кино, Войта покупал ей эскимо, а когда у него выдавалось свободное утро, они вместе загорали на траве в саду. У ограды постукивала починенная мельничка, сад прятал свою запущенность под летним нарядом, бесстрастная наядя грела под ярким солнышком свои оббитые конечности. «Дети, ужинать!» — слышался голос Войтиной матери. Она тоже заметно ожила, иной раз растроганный Войта слышал, как она тихонько напевает, убирая в доме. Наверно, и с ней дело не так уж плохо. Войта по-прежнему спал в полуподвале на своем диванчике — комнатка Алены была мала для двух кроватей, поэтому сообща с милостивой пани было решено, что он подождет с переездом до окончания войны. Ведь из полуподвала на второй этаж путь недалек!

Войта согласился. Его скорее беспокоило иное, менее конкретное. В сердце подчас проникал знакомый холодок, ненадолго, правда, но нечто стало удивительным образом повторяться, и это нечто было в самой Алене. Иногда он заставлял ее в грустном раздумье. Оно ей шло, но Войта пытался рассеять его. «Да ничего, правда, ничего, Войтина, — говорила она. — Не сердись! Ты же понимаешь, что у меня есть причины беспокоиться. Кто знает, когда кончится война. Что, если фронт докатится сюда и нам придется уходить? С ребенком-то на руках! А если здесь будут бои? Или воздушные налеты?»

Войта довольно неубедительно утешал ее, потому что такие опасения в самом деле были небезосновательными. Алена ходила рассеянная, он уже знал это ее состояние тревожного нетерпения, но было в ней и что-то несвойственное прежней Алене — апатия и постоянная усталость. Ее часто тошнило, и тогда она прямо-таки страдала от его присутствия. «Я противная, не смотри на меня! Даже запах мыла меня раздражает». С той памятной ночи между ними не было физической близости. Войта деликатно не настаивал — ведь у нее сейчас такое самочувствие! Он замечал, что большую часть времени она проводила с милостивой пани — в конце концов это естественно, мать все-таки. Но ему не нравилось, что они странным образом замолкали, едва он появлялся на пороге.

— Знаешь что, — сказала однажды Алена, когда они лежали рядом на траве. — Иногда мне кажется, что было бы лучше, если бы я тогда поехала в рейх, как все девчонки из нашего класса. Все было бы яснее....

Удивленный, Войта приподнялся на локтях. Куда она метит?

— Смотри не обгори, прикройся-ка. Почему было бы лучше?

— По крайней мере мне не портило бы настроение все то наносное, что сейчас влияет на наши отношения. Например, твоя жалость или моя благодарность. Мы были бы тогда в равном положении.

— Тебе не за что меня благодарить. Я люблю тебя.

— Знаю! — прервала она его раздраженно. — Вечно я это от тебя слышу! Сказал бы что-нибудь другое. Например: я тебя ненавижу, ты испорченная буржуйская девчонка — то ты нос от меня воротила, а то пришла на поклон и бог весть чего еще можно от тебя ожидать... Не мешай, дай мне сказать, не лезь со своими утешениями! Ты такой добряк, что я кажусь себе Магдалиной у ног Христа, а мне хочется ругаться самыми последними словами. Иногда я даже хочу, чтобы ты был хоть немножко негодяем, уверяю тебя! Поищи в себе какую-нибудь подлятинку, может, станешь мне ближе! — Глянув ему в лицо, она съежилась, прижалась горячим лбом к его плечу. — Войтина, жизнь ужасна, я просто не знаю, что делать! А женщина... и не пытайся понять, медвежонок! Иди домой, не сердись, у меня безумно трещит башка.

Она запретила провожать ее и потащилась в дом тяжелой, неверной походкой, понурая, как бы погруженная в себя.

Только на другой день, когда Войта вернулся со сходки «Орфея», — ему так не сиделось там! — он понял весь смысл вчерашней вспышки. Уже на пороге белой комнатки он замер в испуге: в ней было тихо, спущенные занавески бесшумно трепетали, обычный аромат смешивался с запахом карболки, напомнившим о физической боли. Ничто не изменилось здесь, кроме самой Алены. Она была неузнаваема. Измученное лицо ее казалось блее подушки, с которой оно глядело на Войту с отчужденной и какой-то отрешенной полуулыбкой.

Войта в ужасе кинулся к ней, он все понял.

— Зачем ты это сделала, Алена?

Она привлекла его к себе на постель и влажными пальцами коснулась его лба.

— Все кончено, Войтина, — ее голос звучал словно издалека. — Я уже пустая, как прежде... Все обошлось благополучно, не бойся. Так лучше для всех, верно?

В растерянности он не знал, что сказать.

— Тебе было... больно?

— Очень, Войтина, больше, чем я думала. Лучше и не вспоминать. Мне все еще кажется, что это не я, а кто-то другой. Но я сделала это и ради тебя. Ведь ты хочешь учиться, стать знаменитым летчиком, верно? А жена с ребенком — это так подрезает крылья... Ну что, капитан, глядишь, как мокрая курица... Ты не рад?

— Нет! — воскликнул он слишком громко и, подавленный, опустил голову. — Ради меня не нужно было! И вообще... плевать мне на авиацию, плевать на все, что мешает тебе. Зачем ты это сделала... зачем?

— Ну что вы, Войтишек, — ласково сказал в дверях мягкий голос. В комнату, шелестя халатом, вошла милостивая пани. — Будьте же благоразумны, мальчик! Не можете же вы в самом деле хотеть этого. Ведь это было бы ненормально и со временем угнетало бы и вас самого, верьте моему опыту! Слава богу, все позади, а после войны, если захотите, можете завести хоть дюжину собственных детей.

Верно? — Тут голос ее стал необычно строгим, и она сказала с упреком, хоть и не слишком резко: — Но я прошу вас быть более внимательным, Алене сейчас нужен абсолютный покой, и скажу вам откровенно, мне не нравится, что вы в рабочем костюме сели к ней на постель. Согласитесь, это негигиенично...

Войта согласился: да, конечно, негигиенично. Пристыженный, он понуро встал, закусив губы, и, когда взглянул в приветливое лицо милостивой пани, готов был поклясться, что на нем где-то под умело скрытыми морщинками мелькнула торжествующая улыбка. Войта вздрогнул от безотчетного, еще не изведенного гнева. Попятившись, он молча вышел из комнатки, отчетливо понимая, что проиграл битву, даже не вступив в нее, что потерпел поражение в первом же раунде незримой борьбы, в которой, вообще говоря, и не мог рассчитывать на победу.

— Можешь дальше не рассказывать! — остановил его Коцек и замысловато сплюнул в пыльную траву. Они шли к ангару, удаляясь от догорающих обломков самолетов, поеживаясь от декабрьской стужи, и на всем пути ни разу не поглядели друг другу в глаза.

В проломе ограды, отделявшей аэродром от заводского двора, теснились любопытные, всем хотелось потешиться видом разрушений. Веркушцы загоняли людей обратно на заводской двор. Слышались смех и колючие шуточки; толпа замолкла лишь тогда, когда появились Каутце, а за ним мрачный Мертвяк.

«Zurück! Zurück! Weiter!» *

Налетел ветер, и под его свист Коцек пробормотал:

— Все равно совета ты от меня не получишь, — Он подбросил на ладони осколок снаряда и сердито отшвырнул его. — Кстати говоря, жизнь достаточно длинна и интересна, успеешь все забыть. У меня такой рецепт: плюнь, разреши себе немного похныкать, а потом действуй! Перемени обстановку. Это помогает лучше всего. Знаешь, надо как бы отойти от себя вчерашнего, от всех передрыг, и сказать себе: ну и что? Я дышу, я здоров, будь я больной, тогда другое дело. Быть мертвым, скажем, хуже всего, а я живой, и завтра, может, мне станет хорошо. И даже классно!

Он прав, подумал Войта. Надо переменить обстановку. Это было бы здорово! Он стиснул зубы, потому что перед ним вдруг отчетливо встало лицо с язвительной усмешкой, открывавшей крепкие зубы, — лицо Алены, но совсем не той, какой она была летом. И это лицо заставило его забыть все, что он находил в нем раньше.

«Ну вот что, парень, хватит разговоров, и не страдай, пожалуйста, глядеть противно. Слышишь? Я сыта по горло, осточертело! А если уж ты пришел — тоже мне Отелло от станка, — я тебе сама все выложу! Сейчас же! Как ты представлял себе жизнь со мной? Думал, я стану наседкой в твсем гнездышке? Буду пестить яички и вы-

* Назад! Назад! Дальше! (и е м.).

шивать кухонные занавесочки? Я?! О господи! Хочешь, чтоб я сдохла от собственной добродетели? У меня были лучшие намерения, но ты все испортил, у тебя же нет никакого размаха! Выслеживать — это ты еще умеешь! Думай обо мне что хочешь, мне наплевать. Я свободный человек и буду жить как мне вздумается, и не тебе меня учить, а тем более упрекать! Не таращи глаза, я тебя не боюсь... Видел бы ты себя сейчас! — Она расхохоталась вызывающе, бессыдно, видно, ей хотелось спровоцировать его на взрыв, и она с жестокой изобретательностью подбирала самые обидные слова: — Я скажу, что тебя больше всего злит, милый! Тебя злит то, что ты ничего не умеешь! Разве что разобрать какую-нибудь там свою дурацкую машинку — на это тебя еще хватит, но чувства и женщина — это для тебя туман, это очень уж сложно. Так и ускользает из рук. Тут не помогут ни клещи, ни отвертка! Чего ты еще хочешь? Попользовался — и скажи спасибо! Ну, ударь меня, покажи свой нрав, святой соплячок, на большее ты не способен — слышишь? — не способен, потому что ты неотесанный, неповоротливый медведь!..»

— Ты больше не живешь с ней? — крикнул ему Коцек в ухо. Под сводами ангара ревел мотор, и воздух вокруг дрожал от его гнева.

— Почти месяц. Мать я отвез в деревню, к тетке, а из дома выписался. Ночую у одного знакомого.

— Sic et поп. У меня неважная халупа, но думаю, что мы с тобой поладим. Я умею варить гуляш без мяса — такой, что пальчики оближешь. На тебя возлагаются уборка и черная работа.

В воспоминаниях Войты подробности переплетались, они наплывали друг на друга, но сейчас, размышляя обо всем, он готов был поклясться, что занавес следующего акта начал незаметно подниматься уже в тот вечер, у ее постели. Внешне еще долго ничего не менялось. На другой день Алена встала, лицо у нее было восковое, она с трудом ходила по дому и была трогательно кроткой. Через неделю она поправилась, боль совсем прошла, в гостинной снова заверещала радиола.

— Вот это поют сестры Эндрю, это играет Эмбруз, запомни, Войта. «Май блю хевн» *... — говорила Алена, упиваясь английскими словами. — Тайптин.

Войта слушал ее с восхищением. Он заметил, что она исподволь испытывает его.

— А это что такое? Не знаешь, медведь?

— «Пэтрол Свинг», — угадал он и удостоился похвалы.

Войта терпеливо менял иглы в адаптере, однажды разобрал и смазал моторчик радиолы, устранив досадные шорохи, и сразу стал полезным специалистом.

* «Мое голубое небо» (англ.).

Верно? — Тут голос ее стал необычно строгим, и она сказала с упреком, хоть и не слишком резко: — Но я прошу вас быть более внимательным, Алене сейчас нужен абсолютный покой, и скажу вам откровенно, мне не нравится, что вы в рабочем костюме сели к ней на постель. Согласитесь, это негигиенично...

Войта согласился: да, конечно, негигиенично. Пристыженный, он понуро встал, закусив губы, и, когда взглянул в приветливое лицо милостивой пани, готов был поклясться, что на нем где-то под умело скрытыми морщинками мелькнула торжествующая улыбка. Войта вздрогнул от безотчетного, еще не изведенного гнева. Попятившись, он молча вышел из комнатки, отчетливо понимая, что проиграл битву, даже не вступив в нее, что потерпел поражение в первом же раунде незримой борьбы, в которой, вообще говоря, и не мог рассчитывать на победу.

— Можешь дальше не рассказывать! — остановил его Коцек и замысловато сплюнул в пыльную траву. Они шли к ангару, удаляясь от догорающих обломков самолетов, поживаясь от декабрьской стужи, и на всем пути ни разу не поглядели друг другу в глаза.

В проломе ограды, отделявшей аэродром от заводского двора, теснились любопытные, всем хотелось потешиться видом разрушений. Веркшущи загоняли людей обратно на заводской двор. Слышались смех и колючие шуточки; толпа замолкла лишь тогда, когда появились Каутце, а за ним мрачный Мертвяк.

«Zurück! Zurück! Weiter!» *

Налетел ветер, и под его свист Коцек пробормотал:

— Все равно совета ты от меня не получишь, — Он подбросил на ладони осколок снаряда и сердито отшвырнул его. — Кстати говоря, жизнь достаточно длинна и интересна, успеешь все забыть. У меня такой рецепт: плюнь, разреши себе немного похныкать, а потом действуй! Перемени обстановку. Это помогает лучше всего. Знаешь, надо как бы отойти от себя вчерашнего, от всех передрыг, и сказать себе: ну и что? Я дышу, я здоров, будь я больной, тогда другое дело. Быть мертвым, скажем, хуже всего, а я живой, и завтра может, мне станет хорошо. И даже классно!

Он прав, подумал Войта. Надо переменить обстановку. Это было бы здорово! Он стиснул зубы, потому что перед ним вдруг отчетливо встало лицо с язвительной усмешкой, открывавшей крепкие зубы, — лицо Алены, но совсем не той, какой она была летом. И это лицо заставило его забыть все, что он находил в нем раньше.

«Ну вот что, парень, хватит разговоров, и не страдай, пожалуйста, глядеть противно. Слышишь? Я сыта по горло, осточертело! А если уж ты пришел — тоже мне Отелло от станка, — я тебе сама все выложу! Сейчас же! Как ты представлял себе жизнь со мной? Думал, я стану наседкой в твоем гнездышке? Буду нести яички и вы-

* Назад! Назад! Дальше! (нем.).

шивать кухонные занавесочки? Я?! О господи! Хочешь, чтоб я сдохла от собственной добродетели? У меня были лучшие намерения, но ты все испортил, у тебя же нет никакого размаха! Выслеживать — это ты еще умеешь! Думай обо мне что хочешь, мне наплевать. Я свободный человек и буду жить как мне вздумается, и не тебе меня учить, а тем более упрекать! Не таращи глаза, я тебя не боюсь... Видел бы ты себя сейчас! — Она расхохоталась вызывающе, бессыдно, видно, ей хотелось спровоцировать его на взрыв, и она с жестокой изобретательностью подбирала самые обидные слова: — Я скажу, что тебя больше всего злит, милый! Тебя злит то, что ты ничего не умеешь! Разве что разобрать какую-нибудь там свою дурацкую машинку — на это тебя еще хватит, но чувства и женщина — это для тебя туман, это очень уж сложно. Так и ускользает из рук. Тут не помогут ни клещи, ни отвертка! Чего ты еще хочешь? Попользовался — и скажи спасибо! Ну, ударь меня, покажи свой нрав, святой соплячок, на большее ты не способен — слышишь? — не способен, потому что ты неотесанный, неповоротливый медведь!..»

— Ты больше не живешь с пей? — крикнул ему Коцек в ухо. Под сводами ангара ревел мотор, и воздух вокруг дрожал от его гнева.

— Почти месяц. Мать я отвез в деревню, к тетке, а из дома выписался. Ночую у одного знакомого.

— Sic et поп. У меня неважная халупа, но думаю, что мы с тобой поладим. Я умею варить гуляш без мяса — такой, что пальчики оближешь. На тебя возлагаются уборка и черная работа.

В воспоминаниях Войты подробности переплетались, они наплывали друг на друга, но сейчас, размышляя обо всем, он готов был поклясться, что занавес следующего акта начал незаметно подниматься уже в тот вечер, у ее постели. Внешне еще долго ничего не менялось. На другой день Алена встала, лицо у нее было восковое, она с трудом ходила по дому и была трогательно кроткой. Через неделю она поправилась, боль совсем прошла, в гостиной снова заверещала радиола.

— Вот это поют сестры Эндрю, это играет Эмбруз, запомни, Войта. «Май блю хевн» *... — говорила Алена, упиваясь английскими словами. — Тайптин.

Войта слушал ее с восхищением. Он заметил, что она исподволь испытывает его.

— А это что такое? Не знаешь, медведь?

— «Пэтрол Свинг», — угадал он и удостоился похвалы.

Войта терпеливо менял иглы в адаптере, однажды разобрал и смазал моторчик радиолы, устранив досадные шорохи, и сразу стал полезным специалистом.

* «Мое голубое небо» (а н г л.).

— А тебе не очень-то нравится эта музыка, верно? — сказала однажды Алена. — Ты охотнее ковыряешься во чреве радиолы!

Войта решительно опроверг такое мнение. Что он, какая-нибудь старая перочница, что ли? Почему ему не должна нравиться эта музыка? Она создает такое приятное легкомысленное настроение, в ее ритме все кажется легче, проще и веселее! Она в самом деле нравится Войте, хоть он и не умеет выразить это словами, и его рассудительная натура не склонна к экзальтации. Армстронг — это сила!

Алена опять неслась по лестнице через три ступеньки, и по всему дому раздавался ее громкий смех. После мучительного интермеццо жизнь снова стала подобной пестрому мячу, которым можно беззаботно перебрасываться. Войта был захвачен стихийной жизнерадостностью Алены, не противился ей, да и зачем? Ведь он любит эту девушку. Любит как сумасшедший! И он только слегка ворчал, становясь мишенью ее шуточек. Иногда он чувствовал себя при ней в роли доброго, глуповатого сенбернара, которого всегда можно потрепать за уши. Войта ершился, но быстро отходил, услыша ее смех. Ну и что с того? Ее поддразниванию он научился противопоставлять спокойствие и силу большого зверя.

— Бревно! — возмущалась она. — Настоящее бревно! Понимаешь?

— Понимаю.

— Ничем тебя не пронять!

— Угу, не пронять! — хладнокровно откликнулся он.

Это была неправда, но Войта уразумел, что в той нежной и вместе с тем упорной борьбе за перевес, которая завязалась между ними, ему выгодно держаться именно так. «Вздыхни поглубже и успокойся, ладно?» — говаривал он невозмутимо, глядя в ее рассерженное лицо. А когда это не помогало, брал Алену сзади за локти, поднимал в воздух и, сколько бы она ни брыкалась и как ни извивалась, держал ее до тех пор, пока она не смирится.

— Эй, ты, послушай, — ворчала она, остывая. — Брось свои штучки! Они годятся для ваших заводских девчонок!

Но, видно, эти штучки чем-то нравились и ей.

Они валялись на траве под лучами августовского солнца, успокоительно постукивала мельничка. В это золотистое время Алена еще принадлежала ему. Это бывало не часто, и Войта сдерживал свою ненасытную тягу, видя усталое лицо своей любимой: она сдавалась только после долгого и чем-то унижительного для него сопротивления, уступая физической силе.

Это все больше походило на грубое насилие. Войте казалось — и в этом для него было что-то непостижимое, — что именно грубость нравится Алене, что в этом она находит особое наслаждение. Она просто требовала, чтобы он овладевал ею с грубостью самца, чтобы унижал ее. Войта страдал от смущения, что он идет на то, чего не хочет, ибо в основе его любви к Алене была нежность — обыкновенная мужская нежность к любимой женщине. А нежности-то как раз в нем она терпеть не могла.

— Отстань ты с этими вечными поцелуйчиками, разве не видишь, я спать хочу. Еще влипну из-за тебя снова, говорят, что после аборта это особенно опасно. Мне сегодня не хочется. Не сердись!

Алена была фантастически изобретательна в своей милой тираннии. Она убедила себя, что обязательно «модернизирует» Войту, — надо сделать его современнее, чтобы он стал хоть немного похож на тех элегантных и самоуверенных франтов, которые прежде на вечеринках заполняли их квартиру.

— У меня самые лучшие намерения, уверяю тебя! Я не потеряю, чтобы люди подсмеивались над тобой... Не будем же мы вечничить отшельниками. Пойми и не упрямься!

И она взялась за дело с обычным для нее упорством и необычной методичностью.

— Эту мужицкую рубашку изволь больше не носить! К черту этот кудрявый чуб — ты похож на красавчика с ярмарочных качелей. Вечно ты ходишь, выставив вперед плечи, — держись свободно!.. Знаешь что, ты будешь учить английский! — Она перелистала учебник и начала с первого урока: вспомогательный глагол «ту би». — За дело! Ай эм, ю ар, хи, ши, ит из... Проще простого! Вот видишь, память у тебя отличная. И пожалуйста, брось свои словечки: так сказать, стало быть. Ты не на заводе, а для летчика это и вовсе ни к чему.

Сначала Войта не видел причин сопротивляться подобной дрессировке — ведь у Алены благие намерения, и ему не повредит, если он немного пообтешется.

— Знаешь что, — сказала она однажды со смехом. — Мы с тобой разыграем «Пигмалиона». Я буду профессор Хиггинс.

Эти иностранные имена ничего не говорили Войте; на другой день, на заводе, Павел объяснил ему, в чем дело, а Войта покраснел и закусил губы. После этого у него было бурное объяснение с Аленой, он решительно всему воспротивился, объявил, что плюет на все это и не собирается походить на тех франтов, которые здесь выставлялись. Баста!

Вспыхнула ожесточенная ссора, Войта некоторое время упорствовал, потом сдался.

— Что в этом плохого, Войтина? Кто это тебя обработал? Любишь ты меня или нет? Хочешь, чтобы мы были вместе? Да или нет? Решай! Боже мой, ты ведь даже не умеешь танцевать? Ну ничего, еще не все потеряно, я тебя научу. Вальсы и польки я тебе, так и быть, скощу, начнем прямо со свинга. Ты должен согласиться. Ради меня... Итак, ближе к делу!

Ощущая мучительную беспомощность, Войта пытался объяснить, что он не создан для танцев, но, прежде чем собрался с духом, чтобы воспротивиться как настоящий мужчина, уже взревела радиола. «Один разок того отведал... — синкопируя, пел баритон. — Ах, это был ужасный срам, я больше не поддамся вам!» Алена уже закатала ковер и оттащила его к окну.

— Чтобы мой муж не умел как следует танцевать? — в возбуждении воскликнула она. — Об этом не может быть и речи, Войтина! Что скажут девчонки! Им бы только перебивать чьи-нибудь косточки! Не хочешь же ты выглядеть перед ними каким-то увальнем. Вот смотри, это основной шаг, попробуй сам, да не стесняйся! Ах, черт, нет, не так, ты не держишь ритм, о боже! Вот это уже лучше. Еще раз, еще! А теперь вместе! «Я больше не поддамся вам...» — запела она вместе с пластинкой. — Больше сгибай колени, опускайся и поднимайся, покачивайся! Свинг — значит качаться, по-чешски танец назывался бы «Качальник», но это совсем не звучит.

И Войта разрешал трести себя, послушно сгибался в коленях, покачивался вместе с Аленой в захватывающем ритме — немного неловко и топорно, с излишней точностью, чересчур усердно работая, и ему казалось, что все это занятие для ненормальных. Однако он изобразил на лице улыбку, означавшую разудалое веселье.

— Пошло на лад. — похвалила Алена, все больше приходя в экстаз. — Только немного однообразно, надо танцевать всем телом, расслабиться, свинг этого требует! Ну-ка давай!

Что сказали бы ребята на заводе? — подумал Войта. — Видели бы они, Павел или Милан, как участник «Орфея» выламывается и извивается тут, отплясывая с буржуйской барышней. Милан обязательно бы сказал: «И это в то время, когда в мире бушует война...» А впрочем, к черту, в чем они могут меня упрекнуть, это же моя жена, я ее люблю, и вообще, что плохого в том, что человек хочет немного развлечься?

Конечно, ничего плохого. Но все это было началом конца, который Войта смутно ощущал по мелким и на первый взгляд невинным признакам, замечая в них некую скрытую и роковую закономерность. Игра в перевоспитание Войты вскоре приелась Алене, и вечера, которые они проводили вместе, стали опасно однообразными. Попросту нудными. Как прогнать скуку? — ломал себе голову Войта. — У нас такие различные интересы, о чем же говорить? О заводе, товарищах и машинах? О том, что он так крепко любит Алену! Говорить на эту тему у него и вовсе не поворачивался язык. А главное, милая болтовня о том, о сем — искусство, которым так блестяще владели приятели Алены, не было сильной стороной Войты. Кстати говоря, его родители всегда мало разговаривали друг с другом — простые люди труда, они избегали болтать попусту.

— Войта, опять ты копаешься в радиоле? Оставь ее в покое, она работает безупречно. Ты бы лучше изобрел новую систему спуска воды в уборной!

Нетрудно было заметить, что Аленой владеет какое-то злое и враждебное ему беспокойство.

— Чего терпеть не могу, так это скучищи, — сказала она однажды, сидя за пасьянсом и грызя ногти. — Она разъедает, как ржавчина.

— Куда ты опять уходишь? — спросила она его в другой раз.

когда он собрался на обычную сходку «Орфея» по понедельникам. И даже не подняла головы.

Отговорки, которые имел наготове Войта, не отличались особой убедительностью — он не умел лгать, даже когда это было вполне уместно. «Что сказала бы она, если б я выложил ей всю правду?» — подумал Войта.

— Хоть бы раз ты сказал, что идешь на свидание с какой-нибудь мырой с завода, — насмешливо заметила Алена, — это хоть было бы оригинально, и я постаралась бы взревновать. Даже, может быть, выцарапала бы тебе глаза...

Войта кротко посмотрел на нее, уже стоя в дверях.

— Почему знать, может быть, и на свидание...

Но и из этого ничего не вышло. Алена отнеслась к его словам со скучающей усмешкой и недоверчиво покачала головой.

— Знаешь, я тоже уйду.

Что он мог сказать в ответ — упрекнуть или запретить?

С того вечера он все чаще не заставал ее дома, и приходила она все позднее и часто нетрезвая. В полуподвале было слышно, как она, напевая, поднимается по лестнице.

А потом? Что было потом? В город прорвалась осень, и с первой же непогодой в притихшую виллу «Гедвига» стали налетать компании молодых людей и девушек — приятелей и бывших возлюбленных, случайных подруг по гимназии, по водной станции, по теннисным кортам и вечеринкам. Они ураганом врывались сюда, с восхитительной самоуверенностью оккупировали верхний этаж, и там снова закипала прежняя жизнь.

— Что с того, что я пригласила несколько мальчиков и девочек? — решительно объявила Алена и, заметив хмурое несогласие на лице Войты, предупредила возможные возражения: — Не дуйся, Войтина, не хочешь же ты, чтобы я умирала со скуки. Я не умею жить без людей. Что в этом плохого, можешь ты мне объяснить? Вот видишь, не можешь! И не воображай, что ты спрячешься от всех, как медведь, чтобы потом говорили, что мне за тебя стыдно и что я вышла за какого-то бирюка. Мы перешьем тебе папин костюм. И отпусти себе бороду... Кстати говоря, все это отличные ребята и девчонки, проводить с ними время — красота!

С тех пор в доме все чаще слышались молодые голоса и девичий щебет, рев радиолы, визг, смех и звон рюмок. «У Алены всегда раздолье», — одобрительно сказал, уходя, один из нечесаных юношей. Устранялись «свинг-коктейли», которые зачастую переходили в попойки, а к ночи, когда более скромная часть компании уходила, начиналась игра в «покер с раздеванием», цель которого была в том, чтобы заставить наиболее бесшабашных девушек как можно больше освободиться от верхней одежды. Тут Алена была в своей стихии — все вертелось вокруг нее. Она не колебалась показать пример, чтобы поднять настроение. Однажды Войта остановил ее в последний момент, когда дело дошло до лифчика.

— Отцепись, не ворчи, — недовольно огрызнулась она наутро в

ответ на его упреки. — Что страшного, если бы я и сняла?! Мне нечего стесняться. Погляди!

Иной раз Войта предпочитал отворачиваться, чтобы не видеть, как подвыпившая Алена в уголке у окна целуется и «обжимается» с развязными юношами. Уж лучше делать вид, что ничего не замечаешь.

Супруг! В бессильной злобе Войта стискивал зубы, глядя на другой день, как его мать тащится по лестнице с пылесосом на второй этаж наводить порядок после ночного разгула. Паркет исцарапан, в цветочных горшках окурки.

— Такие образованные люди, а поглядите, милостивая пани, на это свинство!

Но ее жалобы не находили отклика у пани, преисполненной материнской снисходительности.

— Время военное, милая Фанинка, нельзя строго спрашивать с молодых, ведь верно?

Некоторые лица в нынешней компании Алены были знакомы Войте по той не забытой им ночи, других он видел впервые. Только Алеш не показывался, и Войта был втайне благодарен Алене за это. В разговорах Алены с Войтой да и в разговорах ее гостей ни разу не упоминалось его имя. И все же временами Войте, неизвестно почему, казалось, что Алеш незримо присутствует здесь, как неотвязная тень, — в этой пустой, веселой болтовне, в несдержанном смехе, в разнузданных выходках. Все присутствующие были похожи на него, а он на них, словно сделаны из одного теста, — удивительная смесь самонадеянности, легкомыслия и игривости, праздной болтовни, острословия и безвредного цинизма. В общем Алеш был неотделим от этой компании в той же мере, в какой законный супруг Алены не привился в ней, несмотря на все его старания. Уже самые их имена, вернее, клички не нравились ему: тут были Ати и Айи, Рене и Яшек, какие-то Джим и Фредди... Унылую блондинку с осиной талией иначе не называли, как Санта Мария (Войта потом случайно узнал, что она дочь крупного оптового торговца копченостями на Виноградах). Короля свинга звали Арчибальд, хотя по удостоверению он был обыкновенным Ярославом. Войте было неловко называть их такими именами, и он избегал этого. Покорно он высиживал ночами в этой шумной компании, среди музыки и смеха.

И все же Войта был удивительно одинок. А ведь жаловаться было не на что, по крайней мере вначале: относились к нему приветливо и даже предупредительно; при самой большой придирчивости нельзя было истолковать их отношение как скрытую иронию — никому не хотелось ссориться с Аленой. Войта ее муж! «Пан муж, — приглашала его с очаровательной улыбкой одна из девушек, — оторвем свинг?» Войта шел, волнуясь, тщательно следя за собой, и, наконец, получал похвалу, которая льстила ему, хотя он и подозревал, что она слишком преувеличена. Может, это нечто вроде одобрения собачке, которая научилась стоять на задних лапках? Черт его знает!

Войта редко вмешивался в обычные для этой компании разговоры. Он в них не разбирался, имен, которыми тут бросались, в большинстве своем никогда не слышал, об их носителях представления не

имел. «Что вы думаете о сюрреализме?» — спросили его как-то. Он ничего не думал и только пожал плечами. «Это уже пройденный этап», — выручил его кто-то. «Читали вы «Надю» Бретона?» — раздавался новый вопрос. Имена, имена, понятия, иностранные слова, цитаты... Войте даже показалось, что в его присутствии нарочно употребляют побольше иностранных слов, чтобы посадить его в калошу, но он тотчас отверг эту мысль. Зачем им это? Кто такой Брак? Какой-то художник. А что такое кубизм? И фрейдизм? Кто-то процитировал поллатыни Сенеку... Сюда бы Павла или Гонзу! Войта прислушивался к разговорам и восхищался образованностью этих юнцов, их остроумием, красноречием. Что поделаешь, я не учился в гимназии. Зато я знаю вещи, о которых они и понятия не имеют. Но о технике, машинах и прочем, о чем Войта мог бы без опасения высказаться, здесь говорили крайне редко, а о политике вообще не заводили разговора. «Бросьте вы политикку, мы на вечеринке!»

Можно ли столько знать?

— Не ломай себе голову, медведь, — засмеялась Алена, когда он однажды поделился с ней своими сомнениями. — Все это только кажется, а на самом деле, уверяю тебя, знают они совсем не так уж много, просто умеют вкрутить. А ты, если не смыслишь, о чем речь, сиди и помалкивай. Старайся не сесть в лужу. Понял?

Еще труднее было с девушками, они вели себя мило и язвительно.

— Я слышала, вы будете летчиком? Ах, как я вам завидую!

Войта сгорал от смущения.

— Как насчет прибавления семейства, пан муж? Алена выглядит превосходно!

В конце концов Алене пришлось выкручиваться самой, а она объяснила, что, к сожалению, прибавления семейства не будет. Все, разумеется, не поверили этому «к сожалению», но сделали сочувственную мину. Войту стало тошнить от этих рож. Он заставлял себя смеяться анекдотам, но никак не мог войти во вкус остроумия, которое тут процветало.

Однажды, после долгих колебаний, Войта отважился внести свою лепту и рассказал анекдот, которому смеялся, услышав его в заводской уборной от Гняна. Результат был убийственный. То ли Войта рассказал анекдот как-то робко и слишком серьезно, то ли не сумел должным образом преподнести соль — анекдоты надо уметь рассказывать, тотчас же уныло уразумел он, — но лишь двое присутствующих вежливо хихикнули, и молчание нависло такое плотное, что хоть режь его ножом. В убийственной тишине кто-то иронически вставил: «Здорово, а?»

Когда гости разошлись, Алена не упустила случая вернуться к этому инциденту:

— Больше ты, пожалуйста, с такими ветхозаветными анекдотами не суйся. Они годятся разве что на деревенской свадьбе.

После такой оплеухи Войта взбунтовался:

— Могу и вовсе не приходить, нечего мне делать в компании этих барышень и франтов с аттестатами. Не воображай, что я о них высокого мнения.

В воздухе разом запахло ссорой. Алена огрызнулась:

— Не пыжься, пожалуйста. Не выводи морали из своих недостатков, мальчик. Я не говорю, что все они ангелы, но если человек остроумен и находчив, умеет поддержать разговор и кончил гимназию, это еще не значит, что он дрянь. Заруби это себе на носу.

Что бы я делал, не будь моих ребят и «Орфея»? — думал Войта на одной из этих шумных вечеринок. Его вдруг страшно потянуло к товарищам, и он стал вспоминать их лица: Гонза, Павел, круглая, как блин, приветливо улыбающаяся физиономия Бациллы... Подумать только, тот же Павел или Гонза, да, собственно, и все остальные по-своему ничуть не менее образованны и начитанны, чем эти типы. И все же они совсем иные, это факт. Почему? Листовки, саботаж, ради которого рискуешь головой... Спорят, как черти, порой режутся в карты, потрепаться о девушках тоже не прочь, хохочут, услышав похабный анекдот, совсем не монахи, и все же, когда Войта с ними, он не чувствует себя уродом только из-за того, что у него нет аттестата. Видно, потому, что они уважают его за другое, например за его умелые руки и техническую смекалку. В их обществе он как бы распрямляется и начинает все видеть в новом свете. В том числе и вот этот сброд. И ее, Алену...

— Войтина, — прерывает эти утешительные размышления голос Алены, — иголки кончились, устрой что-нибудь.

Войта с облегчением кивает и идет «устроить что-нибудь». Только тогда я и нужен, когда перегорят пробки или хрипит радиоло. Гм, а что, если все рассказать ребятам? Посоветоваться с ними? Иногда Войту неудержимо тянет сделать это, но при взгляде на тощую физиономию Милана у него прилипает к горлу язык. «Войта у нас пролетарий, рабочий парень, — говорит иногда Милан почти с благоговением, которое Войте ни капельки не нужно. — У него у единственного из нас классовое сознание!» Что за чепуху ты порешь, хочется крикнуть Войте, ну тебя к бесу с этим твоим сознанием.

Разум Войты отказывается понять, что в том, что он родился в полуподвальной квартире, выучился на жестянщика и носит рабочую спецовку, есть какие-то отличие и заслуга. Не в этом же дело. Быть рабочим в том смысле, какой имеет в виду Милан, это нечто иное, более значительное. Ведь и среди рабочих есть шкуры. Я же знаю таких. А сам? Давно ли меня невероятно злило, что я только жестянщик. И знаю почему. Кто во время войны как следует объяснит все человеку? Даже кто-нибудь из вас... Черта с два было у меня раньше это самое классовое сознание! А сейчас? То-то вытаращил бы глаза Милан, если бы увидел, как этот твой представитель рабочего класса трясется в ритме свинга! По своей охоте, как дурак! Да еще волнуется, хорошо ли у него выходит. Обезьяна, и только! И с кем! Я не очень разбираюсь во взглядах этой компании, но ручаюсь, что едва ли кто-нибудь из них так ждет прихода Красной Армии, как ты или я... Ну, это их дело. А мне с ними не по себе, но, вот видишь, я тут треплюсь и пачкаю пол, который завтра будет натирать моя мама. Как подумаю об этом, хочется пихнуть ногой столик с радиолой и заорать: «Вон отсюда, сво-

лочи, прибираться за собой небось не станете!» Да только я этого никогда не сделаю, настолько не расхрабрюсь!

— Алло, пан муж, — слышит Войта рядом игривый голос, — что это вы хмуритесь? Не нальете ли мне рюмку?

И Войта наливает рюмку и распускает лицо в улыбке. Все это ради доченьки домовладельца. Понимаешь, Милан? Потому что, несмотря ни на что, я люблю ее, глупо, отчаянно, до слез, тянусь к ней, трясусь за каждое ее ласковое словечко, улыбку, поцелуй... хотя иной раз хочется ее ударить, хотя временами я задыхаюсь здесь и сбежал бы, если б мог пересилить себя, вырвать из сердца любовь и не сдохнуть при этом, поверь! Можно ли вообще любить и ненавидеть одновременно? Не знаю, я не создан для таких контрастов, но это так. И я чувствую себя изменником, мне кажется, ребята, что я изменяю нашему делу... Да нет, ну чем же, собственно?

— Оставь меня в покое, Войтина, будь умницей, я хочу спать, спать, спать!

Осень уже опустошала сад, в окна стучал дождь, деревья за окном раздевались донага, увядание в природе удивительно совпадало с увяданием их любви, и этого было уже не остановить.

О следующих двух месяцах у Войты в голове сохранилась какая-то путаница: сходки «Орфея», смех Алены, рассуждения Милана, аромат белой комнатки и вонь заводских клозетов, вечеринки и листовки, свинг, потрепанные брошюры, рев радиолы, осколки стекла на ковре, ночная кража на складе, гудение пылесоса. Каутце, колени Алены под шерстяной юбкой, аресты в моторном цехе, ненастье и тоска по ее телу, звяканье контрольных часов, нарастающее чувство стыда, жалости, бессилия и гнева, доводившее его чуть не до бешенства и до такой муки, что хотелось плакать... Ну и что еще?

— Отстань, я не изменюсь, — устало отвергала Алена все попытки наладить согласие. — Да и не хочу. Почему ты не умеешь развлекаться, как все?

Бархатный голос пани:

— Вы должны понять ее, Войтишек, Алена по натуре хорошая девушка...

Хорошая девушка вчера страшно перепилась... Мать по ночам ужасно дышит.

— Сходи же к доктору, — уговаривает ее Войта, — и брось эту работу!

Врач немного успокоил Войту:

— Ничего страшного, просто утомилось сердце. Надо его побережь! Но, молодой человек...

«...Можешь отпереть этот замок?» — серьезно сказал тогда Павел.

Если бы я во всем эдак разбирался, как в замках! Надо бы воспротивиться, дальше терпеть невозможно. Началась серия мелких бунтов, которые Алена подавляла одной улыбкой, потом последовал ряд слабых взрывов — один за другим.

Неожиданной причиной первого из них была мать Войты. Придя

с работы, он застал ее на диване и испугался, Фанинка тяжело дышала.

— Ничего, ничего, сыночек, я тут убиралась, и что-то мне стало нехорошо. Пройдет. Надо же прибраться наверху, сегодня придут гости, если будет не прибрано, что про нас подумают...

Войта взбежал по лестнице и настойчивым тоном, несвойственным ему, попросил Алену отменить вечеринку. Она удивленно подняла глаза и тотчас же ощетинулась.

— Как это так, что за глупости? Разогнать мне их, что ли?

После жестокой ссоры она немного уступила:

— Ладно, не учи меня, пожалуйста. Я скажу гостям, чтобы вели себя тихо, вот и все!

Войта ушел уязвленный ее эгоистической бесчувственностью, ожесточился и весь вечер оставался внизу, у мамы. Никто его не звал и не уговаривал, по нем явно не скучали, но вечеринка вначале проходила тише обычного. Незадолго до полуночи наверху вдруг открылась дверь, и Алена прибежала на минутку вниз проведать больную. На Войту она даже не взглянула, погладила Фанинку по седой голове и изобразила сочувствие:

— Фанинка, золотая моя, что с тобой? Смотри не болей!

Войта заметил, что ей не терпится вернуться обратно.

— Ничего, ничего, хорошая ты моя девочка, — успокоила ее расторопная Фанинка. — Завтра я уже буду на ногах. Спасибо, что ты ко мне зашла.

«Хорошая девочка» облила Войту снисходительным взглядом и через минуту испарилась, а наверху вскоре стало гораздо шумнее — слышался топот и рев, видимо, Арчибальд «откалывал» свинг, все в такт хлопало в ладоши; после полуночи уже казалось несомненным, что вот-вот обрушится потолок.

Войта с трудом сдерживал гнев. Он твердо решил, что завтра — у него как раз будет свободный день — он отвезет мать к тетке, в Полеграды; с теткой уже давно сговорено, мать поживет у нее и отдохнет. Конец, хватит этих уборок в доме, раз и навсегда! Отвезет туда мать хотя бы силой, пусть Алена и пани лопнут с досады!

На другой день он объявил милостивой пани о своем решении и не поддался ни на какие уговоры. Мать жалобно протестовала, но Войта все-таки повез ее дневным поездом в Полеграды. В вагоне он терпеливо выслушивал наказания: «Пальму-то, пальму не забывайте!.. А я хотела устроить сегодня большую стирку... И что ты только делаешь, сыночек! Что обо мне подумает пани!.. Она даже не знает, где лежат прищепки для белья!.. И разве найдешь надежную прислугу в такие-то трудные времена?»

Мать была совсем выбита из колеи, Войте даже стало жалко ее. Но он, стиснув зубы, выслушал все ее причитания и остался непоколебим. Так нужно! И не только из-за ее сердца. Он, Войта, поговорит с теткой — какая-нибудь легкая работа там найдется.

Он вернулся с ближайшим поездом, и на душе у него были смятение и гнев.

И вот снова поле боя! На втором этаже слышно гудение пылесоса. Свою законную жену Войта застал в стареньких лыжных брюках, с платочком на голове — она чистила ковер, демонстрируя всем своим видом оскорбленную добродетель. Выключив пылесос, она бросила на Войту взгляд королевы, которую оскорбил слуга.

— Помочь тебе? — спросил Войта.

— О, не трудись!

Она обмахивала веничком спинки кресел и как бы не замечала Войту, потом все-таки не сдержалась:

— Это мне в отместку? Впрочем, я ничуть не удивляюсь. — Она изливала свое озлобление в колкостях, которые, видимо, подготовила к его приходу. — Если ты воображаешь, что бог весть как меня поддел или унизил, то ошибаешься. Как всегда, мой мальчик! Это ты что ж, вчера вечером придумал, пока сидел внизу?

— Может, и вчера... — Войта почувствовал себя на тонком льду, ему обычно не удавалось переспорить Алену, особенно когда она была сердита. — Кроме того, я решил, что никогда больше не буду на твоих вечеринках.

Алена хлопнула тряпкой по столу и разразилась смехом.

— Убил! И тем самым осрамишь меня перед обществом! Наконец-то понял! А я вздохну с облегчением! Не думаешь ли ты, что мне очень приятно слышать шуточки по твоему адресу и вечно опасаться, что ты опять брякнешь какую-нибудь глупость? Знаешь, как тебя прозвали? Пан Фраер. Это Яшек придумал. А я, стало быть, пани Фраерша!

— Плевать мне на них! — Войта задыхался от стыда и гнева.

— А мне не плевать. Они совсем не плохие, это ты себя уверяешь в этом. Просто они любят веселье. А ты? Знаешь ты, что они потихоньку держат пари, грохнешься ты на пол во время свинга или нет? «Исправно ли у вас работает ватерклозет? Пан Фраер починит!» Мне все это осточертело, понимаешь, осточертело!

Увидев, как Войта изменился в лице, Алена поняла, что переборщила, со вздохом отвернулась и стала вытирать тряпкой полированную крышку радио. Когда в нестерпимой тишине он взял ее сзади за плечи, Алена не уклонилась, взглянула на него в упор — в глазах ее была незнакомая ему усталость — и даже оперлась о его плечо.

— Я знаю, Войтина, это конец, — прошептала она. — Я люблю тебя, но... мы с тобой... Э, что говорить!

Войта понимал, что конец совсем уже близок. Вечером он как лунтик бродил по городу, ночью ворочался на постели в пустой комнате и слушал, как ветер воеет в ржавых водосточных трубах. Эта диссонансная музыка сопутствовала его настроению, пока ее не заглушил рев радиолы. Уйти? Куда? Это было бы похоже на преждевременное отступление с поля битвы.

Потом арестовали Гонзу, у Войты возникло острое ощущение опасности, и он был почти рад этому.

А через несколько дней... То, что произошло через несколько дней, навсегда врезалось ему в память со страшной, почти осязаемой наглядностью, все — и лица, и слова, и это ноющее чувство под ложечкой, и осадок в рту, и запах духов.

Войта раньше обычного вернулся с завода и взбежал на второй этаж. Подойдя к белой комнатке, он почувал там какую-то живую и движущуюся тишину. Войта не удержался — кстати, и дверь была не заперта, — вошел. На пороге он застыл. Шелест ткани. Два тела на постели едва успели оторваться друг от друга. Руки, ноги, лица... Войта тотчас узнал их. Алена тоже сразу поняла, кто вошел. Она быстро поправила юбку и пригладила волосы, и Войта услышал, как она, уже на ходу, сказала Алешу:

— Погоди, я покончу с этим сама. — И подошла к Войте. — Что тебе здесь надо? Почему ты не постучал?

Он вышел в холл, Алена последовала за ним, оставив дверь полуоткрытой. Пунцовая от возбуждения и досады, она вызывающе прищурилась. В слабом свете, проникавшем сквозь матовые стекла, Войта в последний раз посмотрел ей в лицо. Он понял, что она решила обороняться атакой в лоб, чтобы заглушить укору совести и поскорей покончить со всем этим.

— Почему ты не на заводе?

Войта сжал кулаки, но не сказал ни слова. О чем говорить? Это был конец, и он это понимал.

— Да еще выслеживаешь! — прозвучало вблизи и как бы издавна.

— Неправда, — испуганно возразил он. — Ты же сама сказала... Она нетерпеливо закусилла нижнюю губу.

— Ну и что ж! Что мне теперь делать? Каяться? Упасть перед тобой на колени? Я плохая, испорченная, неблагодарная... Кончим с этим, Войта!

У Войты хватило сил только на бессмысленный жест рукой: молчи! И тут он заметил, что Годек-младший вышел из комнаты. Он был без пиджака и в расстегнутой рубашке: преодолев первоначальное замешательство, он с интересом наблюдал за объяснением и всем своим видом показывал, что не намерен вмешиваться.

— Чего еще ты от меня хочешь? Ты же не слепой. Я жалею, что ты видел это, но ты сам виноват. Я все равно собиралась сказать тебе... Я его люблю, и тут ничего не поделаешь...

— Алена!

Что она говорит? Слова, фразы — Войта осознавал их лишь наполовину, лишь общий их смысл, — она перебрасывала через него, швыряла ему в лицо, явно стараясь добить его, уничтожить. Он не мог заставить ее замолчать. Что теперь? Взбудораженный мозг предлагал безумные решения. Плюнуть в лицо! Убежать и поджечь дом! Повеситься на садовых воротах перед самым ее окном! О, эти издевательские глаза! Ненавижу ее, ненавижу! Ударить ее, бить, бить их обоих, все равно конец, конец, конец! Пусть хоть замолчит, пусть не издевается! Молчи же!

...Алена ошеломленно схватилась за щеку, но тотчас опомнилась и с презрением победителя подставила другую.

— Бей, бей! — истерически взвизгнула она. — Больше ты ни на что не способен!

— Ну, хватит, молодежь, — слышался от двери невозмутимый голос. — Мы не на ярмарке. Всякая забава имеет свои границы.

Алена резко обернулась.

— Ты видел? Он меня ударил! Как заводскую девчонку! И ты спокойно смотришь на это?

Алеш невозмутимо покачал головой.

— Я принципиально не вмешиваюсь в супружеские распри, — с божественным спокойствием пояснил он, но все же повернулся к ошеломленному Войте. — Я не собираюсь снова вздуть тебя, приятель, но постарайся совладать с собой. Не то я выведу тебя отсюда за уши.

Войта не успел кинуться на него, как из двери своей комнаты выплыла милостивая пани и вслед за ней ее друг и правозаступник.

В одно мгновение она поняла, что произошло, и всплеснула руками: — Вот каким вы оказались! Вот чего мы от вас дождались за все! А я-то всегда так защищала вас!

Она обмахивалась батистовым платочком, словно силы совсем оставляли ее.

— Такое оскорбление, о друг мой...

Друг, не растерявшись, тотчас же вступил в роль правозаступника и, откашлявшись, привычным жестом поправил очки.

— Советую вам, сударь... того-с... взять себя в руки. Моя святая обязанность... Ваш поступок, разумеется, не останется без юридических последствий. — бубнил он, но его корректный голос заглушили причитания милостивой пани и крики Алены. Мать и дочь, словно подбадривая друг друга, размахивали руками перед носом у безмолвного виновника этой сцены.

— Вот какова их признательность, — причитала пани. — Мы для него столько сделали! Покойный муж... Я не позволю, чтобы мою дочь бил какой-то хам, сын привратницы!

Из-под личины милой приветливости выглянула базарная торговка; материнский гнев увенчался эффектным взрывом плача, что придало всей сцене еще более омерзительный вид.

Ну и ну! Войта оглядел сидевших перед ним. Вот каковы они! Теперь ты видишь их подлинное лицо! Это твои враги — лицемерные, фальшивые, коварные! Все, и Алена тоже. Ее место среди них, прав был Милан.

— Заткнитесь! — рявкнул Войта и взмахнул рукой. — Сволочи! — Он не дал перекричать себя и захлебывался душившим его гневом. — Больше не подловите меня на удочку!

— Я запрещаю вам, — взвизгнул адвокат, несколько ошарашенный происходящим. — От имени нас всех... того-с... Оскорбленный мы не потерпим. Хотя вы рабочий и вам теперь всюду потакают...

— Ничего вы мне не запретите! — отрезал Войта, берясь за ручку двери. — Плевать мне на всех вас! — Он удивлялся легкости, с какой

А через несколько дней... То, что произошло через несколько дней, навсегда врезалось ему в память со страшной, почти осязаемой наглядностью, все — и лица, и слова, и это ноющее чувство под ложечкой, и осадок в рту, и запах духов.

Войта раньше обычного вернулся с завода и взбежал на второй этаж. Подойдя к белой комнатке, он почувствовал там какую-то живую и движущуюся тишину. Войта не удержался — кстати, и дверь была не заперта, — вошел. На пороге он застыл. Шелест ткани. Два тела на постели едва успели оторваться друг от друга. Руки, ноги, лица... Войта тотчас узнал их. Алена тоже сразу поняла, кто вошел. Она быстро поправила юбку и пригладила волосы, и Войта услышал, как она; уже на ходу, сказала Алешу:

— Погоди, я покончу с этим сама. — И подошла к Войте. — Что тебе здесь надо? Почему ты не постучал?

Он вышел в холл, Алена последовала за ним, оставив дверь полуоткрытой. Пунцовая от возбуждения и досады, она вызывающе прищурилась. В слабом свете, проникавшем сквозь матовые стекла, Войта в последний раз посмотрел ей в лицо. Он понял, что она решила обороняться атакой в лоб, чтобы заглушить укоры совести и поскорей покончить со всем этим.

— Почему ты не на заводе?

Войта сжал кулаки, но не сказал ни слова. О чем говорить? Это был конец, и он это понимал.

— Да еще выслеживаешь! — прозвучало вблизи и как бы изда- лека.

— Неправда, — испуганно возразил он. — Ты же сама сказала... Она нетерпеливо закусилла нижнюю губу.

— Ну и что ж! Что мне теперь делать? Каяться? Упасть перед тобой на колени? Я плохая, испорченная, неблагодарная... Кончим с этим, Войта!

У Войты хватило сил только на бессмысленный жест рукой: молчи! И тут он заметил, что Годек-младший вышел из комнаты. Он был без пиджака и в расстегнутой рубашке: преодолев первоначальное замешательство, он с интересом наблюдал за объяснением и всем своим видом показывал, что не намерен вмешиваться.

— Чего еще ты от меня хочешь? Ты же не слепой. Я жалею, что ты видел это, но ты сам виноват. Я все равно собиралась сказать тебе... Я его люблю, и тут ничего не поделаешь...

— Алена!

Что она говорит? Слова, фразы — Войта осознавал их лишь наполовину, лишь общий их смысл, — она перебрасывала через него, швыряла ему в лицо, явно стараясь добить его, уничтожить. Он не мог заставить ее замолчать. Что теперь? Взбудораженный мозг предлагал безумные решения. Плюнуть в лицо! Убежать и поджечь дом! Повеситься на садовых воротах перед самым ее окном! О, эти издевательские глаза! Ненавижу ее, ненавижу! Ударить ее, бить, бить их обоих, все равно конец, конец, конец! Пусть хоть замолчит, пусть не издевается! Молчи же!

...Алена ошеломленно схватилась за щеку, но тотчас опомнилась и с презрением победителя подставила другую.

— Бей, бей! — истерически взвизгнула она. — Больше ты ни на что не способен!

— Ну, хватит, молодежь, — послышался от двери невозмутимый голос. — Мы не на ярмарке. Всякая забава имеет свои границы.

Алена резко обернулась.

— Ты видел? Он меня ударил! Как заводскую девчонку! И ты спокойно смотришь на это?

Алеш невозмутимо покачал головой.

— Я принципиально не вмешиваюсь в супружеские распри, — с божественным спокойствием пояснил он, но все же повернулся к ошеломленному Войте. — Я не собираюсь снова вздуть тебя, приятель, но постарайся совладать с собой. Не то я выведу тебя отсюда за уши.

Войта не успел кинуться на него, как из двери своей комнаты выплыла милостивая пани и вслед за ней ее друг и правозаступник. В одно мгновение она поняла, что произошло, и всплеснула руками:

— Вот каким вы оказались! Вот чего мы от вас дождались за все! А я-то всегда так защищала вас!

Она обмахивалась батистовым платочком, словно силы совсем оставляли ее.

— Такое оскорбление, о друг мой...

Друг, не растерявшись, тотчас же вступил в роль правозаступника и, откашлявшись, привычным жестом поправил очки.

— Советую вам, сударь... того-с... взять себя в руки. Моя святая обязанность... Ваш поступок, разумеется, не останется без юридических последствий, — бубнил он, но его корректный голос заглушили причитания милостивой пани и крики Алены. Мать и дочь, словно подбадривая друг друга, размахивали руками перед носом у безмолвного виновника этой сцены.

— Вот какова их признательность, — причитала пани. — Мы для него столько сделали! Покойный муж... Я не позволю, чтобы мою дочь бил какой-то хам, сын привратницы!

Из-под личины милой приветливости выглянула базарная торговка; материнский гнев увенчался эффектным взрывом плача, что придало всей сцене еще более омерзительный вид.

Ну и ну! Войта оглядел сидевших перед ним. Вот каковы они! Теперь ты видишь их подлинное лицо! Это твои враги — лицемерные, фальшивые, коварные! Все, и Алена тоже. Ее место среди них, прав был Милан.

— Заткнитесь! — рявкнул Войта и взмахнул рукой. — Сволочи! — Он не дал перекричать себя и захлебывался душившим его гневом. — Больше не подловите меня на удочку!

— Я запрещаю вам, — взвизгнул адвокат, несколько ошарашенный происходящим. — От имени нас всех... того-с... Оскорбленный мы не потерпим. Хотя вы рабочий и вам теперь всюду потакают...

— Ничего вы мне не запретите! — отрезал Войта, берясь за ручку двери. — Плевать мне на всех вас! — Он удивлялся легкости, с какой

находил мысли и слова, которые прежде не пришли бы ему в голову. — Болтайте сколько хотите, меня вы не унижите, я вас вижу насквозь. Сидите тут и ждите, пока придут ваши западные освободители... о них вы только и скулите, как сучки. Но вы ошибаетесь, если думаете, что снова все станет, как прежде, и вы будете тут хозяйничать. Не дождетесь этого!

Он так хлопнул дверью, что дрогнула вся вилла, а в мансарде залаяла овчарка. Ее хозяин осторожно выглянул в дверь — не идут ли за ним? Еще нет! Разочарованный, он покачал головой. Еще нет! Странно! Он заметил, как сын привратницы, которого женили на племяннице, как безумный выскочил из квартиры сестры, демонстративно плюнул на пороге и съехал по перилам вниз. Мальчишество!

...Вот здесь, где кончаются перила красного дерева, мы всегда ставались: я шел вниз, она — вверх. Конец! Забегу к себе, соберу в чемодан самые нужные вещи и прочь отсюда. Навсегда! Захлопну за собой двери ненавистного дома, где я родился и вырос, отряхну прах со своих ног.

В мрачном безмолвии первым опомнился Алеш. Он беззаботно усмехнулся и отошел от двери.

— Колоссальная сцена! — одобрительно произнес он и почесал мизинцем в ухе. — Не ожидал я, господа, что вы прячете тут красного агитатора. Вот именно такие и приходят из подвалов. — Он взял Алену сзади за плечи и слегка потряс, чтобы привести в себя. — Ник как он тебя расстроил, милочка, — сказал Алеш утешительно, отводя ее в комнату. — Постарайся проникнуть в его психологию, это же проще пареной репы. Он ничего не понимает и потому начинает бунтовать и угрожать. Известное дело. Комплекс неполноценности. Я совсем не удивляюсь. Отсюда все революции.

И он повернул ключ в замке.

— Отстань, — сказала Алена и оттолкнула назойливую руку. — У меня уже нет настроения.

Она лежала навзничь, глядя в потолок, и задумчиво чертила пальцем в воздухе, потом перевернулась на живот и вздохнула.

— Противно мне все это, понимаешь? Противно!

Алеш зашагал по ковру, сунув руки в карманы; он держался как всегда, по-домашнему.

— Ну не надо, милочка, — укоризненно сказал он.

— Перестань называть меня милочкой! Не то я буду называть тебя шимпанзе!

— Сделай одолжение! Я не страдаю повышенной чувствительностью и в отличие от тебя знаю, чего хочу и чего не хочу. — Он понимающе подмигнул ей. — Не сомневаюсь, что ты опять расчувствовалась. Мол, дружба с детства, ветряная мельничка в саду, он — добрая душа и все прочее. А он когда-нибудь ворвется сюда с бандой красных комиссаров и выгонит тебя из этого дома как буржуйку. Наверно, это уже грезится ему в мстительных снах. Трепещи!

— Глупости! Он никогда бы так не поступил. Он порядочный человек. Не чета нам с тобой. А если даже и поступил бы — пусты! Я это заслужила своим поведением. Во всем сама виновата — это-то я уж знаю!

Алеш усмехнулся.

— Поторопись, ты еще застанешь его внизу.

— Ты негодяй! — констатировала Алена с нескрываемым восхищением. — Чудовище самопадежности. За это я тебя ненавижу. Любопытно узнать, интересуется ли тебя вообще что-нибудь на свете? Например, я?

Он потянул ее за волосы.

— Как видишь, тебе не доставило большого труда снова заманить меня к себе. Только я не позволяю так помыкать собой, как этот прощачок. И совсем я не такой великий негодяй и самопадежный тип, как ты уверяешь. Но, пожалуйста, оставайся при своем мнении, если тебе так нравится. А что ты скажешь насчет хорошей вечеринки по поводу нашего с тобой примирения?

— Слушай-на, — рассуждала вслух Алена, — как ты думаешь, возможно то, о чем он кричал?.. Ты веришь этому?

Алеш остановился у окна и задумчиво побарабанил пальцами по стеклу.

— Не верю, но считаюсь с любой возможностью. Ясно одно: конец войны еще ничего не решит.

— А что бы ты делал в таком случае? — спросила она почти злобно.

Он пожал широкими плечами, но не обернулся.

— Почему я знаю? Там будет видно. Но не бойся, я не пропаду. Соперить с историей не приходится, — он слегка усмехнулся, и непонятно было, говорит он шутя или серьезно. — Может, я даже присоединюсь к ним.

— Какую чушь ты порешь, мой дорогой! — усмехнулась Алена. — Ты и...

— Совсем не чушь. Я не намерен ограничиваться созерцанием кончика собственного носа и плестись в хвосте. К сожалению, жизнь у человека только одна. Значит, медлить нельзя. Это просто, как дважды два, и реалистично. Учти.

— А что будет со мной? Женишься ты когда-нибудь на мне?

— Проблема совращенной служанки, золотко? — Он громко рассмеялся. — Да, уж видно, женюсь. Что же мне остается? — добавил он с покорным вздохом. — Но сейчас рано говорить об этом. Сейчас все мы живем как на биваке. Протекторат*, понимаешь! Это не так уж плохо, человек должен научиться извлекать удовольствие из жизни всегда и всюду. Может, мы когда-нибудь будем с благодарностью вспоминать нынешнее время. Но, во всяком случае, я не позволю таким добрячкам, как твой почтенный супруг, оттеснить меня на задний план.

* Насмешливое искажение слова «протекторат», смысл которого в подчеркивании недолговечности протектората, установленного Гитлером в Чехии и Моравии. «Про-тепто-крат» — по-чешски означает «на этот раз».

Она приподнялась на кровати.

— Так почему же ты не выбросил его за дверь? Побоялся? Чтобы не поссориться с коммунистами?..

— Совсем нет, — равнодушно сказал Алеш. — Зачем было так поступать? Он и сам убрался. А кроме того, у меня есть свои принципы, к твоему сведению.

— Знаю, не вмешиваться, — сказала она с укоризной.

— Не только. Надо же иметь какие-то принципы, а? Так по крайней мере у меня мои... с детства. А кстати, что там делают сейчас наши голубки? Твоя мать еще кое на что годится.

— Не пытайся вызвать во мне ревность, — высокомерно сказала Алена.

— Какая наивность! Разве я любитель древностей? Слушай, брось-ка свои разговоры и иди сюда, к окну, погляди. Да это же просто символично! Бегство из логова растленной буржуазии! Колоссально!

Босая, она подошла к нему и выглянула в сад. Оттуда пахло острым запахом осенних цветов. Алена простуженно потянула носом. Гм...

По разбитой асфальтовой дорожке от подъезда к воротам Войта тащил два битком набитых чемодана, не замечая, что за ним наблюдают из окна верхнего этажа. Он ни разу не остановился, не оглянулся, калитку открыл ногой и, только выйдя на улицу, посмотрел по сторонам.

— Если кому-нибудь наставляешь рога, по крайней мере будь вежливым, — сказал Алеш за спиной Алены. — Это мой принцип номер два.

Алена не слушала его. Неподвижно стоя у окна, она не сводила глаз с уходящего. Что-то оборвалось в жизни, и на душе у Алены было немного грустно. Положил ли Войта в чемодан тот кораблик в бутылке? Как она когда-то любовалась этой игрушкой! И почему ей сейчас вдруг вспомнился такой пустячок? Непонятный страх вдруг охватил Алену, она вздрогнула и быстро прижалась к груди Алеша, стоявшего за ней.

— Ну что? — спросил он и подул ей в волосы.

— Не спрашивай. Сама не знаю. Мне кажется, что сейчас ушло мое детство, все хорошее, что было в нем, — мелодраматично произнесла она. — Когда я была маленькая, он дрался из-за меня с мальчишками со всей улицы. — Алена представила себе насмешливую улыбку Алеша и не повернулась к нему лицом. — Дай мне немного прийти в себя, ладно?

— Безусловно, — предупредительно отозвался он. — Я буду считать до десяти: раз, два, три, четыре...

После пяти она почувствовала прикосновение его тела и охотно прильнула к нему, при десяти мужская рука легла на ее грудь, и все началось сначала. Ну и пусть, думала она, сдаваясь, пусть рушится весь мир!

Над посеревшим городом завывали сирены.

«Надо было как-нибудь отвертеться от этого, — думал Бацилла, когда они стояли в холодной мгле у застекленных дверей на одной из кривых староместских улочек. — Надо было! Хотя бы на сегодня».

Заведение называлось «Ирис». Название звало и пугало одновременно. Мысленно Бацилла уже сто раз прошел через эти двери и теперь собирался с духом, чтобы сделать решающий шаг. Потной рукой он сжимал в кармане пачку кредиток, полученную от продажи собрания сочинений И. Ш. Баара* в кожаных переплетах, и не мог двинуться с места. Как все это будет? Как выглядит она? Одна мысль о ней приводила в волнение.

Бацилла вздрогнул на сквозняке, переступил с ноги на ногу и чихнул.

— Долго мы еще тут будем торчать? — проворчал рядом с ним Богоуш. — Сдрейфил?

Не торопись, мысленно осадил его Бацилла, меня не испугаешь.

— Иди-ка первый, — сквозь зубы сказал Богоуш. — Это твоя загея.

— Как это моя? Сегодня предложил ты.

— Сегодня! А вообще-то твоя. Ну хватит дурить!

— Мне сегодня что-то нездоровится, — сказал Бацилла. Он чувствовал, что его забирает простуда, и противно чихал. Хорошо хоть, что уже темно. В конце концов чистая случайность загнала их в подъезд; они заметили, что на углу прохаживается какой-то тип с поднятым воротником и нахально рассматривает их. Это решило дело. Кто-то вошел первым, неважно кто, а дальше все уже шло как по конвейеру, который неудержимо уносил их в страшное царство снов.

— Входная плата — пятьдесят крон, — сказал человек за столиком с лампочкой. Его равнодушный и деликатно пониженный голос внушал доверие. Волнения юных клиентов он даже не заметил. Юноши торопливо заплатили, получили входные билеты и по пакетнику прервативов, которые они поскорей сунули в карманы.

— Направо, вешалка внутри.

С них сняли пальто. Бацилле показалось, что потерятая красная дорожка сама движется под его переступающими ножками. Весь какой-то бестелесно легкий, он словно плыл рядом с Богоушем в розоватом полусумраке узкого коридора; проходя мимо зеркала, он глянул в него и не узнал себя. Ого, — подумал он в тупом ошеломлении, — вот он я!.. Вот он я, но что за рожа, словно подменили.

Вдруг в нос ему ударил запах дешевых духов. Бацилла повернул к Богоушу перекошенное лицо и попытался изобразить на нем подбадривающую улыбку, но Богоуш ошалело молчал. Он смешно шевелил бровями, словно только этим движением мог выразить все свое беспокойство. Его ежик выглядел здесь еще глупее, чем на заводе, жалкий он был и грустный. Приветик! Сзади раздались приглушенные ков-

* Индржих Шимон Баар (1869—1925) — чешский прозаик, певец сельской жизни.

ром шаги, и, едва они успели посторониться, мимо них проплыло шелестящее облако из тканей и ароматов. Одна из них! — подумал Бацилла, у которого заныло под ложечкой и пересохло в горле. — Наверно, надо было поздороваться.

— Бог мой! — шепнул Богоуш. — Видал, какова штучка?

В помещении, куда их привела ковровая дорожка, штучек было несколько. Рассевшись небольшими группами на высоких табуретках у стойки бара, они вполголоса разговаривали; две из них даже вязали, постукивая спицами. Брюнетки, блондинки, крупные и миниатюрные, монументы из белесой плоти, шелестящие платья... Чем-то все это походило на витрину магазина. Девыцы тянули через соломинку разноцветные напитки, из скрытого репродуктора слышались звуки скрипки; движения девыц были такие же уныло-медлительные. В помещении было тепло, даже душно, воздух был пропитан запахом духов и обнаженного тела.

Заметив в углу свободный столик, Бацилла и Богоуш втиснулись в потертые кресла и, как зачарованные, стали глядеть вокруг. Казалось, что на их появление никто не обратил внимания, они с облегчением вздохнули. Настольные лампы с изваяниями нагих фигурок лили из-под абажуров приятный неяркий свет.

«Ирис»! — повторял вспотевший Бацилла. Он был изумлен. Все это никак не вязалось с его представлением о публичном доме — месте грехов и распутства. Встреть он на улице любую из присутствующих здесь девыц, никогда бы не догадался о ее профессии. Ему даже казалось, что эти жрицы любви ведут себя со светской непринужденностью, не слышно было громкого смеха, незаметно вызывающих взглядов, распутства, опьянения, наоборот, все это заведение, где говорили приглушенным голосом, прямо-таки дышало гигиеной и законностью, внушало доверие. Подлинное назначение «Ириса» скрывалось под личиной образованного и потому несколько скучного увеселительного заведения. Здорово, а? Если бы время от времени кто-нибудь из мужчин не удалялся от стойки по направлению к коридору с красной дорожкой, Бацилла и Богоуш вообще подумали бы, что они попали не туда.

Удивительно разношерстная была здесь публика! Несколько юнцов возраста Бациллы и даже моложе держались напряженно, как деревянные, глаза у них бегали, лица были бледные; они ходили на не выучивших урок учеников, которых вот-вот вызовет учитель. В кресле около бара расселся прожженный кутила — седина в висках, блестящая булавка в галстук — видно, завсегда; девыцы проявляли к нему особое внимание и называли «пан доктор». На некоторых лицах выражалось скучающее ожидание. Было здесь несколько озабоченных отцов семейств и добропорядочных граждан. Вели они себя скромно, без претензий, так же хмуро и покорно, как ведут себя люди в приемной зубного врача. Розовая и добродушная физиономия могла принадлежать сельскому попикку, а апоплексический затылок, наверно, спекулянту мясом, который зашел сюда порастрасти туго набитый бумажник. За соседним столиком клевал носом одинокий человек с унылым горбом на спине.

Неожиданно послышался приветливый голос: «Рада вас видеть, господа», — и около столика Бациллы и Богоуша неслышно появилась невысокая дама вполне достойного вида. Великолепное ожерелье врезалось в ее пухлую шею. Немного погодя юноши поняли, что она-то и есть душа этого заведения. Ее почтительно называли «мадам». Ее миссией было солидно, на светском уровне устанавливать контакт между девицами и клиентами. Весь вид мадам говорил о том, что здесь совершенно неуместны какие-либо непристойные выходки посетителей; пьянчужек и бродяг она вежливо выпроваживала, прежде чем они успевали опомниться.

— Если вы хотите познакомиться с кем-нибудь из наших девушек, я в вашем распоряжении, — произнесла она с профессиональной неприужденностью. — Если не ошибаюсь, вы у нас в первый раз. Должна предупредить вас, что алкогольные напитки у нас по принципиальным соображениям не подаются.

Шелестя платьем, она отошла к соседнему столику, и, хотя Бацилла и Богоуш ничего не заказывали, им тотчас подали два бокала на тонких ножках. Стоило только пригубить напиток, чтобы убедиться, что это зауряднейший лимонад, да еще на сахарине, однако благодаря какому-то полусгнившему фрукту на дне бокала напиток именовался «пунш» и цена его повергла юношей в трепет.

— Что скажешь? — шепнул Бацилла.

— Сила! Никак не ожидал! В жизни еще не бывал в таких местах. А бабы тут красотки...

Тут ему вспомнились жуткие иллюстрации в отцовской книге о венерических болезнях; в горле у него пересохло.

— Только бы монет хватило, — вздохнул он.

— Пунша больше заказывать нельзя, — отозвался Бацилла. — В крайнем случае я тебе дам взаймы, у меня есть в запасе две сотни.

— Гм... а что, если смыться отсюда? — предложил Богоуш, не подозревая, что высказывает заветное желание товарища, который все больше волновался при мысли о том, что вскоре должно произойти.

Которая из них это будет? Бацилле нравились почти все. Вот и выбирай! Пожалуй, вон та брюнетку в обтянутом платье ядовито-зеленого цвета, так подчеркивающим крутые бедра. Живая ваза! Платье это почему-то пугало Бациллу, но лицо девицы, как ни странно, не казалось ему страшным, возможно, потому, что она была слегка похожа на одну из его многочисленных кузин, Радку. Только Радка страшно добродетельная девчонка и никогда не позволяла даже поцеловать себя. А теперь перед ним ее живая копия... Но о чем же я с ней буду говорить? Нет, нет, лучше смыться отсюда и дома переварить впечатления. Его вдруг мучительно потянуло домой.

— Думаешь, стоит смыться? — неуверенно возразил он лишь затем, чтобы не показать, как обрадовался.

Но было уже поздно. Не успели они встать, как у их столика снова возникла мадам. Делать было нечего, и Богоуш игривым и нетвердым голосом сообщил, какая девушка ему нравится. Мадам объявила, что, к сожалению, сегодня она уже занята. Богоуш смешался и почти на-

обум указал на другую, довольно полную блондинку с безвкусными серьгами, она вязала что-то и, видимо, этим вызвала его доверие. Бацилла фистулой попросил копию своей кухни и стыдливо опустил глаза.

— Эту? Пожалуйста... — благосклонно подтвердила мадам.

— Ну, все! — бессмысленно произнес Богоуш, когда она отошла. — Кости брошены... Готово!

И снова двинулся конвейер: юноши задыхались от волнения, глядя, как мадам у стойки бара разговаривает с их избранницами. Те бросили испытующий взгляд в их сторону, блондинка недовольно отложила вязанье, а брюнетка первой слезла с высокой табуретки. Покачивая бедрами, она прошла между столиков в коридор и на ходу чуть заметно кивнула Бацилле. Он встал, убедился, что ноги у него совсем ватные, и бросил ошалелый взгляд на приятеля. Смелей, Бацилла, она похожа на Радку и, наверное, такая же славная!

Опять он шел по ковровой дорожке; в коридоре был легкий сквозняк. Что, если удрать? Не дури! Что я ей скажу? Боже, какая красивая!

Девушка невозмутимо причесывалась перед зеркалом. Бацилла не мог не заметить, что, когда она увидела, как он торопится к ней — толстячок на коротеньких ножках, ее алый рот чуть тронула снисходительная усмешка. Но она тотчас вернулась к прежнему состоянию — поздоровалась, как здороваются усталая продавщица с покупателем. Запахло фиалками.

— Целую ручки, — виновато замигал Бацилла.

Но она даже не подала ему руки. Несколькими уверенными движениями она закончила прическу и кивнула ему:

— Пойдемте.

Зеленое платье двинулось по коридору, Бацилла затопал сзади. Он заметил, что ростом она, пожалуй, повыше его. Конвейер бесшумно увлекал его дальше, на темную лестницу, потом на второй, третий, четвертый этаж... еще выше... Как верный песик, он плелся за покачивающимися бедрами, похожими на вазу, чувствуя, что начинает страшно любить девушку, потому что она прекрасна и добра. Им вдруг овладела смелость осужденного, вступившего на эшафот. Ни о чем не думая и ничего не чувствуя — ни любопытства, ни возбуждения, он только шел и шел: «Что я буду делать с такою роскошью, я, Бацилла, которого еще ни одна женщина не принимала всерьез?» При этой мысли его залила волна благодарности к той, которая носла перед ним свое прекрасное, пахнущее фиалками тело. Потом, несмотря на полумрак, он заметил, что на одном чулке у нее спущена петля; это показалось ему безмерно милым, и сразу стало как-то легко на сердце.

Коридор и двери, много дверей... Каблуки простучали по кафельному полу, одна из облупленных дверей отворилась, вспыхнул свет. Бацилла вошел, за спиной у него тихонько защелкнулся замок, и вот он уже наедине с ней. Восхитительное уединение! Мир со всеми его ужасами и войной перестал существовать, остались только он и она.

— Попросила бы рассчитаться вперед..

Бацилла не сразу понял, в чем дело, но, увидев протянутую руку, с преувеличенной поспешностью полез в карман. Вот, пожалуйста! И он положил на ее ладонь пять сотенных бумажек. Но ладонь не закрывалась. Девушка неуютно усмехнулась.

— И больше ничего? Это я должна сдать хозяйке.

Бацилла торопливо прибавил две резервные сотни и только после этого осмелился взглянуть в ее напудренное лицо. Оно сохраняло все то же выражение усталого равнодушия.

— Садитесь, — произнесла она. — Минутку, и я буду готова.

Он повиновался, и она исчезла за пестрой ширмой, где, по-видимому, был умывальник. Бацилла оглядел комнату. Заурядная, даже бедная комнатка. Внимание юноши сразу привлекла кушетка, покрытая белой простыней, точно такая, какую он видел в кабинете врача — ни подушки, ни одеяла, ничего... Здесь-то это и произойдет, бррр! Его передернуло... На столике стояла разукрашенная рождественская елочка, и это удивило Бациллу: ведь до рождества оставалось еще несколько недель. Потом его смутили плеск воды и загадочное бульканье за ширмой. О господи, что за страшные приготовления? Вот-вот, пожалуй, послышится зловещее звяканье хирургических инструментов! Бацилла чувствовал себя, как перед операцией... На стене он заметил увеличенную фотографию в резной рамке: хозяйка этой комнаты со счастливой улыбкой на лице, рядом с ней какой-то широкоскулый мужчина. Стоят, прижавшись, как влюбленные, на опушке леса и смотрят в упор на Бациллу. Почувствовав себя виноватым, он отвел глаза.

Уж скорей бы все это кончилось! Нет, не надо было сюда ходить!..

Девушка выплыла из-за ширмы в поношенном халатике, который распахивался при каждом ее движении. Жестом медсестры, приглашающей пациента занять место на зубо врачебном кресле, она указала на кушетку. Скука, невозмутимость, убийственная профессиональность, ничего больше.

Потом Бацилла, словно в забытьи, осознал, что уже сидит рядом с ней, вздрагивая, как щенок. Ему стоило неслыханных усилий преодолеть стыдливость и посмотреть на нее. Он тотчас зажмурился. Она лежала навзничь, голая, раскинувшись, готовая отработать свое без тени стыда или того волнения, от которого у него перехватило дыхание. Ему показалось, что она очень крупная и страшно белая, как та самая простыня...

Девушка равнодушно ждала и пахла фиалкой. Видела ли она его вообще? Бацилла оцепенел и глядел на нее, выпучив глаза, отчаянно желая, чтобы она сказала что-нибудь и можно было бы удостовериться, что она живая. Пусть бы она хоть погладила его, что ли, или улыбнулась...

— Ну, что же вы? — послышался нетерпеливый голос. — У меня мало времени.

Бацилла неуверенно поднял руку, скорее по обязанности, чем из робкого влечения, коснулся гладкой кожи ее живота, но это совершенно не подействовало на него. Ну хоть бы что! Что же со мною, господи?

В глаза ему снова бросилась фотография на стене — мужчина с застывшей блаженной улыбкой в упор глядел на бесстыдника Бациллу, прямо на него...

Это сразило его окончательно. Убит, не способен двинуться с места! Но ведь... «Ну что же вы, у меня мало времени...» Нет, ничего!

Наконец она со вздохом взялась за дело сама. Уверенность, с которой она вела его пухлую руку по изгибам своего тела, в сокровенные его тайники, ошеломила Бациллу.

— Презерватив у вас есть? Полагается обязательно. — В ее трезвом тоне был оттенок нетерпения. — Покажите, эх вы, недотепа!

Лучше бы она молчала. Нет, это не Кора, не Кора! Пусть не трогает меня, пусть этот тип на фотографии не смотрит сюда! Что-то нехорошее творится с Бациллой, что-то противное поднималось изнутри, протест против профессионализма в любви, ему захотелось заплакать и убежать... Но увы — поздно! Не успел Бацилла воспротивиться, как понял, что лежит на ней... что он уже в ней. Потом он уже не замечал ничего, даже тех глаз на стене, только упрямая сила в нем колебала его в бесстыдном захлебе и он не сопротивлялся; это было похоже на тщетную, наперед проигранную схватку и длилось недолго, ужасающе недолго, как бег на невысокий косогор, за которым крутой обрыв, остро пахнущий фиалками... Бацилла всем телом чувствовал, как рвется к этому обрыву, близится к нему, вот, вот, ох ты, незадачливый бегун, вот, вот, о прекрасное угасание... «Люблю тебя!..» — услышал он свой голос, бессмысленный, отчаянный вскрик, и все же это была правда, сейчас он любил ее. «Все за тебя отдам... люблю тебя, Кора!..» Это был уже затихающий отголосок, и жалоба, и отчаянная мольба, но он был один, совсем один, и все это было тщетно, он уже знал, что отклика не будет, потому что она далеко, страшно далеко, где-то вдали от своего тела. Гнев и жалость охватили Бациллу, ему захотелось ударить это безразличное, отвернувшееся лицо, глаза которого глядели в полумрак... И вот все кончилось — и чувство восторга, и страшная пустота, и забвенье, затухающее где-то в висках. Вероломство! Бацилла упрямо закрыл глаза.

— Оденьтесь-на, — сказал ее голос. — Здесь холодно.

И все. Он пришел в себя. И в самом деле, в комнате было холодно. Бацилла лягнул зубами и поморгал. Все вокруг снова стало противно отчетливым — помятая простыня и нелепая елочка со стеклянными украшениями, запах фиалки, прилипший к его пальцам, и мужчина на фотографии, глядевший на Бациллу с гнетущей насмешной, плеск воды и движение тени за ширмой. Мир гнусен и жалок, как оципаннный цыпленок!.. Юношу мутило, хотелось выскочить из этой комнатки, как из трамвая, в котором кто-то ведет себя непристойно, выскочить, пусть даже разбиться насмерть!

Он спустил ноги на пол. Девушка вышла из-за ширмы, уже опять в своей зеленой чешуе. Его поразило, что по ней совсем не было заметно того, что произошло между ними. Она застегивала молнию на боку и даже — впервые за все время — участливо поглядела на Бациллу. Наконец-то!

— Понравилось вам?

— Не знаю...

Он не смог солгать.

Такой ответ чуточку заинтересовал ее, она приподняла черточки выбритых бровей.

— Вы ведь в первый раз, да?

Бацилла стыдливо молчал, и она прибавила с обычной деловитостью:

— Это заметно. — Потом по непонятной причине перешла на «ты». — Не расстраивайся, мальчик. Надо же когда-то начать, верно? Здесь по крайней мере не какой-нибудь клоповник. Сюда ходят много таких, как ты, видно, возраст требует. Ты вел себя хорошо. Нам тут приходится быть осторожными, никакой дури мы не позволяем. — Она немилосердно въехала гребнем себе в волосы. — На той неделе у Ярмилы какой-то студент хотел повеситься в клозете. Откуда знать, что придет в голову такому восемнадцатилетнему балбесу? — Заметив испуг в глазах Бациллы, она успокоила его: — На счастье, его вовремя нашли и сняли. Представляешь себе, какое удовольствие для девушки таскаться по допросам? Скажи, пожалуйста, к чему это ей?

Бацилла виновато отвел глаза и уставился на фотографию.

— Это ваш муж?

Рука с гребнем на мгновение остановилась, брови снова приподнялись.

— Нет. — И тотчас она осаждала клиента: — А тебе какое дело? Разве я должна тебе исповедоваться?

— Нет, нет, я совсем этого не думал, — испуганно пробормотал Бацилла.

— Ну то-то! — Она улыбнулась с дешевым кокетством. — А то иные пристают с дурацкими вопросами. — Она резко обратилась к ображаемому собеседнику: «Получил, чего хотел и за что заплачено, а теперь сматывайся отсюда, какое тебе до меня дело! Я тоже не спрашиваю, что делает твоя старуха. Только не привязывайся. Каждому надо где-то пристроиться, после войны меня тут уже не будет...» — Слушай-на, — спросила она вдруг, — как ты думаешь, после войны будут ходить эти деньги?

Бацилла беспомощно пожал плечами.

— Откуда мне знать?

— Вот видишь, ничего ты не знаешь, и я ничего не знаю. Может, они потом сгодятся только на оклейку стен, а? — Она потянулась. — Эх, поспать бы! Ну, пока. — Открывая ему дверь, она погладила его по щеке. — Если тебе захочется еще, приходи. Спроси Карлу. У швейцара спроси, а с этой коровой не связывайся, она на меня имеет зуб, потому что я не иду с каждым скотом. Как тебя зовут-то, кубышка?

Он проглотил горячую слюну.

— Бацилла.

Она рассмеялась.

— Бацилла? Ну и имечко! Ну ничего, всякое бывает имя. Что еще скажешь, Бацилла?

Он переступил с ноги на ногу и виноеато замигал, словно прося бог весть о каком развратном поступке.

— Можно мне называть вас Корой? — И тотчас потупился и покраснел.

— Сколько угодно, пампушка! Заплати деньги, веди себя хорошо и можешь называть меня хоть царицей Савской, или Марлен Дитрих. Как вздумается. А теперь беги домой!

Ветер на улице накинудся на Бацилла, как пес, долго ожидавший хозяина. Было сыро, и пахло дымом. Бацилла закрыл за собой стеклянную дверь, на его разгоряченное лицо упали холодные снежинки и сразу растаяли. Он поглядел на светящийся циферблат часов и с изумлением заметил, что пробыл у девицы всего несколько минут. Несколько минут, вырванных из вечности... Где же Богоуш? Они сговорились встретиться здесь, на углу... Не случилось ли с ним чего? Нет, все в порядке. Через минуту двери выпустили знакомый силуэт. «Приветик!» — и они зашагали по улицам, кутаясь в пальто и погрузившись в свои мысли. Оба вздрагивали от холода, обоим было не до разговоров. Только дойдя до Мустка, Бацилла тронул приятеля за рукав.

— Ну как?

— А что?

— Ну, как твоя?

Минутная пауза, потом:

— Класс! — Богоуш не замедлил шага. — Страстная! — Еще пауза. — А твоя?

— Тоже.

Больше они не проронили ни слова. Богоуш направился к остановке на ночной трамвай к Дейвицам, а Бацилла пошел пешком на Винограды. Домой, домой, к мамуле! А что, если она по его лицу догадается? Если она заметит, что он какой-то иной? Бацилле страшно захотелось застать мать уже спящей, но он знал, что она никогда не уснет, пока его нет дома. «Это ты, мальчик?» — всегда слышится сладкий голос из спальни. «Я, мамочка, спи, пожалуйста».

Умыться, принять ванну, поскорей смыть с себя все это!

Синие огоньки мелькали мимо него, Бацилла слизнул снежинки с губ. Снежинка жгла язык и отдавала сажей. В ободранном парке он обошел парочку влюбленных, замерших как изваяние, и ему вдруг почему-то стало жалко их. И себя тоже. Всех жалко. Весь мир был полон безмерной жалости и разочарования. Что с тобой, Бацилла? Ты же хотел этого, хотел как одержимый, а теперь?.. Теперь тебе тоскливо. Почему, собственно? Ему стало совершенно ясно, и он поклялся себе, что никогда больше не пойдет туда, забудет обо всем, что было сегодня. Но, несмотря на эту решимость, он уже чувствовал, что... О господи, это конец!

Обессиленный, он опустился на мокрую скамейку, его мучило от запаха фиалок и чего-то еще, чем пахли его пальцы и складки одежды. Застывшие руки упали на колени, и Бацилла сидел долго, долго, глядя в кромешную тьму.

VI

Кто-то отчаянно дубасил железом по обрезку рельса, металлические удары словно вонзались в стену и царапали мозг, надо всем этим метались голоса сирен — они переплетались, усиливались, затихали, в закрытые глаза уже пробивался дневной свет, но Гонза приказал себе: не впускать его! Чья-то рука трясла за плечо. «Вставай, пошли в подвал!» — он узнал голос деда, но не открыл глаза — малейшее движение головы отзывалось страшной болью в висках, на душе было тяжело.

Не все ли равно! Гонза повернулся лицом к стене, наконец хлопнула дверь, его оставили в покое, но сон словно исторг его, как кит Иону — выбросил на берег, куда-то между сном и бодрствованием, в жгучее оцепенение, когда в голове какая-то каша, перед глазами плывут круги красного и лилового тумана, затягивая все, и с нудной навязчивостью всплывают где-то слышанные фразы: «Африка — страна плоскогорий», и снова: «Африка...» Какое мне дело до Африки? Внутри какая-то безотчетная, неосознанная боль, скорее даже не боль, а сознание непоправимости...

Самолеты уже над городом, и тишина вздрагивает, как кожа на барабане, а над ней угрожающий монотонный гул, от которого жалобно дребезжат стекла... Пускай, какое ему дело до их войны! Он покончил с ней, есть только Африка — страна плоскогорий. Ведь ему все равно!

— Не выходите из дому! Назад! — кричит кто-то на улице. — Назад!

Какой сегодня день? Такой-то год, такое-то число, но могло быть и совсем другое, лучше не думать, только это не получается. Из памяти не выходит комната у Коблицев, чьи-то обезьяньи руки кладут пластинку на диск радиолы... и лицо той девчонки — ее зовут Магда, у нее испуганные глаза, как у ночного зверька. Гонза пошел с ней куда-то и спал с ней — ага, значит, я не импотент, доказано! — перепился скверным вином, и ему было на все наплевать. «Ш-ш-ш», — останавливала его Магда в темном коридоре, и было смешно от этого шиканья; он стал насвистывать блюз, тот самый голубой «флуоресцирующий блюз». «Ш-ш-ш, разбудим квартиру». Потом они вошли куда-то, где на потолок падала полоска света и пахло пудрой и несвежим бельем. Гонзу мутило от выпитого вина, а Магда что-то шептала и искала спички; как-то надо существовать, нельзя же выскочить из этого мира, как из утреннего рабочего поезда, надо занимать в нем свое место, хоть бы в двух метрах под землей... Это ужасно, что нельзя испариться, как влага или как аромат, или замереть, как звук. «Не трогай меня!» Гонзе было мутно от этой гнетущей телесности. Руки с красными ногтями убрались, и ему не было жалко их, потолок вдруг перекосялся. «Есть у тебя душа? — глупо и упрямо приставал он. — Нет, верно? Да и к чему она тебе?» — «А может, и есть, она у меня в коленке».

И опять завод, такой-то год, такое-то число. Но могло быть и дру-

гое. Нет, не сдамся и не подумаю! Жить можно ради чего угодно, даже из одного упрямства. Ради сущих пустяков... Лица наплывают и уплывают, дзуб... дзуб... — над головой грохот... Боже, когда все это кончится? Что с вами, молодой? Это Мелихар. Он вправе изругать Гонзу, потому что тот продрых в малярке всю смену. «Есть ли в раю столько мешков?..» И Мелихару пришлось взять в помощь Гияна. «Перебирать не надо, молодой! Попадётся Каутце на глаза, не поздоровится. Давайте-ка очухивайтесь, живо!..»

— Назад! — все кричит кто-то. — Не выходить из дома!
Свисток...

А ему, Мелихару, какая печаль? Пусть на меня наклеузничает! Ах, Мелихар! Не выкладывать же ему, в чем дело? Что он сказал бы мне на все это, грубиян?.. «Ну, сколько раз выжмешь?» — Мелихар вызывает его на привычную пробу силы и подбрасывает в воздух поддержку, как перышко. Гонзе это уже претит, на пятом разе тяжеленная поддержка выскальзывает у него из руки и шмякается на бетон.

Но вот он и Мелихар сидят друг против друга за пивом. Глубоко посаженные глаза бригадира в упор глядят в лицо Гонзы.

— Что, молодой, отшила тебя зазноба?

Ослышался?! — думает Гонза. — Неужто он догадался? Гонза быстро поднимает глаза и снова опускает их на пивную кружку.

Куда бежать? В себя? От себя? Некуда! Можешь только быть собой и смотреть на себя со стороны, что довольно мучительно... Болят разбитые губы, и это заглушает душевную боль; он идет по коридору и несет в себе эту безнадежную боль. За дверями грохочут станки. Гонза проходит мимо плаката «Лиги против большевизма», мимо красных, похожих на стручки перца, огнетушителей, поднимает голову, замечает, что Бланка замерла на месте. На секунду — актриса должна хорошо владеть собой. Кто знает, осталась ли у нее еще эта боль? Он идет дальше и твердит: «Когда-то Лотова жена...» Он строго-настрого запретил себе оборачиваться в ту сторону, хотя это чудовищно трудно. Нет, так дальше невозможно! Что же делать? Схватить камень и швырнуть его в окно живодерки? «Извините, — скажет он Мертвяку, — разве это не окно герра Гитлера?» Или вбежать к Каутце и дать ему под зад коленкой: «Привет герру имперскому протектору! Скоро ли вас повесят?» Совсем одурел! Чей я? Просто часть непогоды, заборов, трав... Я ничей, но кто на этом свете чей-нибудь? Душан?.. Ничего нельзя поделаты! Ни выстрелить, ни убить — ничего! Даже самого себя! Даже самого себя!

Даламанек всплескивает руками: «Где ты филонишь, пьянчужка, хочешь довести меня до беды?» И чего он ко мне привязался? Гонза послал мастера подальше, плюнул ему под ноги и, наверное, кинулся бы на него с кулаками, не будь поблизости Мелихара, который удержал его и, как ни странно, даже не озлился.

— Окосели вы, что ли, гимназистик? — сказал он и почесал татуированную грудь.

А что, если и окосел?

Да ведь это все равно. Холод, голод, завод, вой сирен, тухлятина,

трамваи, налеты. Дни, словно перед потопом, а рождество на носу. Гнусный город, все гниет и разваливается, на заводе почти нет сырья, а надо делать вид, что работаешь. Бомбы уже падали на некоторые города протектората, но только не сюда, видно, назло Леошу и его инструментальному складу. И все-таки в цехе все время работают, что-то сваривают, клепают, а подальше, за шоссе, строится новый заводской корпус. Словно вермахт все еще на Кавказе! Неужто немцы не могут договориться между собой, почему они не признают, что дела у них плохи, что они идут ко дну? Дня не проходит, чтобы на заводе что-нибудь не стряслось, то и дело аресты и побои, говорят, где-то тут нашли оружие и парашюты, позавчера был взрыв в котельной, гестаповцы днюют и почуют на заводе. Повсюду глаза, невидимые глаза, страх и трусость, ярость и надежда, грохот пневматических молотков, а ты мотаешься среди всего этого со своим собственным отчаянием — и все это мир, в который ты брошен против твоей воли. И вот, изволь, барахтайся в нем!

Отбой, на лестнице зашумели голоса, захлопали двери. Из подвала притащился дед и гремит кастрюлями, варит свой чесночный настой. Он стар и слаб, собирает корки, чтобы выжить. Сидя на скамеечке у плиты, он сосредоточенно ест из жестяной миски, потом засыпает неровным старческим сном и во сне ходит по лестницам, по сотням и тысячам лестниц, которые тянутся до самого неба. Старику мерещатся бесконечные звонки у дверей, громкие и тихие, пронзительные и тревожные, враждебные, жужжащие, хриплые... За дверью фигура, это он, ангел с сумкой на ремне, он ворчит, что кто-то не вернул ему огрызок чернильного карандаша. Недавно он гордо объявил, что после войны снова возьмется за почтовую сумку. Было грустно и вместе трогательно слышать это. И окружающие его не отговаривали. Кто нынче не живет мечтами? Пускай нелепыми, смешными, несбыточными. Мечтами о том, что будет после. Тьфу!

Не оглядывайся!

Что тебе от меня надо? — думает Гонза, глядя в лицо Павла. Он узнает это знакомое, бледное, осунувшееся лицо с морщинкой над бровями. Они сидят за столиком в захудалом кафе. Гонза греет руки о чашку суррогатного кофе, ему не хочется говорить. О чем только, бывало, не спорили они, гуляя по ночам: о философии, искусстве, астрономии, Фрейде, демократии, коммунизме, о половых проблемах, о смысле жизни. Им тогда казалось, что они разобрались в хаосе мироздания, проанализировали его и могут определить весь мир, как интеграл. Ослы! Что он еще хочет от меня сегодня? Ах, понимаю — Пепек Ржига. Не бойтесь, я ничего не скажу, что бы ни случилось. «Для этого ты позвал меня сюда?» — спрашивает он безмолвно.

— Хотел спросить, как тебе живется.

— Как видишь, — ответил Гонза. — Существую. Даже сам не понимаю как. Милан был прав. Собственно, даже нет, правда оказалась гораздо хуже. Я был бы тебе благодарен, если бы ты не расспрашивал меня об этом. Requiescat in pace! *

* Покойся с миром! (латин.).

— Паузы были тяжелы, как ртуть. Павел нетерпеливо постукивал пальцем по мраморному столику.

— Ты ошибаешься, — сказал он, наконец, и поднял глаза.

— Да? Надеюсь, ты не принес мне помилование?

— Нет, не принес.

Гонза внутренне содрогнулся: тон Павла был самый решительный.

— Правильно. Никаких возвращений блудного сына.

Гонза старался, чтобы голос его не дрогнул; он смутно стал осознавать, почему они так страшно далеки друг от друга, хотя их разделяет только один столик в кафе. Хуже всего — ничего не ждать. Таково, наверно, ощущение умирающего: придет завтрашний день или не придет, он уже не принесет ничего, ничего. Даже дышит Гонза только по инерции. Он подобен ослу, ходящему в упряжке по кругу. Павел еще ждет! Нет, ничего у тебя не получится, сумасброд с умом математика!

— А вот я уже не с вами. И не только из-за этой беды, а потому, и это главное, что я уже не верю в то, чем занимается «Орфей». Если бы вместо сходов устроить турнир в домино или ходить по кафе собирать окурки — результат будет тот же. Я знаю, ты мне возразишь, Павел, но не трудись. Видишь ли, я не верю больше, что человек в этом мире может что-нибудь совершить. Трудно найти аргументы в пользу того, чтобы мне жить. Ведь жить только потому, что боишься смерти, — нелепо. Для меня, пожалуй, такого стимула мало. В нравственном плане это полный крах, но мне наплевать. Внушаешь себе какую-то чепуху, и вдруг — бац! — тебя хватают за шиворот... В конце концов ты остаешься наедине с собой, и уже даже не больно. Только кругом какая-то пустота, наполненная ветром. Глупо!..

Ему нестерпимо захотелось поскорее расстаться с Павлом.

— Сильно ты изменился, — услышал он голос по ту сторону мраморного столика. — Жалы!

— Я не жалею. Мне теперь все равно.

— Нет! Ты все видишь, только через свое «я», сквозь призму того, что с тобой произошло. Я тебя понимаю, но мир не таков.

— Мой — таков. А другого я не знаю. Или мне до него нет дела. Даже до того, который будет потом. Я уже перестал в него верить, понимаешь? В какой бы то ни было!

Он посмотрел в осунувшееся лицо Павла. А через какую призму видишь мир ты? Я скажу тебе: через призму надежды с шансом один на тысячу, через призму иллюзии! Ты блуждаешь, как слепой, а я уже прозрел.

— Скоро будет конец, — сказал вдруг Павел, видно, хотел перевести разговор на менее мрачную тему.

— Может быть, — равнодушно кивнул Гонза. И вдруг, по непонятному побуждению, задал вопрос, о котором тотчас пожалел: — А ты боишься конца?

Павел сжал губы, в наступившей тишине он молча водил пальцем по трещине в мраморной доске столика.

— Кажется, да. Но жду. Он важен не только для меня.

Они расстались почти без слов, сказать друг другу было уже нечего.

Дальше, дальше! Это похоже на спуск по спирали — что же будет в конце? Какие-то лица и глаза наверняка наблюдают за ним... пусть наблюдают — ему плевать... Только не оглядываться... Сегодня он видел Бланку, и вчера, и позавчера, и увидит завтра и послезавтра... М-да, здорово это придумано, чтобы не дать ему забыть ее. Любопытное чувство — быть одиноким среди стольких людей!

Потом его вдруг снова вызвали — что еще они могут от него хотеть, на что им выжатая тряпка? И он снова глядел на портрет какого-то вождя помельче, но ему уже было не страшно, ибо нет уже никого и ничего, за кого стоило бы бояться.

— Имейте в виду, — выразительно произносят узкие губы Мертвяка, — человека, который посидел на этом стуле, мы никогда не оставим! Запомните это, юноша!

Неужто Гонза в самом деле сидит здесь? Когда же от него отвяжутся? Башке прикрывает веки — настоящая ящерица, — ходит, прихрамывая, вокруг стола и пристаёт к Гонзе с фамилиями, которых тот никогда не слышал, пробует на нем свои приемчики.

— Вы говорили? Я же вас предупреждал. Передали мое предупреждение? Молчите? Видно, сосунки образумились! Правильно. Стало быть, вы им сказали. Опять запутываетесь. Не отпирайтесь! А то я отправлю вас в город, в гестапо, худо будет! Будьте благодарны нам за снисходительность. Знаете, что произошло в котельной? Не могли же вы не слышать взрыва! Ах да, я забыл, что вы глуховаты. Как поживает ваша мамаша? Здорова? В тот раз она так беспокоилась. Видите, у меня хорошая память. Извинитесь, пожалуйста, за меня. Что вы скажете о нашем наступлении в Арденнах? Господин Черчилль, наверно, сердится на нас, понимаю. Вы, конечно, желаете нам успеха, не так ли? А что об этом говорят другие? Например, Олень? Вы не знаете такого? Олень! Не знаете оленя? Даже по зоологии? С кем вы работаете? Фамилия? Ме-ли-хар? Он ваш бригадир? Так вы ничего не знаете? Жаль! Придется нам снова пошарить в вашем цехе, там творятся интересные дела. Кто же все-таки предостерег вас? Ах так, по наитию? Это бывает у таких впечатлительных юношей. Вы уже имели женщину или пробавляетесь онанизмом? Поймите, вы теперь не частное лицо, вы тут у нас на учете, не забывайте этого. Итак, вы ничего не видели, не слышали, вы — образцовый тотальник, который думает только о спасении Европы от жидо-большевизма. Пожалуй, я вас выдвину на поощрение в кампании памяти Гейдриха... *

Башке вдруг повернулся и подошел к Гонзе. И откуда только в руках у него появилась линейка?

— А что, если поучить вас немного? Так, слегка. Для солидного допроса мы тут не приспособлены. Разве что легкий массаж. Вам не улыбается? Понимаю!

Что ему от меня нужно? Только тронь — я вцеплюсь тебе в глотку,

* «Благотворительная» кампания, проводившаяся оккупантами в протекторате.

дохлятина! Гонза почти желал такого исхода. Ну, давай, давай, покончим со всем этим! Пусть потом меня забьют до смерти!

Ничего не произошло. Башке устало отбросил линейку и указал ему на дверь.

В конце коридора Гонза увидел дневной свет и, не оглядываясь, пошел туда, лишь на мгновение замедлив шаг. Это он! Они узнали друг друга. Старикашка из того горячечного бреда тащился ему навстречу, с ведром и шваброй, и покашливал весьма реально. «Ремень-то мне пригодился, глянь!» Глаза под мохнатыми бровями чуть заметно сощурились, Гонза понял это как предостережение и не остановился. Кто же ты такой?

Мелихар встретил Гонзу вопросительным взглядом. Он приворачивал шланг, от него пахло потом.

— Что там еще, молодой?

Что ему сказать? Гонза пожал плечами, но вскоре в первом же порыве откровенности, которые между ними в последнее время бывали так редки, выложил ему все. Близилось утро, но еще стояли глухие потемки. Они вместе удрали с ночной смены и по безлюдному шоссе тащились шесть бесконечных километров к остановке трамвая. Мелихар нес два тяжелых портфеля с краденым углем: нечем топить, молодой, холод иной раз похуже голода, плитки уже не в ходу, придется перестроить производственную программу. Гонза предложил понести один из портфелей, Мелихар не отказался. В случае чего кидайте его в канаву. Резкий ветер хозяйничал на пустырях, уносил слова. Гонза рассказал Мелихару о Бланке, сам не понимая, почему он говорит все этой бесчувственной туше, этому ярмарочному борцу с непристойной татуировкой на груди.

Быть может, тьма, которая окружала их и уходила в даль вселенной, развязала Гонзе язык?

— Башке хочет что-то выведать, а что — не знаю. Какое-то имя, я его уже слышал, но больше ничего не знаю. Олень... Может, это из тех, кто проводит саботаж? Но я их не знаю. Когда-то мне страшно хотелось узнать, но разве пустят они к себе нас, тотальный сброд? Они нам не доверяют и правы. Но если бы даже я что-нибудь знал, они ничего бы от меня не добились. Потому что я ненавижу их. Ненависть — единственное чувство, на которое я способен. Никого из моих не убили, но случилось худшее — я сам конченный человек, все мне стало безразлично, и я сам себе безразличен. Она спит с ним... я не могу... я с ума схожу, Мелихар! Будь она мертва, это было бы страшно, но по крайней мере не так грязно. Это хуже смерти! Бывают минуты, когда мне хочется умереть. Наверное, было бы легче!

Они с трудом шли против ветра, тяжелый портфель оттягивал Гонза руку.

Что он может понять? Никто этого не поймет!

— Дурь! — неприветливо проворчал в темноте Мелихар. — Дурь все это, молодой! Нечего трепаться, я на это не клюну. Барышня вы, что ли? Иной раз человеку кажется, что уж и солнце навек закатилось, да только это не так! Ну, услышали вы что-то о ней, люди любят

болтать... вот как и о моей жене. И чего это они лезут в чужие дела, ума не приложу, черт побери! Человек, как вол, все выдержит. И я не подумаю вытирать вам сопельки, вам уже двадцать лет, голова у вас хорошая, воля крепкая, уж это я знаю! Так в чем же дело? Не говорю, конечно, что вам сладко. А кому сладко? Ежели вы из слабосильных, так нечего с вами и разговаривать. Дайте-ка мне портфель, а то надорветесь... А ну, гляди в оба!

Они осторожно обошли стороной освещенную проходную будку одного из заводов на шоссе; около приземистых домиков пригородного поселка на них остервенело залаяли собаки. Цыц, сволота! Пришлось прибавить шагу. Только на пустой ровной дороге Мелихар снова заговорил. Что побудило его к необычной откровенности?

Всю услышанную историю приходилось собирать из лоскутков, потому что Мелихар, как каждый плохой рассказчик, то перепрыгивал через годы и события, то умолкал или хватался за уже высказанную мысль. Из бессвязного рассказа вставляли годы ученичества, щедрые на оплеухи, — удел непутевого мальчишки из бедной семьи, — он говорил о них без тени жалости или протеста. Потом шли годы безработицы, когда приходилось доедать объедки в закусовых, потом тремпинг, сомбреро и кожаные напульсники — ковбойская романтика на берегах Сазавы, жажда перемен, бродячий цирк «Диана», города, города, выезд на Балканы, и опять голод, борьба на ковре, чемпион «Маска», двадцатка за выступление. Политика? Мелихар ею не интересовался, был он парень хоть куда, гроза танцулек.

— Я мужик здоровый, мускулы — в-во, выбьюсь и сам. Нечего соваться, куда не след! Что это мне даст? Туповат я был... И вот вторился в одну... ну, как бешеный... Была она старше меня и совсем не красавица, но черта ли в красоте, иная баба так человека зацепит, что спасу нет... Я еще до ее ухода чуял, что у меня с ней плохо кончится. И тоже думал, что сдохну с горя. Да и ушла-то она к такому хрычу, ногтем я бы его придавил, этого Рудольфика. Развалина, недолго до пенсии! То ли она на лучшую жизнь польстилась, то ли я ее обижал, разве разберешь! Со мной тоже никто не цацкался. Всяких этих нежных слов я говорить не умею, но сил не жалел, чтобы ее прокормить, чуть ли не воровал — чего уж греха таить! — в особенности, когда родилась Майка. Но уж ежели баба заберет себе что в голову, ее не переупрямишь, хоть из кожи лезь вон, хоть убей ее, хоть ползай на коленках, реви, бей мебель, угрожай, чем хочешь... Сколько я ей покупал подарков, а деньги мне нелегко давались — едва ли не все ребра перебиты. Один негр мне так наподдал, что я перелетел через канат в публику и свалился там на стулья — ну, думаю, пришел мне конец. И все-таки она от меня ушла! Есть такие дела, где одних мускулов мало... Стала она совсем другая... И девчонку забросила. Нет, она не была злой, она была просто женщиной. Что с ней сейчас? Да ничего. Померла весной сорок второго. Чахотка. У них в семье все померло от чахотки, я это знал, когда женился на ней. Что, если бы тогда вернулась? Ну, ясно что... да только она не вернулась и уж не вернется. Ваша-то хоть жива, молодой...

Промерзший трамвай, скрипя, тащился в город, сквозняк гулял в пустом вагоне, пробирая до костей; Мелихар задремал, держа портфели на коленях и свесив голову на грудь. У него громадные руки и смехотворно маленькие, изуродованные в драках уши, в них тонким слоем въелась наждачная пыль. Завтра он снова будет материться, хлестать пиво и лапать женщин, ничто в нем не изменится. Бланка жива. Стыдись же! Перед ним? А разве ты его понимаешь? «Человек, как вол, все выдержит...»

Мать вернулась из ночного рейса, от ее шинели пахнет дымом и горелой краской, в ней холод бессонной ночи, свистки, перестук колес.

— Знаешь, кто вернулся? — говорит она Гонзе. — Итка! Видно, скоро конец войне.

Он помчался вниз по лестнице. Итка! Больше чем товарищ, меньше чем возлюбленная! В нем ожила какая-то смутная надежда. Без стука он вихрем ворвался к Кубатам и сразу увидел Итку.

— Итунка, чертенок, откуда ты взялась? Покажись! Цела? Не оторвала бомба твой курносый нос? Ну, рассказывай!..

Он обрадовался, что застал ее в кухне одну. Охватив руками колени, Итка сидела на стуле и глядела в декабрьские сумерки за окном. В первый момент она, видимо, была ошеломлена его шумным вторжением. На нее не похоже. Чуть раскосыми глазами она вопросительно уставилась на него. Разрешила обнять себя за талию, и тут на губах ее мелькнула легкая улыбка — он узнал прежнюю Итку.

— Привет, — сказала она, поправляя волосы. — Привет, Гонза.

Итка неуверенно оглянулась. Гонзе показалось, что он отвлек ее от чего-то, но он подавил в себе эту мысль: он не мог угомониться.

— Да ты опомнись, это же я, Гонза, можешь потрогать! Когда ты приехала, ночью? И до сих пор не показывалась, бедная Манон, Манон-грешница. Я страшно рад, что снова тебя вижу, факт. Я по тебе скучал. По крайней мере иногда. Хочешь — верь, хочешь — не верь!

Он потащил ее к окну, обнял за худые плечи в драном свитере и со смехом заглянул в глаза. Наконец-то за долгое время какая-то радость! Возвращение Итки казалось ему добрым предзнаменованием. Ведь это Итка, Итунка, подружка детских лет, с ней вместе пережито детство, испытан первый порыв нежности, первый поцелуй, первые попытки близости... А потом — подумать только! — она укатила за тридевять земель. Помнишь, Итка, помнишь? А ты была мне верна? Знаешь, летом я катался на твоем велосипеде. Было там очень худо, а? Ну, эти налеты? Тогда не говори... Здесь тоже дела дрянь. А как Ганка? Вы были вместе? На открытке из этого вашего Эшбаха она тоже подписалась. Гуляет еще с тем медиком? А Ева, ты о ней что-нибудь... Серьезно? А где это случилось? Ты мне должна все рассказать, проболтаем целую ночь. Ладно?

Да что же с Иткой? Первое впечатление не только не рассеялось, а, наоборот, усиливалось. Он заметил, что разговор не вяжется, то и дело возникают паузы, скоро стало совсем не о чем говорить, и это

было непонятно. На вопросы Итка отвечала нехотя, односложно, без огонька: «да», «нет», «да», «нет», «не знаю», «в самом деле?». Может, действительно он отвлек ее от чего-то? Возможно ли, что она несколько не рада их встрече? От него не укрылось, что лишь усилием воли она сохраняет на лице нечто отдаленно похожее на прежнюю улыбку, словно мыслями была где-то очень далеко, — у нее отсутствующий взгляд человека, который с трудом сосредоточивается на окружающем. Покажись-ка! Тот же тупой носик и кошачьи глаза, та же бородавка — сколько раз она клялась, что выжжет ее! — похудевшее лицо, без прежней свежести, вот этой складки у рта тоже не было, и все-таки не в этом суть перемены. Она в глазах, во взгляде. Гонза удивленно замолк, в наступившей тишине слышно было, как под ним скрипнул стул, как ветер ломится в окно. Гонза все еще улыбался и никак не мог погасить своей улыбки. Он вздохнул почти с облегчением, когда в кухню ввалилась пани Кубатова с тощей рыночной сумкой и многословными жалобами хозяйки:

— Доченька моя, мы тут с голоду сдохнем! Погляди, Гонза, девчонка стала как палка, я прямо в ужас пришла, когда она появилась в дверях...

Гонза предложил Итке погулять, она согласилась с явным облегчением.

Они шагали по асфальтированным дорожкам безлюдной Гребовки, все здесь было знакомо — деревья, облупленные таблички, уродливое подобие пещеры для романтически настроенных мещан, клумбы. Это был их парк, здесь Итка девчонкой играла в «классы» — небо, пекло, рай. А помнишь хромого сторожа, русского эмигранта, как мы смеялись над его ломаным чешским языком? Однажды он меня отшлепал. А вот тут я сочинял первый стишок и мечтал о славе. На той вон скамейке мы с тобой целовались и подсматривали за влюбленными. Теперь здесь пусто и уныло.

Не без умысла повел он ее на их любимое место, откуда открывался вид на лежащий в дыму и тумане город. Моросило, воздух был насыщен липкой сыростью. Гонза взял Итку за руку, она беспокойно подняла глаза, но тотчас отвела взгляд. Полно, Итка ли эта девушка?

— Ты замерзла?

— Да.

— Хочешь, вернемся домой?

— Нет, мне там плохо.

Он обнял ее за плечи, привлек к себе, чтобы согреть, она не сопротивлялась, но была как деревянная кукла.

— Ну, выкладывай, что там с тобой стряслось.

— Видишь ведь: я жива и невредима.

— Да, жива. Но только я тебя знаю как свои пять пальцев. Там было плохо, да?

— Плохо, — отозвалась она, не поднимая глаз. — Но я была там счастлива.

Он понял: нельзя ни изумляться, ни докучать вопросами, чтобы не спугнуть ее. Да и вообще в последнее время он отучился удивляться

чему бы то ни было. Вещи и люди показывали свою изнанку. «Поклянись, что ты будешь любить меня до гроба», — сказала она ему когда-то. Почему все время моросит?.. Подожду, пока у нее развяжется язык. Если только это прежняя Итка, долго ждать не придется. Они остановились у каменных перил, в сырой мгле под ними тоскливо гудели поезда.

Он не ошибся, Итка вдруг заговорила:

— Я должна вернуться, должна. Не могу я оставаться, мне здесь нет места! Я люблю его и не могу без него жить, пойми!.. Это так странно, мне даже не верилось, что это может случиться. С первого же раза, когда мы встретились — это было в убежище во время налета, — я поняла, что полюблю его. Налет длился несколько часов, а мне было все равно, я ничего не слышала, для меня существовал только он. Он меня тоже любит, так он и сказал, не может не любить, хотя нам трудно объясняться. Я так жалела, что филонила в школе на французском, теперь мне пригодилось бы каждое словечко. Нет, он откуда-то из Бельгии, Льеж называется, я этот город знаю только по карте. Он тоже тотальник, работал на кабельном заводе, их там совсем разбомбили, не знаю, работает ли он еще, и вообще... Я люблю его, Гонза, не могу без него жить! Не могу! Я все время мыслями там. Мы даже не попрощались, я не видела его, нас после налета загнали в поезд и повезли сюда, потому что там ничего не осталось — ни завода, ни лагеря, наверное, даже ни улиц, ни кварталов, — это был конец света, Гонза, а я думала только о нем, как бы все-таки повидать его условиться на будущее... И зачем только меня послали сюда! Я же не могу без него! А вдруг с ним что-нибудь случилось?.. Нет, не случилось, не могло случиться, потому что я его люблю!.. Знал бы ты... Его зовут Андре, по-нашему Ондржей, я его звала Ондра... Нет, наши не знают, я им ничего не скажу. К чему? Они бы с ума сошли, они не поймут и будут мне мешать, сторожить меня, не пустят к нему. Ты им ничего не говори, никому не говори, обещай! Потому что я должна вернуться к нему и вернусь, даже если придется пойти пешком... Без него мне не жизнь, и ты меня не отговаривай, если ты мне друг и не хочешь, чтобы я тебя возненавидела...

Гонза ошеломленно слушал ее лихорадочную исповедь. Это конец! Что с ней будет? Наверняка уедет! В душе его словно погас свет. Он вздрогнул: холодно было на душе, холодно и на улице. Погляди же, что осталось от этого простенького существа, от хохотуньи Итки, с которой всегда было так хорошо! Ласточка вернулась с обожженными крыльями... Да, да, в этом есть своя закономерность. Что сказать ей? Что и я уже не тот, что и я раздавлен, неузнаваем, только оболочка, руки, ноги, но не больше... Нет смысла отговаривать ее, хотя, здраво рассуждая, то, что она задумала, — совершенное безумие, равносильное самоубийству. Ему казалось, что он в чем-то понимает Итку, но выражение ее глаз пугало его. В них не было слез, только отчаяние и небывалая для нее сила воли. Итунка, маленькая!

Потом она уже только молчала и задумчиво водила пальцем по шершавому камню и уже уносилась мыслями в свой сладостный ад.

хотя еще и стояла рядом с Гонзой. Все еще моросило, а внизу гудели поезда, и мир был закутан в сумерки и дым. «Я должна быть там!» Гонза притронулся пальцем к родинке под ее ухом, погладил сбившиеся волосы; в остром приступе бессильной жалости, тоски и страха он привлек девушку к себе, словно пытаясь защитить от чего-то, что таилось в ней самой и рядом с ней. Итка не сопротивлялась, руки ее висели как плети. Но когда Гонза попытался поцеловать ее в губы, она отвернулась. Он удивился.

— Не надо, — сказала Итка и прибавила так спокойно, что у Гонзы захолонуло сердце: — Мне надо лечиться. Я... я больна, понимаешь?

Дальше, дальше! Но как? Закрытый круг, белка в колесе. Африка — страна плоскогорий, а голова раскалывается от малейшего движения. Богоушу легко говорить: «Возьми себя в руки!» Зачем? Не все ли равно! Если бы хоть не встречать ее на каждом шагу, не видеть, едва подынешь голову. Как вернуть ей книжки — Метерлинка и «Розы ран»? Передать через какую-нибудь работницу из «Девина»? Это было бы трусливо, унижительно, глупо, демонстративно. Все бы сразу поняли. Заговорить с ней? Гонза не был уверен, что сможет владеть собой. Как вести себя, если за обедом в столовке единственное свободное место оказывается как раз напротив нее?

В своем шкафике, в раздевалке, Гонза обнаружил чертежный лист, свернутый в трубку, который кто-то, видимо, сунул в щель. На него смотрело ее лицо. Он ощутил почти физическую боль. Рисунок был сделан углем, и, надо признать, довольно удачно: ее своенравный взгляд, гордо сжатые губы, ее брови вразлет... Только лоб не похож! Это Милан, негодяй, его работа! Вот и письмо... Гонза сразу узнал почерк Милана — скорее нарисованные, чем написанные буквы.

«Когда-то я обещал подарить тебе мой первый удачный рисунок. Кажется, получилось — суди сам. Он твой по праву. Не считай это юродством с моей стороны, я просто держу слово. Знаешь, что меня в наказание отправляют в Моравию? Здешнее начальство хочет избавиться от главного филона: Заячья Губа засыпал меня, когда я дрых в конторском сортире.

Так вот, несколько слов, чтобы внести ясность между нами, если это вообще возможно. Помнишь, я когда-то предупреждал тебя? Понимаю, ты иначе не мог. Но, как видишь, война касается и нас, ты уже понял это. То, что мои слова были правдой, не очень-то меня радует, по крайней мере сейчас — я преодолел это в себе. Видимо, преодолел: запретил себе. Тебя я не жалею, потому что жалеть нет смысла, надо быть суровым к себе и готовиться... Но могу по крайней мере признаться тебе, что ты был прав в своих подозрениях, ты верно почувал. Да, я был влюблен в нее по уши, ничего не мог с собой поделать. Безумно завидовал тебе, ревновал. Можешь ты понять ревность человека с такой рожей, как у меня? Никаких шансов! С ее стороны лишь отвращение, может быть, сочувствие и страх передо мной. Для меня оставалась только одна Бланка — вот эта, что на бумаге.

Ничего дурного я, собственно, не сделал, но мое предостережение исходило не из товарищеских побуждений, это надо прямо сказать. В общем я сволочь. Меня мучает, что между нами это произошло, потому что, хоть мы с тобой ссорились, хоть в голове у тебя полнейший сумбур, ты все-таки настоящий парень, ты это доказал. Я бы, наверно, не выдержал, я дерьмо!

Может, мы с тобой когда-нибудь встретимся — вот увидишь, мои слова насчет того, что будет после войны, сбудутся, я окажусь прав! В общем еще не все потеряно. Держись!» И настойчивая приписка: «Все это тоже между нами. Уничтожь письмо!»

Гонза снова и снова перечитывал письмо, пока не подошел Богоуш и не заглянул ему через плечо: «Письмишко? От дядюшки Рузвельта?»

Поддавшись первому побуждению, Гонза разорвал письмо и рисунок на мелкие клочки, поглядел, как они посыпались в унитаз, и спустил воду. В тот вечер он напился у Коблицев и на улице, под дождем подрался с каким-то пьянчужкой. В памяти осталось только, как он стоял на мосту, перевесясь через каменные перила, и блевал в темки.

Когда Гонза уже засыпал, в дверь постучали. Послышалось шарканье шлепанцев, стукнула дверная ручка, рука деда потрясла Гонзу за плечо.

— Тебе письмо, мальчик.

Кто ему может писать? Оставьте вы меня в покое! Гонза взял письмо и, увидя знакомый почерк, резко поднялся на койке.

VII

Маленькая ампула из тонкого стекла, — достаточно только сжать руку, чтобы ее раздавить. Простое движение, Душан уже упражнялся в нем... Вот так! Раздобыть ампулку было куда труднее и стоило кучу денег! Он давно носит при себе эту крохотную, пустяковую с виду штучку.

Он посмотрел ее на свет.

— Душан, ты дома? — послышался голос матери.

— Да, мама, — тотчас отозвался он. — Тебе нужно что-нибудь?

Нет, слава богу, ей ничего не нужно, шаги за дверью стихли, у Душана отлегло от сердца. Она ничего не подозревает. Никто ничего не подозревает.

Он лежал навзничь на своей кушетке и держал ампулу в руке. Стекло было гладкое и неприятно теплое. Не шевелиться! Все на свете надо научиться. В том числе неподвижности и умению угаснуть. Светлый круг от лампы заливал широкую пустыню потолка, но не попадал на лицо Душана, оно было освещено лишь желтым светом абажура. Пятно такое знакомое. Душан не сводит с него взгляда. На что оно похоже? На собачью голову, на облачко, на что угодно! Когда яд подействует, это пятно начнет расплываться, бурные потоки или красноватый дым закроют его, потом что-то вздрогнет в теле, на-

конец, нежно заплещет — не отсюда ли легенда о погружении в Лету? — возникнет ощущение постоянства и вместе с тем перемены, конечная реальность и холод — иной, не тот, что был знаком прежде, холод вещей, земли, трав, воздуха и времен года; краски, звуки и запахи потускнеют, и вот уже полный покой, без тягостных огорчений и скорби, холод металла в жилах, забвение иное, чем во сне, полное отсутствие ощущений — абсолютное. Все это уже знакомо ему, сколько раз он все это уже переживал?

Одно лишь движение... Вот так! На столе стоит пустая чашка с чайниками на дне, где-то в глубине квартиры устало звучит рояль, вальс А-дуг Брамса сочится сквозь стены. Душану ясно, кто играет, и он бессильно стискивает зубы. Небрежно хлопает дверь: явился братец Душана — он узнает его по топоту солдатских сапог и развязному насвистыванию. Сейчас ворвется в кухню и сожрет все, что подвернется под руку. Этот не пропадет. Скотина!

Как добиться внутреннего покоя?

Запыленное полотно Маржака, книги, напористый ветер, от которого вздрагивают рамы. Легкий аромат чая единоборствует с запахом нафталина и затхлости... Рена! Только что она была здесь, сидела, как всегда, прямо, полоска света двигалась по ее сомкнутым коленям. Душана чем-то раздражала ее манера брать и подносить ко рту чашку чая, наверное, своей сдержанностью и неторопливостью, но не хотелось говорить ей об этом. Почему?

Рояль забушевал и смолк, хлопнула крышка, в столовой большие дедовские часы мелодично пробили девять. С детства этот звук был противен Душану. Сейчас Полоний встанет и пойдет в ванную полоскать зубы: гигиена — конек совершенного человека, совершенный человек любит изрекать краткие сентенции на этот счет. Почистить зубы он не преминет, даже если на город будут падать бомбы или архангел Гавриил протрубит конец света.

Чего она ждала? Вечно она от него чего-то ждет, эта шальная Рена. Ее беда, что именно он встретился ей на пути. Почему именно я? Чувство? Слова? Наслаждение? Нет, нет, теперь он уже запретил себе все это, в последнее время сумел, хоть и не без труда, овладеть собой и знал, что Рена не будет настаивать. Он знает ее, у нее есть такт. Душан подозревает, что она каким-то шестым чувством угадала в нем это, что она поняла. Ее египетские глаза сегодня глядели на него с невыразимой мольбой, были полны печали. Душан безмерно страдал от этого и разжигал в себе озлобление. Эти глаза тоже одно из мучительных препятствий, не более трудное, чем другие: чем ночь, аромат чая, мать, или тихий мир книг, или мелкие радости жизни, которые нужно отбросить, стряхнуть с себя, если хочешь, чтоб пришел твой час. Рена чужая ему, да, да, чужая, ему чужда ее красота и отзывчивое тело, которое еще недавно волновало его. Но потом всегда наступало опустошение... Больше того, ему казалось, что в такие минуты он почти ненавидит Рену, потому что боится ее ужасающего терпения и воли, с какими она противопоставила преданность самки — она-то, конечно, уверяет себя, что это любовь! — тому неизбежному

в нем, что уже созрело и только ждет своего часа. «Рена, тебе пора!» Она заколебалась сегодня впервые. Может, в этом неожиданном колебании есть скрытый смысл, подумал он. Но потом она повиновалась, как всегда, без возражений, коснулась губами его холодных губ. Довольно! Ему не жалко ее, нет, не жалко! И все-таки в темноте парадного ему вдруг захотелось поскорей убежать от нее, чтобы не расчувствоваться и не удержать ее.

— Будь здорова, Рена.

— Ты — тоже, Душан.

— Ничего не забыла наверху?

— Нет. Я еще приду.

Он услышал ее удаляющиеся шаги на мокрой улице и вздрогнул от холода.

Один! Наконец-то! Что еще? Сосредоточиться, вызвать это знакомое приятное безразличие к себе, ко всему вокруг и проглотить... Где ты, мой час? Дни, недели, месяцы. Душан задыхался от презрения к самому себе, он и подумать не мог о жалкой сцене с тем человеком — каким-то Гонзой — на мокрой улице! Позер! Он читал это в чужих глазах. К чему, собственно, вся эта демонстрация, дневник, ах, пингвины, я завидую вам, вы с такой солидной уверенностью вступаете на льдину. Сегодня! За письменным столом он нацарапал письмо, всего несколько пустых фраз, вложил его в конверт. Мелочность, видимо, свойственна человеку до последней минуты жизни.

Он допил остатки холодного чая, погасил свет и поднял штору затемнения. На улице лежала девственная ночь, без луны и звезд, он устался во тьму, угадывал внизу город, дома, где спят люди, и вдруг снова знакомое и упительное отчуждение от всего. Так бывает, когда снимаешь привычно искажающие очки и начинаешь видеть все иначе, по-новому, чудовищно отчетливо, и совсем не глазами, а чем-то другим, и все представляется иным и лишенным смысла, предстает в обнаженной нелепости мира — смотри! Люди навалили камень и кирпич, склеили их потом, наделали себе прямоугольных нор, назвали их квартирами и в них живут и дышат, совокупляются и спят, пока не заснут последним сном и их не вынесут из этих квартир и не зароят в землю. Город. Много ли нужно — быть может, всего-навсего нажать на какой-нибудь рычаг, — чтобы эти термитовые постройки рассыпались на части. У них нет будущего. И я среди них. Не хочу. Не могу. Не буду. С тех пор как живу, всегда чувствовал отвращение при взгляде на бессмысленный человеческий муравейник... Да замолчи ты!

Он опустил штору, нащупал выключатель, повалился навзничь на кушетку и замер, уставившись в потолок. Вот таким его найдут. Амбула пока цела и в ней — это. Пройдет секунда, доля секунды — сейчас, сейчас, — надо только перехитрить себя, это должно прийти, как удар молнии, как электрический разряд, единым, пусть даже случайным импульсом. Сегодня, сегодня! — кричало в нем. — Хочу сегодня, ведь все уже решено, давно решено, он уже не может дальше, завтра не должно быть, он ненавидит это завтра, остановить, остановить мысли, чувства, оборвать связи — сейчас и он победит, всему будет конец, на-

ступит ничто, славное, торжествующее ничто после короткой агонии. Ничто! Может, напиться? Нет!

И вдруг он почувствовал, что это приближается, почувствовал почти физически. Близится! Он с трудом удержался от вскрика. Сегодня стало уже уверенностью, и в той особой до сих пор неизвестной уверенности был еще непознанный ужас. Как все это ощутимо, он и не думал! Сегодня это застало его врасплох, душу заполняла скорбь, давила как камень... Из-за чего же скорбеть? Из-за того, что угаснет один жалкий огонек в опустошенной вселенной, блуждающий огонек, который сам страдает оттого, что светит? Но на душе была неизведанная жалость, она вызывала слезы на глазах, теснила грудь, грызла со всех сторон... Может, это страх? Да, но другой. Конкретный, отчаянно физический, звериный.

Душан вскопчил с кушетки и схватился за голову.

Что это? И тут он понял, что стоит, пошатываясь, на ковре, но в силах сдерживать дробный стук зубов. Мелодичный бой часов немного привел его в себя. Он увидел свет, чашку чаю, книги, сотни книг и письмо на столе, услышал свист ветра... Ну, возьми же себя в руки, трус, мерзкий позер, ненавижу тебя!.. Он с удивлением обнаружил, что стоит в узкой нише между массивными книжными шкафами, в давнем укромном уголке, куда прятался еще в детские годы, стоит, прижавшись спиной к стене, словно скрываясь от кого-то, и вздрагивает всем телом. «Душан! — слышится ему голос матери, она нежно зовет его из туманной дали. — Где ты спрятался, шалун?» Вокруг вода, какая-то горечь — между тем воют сирены, вероятно, не всамделишные, быть может, ему это только кажется.

«Душан!» Что ей нужно? Душан всхлипывает, но не двигается с места, он не выйдет из убежища, он не выйдет на свет своего сегодня, пальцы его шарят по дубовой стене шкафа, он не сводит глаз с опустевшей кушетки — там, в ямке, оставшейся после его тела, лежит маленькая стеклянная ампула и ждет, терпеливо ждет. Эта крохотная вещичка — его сегодня и его навсегда, страшное навсегда — приветливо поблескивает, растет, плячется: «Душан, покажись, папа сердится!..» — она увеличивается: на глазах... а рядом с ней лежит он сам, неподвижный, вытянувшийся, в черном свитере. Да, это его нос, уши, волосы, у него приоткрыт рот и щеки белы как снег... Он победил! Наконец-то!

Он приложил руки к глазам. И вдруг почувствовал, что надо бежать от смерти, бежать от самого себя, если не хочет сойти с ума, что ему еще нужно увидеть человеческое лицо и услышать человеческий голос, коснуться руки, неважно чьей. Непреодолимое желание овладело им. А что, если разбудить мать, сестру или обоих Полониев? Все в нем запротестовало, когда он представил себе солидное, невозмутимое лицо отца, его убийственно банальные фразы: «Ты взрослый человек, Душан, перед тобой будущее, семья, время сейчас трудное, у тебя же есть обязанности перед обществом, ты ведешь неправильный образ жизни». Ни за что! Лучше найти незнакомого, с кем он, Душан, ничем не связан, какое-нибудь лицо в ночи, только от такого челове-

ка, быть может, он услышит освобождающее; еще не услышанное слово, вероятно, он уже ждет, чтобы сказать ему нечто необыкновенное, спасительное...

На ходу он схватил со стола письмо, не раздумывая, сунул его в карман пальто. Зачем посылать Гонзе это письмо? Ведь он уже совсем неинтересен Душану, он никогда не поймет, почему это письмо послано именно ему...

Стук двери разнесся по лестнице богатого доходного дома, треть которого Душан со временем унаследовал бы от родителей. Ночь встретила его сырым ветром, но принесла облегчение.

Он постоял у ворот, чтобы привыкнуть к темноте.

И вдруг вздрогнул. Человек, неясные контуры которого виднелись на противоположной стороне улицы, узнал его и направился к нему.

— Душан! — услышал он в шуме ветра.

Этот голос привел его в бешенство.

— Что тебе надо здесь, Рена? Когда ты перестанешь сторожить меня? Почему не ушла домой? Такой холод!

— Я не могла, мне надо с тобой поговорить... Надо...

Душан с усилием сдержался, чтобы грубо не оттолкнуть ее. Нет, он ничего не хочет слышать! Неужели придется унижить ее, прогнать как собаку?

— Уйди от меня, — сказал он жалобно. — Прошу тебя... Почему у тебя нет хоть капли уважения ко мне?.. Неужели ты еще не понимаешь... я не могу!

Последние слова он уже выкрикнул. Не оглядываясь, он пошел прочь по пустой улице; ветер развеивал его плащ. Потом он пустился бежать, завернул за угол, но не замедлил бега. Наконец втиснулся в пустую нишу и, прерывисто дыша, стал слушать, как шумит дождь.

Куда он идет? Сам не знает! Он идет вперед и вперед среди отвесных черных стен и полуоткрытым ртом глотает скользкую тьму, он полон ею, он подобен мешку противной теплой тьмы. Мимо с ревом проносится автомобиль, проходит человек в пальто с поднятым воротником; подковки стучат по камням, кругом высятся брандмауэры громадных домов, где спят люди. Ветер шевелит его волосы. Слабо освещенный трамвай тащится вверх по улице, и визг его колес проникает до мозга костей. Холодно. Х-х-холодно! Душан сует озябшие руки в карманы. Заходит в какое-то кафе, в прохладном полумраке слышится стук бильярдных шаров, несколько человек, похожих на утопленников, склонили позеленевшие лица над шахматными досками. «Мы уже закрываем, — говорит официант в потертом фраке, — извините!»

Коридор вокзала с затхлым запахом одежды и усталости, в синеватых потемках, разинув рты, храпят солдаты, подложив ранцы под голову — им все безразлично, шум, свистки. Душан проталкивался в массе людей, спотыкаясь о чемоданы и мешки. «Куда так торопишься, парень?» — ворчит кто-то небритый. Душану на секунду стало жаль ре-

бенка, который спал, уронив голову на плечо матери; он прошел мимо группы офицеров; на перроне раскачивался фонарь, металлический голос в репродукторе дробился неразборчивым эхом под лепными сводами вокзала. Куда они едут? Поехать с ними? Душан остановился в конце раздраженной очереди к кассе и так же бездумно отошел, выпил у киоска стаканчик приторного напитка, от которого стало холодно в желудке, скользнул взглядом по призрачным лицам.

С кем заговорить? К кому обратиться? Извините, сегодня ночью... Говорите же! Скажите что-нибудь! Нет, вокруг чужие, далекие, прижатые усталостью люди, и он тоже безмолвен. И вот он снова на улице, он плывет вперед в гнетущей захлебывающейся тьме, спотыкается о гнилые балки на набережной. Кажется, воют сирены? Нет, не воют, стоит влажная тишина, и лишь монотонно шумит поток времени. Душан наобум чиркает спичкой, сжигает их одну за другой — весь коробок, бездумно глядя, как ветер гасит крохотное пламя. Дальше, дальше! И Душан уже на площадке ночного трамвая, зажатый в куче тел, держится за металлические поручни, и у него мерзнут пальцы, и вот он опять идет, возвращается куда-то, опять идет.

Бам-м, бам-м! Он поднимает глаза.

Бой часов на башне рассекает воздух.

Заурядная улица с обшарпанными домами, обсаженная акациями, — он узнал ее, вспомнил: по ней он часто, еще гимназистом, возвращался ночью домой; из одной ниши его всегда окликала шепотом проститутка. Он знал ее голос, и, хотя никогда не видел ее лица, она казалась ему знакомой. Душан всегда испытывал к ней отвращение и вместе с тем жалость, но ни разу не замедлил шага. И все же, вспоминая об этом, он не мог не признаться себе, что ходил этим путем именно ради постыдного возбуждения, которое вызывал в теле созревающего подростка ее голос.

Да, это здесь, несомненно здесь, вот эта акация, эта ниша.

Душан замедлил шаг. Нет, зрение его не обманывает — она стоит там и сейчас. Тот же контур фигуры и бледное пятно лица — вещь, забытая на улице. Это было безумно и вместе с тем страшно логично: круг замыкается!

Душан был ошеломлен. Потом с немым изумлением он понял: нашел! Словно вспышка магния озарила все. Беги же! Нет, и тысячу раз нет! В нем трепетала боязливая надежда: это она! Она ждала его тут все эти изнурительные, тщетно потраченные годы. Пенелопа в нише ворот, стоящая тут и в ливень и в мороз в этом жестоком и абсурдном мире... Он ее, наконец, нашел и теперь полон благодарности судьбе, пославшей ему эту встречу. Он не колеблется, когда его окликает знакомый хрипловатый голос, и идет на него, идет за ним...

...поднимается по лестнице, болотный блуждающий огонек бежит перед ними, вокруг подозрительный полумрак, мерзкие запахи лезут в нос, вызывая тошноту. И вот они пришли.

— Раздевайся, — говорит за его спиной простуженный голос. — Не побрезгуй мною.

Плита, облупленный умывальник, старый комплект «Пражанки»,

швейная машина. С дивана соскочила, даже не заворчав, толстая собачонка с седыми усами — безобразная помесь разных пород, — свернулась в клубок на полу и понимающе посмотрела на гостя, видно было, что она привыкла ко всему и вопреки собачьей натуре не станет защищать хозяйку от посягательств незнакомого пришельца.

— Ты красивый мальчик, — сказала женщина.

Душан пришел в себя, ощутив прикосновение ее руки к волосам, и огляделся. Он увидел ее лицо — лицо одной из тех ветеранок проституции, которые всегда ужасали его своим жалким видом, — постаревшее лицо, превращенное бесконечной вереницей ночей в унылую маску. Толстый слой пудры усиливал впечатление убожества. Но, больше чем от самой женщины, Душан содрогнулся от собственной брезгливости, которая стала подниматься в нем. Он не смог ни подавить эту брезгливость, ни скрыть ее и только опустил глаза.

Женщина поняла.

— Воротите нос, молодой человек? — это было сказано без тени жалости к себе, с жестким вызовом человека, привыкшего к унижениям. — Как хочешь, чистюля, — прохрипела она, и в голосе ее прозвучали угрожающие нотки. — Но если ты пришел сюда только для потехи, так проваливай поскорей. Мне тоже жрать надо.

Душан не возмутился, он понял ее, сунул руку в карман, вынул десять марок и подал женщине. Собака на полу внимательно следила за ним покорными глазами. Женщина слегка заколебалась — Душан понял, что она не ожидала такой щедрости, — и взяла деньги молча, с некоторой подозрительностью, которую ей привила ночная улица. Она сняла поношенное пальтишко и села с ним рядом. Уголкем глаз он заметил под измятой юбкой толстую, уже бесформенную ногу в дешевой чулке. Это было настолько отталкивающее зрелище, что Душан стиснул зубы и, с трудом преодолевая брезгливость, заставил себя снова взглянуть ей в лицо. Блеклые глаза смотрели на него с нескрываемым удивлением и ожиданием. Она вдруг показалась ему не такой отталкивающей, он увидел в ней что-то материнское. Под грубыми чертами лица чувствовалась простота и добродушие женщины из низов, примирившейся со своей участью. И когда она снова погладила его по голове — видимо, ей нравились его мягкие волосы, — у него уже не осталось прежней брезгливости.

— Ты не хочешь?

Он молчал, она поняла это по-своему.

— Что, не понравилась? У тебя своей-то девушки нет?

Он на секунду заколебался, потом решительно покачал головой.

— Чудной ты какой-то! Боишься, что ли? Такой красавчик, да с тобой пойдет любая, бабы должны к тебе липнуть. На кого-то ты похож! Нет у тебя брата в Кралупах? Нету? Совсем чужие люди иногда бывают страшно похожи...

Душан заметил седину у нее на висках. С нарастающей тревогой, опершись локтями в колени и подперев руками голову, он слушал ее болтовню. Встать и уйти, встать и уйти! Что интересного может сказать ему это обиженное жизнью существо из самых низов человечества?

Что ему здесь нужно? Зачем он пришел сюда? У Душана голова шла кругом, безмерное отвращение охватило его... Что сказать ей? Ничего, ничего! Он не имеет на это права. Он должен молчать!

— Немой ты, что ли? Вроде лунатика! С тобой страшно. Зачем ты пришел ко мне?

— Я искал тебя, — наконец откликнулся он. — Мне было холодно.

— А ну тебя! — усмехнулась она. — Нечего насмехаться! У меня как раз затопить нечем. Можем только поговорить. Человеку скучно, когда не с кем поговорить. Знаешь, что я делаю, когда очень муторно на душе? Читаю. Понятное дело, не какую-нибудь там умную книгу — на это моей головы не хватает. Раньше я, бывало, вырезала романы из журналов — ты бы от них нос отворотил. Небось образованный, верно? Какие у тебя тонкие руки... как у акушера. Чем ты занимаешься?

Душана ужаснула ее назойливая общительность, и он не сразу осмыслил ее вопрос.

— На заводе... насаживаю какие-то колпачки на какие-то шланги. Восемьдесят штук в день.

— Я тоже мобилизована — стираю белье в эсэсовском лазарете. Мало радости, скажу тебе, возиться в этой грязи. Ломит спину. Этим вот только прирабатываю, не хочу терять нескольких знакомых, которые ко мне еще ходят.

Она взяла его озябшую руку и приложила к своей толстой расплывшейся ляжке. Душан не в силах был отдернуть руку.

— Знаешь, мне уже давно никто не давал столько днег. Я непривычна брать ни за что... Поплюю-ка я на них на счастье. Так ты вправду ничего за них не хочешь? Я не набиваюсь, нет так нет. Но если ты брезгуешь, так это зря...

Нестерпимо! Его отчаянный взгляд заставил ее замолчать.

— Ты что?

— Я не брезгую, — скривившись, выдавил он. — Я совсем не брезгую... Ты красивая...

Она отодвинулась и коснулась ладонью его лба.

— У тебя жар. Шел бы ты, парень, домой, что-то с тобой неладно...

— Нет, ты ошибаешься... Домой я не могу! - Мне нигде не было так хорошо, как у тебя, прошу тебя, дай мне побыть здесь еще немного.

Душан прикрыл глаза, в его ладонь вливалось живое тепло ее тела, это было страшно и захватывающе... Он передвинул руку и ощутил под тканью мягкий живот, потом его лицо прижалось к большой, дряблой груди, пахнувшей пудрой и мылом; все это было жутко и бессмысленно, и вдруг его безотчетно потянуло с рыданием укрыться в этом чужом, изношенном теле, раствориться в нем, избавиться от мук сознания, скрыться от гнусности бытия...

И он нашел все это.

Лупоглазая собачонка, плита, облупленный умывальник и швейная машина... Множество теней во всех углах. Душан пошевелился. Где же

он? Сознание зыбится, как водная гладь под ветром, кто-то рядом говорит, покашливает, спрашивает, как его зовут... Но слова уже не долетают до Душана, уже, слава богу, не относятся к нему, он может не слушать их, круг замкнулся, осталось лишь сознание чего-то неотвратимого, сознание своего сегодня, уверенность, которая уже не так страшна и трагична. Душан чувствует, что не вынес бы больше прикосновения руки, что нужно встать и уйти. Он уже вне всего этого — такого удивительного и прекрасного, он вне этой, гнетущей полутьмы и ее запахов, вне всяких человеческих связей. Ах, наконец-то!

— Очень ты чудной, — слышит он из милосердной дали. — Ты же не хотел, не говори. О чем с тобой разговаривать?

С мучительным нетерпением он подождал, пока она накинула поношенное пальто и влезла в стоптанные туфли. У него не было ни злости на нее, ни отвращения, ни сочувствия — ничего. Уходя, он заметил, что приученная собачонка опять вспрыгнула на диван и свернулась в клубок. Но это не показалось Душану смешным.

В зыбкой темноте, на фоне ворот, резко проступал контур акации. Душан не заметил, что женщина протянула ему руку. Но по какому-то смутному побуждению пошарил в карманах, нашел несколько кредиток и монет, молча отдал их и убежал от ее благодарности.

И вот он снова один. Подняв воротник, он торопливо идет домой. В душе совсем пусто, лот коснулся дна. Ноги идут сами, несут его, и остался только покой — восхитительный, холодный, равнодушный покой, в котором тонет все, что еще недавно мучило, все отвратное и смятенное. Покой подобен морозному сиянию, прозрению, все кажется легким и достижимым. Сегодня и навсегда — наверняка раз и навсегда! Покой! Наконец-то он дождался его! Собственное «я» словно сжималось и таяло, превращаясь в ничто, и это было изумительное ощущение. Исчезали жалость и страх, все было уже совсем не болезненно. Так, так! Ему уже давно было знакомо это сладостное безразличие ко всему сущему, эта нирвана, когда нет терзающих мыслей, которые словно копошатся в тумане, нет отношения к людям и потому нет сомнений. Душан культивировал в себе это состояние, учился вызывать его, как учатся мальчишки задерживать дыхание, потому что, погрузившись в него, оставался наедине с собой, замкнутый в кругу своих фантомов и, несмотря на это или именно поэтому, замечательно раскрепощенный от материального мира. Это было такое облегчение! Наконец-то он снова впал в такое состояние и, нематериально легкий, плыл в нем по мокрой улице, храня в остатках сознания лишь один властный императив: сохранить в себе это чувство, всеми силами удержать его и совершить единственный остающийся ему поступок. Это было как водолазный колокол, условие свершения, трут, который дает искры. Душан сунул руки в карманы. На углу он на ощупь нашел знакомый почтовый ящик, не колеблясь, бросил в него письмо и услышал, как конверт стукнулся о железное дно.

Подойдя к дому, он оглянулся.

Никого. Пусто.

На дыпочках, затаив дыхание он прокрался в переднюю — пахло

знакомым запахом нафталина. Душану казалось, он слышит ровное дыхание спящих, мелодично пробили дедовские стоячие часы.

Сквозь застекленную дверь его комнаты виднелся свет — убегая из дому, он забыл выключить лампу. Вот его прибежище, его раковина — этот конус света, обособленный во всепоглощающей тьме; свет тут удивительно консервирован.

Он аккуратно закрыл за собой дверь и повернул в замке ключ. Снял ботинки, и мягкий ковер заглушил его шаги. Движения его были медленны и осторожны, как у человека, который несет поднос с хрупким стеклом.

Огляделся. Ампула здесь! Она ждала, но уже не пугала. Она приревновала его.

Он заглянул на дно пустой чашки, понюхал ее и осторожно поставил обратно на блюдце. Допивать было уже нечего. Душан прошелся от книжного шкафа до занавешенного окна, потрогал кресла, абажур, полированную крышку радио, провел ногтем по кожаным корешкам книг и продолжал ходить по комнате, словно ища чего-то.

Он остановился у письменного стола. Маленьким ключиком отпер нижний ящик и вытащил мягкий сверток, просмотрел его, поднес поближе к свету и рывком развернул флажки. Шарик нафталина выпал и покатился к окну. Флажки! Душан разложил их на креслах — цвета, полосы, звезды. Последним флажком он покрыл низкий табурет и, удовлетворенный, посмотрел на это украшение.

Почему воют сирены? Он замер, прислушался... И снова... Нет, это в голове... И снова!

Он лег навзничь, сжимая в руке хрупкую ампулу, согретую его ладонью, и, сосредоточив все свое терпение, стал ждать. Пятно на потолке — прямо над головой. Душан не сводил с него глаз. Да, оно похоже на голову пса, теперь это уже ясно... «Душан!» — услышал он чей-то крик, но не узнал чей. Скоро пятно начнет постепенно расплываться, бледнеть, затягиваться седоватым дымом, и тишину нарушит плеск воды... «Душан!» Нет, ничего не слышать! Еще нет, это еще не началось, еще нет, спокойно, не двигаться! Высокий, мучительно дисгармонический звук близится, нарастает... Пора!

Это было удивительно легко и пришло как-то само собой: властный импульс пронизал его тело, нашел свой миг, свою случайную щелочку — и...

Изо всей силы Душан сдвинул зубами ампулу...

— Да, мы услышали крик, — говорил человек с мягким, чуть женственным ртом, сидевший на другом конце овального стола. — Это было ужасно... Вы не можете себе представить, как это было ужасно!

Это он и есть, думал Гонза, слушая душераздирающий рассказ Полония. Отец Душана принял его с учтивым недоумением в столовой из черного дуба, в квартире, еще не выветрившейся не поддающийся определению запах; хозяин поставил на толстую скатерть рюмку анисового ликера, но Гонза решил не притрагиваться к ней.

— Его обманули, молодой человек, в ампуле был не цианистый калий, а что-то другое, что действует гораздо медленнее... Я не специалист, названия не запомнил. Мы вызвали врача, но было поздно... Он умер в страшных мучениях... и не хотел умирать, клянусь вам... Звал мать...

Он говорил все это почти с удовлетворением, словно этот ужасный исход доказывал его, отца, правоту.

— Вы не можете себе представить... я буквально дрожу от страха за жену, ведь она еще не знает... Его увезли утром. — И он жалобно всхлипнул.

Гонза был подавлен. Не было причин сомневаться в том, что горе отца неподдельно, и все же даже оно не убавило солидности и не изменило респектабельной внешности, по которой Гонза сразу же узнал его. Седина на тщательно прилизанных висках походила на траурно поблескивающие ленты погребальных венков, изо рта чуть пахло зубной пастой.

Старик всхлипывал, и порой казалось, что он едва замечает гостя.

— Но зачем? — восклицал он снова и снова с каким-то требовательным упреком, и в голосе его были слезы. — Зачем? Зачем он так поступил, объясните мне! У него было все, что только можно желать, — талант, здоровье, будущность... Мне не в чем себя упрекать, хотя в последние годы между нами возникло известное отчуждение. Клянусь вам, у меня были по отношению к нему самые лучшие намерения, ведь он моя плоть и кровь... Почему же? Я не знаю вас, молодой человек, никогда не видел вас здесь, но если он написал вам это письмо, значит вы были его близким другом...

Что сказать ему? Ведь он не поймет, да я и сам не понимаю. Да, Душан был прав — этот человек ничего не может понять. Лучше бы он молчал! Гонзой овладели отвращение и мучительная неловкость. И зачем я сюда пришел!

Мелодичный бой стоячих часов вывел его из раздумья.

— Не знаю, — сказал он сквозь зубы. — Не разобрался я в нем.

— Вот видите! — оживился Полоний и снова открыл шлюзы слезливому красноречию: — И я тоже. А ведь я родной отец! Клянусь вам, молодой человек, я изо всех сил старался понять его! Сколько я его наставлял! Ребенком он был вполне нормален, уверяю вас. С его способностями он мог бы многого достичь! Война не продлится вечно, и тогда... вы меня понимаете. Я старался подготовить его к будущему, ведь он из хорошей семьи, вы, наверно, знаете, что один из его предков был другом самого Ригера, все это, — он сделал широкий жест, — могло ему принадлежать!.. А он... Такой способный, такой даровитый... Я бы мог показать вам его дипломы, которые он еще подростком получал на легкоатлетических соревнованиях... Весь мир мог быть у его ног! Я им слишком гордился и, видно, наказан за это... Я верил в него больше, чем в самого себя, а жена, бедняжка, в нем просто души не чаяла... Как он мог так с нами поступить, молодой человек... Нет, не понимаю... не понимаю! — Он всхлипывал, несколько театрально закрывая ладонью глаза. — Только в последнее время — пожалуй, с тех

пор, как его послали на завод, — он отошел от меня. Замкнулся в себе не знаю почему. Что я ему сделал, боже мой? Что? Сколько я просил его, уговаривал, корил за то, что он живет неправильно, как чужой в собственной семье. Вероятно, эти несчастные книги довели его до этого, лишили рассудка. Я думал, от них будет только польза. Ведь искусство и философия должны украшать жизнь, делать человека лучше, совершеннее, ну, скажите... Впрочем, в книгах одно, а в жизни бывает совсем иначе, он и сам бы это понял, если бы... если бы...

Подавленный, неспособный пробудить в себе хотя бы каплю жалости к этому человеку, Гонза слушал его причитания. С каждой фразой в нем нарастал протест, и Гонза не противился этому.

— Не могу объяснить это иначе, как психическим расстройством. Никогда в нашей семье такого не бывало. Может быть, это была внешняя вспышка безумия, как вы думаете?

Нет, нельзя уклоняться от прямого ответа, нельзя выкручиваться!

— Вы ошибаетесь, — хриплым голосом прервал его Гонза и заерзал на стуле. — Он был вполне нормален.

— Вы так думаете? Тогда почему же, скажите мне, почему же, о господи...

Хватит! Гонза встал и взял со стула свою шляпу. Ему казалось, он задыхается. Презрительным взглядом он посмотрел на хозяина дома.

— Оставьте! Что я думаю — неважно, а вы... А вы-то себе уж как-нибудь сумеете объяснить! Душан все знал наперед. Ведь вы Полоний, не так ли? Вы умоете руки, а он больше не проснется.

Благообразное лицо хозяина дома вытянулось, глаза сузились. Он хорошо разыгрывал недоумение.

— Вы пришли... оскорблять меня, молодой человек? — прошептали мягкие губы. — Меня! Неужели я виноват, я, который...

— Да, вы! — с ненавистью воскликнул Гонза. — Вы и это ваше вонючее благоразумие. Вы тоже его убили, если уж хотите знать, вы и весь этот ваш мир! Мир благоразумных, рассудительных негодяев...

Голос хозяина дома угрожающе изменился.

— Прошу вас держать себя в рамках приличия!

— И не подумаю! Вы все проворонили, ведь у вас на глазах заваривалась вся эта каша, а вы глазели с умным видом. Идите к черту, нечего корчить из себя невинного младенца. Теперь-то вы ждете, коньяк приготовили и флажки — размахивать ими, а потом снова все загадите своим благоразумием. Ну и ждите! Только без нас — эх вы, добродетельные, рассудительные, практичные папаши! Я ненавижу вас, как и он! Полоний!

Что он кричит? Это рвалось из него, он захлебывался гневом и жалостью, и черта ли ему было в том, что он, может, не прав, что преувеличивает, что несправедлив — ведь Душан-то мертв и за него даже не отомстишь!

Гонза умолк. Наступила изумленная тишина. Он упивался ошеломлением, написанным на этом столь уравновешенном прежде лице, потом

резко повернулся и добровольно покинул поле боя. Что уж еще говорить?

— Лжете! — услышал он, уже взявшись за ручку двери. Хозяин дома, дрожа и теряя самообладание, бежал за ним, он словно хотел заставить Гонзу взять обратно свои слова. — Вы лжете! — хрипел он, и лицо его наливалось кровью. — Вы такой же... один из тех же сбитых с толку, зарвавшихся юнцов, каким был и он...

— Не беспокойтесь — таким, как вы, не был и никогда не буду! От этих ли слов замер на месте Полоний? Гонза ждал новой атаки, но дождался лишь нового приступа жалкого плача:

— Но ведь я его... все-таки любил... Клянусь!

Гонза рванул дверь, задерживая дыхание, без оглядки пробежал через пронафталиненную переднюю. Он хлопнул дверью этой ненавистной квартиры, словно поставил точку после одного из тяжелых эпизодов своей жизни, и скатился по сумрачной лестнице на свежий воздух. Ради бога, глоток воздуха! Скорей!

Удалось? Нет. Что все это значит? Зачем в мою жизнь вошел этот непостижимый человек? Чтобы заразить и меня, вырвать с корнем из жизни, передать ту же опустошенность, какую носил в себе? Всей силой инстинкта самосохранения, истоков которого он даже не знал, Гонза восставал против призрака. Нет, нет, Душан!

Только на другой день не без внутреннего трепета Гонза отважился вынуть из ящика дневник в охровом переплете и вступил на его страницы, как на арену, где у него нет никаких шансов. Слова, фразы, эпизоды врезались в мозг, воспринимались теперь иначе, чем когда он прочел их впервые, потому что за ними, зловеще осклабившись, стоял поступок. Чудовищный, уже совершенный. При свете тусклой лампы Гонза вновь и вновь перечитывал дневник и стискивал зубы, содрогаясь от стыда и ужаса... Довольно! Нет, читай дальше! Надо, от этого зависит все. И Гонза тратил свои недолгие ночи на споры с мыслями, изложенными мелким, интеллигентным почерком; от этих мыслей веяло смертью, она уже была в них и слабо пахла чаем. Гонза жил как в бредовом сне, чувствуя, что слабеет от недостатка собственных аргументов, которые он мог бы противопоставить этому призыву, вламывающемуся в него и оголяющему его. Он как бы очутился под насосом, который выкачивает из него остатки сил. Не могу я больше, чего тебе надо? Куда тащишь? Хочешь, чтобы я убил себя, чтобы заглушил в себе этот вой, подавил эту мучительную дрожь, это постыдное головокружение, охватившее меня оттого, что чувство мое осквернено и разбито? Оставь меня, я не могу больше. Не могу! Не могу!

Потом — после похорон прошла неделя, за цветком в окне сгушались сумерки — кто-то робко постучал в дверь. Гонза умывался, собираясь в ночную смену, он открыл дверь, обнаженный по пояс. И замер на пороге: из коридорного полумрака на него пристально глядели темные глаза.

— Добрый вечер. Не знаю, помните ли вы меня...

Он тотчас узнал ее — такие лица не забываются, — хотя видел всего несколько раз, случайно, и никогда с ней не разговаривал. Вспомнил, что зовут ее Рена. Она была спокойна, замкнута, и он удивился, что не нашел в ней ни отчаяния, ни скорби, только обычную сдержанность, в которой он всегда видел отсутствие интереса к кому-либо, кроме одного человека.

Гонза смутился оттого, что он раздет и у него полотенце на шее, но Рена будто не заметила ни того, ни другого. Тихим голосом — он совсем не знал его — спросила, можно ли ей поговорить с ним наедине. Он кивнул и попросил ее подождать на улице — ему вовсе не хотелось, чтобы дед был свидетелем разговора.

Одевшись, он выбежал к ней.

Рена стояла у ворот, в воздухе крутились снежинки и ложились на ее блестящие черные волосы, связанные на затылке в строгий узел. Куда пойдем? Пренебрегая взглядами соседских сплетниц, Гонза взял девушку под руку и повел по улице, словно они были хорошие знакомые. Он молчал, ожидая, чтоб она заговорила сама, и поглядывал на ее профиль и гордую посадку головы. Нефертити, подумалось ему, и все в нем тоскливо сжалось: да, такое нечеловеческое самообладание, наверно, привилегия королев. Сбегая вниз по лестнице, он волновался, ожидал слез, слов, взрыва отчаяния, но ничего этого не было. Он даже вновь ощутил странное чувство, которое всегда испытывал в ее присутствии: словно она его не замечает. Что же тебе от меня нужно?

— Я побеспокоила вас, — сказала Рена, глядя прямо перед собой. — Извините.

— Ну, что вы!

Гонза поймал себя на том, что произнес это деликатно пониженным голосом, каким говорят с близкими умершего, но тут же бог весть почему подумал, что такой общепринятый тон неуместен с Реной, и умолк. Странные мы «близкие» — нелюбимая любовница и случайный знакомый, два совершенно чужих человека на хмурой улице — и тень между нами...

— Вы не дойдете со мной до трамвая? А то мне в ночную смену. Мне казалось, что я должна вас увидеть...

— Право, вам не в чем извиняться, — прервал он. — Может, посидим где-нибудь? Тут неподалеку есть кафе...

— Нет, спасибо, — просто отказалась она, по-прежнему глядя в пространство.

— Поверьте, я с удовольствием провожу вас, только боюсь, что ничего важного вам не скажу. Я знал его, мы даже дружили немного... и когда это случилось... Но я никогда его не понимал. Вы, конечно, знали его лучше, чем я. И все же я верю, у вас потребность с кем-то поговорить о нем.

Рена чуть заметно качнула головой и не замедлила шага.

— Нет, — сказала она, — я не о том. Это ведь ни к чему.

Сумерки уже стирали черты ее лица. С боковой улицы налетел ветер, чуть не сорвал шляпу с Гонзы. Пришлось придержать ее рукой,

чтоб не оказаться в смешном положении человека, гонящегося за шляпой.

Рена остановилась, заглянула ему в лицо.

— Я только хотела спросить... не оставил ли он чего-нибудь... может, письмо... От него ничего не осталось?

Гонзу захватило врасплох внезапно прорвавшееся в ее голосе горе. Он переступил с ноги на ногу, поежился от стужи. Что сказать ей? Дневник в охровом переплете и два письма... Первым побуждением Гонзы было отдать ей все это, но он тотчас подавил его: нет, нельзя ей этого читать. Это стало ему вдруг совершенно ясно, и он медленно покачал головой, стойко выдержав ее взгляд.

— Нет, ничего, — тихо сказал он.

Он услышал вздох разочарования и, боясь поддаться предательской жалости, ласково, но настойчиво взял Рену под руку и повел дальше. Остаток пути они не разговаривали, и у него опять возникло ощущение, что она его не замечает.

Они остановились на перекрестке, около остановки. В сгустившихся сумерках лицо Рены различалось только как светлое пятно. Ветер кидался на них. Молчание легло между ними тяжелым камнем — по крайней мере так чувствовал он. Издали донеслось дребезжание трамвая, и Гонза сделал еще одну попытку:

— Вы его очень любили?

— Да. Очень.

После этого он был способен только на банальные фразы.

— Мне ужасно жаль вас, Рена. Вам сейчас, наверное, очень тяжело, да?

Его слова, казалось, долетают к ней издали, она почти не слушает их; потом она как бы очнулась, повернула к нему неясное в сумерках лицо и подала озябшую руку.

— Да, — произнесла она упавшим голосом, но тотчас голос ее стал тверже. — Но теперь это уже не так страшно. Видите ли, я жду от него ребенка.

Трамвай подкатил к остановке, скрип тормозов отдался в мозгу.

Гонза смотрел, как маленькая прямая фигурка легко вскочила на подюжку прицепа и исчезла среди пассажиров. Трамвай тронулся; Гонза встряхнулся, потер замерзшее лицо, глубоко вздохнул и пошел обратно. Шел он легко, словно в призрачном сне, словно плыл по безлюдной, будничной улице, не думая ни о чем.

На лестнице он догнал мать. Она поднималась по ступенькам с неуклюжей кондукторской сумкой в одной руке и рыночной сеткой со скудными покупками в другой. Мать улыбнулась ему, как всегда, робкой улыбкой, от которой ему становилось неловко. Ему захотелось сказать ей что-нибудь, но он только обнял мать за плечи, не обращая внимания на ее удивление, и взял сумку у нее из рук.

Шум взволнованных голосов на третьем этаже разъединил их. Соседки собрались около крана, в общем гомоне Гонза услышал причитания пани Кубатовой и по коротким, отрывистым фразам сразу понял,

в чем дело. Итка. Исчезла из дому! Исчезла бесследно, не сказав ни слова, не оставив ни строчки! Вы слышали? Что же она наделала, несчастная? Пресвятая богородица! В такое-то время! «Ох, уж эти дети! — кудахтали соседки. — И куда она делась? Война ведь! Вам она ничего не говорила?» Гонза стиснул зубы и на все жалобные вопросы только отрицательно качал головой. Потом бегом поднялся по лестнице и захлопнул за собой дверь.

На другой день вечером он бросил с моста — на том самом месте, где они часто стояли с Душаном, — дневник в охровом переплете. Перегнулся через перила, но так и не услышал всплеска. Теперь он избавился от дневника, но это не принесло ему особенного облегчения, потому что слова, наполнявшие дневник, засели в нем самом, и теперь он с мучительной ясностью сознавал, что исход борьбы еще не решен и не будет решен до конца его жизни. И однако, вернувшись домой и засветив лампочку над кухонным столом, он впервые за долгие недели решился вынуть тетрадку со своими записями, несколько раз перечитал последние смятенные фразы, продиктованные отчаянием, и они показались ему какими-то непонятными. Неужели это я писал? Дальше! Что остается добавить? Он закурил сигарету, набитую травкой от ревматизма, и карандаш забегал по бумаге...

«...Я не знаю, что случилось и почему это так, но я рад, что она есть на свете, что существует. Та девушка на остановке... Нефертити... Нет, я не осмелюсь коснуться этого словами... но жизнь изумительна, неистребима, жизнь ведь больше, чем отдельный человек, чем страх и скорбь, она сильнее всех философий, мыслей, слов и искусства, она больше, чем смерть, она вообще выше всего. Я теперь так остро ощущаю это, что мне хотелось бы когда-нибудь доказать это другим. Не верю, чтоб, кроме нее, был еще какой-нибудь смысл во вселенной. Довольно ли этого?

Сейчас я веду разговор с ним, хотя не стал ничуть, умнее, чем в те минуты, когда пил с ним чай и бунтовал против собственного восхищения этим человеком. Он ушел со своей тайной, со своим сверхразвитым мозгом, образованностью и наблюдательностью, со своим правильным лицом и фигурой легкоатлета — и со своим чудовищным протестом. Но одно я теперь знаю или по крайней мере чувствую: он был не прав, мне жаль его, но он был не прав. Он не ушел от жизни, он проиграл, и вчера я узнал, кто нанес ему это поражение. Так зачем же, зачем он это сделал? Не знаю и никогда не узнаю! У него было все, и можно было позавидовать ему (и ей), я готов поклясться, что у него было на редкость здоровое тело и мозг. И все же, видимо, он был смертельно болен, заражен неизвестным еще микробом, не открытым под сильнейшими микроскопами, и этот микроб погубил его... Откуда мне знать, быть может, во всех нас сидит этот микроб, в каждом, кто дышит этим застойным, ядовитым воздухом, вот он, наш мир, другого мы еще не знаем, а прежнего не помним; вот наш временный мир, в котором мы открыли глаза, и его нам — одним в большей, другим в меньшей мере — суждено нести в себе до конца жизни. И может быть, тот, кто преодолет в себе этот микроб, станет невосприимчив и к другим,

еще более вредным бактериям? Черт знает, что лезет мне в голову, кажется, я совсем обалдел...

Не знаю ни противоядия, ни течения болезни, ни тем более ее терапии, не умею даже назвать этот микроб, и все же сейчас, глубокой ночью, когда я думаю о потерпевшем поражении, мне приходит на ум — это скорее смутная догадка, предположение без всяких доказательств: а может быть, у микроба все-таки есть имя? Имя, хорошо знакомое нам и тем не менее поразительное: протекторат!»

VIII

— Вот здесь, — сказал Павел и провел ногтем по карте воображаемую линию фронта: она бежала через города, перерезала реки и горы, была длинной и изгибалась в разные стороны.

— Кажется, рукой подать — и там, — сказал Бацилла.

— Ну да, на карте, — пробормотал Войта и ткнул указательным пальцем куда-то возле восточной границы Словакии. — Интересно, далеко ли досюда. Конечно, по прямой линии, самолетом.

Павел прикинул пальцами по масштабу.

— Километров шестьсот-семьсот, не больше.

Да, так оно и выходит: два с половиной, от силы три часа полета, в зависимости от ветра и других условий, — эти машины делают до трехсот километров в час, с полным бензобаком радиус их действия достигает тысячи. Значит, можно. Надо бы сегодня выложить это ребятам... Но как? И когда?

Бацилла толкнул Войту в спину и отвлек от размышлений.

— В других местах они еще ближе, гляди! — Он почесал в затылке, лицо у него вытянулось. — Но что-то не видно, чтобы немцы складывали чемоданы. На днях я слышал по радио того колченогого Гебельса...

В общем улететь можно, но до чего же это рискованное предприятие! Если бы он хоть разок побывал в воздухе! Не спятил ли Коцек? Да нет, иной раз его распирают бредовые идеи, но котелок у него варит здорово. Коцек умеет и гуляш без мяса сварганить и поднять машину в воздух.

— А если все разбомбят, — твердил свое Бацилла. — Вдребезги. И здесь. Представляете себе, ребята?

— Что ты мелешь?

Бацилла поперхнулся.

— Бои-то могут быть и у нас. К примеру, на Коронке или на Карловой. Я в жизни не видел покойника. Когда умер дед, я не смог подойти к открытому гробу, меня чуть не стошнило. От войны не удержись, она и сюда придет, а? Я слышал, Прагу объявят открытым городом...

По всему было видно, что одна мысль о взрывах и гибели людей на улицах, тех самых улицах, по которым Бацилла еще недавно бегал с ранцем в школу, приводит его в трепет.

Павел мрачно усмехнулся.

— Если ты думаешь, это сделают, чтоб уберечь часы на старой рагуше или церковь Лоретты, то ошибаешься. Во всяком случае, у тебя, Бацилла, не спросят. На это не рассчитывай.

Павел говорил, не думая, его одолевали вопросы, на которые не было ответа. Где ты? Почему молчишь? Перед ним лежала карта Европы, старая, заслуженная и довольно посрамленная карта, вырванная из школьного атласа, еще с довоенными границами. Уж они-то наверняка изменятся — только города, горы и реки останутся на своих местах, да и это еще неизвестно. Видимо, все пришло в движение. А вот тут, почти в самом центре Европы, в этом крохотном квадратике, равно отстоящем от близящихся фронтов, находимся мы! Сейчас. И ничего не делаем. Свинство!

Часы на секретере красного дерева, когда-то принадлежавшем врачу-еврею, пробили половину девятого — она слышала их бой. Часы равнодушны ко всему — они бьют для каждого: били для врача-еврея, теперь бьют для него. Да и для нее! Бланка стиснула мягкие подлокотники кресла. Что сейчас делает Гонза? Нет, не думать, она запретила себе это, она не смеет думать. Нельзя падать духом, потому что есть Зденек. Он жив. Где и как проводит он конец года? Он жив. Он сообщил ей несколькими короткими фразами, что все в порядке, суда еще не было и, надо полагать, будет не скоро, потому что имперская юстиция столь же педантична, сколь и нетороплива; Бланка соблюдала уговор и не допытывалась о подробностях. Надежда? Да, надежда есть, и Бланка держит ее в руках, как горячий камешек, — удержит ли? Боже, что сделать, чтоб выиграть это состязание с временем? Бам-м!..

— Не хочешь ли ты мне помочь?

Бланка не ответила, даже не шевельнулась. Напрасный вопрос, ведь он твердо знает, что она ни за что не встанет с кресла, что ему никогда не заставить ее притронуться здесь к чему-нибудь. Только кресло и диван! Бланка закрыла глаза. Так будет и впредь, и она знает, что не станет противиться. Хуже другое: она уже не умеет противиться, она, вероятно, даже разучилась ненавидеть и уже не может, как прежде, с отчаянием замыкаться в своем теле, не может не участвовать в этом. Нет, это не так! Не так! А кто ты, собственно, такая? Что от тебя осталось? Маленькое, запуганное, до смешного своевольное существо, и ничего больше. «Хочешь поглядеть в окно? — иногда звал ее он. — Отсюда такой чудесный вид!» Нет, ее не привлекал вид, не привлекала великолепная электрифицированная кухня. «Ты наивная, — беззлобно улыбался он. — К чему это? Во время войны надо отказаться от чрезмерной чувствительности. Случаются вещи и похуже. Квартира как квартира, неодушевленные предметы равно служат каждому, у них своя жизнь и свой возраст. Меня не интересует, кто тут жил до меня и что с ним случилось, не интересует даже, кто развалится на этом диване через пару месяцев. Но я ни на чем не настаиваю. Мне даже нравится твое упрямство. Нечто вроде бунта. Протест против

нас? Если бы в этой стране не творились вещи похуже — на здоровье...»

Это не во сне — наяву. Он ходит по ковру упругим шагом, не утратившим военной четкости, ходит в халате и комнатных туфлях, — может, и они остались от бывшего владельца квартиры? Туфли как туфли — ходит с веселым видом, распространяя вокруг запах свежести. Враг? Не похож на врага. Не может быть врагом. Во всяком случае, моим. Ведь он помогает мне, не будь его... Роль хозяина дома он разыгрывает блестяще, явно понимая, как мила мужская неловкость в кухонных делах.

Это не во сне — наяву.

— Сама виновата! — восклицал он под шум льющейся воды. — Объединенными усилиями нам удалось бы соорудить отличный ужин. Ела ты когда-нибудь икру? Икра будет! И не какой-нибудь эрзац, слава богу, нашим химикам еще не удалось его придумать. Надо достойно отметить конец года.

— Черт, — сказал Войта, — если тут ничего не произойдет, нас освободят в последнюю очередь. Как думаешь, Павел?

Павел пожал плечами. Похоже на то. А что делать? Вытащить из-под дивана бездействующий револьвер, завернутый в промасленную тряпку? Пробираться, что ли, в Берлин или в эту, как ее, ставку фюрера, черт знает куда, и там нажать на спусковой крючок? Что мы, собственно, сделали за последнее время? Не много и решительно ничего серьезного. Выпуск листовок пришлось прекратить, хотя бы уже из-за Гонзы, а кроме того, кончилась бумага. «Орфей» онемел, и похоже было, что никто на заводе не заметил этого. Ну, писали во множестве мелом на стенах: «Смерть оккупантам!», «Не работайте на Гитлера!», «Да здравствует свобода, да здравствует Советский Союз!», «Каутце — осел!», «Позор изменникам!» Милан научил рисовать серп и молот, пятиконечную звезду и прочее. К чему? Самые заметные надписи стерли верхушцы или трусливые мастера участков, другие так и остались незамеченными, и их постепенно смыло дождем. Подожгли сарай — люфтушцы сумели потушить его раньше, чем огонь нанес серьезный ущерб, а запарившийся Каутце мог приписать пожар простой неосторожности. Так или иначе, это были комаринные укусы по сравнению с тем, что делали на заводе другие, сильные люди — неизвестные не только Каутце и гестаповским ищейкам, но и «орфейцам». Связаться бы с этими людьми... но как? Все попытки остались безрезультатными...

Осень и зима и голодное рождество с грязным ненастьем — первое рождество без мамы. Павел с отцом попытались устроить что-то вроде рождественского ужина, но у них не хватило духу разукрасить елку и позвонить в колокольчик. Хватит, не надо думать об этом! Кто бы из нас мог предполагать нынешним летом, что последний год мы проведем, как крысы в убежище, в этой каморке за портновской мастерской, что все еще не кончится война и по улицам будет шляться немецкая солдатня с гулящими девками?

— Умираешь от скуки? — окликнул он из кухни Бланку, прервав ее мысли.

— У меня нет причин скучать.

— Правильно! — Он, видимо, истолковал такой ответ благоприятно для себя и внес в комнату бутылку. Прежде чем поставить ее на стол между двух пузатых рюмок, он внимательно рассмотрел этикетку. — Доводилось мне пить вина и получше, и даже совсем недавно. Париж изумительный город, быть может, не такой красивый с виду, как ваш, зато... — Он, улыбаясь, коснулся ее плеча. — Эта бутылочка стоила мне целого состояния, не говоря уже о риске. А сейчас такое вино хлещут храбрые янки с парижскими девчонками. Что ж, — он вздохнул без всякой горечи и подбросил в руке бутылку, — tempora mutantur *. Полагаю, эта заплесневевшая истина не потеряет своего значения и в будущем. Слава богу, я не так стар, чтобы отказаться от всякой надежды и пустить себе пулю в лоб.

— Что ты имеешь в виду? — И тут же поправились: — Имеете...

— Имеешь! — притворно рассердился он. — Очень просто, Бланка. Я не строю себе иллюзий, это ты, наверное, уже знаешь, но история в общем-то не так уж сложна, чтобы ее нельзя было понять. Мы, правда, войну проиграем ко всем чертям, и даже довольно скоро — ты, несомненно, желаешь этого, как и я, — но оставим после себя изрядный кавардак. А там, где кавардак, всегда возможны неожиданности. Бесконечные. В этом смысле я и питаю доверие к истории... О чем ты думаешь?

Бланка обхватила пальцами холодные колени.

— Пока что о вещах куда менее значительных. Что я могу?..

— Понимаю, — кивнул он. — В сущности, ты права, и сегодня ты прекрасна. В одном этом больше правды, чем во всей истории. Все остальное вздор, и довольно опасный. Слишком многим он стоил всего. Пусть теперь жалуются истории или человечеству — с пулей-то в голове, а то и вовсе без головы. Достаточно трудно уцелеть самому, найти щель, в которой можно хоть как-то жить... Тебе холодно? Здесь плохо топят.

— Нет, — сказала Бланка. — Я не это имела в виду. Неправда, что в этой войне люди умирают напрасно, что...

— Абсолютно! — перебил он ее, заботливо откупоривая бутылку. — Послушай меня: нынче только идиот верит в их объятия из-под палки. Смех, да и только! У этих союзничков уже сейчас, не говоря о завтрашнем дне, больше причин передрасться между собой, чем между любым из них и нами! Вот как! Виноват ли я, что эту простейшую истину не понял вовремя наш фанатичный кретин? Или что прошлым летом его не взял черт, потому что дегенерат, который подсунил ему бомбу, оказался таким растяпой? Неужели же мне добровольно ложиться в гроб со всей этой вонючей лавочкой? Не вижу оснований.

— Не болтай, а то не слышно, — окликнул Павел толстяка Бациллу.

* Времена меняются (латин.).

Ускользящий голос диктора сплетался с хрипами и треском, приходилось приладывать ухо к самому приемнику. Диктор говорил о свободе и мире, о справедливости, которую принесет наступающий год, а он уже у порога, и это звучало для них как фантастическое послание из иного мира; потом, ощущая холодок на спине, друзья прослушали «Интернационал».

— Перекинемся в картишки? — помолчав, предложил Войта.

— Я кое-что приволок, ребята!

Все уже знали подозрительно зеленую водку Бациллы. Павел заявил, что ее в обязательном порядке пьют только грешники в чистилнице. Рядом с водкой Бацилла с торжественным видом поставил литр дешевого вина, такого терпкого, что у всех лица перекашивало, когда брали его в рот. Видимо, Бацилла был доволен произведенным впечатлением. Он с вожделием потер пухлые ручки, торопясь выпить.

— Хватанем сегодня малость, а?

— Уймись, — осадил его Войта, всаживая штопор в пробку. — Не пришлось бы мне опять вытаскивать тебя из унитаза!

Золотисто поблескивающая жидкость покрыла дно, рюмка медленно наполнялась.

— Не бойся, я не заставлю тебя пить за здоровье фюрера, — сказал он с легкой усмешкой. — У меня есть такт, да и к чему зря тратить хорошее вино?

Рука, наполнявшая рюмки, не дрожала — хорошей формы, крепкая мужская рука. Бланка смотрела на нее, а видела другую руку, юношески неловкую, в ссадинах от заклепок, с небрежно остриженными ногтями. Зачем он так много говорит?

— Я рад, что ты сегодня здесь, Бланка, — слышала она его приглушенный голос. Не было причин подозревать его в неискренности. — Нет у меня уже больше никого, с кем мне было бы так хорошо, как с тобой. Я уже не тот, что прежде. Стою на тонущем корабле, а вокруг льды. И мрак. Ultima Thule*. Ты можешь сказать: сам виноват, ты этого хотел, ты помогал этому, и вот возмездие. Может быть. Понятие вины всегда платонично. Чтобы быть виноватым, надо заранее в любой ситуации знать, что правильно и что нет. Не так все просто. Среди нас тоже были идеалисты, пожалуй, вполне порядочные мыслящие люди, готовые жертвовать собой во имя того, что они считали правильным и справедливым. Знать! Но ведь тогда надо знать подлинные аргументы того, против кого ты собираешься бороться, а не одни фразы, крики, символы. Не успеешь усомниться, как уже течение подхватило тебя, а с ним тебе не справиться в одиночку. Один вошел в воду по щиколотку — он еще может выскочить и отряхнуться, другому вода уже по колено, по пояс, а тому — и по горло. Тогда уж остается только одно — нырнуть в решающий момент, не зная, выплывешь или нет. А нелепица идет своим чередом. Разве не смешное

* По верованиям древних, последнее, черное место, край земли, откуда нет возврата.

сочетание — ты и я? Я, человек, связанный обстоятельствами, человек — почему бы не сказать этого? — перед которым и сейчас еще тянутся в струнку или дрожат, — и вот мне хорошо с беззащитной девушкой из враждебного нам народа, девушкой, чей брат, кстати говоря, уличен в тягчайших преступлениях против того, с чем я, к сожалению, слишком тесно связал свою судьбу. Ради этой девушки я совершаю измену за изменой, и, представь себе, мне это даже безразлично!

— Почему же измену? — робко возразила она. — То, что вы делаете... ты делаешь... это добро. Спасти человека — не может быть изменой, потому что изменить можно чему-то справедливому, а вы сказали, что...

Слова ее замерли под его пристальным взглядом. Он со значением тронул ее за плечо:

— Не сказали, а ска-зал! Так? — Он подержал рюмку против света, на лицо ему упал дрожащий янтарный блик. — Представь, встретились бы мы с твоим братом с глазу на глаз в уединенном месте, и у него в руках был бы револьвер. Думаешь, он поколебался бы? Если он настоящий мужчина — никогда.

Она растерянно покачала головой:

— Не знаю.

— Довольно, что я-то знаю.

— Если Зденек вернется, я скажу ему, кому он обязан жизнью.

Он горько усмехнулся.

— Трогательно, но боюсь, что его благодарность мне мало поможет. Да я, пожалуй, и не стану ждать ее. Впрочем, мы враги, и я принципиально не одобряю того, что он сделал. А то, что я делаю, — делаю ради тебя. Сама по себе судьба какого-то шального идеалиста меня не трогает.

— Не говорите так о нем, — с силой потребовала Бланка.

Он недовольно отмахнулся.

— Ладно, не будем вообще говорить о нем, не хочется сегодня притворяться, сыт по горло! *Alles ist egal* *. Кроме того, конечно, что ты здесь, что перед нами бутылка приличного коньяку и что в этом городке еще не стреляют. Ради этого стоило не пойти к старику. Чужовищно опасный негодяй — увешан орденами, как рождественская елка игрушками. Педант и гомосексуалист. Терпеть не могу гомосексуалистов! Всякий раз, как вижу его медовую улыбочку, говорю себе: ну, жди теперь смертей. Его тусклые глаза видят человека насквозь. У меня нет ни малейшего желания бывать на оргиях притворства в его вилле. Уж я-то хорошо знаю им цену! Все подстерегают друг друга, оценивают, достаточно ли оптимистичны улыбки, демонстрируют преданность фюреру и веру в окончательный перелом на фронтах. Все время надо быть начеку, боже упаси хватить лишнее. В последнее время его конек — болтовня о тайном оружии. Врем друг другу в глаза, а большинство из нас, кроме нескольких заядлых фана-

* Все безразлично (и е м.).

тиков, думают лишь о том, как бы спасти свою шкуру. Потому что только безумец не признает, что дважды два — четыре. — Он стиснул зубы и, опустив голову, помолчал немного. — В прошлом году я встречал Новый год в «Лилипуте». Тогда фронт был где-то еще под Житомиром, а вторжение на Западе казалось утопией. Шикарное заведение! Нынче там будут кутить еще безобразней, но ручаюсь — настроение будет куда хуже. Как перед страшным судом. Ах, да пропади они пропадом — только без меня. А фюрер пусть поцелует меня в одно место!

Он постарался переменить настроение, выжал легкомысленную улыбку и заставил Бланку пригубить вино.

Насмешливо проиграл и смолк кларнет — стал слышен сильный голос Вуди. Сутулый, обезьяноподобный, он сердито махал своими толстыми руками и брызгал слюной.

— Невежда ты, Боб, хоть и играешь на кларнете, — каркал он. — Рей Нэкс никогда не выступал с Бэсси. Бахвалишься, а сам ни черта не знаешь!

Кларнетист зевал, не слушал его.

— Отстань от него, Вуди, — с необычайной смелостью утихомиривал разошедшегося брата красавчик Либор. — Гостям скучно слушать. Канун Нового года, надо проводить уходящий. За весь год нам удалось не ударить палец о палец, выпьем же за то, чтобы так было и в наступающем! За здоровье папочки и его сыновей! — Он опрокинул стопку водки и заржал, как лошадь. — Ох, Фан, если твой фатер гонит такую гадость, то кончит он как коллаборационист. Что это настроение у нас, как на поминках, господи? Вуди, грохни там какую-нибудь танцевальную музыку. Кай, прошвырнемся, пошли!

— Примитив! — усмехнулся Вуди, кивнув Гонзе, который с равнодушным видом сидел у радиолы; сейчас он ставил на проигрыватель пластинку со свингом. — Братец у меня осел... А я хотел было пустить «Диппермаус блюз», — добавил он с досадой, когда ритмично загрохотал свинг.

Либор уже танцевал со своей девушкой, немисливо утрируя стиль танца.

— Удивляюсь, Кай, как ты его терпишь.

— Спокойно, Берилы! Моральная икота. Когда все кончится, я дам ему отставку и начну новую жизнь. Он все еще не верит в это.

Либор улыбнулся, как фавн.

— Еще будешь радоваться, дурында. Только твоему папашке придется раскошелиться, если он хочет меня прокормить. Так ему и скажи. Я — удовольствие дорогое. Подумаешь, полицейский чиновник.

Свинг кончился, и Боб, удобно развалясь на диване, повторил на кларнете ведущую мелодию, обогатив ее собственной импровизацией; к нему нерешительно присоединились гитара и барабан со щетками, несколько человек захлопало в такт, но настроение не поднялось.

— А это вы слышали? Я записал по радио: Гленн Миллер — последняя новинка!

— А что с Эвженом? — спросил кто-то. Видимо, в компании ощущалось отсутствие этого болтуна.

Теоретик и восторженный историограф потешных выходов и розыгрышей, он поплатился за сумасбродное пари, на которое его подбили, и сделался мучеником. Кое-кто из присутствующих был свидетелем этой выходки, которую он, правда, долго откладывал; он задумал пойти на Вацлавке к немецкому офицеру, идущему под руку со шлюхой, и, не дав ему опомниться, поцеловать его в щеку и пожелать ему и супруге веселой и счастливой пасхи. Операция окончилась конфузом: наблюдатели узрели только ее первый акт, завершившийся звучной оплеухой. Продолжение состоялось в чешской полиции, а потом в уголовном суде, поскольку оскорбленным оказался представитель высшей расы, да еще с фронтовым отличием.

— Жаль Эвжена, — мелодраматично вздыхал Либор, — его труды останутся неоконченными. Предлагаю почтить его память рюмочкой этой фановской отравы.

— Я говорил с его сестренкой, — вставил ударник. — Ему влили три месяца Градиштского лагеря. Не страшно, переживет, там только чешская полиция. От пинков в зад не помирают.

— Зато его здорово вздули на допросах. Немчура шуток не понимает, это всем известно. Страшно серьезный народ.

— Ну и что ж, зато вернется героем. Представляю себе, как он будет трепаться.

— Все равно придется ему ограничиться теорией, для практики у него слабы нервы. Это вам не Борек. Слышали, как Борек выдал себя за контролера в трамвае? Несколько почтенных дядюшек чуть кондрашка не хватил.

Смех, хихиканье девушек, болтовня. Гонза в своем уголке почти не слушал, и было на душе у него облегчающее чувство, что все это временно, — чувство на мотив блюза. «Мы будем снова вместе спать, и на свирели трав нам проиграют ветры...» Зачем ты здесь? Тебе здесь не место. Стройная тень на мосту, тень... А где твое место? Здесь хоть шумно. Ничто уже не жгло, острая боль сменилась тупым, почти приятным оцепенением — ощущение пустоты, которое приходит после кризиса. Я весь сплошная печаль, подумал он. Душа моя подобна земле, опустошенной бурей, — все мертво. И словно выворочен наизнанку. Снова вспоминается лето, в небе машет крыльями какая-то птица, время от времени победоносно прогудит пригородный поезд, где-то стругают рубанком дно перевернутой лодки... Забыть! И поскорей! Ведь теперь уже все равно. Эти люди вокруг — они даже не злы, не испорченны; весь их цинизм — дырявый плащ. Вздор! Господи, сколько во мне было когда-то вопросов, заносчивости, светлой веры, что можно что-то постичь, ощутить, додуматься. А теперь? Где-то она сейчас? До Нового года полтора часа, а потом?

Немцы проиграли войну — без моего участия. Придут русские или американцы, а я к этому не буду иметь никакого отношения, люди будут умирать, ликовать, наступит мир, и все изменится до неузнаваемости... Унесет тебя ветром. Где сейчас она? Как обойти этот гибельный

камень в себе? Что за бешеный слалом! Гонза прикрыл глаза и опрокинул в себя рюмку скверного ликера. Да здравствует Новый; 1945 год, с которого только и начнется жизни! Да здравствует первый год после потопа! Слава богу, все уже сильно под хмельком, начинается разгул. Гонза даже обрадовался, когда к нему подседа одна из девушек — ее называли Мод, — с улыбкой на дерзкой мордашке.

— О чем задумался, философ?

Гонза понял, что он слывет тут интересным чудачком, и не стал оспаривать такой репутации, она показалась ему достаточно лестной.

— О комплексе неполноценности у павианов с собачьими головами, — сказал он мрачно.

— Уважаемые млекопитающие! — воскликнул Либор, пытаясь перекричать галдеж: он собрался произнести речь.

— Да здравствуем мы, ребята!.. — Бацилла икнул и выпил еще одну рюмку, залил себе подбородок, передернулся; глаза его, казалось, сейчас вылезут из орбит. — Следующий Новый год мы будем встречать не так! Вот этот будет носиться на самолете и пересчитывать созвездия, — не разокрали ли их за войну. А Милан дождется своей революции, факт! Милан, приходи, забирай наш дом, и-ик! Обещай, если ты мне хоть капельку друг, что сам его заберешь...

— Заткнись, толстозадый! — отозвался Милан и угрожающе нахмурился. — Смейся лучше над своим брюхом!

— Нет, ты обещай! — плаксиво повторил Бацилла и рыгнул. — И знай... я сам буду ждать тебя у ворот... с красным флагом. Я тебе докажу...

— Ребята, — Милан привстал, — дайте я ему влеплю разок.

— Оставь его. — с обычным миролюбием сказал Войта. — Видишь ведь, что нализался. Опять начнет скулить, что никто на свете его не любит.

Исполненный ненависти к родному классу, Бацилла хлопнул кулаком по столу, так что рюмки зазвенели.

— Долой буржуев! — завопил он. — «Пусть сгинет старый подлый мир!» Ребята!

— Да не ори ты! — Павел, слегка усмехнувшись, усадил его на стул. — Придет время, тогда и докажешь, не зря ли болтал. Не дай бог, услышит тебя здешний домовладелец — всю ночь ведь не уснет. Снажи лучше, что ты-то будешь делать после войны?

Бацилла недоуменно захлопал глазами.

— Не знаю... Наверно, придется зубрить дурацкие статьи законов... Папаша так хочет, а для меня это каторга... Все равно меня никто на свете не любит!

— Началось! — деловито констатировал Войта. — Теперь он совсем разнюнится.

Милан нагнулся, прищурил глаза.

— Если, конечно, к тому времени тебя не будут глотать черви!

Толстяк с минуту непонимающе глядел на него, потом испуганно отмахнулся:

— Ну чего ты болтаешь! — Он был суеверен и боялся таких разговоров. Протрезвев немного, он попытался спорить с Миланом. — Чего болтаешь! Должен же кто-нибудь уцелеть!

— Да, но почему обязательно ты? Поскольку тебя никто не любит...

— А я не хочу помирать! — совсем потерявшись, признался Бацилла. — Мне очень не хочется, братцы. Я ведь еще так мало радости видел в жизни...

Милан похлопал его по мягкому животу.

— М-да, обидно, наверно, загнуться тухлым девственником!

— А вот и попал пальцем в небо! — вскинулся Бацилла, да осекся. Потом шлепнул ладонью по столу. — Нет, правда, если хочешь знать...

Однако ребята, воздержавшись от язвительных замечаний, обошли молчанием его бахвальство: они не сомневались, что Бацилла врет спьяну. Павел взял гитару, но запыленный инструмент оказался безнадежно расстроенным, да и репертуар Павла был ужасающе скуден. Все взбунтовались:

— Твоего «Яношика» и «Долог путь на Запад» невозможно больше слушать, давай что-нибудь новое. Павел!

— Ладно. — Павел, не обижаясь, повесил гитару на гвоздь и настроил приемник на Прагу.

«Du hast Glück bei den Frauen, bei ami» *, — щебетал с продуманной чувственностью женский голос в декабрьской ночи.

Бланка тоже слушала эту песню, сладко и тихо лилась она из дорогого радиоприемника в оранжевом полумраке бывшей еврейской квартиры. Голова кружится, не надо больше пить! Мне теперь лучше. «So viel Glück, wie du hast...» ** Бланка не шевелилась, ей казалось, что она маленькая девочка, которая притворяется мертвой. Ну и что ж? Мне уже лучше. Она отметила, что он прикрыл ее мягким пледом. Он знает: после этого она не выносит, чтоб посторонний взгляд касался ее беспомощной наготы, и всегда деликатен. То, чем полно ее тело, скорее отзвук, ощущение отлива в кончиках нервов, это не я, это только мое тело, оно не спрашивает, что правильно, и живет по-своему, эгоистично, подчиняясь собственным законам, вне меня, в недопустимой, низменной, предательской радости насыщения. За это я его ненавижу... So viel Glück... Она чувствовала тепло его руки. Зденек жив! Важно только это.

— Можно мне знать, о чем ты думаешь? Не обязательно говорить правду.

Она очнулась, с испугом упала в действительность.

— Да так, — сказала она. — Пожалуй, о том, что мне хотелось бы иметь меч.

Это она! Войта узнал ее, а знакомый звук ее походки причинил

* Ты пользуешься успехом у женщин, милый друг! (н е м.).

** Так много счастья, как у тебя... (н е м.).

ему глупую боль. Он прижался к стволу каштана, чтобы она не заметила его, он задыхался от стыда; гляди, вот твоя Алена! Зачем ты сюда приплелся? Ведь ты же твердо знал, что тебе будет тяжело, потому что ты не вытряхнул ее из себя! И если бы она сейчас остановилась и позвала тебя, затрусил бы за ней, как побитая собачонка, которая кланчит, чтобы ее почесали за ухом. Так-то!

Алена шла по той стороне улицы, под стынущими деревьями, ее светлые волосы рассыпались по плечам, она не улыбалась и была так равнодушно-рассеянна — от этого кольнуло в сердце, потом она исчезла за углом круто спускавшейся улицы, столь же непостижимо, как появилась у ворот дома...

Куда она идет? К нему? Войта простуженно потянул носом и переступил с ноги на ногу.

Как им сказать? Я не могу иначе, ребята, не сердитесь! И даже не умею объяснить вам почему. Мне только не хочется, чтобы вы подумали, что я удрал, это не так, мне было хорошо с вами...

Он не удивился и даже усмехнулся, нашел под пледом ее безвольную руку и поцеловал; в ее желании он, несомненно, увидел одно из тех сумасбродств, которые умел ценить.

— Меч? Придется выкрасть из музея. Но зачем тебе меч? Если ты, подобно твоему братцу, хочешь лишиться меня головы, то не трудись: это скоро попытаются сделать другие.

Не отрывая взгляда от потолка, Бланка покачала головой.

— Нет, нет. Если бы тебе грозило это, я сказала бы им все, что знаю о тебе. Что ты для меня сделал. Хотя бы справедливости ради.

— Трогательно, — сказал он и отпустил ее руку. — Но я на справедливость не рассчитываю. И не могу рассчитывать. Что такое справедливость? Предрассудок!

— Было бы ужасно, если бы ты был прав! — спокойно возразила она.

— Почему же? Справедливость — эффектная маска, которую надевает минутный победитель. История отнюдь не состоит из таких идеальных понятий для школьных учителей. Справедливость! Будь у нас больше танков и самолетов или то тайное оружие, которым утешают себя многие из нас, — короче говоря, не окажись мы под конем, мы бы спокойно обошлись без справедливости. Все это выдумки и пустая болтовня. Пусть это гнусно, но и действительность тоже гнусна. Загляни за фасады истории, и ты убедишься, что под всеми этими благородными побасенками справедливости нет ни на йоту. Зато ты увидишь там другое — кровь, насилие, подлость...

— На что же ты рассчитываешь... когда...

— Договаривай, не смущайся! Когда мы проиграем войну?.. — Он встал, сунул руки в рукава халата и немного помолчал. Огонек зажигалки мгновение боролся с уютной темнотой. — А на авось. В основном на самого себя: у меня неплохие нервы, а главное — нет иллюзий. Уж как-нибудь пробьюсь. — Он погасил сигарету. — Чепуха! Не хочешь выпить? Ладно, выпьем в полночь. — Он слегка улыбнул-

ся, как человек, который собирается рассказать что-то смешное. — Я, знаешь ли, немного полагаюсь на пресловутую голубиную кротость вашего народа. Мы, немцы, натворили тут много глупостей, настроили против себя большинство населения. И напрасно. Перестарались по дурачости, и сейчас этого уже не исправишь. Таковы уж мы, немцы. Англичане умеют действовать иначе; они не так тупоголовы. Все можно было сделать иначе: упрятать за решетку горстку горячих голов — таких, как твой братец, — и коммунистов, остальные смирились бы. Думаешь, нет? Головой ручаюсь! Смирились бы даже и теперь, будь на фронтах иная обстановка, да не знай они, что мы уже катимся под гору. Человеку не свойственно долго упрямяться, жизнь для этого слишком коротка. Он смиряется. А чешский народец особенно, на этот счет у меня нет иллюзий, я знаю чехов как облупленных. Ведь я родился в Судетах и до десяти лет рос среди чешских мальчишек. Вот почему я довольно сносно говорю по-чешски. Мы с ними дрались, но мне приятно это вспоминать. — Он согрел в руке лузатую рюмку, алкоголь не пьянил его, а лишь придавал его речи взволнованность, столь редкую в этом человеке. — Я даже помню одну чешскую песенку, вероятно, она относилась к игре: «Золотые ворота, — проходите в них, друзья. тот, кто в них сейчас пройдет, сразу мертвым упадет...» Так, кажется? Ужасный мотив, не правда ли? «Золотые ворота, — проходите в них, друзья...» Что ж, ничего не остается, как пройти! Я совсем не считаю себя исчадием ада, в конце концов я делал здесь только то, что еще недавно, как представитель другого народа, считал правильным и нужным. В рамках той, другой — скажем, нашей — справедливости я был вполне справедлив, уверяю тебя. Но едва ли я стану когда-нибудь ссылаться на это, чтобы защитить себя. Война! «Золотые ворота...» А потом вывесят флаги, начнутся ликования и песни, гнев будет излит на портреты вожаков и на немецкие надписи — долой их! Люди поверят, что справедливость — та, единственная и окончательная! — восторжествовала, а чешский лев снова забренчит оковами.

— А если будет не так? — перебила она его с оттенком ненависти в голосе.

Но он не заметил этого оттенка и только пожал плечами.

— Может, и не так. Я жду. В каждом кинотеатре есть запасной выход, ведь правда? — Он одним духом осушил рюмку и, засунув руки в карманы, уставился в полутьму, словно пытаясь разглядеть в ней будущее. Потом встряхнулся, выключил радио, подошел к Бланке и ласково коснулся ее волос. — А ты?

— Что я? Не знаю. Но что бы ни случилось, я буду благодарна тебе.

Он с недовольным видом приложил палец к ее губам.

— Не нравится мне это слово. А кроме того, ты лжешь самой себе! — Поймав ее недоуменный взгляд, он взял ее за подбородок и нежно, но настойчиво повернул к себе ее лицо. Бланке было нелегко выдержать его пристальный взгляд. — Лжешь ты уже в том, что пытаешься свести к благодарности все, что есть между нами. Будь ты

искренна, ты бы призналась себе, что, несмотря на всю нелепость нашего положения, нам с тобой хорошо. Я довольно опытен в этих делах, но еще не знал такой женщины, как ты. Иди пойми, что в тебе такое. Ты и пылкая и чистая, ты упряма как осел, — не сердись! — и тело твоё создано для наслаждения... и не только для наслаждения партнера! Ты и сама познала со мной наслаждение. От этого ты не отопрешься. Не отводи глаз, все равно ничего не скроешь. Вообще я не понимаю, почему ты так яростно отказываешься это признать, почему запрещаешь себе это. Ни разу ты не отдалась мне добровольно, я ведь знаю. Почему? Потому, что я враг? Глупости, здесь я тебе не враг, здесь я только мужчина, который хочет тебя... а ты его! Это не преступление и не измена идеалам, это благо, потому что это естественно... И я не понимаю, что ты от меня прячешь? Не качай головой, это так. К сожалению...

Нет, нет, это неправда! — кричало все её существо. — Этого не может быть, он лжет, лжет, потому что сам ничего не чувствует, не может, потому что он опустошен, мертв, он враг, что бы он ни говорил!

Она высвободилась из его объятий и подтянула плед к подбородку. Бежаты! Куда угодно. Хотя бы в самое себя, в свою раковину, как улитка, и не пускать его туда! От его слов в ней пробудилась странная, вполне отчетливая дурнота и стыд за свою наготу, хотя она и была прикрыта пледом, и это чувство стало нестерпимым.

От него не укрылась эта перемена, но он безупречно владел собой. Он тотчас же отошел к радиоприемнику, включил его, и музыка — приторная и липкая, как сироп, — вновь разлилась в полутьме.

— Я хочу одеться.

— Пожалуйста.

Он произнес это уже с холодной корректностью и не оборачивался, пока не убедился, что она вполне одета и сидит в своем кресле. Тогда он открыл и протянул ей коробку конфет, но не настаивал, чтобы она взяла, а только пристально смотрел на нее, и губы его слегка шевельнулись в знакомой усмешке спокойного превосходства, которое всегда помогало ему оставаться хозяином положения. Но в голосе его был оттенок разочарования.

— Ты, конечно, не согласна со мной. Я не настаиваю. Ты недопустимо молода и видишь лишь внешнюю оболочку вещей. Они для тебя как эти конфеты — в станиоловой обертке. Ладно. Во всяком случае, не уверяй себя, что между нами стоит этот твой юноша с завода. Я мог тогда раздавить его, как букашку. Ему есть за что тебя благодарить.

Он замолк на полуслове, увидев ее глаза: в них было изумление, испуг и отчаянный протест, ногтями она вцепилась в ручки кресла.

— Молчите, я не хотела бы вас ненавидеть! Вы же обещали никогда не напоминать мне об этом...

Бланка почти не владела собой, глаза ее нестерпимо жгли слезы, она решительно встала...

...Уважаемые радиослушатели, до Нового года остается всего четверть часа! — возгласил диктор под звуки трубы, Милан нетвердой рукой поставил стакан на залитый вином стол, откашлялся и нащупал под стулом свой портфель. Жаль, — думал Павел, глядя, как Милан с шутливой торжественностью извлекает из портфеля новогодние подарки для каждого из них, — нам будет не хватать тебя, псих!

Коробочка из-под цикория, которую Павел открыл ногтем, была наполнена окурками.

— Нелегкая работенка собрать их, — пожаловался Милан. — Нынче каждый скорее обожжет себе губу, чем бросит хороший окурочок. А ты, Павел, выглядишь как больной пес, когда тебе нечего курить.

Войта получил складной карманный нож со штопором и отверткой — одной накладной боковинки на нем не хватало, зато на другой Милан собственноручно выгравировал серп и молот.

Подарок для Бациллы Милан стащил в букинистической лавке; без ехидства он преподнес сыну враждебного класса потрепанную брошюрку — на обложке был изображен мускулистый красавец с осиной талией; брошюрка была озаглавлена: «Как избавиться от полноты и приобрести атлетическую фигуру. Метод доктора Кодыма».

Все захохотали и снова чокнулись.

— Бацилла, за твою талию! С такой фигурой ты покоришь любую!

Однако Бацилла уже был не способен принять подарок и вообще ничего не соображал: он был мертвецки пьян и лежал на диване, скрестив руки на мягком животике.

Милан наклонился над ним и поморщился.

— Ш-ш-ш, ребята! Он что-то бормочет, слышите? Какое-то женское имя. Видно, его девственность все не дает ему покоя. — Он хлопнул спящего брошюрой по носу и потряс его. — Проснись, ишь нализался!

Но Бацилла только перевалился на бок и продолжал вздыхать. Приятели трясли его, пока он не очнулся и не опустил на пол коротенькие ножки. Редкие волосы слиплись на его бледном лбу, мутные глаза тупо смотрели в одну точку. Войта ослабил узел галстука, который врезался Бацилле в шею.

— Не трогайте меня, ребята, — жалобно сказал Бацилла. — Мне так грустно на свете... Никто меня не... Дайте выпить!

— Спокойно, после полуночи успеешь наблеваться.

— Лучше расскажи нам о своей бабе. Кто такая эта твоя Кора?

Произнесенное вслух имя проникло в самые глубины сознания толстяка, он вздрогнул, замотал головой, как медведь, и облизал пересохшие губы.

— Не скажу, хоть убейте!

— Ладно, не форси, выкладывай, пузатик. У тебя есть баба?

— Есть, — уныло всхлипнул Бацилла.

— Вы слышите? — сказал Милан. — Опять заливает, пустобрех.

— Погоди, дай ему сказать. У тебя с ней было дело?

— Было, ребята... но вы все равно не поверите... Она самая красивая и лучшая в мире... безумно страстная, и я ее страшно люблю... пойду за ней... хоть на край света... потому что она единственная, кто

меня любит... — Он икнул, лицо его прояснилось при воспоминании. — Там у них такие бархатные стулья...

Испугавшись, что проболтался, Бацилла замаха­ л своими короткими ручонками.

— Не смотрите на меня, как баран на новые ворота, я не виноват, что мною никакая другая не интересуется... потому что у меня брюхо, и я потею, и не умею разговаривать с женщинами... А ведь я почти ничего не жру, стараюсь похудеть, к мучному даже не притрагиваюсь, сплю на ковре, как наш Джерик... Сколько же можно оставаться одному и только глядеть, как другие ходят с женщинами?!

— Ну ладно, — согласился Павел. — Хватит об этом. Нам-то какое дело. Выпей еще, если хочешь.

— Осел! Женщины вообще не самое главное на свете, — с отвращением сказал Милан, нагнулся за упавшей брошюрой и сунул ее обратно в портфель. Плаксивость Бациллы грозила испортить новогоднее настроение, поэтому все поскорей снова взялись за рюмки. Павел вертел ручки умолкшего радио, а Войта внимательно рассматривал нож. Потом он поднял глаза — лицо у него было странно-напряженное. Он сунул нож в карман и глубоко вздохнул.

— Ребята, — выдавил он из себя. — Мне тоже нужно вам кое-что сказать.

Блюз — это был его блюз, его голубая флуоресцирующая надежда — словно обволакивал Гонзу прозрачной тканью, проникал в него вместе со звуками кларнета. Гонза плыл в потоке этой мелодии, не замечая шума и гомона вокруг. Мелодия надломилась и потекла куда-то вниз, завершившись усталыми всхлипами... Шум вечеринки снова ворвался в приглушенное сознание. Тонкие пальцы с несносной покорностью меняют пластинки на диске.

Гонза наклонился к Вуди.

— Вуди, что ты будешь делать, когда все полетит к черту?

Обезьяний лобик сморщился в удивлении.

— А разве обязательно надо что-то делать? Меня ничто не интересует. Я хочу только слушать джаз. Но в одиночестве, а не в компании горластых павианов и их самок. Я люблю джаз.

— Почему же ты не выучился играть сам, хотя бы как...

— К чему? Пусть играют другие. Я хочу только слушать. У меня не хватит терпения чему-нибудь выучиться. Я провалился еще в четвертом классе, и дальше меня нельзя было никак пропихнуть. В школе меня освободили от спорта. Хорошо, если бы освободили вообще от всего.

— Разве ты не хочешь, чтобы все кончилось?

Непонимание Вуди было явно непритворным.

— Мне все равно, я ни во что не вмешиваюсь. Пожалуй, даже не хочу, потому что не люблю перемен. Я хочу только слушать джаз. А больше я ничего не хочу. Я немного боюсь, как бы мы потом не пожалели. Видишь ли, быть вынужденным ничего не делать — это тоже недурно.

— Осел ты, Вуди, — беззлобно сказал Гонза.

— Может быть, — согласился тот. — Это будет видно. Ты, наверно, еще вспомнишь наш разговор. Пока живы родители, я ни о чем не беспокоюсь... В один прекрасный день я запрешь тут и никого не пущу. Слава богу, пластинок у меня хватает. Уникальные. Слышал ты «Hesitating blues»? Знаешь что, приходи послушать на днях. Сейчас эти обезьяны хотят вертеть задами, а не слушать джаз. А ты?

— Не знаю. Я не знаю, что мне с собой делать. У меня нет отца, и я не такой, как ты. Но джаз я тоже люблю. Сейчас я уйду, мне здесь противно. Поставь-ка ту пластинку.

Из репродуктора грянуло соло на барабанах. Гонза встал, пробрался среди танцующих пар в переднюю и вышел, распугав на лестнице кошек.

Вставая с кресла, Бланка уже знала, что сейчас будет. По крайней мере до ближайшего антракта. Всегда ей казалось, что она исполняет роль в спектакле, финал которого хорошо знает, но все же роль надо доиграть до конца, со всеми паузами, до самого последнего слова. Что же будет дальше? Партнер помог ей, она чувствовала его понукающий взгляд, и сама, без подсказки, вспомнила очередную реплику.

— Я хочу домой, — она произнесла это медленно и вяло.

— Я тебя не удерживаю. Ключ у тебя.

— Чер-рт побер-ри, по этому случаю надо дернуть, — сказал Милан, и всем показалось, что его «р» прозвучало уж очень раскатисто. — Чер-р-рт побер-ри!

Никто не пошевелился, все тупо уставились на огонек, радио тихонько бормотало. О чем тут говорить? Ругать? Упрекать? Нет, принять к сведению, и все тут. Ведь Войта не трус, он не смывается от страха. Было ясно: «Орфей» распался, так и не успев совершить что-нибудь великое.

Павел сплел худые пальцы, выгнул ладони и оглянулся на диван, где сопел Бацилла. Остаются двое, я и этот кусок мяса. Это конец. Конец «Орфея».

— Ну, так что? — сказал он в понурой тишине, преодолев перое удивление.

Сейчас они разойдутся, и его поиски начнутся сначала. Потому что «Орфей» уже мертв. Правда ли это? Да и чем, собственно, был «Орфей»? Пятеро юношей с голыми руками, неопытных и не искушенных в борьбе, пятеро непохожих друг на друга и не очень-то ладивших героев с деревянными сабельками, которых те не потрудились даже тщательно выловить, не стоят того. Шляпы. Да, может быть. И все-таки хорошо, что был «Орфей»! Хорошо! Потому что он был важен для них еще чем-то другим, что трудно определить. Вот, например, месть за Пишкота и мучительная тяга к чему-то, без чего каждому из них было бы страшно жить на свете. Да, это им давал «Орфей». Решимость не смириться, не быть тотально мобилизованным бараном. И это давал «Орфей»! Спротивление, смелый вдох в атмосфере, зараженной всеобщей робостью. И это тоже! У них будет право глядеть потом людям

в глаза. Да, и это! А кроме того, у каждого были свои чисто личные мотивы. У меня, у Милана, у Бациллы. Надо будет сохранить в себе все это. И в будущем. Навсегда. Сказать им об этом? А как? Слова, которые приходили на ум, казались Павлу ходульными, тошнотворно патетическими. Он стиснул зубы.

— Долей, Милан, через пять минут пробьет! Бацилла, в строй!

...Все это игра, только игра, и когда-нибудь она кончится! Бланка чувствовала волнующее прикосновение его рук, выдержки, девочка, доведи роль до конца! Она не выпускала из пальцев приятно шершавую ткань портьеры, он уговаривал ее тихим голосом, но она не слышала слов. «Будь разумна», «образумься». Знаю, знаю, я разумна, я должна быть разумной! Бланка вздрогнула, шевельнулась, почувствовав, что он вешает ей на шею что-то холодное и неумело запирает сзади застежку — новогодний подарок, кажется, ожерелье. Где он его взял? У нее побежали мурашки по спине: может, оно принадлежало одной из тех женщин-евреек, которые... Но у Бланки уже не было сил противиться. Что с того, ведь Зденек-то жив! Сколько раз она будет вот так бессмысленно бунтовать? А что, если однажды она найдет в себе силы бесповоротно уйти? Что тогда? Нет, молчи, странная ты жертва, стыдись, он видит тебя насквозь — вот он ведет тебя, послушную и кроткую, обратно, к еще теплому креслу, а ты идешь и знаешь, что будешь опять пить, и спать с ним, и содрогаться, и сгорать от стыда за наслаждение, поработавшее тебя, так будет и дальше, до тех пор, пока не опустится занавес над последним актом недописанной пьесы. Чем же она все-таки кончится? Кто будет сидеть в зрительном зале? Кто будет ждать у театрального подъезда?

Кресло под торшером. Бланка уселась, поджав ноги, и угасшим взором смотрела, как узкая рука с халцедоном в кольце аккуратно наливают бокалы для новогоднего тоста.

Павел нагнулся, минутку пошарил в пружинах калески дивана и, выпрямившись, положил на стол среди наполненных рюмок тяжелый сверток в промасленной тряпке. Он развернул его, и блестящие грани револьвера слабо блеснули в свете лампы. Все глядели на револьвер как зачарованные, и стыд сжимал им сердца.

Пишкот! Он был здесь. Он был сейчас с ними, неопределенно ухмылялся разбитым ртом и даже закукарекал.

— Что с этим делать? — спросил Павел. — Кто это возьмет?

Никто не шевельнулся, никто не отважился протянуть руку. Стук часов за стеной ужасающе усилился, и, прежде чем кто-нибудь успел сказать слово, прозвучал торжественный бой; бам-м, бам-м, — один, два, три... Все, как по команде, подняли рюмки и молча влили в себя зеленоватый напиток. Бацилла повалился на диван. Павел встряхнулся и стал заворачивать револьвер в тряпку. Потом он оглядел товарищей, и в глазах у него блеснул странный огонек.

— Ладно, ребята, — сказал он. — Я возьму его себе.

Улицы, улицы, пьяные возгласы, и дождь, и потемки. Гонза упрямо шел вперед. Пронизанные ветром просторы над рекой раскрывались перед ним. Он остановился на мосту и нащупал каменные перила. Они были сырые, от них зябли руки. Вот он, суровый, реальный мир, держись за него! Гонза перегнулся через перила, чтобы охладить лицо. В этот момент в ночи забили башенные часы. Их металлический звон многоголосо разнесся над железными крышами, рассекая тьму. Семь, восемь, девять, десять...

...одиннадцать — бам-м-м... — раздалось в полутьме из дорогого радиоприемника. Потом какие-то слова, треск, поток болтовни, гимн и, наконец, *Die Fahne hoch!* Кто-то ликует, и кто-то сетует, кто-то верит, надеется и дрожит от страха... Новый, тысяча девятьсот сорок пятый год! Год первый!.. Напротив Бланки в табачном дыму через стекло бокала видно измененное лицо, Бланка пытается улыбнуться, бокалы звенят друг о друга, предательское тепло разливается по телу и затемняет сознание... Потом ей уже все равно, и она не противится, когда ее обнимают мужские руки и кладут на подушку; она чувствует на губах его губы и только закрывает глаза, чтобы забыться. Занавес! В памяти возникает строчка из стихотворения: «Свершись, судьба!»

IX

Ущипни, ну, ущипни же себя за руку и убедись, что ты не в переполненном автобусе, что это такая же правда, как и то, что у тебя под двумя фланелевыми рубашками, под тремя старенькими свитерами и пальто, доставшимся от покойного архитектора, неистово колотится сердце, что с каждым его ударом ты все больше перестаешь быть земным муравьем, влекущим бремя безнадежности и печали, переведи дух — все это так! У твоих ног совершенно реальный руль высоты, мотор ревет по-настоящему, он сотрясает и оглушает тебя, ты действительно в воздухе, а земля за крышей из плексигласа проваливается и падает в невероятную глубину, исчезает в дымке испарений...

На мгновение Войта закрыл глаза. Вот и готово дело! Он снова открыл их.

Да, это не сон!

Когда он еще не сидел здесь, привязанный к сиденью и превращенный небесным простором в неподвижный тюк, все казалось необычайно легким, быстрота действий не оставляла времени для опасений, существовала только машина, хорошо смазанная, безупречно работающая машина. Почувствовав острое давление на барабанные перепонки, Войта раскрыл рот и сделал глотательное движение, как его учил Коцек. Еще раз... А какое сегодня число? Надо запомнить его на всю жизнь, если, конечно... Двадцать шестое января, он хорошо это помнит, потому что утром, еще ничего не подозревая, сорвал листок настенного календаря. Ничего не подозревая? А может быть, подозревая, — ведь все было уже подготовлено. В ангаре никто не заметил, что они потихоньку при-

носят в портфелях свитера и рубашки и их шкафчики уже битком набиты одеждой. Разумеется, они и словом не обмолвились на заводе о своем плане, но Войта знал, что Коцек неутомимо обдумывает, уточняет и отшлифовывает все детали этого фантастического замысла, что он каждую минуту начеку и только ждет подходящего момента, который они назвали «Час Икс». Пароль — «Час Икс». Знал Войта и то, что сегодня один из тех исключительных дней, когда двенадцать новых машин готовы к отправке, что в ангаре и на аэродроме толкуются немецкие летчики и улетят они на этих машинах после полудня. Он заметил и то, что вчера Коцек уделил особое внимание одной из машин — той, что стояла в самом дальнем конце аэродрома, не меньше чем в двухстах метрах от ангара. Он долго проверял управление, потом, соскочив на землю, незаметно провел рукой по фюзеляжу.

Коцек знал все подробности предстоящей операции и ее неизбежный риск. Надо полагаться на то, что налет американцев будет, как обычно, около полудня. Но нам американцы не опасны — они летят на большой высоте и у них свои задачи. Хуже с пикировщиками. Будем надеяться, что ни один из этих чертей не набросится на нас и не собьет нашу машину. Надо держаться пониже и под прикрытием облаков. На всякий случай Коцек и Войта, справляясь в словаре, изготовили две широкие бумажные ленты, на которых было крупно написано по-английски: «We are not Germans. Do not Shoot!» * Коцек вручил их Войте — в случае необходимости тот попытается привлечь внимание атакующего пикировщика к этим надписям. Надо все предусмотреть. Зениток можно не бояться — на крыльях германские опознавательные знаки. Остается погода. Ночью прихватил мороз, сковал вчерашнюю слякоть, утром была метель и покрыла все белой пеленой, а часов в десять солнце пробилось сквозь облака и ослепительно осветило снежный покров. Войта знал все это и все же, когда после обеденного гудка Коцек прошептал ему на ухо пароль, он почувствовал слабость в коленях, и у него засосало под ложечкой. Потом в течение утра он три раза бегал в уборную — темную каморку, пропахшую аммиаком. Но в тот момент напряжением воли он овладел собой и лишь невозмутимо кивнул.

Игре приходит конец! Войте казалось, что минуты превращаются в годы, а сам он пребывает в каком-то невероятном сне. Встряхнись, трусишка! И, только начав действовать, Войта сумел стряхнуть с себя подавленность, которая сковывала каждое его движение. А что, если... все-таки это безумие!

Незаметно и порознь они вынесли из раздевалки свои свертки и кружным путем, вдоль колючей ограды, мимо обломков разбомбленных самолетов, пробралась на аэродром. В нескольких десятках метров от их машины была небольшая яма. Там они оставили свои вещи. Все в порядке! Моторы ревели на полных оборотах.

— Класс! — одобрил Коцек, улыбнувшись углом рта. — Прогрессируют и наш, на это я тоже рассчитывал. Наяривайте, дурачье!

Около полудня они уже снова были у ямы и притаились там, не об-

* Мы не немцы! Не стреляйте! (а н г л.).

рашая внимания на мороз, который изрядно щипал лицо. Рев моторов сотрясал воздух. Войта заметил, что Коцек с необычным для него нетерпением поглядывает на часы.

Нет! Они обменялись взглядами. Все еще нет...

И вдруг без двух минут двенадцать со всех сторон истерически завыли сирены: приготовиться, непосредственная опасность! В их вой потонул рев моторов. Осторожно выглянув, Войта увидел, что персонал аэродрома и летчики бегут в убежища за ангарами.

— Давай, давай, — бормотал он сквозь зубы, — смывайтесь!

Их машина опустела, она казалась Войте полным нетерпеливого ожидания живым существом, таким здоровым и красивым в лучах полуденного солнца, таким восхитительно сильным и зовущим!

Войта опомнился от сильного толчка в бок.

Одеваться и бежать. Держись!

Вот оно, это головокружительное «пора»! Войта не помнит, что происходило в первые минуты — он был словно в полубеспамятстве. В вой сирен ворвался грохот мотора, резкий толчок прижал Войту к спинке сиденья, машина затряслась, мотор ревел все оглушительнее, нестерпимо, остервенело. Надо пристегнуться! Войта уже знал, как это делается. Быстро! Где пряжка? Спокойно!

Когда самолет уже мчался по взлетной дорожке, словно взбесившийся тур, Войта заметил, как от ангара, смешно размахивая руками, бежали фигурки с автоматами, но тут же они исчезли, а у него с перепугу глаза полезли на лоб, потому что ограда из колючей проволоки, отделявшая завод от аэродрома, понеслась на них со скоростью, от которой захватывало дыхание, — вот-вот мы врежемся в нее! Войта закрыл глаза. Но нет, ничего не произошло, наоборот, он ощутил неведомое, изумительное ощущение взлета — уменьшение веса и сразу же утяжеление... И вот уже слышен уверенный гул. Войта приоткрыл глаза. Под правым крылом косо мелькнули серые крыши цехов, квадраты дворов и обсаженное тополями шоссе — еще сегодня утром он проходил там! — заводские трубы, маневровый локомотив, деревянный переходный мост над железнодорожной веткой... Все это было какое-то зыбкое, мир под ногами Войты покачивался; потом все кончилось, самолет выровнялся и устремился ввысь, а Войтой владела тысяча неведомых чувств: мать божья, я лечу, быть не может, лечу! Он узнал церковную башню и площадь городка, крыши рабочего поселка, красную коробочку автобуса — она смешно ползет в бороздке улицы... Дальше прямоугольник футбольного поля, а вот уже видны сверкающие плоскости полей и черные человеческие фигурки. Там туннель под полотном. Войта узнал его! Ребята, я улетаю! «Орфей» не умер, он обрел крылья! Ребята, я не забуду вас, я вернусь!..

Павел, бежавший впереди всех, замедлил бег и, приложив руку козырьком к глазам, оглядел небо.

— Кто это там с ума сходит? Да не немецкий ли это самолет? — Все уже давно отвыкли видеть в воздухе немецкие машины во время воздушного палета союзников. — Ничего не понимаю!

— Я не понимаю еще и многое другое, — закричал Леош и потер себе колено; умоляющим взглядом он уставился на голубые просветы в облаках. — Например, почему эти западные пижоны ничего не сбросили на наш курятник? Каждый день болтаются над головой, и хоть бы что! Для потехи, что ли?

Ящички с учетными карточками на выданный инструмент и инвентарь Леош раскрасил возле раскрытых окон — недостача сверл достигла фантастической цифры — пятнадцати тысяч!

— Не иначе какой-то немец-фанатик решил на самоубийство, — сказал Богоушек, теребя свой бобрлик. — Я слышал, что так делают японцы. Такая у них религия.

— Смотрите, какого задал ходу! Видно, на Ржичаны, — сказал Бацилла, тыча пальцем в воздух. Он не знал ни одного пункта к востоку, кроме Ржичан, куда ездил с родителями на каникулы к бабушке. — Уже смылся!

Секунды, минуты, свет и тень, синеватый сумрак встречается с лучами солнца, словно ты выключаешь и включаешь гигантский рефлектор, монотонно гудит мотор — все это вызывает головокружение, восторг, — города, деревушки, по двухколейной дороге бежит игрушечный поезд, с высоты восьмисот метров мир выглядит комнаткой, заботливо прибранной к приходу гостей, земля совсем плоская, белая, с темными пятнами лесов, и тени облаков лениво ползут по застывшим полям на восток.

Все это в общем совпадало с его представлениями, но кое-что оказалось неожиданным: например, эта странная тряска, словно самолет колотится дном обо что-то твердое. Вздор! Неожиданные провалы приятно возбуждали — незримая сила бросала самолет к земле и тотчас же подбрасывала вверх. Короткий дождь хлестнул по плексигласовой крыше, сразу стемнело, но через минуту они снова купались в солнечном свете. Их трое — он, Коцек и машина. Они могли разговаривать через наушники, но пока молчали. Коцек был занят по горло — заглядывал в карту, лежавшую у него на коленях, но не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Наконец он обернулся и прищурился. Войта ухмыльнулся ему в ответ. «Ну вот и готово дело».

— Вон они! — ахнул Бацилла, указывая на просвет в облаках. — Их там туча, братцы, кому-то сейчас станет жарко!

Павел выглянул из туннеля. Каждый день он видит это, и все-таки страшно — знакомое чувство, привезенное из рейха, там оно въелось в него.

— Boys! — восклицал Леош, простирая руки к небу. — Не заставляйте же себя просить, черти американские! Окна у нас раскрыты настежь, долбаните же, голубчики!

— Не хнычь, сопля, — пренебрежительно одернул его Густик. — Скажись больным, и дело в шляпе. Я тоже так поступлю, у меня это вот где сидит!

— Это же плевое дело, — серьезно подтвердил кто-то. — Тебя ос-

вободит любой доктор, даже немецкий. Коротышек, говорят, освобождают от тоталки. На военную службу их тоже не берут.

— А ты знаешь, кто такой был Пипин Короткий?

— Ха-ха! — рассмеялся Густик, но тотчас умолк. — А ты слышал, Эвжен прикинулся психом и тянет это дело уже второй месяц, нашел где-то замечательного доктора. Ребята, что такое гомопат... или гомео... что-то в этом роде?

— Наверное, гомосексуалист, — тоном знатока заметил Леош. — Держи с ним ухо востро, Пипин. Кто его знает.

— Зря клепаешь, — возразил Густик. — Он не написал бы это сам на дверях, там у него такая табличка. И потом он семейный.

Богоуш внес в спор необходимую ясность.

Коцек показал пальцем вниз.

— Осенью я тут судил матч. Как ты себя чувствуешь?

— Здорово. Только немного з-з-замерз.

— Не нравится мне, что мы на виду. Смоюсь-ка лучше за облака.

Грязно-серая стена устремилась на них, самолет зарылся в плотные облака, сразу потемнело, порыв ветра бросил машину кверху, другой прижал ее к земле, самолет швыряло, как перышко, на мгновение мелькнуло голубое небо, и все повторилось снова... Спокойно, спокойно! Коцек знает, что делает, назад возврата нет, спокойно, пока у нас достаточная скорость и высота...

— Вон там летят другие! — возбужденно заорал Бацилла и показал на просвет в облаках. — Видел я однажды гала-представление в цирке...

Все новые и новые волны бомбардировщиков проплывали над их головами и исчезали, зарываясь в лохматые снежные облака. Ребятам казалось, что они стоят под перевернутым котлом для стирки белья. С опозданием забили зенитки «боженьке в окошко».

— И чего они зря гвоздят, ослы? — проворчал кто-то в туннеле. — Словно в носу ковыряют. Черт возьми, ну и холод тянет здесь...

Когда же полетят бомбы? Павел прижался к каменной стенке. Вероятно, они задумали что-то особенное, хотят, видно, отбомбить сразу с десятикратной силой. После отбоя, если позволит обстановка, он смоемся с завода и поедет к Бореку. Похоже, что все пойдет на лад, беда только, что Борек — первый ученик по химии в их классе — совершенно бездарен как механик. В саду пригородного домика, несмотря на протесты родителей, он оборудовал в старой беседке неплохую лабораторию и занимается там своими фокус-покусами. Уже два месяца, как обещает сделать бомбу, но она все еще не готова. Наверно, Борек боится. «Не беспокойся, — говорит он всякий раз Павлу, выкатывая на него слезящиеся глаза за толстыми стеклами очков, — взрывчатка выходит отличная, хоть и негде ее испытать, в общем за химическую часть я ручаюсь, а вот с механизмом дело не ладится. Был бы тут Карел, помнишь его?»

В последний раз Павел встретил у него несколько одноклассников,

бывших соучеников по восьмому классу, которые вернулись из рейха: двое удрали сами, остальных отпустили — союзники разбомбили города и предприятия. Приехали, как говорится, с голой задницей. Уже из самого беглого разговора Павел понял, что на них рассчитывать не приходится. Ребята вспоминали чудаковатых учителей, девчонок из их школы, говорили о том, кто где побывал за эти два года, отпускали циничные шуточки. Их худые, с виду веселые лица скрывали что-то, чего Павел не мог выразить словами, но понимал, потому что сам все извещал — какая-то смесь опасений и страха, грубости, беспредметных упреков, преждевременной усталости и тупого безразличия. «Наплевать на все!» — как высказался за всех Пепек Баца, бывший первый ученик по прозвищу «Зраза». Пережить и не оглядываться на прошлое!

Павел не сердился на товарищей за такие настроения, он знал, что они хватили горя и не хотят больше ничего знать. А когда он заговорил о войне и о том, что будет после нее, ему ответили недоуменными и даже недовольными взглядами, и Павел оставил эту тему. Странная это была встреча: однокашники разошлись и даже не сговорились, когда увидятся вновь. Наверно, если это будет осуществимо, лишь в день десятилетия выпуска восьмого «Б».

Да, нужно позвонить Монике. Хотя бы позвонить. Вчера отец подал ему письмо, нацарапанное расточительно большими буквами, всего несколько слов: «Приходи! Мне гнушно. Прочитала все детективы, какие только были написаны, и все еще не нашла преступника. Начинаю уже считать ворсинки на ковре. Не бойся, я тебя не люблю, просто заела скука, и хочется видеть твою похоронную физиономию».

Самолет шел вдоль самой кромки облаков, внизу незаметно передвигалась земля, покачивание в пустоте убаюкивало, Войта наконец-то мог предаться размышлениям. Что же он оставил на земле и к чему уже нет возврата? Ребята! Вы все уже знаете? Что сейчас творится на аэродроме? А на заводе? Что с ней? А мама? Что, если ее арестуют... и маму тоже, что, если... что, если ее будут бить на допросе... посадят в тюрьму? Нет, чепуха, они же могут доказать, что Войта не жил с ними. Как это я не подумал о них раньше? В голове только и была эта затея с побегом. Увижу ли я всех их когда-нибудь? Вернусь ли? Что об этом думают мои ребята, рабочие на заводе? Мальчишество, мол, шальная затея, которая может стоить многих жизней. Авантюра? Или геройство? Нет, скажет он, если ему суждено пережить все это, нет. И выложит всю правду. Геройство? Я решился на это потому, что не мог жить так, потому что я не спал ночами, задыхаясь от злобы и унижения, потому что у меня не было сил вырвать ее из сердца, забыть, перестать тосковать по ней! Разве я отважился бы на этот побег, если бы мог обнимать ее, спать с ней в белой комнатке, если бы мог жить вблизи от нее, хотя и в подвале, если бы вообще все не было так безнадежно... Нет, конечно, нет! Ведь я все еще люблю ее, и сейчас, и сейчас, и нет этому конца!

Он с беспокойством заметил, что Коцек внимательно изучает карту и поглядывает на местность внизу. Города и местечки, деревушки, изо-

гнутая полоска реки, шоссе и черные пятна лесов — когда-то на нас набросятся преследователи? — горы, он глянул вниз, — под крыльями косматые хребты и глубокие борозды долин...

Павел посмотрел на часы: тревога длилась уже почти два часа, зенитки стыдливо молчали, гул канонады уступил место свисту пронизывающего ветра. Тоска.

— Где мы летим? — крикнул Войта в микрофон.

Голова в шерстяной шапочке не повернулась.

— Я сам хотел бы знать, — раздалось в наушниках. — Летим правильно, направление я держу, но приземляться нельзя, там, внизу, наверняка они... Впереди препаскудная погода, но горячего у нас еще полбака. Холодно, а? Возьми-ка управление, у меня руки замерзли, я буду следить... Вот так, а теперь прибавь газу и бери штурвал на себя... Хорошо!

Наконец-то сирены завывли отбой, и, прежде чем они умолкли, по полю рассыпались темные фигурки.

— Пошли, — сказал Богоуш. — Я замерз, как цуцик.

Они вышли из туннеля. Павел почти бежал, чтобы согреться, он чувствовал, что в носу у него при дыхании слипаются волоски. За ним спешил Леош — казалось, стоит ему топнуть поэнергичней, его головка отскочит от тела. Последним семенил Бацилла, сопя, как упитанный конь с пивоварни.

Перед главными воротами, распахнутыми настежь, они замедлили шаг.

— Мать честная! — бледнея, воскликнул Леош. — Они уже здесь! Я с утра предчувствовал... Ребята, я туда не пойду...

— Заткнись, осел, — грубо оборвал его кто-то. — Уж не из-за твоих ли сверл они приперлись сюда? Похоже, будет поголовная проверка.

Держась в толпе, они медленно двигались к проходной, напустив на себя самый безразличный вид. Сквозь густую толпу к воротам подъезжали черные «мерседесы» — один, другой, третий. Раздраженный рев клаксонов раздвигал толпу, суматоха, толкотня, неподвижные лица за стеклами автомобилей. Рабочие знали эти машины — поражало их количество. Видно, произошло что-то серьезное, тем более что за черными «мерседесами» последовали три крытых брезентом грузовика: солдаты! Наверно, оперативный отряд, черт их знает! Мундиры, автоматы, в полутьме под брезентом — восковые лица, как у манекенов. Мурашки бегают по спине, по животу, всюду. Ревут клаксоны, ревут остервенелые верхушцы в воротах. С дороги, с дороги! Чего глазеете, как бараны? Вот свирепое лицо с заячьей губой. Уж не спятил ли?

Стало известно, что эта апокалиптическая процессия автомобилей, миная цехи, направилась к главному ангару и на аэродром. Как обычно, непостижимая паника ширилась, расходилась кругами. Шаги, телефонные звонки, беготня, взгляды, слухи и догадки передавались из уст в

уста, нарастали, противоречили друг другу, исключали одна другую, но внешне царило выжидательное спокойствие, грохотали пневматические молотки, жужжали сверла. Что-то случилось, что-то чрезвычайное, и это «что-то» как бы висело в пыльном воздухе фюзеляжного цеха, в смраде клозетов, проявлялось в муравьиной суете веркшущев, толкавшихся в цехах с таким видом, словно они пришли на похороны, и упорно не поддававшихся на попытки «разговорить» их. «Видать, сели в лужу!» — усмехнулся Мелихар. «Негодяи!» — сквозит в походке Каутце, который с видом мстительного божка быстро проходит по цеху; заметно это и на флегматичной с виду физиономии Мертвяка, который с верностью службы тащится вслед за своим чиновным преподобием; и в появлении редкого гостя — немецкого директора завода, в грозном поблескивании его очков и свастики на лацкане пиджака. Немцы явно изумлены, испуганы и обозлены чем-то неслыханным, от чего захватывает дыхание. «Das ist nicht möglich!..» *

Отголоски этих скрытых и потому еще более страшных обстоятельств отразились и на Даламанеке. Весь обмякший, как куль с овсом, он сидел на стуле, стараясь быть незаметным.

— Чтобы никто не уходил с участка, ребята! Вкалывайте, прошу вас! А где Машек? И Файрайзл? Пошли в клозет? Сейчас же вернуть их!

Развевая полы рабочего халата, он помчался в контору и тотчас же вернулся обратно.

— Будет проверка! Всем взять инструменты в руки! И тихо, никаких разговоров. Вкалывать! Кто смылся? Что-о? Ах, сукины дети! Я же предупреждал. Не стану их покрывать, у меня семья!

Войта снял перчатки — прошлой зимой их связала мама, распустив шерстяной свитер покойного архитектора, — и подышал на окоченевшие пальцы. Два часа двадцать минут чистого полета. Шестьсот пятьдесят, а то и семьсот километров, впрочем, может быть, и меньше. Скорей всего они уже перелетели линию фронта и вниз, под толстым слоем туч, иной мир. А может быть... Полутьма и снова тряска, больно кольнуло в ушах. Войта раскрыл рот, сделал глотательное движение, зажал нос, глубоко вздохнул. Он заметил, что концы крыльев прогибаются, и вдруг замер в испуге: на мгновение в просвете туч — совсем близко под ними — мелькнул скалистый утес...

Секунды, минуты — грозные, как судьба. По заводу разнеслась весть, что в ангаре и на аэродроме арестовывают рабочих: чехов и даже немцев. Десять, двадцать человек под дулами автоматов повели к грузовикам, солдаты пинками загоняли туда новых и новых арестантов. Ребята из малярки заметили среди них и немца Хюбша. Пожилой мастер даже не успел сполоснуть измазанные в масле руки — о майн готт! — он шел, подгоняемый окриками и ударами прикладов, ничего не понимая. Майн готт!

* Это невозможно!.. (и е м.).

Оперативный отряд оцепил ангары, аэродром, закрыл все выходы с завода, слышался рев автомобилей и отрывистые приказы, среди стаповцев и заводского начальства слонялись немецкие летчики: и давно бы пора стартовать, если бы не такое неслыханное осложнение: одному из них не хватило самолета! Скандал! Переполох!

Откуда-то появился Мелихар с таинственной усмешкой на буграстом лице. Гонза нетерпеливо наклонился к нему. Бригадир поднял глаза и нахмурил запыленные брови: рядом несколько знакомых, которые могли слышать разговор, — Гиян, Падевет и старый Марейда, — но это свои люди.

— М-да, — проворчал Мелихар и почесал небритый подбородок. — Двое парней из ангара сели в машину и смылись. Во время полета. Все рассчитали!

Он произнес это безразличным тоном, без нотки восхищения, но и без раздражения, и, поморгав, поглядел на окружающих.

— Молодцы! — в восторге воскликнул Гонза. — И все удалось?

— Откуда мне знать? — Мелихар пожал плечами. — Только бы не похватили из-за этого многих других, черт побери! — добавил он.

— Да, уж не дай бог! — проворчал старый Марейда, замахал длинными руками и сплюнул на пыльный пол. — Мальчишество, хулиганство! И к чему? Какой от этого толк?

Все знали этого неутомимого работягу: былой страх безработицы въелся в него до мозга костей. И все-таки Гиян не сдержался:

— Чего зря мелешь языком, шура! Не иначе, хочешь получить на старости лет орден от Адольфа. На твоём месте я бы позаботился покрыть крышей халупу, пока все не пошло прахом!

— Молчи, сосунок, — ошетинился старик. — Ты еще за подол держался, когда я... Чего рыпаетесь? Хотите опять остаться без работы? Попомнишь мои слова, когда будешь торчать у ворот да подтягивать штаны, дождетесь!

— Заткнитесь! — грубовато прикрикнул на них Мелихар и вдруг добавил совсем спокойно: — Одного из них вы знаете, он работал тут, на крыльях.

Мелихар помолчал и назвал фамилию. Все были ошеломлены. Да может ли это быть! Кто бы мог ждать от этого губошлепа! Каков стервец! Вот уж выкинул штучку. А почему? Ты знаешь? Помнитесь, он был женат?

— С чего ему вздумалось удирать? Одурел, что ли?

— Верно, женат! — Гиян хлопнул себя по лбу. — Факт! Мы с Франтой Падеветом были у него на свадьбе. Невеста — красotka и, говорят, из благородных. Мы там торчали, как ослы в цветнике, ей-богу! Чудная какая-то была свадьба.

— Разойдитесь, ради бога, ребята! — Это был Даламанек. Он умоляюще всплеснул руками. — Не дурите, ради бога, сюда уже идут. Сверла в руки, и ни гугу!

Три часа полета. Дело плохо, понял Войта, когда Коцек обернулся к нему. Впервые он прочел на его лице нечто похожее на тревогу. Ко-

дек жестом показал на грязную кашу облаков и снова отвернулся, даже не улыбувшись. Все ясно: надо приземляться во что бы то ни стало, пока есть горячее, — считаться с видимостью не приходится.

Еще несколько бесконечных минут они болтались на ветру, погруженные в облака, — кругом ни зги, только тучи и ветер, ветер и тучи. Потом Войта почувствовал, что самолет наклонился носом к земле и стал неудержимо спускаться.

У Гонзы голова шла кругом: невероятно, ошеломительно, и это Войта! — твердил он себе, стоя со сверлом в руке. — Извини меня, старик, я-то думал, что твоя спокойная отвага попросту плод слабого воображения. Ах я идиот! Видимо, уж таков мой удел — сомневаться во всех и вся.

Сзади кто-то толкнул Гонзу в спину, он услышал свой голос, выкрикнувший свое собственное имя, и тут же осознал, что смотрит в лицо Мертвяку. Тусклые глаза на мгновение задержались на нем: мы знакомы, говорили ему эти глаза, всегда вызывавшие у Гонзы легкое содрогание. Сейчас этого ощущения не было, Гонза ответил пристальным взглядом. Лети, лети, старик, ты замечательный парень, извини меня за все, я набитый дурак с аттестатом, Мелихар прав. Я жалкая вошь. Знал бы ты, как они тут бесятся! Лети, лети, подальше от этого борделя.

Когда кончилась проверка, Гонза не удержался и заглянул в проход между крыльями — нет ли там Павла? Знал он об этом раньше? Павел поздоровался с Гонзой только взглядом, продолжая с безразличным видом пробовать острее сверла.

— Ты знаешь? — спросил Гонза.

Павел неохотно кивнул.

— Да.

Опять пауза. Но Гонза не сдавался.

— Ну, что скажешь?

Павел только устало отвел глаза.

— Да ничего, — сказал он просто. И добавил: — Он-то не болтал!

И прежде чем им разойтись, он показал кукиш. Это был выразительный жест, и Гонза повторил его.

...Резкое снижение, пронзительный свист, воздух давит на барабанные перепонки. Войта то разевает, то закрывает рот, как рыба, выброшенная на берег. Дело плохо, плохо, им уже не до разговоров, настал решающий момент. Войта чувствует это снижение, это падение всем телом, — словно на него взвалили тяжеленный груз... и бог весть почему начинает считать: раз, два, три... Но этой ужасной полутьме нет конца!.. Мамино лицо... почему именно она? Сто один, сто два, сто три... Видимость нулевая! Двести, двести один... Свист и падение... Триста... Пятьсот... Ясно, мы разобьемся в лепешку, ясно, что натолкнемся на грозную, непроницаемую громаду света, которая охотно пропустила их сюда, наверх, а теперь убегает от них и, может быть, уже не существует... Безумный страх. Тучи, мутный пар хлещет по крыль-

ям... Уже триста метров, двести девяносто, стрелка альтиметра угрожающе дрожит, вокруг свист и серая пустота, мотор снова взвыл, самолет бросает вверх и вниз, стремительное падение, от которого захватывает дыхание. Двести пятьдесят метров... это конец, вот сейчас, сейчас... И Войта уже не думает ни о чем, безмерная жалость к себе овладела им, жалость, которую человек чувствует перед гибелью, отчаянная покорность, сейчас, сейчас будет удар... Удар, которого он уже не услышит, и тьма, непроглядная тьма навеки...

Войта зажмурился и вцепился пальцами в озябшие колени.

И вдруг, видно, в самый последний момент и совсем неожиданно, серая пелена выпустила их — наверно, вот так же мир выглядел после потопа, — из редящих ключев тумана перед ними ужасающе близко возникла земля: неровная, ненадежная, с заснеженными бороздами узких полей, низкими пригорками. Крутой вираж, у конца левого крыла пейзаж взметнулся кверху и повернулся вокруг самолета, похожий на громадную тарелку, заполненную лесом. Верхушки хвойных деревьев уносятся назад, мелькнул клочок пашни, и снова темные пятна лесов, поворот, самолет качнулся... Вот за тем полем виден кусочек плоской земли — отлогий косогор, а дальше опять стена леса... «Держись!» — послышалось в наушниках. Захлебываясь скоростью, самолет мчался, земля приближалась. Толчок, за ним резкий безжалостный удар снизу — первый привет земли. Войта закрыл глаза. Снова пустота, подскок и новый удар, нестерпимое давление сжало все тело, что-то черное летит им навстречу, дребезжание и снова удар, ремни больно врезались в плечи, толчок — и земля навалилась на Войту и ударила его, и вот уже больше ничего нет, только тишина, гудящая, шумная, сладостная, удивительная тишина... Тишина! Ну вот и готово, успел подумать Войта.

Нажется, шумит ветер? Где-то что-то какает. Таковы первые ощущения. Почему мы не взорвались? Видно, Коцек успел выключить зажигание. Молодчина! С ним хоть к черту на рога! Матерь божья, я жив!

Да, жив. Войта недоверчиво шупал колено, но почти ничего не чувствовал — он промерз до костей. Я жив, жив! Я безумно хочу жить! Ему хотелось орать во весь голос. Я жив! День. Земля. Я живу на земле. Умей я молиться, я бы помолился. Кто знает, зачем? Прочитал бы какую-нибудь нелепую молитву за то, что я жив.

Войта потряс головой, она была на своем месте — эта дурная, измученная башка. Постараюсь, чтобы она подольше продержалась у меня на плечах.

Ну вот и готово!

Но где же мы? Войта вдруг сообразил, что он не сидит, а висит на ремнях и они врезаются ему в тело. И странное дело: земля не под ним, а перед ним, за неподвижной спиной Коцека. Ага, мы ткнулись носом, машине капут. Милая, хорошая машина! Им овладела нежность к этой массе стали и алюминия, восхищение вещью, которой человеческие руки дали жизнь и силу. Спасибо тебе, гробик! Он погладил пальцами руль высоты. Спасибо!

Ну, соберись с силами! Войта окликнул Коцека — тот не отзывался. Что с ним? Войта испугался. Уж не... Коцек висел на переднем сиденье в неестественной позе, навалившись на рули управления. Вот он пошевелился и что-то пробормотал. Жив! Прежде всего надо выбраться из самолета. Окоченевшими пальцами Войта расстегнул пряжки и, сняв ремни, ссунулся на педали — ручное управление уперлось ему в бедро. Мешок мяса и костей! Ладно, не беда, вылезем — еще мальчишкой он был мастер лазить по деревьям. Войта попытался сдвинуть крышу, к его удивлению, она подалась, морозный ветер ворвался в кабину, и это было приятно. Войта жадно глотал его, потом выполз из кабины, соскользнул по крылу и упал на землю всей тяжестью. Земля, земля, жесткая и неумолимая! Он наслаждался ее надежной твердостью. Комья земли были покрыты тонким слоем снега. Войта пошатывался, стоя на ней и переступая с ноги на ногу, как медведь на цепи, потом нагнулся, набрал горсть снега, растер им замерзшее лицо, попробовал на вкус — знакомое ощущение на нёбе. Может, слепить снежок? Или снежную бабу — недолговечный памятник в честь их прибытия?

Войта сделал несколько шагов от самолета, уткнувшегося носом в пашню метрах в пятидесяти от края елового леса. Не так уж плохо мы приземлились: повреждено только шасси, носовая часть, пропеллер и, наверно, мотор; плоскости целы. Он оглянулся: лес, лес, белое поле, едва заметная дорога, по которой, вероятно, давно уже никто не ездил. Где же мы? Местность вокруг почти такая же, как дома, и все же в ней есть что-то особое, свое — Войта чувствовал это, хотя не мог точно определить. И не стал задумываться. Главное — они смылись. Избавились от всего, всего, всего!

Он вернулся к самолету и увидел, что Коцек ворочается на сиденье и кивает ему; наконец он с трудом вылез из кабины. Войту обеспокоило, что, очутившись на земле, Коцек зашатался и оперся спиной о крыло. Он был необычно бледен и даже не нагнулся, чтобы поднять шерстяную шапочку, которая свалилась у него с головы. Тяжело дыша, он тер лицо руками.

— Что с тобой? — спросил Войта.

Усилием воли Коцек овладел собой. Только сейчас Войта увидел, что лоб у него в поту.

— Ничего, — сказал Коцек и выжал из себя обычную улыбку. — Плохо привязался, и меня здорово потрянуло. — Он показал на грудь и надсадно закашлялся, но, перехватив взгляд Войты, задорно улыбнулся: — Sic et non! Приземление было малость жестковато. Зато до чего приятно сознавать, что остался в живых! Правда? — Он что-то еще процитировал по-латыни, не утруждая себя переводом. — Человек должен верить в свою счастливую звезду, если уж он живет на свете. Понятия не имею, где мы, но это неважно, здесь наверняка нет немцев. Мы отмахали почти восемьсот километров. Хотел бы я видеть рожу Каутце — очень бы мне это сейчас помогло! Собирай барахло. Войта, надо найти людей и рапортовать о нашем неожиданном появлении. — Приступ кашля снова затряс его, и это очень не понравилось Войте. — Ну, пошли!

Гудок в фюзеляжном равнодушно возвестил перерыв, а две темные фигуры медленно, как улитки, тащились по белой безлюдной равнине восточной Словакии. Два человека! Вот они идут нехоженным путем, шаг за шагом удаляясь от необыкновенного памятника с германскими опознавательными знаками, от памятника, выставившего хвост в пасмурное небо. Один из них шагает впереди, согнувшись под рюкзаком, другой отстает, останавливается и хрипло кашляет, потом снова пускается в путь. Павел шарит по карманам, закуривает, а те двое все идут и идут, и вот уже исчезают в сумраке леса...

Х

Кто бы это мог быть? Фантазия легкомысленно предлагала десяток ответов, но Бланка боязливо отвергала их один за другим. Нет, нет, ничего не жди, не гадай. Стоит ли вообще идти? Но она знала, что пойдет, не может не пойти. Место знакомое — одно из самых заурядных и скучнейших кафе, какие еще и сейчас предлагают пражанам свое хмурое гостеприимство. Находится оно в такой же заурядной и унылой улочке неподалеку на набережной, несущей имя недоброй памяти Рейнгарда Гейдриха. Само по себе это кафе ничем не подозрительно. Да и что с ней может случиться? Скорее всего кто-нибудь из этих нахалов с завода пытается таким оригинальным образом назначить ей свидание. А что, если...

Не гадай!

И все-таки в полупустом трамвае она не удержалась, вынула из сумочки письмо и в меланхолическом свете затемненной лампочки перечитала несколько слов, написанных на кусочке бумаги в клетку: приходите тогда-то и туда-то — важное дело! От печатных букв шел холод анонимки, а слова означали только то, что в них было, подпись отсутствовала. От Эденека? Нет, нет, она испугалась, чепуха. Гонза? Не надо строить себе никаких иллюзий! Один шанс из тысячи — не больше, но сердце у нее заколотилось. Но зачем бы он ей писал? И почему на «вы»? Ведь она каждый день видит его десятки и сотни раз на заводе, и это как сотни болезненных укулов, после которых оба без слов отворачиваются друг от друга. Нет, между ними все кончено, и она знает, что возврата нет... Это был крах. Падение в грязь, удар топором под самый корень...

Эту записку она обнаружила совсем случайно и не в ящике на дверях — там как раз лежало письмо от него: несколько фраз, написанных острым, уверенным почерком, таким характерным для этого человека. Он сообщал, что едет по служебным делам на две недели в рейх и, когда вернется, даст знать. Он думает о ней, ждет встречи и так далее.

Бланка нашла в кладовке сухую горбушку, немного плавленого сыра, с ненужной тщательностью накрыла на стол. Поев, она все еще чувствовала голод. В последнее время она жила впроголодь, достать съестного было нелегко, да и денег не хватало. В последнюю встречу с ним она

не удержалась и приняла плитку шоколада и коробку сардин. Этого хватило на один вечер, потом последовали угрызения совести. Катись под уклон, девушка! Ну и что ж? В моем-то положении? Только от денег она возмущенно отказалась.

Бланка посмотрела на фотографию Зденека над диваном. В комнате стоял сырой холод, батареи были чуть теплые. Оставалось забраться с книжкой под одеяло, почитать немного, а потом попытаться проспять несколько часов до жестокого утра. Никто не придет, никто не стоит в нише подъезда... После ареста Зденека Бланка прекратила знакомство с несколькими приятельницами и друзьями, с которыми когда-то выступала в любительских спектаклях. Родственников в Праге у нее не было, а тех, что жили вне Праги, она не жаждала видеть, подозревая, что они что-то узнали и потому сторонятся ее. Кстати говоря, Зденек открыто презирал большинство из них. Дядя с маминой стороны дослужился до солидного чина в чешской полиции и явно опасается быть скомпрометированным. Ну и будьте вы все неладны!

Бланка причесывалась перед своим зеркалом — это была сложившаяся привычка, нечто вроде обряда перед сном — и не без тщеславия рассматривала свое лицо. Хороша ли я еще? Откуда взялась эта морщина у рта? Исчезнет она когда-нибудь? Ну и заботы у тебя, вздорная девчонка! Скверная и эгоистичная! Холод загнал ее под одеяло, она потянулась за начатым романом, но не успела увлечься судьбой героев, как заметила что-то белое на полу, у двери в коридор и вскочила, снова окнувшись в противный холод.

Холодно было и здесь, да еще все пропахло дешевым табаком. Кафе походило на полутемное дно пруда. Несколько посетителей с замкнутыми лицами сидели за столиками, большинство в пальто; все они показались ей страшно одинокими. И чего они тут сидят? Между столиков двигалась унылая фигура обер-кельнера в потертом фраке. Проворчав что-то, он принес Бланке чашку суррогатного чая с таблеткой сахара с таким видом, что ему все совершенно безразлично. По ее просьбе он еще швырнул ей газету и удалился на кухню.

«Фюрер принял Квислинга...», «Большевицкие атаки на Одере успеха не имели...», «Расовая проблема Америки: негры терроризируют белых женщин», «Черчилль — вдохновитель красных». Репертуар театров отсутствовал — театры закрыты. Отдел мелких объявлений: «Меняю электр. каток для белья на сапоги».

Бланка отложила газету и стала изучать зеленоватые лица посетителей, но никаких выводов сделать не смогла. Кто же из этих людей, наконец, встанет и подойдет к ее столику?

Каждую минуту большая стрелка часов, щелкнув, передвигалась на одно деление. Прошло полчаса, час — ничего! Холод и безнадежность угнетали Бланку. Что, если... Новые сомнения охватили ее. Что, если это лишь глупая и грубая шутка? Что, если я сижу здесь, а шутник поглядывает на меня?

В гнетущей тишине под ногами обер-кельнера закрипели половицы. Один из посетителей зевнул, блеснув золотыми зубами, и потребовал

счет. Прошло уже полтора часа, и все никаких результатов — встану и уйду.

И вдруг кто-то подошел к ней сзади и негромко спросил, свободна ли газета. Это было так быстро и неожиданно, что она не успела разглядеть его лица.

— Пожалуйста!

Наклонясь за газетой, человек внятно прошептал:

— Я подожду вас на улице. Не торопитесь! — И громко: — Благодарю вас!

Она разглядела лишь сутулую спину и чуть лысоватое темя. Он вышел. Дверь за ним качалась еще несколько секунд.

Она расплатилась и заставила себя неторопливо покинуть кафе. Липкая тьма улицы поглотила ее. С минуту она стояла на ветру, сузив руки в карманы и стараясь привыкнуть к темноте. Постепенно ей это удалось, и она замерла на месте. Мужская фигура придвинулась к ней.

— Не бойтесь и пойдете со мной.

— Куда? — испуганно спросила она, почувствовав прикосновение его руки.

— Недалеко. Право, вы можете не бояться... Не разговаривать же нам здесь. неподходящая обстановка. Вы все еще боитесь?

— Нет. Чего мне бояться? — почти обиженно возразила она.

Они пошли рядом, он вел ее в сторону набережной, она уже не противилась, что-то в его голосе внушало доверие. Так вот он какой! Что же ему от меня надо? В крайнем случае начну кричать и драться. Она не успела разглядеть лицо незнакомца, но готова была поклясться, что в жизни не видела этого человека, даже голос его ей незнаком. Несомненно, он уже немолод, это заметно и по походке. Подняв воротник, он шагал рядом, изредка покашливая, и за всю дорогу не сказал ни слова. Куда же мы идем? На квартиру я ни за что не пойду! Бланка с облегчением вздохнула, когда поняла, что такого намерения у незнакомца нет: по безлюдной набережной, где гулял ветер, они шли в сторону Национального театра, потом свернули по мостику, переброшенному через рукав реки на Славянский остров. Незнакомец вел Бланку по безлюдному парку и остановился у каменного парапета, за которым шумела вода.

Бланка оперлась на парапет и выжидательно молчала — перед ней маячила тень мужской фигуры со светлым пятном лица. Он тоже молчал, будто с интересом прислушиваясь к шуму ветра.

— Не сердитесь, что я вытащил вас из дому в такую погоду, — наконец сказал он с ненужной церемонностью. — Но я считал, что должен с вами поговорить.

Ее удивил его нерешительный тон.

— Можете не извиняться.

— Хорошо. — Не приближаясь, он откашлялся, приложив руку ко рту, потом так же нерешительно сделал странное предложение: — В случае чего мы с вами разыграем влюбленных. Это и в ваших интересах. По документу я Вацлав Вавра, торговый агент фирмы «Шипек», техническое оборудование. Мы познакомились в кино «Якорь» на филь-

ме «Отмычка». Там идет этот фильм. Большого вам знать не надо. Вы... ваше имя мне известно, но я не сразу смог узнать вас по фотографии. У вас другая прическа.

Бланка не отвечала, но была полна нетерпения. К чему вся эта комедия? Может, он пускает пыль в глаза? Она слышала, что некоторые соблазнительницы не стесняются прибегать к романтике подполья. Но непохоже, чтобы этот... Какое ему дело до моей прически? И где он взял мое фото?

— Я, собственно, хотел повидаться с вами уже давно, — продолжал он глухим голосом. — Тогда еще можно было что-то предпринять, но, к сожалению, не было никакой возможности встретиться с вами. Ни у меня, ни у моих... бывших друзей. Только несколько недель назад...

Кашель заставил его умолкнуть. Бланка заметила, что он вынул из кармана платок.

В воздухе замелькали снежинки, они опускались ей на волосы, таяли на лбу. Вдали по мосту бежал трамвай, словно толкая перед собой тусклый конус света.

— Не сердитесь на меня за то, что я вам сейчас скажу. Может, это и напрасно, но вы поймете, что в наше время... И то, что я сообщу вам, никому не рассказывайте. Уверю вас, что это все равно не поможет.

Бланка почувствовала себя обиженной, хотя все еще не знала, что он имеет в виду.

— Это вы так обо мне думаете? Я не доносчица.

— Я мало знаю вас, приходится быть осторожным.

Бланка нетерпеливо переступила с ноги на ногу. Паузы, которые он делал, раздражали ее. Она подняла взгляд и спросила напрямик:

— О чем, собственно, будет разговор?

— Тише, пожалуйста, — сказал он и добавил: — О Зденеке.

Он совсем невыразительно произнес это имя, но она почувствовала, что он волнуется и не может подавить свое волнение. Опять наступила пауза.

— А что с ним? — испуганно спросила она. — Вы что-нибудь знаете?

— Кое-что знаю. Но прежде скажите, что знаете о нем вы.

— Мало. В общем почти ничего. Только то, что он жив. И все еще ждет суда. Вся надежда на то, что война кончится раньше, чем его будут судить, тогда он уцелеет. Больше я ничего не знаю. А вы?

Незнакомец стоял перед ней странно неподвижный и скупой на слова, кашлял и смущенно запинался. Бланку раздражало, что он задает ей вопросы, вместо того чтобы отвечать.

— А получаете вы от него какие-нибудь вести? Я имею в виду письма.

— Нет, писем нет. Это невозможно, ему не разрешают писать. Только устно. А... а откуда вы знаете?

Она заметила, что он отвернулся, с минуту смотрел в темень над водой и молчал. Видимо, он в чем-то колебался, но потом сказал спокойно и даже как-то между прочим:

— Мы знаем, кто передает вам эти сообщения. — И еще тише и без выражения назвал имя.

От изумления у Бланки перехватило дыхание.

— Да, он. Ну и что же? — наконец прошептала она, но тотчас ощетинилась и на минуту потеряла самообладание. — Для этого вы пришли? Чтобы сказать мне это? Ведь я вас не знаю! Кто вы такой? И кто это мы? «Мы знаем»?

— Успокойтесь, — сказал он и взял ее за руку. В этом прикосновении не было ничего подозрительного, и она не воспротивилась. — Мы не враги Зденека.

— Ладно, допустим, я вам верю, но при чем здесь... Ах да, понимаю. Вы хотите пристыдить меня? Бог мой... Думаете, что я потаскушка, которая путается с немцем за шубку или за сигареты? Так? Уверю вас, все, что я делаю, — все, все! — это только ради Зденека. Для того, чтобы он уцелел. И я буду продолжать, думайте обо мне что хотите! Мне на все это наплевать! Поняли?

Она захлебнулась слезами и закусила губы.

— Никто не подозревает вас в чем-то дурном, — прервал он ее встревоженным тоном. По-видимому, она повергла его в еще большее смущение. — Только в некотором легкомыслии... Впрочем, в ваши годы...

— Какое вам дело до моих лет? — прервала она его с мучительным нетерпением. — Могу я что-нибудь сделать для Зденека? Как-нибудь ему помочь? Скажите мне — и я все сделаю! Нужно вам что-нибудь выведать или... может быть, я должна... Да говорите же, ради бога!

— Нет, ничего, ровно ничего. Это не в ваших силах. И пожалуйста, говорите тише.

Она ничего не понимает.

— Зачем же вы меня вызвали?

— Надо было поговорить. Может быть, это уже бесполезно, но все-таки... имеет смысл знать правду, какой бы она ни была. Как вы думаете?

Бланка не понимала, к чему он клонит. Ей казалось, что незнакомец с величайшим усилием выдавливает из себя слова, что он охотно повернулся бы и ушел, скрылся в потемках. Он запинался, как ученик, вызванный к доске, и не знал, что делать с ее рукой, которую держал в своей. Это тронуло Бланку и побудило ее помочь ему.

— Вы знаете Зденека? Вы, вероятно, были вместе с ним? Говорите же, я не отпущу вас, пока вы мне все не расскажете. Видели вы его?

— Нас вместе допрашивали. В один и тот же день.

— Когда? Когда это было?

— Год назад. В начале февраля.

— А с тех пор?

— Не видел.

Он опять отвернулся, замолчал и хрипло покашливал.

«Не видел...»

И тогда в тишине, в пустой и зыбкой тишине, наступившей за его

последними словами, — даже ветер перестал дуть, словно по сигналу режиссера, — в душе Бланки шевельнулась догадка, еще смутная, безотчетная, подобная удару в незащищенное место, подобная ослепительной вспышке, от которой захватывает дыхание. Нет, нет, кричал в ней инстинкт самосохранения, нет, нет, пусть он не говорит, пусть молчит, пускай уйдет отсюда. Нет!..

Она услышала свой, но какой-то чужой голос:

— Что со Зденеком? — Это сказал в ней кто-то другой. Кто-то, идя ва-банк, напрямик задал этот вопрос.

И тогда незнакомец взял ее за плечи, и руки его дрогнули, а ей страшно хотелось сбросить эти руки, вырваться из них, пока еще есть время, отогнать нечто, что надвигалось. Нет, что это он говорит? — я не хочу!

— Будьте мужественны...

«Нет, нет, я не хочу быть мужественной!» — молча кричало все ее существо.

— Он умер. Уже давно...

Непроглядная тьма. Даже не больно. В первый момент Бланка ничего не чувствовала. Почти ничего. Это оказалось необычайно просто — всего два слова. Бланка почувствовала, что на нижней губе у нее прилипла одинокая снежинка, и слизнула ее языком.

— Это невозможно, — возразила она чужим голосом.

Она была потрясена. Овладей же собой, начинается второе действие, занавес, тихо шелестя, поднялся до колосников, а ты ошеломленно стоишь и качаешь головой, как капризный ребенок, ты совсем не подготовлена к выступлению... Всю жизнь тебя преследует сон, что кто-то вытолкнул тебя полуодетой на сцену, ты не помнишь ни словечка из роли, ты совершенно беспомощна и в страхе ждешь, когда же тишина в зале взорвется криками и тебя освищут... и вдруг, слава богу, просыпаешься, уже утро, скверное, но настоящее утро, и тебе пора на завод...

— Невозможно!

Зачем вы мне это говорите? Ведь я сплю с ним, понимаете?.. Я сплю с ним ради того, чтобы... Я-то ведь знаю зачем, знаю что... С какой бы стати я с ним спала, если бы... И вдруг ее прорвало:

— Нет, нет! Вы лжете! Собственно, кто вы такой? Могильщик?

Он осторожно закрыл ей рот рукой, она металась под ней, пока не утихла. Он лжет, это не может быть правдой! Он лжет, чтобы сбить ее с толку, чтобы она уступила. Ей захотелось смеяться: это же смешно! Но слезы не приходили. Что же происходит? Она идет, и рука чужого человека, лица которого она не видит, обняла ее за плечо и ведет неведомо куда, неважно куда, и этот человек говорит, говорит, говорит...

— Я не могу сказать вам всего... Только то, что нужно знать вам... Его убили сразу, на допросе... Он вел себя смело, кинулся на одного из них... Я как раз был при этом... Зденек был сильный человек... и,

может быть, слишком вспыльчивый... Они ничего не добились от него, ровно ничего... потому, наверно, все мы и уцелели... Он понимал, что его ждет, знал, что у него нет надежды...

Ясно, с мучительной отчетливостью она слышала стук каблуков по бетонной дорожке меж ободранных кустов, медленные шаги, какими идут за гробом — раз, два! — необычное погребение без венков и серебряных лент, без гнусавого пенья наемных певчих, без слез... Она идет одна с незнакомым человеком за невидимым гробом, идет с ним, а он, покашливая, говорит, и от этого можно сойти с ума, его слова падают на гроб подобно комьям земли, подобно кускам вязкой глины...

Нет, нет, он лжет!

— ...они не сообщили вам потому, что он жил под чужим именем, да и вообще они часто не утруждают себя такими вещами. А позднее уже была причина не говорить вам, вы сами понимаете... И вы должны знать, что тот, кто передавал вам вести от брата... тот, кто обманул вас, был там. Он самый худший из них... интеллигентный зверь... От нас он не уйдет, если только будет жить на нашей земле... Поняли?..

...Трамвай куда-то увозит Бланку, вздрагивая на рельсах, а она стоит на пустой площадке, вцепившись пальцами в медный поручень, и глядит в темноту улиц.

— Уж не плачете ли вы, барышня? — произносит за ее спиной хриловатый голос. Бланка оборачивается. Глаза кондуктора за стеклами очков сочувственно глядят на нее. — Кто-нибудь близкий умер?

Бланка кивнула.

— Да.

В нише подъезда она раскрывает сумочку: ключ, где же ключ? Потом медленно поднимается по темной лестнице, ежась от холода. Она еще владеет собой, она идет и идет, не понимая и не веря, зажигает свет, с трудом доходит до кресла, сваливается как подкошенная, сидит в промокшем пальто, стучит зубами и глядит в пустоту, не замечая времени, не находя слез. Она разглядывает ногти, заводит часы, проводит рукой по мокрым волосам, потом обводит взглядом стену, останавливается на портрете над кроватью, и только тогда у нее вырывается крик.

Зденек, безмолвно произносит она, не зная, что делать дальше, и ей хочется умереть.

То же выражение лица и строго сжатые губы — нельзя себе представить... Нет, сестренка, нет, испытующе глядя на нее, говорит Зденек, и ей кажется, что он совсем незаметно улыбается. Не строй себе иллюзий! И не плачь!.. Это я тебе говорю, Зденек... Я понимаю, но все равно плакать не надо. Ведь ты еще не доиграла спектакль. Не я один погиб, верно? Война, девочка!.. Я знаю, я понимаю, Зденек, я хотела... Я только боюсь, что теперь ничего уже нельзя исправить. Весь мир — это обман, беспощадность и кровь, жестокие случайности и бесцельные смерти. Я боюсь этого мира, не верю ему, не верю и в то, что будет потом, не хочу всего этого видеть, понимаешь, Зденек? Не хочу! Я совершила непростительное преступление — отважилась быть счастливой в этом мире и была счастлива... Знал бы ты, как я его любила!.. Ты

маленькая дурочка, другого мира нет, выбирать не из чего, приходится жить в этом, потому-то и нужно переделывать его. Как следует, понимаешь? Ради этого стоит жить, а иногда, если нет другого выхода, то и умереть. Вытри слезы и держись, хоть это и трудно!

Бланка встала, в ней притаилась тишина, она носила ее в себе, ходя по комнате. Потом остановилась перед зеркалом: блестящая поверхность отразила чьи-то знакомые черты. Это я? Да, это ты! Она испуганно отвернулась, и взгляд ее упал на письмо, лежащее на столе, письмо, написанное острым уверенным почерком.

Бланка вцепилась себе в волосы, в ней вспыхнула отчаянная потребность в боли.

Занавес! Нет, нет, еще не конец — пьеса, которую никто не написал, должна быть доиграна, должна!

XI

— Похоже, что их не поймали, — сказал Павел во время беглой встречи с Гонзой. — Иначе бы немцы так не бесились. Ты ничего не знаешь? Я тоже нет.

Жить приходилось все время настороже, сторониться и придерживать язык, как только поблизости появлялось незнакомое лицо. Жесткие допросы в живодерке на третий день уже не были так ужасающе непрерывны, но все еще продолжались. Искали связь между двумя беглецами и другими «преступными элементами» на заводе. Гестаповцы предполагали, что отчаянная выходка молодых беглецов организована мощным и разветвленным подпольем. С рвением охотничьих псов они устремлялись по любому, самому незначительному следу. Неизменно терпя неудачу, они наугад устраивали облавы в цехах. Допросили почти всех, кто работал вместе с беглецами. В живодерке поочередно побывали несколько рабочих с участка мастера Даламанека — сам Даламанек, Пипин Короткий, Богоуш и набожный Архик. Никто из них, конечно, ничего не знал, и водопад грозных вопросов обрушивался впустую. По роковой случайности был допрошен и Бацилла. Когда Гонза увидел, как Бацилла, еле волоча ноги, тащится за веркшущем, у него захолонуло сердце. К счастью, все, по-видимому, обошлось благополучно — по крайней мере так казалось. Неподдельный страх в глазах Бациллы вызвал у следователя презрительную жалость. Да и самый вид толстяка, его добродушная беспомощность рассеивали подозрение. Один из гестаповцев, говорят, шутливо ткнул пальцем в мягкий животик Бациллы и, чтобы потешить усталых коллег, прикрикнул на него по-немецки:

— Ну говори, жирная свинья! Говори, не то я выдавлю у тебя младенца из брюха!

Допрос походил на комическую интермедию в серьезном спектакле. Впрочем, сам Бацилла не очень-то развлекался среди этих ржавших головорезов. Через два часа он вернулся в фюзеляжный цех — лицо

у него было обмякшее — и почти тотчас же заспешил в клозет; в течение трех последующих дней из него нельзя было выжать и словечка.

Weiter machen! Пыль, казалось, оседала; непонятно как, но все идет своим чередом, хотя действует уже не сила, а нелепый закон инерции — невероятный закон тяготения приближает крах. По ту сторону шоссе с показным усердием — мало уже кто из немцев во все это верит — строятся новый корпус завода, словно война продлится еще годы. Между тем русские уже в Бескидах. А люди прибывают, путаются друг у друга под ногами, ругаются, делают вид, что работают — не все, конечно, — филонят, крадут, отбивают на контрольных часах сотни липовых сверхурочных, чтобы получить глоток водки, пачку сигарет, кубик маргарина, кусочек жесткой колбасы в бумажной шкурке; в унылом сумраке позднего утра и раннего вечера загнанные автобусы привозят сотни сонных и голодных людей. Больше! Еще больше рабочей силы — таков лозунг дня. В рабочей столовой стоит сложная смесь запахов лукового соуса, пота, кислой капусты, затхлой одежды, скверных суррогатов табака и еще чего-то неопределенного — вонь всеильная, неизменная, неистребимая, универсальная. Только вдохнешь ее, и уже мутит. Плакаты, громкоговорители. Трескучие марши перед началом смены. Чешский рабочий! Не прельщайся лживыми обещаниями врагов Новой Европы, они пытаются нарушить покой твой и твоей семьи! Протекторат — остров покоя и мирного труда ради будущего! Оружие героического немецкого солдата защищает и твой дом! Не прислушивайся к провокаторам и темным элементам, которые пытаются сорвать ваш труд! Несмотря на неоднократные предупреждения, преступники снова попытались... Каждая такая попытка будет подавлена с должной строгостью... Обещания. Подкуп. Ничего нового.

На заводе с виду спокойно, производство кое-как движется, но подо всем этим прочно царит хаос. Движение это, попросту говоря, конвульсии тела в последней агонии. Смрад разложения уже повис в воздухе. С каждым вдохом заглатываешь эту фантастическую смесь, которую даже нельзя выразить формулой! Ненависть, страх, отвращение, хроническая усталость, ярость, слезка, жестокий, но незримый бой... Упорство. Карьеризм и безмерная самоотверженность. Малодушие и выжидание. Взрывы, саботаж. Страх.

— Тошно! — сказал Павел. — Ты слышал?

Он чиркнул спичкой, и короткая вспышка осветила косую морщину на его лбу... Гм... Гонза прислонился к дощатой стене и не торопился отвечать. Да и к чему? В принципе он, видимо, прав. Скорей всего Гонза знал, на что намекает Павел и что снова взволновало его. Впрочем, этого можно было ожидать — такова действительность.

— Да.

В физиоляжном цехе к отчаянно смелому поступку двух беглецов отнеслись по-разному. Правда, большинство одобрило поступок: люди были довольны. Больше того, они радовались. Это было видно по лицам, хотя о побеге говорили только шепотом и со скупой односложностью...

Некоторые молчали и пожимали плечами: завод кишмя кишит тайными осведомителями, достаточно неосторожного слова, чтобы влипнуть. Ш-ш-ш! Надо знать, кто твой собеседник. Неумеренно громогласная радость может обернуться провокацией.

Но были и такие, кто ворчал: «Дурацкая затея! У меня свои заботы, до этаких глупостей мне нет дела. Мальчишество. Теперь-то!»

Чего ж удивляться? Эти мещане — добропорядочные работяги, которые ничего не видят дальше своих обнесенных заборами сади-ков, пролетарии, которые могут потерять нечто большее, чем оковы, — ах, Милан, Милан! — владельцы жалких домишек и убогих наделов — одним задом, пожалуй, можно накрыть такое землевладение, скопидомы и ремесленники без собственной мастерской, разорившиеся кустари в рабочей спецовке — эти готовы были клясть все, что угрожает их спокойствию. Находятся и такие, которые просто не понимают, почему бы им отказываться от путевок на отдых, которые выдавались во время «благотворительной» кампании в память Гейдриха. А есть шкурники, до того замороженные суммой на выплатном листке, что не гнушаются выжимать все силы из своих подручных. И все-таки разбирайся в них — это еще не предатели, не доносчики, просто жалкие себялюбцы. Оступевшие люди. Глупцы, вроде Лисака или старого Марейды, всю жизнь маявшегося на тяжелой работе. «Вот увидите, не миновать теперь беды, — скулит он. — Кто знает, что сделают за это с нами?» «Неохота мне окопы рыть», — вторит ему другой. «Чего доброго, отнимут у нас добавочные пайки и курево, — вставляет Зейда. — И все из-за двух дураков! Ну их к черту!»

Нет, их не так уж много, но они есть. И они порождение той противоестественной действительности, в которой мы живем.

Все это Гонза высказал Павлу, чувствуя бессельность своих слов: он наперед знал, каков будет ответ. Как давно они не были вместе? Чего только не произошло за это время! Войты уже здесь нет. Милана тоже, остались только двое. Вернее, один. А Бацилла? Гонза не заводил разговора об «Орфее», опасался даже произнести вслух это слово, которое сам когда-то придумал. Все это в прошлом, и сейчас здесь беседуют два совершенно частных лица.

Опасения Зейды оказались преувеличенными: немцы не лишили рабочих добавочного пайка, ведь нужно было, чтобы производство не останавливалось. И перед началом смены, когда выдавали ром и сигареты, Гонза очутился в очереди вместе с Павлом.

— Закурим, что ли?

В клозете было полно народу, привычное место на калориферах парового отопления занято.

— Пойдем на воздух!

— Ну что ж, пойдем.

Пронизывающий ветер прогнал их со двора. В потемках, пахнувших сыростью и угольной пылью, они прошли куда-то в конец завода, пересекли колею заводской ветки и укрылись под стеной крайнего здания — здесь не было ветра, но мороз все равно кусал за пальцы.

Они глядели в темноту. За колючей оградой, в нескольких мет-

рах от них, на путях станции, покачивались в ритме ходьбы синие огоньки фонарей. Там было необычное оживление: суматошно заливались свистки, звякали буфера, пыхтел маневровый паровоз, рассыпая снопы искр.

На последней колее, сразу же за забором, стоял длинный состав, отсюда были видны контуры больших товарных вагонов.

— Пригнали сегодня вечером, — равнодушно сказал Гонза, — воинский эшелон. Я заметил его, когда ехал поездом, еще не совсем стемнело. Танки, а в вагонах, видимо, боеприпасы. Наверно, где-то опять разбомбили пути или еще что-нибудь. Замаскировали все это брезентом, но, если завтра заметит пикировщик, быть фейерверку! Охраняют солдаты, железнодорожников туда не подпускают.

— Гм...

Павел погасил сигарету и вернулся к начатому разговору.

— Дело не в нескольких заведомых идиотах, — сказал он хмуро. — Дураки и сволочи есть всюду. Но ты не убедишь меня, что мы, чехи, ведем себя правильно.

— Может быть. Но ты не убедишь меня опять-таки в том, что у нас ничего не делается.

— Всюду и при всех обстоятельствах найдутся люди, которые... О них также не идет речь. Мы с тобой не можем их упрекать за то, что они не приняли нас к себе. Они знали почему. Но я говорю об остальных...

— Глупо требовать геройства от каждого, — деловито возразил Гонза.

— Геройство! Это слово меня раздражает. В нем есть излишняя напыщенность, оно часто служит отговоркой. Не быть коллаборационистом или доносчиком недостаточно. Нельзя созерцать происходящее, не ударяя пальцем о палец, и при этом твердить себе: у меня все в порядке, меня не в чем упрекнуть, я кормлю семью, учтите, пожалуйста. Мне страшно жалко, что так много людей умирают на фронте и в тюрьмах, но что могу сделать я, маленький чешский человек? Я умываю руки и жду, что меня освободят, а пока работаю на заводе... Сложилась психология: русские наступают, американцы тоже — ура! А я еду на завод и получаю добавочный паек и выпивку.

Гонза погасил недокуренную сигарету и сунул ее в коробочку.

— Ты говоришь так, словно сам не получаешь этих сигарет. Пойди верни их!

— Не в том дело! — отрезал Павел.

— Что ты знаешь? Может, те, кого ты сейчас бранишь, выступят активно, когда придет время...

— Время! А когда оно придет? Когда русские оттащат нас от этих станков?.. И тогда мы будем ходить и кричать на каждом углу, как мы героически страдали! Кому это нужно? А сейчас? О, сейчас, конечно, всякая опрометчивость неуместна, будем благоразумны! Ужасное благоразумие в этой несокрушимой заботе о собственной шкуре!

Они замолкли, услышав звук шагов. Кто-то, насвистывая, шел

мимо складов. Верхуц? Он прошел, и у них отлегло от сердца. За оградой из колючей проволоки массивные контуры вагонов. Если присмотришься, видно, как красноватые огоньки сигарет движутся вдоль вагонов. Кто-то там кашлянул, гравий зашуршал под кованым сапогом.

— Вот видишь, — приглушенным голосом продолжал Павел, — если завтра заметит пикировщик...

Гонзу рассердила горькая ирония, с которой он повторил его слова.

— Ну и лезь туда сам! Лезь! С голыми руками. Лезь под пули, это будет так полезно!

— Ерунда, — прервал Павел, но в голосе его была неуверенность. — Обрати внимание, как это въелось в нашу психологию. Кто-то другой пусть действует. Это засело в каждом как плесень, и во мне тоже. Как зараза! Я тщетно ломаю себе голову, откуда она взялась. У нас всегда была эта мерзкая трезвость? Когда же в последний раз это твое большинство нашего народа было объято единым порывом? Порывом, который поднял бы чехов выше духовного уровня конгресса часовщиков, превратил бы их в нечто цельное, сплотил общей идеей, общей судьбой или национальным сознанием?

— Ты невозможно преувеличиваешь!

— Ну и пусть! У нас теперь слишком мало преувеличивают... Преувеличивали мы разве что в тридцать восьмом. О, тогда да! Потом все как-то угасло. Протекторат со всем покончил. А может, это затухание началось гораздо раньше? Не знаю, меня тогда не было... Правда, если бы мы тогда сопротивлялись, нас бы разгромили. Кое-кто сейчас потирает руки: мол, хорошо, что Запад нас тогда подвел, великолепно, теперь мы с чистой совестью выпутаемся из всего, и basta! А я чем дальше, тем больше убеждаюсь, что ни из чего нельзя выпутаться. Вот в чем дело! Могут быть невозместимые потери в живой силе или материальных ценностях, но еще больше потери в самих людях, внутри них! Они понесут это наследие как незримый горб. Протекторат! Кролики, которые не поднимают голов от своей капюсты! Думаешь, все это не оставит следа?

— Я не люблю пророчеств.

— Я тоже. — вздохнул Павел и, после паузы, продолжал уже усталым голосом: — Думаешь, у тех, кто в прошлом году с оружием в руках поднялся в Словакии, была такая трезвость? А они поднялись! Или в Варшаве? Ты можешь, конечно, возразить, что, мол, в Словакии — горы, а здесь условия куда труднее, да и чем там все кончилось... Все это я знаю, но для меня главное в другом — в умонастроении множества людей. Пойми это! Ты думаешь, я впадаю в панику и преувеличиваю? Буду рад, если ошибаюсь. Мне вовсе не хочется ставить себя выше других.

Мороз щипал нестерпимо, Гонза дышал на кончики пальцев и тонулся на месте.

— Ладно, оставим это, — сказал он устало и тут же добавил: —

Будь у человека две жизни, ты, может, и вправе был бы требовать, чтобы он, не моргнув глазом, пожертвовал одну ради великих идеалов. Может быть... Но когда жизнь одна...

— Тем более!

— Ладно, я знаю, что ты хочешь сказать... погоди, не перебивай. Я знаю твое состояние и знаю, что тебя гложет, Павел. Мне ненамного легче. Я тоже создал себе свой мирок, может, он существует только в моем воображении, этаким абсолютно мой мирок, но мне в нем жилось чудесно. Я думал, что со мной в этом мирке ничего не может случиться. А вот случилось! Почему — не знаю. Случайность это или неизбежность — не знаю. Логика, которая мне непонятна. А тебе? Видимо, человек, если он один, ничего не может сохранить. И спрятаться некуда. Человек — ничто. В том-то и беда. Но осуждать? Кого и по какому праву? Что, собственно, мы совершили? Мы только хотели совершить. Может, и это уже хорошо, но война от этого не станет короче ни на минуту. Я понял это тогда, у Мертвяка. Но еще не примирился с этим. Еще нет. Кстати, все это еще не конец.

Огонек спички на мгновение выхватил из темноты неподвижное лицо. Металлический лязг буферов подействовал как команда.

— Да. Еще не конец.

Не сказав больше ни слова, Гонза и Павел разошлись в разные стороны, чтобы не привлекать внимания вершущих. Холод, веявший из вселенной, разогнал их раньше, чем они могли разрешить затянувшийся спор.

Почему молчишь? — мысленно спрашивал Павел. — Я давно тебя не слышал. Упрекаешь? Нет, не упрекай, то, что было между нами, сильнее времени и расстояния. Это правда. Это смысл всего. Я выдержу. И когда ты вернешься — отсутствие твое не может быть долгим, — я все тебе расскажу, ничего не скрою. Так почему же? Прежде ты возвращалась ко мне легкая, как воспоминание, как прикосновение пальцев к векам, и была настоящая. Что же тебя отгнало? Моя слабость? Бессилие? Или просто время? Когда ты вернешься... Но сколько до этого еще пройдет дней, сколько ночей? Он сбросил пальто, потер руки — они были холодные и влажные, — опустил штору и зажег лампу. Топить было нечем. Все было как обычно: грязное окно, за ним коридор со скрипучими половицами, лампа с бумажным абажуром, кушетка — внутри нее, среди пружин нечто завернутое в промасленную тряпку. Павел долго сидел на кушетке, упершись локтями в колени, и прислушивался. За стеной стучали ходики, слышались неторопливые старческие шаги, постукивал костыль. Секунды бежали, одиночество становилось нестерпимым.

Оставалось выйти на улицу. Не застегнув пальто, без шапки Павел выбежал в февральские сумерки, пробиваясь сквозь них, как через зараженный участок. Идти было некуда. Он пошел наугад.

Навстречу ничему — он чувствовал это. Никуда.

Там было тепло. Оно шло из-под окна. Павел прижал колени к твердым ребрам калорифера и глядел во тьму над руслом реки.

— Не зажигай света, — сказал он, не оборачиваясь, ему не хотелось ничего видеть.

Голос за спиной оторвал его от дум:

— Я не люблю темноты.

Это невозможно, он протер глаза и пришел в себя. Это был другой голос. Ему вдруг нестерпимо захотелось, чтобы она молчала!

Он лег рядом с ней на желтой постели и, хотя здесь было темно, знал, что она желтая, как большинство вещей здесь. Он ощущал тепло живого тела и особый его слабый аромат и не двигался.

— Зачем ты, собственно, пришел? — спросила Моника.

— Не знаю. Мне было холодно.

— Ах, так! Тогда согрейся! Хоть какой-нибудь прок.

— Я тебе помешал? Если ты ждешь кого-нибудь...

Она шевельнулась рядом.

— Нет, лежи. Если кто-нибудь позвонит, я просто не открою. Ключ я никому, кроме тебя, не давала, а трубку брать не буду. Хочешь есть? Или пить? Не отказывайся, война сюда еще не добралась, отец заботится обо мне, у него совесть неспокойна, есть причины. Если бы ты захотел здесь остаться, мог бы легко это сделать. Мы бы прекрасно прокормились. А что, если мы запремся здесь и выйдем, когда все кончится? Будем вот так лежать на ковре, иногда наслаждаться. При полном свете. Не может все это долго продлиться. Какое нам до всего дело!

Павел изумился.

— Это ты несерьезно, Моника!

— Может быть, — сказала она вяло. — Знаешь, почему я тебе это предложила? Да потому, что у тебя отчаянно скудное воображение, ты все воспринимаешь чересчур серьезно.

Павел не возражал. Она дышала совсем рядом с ним, жалобно прижималась к нему узкими бедрами. Такое знакомое тело! Прежде оно так легко пробуждало в нем волнение и желание. Пальцы его были погружены в ее русые волосы. Но в душе у Павла все уже молчало, все молчало. Вновь это знакомое прикосновение чего-то, жалость, пронизанная благодарностью, отвращение к себе и чувство бессилия. Моника была далеко, реальная, близкая, но чужая. Почему она не прогонит его?

Он не устоял и погладил ее по лицу.

— Не притворяйся, Павел!

Он убрал руку. Ему никогда не удавалось обмануть ее. Надо бы уйти.

За окном выл ветер и кидался на стекла.

— Я только не знала, что это будет так трудно, — сказала она после долгого молчания и отодвинулась от него. Скорей всего машинально. Она говорила спокойно — только констатировала положение вещей. — Это моя ошибка. Мне совершенно ясно, что я тебе надоела. Только не лги, я запрещаю тебе лгать. Это не значит, что ты мной пресытился, — тут дело в чем-то другом. А я тоже больше не могу так, Павел. Ты понимаешь? Это конец.

Зачем только я шел к ее двери, зачем нажал кнопку звонка? — думал Павел. — Как-то неожиданно вдруг очутилась передо мной эта дверь... Без всякой явственной причины его вдруг охватило предчувствие чего-то неотвратимого! Избавления нет. Поздно!

Он вздрогнул и приподнялся на локтях.

— Не знаю, было ли у нас когда-нибудь настоящее начало, — сказал он.

— Наверно, не было. А ты считаешь, что я заслужила такое отношение?

— Прости, — сказал он глухо. — Но я ничего от тебя не скрывал. Короткий смех в темноте заставил его вздрогнуть.

— Замечательно! Я должна бы еще поблагодарить тебя! Оценить твое благородство, а? Ты злой безумец! Чего я не выношу, так это твое вечное «прости», твою смешную и гнусную правдивость. Умыл руки, а? А сам молишься призрак! Неужели ты не можешь понять, Павел, что я тебя ни в чем не упрекаю? Я не обманутая служанка. В мире уже некого и не за что упрекать... И почему я тебя встретила, можешь ты мне это объяснить? Почему именно я? Ты ни в чем не виноват, ты и существуешь и не существуешь, ты просто рожден моим упрямым воображением. Не знаю, почему меня так забрало! Некоторых понятий я терпеть не могу. Любить — это значит иметь, и ничего больше. Ну и что? Я пыталась что-то преодолеть, я не узнавала самое себя, такая я была терпеливая, поверь. Наверно, я думала, что докажу это тем, что я жива. Но, видимо, этого мало... Знал бы ты, как мне плохо! Если я чему-нибудь не смогла научиться, так это покорности. Надо бы напиться, пона у нас есть время. Ведь его осталось так немного...

Он чувствовал на щеке прерывистое дыхание Моники. Она была в полном изнеможении. На улице прогрехотал грузовик, в окне задребезжали стекла.

— Сегодня я хотела тебе кое-что сказать, — услышал Павел через минуту. — Кое-что ужасно важное, даже невероятное. Я назвала бы это чудом, если бы чудеса творились не только в сказках. А может, это даже и не чудо, а просто ошибка в прежнем диагнозе. Я была у врача. Есть надежда, Павел! И даже больше чем надежда — я бы сказала: уверенность, если бы я так во всем не изверилась. Ты слышишь меня? Я разревелась, как девчонка, когда слышала это. Ты будешь жить, твердила я себе целый день, будешь жить!.. И все вокруг меня изменилось... или я стала смотреть на все иначе. Понимаешь? Прежде все было по-иному — я боялась чего-нибудь хотеть, слишком крепко за что-то ухватиться. А теперь... теперь я уже не могу по-прежнему, не могу! Что ты на это скажешь?

Он поколебался с минуту, чувствуя, что это не к добру, но уж слишком ему стало грустно. Правду ли она говорит? Чудо! А что, если она лгала прежде, если вся эта обреченность была выдумкой избалованной, скучающей девчонки? Что он знает о ней? Ничего, хотя спал с ней много раз, хотя находил наслаждение в этом хруп-

ком и жадном теле, хотя они упивались в объятиях друг друга. Чужие люди! У тебя нет на это права. Все гораздо проще. И действительно, с какой бы стати она призналась в этом?

Он нашел и сжал ее руку.

— Я рад за тебя, Моника, — горячо сказал он, и это была не ложь.

— Правда?

— Моника, может, я тебя обидел... Может, вот и сейчас... — он запнулся. — Но я страшно хочу, чтобы ты была счастлива... В самом деле... Я... ты знаешь...

Она вырвала руку и приподнялась.

— Ты, ты этого хочешь? — Она вздрогнула и хрипло рассмеялась. — Ты желаешь мне счастья, добрячок? Ты и врать-то как следует не умеешь!

— Моника! — взмолился он, но она не замолчала.

— Я тебе скажу, как ты ко мне относишься! Я тебе абсолютно безразлична! Абсолютно! Я для тебя ровно ничего не значу, словно меня и нет. Потому что ты думаешь о ней! Только о ней! Если бы я даже покончила с собой...

Павел нажал выключатель, и желтый свет упал на их обнаженные руки. Он встал, провел рукой по волосам, не отваживаясь взглянуть на нее. Что же я такое наделал?

— Пойду, — сказал он, не глядя на нее.

— Иди, я тебя не держу. Вот только идти тебе некуда, не так ли? Некуда! Иди к ней, дурак. Ничтожество! Я тебя ненавижу, понимаешь, я уже избавилась от тебя. Вот сейчас! Наконец-то!

У него не хватало сил прикрикнуть на нее. Он даже не узнавал ее — другая, незнакомая Моника сидела перед ним в гладких обтянутых брюках, поджав ноги, русые волосы переливались в свете лампы, круглые глаза, которые ему так нравились, глядели на него с ненавистью и страстью. Что сверкало в них? Злоба? Отчаянье? Отвращение? Гордость? Все вместе! Он испугался их. «Это конец, ты понимаешь?» Всем существом он ощущал это. Что она говорит? С ума она сошла? Он стоял над ней, опустив руки и отвернув лицо, чувствуя, что его начинает трясти.

— Будь ты хоть чуточку искренен... Если бы ты не боялся правды, ты признался бы по крайней мере самому себе, что ее уже нет в твоём сердце... что ты о ней даже не вспоминаешь! Не чувствуешь! И только уговариваешь себя, воскрешаешь ее в себе... Но напрасно. Ждешь ее, а сам... Нет, нет, не заставишь меня замолчать...

Он схватил ее за запястья, грубо стиснул изо всех сил — она даже вскрикнула. Она бессильно билась в его руках, продолжая говорить. Не слушать ее! Заставить молчать! Скорее, пока есть время! Инстинкт самосохранения властно требовал: зажми ей рот, ударь по лицу, убей ее, если надо, но останови этот торопливый, горячий поток слов. Кто ты? Чего ты от меня хочешь? Зачем я тебя встретил? Чтобы ты

убила меня? Ты смерть? Я не знал этого, когда обнимал тебя, не знал, что ты убиваешь словами, а не косой, не знал, что у смерти такое сладкое тело. Любовница-смерть! Ты пришла лишить меня иллюзий. Молчи!

— Зачем ты говоришь мне все это? — хрипло вырвалось у него. — Я запрещаю тебе так говорить... о ней! Ты не смеешь! Моника! Слышишь? Довольно!

— Запрещаешь? Теперь запрещаешь? Тысячи раз ты меня спрашивал об этом, мучал меня разговорами о ней, а теперь запрещаешь? Я скажу тебе, почему ты этого так боишься. Потому что сам понимаешь то, что я тебе скажу. Она мертва! Уже давно... Страшно давно! Она и той ночи не пережила, глупец! Ты хочешь решить квадратуру круга. Теперь ты знаешь! Излечись как можно скорей от этого!.. Тебе не удалось найти этот интеграл, и ничего ты тут не изменишь... как и я.

Ветер обрушился на оконные стекла и, казалось, многократно усилил безмолвие в комнате. Который час? Мне пора бы идти, но... Нет, нет! В душе Павла что-то вскрикнуло и умолкло. Он поник и смутно осознал, что все еще сжимает узкие запястья. Это показалось ему нелепым, но он не ослабил хватки, потому что еще не осознал с полной ясностью того, что услышал, не ощутил всей силы удара. Он в упор смотрел в лицо Моника, но не видел его. Земля под ним слегка колебалась... Смешно!

Павел покачал головой и сказал неправдоподобно спокойным голосом:

— Это неправда, Моника. Неправда. Пойми...

— Правда! Хочешь доказательств? Ведь ты любитель фактов. Могу доказать тебе на фактах, я разузнала это в твоих же интересах... Когда ты, наконец, поймешь, что она живет лишь в твоём сознании! Ты фантазер! А если не поймешь, так иди к ней, хотя бы на тот свет, потому что больше тебе нигде нет места... Даже около меня! Я живая, понял? Тронь меня, возьми меня, Павел, убедись, что реальна я, а не она, проснись же, ради бога!

Он сбросил с себя ее тонкие руки.

— Я ненавижу тебя, — сказал он, отвернувшись. И, уже не обращая на нее внимания, на ощупь схватил свое ветхое пальто и, не оборачиваясь, пошел к двери.

— Павел!

Нет, ничто не могло остановить его. Возглас, раздавшийся ему вслед, был заглушен стуком двери.

XII

...Можно поручиться, что это педераст. В лице на фотографии, которая закрывала часть деревянной стены, было что-то округлое, бабье. Гонза когда-то слышал, что среди нацистских вожakov немало таких, которые спят со своими шоферами... И что за чепуха лезет

в голову в такой момент! Ты ведь здесь совсем не затем, чтобы раздумывать о всякой чепухе, — отсюда можно угодить прямехонько на виселицу или по крайней мере в тюрьму. Сосредоточься, хоть ты ничего и не знаешь! А как, собственно, это делается? Живо, живо, пока на тебя не обращают внимания! Ты щенок, которого взяли за шиворот и притащили сюда, вот ты кто! Щенок, который ничего не понимает!

Нередко, поднимаясь с постели, Гонза задавался вопросом: а что случится сегодня? Это действовало как заклинание — ничего не случилось. Но сегодня он забыл о заклинании. Я суеверен, как старый негр!

Они ехали с матерью в трамвае, она сидела рядом в своей шинели, разговаривала с ним, робко, как всегда, улыбаясь, и казалась ему помолодевшей и гораздо интересней, чем раньше. Ей тридцать восемь! Жизнь ее еще не прошла. Гонза подумал, что наконец-то он начинает понимать ее, не столько как мать, сколько как женщину, с которой судьба связала его какими-то странными отношениями. Это твоя мать. Что бы там ни было — она твоя мать!

Гонза чувствовал, что мать хочет ему что-то сказать. Смущенная, она кружила вокруг главного вопроса. Спросила, что он собирается делать после войны, и в конце концов осведомилась, любит ли он кого-нибудь. И когда услышала строгий ответ, замолчала. И все же Гонза дождался: неуверенным и виноватым голосом она спросила, не станет ли он возражать, если после войны она выйдет замуж.

Гонза сразу же отрицательно покачал головой и не без удивления обнаружил, что недоволен гораздо меньше, чем ожидал. «Что ты знаешь? Вероятно, он хороший человек, вероятно, по-своему любит мать — грубовато, по-простецки, без капли воображения, без влюбленности, — зато это чувство постоянно, как расписание поездов... Не оправдывай, мама, ни себя, ни его, а то мне становится стыдно. То, что я пережил, выбило из меня беспощадную категоричность юности, которая так легко осуждает». Гонза не высказал всего этого матери, но был уверен, что она поняла, — радость светилась в ее глазах. Когда они расставались на шумном вокзале, она неожиданно поцеловала его в щеку и сказала: «Береги себя, Еник!»

Да, бывает, что фраза, сказанная невзначай, потом наполняется скрытым смыслом. Случайность? Пробежав туннель и выскочив на перрон, Гонза уже забыл мамины слова, потому что увидел Бланку. В расплывавшемся свете он сразу узнал ее по посадке головы и замедлил шаг. На переходном мосту он потерял ее из виду. И сразу съезжился от холода. Военский эшелон все еще стоял на последнем пути у ограды — застывший призрак в зыбких сумерках. Фейерверк не состоялся. Вскоре он перестал думать о нем, потому что заболел зуб. Дергающая и пока еще глухая боль усиливалась с каждой минутой. Хорошенькое дело, ну и ночь предстоит! Надо было сходить к

зубному — сходить раньше, чем попадешь с воспалением надкостницы в лапы коновалов из заводской амбулатории, как попал на той неделе Леош. Замахивался на третью империю, герой, а дрожишь перед бормашиной! Кончиком языка он ощупал дупло в коренном зубе, и ему показалось, что зуб вырос.

Скука ночной смены с обычным довеском в виде голода да еще с приступом зубной боли... К тому же еще нестерпимо хотелось спать. После полуночи — если будет подходящая обстановка — попробую смыться; все будет зависеть от Мелихара, но он сегодня ужасно мрачный и вообще какой-то странный: его запавшие глаза то и дело блуждают по цеху, словно он ждет кого-то, а меня даже не замечает... Я не я, если он меня сегодня не пропесочит, грубиян этакий! Сволочь зуб! У Гонзы даже потемнело в глазах, и поддержка едва не вывихнула ему руку. Дзуб... дзуб... — о-глу-ша-ю-щий дзуб, пот льет градом, а над ним лицо дьявольского кузнеца. Что-то он сегодня так разошелся? Куда гнет? Зачем эта спешка? После того как Гонза трижды не удержал поддержку, великан отбросил молоток, всунул голову в отверстие крыла и заорал так, что на шее у него вздулись жилы:

— Что это с вами? Небось днем с какой-нибудь шлюшкой баловались? Или еще что? Я за вас работать не собираюсь! Дураков нет, гимназистик!

Гонзе хотелось огрызнуться, сказать ему о больном зубе, но злость, упрямство и жалость заставили его молчать. Поди-на ты к черту, ответил он одним взглядом. Недолго тебе осталось куражиться надо мной. Вот кончится все, только вы меня и видели. А тебя, шкура, и не вспомню!

— Na also *, — протянул Башке и захлопнул папку. Наконец-то! У него был довольный вид чиновника, который закончил дело и с удовольствием берется за следующее. Эту его медлительность, цель которой подорвать самообладание допрашиваемого, Гонза знает еще по первому допросу, но сегодня все иначе. Оба мы сегодня иные, кроме того, мы не наедине тут: вот этого типа, что развалился на стуле у окна, я определенно никогда не видел. Исключено, чтобы такая рожа не сохранилась в памяти. Новенький или прислали откуда-то? Иногда он равнодушно поглядывает на меня и подавляет зевок: скучает и ждет своего момента. Скулодробитель. Тип придурковатого вышибалы.

Башке встал, прихрамывая, обошел стол, уселся худым задом на его угол и уставился на Гонзу глазами покойника.

— Вот видишь, — сказал он с вкрадчивой укоризной и покачал своим зеленоватым черепом. — Не говорил ли я тебе, что мы еще встретимся? «Орфей», да? У меня хорошая память. Но сегодня разговор будет о другом — ты сам знаешь. Не советую уверять себя, что ты будешь молчать. Не будешь, мой мальчик! — Он прищелк-

* Итак (нем.).

нул сухими пальцами. — Совершенно исключено, что ты ничего не видел, ничего не заметил. Не будешь говорить здесь, заговоришь в другом месте. Там тебе откроют пасть, даже если придется разорвать ее, запомни это! Но этого может и не быть. Ведь у тебя нет никаких причин покрывать их — нам ясно, что ты к ним не принадлежишь. Они не так глупы, чтобы принять всякого сопляка. Прав ли я? Прав! Я хочу от тебя очень мало, и, если ты будешь благоразумен, мы с тобой sofort* закончим дело. Только одно имя! Ты обратил внимание, что мы забрали тебя совсем незаметно? Никто еще не знает, что ты здесь, так что бояться нечего. Понимаешь, как это удобно? Через несколько минут ты сможешь вернуться на свое место, и никто ничего не узнает. В противном случае твое дело табак. Klar? ** У меня в столе есть некая папка, не заставляй меня раскрывать ее. Na also...

...если бы зуб хоть на минутку перестал болеть! Вырву его, сволочь такую, зайду к первому попавшемуся дантисту, если, конечно... «Береги себя, Еник!..» Гонза представил себе, как мать в своей форменной шинели проталкивается по тускло освещенному вагону. Толкотня, вонь, ветер дует из всех щелей — фаршайне, битте, пожалуйста, билеты... Где же я? Я забыл тебе что-то сказать, мама, не помню — что, но мне так жалко...

— Ну, говори, говори! — отрывисто кричит Мертвяк в лицо Гонзе. Как у него в руке появилась линейка? Вот она мелькнула перед глазами и хлопнула Гонзу по шее. — Кто его предупредил? Ты видел! Должен был его видеть! Говори!

До того как все это случилось, время тащилось нудно, натянутость между Гонзой и Мелихаром не ослабевала.

В половине одиннадцатого Мелихар сердито отбросил молоток и кивнул: пошли пиво пить! Они вместе зашагали в хмурой тьме, поглядывая на небо. Звезды зябко мерцали в просветах между туч, с неба веяло холодом и щемящей тоской. Гонза молчал, прижимая руку к щеке, ждал, пока Мелихар заговорит. Это произошло в узком проходе, недалеко от столовки, и то, что Гонза услышал, заставило его от удивления замедлить шаг.

— Вы меня как-то спрашивали насчет всяких этих глупостей... помните, молодой?.. Состою ли я... В общем то да се. Как раз вот на этом самом месте. — Он сказал это почти шепотом, и его тон удивил Гонзу больше, чем сам вопрос.

Гонза колебался, не знал, что ответить, и шагал в ногу с Мелихаром.

— Да, — наконец сказал он небрежно. — Я тогда ожидал, что вы стукнете меня по шее. Я был идиот, Мелихар, романтический глупец. Сами знаете, школа, книги... Сейчас все это уже не пришло бы мне в голову...

— Это почему же?

— Так. Я излечился здесь. Действительность не такова, как я ее

* Тотчас (н е м.).

** Ясно? (н е м.).

себе представлял. Не сказал бы, что она оградна. — Он раскашлялся, потом продолжал: — Вы были правы — каждому хватает своих забот. Нам всем тут изрядно досталось. Не очень-то приятная школа, но, видно, без нее нельзя. Волей-неволей начинаю понимать, почему я здесь и какой это имеет для меня смысл: полная потеря иллюзий. Всех. Глупо!

Великан с минуту молчал, посапывая, потом сердито отрезал:

— Что вы там поняли — ваше дело. А вот звоните вы столько, молодой, что ум за разум заходит!

— Что с тобой? — запавшим ртом спрашивает Мертвяк. Он запыхался, орудуя линейкой, и со стуком отбросил ее на стол. — Чего ты все время скалишь зубы? Ты смеешься? Не советую, сопляк.

— Нет, — уныло ответил Гонза. — Просто у меня болит зуб.

Брови Мертвяка поднялись, потный лоб сложился в морщинки. Такого случая у него еще не было.

— Зуб? — повторил он. — Вон оно что! Это как же понимать, шуточка? — Он повернулся к тому, третьему, который до сих пор молча созерцал происходящее, и сказал по-немецки: — Придется заварить ему ромашку! Как, Вилли? — Эта мысль рассмешила обоих, и они разразились хохотом, но Башке тотчас посерьезнел и кивнул Гонзе на скулодробителя, хлопавшего себя по мощным ляжкам. — Перед тобой самый ловкий дантист в мире. Пошути еще разочек, и у тебя в жизни уже не заболит ни один зуб! — Худые пальцы его вцепились в отвороты пиджака Гонзы. — Однако хватит! Фамилию! Назови фамилию! Его кто-то предупредил, и мы должны найти этого человека. Считаю до десяти.

— Я ничего не знаю, правда...

— Не знаешь фамилии? Тогда покажи нам его.

— Я никого не видел и не знаю, что вы от меня хотите... Я...

— Ничего не знаешь, ничего не помнишь. Знакомые ответы!

Пальцы Башке ослабли, он вытер платком лоб и кивнул третьему. Тот встал со стула и подошел к ним.

А что потом? Все разыгралось, как в сумасшедшем фильме; это был водоворот.

И все происшедшее до сих пор ясно стоит перед его глазами. На часах, помнится, было около двенадцати, — оставался час до ночного перерыва, ноющая боль в десне, Мелихар где-то болтается; братья за халтуру ему было еще рановато.

Гонза стоял, опершись о крыло самолета, и зевал, потом глянул в сторону «Девина». В этот момент откуда-то притапал на своих тумбах Мелихар, молча наклонился над ящиком с инструментом и стал бестолково рыться в нем; в торопливости его движений было что-то незнакомое. Что он ищет? Еще через секунду Гонза увидел его лицо и понял: что-то случилось. Что-то гнетущее — еще неведомое Гонзе — нависло в воздухе. словно бы открыли кран и зашипел, выходя, газ. Что с Мелихаром? Его широкое бугристое лицо застыло, как маска, и только малень-

ние глаза чуть двигались под насупленными бровями. Откуда повеяло грозной стужей? Гонза оглянулся: кругом ничего. Несколько знакомых рабочих заняты у стапелей, грохот пневматических молотков терзает уши. Одиннадцать часов пять минут... И вдруг руки Гонзы покрылись холодным потом. Что же такое с Мелихаром? Гонза снова посмотрел на него — их взгляды на мгновение встретились, — но бригадир тотчас же отвел глаза; казалось, он с трудом ворочает шеей. Может, его мучают фурункулы? Мелихар не сводил глаз с главного прохода между участками. Газ. Инстинктивно, а может, по чистой случайности Гонза тоже посмотрел в ту сторону — следующие несколько секунд были насыщены стремительными событиями. Ш-ш-ш... И опять как в полусне Гонза видит себя как-то со стороны. Появился человек в рабочем комбинезоне и, сунув руки в карманы, остановился у конца крыла; Гонза знал его лицо. Не молодой и не старый — работает в термичке? — да, да, наверняка в термичке. От Гонзы не ускользнуло, как человек едва заметно кивнул Мелихару и тотчас исчез. Что это значит? Сигнал? Сигнал чего? Мелихар? Он предстал перед Гонзой в отверстии крыла, как в рамке, и, когда их взгляды встретились, Гонза понял, что от Мелихара тоже ничего не ускользнуло. Мелихар знал, что Гонза видел. Ну что ж, видел так видел.

Поняв, что Мелихар хочет ему что-то сказать, Гонза приблизился к нему.

— Спокойно, молодой! Идут за мной, курвы! Надо смываться. Вас это не касается, вы ничего не знаете. А если что и видели... так все позабыли. Позабыли. Дело серьезное...

Мир заколебался и сосредоточился в одной точке. Мелихар! Движения его не ускорились, но стали более рассчитанными и точными, глаза выжидательно помаргивали, косясь в стороны, на измазанном лице, кажется, мелькнула даже улыбка, а может, это мне только показалось. Поскорей бы ты уходил, господи Иисусе! Почему он медлит?!

Секунды отлетали, как искра от огнива.

Бегите уж, Мелихар!

У Гонзы вдруг перехватило дыхание: впервые за долгие месяцы суровой дружбы он почувствовал, как громадная лапа, нагонявшая на него страх, сжала ему локоть. И не успел он опомниться, как уже был один.

Один. Один наедине со вселенной. Небо оставалось неизменным, оно дышало вечностью мироздания. В просветах между облаками Орион направил сверкающий жезл на созвездие Тельца — наивные эмоциональные представления, рожденные старенькой картой звездного неба Доппельмайера — рубиновая Бетельгейзе и далекая звезда Ригель, а еще дальше Сириус и Прокцион из созвездия Малого Пса... Но вот полночный ветерок прикрыл их облаком, похожим на какого-то зверя...

Мысли? Гнать их, они ослабляют. Вчера, когда Павел убежал от Моники и шел по темным улицам, его вдруг осенило, словно вспышка магния осветила подвал, полный хлама и паутины. И в этом синеватом свете Павел увидел... Все неслыханно просто. Это приказ. Остается

только выполнить... Это будет выход, это будет поступок. И это все? Да, все!

Павел прижался к деревянной стене и положил свой багаж на землю; багаж был тяжелый, но рука не чувствовала тяжести. Ее словно не было, он вообще ничего не чувствовал. Стал вещью в холодном пространстве, спусковым крючком, к которому близится палец. Такая штука, наверно, стоит на краю света, если он вообще существует.

Половина двенадцатого. Павел протер слезящиеся глаза, потянулся и пришел в себя. Где же ты? Колючий ветер вынюхивал что-то среди мертвых складских строений, гудел в проводах. За спиной шумел завод, перед глазами у Павла были грузовые эстакады, подъездные пути и колючая ограда. Она не видна, но Павел знает о ней. Знает и то, что в этой ограде есть дырка, через которую можно пролезть на ту сторону. Для этого надо лечь на землю и приподнять у столба проволоку, там всего десять, двенадцать шагов, не больше. Павел ощупал карман пальто, карман был оттопырен и слегка отвисал. Это успокаивало.

Там, на последней колее. Из дальнего вагона к Павлу доносятся голоса, невнятное пение, заунывные переливы гармоники. Там они. Вот с визгом откатилась вагонная дверь, слабый свет вырвался в темноту. Один из них соскочил на землю и, глухо кашляя, стал мочиться у забора.

Павел насчитал двадцать два вагона — ничего не говорящее число. Они стояли в трескучей тишине, чистые от мороза, похожие на отдыхающих животных. Павел был обстоятельный человек: он осмотрел поезд с моста над веткой еще до того, как сгустились февральские сумерки. Знакомые контуры на платформах, покрытые маскировочным брезентом в зелено-коричневых разводах. Танки. Зенитки, стволы которых направлены вверх; в середине состава, в двух шагах от дыры в ограде, три товарных вагона — несомненно, с боеприпасами. Шрапнель. Мины. Возможно, фаустпатроны. Павел знал их по кинохронике «Уфа». Кому ведомо, что там еще. Тысячи, десятки тысяч смертей, упрятанные в ящики, ждут своего момента, чтобы вырваться на свет. Гнусности!

Павел выбрал ближайший вагон и ощутил обманчивое удовлетворение, какое человек обычно чувствует, приняв решение. Но тут же рассудок предостерег: нет, нет! Сколько их здесь? Четверо! Он насчитал четверых, они сменялись через каждый час и проходили с равномерными интервалами по обе стороны состава, приближались, удалялись. Он попытался определить систему в этих обходах, и, кажется, ему это удалось. Надо только улучшить момент, когда оба часовых будут подальше от этого вагона, и тогда... В два приема — сперва добежать до ограды...

Неторопливые шаги шуршат по гравию, звенят о камень железные подковки сапог, ветер разносит эти одинокие звуки, они назойливо проникают в сознание, мешают ему. В мозгу упорно возникает стандартно правильное лицо немецкого солдата — то ли это лицо с примелькавшихся плакатов, то ли он где-то видел его. Может, это лицо часового, который прохаживается в нескольких шагах от Павла, прохаживается, ничего не подозревая, — топ... топ... Ему тоже холодно? Может, и ему тоскливо, может, и его мысли витают где-то далеко... Может, ему мерещит-

ся, что он сидит дома за празднично убранном столом, а на дворе погожий день, солнце и мирная тишина, косогор над рекой, или что он лежит рядом с женщиной, той самой, по которой он тоскует бессонными военными ночами. Нет, нет, Павел знает: этот убивал, казнил, именно он тогда стрелял в нее... Почему бы это не мог быть он? Наверняка! Если бы он сейчас знал, если бы догадывался... Павел упорно вызывает в воображении стандартное, невыразительное лицо и разжигает в себе ненависть. Надо, надо, потому что такова действительность, оба мы в ней запутаны — я и тот за забором, — оба в ее власти, как две мухи в паутине... Это действительность, гнусная, извращенная, без смысла и сочувствия, исполненная жестокой неотзывчивости, подлая действительность мира, который развратили, растратили, разорвали; в нем человек может испариться, как спирт, замереть, как звук, это действительность случайного появления на свет и бессмысленных преждевременных смертей, к ней страшно прикоснуться, она неизлечима, тошнотворна — действительность рабов, у нее лицо Моника и круглые глаза, ее дыхание и лоно, но коснись ее, и она рассыплется у тебя под пальцами. Ее нет, есть только плоть, кровь, ткани, выделения. Смирись! — говорила она ему. С чем? Что все бессмысленно? Что мир — сплетение случайностей? Невозможность? Квадратура круга?.. Нет! Разве я могу?

Заполучить бомбу было не так-то легко. Борек, которого Павел поздно ночью поднял с постели, отчаянно упирался. Он тер заспанные глаза под толстыми стеклами очков и вздрагивал от холода в своей лабораторно-беседке. И от страха. «Не дури, старик, я не хочу связываться с таким делом. Не хочу! Я не могу ручаться за бомбу: взрывная сила в порядке, а вот механизм зажигания — химический — действует с помощью кислоты». На минуту превратившись в увлеченного химика, он объяснил свой замысел: повернешь, мол, вот этот краник, и она начнет действовать, — но больше ни о чем не хотел слышать. «Сколько секунд? По моим расчетам, минимум тридцать, а вернее всего — больше... Ты что, с ума сошел? Я не хочу иметь тебя на совести». Борек даже вспотел от страха, руки у него дрожали. «Я все это чисто теоретически, понимаешь... Нет, она небольшая, поместится в маленький чемоданчик, но... пойми же, старик!»

Нет, Павел не понял, и его отчаянная настойчивость сломила трусоватого теоретика, который все же заставил Павла поклясться, что никто никогда не узнает, откуда у него бомба. «Погоди минутку, надо по крайней мере кое-что проверить, сумасшедший!.. И уходи, пожалуйста, пока я не раздумал... если б я знал... Все равно теперь не сомкну глаз...»

Под покровом тьмы Павел уносил свой чемоданчик, не чувствуя мороза, не испытывая страха. Ничего. Будь осторожен, не урони чемоданчик, слышишь! Павел следил за каждым своим движением. Он ехал в переполненном трамвае, и ему казалось, что сонные глаза пассажиров устремлены на него. Чепуха! Если бы они знали... Он представил себе панику, дерганье звонка, беспорядочное бегство.

Выйдя из трамвая, Павел поежился от холода. Куда теперь? Он был около парка и зашагал по безлюдным дорожкам. По памяти он нашел то, что искал.

Вот здесь.

Пустая скамейка. Он нащупал ее в темноте, поставил на нее чемоданчик и сел рядом. Тиканье часов на руке усыпляло. Свист ветра в голых ветвях привел Павла в себя. Озябшей рукой он провел по спинке скамьи. Зазубрины, сердца с инициалами, непристойности, в общем ничего особенного, обыкновеннейшая садовая скамейка, бесчувственный кусок дерева и железа, безнадежно немой. Чего ты тут ищешь? Уходи! Павел встал и поспешил оттуда, неся в сердце пепел разочарования.

Он спрятал «багаж» в каморке и отправился домой. Отец был дома: где ты ходишь? Павел что-то соврал ему, не заботясь о правдоподобии своей версии; старый портной лишь вяло кивнул, ушел в комнату и лег на кушетку.

Павел стиснул зубы и, овеваемый ветром, сипло дыша, знакомыми улицами вернулся в каморку. В каморке было пусто. Павел зажег лампу, вытащил из-под дивана револьвер в промасленной тряпке, вынул обойму из магазина, как его учил Войта, и тщательно проверил механизм. Щелк, щелк... Это приятно рассеивало. Пишкот! Наконец-то!

Осторожно приоткрыв дверь, Павел на цыпочках вошел в мастерскую, которую знал как свои пять пальцев и мог бы ходить там с закрытыми глазами. Несмотря на это, он наткнулся на манекен и с трудом удержал его от падения. Павлу вспомнилось, что, когда он был маленький, взрослые потешались над ним потому, что он боялся этого манекена. «Он без головы! — твердил Павлик и показывал пальчиком на деревяшку, которая заменяла манекену голову. — Без головы!»

Из простенка послышалось стариковское покашливание: Челек уже вернулся с партии марьяжа и лег спать. Не разбудить бы его, не хочется ни с кем разговаривать! Павел пошарил на закрытом столе, между ножницами и утюгом нашел кусочек мела, унес его к себе в каморку и написал на гладком боку «багажа» слово из пяти букв. Потом погасил свет, лег навзничь и уставился в черную тьму. Время текло, как дурно пахнущая жижа, тихо, тупо, осязаемо, мир утратил звучание, потом возник вполне определенный, но удивительно далекий топот. Павел заткнул уши и ждал. Ничего! Спокойствие небытия. Шорох в черепной коробке, в висках, в ушах, гудение телеграфных столбов. Не думать! Как это делается? Надо отбиваться от мысли: как только она коварно подобралась, надо резко повернуться на бок, тогда на мгновение ускользаешь от нее. Еще раз и еще! А потом... резкий укол, словно шпоры, — это уверенность, невозможная, недопустимая, гнусная... Павел даже не знает, может быть, он выкрикнул эту мысль вслух. Нет!

Он нащупал выключатель, уставился, жмурясь, на раскаленную нить лампочки и тяжело дышал от напряжения. Ничего! Старый дом спокойно спал, как человек, у которого чиста совесть.

Почему ты молчишь?

День был закован в туман и стиснут тоской. Павел бродил по улицам, покрытым скользкой грязью, заходил в пронизанные сквозняками

пассажи, глядел на опустошенные витрины и в невыразительные лица встречных, шел куда-то, смешавшись с потоком прохожих. В закуской он торопливо сжевал гуляш без мяса, не замечая, что ест, потому что неотступно думал — как пронести все это на завод? Перебросить через ограду? Безумие! Пронести через проходную? Это смертельный риск и вместе с тем единственная возможность. «Что тащишь, Павел?» — спросил его кто-то в трясущемся автобусе. Бесхитрый вопрос. Павел только равнодушно качнулся головой. «Положи чемоданчик наверх, тут и так не повернешься». Спокойно, только спокойно! Перед входом он смешался с толпой, вместе с ней двигался и, прижимая к себе чемоданчик, сунул пропуск ленивому вершущу под самый нос. Тот скуцаяще зевнул и даже не посмотрел на фотографию. Только не ускоряй шаг! «Павел!» Он оглянулся через плечо. Бацилла, запыхавшись, почти догнал Павла возле фюзеляжного цеха, пристал к нему, как репей, и не умолкал. Чего только он не нес! Ну тебя к черту, — яростно думал Павел, — отцепись! Иди уж лучше в бордель, к этой своей Коре, и отстань от меня! Ты бы умер на месте, если б знал, что я несу. Он бесцеремонно ускорил шаг, стараясь избавиться от толстячка, но ему было чуточку жалко глядеть, как тот торопится за ним на своих коротеньких ножках, не понимая, почему Павел так упорно молчит. Наконец около лестницы в раздевалку Бацилла отстал, и Павел с облегчением вздохнул.

Наконец-то один. В одиночестве есть некое сомнительное преимущество, больше того — злое наслаждение. А что еще? Жалость? К кому? И страх? Быть может, и страх, но Павел запретил себе бояться. Вот он стоит, прислонясь к стене, чужой самому себе, узник в собственном бесчувственном теле, и знает, что возврата уже нет и не будет, что уже нельзя искать пути назад, он не смеет делать этого, потому что близок к цели. Позади, как на маминой цветной скатерке, то, что принято называть прошлым: обычная улочка — складка на теле города, чахоточный садик, окруженный большими домами, и набережная, квартирка и портновская мастерская, где мальчуган играет в полосатый мяч, атлас звездного неба и изрезанная гимназическая парта, первая сигарета, первое свидание, желанный велосипед — награда за успешный переход в восьмой класс... А впереди только мрак — сухой, шуршащий от мороза, лезет в рот, как глина.

Наверняка замерзну... утром здесь найдут обессиленное тело... с этим вот под ногами... А поезд увезет свой груз смерти. Сейчас, сейчас, время пришло! Соберись с духом и действуй! Шаги приближаются — хрустит щебень, — шаги затихают... Сейчас — пытайся, сейчас — должен! Руки! Есть у тебя руки? Секунды извиваются, как глупые черви, и ветер. Пора! Опять часовой... Нет, у тебя не хватит духу. Ты один. Один. Только ты и эти за забором, и снова он рядом в двух шагах от тебя, покашливает, а ты не можешь, не можешь. Удаляется. Пора! Нет, поздно, это конец, конец всему! Предатель, ты снова и снова предаешь и убиваешь ее, да, да, не они убивают, а ты! Нет, нельзя, чтобы тебя нашли здесь, чтобы поймали живым, как кролика! А что, если вытащить из кармана эту штуку и застрелиться! Он чувствовал, как пальцы

сами шарят по ткани пальто. Нет, нет, трус, хочешь уйти... нет! Он зажмурился и стизнул зубы, чтобы не всхлипнуть.

И вдруг — совсем неожиданно — все прояснилось. Он изумился — видно, облегчение может прийти даже в минуту предельного напряжения сил, когда человек уже готов сдаться.

Голос. Он услышал его между двумя порывами ветра. Совсем рядом. «Не оглядывайся! Это я. Я с тобой».

Он сразу же узнал этот голос, но не оглянулся. Сознание смутно подсказало ему, что лучше не оборачиваться, — он испугает ее. Довольно того, что она здесь. Павел вздохнул, открыл глаза и убрал руку с оттопыренного кармана. Все было естественно, как собственное дыхание, и не удивило его.

Я знал, что найду тебя, беззвучно сказал он. Да, она была здесь, он чувствовал, как растворяется в ней, как она заставляет его плакать, но он справился с собой, он не смеет отпугнуть ее своей слабостью. Это моя вина, что я не нашел тебя раньше. Если б ты знала, сколько глупостей я натворил... а ведь все было так просто. Только сейчас я это понял. Здесь!

Не говори больше об этом. Ты же понимаешь, что сейчас не время.

Я понимаю, но хоть минутку! Два слова! Мне надо так много тебе сказать, но я не знаю, с чего начать. Мне стыдно перед тобой... Если бы ты знала... Я чуть было не поверил ей...

Кому, Павел?

Ей, смерти. Она любит носить маску. Порой красивую. Она называет себя реальностью. Но я уж знаю, что это не так. Я знаю это благодаря тебе. Она совсем не та, какой представляют ее люди. По крайней мере не должна ею быть. Нет, пока человек не сдастся и не поверит ей. Не противиться ей равносильно убийству. Это значит убить все: мир, свет. Убить равнодушием, собственным одиночеством в этой ледяной пустоте. Многие уже в ее власти, но они еще двигаются, соприкасаются друг с другом, не подозревая, что сеют вокруг смерть, что сами уже не живые, а лишь пустые, изглоданные тела, окоченевшие кости, обтянутые кожей...

Я не понимаю тебя.

Это не важно. Я люблю тебя... Видишь этот состав за оградой? Он нагружен смертью. В последнем вагоне лежит пуля, отлитая для нас. Для тебя! Этот поезд не должен уйти. Теперь понимаешь?

Да. Но ведь есть другие поезда.

Знаю, знаю, но этот ждет меня. Ну говори же, я хочу тебя слышать. Где ты была так долго? Мне было так плохо без тебя!

Не спрашивай, Павел. Ведь ты все еще такой же умный и рассудительный...

Нет, я уже не такой. Я изменился, понимаешь? Отказал мне этот испытанный, старомодный разум. Он вообще изгнан из нашего века. Я не буду тебя расспрашивать — довольно того, что ты здесь. Тебе не холодно? Страшная стужа!

Уже не холодно. Я всегда мечтала жить в тебе, скрыться от всего мира... Помнишь, что мы однажды обещали друг другу?

Помню. Ты больше не уйдешь, да? Не надо! Обещаешь?

Да, я буду всегда с тобой. Пойдем, нам пора...

Погоди! Ш-ш-ш. Слышишь шаги? Пусть пройдут...

Павел вдруг понял, что лежит ничком на бугристой и твердой, как сталь, земле, сжимает ручку чемоданчика и не чувствует холода. Дыра в ограде! Павел нащупал ее, проволока обжигала пальцы и поддалась только после яростного нажима. Он слегка приподнял проволоку, подставил деревяшку и, не обращая внимания на боль в исцарапанной руке, стал ждать.

Снова приближались шаги — прошуршали в двух метрах от дыры, было слышно чье-то дыхание, подковка звякнула о камень, и снова удалились...

Ты здесь?

Здесь. Будь осторожен, милый... Тебе страшно?

Нет, не страшно, уже не страшно. С тобой не страшно.

Я горжусь тобой. Пойдем же! Вперед, пока он не вернулся! Это близко, два-три прыжка. Я помогу тебе. Я очень тебя люблю.

Порыв ветра донес заунывный напев гармоники и невнятные голоса, но теперь они не пугали. Вот сейчас! Пора! Павел сам не ожидал, как легко он пролез с чемоданчиком в дыру и, низко пригибаясь, преодолел небольшое расстояние до эшелона. Ему казалось, что он невесом, что сила тяготения исчезла, что какие-то шумы разносятся в нем и затихают в громкой тишине. Вот он уже и здесь. Камни возле шпал, запах отработанной смазки. В темноте он нащупал гладь рельса и отдернул руку: холодный металл жжется! Спокойно! Он в три погребели согнулся под осью у колес, прижался к шпале, прерывисто дыша, согревая пальцы. Молчи же, сердце! Но сердце грозило разорвать грудную клетку, внутри что-то росло и распирало, лезло в рот, хотелось нашьлять... Отчаянным усилием воли Павел подавил кашель, так что даже потемнело в глазах. Он должен!

Шаги. Они приближались, замерли у вагона. Чудовищно близко он увидел два силуэта солдатских сапог, сапоги потоптались на месте и пошли дальше.

Не медли, нам надо уходить отсюда, слышишь? Ну действуй! Как тебя учили?

Я хотел бы тебя погладить.

Быстро!

Руки сами торопливо взялись за дело — в них появилась незнакомая уверенность... Осторожно, так, так... Павел пошарил и нашел детонатор, но, прежде чем отвернуть его, затаил дыхание и прислушался. Ничего. Только ветер стонет в проводах у полотна, гармоника смолкла. Пора! Что за свист? Это в ушах. И в жилах. Во всем теле. Значит, я живой. Это только жизнь — и ничего другого. Ты здесь?

Здесь.

Щелчок был едва слышен, но он проник в самые глубины сознания, вывел Павла из оцепенения. Двадцать, тридцать секунд, не больше... Павел слышал, как бешено помчались эти секунды, их топот отдавался у него в мозгу... Три, четыре... Скорее беги отсюда!.. Это стучит ста-

ренький, запыленный будильник, что стоял на шкафу у нас дома. Павел узнает его торопливый сбивчивый ход — др-р-рины! «Вставай, Павлик», — слышится издали мамин голос... Возможно ли это? Здесь? «Просыпайся, уже девять... десять!..» — «Но я не сплю, мама!»

Беги отсюда, прошу тебя, беги! Не медли, дай мне руку!

Павел успел еще выхватить из кармана револьвер и отвести предохранитель... Тринадцать, четырнадцать... Кто-то ласково подталкивает его, наверное, это ее руки, ведь она рядом с ним... Он ударился лбом о что-то твердое и чуть не вскрикнул. На четвереньках, как неповоротливый жук, он вылез из-под вагона. Спокойно, спокойно... Еще три шага, и он в безопасности... Под руками рельсы и колючий щебень...

Что это? Возглас изумления в потемках заставил Павла выпрямиться. Дыра, где же дыра в ограде?! Окрик... нет, слух его не обманывает... Хальт! Хриплый рев справа... Хальт! Топот солдатских сапог и рев... Хальт! Пронзительный свист и металлическое звяканье. Они приближаются...

Беги, я с тобой... убежим от них!..

Нет! Павел растерянно метнулся в другую сторону, побежал вдоль вагонов, выставив вперед руки, мчался, не слыша ни злобного окрика, ни топота сапог сзади. Когда он проснется, за окном уже будет день, совсем будничное время...

Вспышка страшного, ненатурального света ударила ему в лицо, ослепила глаза, он инстинктивно отскочил, на ходу без размышлений спустил курок... И снова никто ему не мешал, и он бежал, не чуя под собой ног... Но вот опять луч света нагнал его и вскочил ему на спину, залил его...

Выдержи, они не должны нас поймать! Дай мне руку и не оборачивайся!..

Удар — откуда-то издали донесся сухой щелчок, — кто-то с нечеловеческой силой ударил Павла в плечо, в бок, он зашатался, земля поднялась и метнулась ему в лицо закопченными шпалами, рельсами, камнями и увядшей травой... Он выбросил вперед руки, чтобы смягчить удар... вспышка, какой-то неистово яркий свет...

Он не чувствовал боли. Ты еще здесь?.. Рассветает... боли нет, успокоительная тишина застыла вокруг, они наедине и укрыты от всего света, медлительно течет время, догорают звезды, и вселенная застывает в глазах.

Он попытался пошевелить губами. Знал, что не один, — она с ним.

Я рад, что ты мне встретишься в жизни. Я ни о чем не жалею...

И я тоже. Все хорошо. Нас не поймают.

И когда сознание Павла уже угасало, он почувствовал, что на лицо ему легла ее рука и закрыла от него медленно надвигавшуюся темноту.

Главарь на стене противно ухмыляется... Хоть бы не было здесь так жарко! Сил нет!

Ну так что ж? Узкий, как щель, рот Башке похож на покойнический.

— Долго, ты думаешь, я буду тут с тобой возиться? Неважно, покажешь нам его. Ах, ты ничего не видел? — Костлявая рука с пожелтевшими от табака пальцами поднимается. — Как зубик? Болит? А к чему тебе теперь зубы? Не хватит еще с тебя? Willi, er will noch mehr, Mensch... *

Половина первого. Ребята возвращаются из столовки, кто-то — наверно, Богоуш — кричит в темноте: «Где Гонза? Видно, дрыхнет!..»

— Ах, каналья, какой же ты... Еще хочешь? Вилли!

Выстрелы? Чушь, это мне показалось...

— Говори, говори, сволочь!

И что они все время хотят из него выжать, ведь он ничего не знает и не помнит...

— Ах ты, тотальная сволочь, бродяга!

Ну и бейте, раз, два! Во рту теплая, сладковатая каша... Этот мясник со зверской рожой в своей стихии, пот льет с него градом, а он бьет — бьет без злобы, обстоятельно, с усердием профессионала... Bravo, Вилли, с каждым ударом я все больше ненавижу всех вас! Бейте, быть и вам битыми, все равно, останусь я живым или нет, так и знайте!.. Хватит, пусть его оставят, пусть лучше его отвезут, по крайней мере передохнет минутку, сможет подумать о другом, сосредоточиться, сможет отключить сознание от тела, в Индии, говорят, это умеют делать йоги, — я когда-то этим очень интересовался, человек никогда не знает, что ему может пригодиться... Вот, например, его здесь нет, он где-то в другом месте, сидит где-нибудь в кино, на экране кого-то лупят, а он сидит себе в безопасности, в двадцать первом ряду и с аппетитом посасывает зскимо — до чего здорово! — а дома спрашивает: «Что, дедушка, лев сильнее тигра?» Мелихар... Нет, я его не упрекаю... Ишь, гимназистик надутый... а сколько раз я мог поднять поддержку? Изо рта у меня течет кровь, брови напухли, словно поднялось сдобное тесто, боли особой нет — только ноет, тянет, саднит. Вспоминаете, как мы играли в шахматы? Сила против воли. В тридцатый раз: «Говори!» Какая жара! Всегда я хромал по математике, а думал-то, что уже сдал на аттестат зрелости. Дед мне тогда подарил в награду свои часы-луковицу. Нескончаемый экзамен на зрелость, по какому же предмету меня спрашивают и где взять шпаргалку? Зуб? Молчи, дурак, шестой нижний слева, не до тебя сейчас, когда не чувствуешь, где лицо. Раз, два! Нет, я не свалюсь на пол! И не подумаю свалиться! Хватит, хватит, не то начну орать... орать на всю округу... Нет, не начну и даже не пикну, ведь меня здесь нет, я сейчас в кино «Пилот» на ковбойском фильме, не пикну, потому что все это меня не касается... Мне тут так отделали карточку, что я уже не я, а кто-то другой. А если выпутаюсь из всего этого, буду снова другим, потому что здесь человек меняется после каждого удара... Хватит уж, я не могу больше, глаза нельзя, это против правил, Вилли, за это тебя могут дисквалифицировать...

Затрещал телефон — райский звук! Мертвяк кивнул: «Перестань-ка, Вилли», — и неверной рукой снял трубку.

* Вилли, этот парень хочет получить еще... (не м.).

— Алло?
— Ja, bitte...

На другом конце тархтел чей-то голос, Башке лишь ошалело кивал:

— Ja, ja. Gut. Ich komme... *

Он положил трубку, снял пальто с вешалки, пощупал карман. Подошел к Вилли, который около рукомойника жадно пил воду из бутылки, и что-то тихо сказал ему: «Ja, gut...» Припадая на одну ногу, подошел к допрашиваемому и усмехнулся.

— Продолжение следует. Не воображай, что ты уже отделался. Это была бы ошибка, мой дорогой.

И с силой, которую в нем трудно было предполагать, он ухватил Гонзу за плечи, повернул к дощатой стене и толкнул так, что Гонза ударился лбом в стену и охнул.

— За любую попытку удрать недосчитаешься ребер. Без фокусов! Можешь пока на досуге подумать обо всем. Долго ждать не придется.

Дверь хлопнула, прихрамывающие шаги стали удаляться.

Не двигаться! Он слышал, как заскрипел стул под тем, вторым. Надо собраться с силами для следующего круга. Как назло, началась боль — господи Иисусе! — она становилась все сильнее и сильнее. Закрой глаза, попробуй пошевелить мышцами лица. Ой! Перед ним прыгали красные, желтые, фиолетовые пятна. Ладно, не двигаться! Под ложечкой сосет и мутит, хочется помочиться. Если он вернется и опять станет бить, я поступлю, как младенец. Ну и что ж! Гонза ощущает рот языком, рот полон сладковатой слюны, зубы чудом уцелели, но когда он попытался облизать верхнюю губу, то едва не застонал от боли. Живое мясо! Перед ним была деревянная стена, напоминавшая карту какой-то местности, — слоистые разводы, темные кружочки сучков. Это было неинтересно, и он прищурил заплывший глаз. Меня здесь нет. И все-таки он был здесь. Что же дальше? Это я. Я. Мое «я» находится здесь. Он чувствовал это «я», чувствовал напряженно, по-особенному: обычно человек не думает о своем «я», оно живет в нем скромно, неприязнательно, заглушенное звуками извне, и только подстерегает. Терпеливо ждет и вдруг дает о себе знать мурашками холода по спине. Во время болезни, а порой и в миг наслаждения. А при смерти? Вот я — твоё «я». От меня не избавишься — куда там! — мой час настал. Настал он и сейчас. Думай обо мне, и прежде всего обо мне, потому что у тебя больше ничего нет, никаких шансов, никаких надежд, только «я», твоё избитое, запуганное, ужасающе одинокое «я», слышишь? «Я» — каземат, из глубины которого никого не дозовешься, треснутая раковина, и в ней гудит предчувствие близкой гибели. «Я» — это слабый фитилек и сладкая тщета между первым и последним вздохом, «я» — это наслаждение и ужас перед небытием, перед «не я», это призрак, повисший в пустоте, балка, не выдерживающая тяжести, «я» — это все то незнаемое и неоткрытое, из чего состоишь ты и что есть в тебе, — твои поступки, мысли, слезы, измена и подлость, величие и гор-

* Да, да. Хорошо. Я иду... (и е м.).

дось. «Я» — это жизнь и смерть, и осознание этого самого «я» — твое единственное сознание и единственный свет для твоих глаз. Ты чувствуешь его? Я, я! Все остальное — обман, ложь, видимость, фразы, скорбный жест из-за призрачной рампы и зов с того берега, мир, в который ты брошен, ничего не понимая. Ты мечешься в нем и все равно волей такого же бессмысленного случая будешь изгнан, так и не поняв ничего. Внешний мир — это другие люди в скафандрах собственных «я», ты не знаешь их радостей и печалей, тебе не умирать их смертью... Твое «я» даже не включает в себя человека, из плоти которого ты вышел, от которого ты отделился, даже не любимая, даже не самое близкое тебе существо. В твоём «я» — ты один, один, неизбежно и неизменно один, обреченный узник своего «я». Весь смысл «я» — в самом себе, ибо какое тебе дело до других «я», до «я» нации, класса, расы, чего угодно, когда твое собственное «я» болит, когда оно на краю смерти и дрожит от страха?

И вот это твое «я» сейчас здесь — твое, а не чужое. А могло бы и не быть здесь... для этого нужно только открыть рот и выкрикнуть в тоске одно-единственное слово, одно имя... Кто посмел возложить на твое «я» страшное бремя решений? Тот, кто, как я сейчас, не держал в кулаке это свое несчастное, извивающееся «я», — тот не вправе болтать и осуждать! Ну, хватит, хватит! Молчи и не думай! Но почему же, скажи мне, Душан, почему? Совесть? Мораль? Верность? Измена? К дьяволу все это, ты же знаешь, как лопаются здесь жалкие выдуманные понятия. Душан, ты был прав, тысячу раз прав, теперь я понимаю... И все-таки ты, Гонза, не можешь выдать! Не можешь? Почему? Почему? Начиная докапываться, что тебе замкнуло уста: Пишкот, как ты, сумел молчать, веснушчатый Пишкот — ведь ты наверняка знал! Стало быть, есть что-то выше, чем «я»? Вздор, выдумки! Говори! Говорите же, Павел, Милан, Войта, Мелихар — мне это нужно знать прежде, чем вернется Башке, иначе я не ручаюсь за себя. Я обливаюсь потом от страха, ноги у меня подкашиваются, свалюсь я здесь на пол и начну плакать, орать. Нет, не смейтесь! Надо убежать от своего «я», от самого себя!.. Скорей бы он пришел, это нестерпимо, я чуть ли не мечтаю о новых ударах, потому что эти думы еще хуже, куда хуже!..

Гонза переступил с ноги на ногу и привлек к себе внимание Вилли. Это его испугало.

— Na was? — послышалось за спиной. — Willst du trinken? Wasser? *

Он говорит! Гонза даже не подозревал, что этот нескладный робот способен по-человечески разговаривать. Издевается? Излюбленный прием. Мертвяк его проводит с портсигаром. Если ты думаешь, что я попадусь на удочку и тем самым дам повод стукнуть меня, то ты ошибаешься, Вилли! Меня тут вообще нет.

Вилли за его спиной глупо хихикнул, но не встал со стула; видно, берег силы для дальнейшей работы.

— Na was, — проворчал он. — Wie du willst, Mensch? **

Где-то пробили часы — бам-м-м! — половина второго. Время таяло

* Хочешь пить? Воды... (н е м.).

** Чего ты хочешь, парень? (н е м.).

в душевной комнате, боль усиливалась, а прихрамывающих шагов все не было слышно. Гонза затаил дыхание и прислушался. Дом был весь пронизан звуками; некоторые он разобрал, другие были непонятны. Стук пишущей машинки, телефонные звонки, голоса, заглушаемые журчаньем воды в клозете, хлопанье дверей и рев автомобильного мотора, запущенного на полные обороты. Явно «мерседес». Может, меня повезут в ней... Не часто доводилось мне ездить в автомобиле... Губа нестерпимо болит и все больше опухает. «Опять ты подрался, Еник?» — «Шкара дразнился, мама, что у меня зубы как у белки». Болезненно преувеличенная гордость мальчугана, не знавшего отца, — устойчивый комплекс неполноценности! В столовке уже, наверно, тушат свет... Они сидят рядом над тарелкой рассыпчатого рулета, и Бланка смеется над Гонзой за то, что он сперва съедает картошку, а кусочек мясной начинки оставляет под конец. Привычка детских лет! Слышен гудок паровоза. За стеной кто-то разнузданно гогочет, так обычно смеются похабной остроте. И вот!..

Шаги. Они приближались по скрипучим половицам коридора, неторопливые, ровные, без прихрамывания. Бог весть почему он был уверен, что это за ним, и сердце его бушевало.

Он не ошибся. Дверь скрипнула, кто-то вошел.

Он не посмел обернуться, смотрел в стену. Услышал, как вошедший и скучающий Вилли небрежно обменялись приветствиями, потом человек, видимо, подошел к Вилли и шепотом сказал ему что-то. Гм... «Ja. Ja». Гонза затаил дыхание, но слов было не разобрать.

«Na was, gut... ich bleibe hier, ist gut, na ja...» * Это говорил Вилли.

Что же происходит?

Сильный толчок в бок заставил Гонзу очнуться. Меня повезут в город, в Печкарну, на профессиональный допрос. Мотор ревел, пущенный на полные обороты.

— Пошли! — суровая команда сверлила мозг. — Никаких фокусов. Мне приказано при первой попытке...

Гонза не видел лица этого человека, но, поворачиваясь к двери, успел заметить форму веркшуца и пистолет армейского образца. Знаю я его? Судя по голосу и форме... Пошатываясь, Гонза вышел в безлюдный, тускло освещенный коридор со множеством дверей и направился было к выходу в другом конце его, но веркшуц сжал ему локоть.

— Нет, направо. Schnell! Пошевеливайся, а то...

Что происходит? Уж не хочет ли он в темноте пристрелить меня, как собаку? Это не пройдет, я буду кричать, позову Мертвяка. Да и к чему такая бессмысленная спешка?

Дверь в конце коридора раскрылась, за нею темная ночь. Осторожно, тут ступеньки! Морозный воздух жадно лизнул лицо, Гонза содрогнулся от холода, который сразу же проник под пиджак, но это было приятно. Куда же теперь? С ума он сошел? Кто это такой?

— Идти можешь?

— Да. — Доставлю, мол, тебе такое удовольствие. Но каждый шаг

* Ну что, хорошо... Я остаюсь здесь, ладно... (и см.).

причинял невыносимую боль. Гонза не выдержал. — Можно... помочь?

— Только живо!

Что это должно значить? Гонза заметил, что они удаляются от проходной и идут в потемках все дальше. Он узнал стену котельной, гудящий силуэт электростанции... споткнулся и, наверно, упал бы, если бы спутник не поддержал его.

— Ты что дуришь, черт возьми?

Все было как в кошмарном сне, но Гонза шел и шел. Они очутились перед деревянным баракom, каких много на заводской территории, — видимо, склад — верхуц взялся за ручку двери, с минуту прислушивался. Потом он простучал какой-то сигнал, еще немного подождал и только после этого нажал ручку и подтолкнул Гонзу. Они вошли в сыроватую, кромешную тьму, где пахло тряпьем, мылом и еще чем-то. Когда за ними закрылась дверь и щелкнул замок, помещение скудно осветилось.

Веники, ведра — большие и маленькие, груды мешков и другой хлам, на ящике стоят закопченная спиртовка и две миски, на стене висит слегка надорванный плакат и — красная лапа протянулась к Градчанам, подпись: «Схватит тебя — пропадешь!» Рядом что-то приписано мелом — Гонза не разобрал.

— Чего уставился, братишка? — раздался за ним голос. — Надо же нам было хоть чем-нибудь разукрасить стену. Портрет Сталина повесим попозже...

Гонза обернулся и остолбенел: опять он, этот старикашка из поездал! Старик подошел к нему, шевеля кустиками бровей.

— Чего уставился, братишка? — повторил он. — Здесь тебя Мертвяк не найдет. А я и не знал, что это опять ты. — Он кивнул верхуцу на ошеломленного тотальника. — У нас с ним есть одно дельце, понимаешь, Честа? Я ему должен кожу на подметки, только придется с этим подождать, нынче уж не достанешь в вагонах такой кожи, всю посрезали. — Он хихикнул и потер морщинистые ручки. Потом с серьезным лицом повернулся к верхуцу. — Башке еще возле эшелона, Каутце вызвали из дому... У вас все в порядке, а?

— В порядке, — проворчал верхуц, застегивая кобуру. Болтливость старика, видимо, его раздражала. Он швырнул фуражку на ящик, сел рядом и стал растирать колено. — Здорово его отделали, думал, что совсем не дойдет. Башке вызвал того остолопа из города... Собачий холод, бр-р-р!

И Гонза узнал его: он не раз видел этого верхуца в проходной и в цехах — этакая заурядная внешность, лицо не молодое и не старое. На заводе у этого человека не было никакой репутации — он не отличался ни свирепостью, ни особенным рвением, ни, наоборот, общительностью — весь был незаметный и неинтересный.

— С этим делом покончено, — сказал он. — Не хотелось бы мне, чтобы из-за него поплатился Манек, не так он плох, как думают люди...

А вы передали Шебеку в цех? Он еще, кажется, ничего не знает, и я не удивлюсь, если проговорится. Если только стоило ради этого...

— Он знает, что делает! Я приготовил тебе одежду, Честа, но пойдете вы завтра. Все вместе. Сегодня будет горячий денек... — объяснил дед и повернулся к Гонзе. — Здесь ты не останешься, братишка, уж очень здесь сквозит. — Он отодвинул от стены один из ящичков, и оказалось, что под плакатом есть дверь. — Ну, чего стоишь, словно истукан?

Он открыл дверь и осветил внутрь. У Гонзы вырвался возглас — от боли лицо его искривилось.

— Мелихар!

Из серой полутьмы навстречу ему поднялась гигантская фигура.

— Ну чего?

Гонза хотел кинуться к нему, но сдержанность Мелихара охладила его; тот растерянно щурился, как разбуженная сова.

— Что вы уставились на меня, молодой, словно десять лет не видели? — Это прозвучало чутьчку приветливо, бригадир по привычке слегка толкнул Гонзу в грудь, и его маленькие глазки удовлетворенно блеснули. — Виделись-то мы не так давно, и я вам чуть было не накостьял шею — терпеть не могу, когда работают спустя рукава. Ну, главное, что все обошлось, черт побери! Уж коли вы из-за нас влипли, пришлось вас выручать. Не думайте только, что ради ваших красивых речей. Расшаркиваться сейчас не время. А ну, покажитесь, — переменял он тему и в тусклом свете лампочки стал осматривать прищельца; опытной рукой ощупал его челюсть, приподнял пальцем отекающую бровь, так что тотальник закряхтел. Мелихар удовлетворенно прищелкнул языком. — Отделали вас, молодой, как на ринге у Гаека не отделают. Дед, — обратился он к старику, — не глазей, а лучше приведи-ка его в порядок. А то и на интеллигента не похож! Есть у тебя пластырь? Добро. А как зубы? Целы? Главное, подальше убирать язык.

Старикашка ушел в переднее помещение и закрыл за собой дверь. Мелихар и Гонза остались наедине. Мелихар поправил фитиль лампочки и подбадривающе кивнул.

— Я им ничего не сказал, Мелихар, — поспешно заговорил Гонза. Каждое движение губ стоило ему больших усилий.

— Скажем, так. Да много ли вы знали-то!

— И в гестапо я бы тоже никого не выдал. Я...

Мелихар удивленно приподнял брови.

— Ишь ты! — воскликнул он. — Уже похваляется! Это вас так в гимназии учат? Смотри, какой герой! Откуда вы знаете, черт возьми, что не выдали бы? Вы там были? — Он хлопнул себя ладонью по бедру. — Не устояли бы, говорю вам, что не устояли бы! Башке тамошним мастерам в подметки не годится. Ему, может, и хотелось бы вылезти в начальники, да там оказались половчей, молодой, молитесь богу, чтоб туда не попасть. Они даже не спросят напрямик, а так вас околпачат вопросами и пинками, что вы и сами не поймете, выболтали что или нет. — Он помолчал и добавил, уставившись в темный угол: — Почему, как вы думаете, мы тут торчим? Не от хорошей ведь жизни! Тут даже

пива нет. Потому что кое-кто не удержал язык за зубами, ясно, а? И не какой-нибудь сопливый тотальник, а такой человек, что вы бы глаза вытаращили, кабы узнали. Черт их разберет! — В нем, видно, кипели озлобление и жалость, он сжимал и разжимал кулаки и, наконец, забормотал, скорей для себя: — А кстати говоря, если бы вы там заговорили, многим пришлось бы сейчас худо. Иной раз все зависит от таких вот звонарей... такое уж время! Чего вы торчите, как столб, садитесь! Только не на тот ящик — там у меня пирожные для праздничка, не дай бог, помнете...

Гонза блаженно плюхнулся на стул и провел языком по пересохшим губам.

— Что будет дальше, Мелихар?

— Откуда я знаю? — почти грубо отозвался тот, но тотчас смягчился. — Второго крыла мы с вами уже не склепаем... наши рожи тут очень уж на заметке. Сбегайте, спросите Даламанека, не наложил ли он еще со страху в штаны? Есть у вас куда деться?

— Пожалуй, некуда... Не знаю, куда мне теперь идти.

Гигант с минуту недовольно морщил лоб и мял свое левое плечо.

— Этого еще не хватало, — проворчал он. — Надо было давно дать вам коленкой под зад. Не хватает мне охранять сопляков, которые затеяли играть в войну!

— Вы о нас знали, Мелихар?

— Где уж мне! — саркастически отрезал тот. — У вас на носу все было написано, этот ваш крем для загара. На что вы рассчитывали? Думали, что люди все бросят и побегут быстро-быстро под немецкие пули? Особенно этот ваш шут в шляпе с дырками — работать он не горазд, а вот трепаться и подбивать людей... Вам повезло, что всех вас не похватили на другой же день. Не думайте, что вы были одни... Ваша мать работает на железной дороге, что ли? Мы дадим ей знать о вас, чтобы она не померла со страху. Устроим вас на работу — есть ведь и другие заводы...

Гонза пошевелился на стуле.

— Мелихар, ругайтесь как хотите или стукните меня, если я вас опять разозлю... но примите меня к себе...

У Мелихара, казалось, дух захватило, он даже привстал с места, но быстро успокоился.

— Ну хватит! Спятили вы, видно, молодой! Вас принять? А за что? Может, за то, что вас там сегодня отделали? Норов у вас есть, да только за приключениями идите в кино. У нас не киношка, у нас ставка — голова, вот и весь сказ. А теперь и вовсе. Вам-то зачем совать голову в петлю, дурень вы?..

— Я все понимаю, Мелихар. А вы меня испытайте...

Видимо, только потому, что это было сказано упрямым тоном, Мелихар умолк; он хмуро смотрел перед собой, мял пальцами заросший подбородок и сердито молчал.

Из соседнего помещения приплелся старикашка с марлей и пластырем и удивительно ловко, не переставая бормотать, перевязал физиономию Гонзы. Тот только кряхтел потихоньку. Когда за дедом закры-

лась дверь, оба вздохнули с облегчением. Мелихар расправил широкую спину, доски скрипнули под тяжестью его тела.

— Это не мне решать... Они вас как следует испытают, молодой, проверят, чего вы стоите. — Он не скрывал, что просьба Гонзы ему не по нутру, и, видимо, решил отругать его за все наперед. Ждать ему пришлось недолго.

— Мелихар, можно вам задать еще вопрос?

Гигант остановился около лампочки, сурово насупив брови.

— Это вы... Олень? Башне говорил... — Гонза осекся, лицо Мелихара, освещенное снизу, заставило его затаить дыхание.

— Угу! — Мелихар поднял ручки к потолку. — Из-за вас я и вправду стал оленем! * Скачу на четырех ногах и жру траву! Тут кругом все одни олени. Что вы еще хотите знать, осел... с аттестатом? Обязательно вам нужно совать нос туда, где его могут прищемить?.. Довольно, что вы мне испортили столько заклепок! Трепать языком вы умеете, а больше от вас нет толку!

Низким до хрипоты голосом он честил подавленного Гонзу, потом внезапно, как все вспыльчивые люди, остыл и «доругал» его уже лениво, с прохладцей. Оба долго молчали и слушали, как ночной ветер рвет толь на крыше и воев в водосточных трубах.

Предутренний мороз лез во все щели.

— Ну, хватит трепаться, молодой, — сказал, наконец, Мелихар. — Ложитесь-ка вон там в углу и постарайтесь всхрапнуть. Никто вас отсюда не понесет на ручках.

Не успел он и шагу ступить, как Гонза уже спал, свесив голову. На лице у него застыло беспомощное, почти детское выражение, белела марлевая повязка, из опухшего рта вырывался легкий храп. Мелихар наклонился над ним, всмотрелся в лицо, обезоруженное сном, и, прежде чем погасить свет, прикрыл ему ноги пустыми мешками.

Днем и всю следующую ночь шел густой снег — на шаг ничего не было видно. Только на другой день к ночи беглецы двинулись в путь. Гонза надел пальто, которое где-то раздобыл старикашка, потому что собственное осталось висеть в раздевалке. Пальто было тесное и едва доходило до колен.

Они шли сквозь метель по строго продуманному плану, шаг за шагом, от здания к зданию, от угла к углу, держась поближе к заводской ограде и складам, обходя шумные цехи и проезды, и беспрепятственно добрались до калитки за ангаром, которая вела на аэродром. Мелихар сломал замок и сказал, что они пересекут аэродром, выйдут к железнодорожной ветке и оттуда к городской окраине. На шоссе и в пригородные поселки лучше не соваться, а главное, обходить ярко освещенные проходные будки других заводов.

Наклонившись против ветра и словно раздвигая его плечами, Мелихар шагал впереди, огромный, как утес, за ним в штатской одежде

* Непереводимая игра слов: чешское идиоматическое выражение «стать из-за чего-нибудь оленем» — значит «ошалеть», «одуреть».

тот, кого называли Честа, замыкал колонну Гонза. Было не слишком темно — кругом лежал снег. Гонза щурился, на лицо его лепились снежинки, он спотыкался о мерзлую неровную землю и не оглядывался.

На краю аэродрома Мелихар остановился и подождал всех.

— Добро! А теперь, господа, надо облегчиться, не то я лопну.

Все трое, как по команде, повернулись спиной к ветру и лицом в сторону невидимого завода.

— Как ноги держат, молодой?

— Добро, — подражая ему, отозвался Гонза.

— Пошли, — распорядился гигант. — У меня в башмаках полно воды. — И прежде чем зашагать, он обратился к молчаливому Честе: — Что там было вчера на ветке? Слышал что-нибудь?

— Да, — пробурчал тот. — Старик прибежал из живодерки и все рассказал. Нас это не касается... Какой-то парень из фюзеляжного, тотальник, не помню, как звать, пытался взорвать вагон в том эшелоне... Так что нашим придется подождать. Нашелся тоже умник! Наверно, спятив — взялся за такое дело совсем один! Ну, конечно, пристрелили на месте. Самое глупое, что бомба так и не взорвалась. Не сработала... Понимаешь, совсем один!..

Порыв ветра заглушил его последние слова, разбросал их в остервенелой тьме.

XIII

Иди! Иди и не замедляй шаг! Только страх связывает тебе ноги, только боязнь того, что будет, когда поднимется занавес. Переведи дыхание и поторопись, уже был второй звонок, помреж выкрикнул твое имя — будь же стойкой! — надо доиграть эту роль, остался последний акт, последняя, финальная сцена, самая трудная и ненаписанная, — головоломное выступление, за которым не последует грома аплодисментов... Ну и что ж? Это спектакль, тверди себе, что это спектакль, мрачная игра в жизнь без перспективы на успех — повторных спектаклей не будет! — и все же покажи сейчас, есть ли у тебя талант, ведь некоторые так легкомысленно клялись в этом, другие лишь покачивали головами, сосредоточься, владей мимикой, голосом, глазами, жестами, как бойкая субретка, или зевай в ладошку, но играй, чтобы он ни о чем не догадался!

Попробуй же! Разве это так трудно?

Она тщательно причесывалась перед своим старинным зеркалом, впервые за долгое время испытующе разглядывала похудевшее и болезненно бледное лицо, глядевшее на нее из глубины комнаты. Это ты? Она подмазала губы и сразу стала выглядеть лучше. Еще немного пудры!

Тревога выгнала Бланку из дома, но не отстала от нее и на улице. Бланка бродила со своей тревогой в хмуром ненастье февральского дня, бродила без всякой цели. Ноги у Бланки мерзли, сумочка казалась тяжелой, как камень. Ее раздражал кисловатый запах бензина.

Бланка остановилась возле одинокого извозчика на Вацлавской

площади, в ней бродили какие-то смутные воспоминания. У входа в вокзал она нехотя смешалась с толпой усталых людей: чемоданы, рюкзаки, детские коляски, запах усталых тел, железная дорога и пережитые ужасы, плач испуганных ребят и возгласы матерей: «Heinz, wo bist du? Liebling...» — «Hier, hier!» — «Greti, nimm das...» * Новая партия «народных гостей» из разбомбленных немецких городов прибыла в оазис покоя — «...Komm, Eli... keine Angst, komm doch!» **

Бланка проходила мимо, в равнодушной спешке мелькали лица — старики, парочка юных влюбленных, калека-солдат с рукой в проволочном протезе, пожилая женщина с рыночной сумкой. Идешь мимо них, и никто ничего не подозревает, никто не остановится, не пожмет тебе руки, не скажет слова утешения, ты одна, непоправимо одна на белом свете!

Сигнал воздушной тревоги загнал Бланку в какой-то подвал к незнакомым людям; она слушала бессвязные, будничные разговоры, жалобы на нехватку еды и облегченно вздохнула, выйдя снова на улицу.

Половина пятого!

Трамвай, скрипя, тащился в гору. Она сошла и остаток пути проделала пешком. Улицы уже погружались в ранние сумерки, зябкие стволы каштанов, несколько прохожих, простоволосый парень насвистывает, выпятив губы, и нахально оборачивается, старушка с дрожащим молсом, который с серьезным видом поднял ножку около дерева, хлопнула дверь углового ресторанчика, кто-то постукивает монетой в стекло телефонной будки — это знакомая дорога, Бланка на знакомой улице с доходными домами, окна которых глядят на голые деревья Стромовки, а вот и знакомый подъезд, стеклянные, с хромированным ободком таблички, вестибюль светлого мрамора, лестница с резиновой дорожкой, которая глушит шаги. Иди, иди! Еще один этаж. Ты должна идти. Ты здесь!

Она попудрила холодный нос, заколебалась. Только на мгновение.

Дзюнь, спектакль продолжается... Нет, нет, это только коротко звякнул звонок в бывшей еврейской квартире. Знакомые шаги — занавес взвивается в ужасающей тишине, — дверь открылась, и с замирающим сердцем она выходит на сцену. Ни пуха ни пера!

Это он, ее партнер, она и в темноте узнает его лицо, узнает по белизне улыбки, по запаху свежести.

— Бланка! — с непритворным жаром произносит он первую реплику и, не ожидая ответа, закрывает за ней дверь и обнимает ее пылко, как влюбленный после долгой разлуки. От него пахнет коньяком и сигаретами. — Не стой же, сними пальто, руки у тебя совсем ледяные!

Не уклоняйся, пусть он целует тебя, играй свою роль, чтобы незаметно было, что ты волнуешься, ведь он очень наблюдателен.

— Покажись! Ты похудела, но как хороша!

Говори! Какие еще сладкие слова он сегодня скажет, думает Бланка и позволяет снять с себя пальто. Долго ждать не приходится.

* «Гейнц, где ты, детка?» — «Здесь, здесь...» — «Гретхен, возьми-ка!» (и е м.).

** «Иди, Эли, не бойся, иди же!» (и е м.).

— Я и не думал, что две недели могут показаться вечностью, — говорит он. — Как жаль, что у поездов нет крыльев!

Тем лучше! Но она рада, что не нужно самой поддерживать разговор. И вот она уже сидит в своем кресле, поджав ноги, и, прикрыв лицо застывшей улыбкой, медленно согревается и пропускает мимо ушей всю его словесную мишуру. Для нее это только звук мужского голоса. Ну возьми же себя в руки! Он еще не опустил штор затемнения, она видит его в мягком свете настольной лампы. Это же он!

Он. Но как изменился! На нем нет обычного халата, который придал ему домашний вид, брюки на нем форменные, словно он только что вошел в дом и не успел переодеться, мускулистые руки, поросшие черными волосами, торчат из засученных рукавов белой сорочки. Непривычно. Мундир с поясом и кортиком она заметила в передней, на вешалке. Но еще больше ее удивили его манеры — в нем нет обычного уверенного спокойствия, жесты какие-то нервные, тонкими пальцами он часто проводит по спутанным волосам.

— Извини, у меня беспорядок, я приехал только сегодня утром. — Он с усилием изобразил на лице легкую улыбку.

Это игра, подумала Бланка, игра в улыбку!

Он не сел против нее, а зашагал от окна к столу, на ходу выключил приемник, потом долго сидел спиной к ней, глядя, как меланхолические сумерки стущаются в кронах деревьев.

Она поняла, в чем дело, заметив полупустую бутылку коньяка, и не сопротивлялась, когда он молча налил и ей пузатую рюмку. Она отвела глаза, но чувствовала, что он смотрит на нее испытующим взглядом, которым он умеет проникать в глубины сознания своих жертв, в их сбивчивые и разбегающиеся мысли.

Напрягая всю силу воли, она выдержала этот взгляд.

— Ты похудела. Что такое? Недоедаешь или какие-нибудь неприятности?

Она заставила себя улыбнуться, пригубила коньяк и непринужденно откинулась в кресле. Я выгляжу кокетливо, но не надо утрировать, он не поверит.

— Не хочется сегодня думать о неприятностях.

Он оживился, опорожнил рюмку, не слишком уверенно поставил ее на стеклянную доску стола, потом подошел к приемнику и включил его.

— Правильно! Здесь у нас оазис для двух усталых людей. Заботы, хлопоты и горести благоволите оставить в передней. Я так и стараюсь делать, даже выключаю телефон, а то вдруг господину рейхсфюреру СС вздумается удостоить меня своим вниманием, — кисло усмехнулся он, — говорят, он страдает бессонницей, по ночам ему слышатся еврейские молитвы. Ну, а я сплю крепко, сон у меня отличный.

— И пьешь, как вижу.

— Да. Оказалось, что долго быть трезвым невыносимо! Не думай, что я пью, чтобы заглушить совесть. Мне этого не требуется, тем более заглушать нечто несуществующее. Я пью за мир, полный вздорных вымыслов, моя дорогая! За Германию, которая с каждым днем,

часом, минутой все больше походит на дырявый курятник. И вообще за наш век, в который, видимо, все возможно. Назревают крупные события. Будет великое землетрясение — те, кто переживет его, не поверят своим глазам, увидя, что их ждет. Ты не возражаешь, что я пью?

— С какой бы стати я стала возражать? — поспешила ответить она.

Подчеркнуто легкомысленный тон ее ответа, судя по всему, удивил его, но он не показал виду; лицо, освещенное снизу глазком приемника, осталось неподвижно.

— Знаешь, я обнаружил здесь любопытную пластинку. Она завалилась в недра приемника. Видимо, осталась после того еврея. Хочешь послушать? Она, наверно, на идиш, я в этом не разбираюсь.

Не ожидая ответа, он опустил адаптер на пластинку и оперся локтем на ящик приемника. Лицо у него вдруг стало очень усталым.

Она не понимала слов — видимо, это был библейский псалом, но и без слов брало за душу: высокий, похожий на женский, голос заполнил уютную, погруженную в полумрак комнату, он нарастал, надламывался в мучительном рыдании и затихал, в жизни она не слышала ничего более скорбного и душераздирающего, чем этот жалобный голос певца, который, казалось, проникал до самых кончиков нервов, сжимая сердце, пронзая человека, вскрывая его как скальпелем. В этой песне были красота и ужас, красота ужаса... или наоборот, были в ней благоговение и жалоба на весь мир, была скорбь, простирающая руки к пустым небесам, к невидимому богу, Бланка чувствовала, что пение завладевает ею, предательски расслабляет... Зачем, зачем он это слушает?! Пьян он или обезумел? Что это — самобичевание, садизм, извращенность? Довольно!

Она порывисто встала — стряхнуть с себя это гнетущее состояние, не поддаваться ему! — и с мольбою в глазах подошла к нему. Он понял и выключил приемник, не дав довертеться пластинке.

— На сегодня хватит, а? — сказал он с чуть заметным раздражением человека, который против своей воли поддался чему-то чуждому. И скрыл это раздражение улыбкой. — Меня тошнит от этого овечьего бляения. Оно полно униженного страха и раболепия перед тем, бородатым, на небесах. Если у чертей в аду достаточно фантазии, они могли бы со временем поупражняться с помощью этой пластинки над нашим милым Штрейхером*, вместо того чтобы банально сажать его в кипящую смолу. Я слушаю ее каждый день. Хочется знать, кому угрожает этот еврейский сладкопевец. Привычка!

— Ты их очень ненавидишь? — спросила она с притворной небрежностью.

Он не сразу понял.

— Кого? Ах, евреев? — Он подумал немного, потом устало махнул рукой: — Нет, не особенно. Я просто не думаю о них. Я не признаю фанатизма даже в вопросах расовой чистоты. Это пережиток. Глу-

* Один из нацистских главарей, осужденных Международным трибуналом в Нюрнберге.

пость, достойная нашего припадочного фюрера. Прежде — да, я ненавидел их, но и то лишь в рамках принадлежности к нашей партии — ведь она поставила меня на ноги. Но я не склонен к фанатизму. — Он улыбнулся, глаза у него были пьяные. — А кроме того, мне вообще противны все люди.

— Ты пьян, — хладнокровно констатировала она.

— Скоро буду. То, что я говорю, не очень-то приятно слушать, а? Но так оно и есть, мне противны все — русские, поляки, чехи, так же как и англичане, эскимосы и папуасы, католики и буддисты, равно как иудеи. Все это одинаковая шваль: когда им грозит смерть, они скулят удивительно похожими голосами. Бывают, правда, исключения. — Он вздрогнул от отвращения. — Но больше всего я ненавижу нас, немцев. Особенно в последнее время. Не исключаю и себя... Себя я ненавижу всем сердцем! Есть в нас что-то противоречивое... нелепое, что-то от средневековья, пыль веков... Честный, работающий народ, простодушные люди с умелыми руками и философскими мозгами... и вдруг так поддаться на грубейший блеф, потерпеть полный крах и опять начать карабкаться вверх, как муха по стеклу. Противно! Если после войны и до того, как начнется другая, мы не избавимся от всего этого, то нам конец. Мы как лишние актеры: хочется играть, а приличной роли нет. Надо найти ее во что бы то ни стало!

— И давно ты это понял?

— Довольно давно. А вернее, всегда догадывался.

— Почему же ты... — она запнулась и посмотрела на него.

— Договаривай, не бойся, — он воспринял ее испуг с шутливой снисходительностью и начал ненужное объяснение: — Придется мне, наверно, выучить еврейский или идиш, чтобы понять этого соловья. Не терплю неясностей! Почему? Сейчас объясню. Мне всегда приходилось высказываться тут перед голыми стенами, ведь в другом-то месте не могу — так пусть сейчас меня услышат человеческие уши. Хотя бы раз. Иногда мне кажется, что мысли разорвут меня...

Она слушала его, не всегда понимая, что он говорит, и все же готова была поклониться, что странное возбуждение, заставлявшее его нервно ходить по комнате, не наигранно, хотя алкоголь и придал ему некоторую мелодраматичность. Смотри!

— Почему, почему? Я уже давно спрашиваю себя об этом. Каждый день спрашиваю. И все зря. Но человек, который не почувствовал этого на своей шкуре, не может меня понять. Так к чему же... Разумнее было бы пить и говорить о других вещах... У этих вещей есть свой аромат, его выражает словечко «когда-то», и со временем он выдыхается... Человек вдруг начинает воспринимать все иначе. Звуки, слова, один черт знает что. Это процесс. А потом личные обстоятельства, случайности. Начинается, скажем, с хандры, человека исключают из университета, им овладевает сознание ненужности, бесперспективности... Но могут быть и другие причины, мир их предлагает в великолепнейшем ассортименте. Честолюбие, неполноценность, смутная жажда мести, желание сокрушить все вокруг. И это я видел. Человеку нужна отдушина, все равно какая... Потом наступает облегчение — нашел!

себя, нашел клапан для чувства неудовлетворенности и внутренней пустоты... А тогда начинают действовать еще чисто случайные факторы, и все складывается необычайно успешно. Дело идет на лад. Человек обнаруживает в себе различные способности, и его возносят. А крутой подъем всегда приятен, только не надо оборачиваться назад, а то голова закружится. Перед тобой лишь путь наверх. Пускаться в путь всегда лучше, чем плесневеть на месте. Все отправляются в поход, отправляешься и ты. Вот и все.

Он расстегнул воротник и, покачиваясь и расставив руки, прошелся по краю ковра, как канатоходец. Видно, не первый раз он это делает. Потом долил рюмку, опорожнил ее, одобрительно прищелкнул. И снова оживился.

— А дальше? Это же изумительно просто: ты уже устроен, и тебе хорошо, потому что все обрело свой смысл, ты участвуешь в чем-то, ты стал нужным колесиком в машине, которая делает историю, все истины ясны тебе как день, ненависть легко вспыхивает и легко, чуть ли не наугад, находит свою цель. Ja, bitte *. Только кивните! Энтузиазм — простейшее дело. Это водка, она не должна быть дорогой, как этот коньяк, пьют, и ладно... Noch etwas weiter **. Сомнения — это балласт. Свойство слабовольных интеллигентов и неполноценных рас — долой их! — ведь ты идешь в гору! Ты! Ты действуешь! Что? Методы? Жестокость? Кровь, кровь, произвол, сплошное болото интриг? Что с того? Ах да, selbstverständlich, meine... *** — это дело привычки. Ко всему можно привыкнуть. Такова уж человеческая натура, таков скрытый, но подлинный закон жизни в зверинце, именуемом человечеством. Кстати говоря, среда, в которой ты прижился, тебе поможет. Другого и не бывает, она отшлифует тебя, как вода камешек. Правила игры здесь просты и даже довольно увлекательны, тебе они нравятся потому, что дают сознание своей силы и власти. Вдруг обнаруживаешь, что ты не нуль.

Он подошел к окну, сгорбившись, уставился в темноту и, сунув руки в карманы, стал продолжать, обращаясь к стеклам:

— Ну, а есть ли доказательства, хотя бы одно-единственное, что история делается другими методами? Чушь! История — это сплошная цепь насилий и подлости, прикрытых иллюзорными идеалами. Чтобы ты поняла: в трепете флагов, в топоте сапог и реве толпы так называемый голос разума — если он вообще существует! — едва слышен. Ручаюсь, что в Германии он уже не слышен. Ganz egal **** Тем лучше! Остается одна хитрость — для потерпевших поражение она всегда полезна. Прозрение мною пережито уже давно, и при этом я смехотворно одинок. Смешно. Я могу лишь взывать к этим стенам и к нежным ушкам девушки, чей братец идеалист... и так далее. Потому что у тех, с кем я пребываю на одном корабле, который вот-вот пойдет ко дну, я не нахожу понимания. Не получается! Мы вынуждены лгать друг другу в глаза... хотя я твердо знаю, что и они прозрели. Сволочи! По-

* Пожалуйста (н е м.).

** Еще один шаг вперед (н е м.).

*** Само собой... (н е м.).

**** Все равно! (н е м.).

рочный круг замыкается. Но мне ничего не жаль, ничего, мы сами во всем виноваты, хотя наша вина и не та, которую через несколько месяцев припишут нам глашатаи так называемой исторической справедливости. Смешно! Близится новый обман, очередная похлебка для утешения околпаченных народов, и ничего больше!

Он неожиданно умолк, опустил штору на окне и потер руками лицо — видно, приходил в себя; только через минуту осознав, что не один в комнате, он повернулся к Бланке. Стряхнув с себя минутную слабость — теперь он опять был прежний, — подошел к ней, взял ее за плечи и заглянул в глаза. Она попыталась отвернуться, но тут же поняла, что ей не уйти от этого пристального, пронизательного взгляда. Чего он хочет?

Она содрогнулась.

— А ты? — Это прозвучало лаконично, как на допросе.

Бланка выдержала, укрывшись за тусклой улыбкой, и пожала плечами.

— Что я? Ничего. Я — это только я. Обыкновенная девушка.

— Это я знаю.

Он улыбнулся, как бы давая понять, что принимает игру, но она чувствовала в нем выжидательный интерес и была настороже. Ему что-то явно не нравилось.

— К тому же еще патриотка, не так ли? Это теперь модно. Старший брат рисковал жизнью в борьбе против бесправия, против коричневой чумы, как пишут в листовках, за лучший мир.

Она поняла, что надо как-то возмутиться, и подняла обиженный взгляд.

— Почему ты смеешься надо мной? Это обязательно?

Он сделал виноватое лицо, но из его тона не исчезла обычная ирония.

— Не обязательно. Но это все равно. Просто мне показалось, что все это немножко смешно. Бесправие будет устранено ради того, чтобы утвердить другое, и мир покатится дальше. Такова система. Все эти уравнения с героизмом попросту неразрешимы. Много наших молодых и многообещающих героев полегли костями за то, во что сейчас верят уже только безнадежные фанатики, юнцы из «Гитлер-югенда» и неудовлетворенные медицинские сестры. Но хватит! Все это неважно...

— А что же важно? — Бланка почувствовала, что очутилась на зыбкой почве.

— Ты! Для меня только ты, остальное меня не интересует! Я мечтал о тебе, как мальчишка! — Он взял ее пальцами за подбородок и заставил поглядеть себе в глаза. — Ну, отвечай же!

Удивление, поскорей разыграть удивление! Предательская минута напряженности... Вот-вот она все крикнет ему в лицо! Нет, нельзя. Но, кажется, плечи ее слегка дрогнули и голос прозвучал пугливо и глухо. Скорее разыграть удивление!

— Что ты хочешь услышать?

Он невольно сам помог ей!

— Не знаю... — Он вздохнул и отпустил ее. — Ты как-то изменилась. У меня на этот счет особая интуиция! Навык. Не утверждаю, что безошибочная. Противное свойство — не так ли? Но есть и другие признаки. Например, прежде ты ни разу не вставала добровольно с этого кресла. Никогда сама не переходила со мной на «ты». Это еще далеко не все.

— А может, ничто не изменилось? — прервала она, уже овладев собой. Надо не переигрывать, иначе он разгадает тебя. — Я была здесь очень одинока, и мне было страшно. Разве это плохо, что я встала с кресла и...

— Наоборот, — засмеялся он с облегчением, но тотчас покачал головой: — Будь у меня чрезмерное самомнение, я стал бы сейчас верить себя, что ты ждала меня с нетерпением. Но я не любитель строить себе иллюзии. Предпочитаю реальность. С некоторых пор я ничему не верю. И никому. Не уверен даже в тебе...

— А что, если я в самом деле ждала тебя с нетерпением?

Он ничем не выразил своего удивления, поцеловал ее глаза и посадил обратно в кресло.

— Лучше не говори ничего, это звучит неубедительно, девочка.

Не обращая внимания на ее разочарование и испуг, он сосредоточенно наполнил рюмки, потом поставил бутылку на стол. Ей показалось, что, ставя на стол бутылку, он слегка покачнулся, но все же удержался на ногах. Посмотрев против света на рюмку с янтарной жидкостью, он отпил из нее.

— Я тоже должен кое-что тебе сказать, пока не совсем пьян. — Он в изнеможении опустился в кресло и закрыл лицо руками. Она слышала его дыхание. — Похоже, что сегодня мы видимся в последний раз, Бланка... Ты рада? Нет, погоди, пожалуйста, не говори сейчас ничего! От меня это не зависит... к сожалению! В ближайшие дни я уеду из протектората и едва ли вернусь до конца всей этой тотальной комедии. Он недалек: два-три месяца. А потом... — он невесело усмехнулся, — думаю, что сумею преодолеть в себе желание заглянуть сюда, по крайней мере в ближайшие годы. Как видишь, я рассуждаю вполне реально. Не думай, что я удираю от страха перед мстостью вашего голубиного народа. Не хочу оскорблять твои чувства... кстати, мне тут жились неплохо, и я буду вспоминать о жизни здесь не без благодарности... во всяком случае, о тебе. Ничто меня не пугает, я сумею устроиться. Die Fahne nieder *. Я всегда гляжу вперед. Человек не настолько большая вещичка, чтобы...

— А что будет потом? — прервала она.

Вопрос взволновал его, его тонкие пальцы впились в ручки кресла, он склонился с проницательной улыбкой в уголках рта.

— Разве я Сибилла? Увидим. Но я не пропаду. Я много знаю, а это неплохой трамплин для начала. Я уже думал об этом. Может, попрошу награды у союзников. Я ее заслужил. Не мешало бы написать извинительные письма тем, кого я обидел. Как ты думаешь? Мол, благово-

* Спустить флаг (нем.).

лите извинить, я действовал не по личному желанию, а в порядке служебного долга... Но я ленив писать.

— Гнусный разговор! — не сдержалась Бланка.

— Прости, я забыл, что ты плохо переносишь некоторые шутки. А на другие я не способен — и так уже это нечто вроде распродажи. Кстати говоря, мне действительно гнусно, уверяю тебя. Гнусно, гнусно! Можешь презирать меня, сделай одолжение, можешь даже плюнуть на меня, если тебе хочется. Знаешь что? Там, на вешалке, висит мой мундир со всеми регалиями... Если хочешь, пользуйся!.. Э-э, вздор! Чуть я несу. Хотелось бы знать, будет ли тебе легче, если ты избавишься от меня?

Он схватил рюмку, допил ее и посмотрел на Бланку испытующим взглядом, от которого ей стало не по себе. Рюмка звякнула.

— У меня для тебя есть выгодное предложение, Бланка, — спокойно сказал он. — Если хочешь, встань и уйди. Сейчас же, сию минуту, понимаешь? Сию минуту и навсегда. Обещаю тебе, что останусь сидеть в этом кресле и пальцем не пошевелю. Это не пьяный жест, не бойся, я отпускаю тебя без всяких условий и обязательств.

— Я приходила сюда добровольно, — взволнованно возразила она, — и уйду тоже по своей воле. Плохо ты меня знаешь.

Он снисходительно кивнул, вяло поднял руку и уронил ее на ручку кресла.

— Допустим. Но существуют обязательства и по неписанным договорам, глупышка. Наш договор ты выполняла образцово. Сначала стиснув зубы, а потом... Ну, молчу! Я сам расторгаю его. Что-то и вправду изменилось... и я не хочу тебя удерживать. Ты меня тоже плохо знаешь. Не хочется говорить о том, что похоже на совершенное безумие... Я понимаю, почему ты колеблешься, но уверяю тебя, что это напрасно. Могу тебе поручиться, что в положении твоего брата ничто не изменится. Он в безопасности. Не спрашивай меня ни о чем больше, но это так. Быть может, мое предложение кажется тебе слишком великодушным, но я делаю его всерьез: разойдемся по-хорошему, красиво. Больше я уже не могу! Ну, уходи, уходи, пора!

Он опустил голову на грудь и умолк, казалось, задремал. Но она заметила, что глаза его открыты. Нависла тяжелая тишина, слышалось только дыхание двух людей. На лестнице раздался шум поднимающегося лифта, где-то рядом стукнула дверь. Это вывело Бланку из забытья, она вдруг осознала, что кругом живут незнакомые люди неведомых судеб. Это было даже странно: еще минуту назад ей казалось, что во всем мире только она и этот человек, сидящий на противоположном конце стола. Она откинула волосы со лба. Перст судьбы! Встать и бежать отсюда... вероятно, это правильно! Закрывать глаза, заткнуть уши, ни о чем не думать: оставьте меня в покое, я хочу бежать от всего этого, от самой себя, даже тогда, когда предо мною стена, утыканная битым стеклом. Что вам от меня нужно, я всего лишь обыкновенная девушка, у меня слабые руки, мне страшно, наверно, я плохая актриса, я чувствую это, я хочу жить простой жизнью, любить мужа, воспитывать ему детей... я больше не могу... И вместе с тем Бланке казалось,

что ее кресло словно втягивает ее в себя, сосет из нее силы, а она всего лишь вещь, брошенная на это податливое мягкое сиденье.

— Ты еще здесь?

Она беспокойно посмотрела — слова эти были как удар под ложечку — вздрогнула, но справилась с собой.

Он снова потер руками лицо, взъерошил волосы и быстро встал, словно сбрасывая какое-то бремя. Потом оживился и даже заставил себя улыбнуться.

— Я идиот и плохой хозяин. Мелодраматические разрывы гораздо успешнее совершаются на сытый желудок. Я болтаю, а ты сидишь голодная! Самый обычный волчий голод — я же тебя знаю. Не качай головой, надо выполнить последнее желание осужденного. Представляю себе, как ты питалась эти две недели! — Он ткнул в ее сторону пальцем. — Ты похудела, и это тебя полностью изобличает. Поэтому приговариваю тебя к одному роскошному, довоенному ужину. Съедем все, что есть в квартире. Не отказывайся! — Он захлопал в ладоши и в эту минуту выглядел совсем мальчишкой. — Предлагаю меню: сардинки из Сицилии. Ее мы давно уже сдали. Финики из Северной Африки. Съедем их в память «лиса пустыни», который тоже уже оочурился. Пустяки! Русская икра. Ха-ха — прошлогодний сезон! Апельсин, настоящий апельсин из северной Италии! Не веришь? Последний на земле тысячелетней империи. Ей остается теперь только чисто арийский ремень и масло из угля. Какое нам до нее дело! Пойдем в кухню, и там в свете всеобщих перемен ты поможешь мне!

Серые кольца дыма медленно поднимались к потолку. Неподвижно лежа на диване и глядя перед собой, Бланка провожала их взглядом; рядом она ощущала тепло такого знакомого мужского тела, слышала дыхание.

— Ты почти ничего не ела, — сказал он, нарушив молчание. — Не оправдала моих надежд!

— Я же сказала тебе, что не могу. Бывают дни, когда мне совсем не хочется есть.

— Гм... Прочитать бы сейчас твои мысли! О чем ты думаешь?

Бланка пошевелинулась на диване, заколебалась.

— Ты бы разочаровался. О пустяках. Мне хорошо.

— Лжешь ты отважно! — коротко резюмировал он и потянул ее за волосы. — А почему?

— Я думаю об этих переменах во мне, — поправила она, — вот ты сказав, что и у тебя тоже...

— Ах, вот что! — Он выдохнул струю дыма, не проявляя особой охоты разговаривать. С минуту он молчал и лишь упорно затягивался, потом схватил рюмку и жадно выпил, словно боясь отрезветь. — Видела бы ты, что я сейчас видел! Я уже нагляделся на многое и все-таки не понимаю... Наверно, старею, через месяц мне стукнет сорок. Впрочем, именно в этом возрасте можно начать все сначала и без лишних осложнений. Я, видишь ли, съездил туда, где у меня было то, что

называется родным очагом. Ничего особенного из ряда вон выходящего я там не увидел: груды развалин и обгоревшие стены повсюду одинаковы. Эссен, Дюссельдорф, Кельн, Дрезден — всюду одно и то же. Но видеть самому — это не то, что читать в газетах. Там я понял, что ненавижу ваш город за то, что он еще не испытал бомбежки... Не думаю, что американские пилоты проявят себя восторженными поклонниками скульптур на Карловом мосту. То, что я видел, все еще стоит у меня перед глазами. Я искал определенную улицу и не нашел ее. Я ходил наугад, перелезал через развалины, справлялся в учреждениях. Всюду шумятица, усталость, смерть. Многие уже не боятся поносить наш режим вслух, а это не шутка для наших дисциплинированных людишек! Все отупели. Своих я не нашел никого, ни жены, ни ребенка... дом разрушен прямым попаданием. Надо было в свое время взять их сюда!.. Потом я бродил по городу. Вспомнилось почему-то, что в комодке оставалось вечное перо — подарок в день рождения. И больше ни о чем я не думал. Только обращал внимание на то, отдают ли мне честь, как положено, встречные в военной форме. Вот она, немецкая дисциплина!.. — Он поднял руку с горячей сигаретой и стал чертить ею в воздухе какие-то круги. — Падал снег. Я остановился под виадуком и, узнав его, удивился, что он уцелел. Наверху стоял какой-то мальчуган и мочился... он обмочил мою шинель с эмблемами, перед которыми многие дрожат еще и сегодня. Мне стало смешно: вот так мальш, обмочил, значит, немецкого офицера!.. Я не ищу сочувствия и даже не уверен, что заслуживаю его...

Он погасил окурок о дно пепельницы.

— Почему ты не сказал мне, что женат? — спросила она, испытывая звучность голоса.

— Сам не знаю. Наверно, думал, что тебе это не понравится. Разве это важно? Сейчас ее уже нет. Да ты меня и не спрашивала.

— Скажи, пожалуйста, в Германии есть большие города?

Он удивленно поднял брови.

— Были. Теперь их искусно разрушают. Задавай еще такие вопросы, если они тебя интересуют... Рассказать тебе, что Геринг с увлечением разыгрывает из себя императора, а Геббельс колченогий? Могу продолжать до тошноты.

Она не дала сбить себя с толку.

— Меня интересует то, что ты предпочел не сказать.

— Ладно, ты сама попросила. — Он снова потянулся за рюмкой. Алкоголь вызывал в нем возбуждение, которое сказывалось в жестах, в блеске глаз, но говорил он вполне связно. — Что ж ты не пьешь? — напомнил он. — Нам обоим нужно выпить — я скажу тебе сейчас нечто забавное. Мне это стало ясно совсем недавно — на обратном пути сюда. Я стоял у окна, какой-то попутчик докучал мне болтовней, но я не слушал его. — Он наклонился над Бланкой, заглянул ей в лицо, но не пытался обнять. — Я вдруг осознал то, о чем, кажется, уже давно догадывался: что я не представляю себе жизни без тебя. Интересный вывод!

— Только и всего?

— До моего отъезда ты была скромнее.

Она отвернула голову и с трудом произнесла сжатыми губами:

— Может быть. И я была бы тебе весьма благодарна, если бы ты не говорил мне этого.

Он положил руку ей на щеку, не давая отворачиваться.

— Понимаю. Но почему? Ведь это правда, а ты поборница правды. Я не могу без тебя жить! Такое признание, наверно, нужно делать иначе, с пафосом, но я к нему не способен и забыл все нужные слова. Больше того, я хочу, чтобы ты уехала со мной. Это звучит безрассудно, но это так. Не принуждаю тебя, но хочу. Слышишь? Хочу. Не бойся, я сумею о тебе позаботиться, мы начнем новую жизнь, на новом месте. — Он говорил торопливо, молящим тоном и не снимал руки с ее лица, вероятно, верил в силу своего внушения. — Чего ты дождешься, когда сюда придут большевики? Свободы? Нет, будет новый террор, уверяю тебя, может быть, только более утонченный. Изменится только краска, только флаги и обещания. Ты мне, конечно, не веришь, да и не можешь верить, иначе что же станется с твоими надеждами на райскую жизнь? Будь спокойна, я еще настолько трезв, что не стану вытягивать из тебя ответа, избавлю тебя от этого. Ты уж, наверно, жалеешь, что не ушла отсюда вовремя? Я же тебя предупреждал!

Преодолевая охватившее его возбуждение, он нащупал портсигар, закурил, лег рядом с ней навзничь и хрипло засмеялся.

— Забавная парочка: я, в ком ты видишь кровожадное чудовище, изверга без капли гуманности и человеческих чувств, палача твоих земляков, и ты... уже не связанная со мной неписанным договором. Потому-то я и расторг его, понимаешь? Ну что ж, это не должно волновать тебя, ведь ты чувствуешь ко мне лишь отвращение и обязательную ненависть. Ведь так? Но при других обстоятельствах мы бы чудесно подошли друг другу, — не качай головой! — все равно не поверю. Я это знаю, чувствую, несмотря на твою фанатичную самозащиту. Может, она-то меня и волнует больше всего. Нет смысла спорить об этом, молчу!.. Что же дальше? Не могу себе представить, чтобы ты перестала быть моей. Ты мне нужна! Что ненормального в этом желании? К такому же выводу приходят каждый день тысячи мужчин в мире, и никто не удивляется. Некий мужчина жаждет некую женщину, и родители, выяснив все обстоятельства, дают свое милостивое согласие, вот и все. Если бы существовало на свете зло, которое люди отождествляли с дьяволом, то его — зло — следовало бы назвать стечением обстоятельств. Дьяволу нет надобности рядиться охотником, получать расписки, написанные кровью. Вместо всего этого сплетена хитрая сеть обстоятельств. Не преувеличивая, скажу тебе: я научился преодолевать все и могу жить в любых условиях, даже без тебя, и все-таки не в силах представить себе, что сейчас вижу тебя в последний раз. Вот и все. Я не предвидел этого, когда узнал тебя, и не знаю, почему получилось так, что это именно ты. Но это так. Видно, что-то в меня проникло еще с давних времен, чего не смогли выбить вся эта машина и сам герр Гиммлер. В известной мере я попал в ловушку, верь мне. Komisch! *

* Комично! (нем.).

Если бы это не была беспорная действительность, которая касается непосредственно меня, я бы одобрил ее, возможно даже растрогался бы... Но сейчас нет!

Довольно! Где-то, выше этажом, заскулила собачонка, кто-то неумело заиграл на рояле. Послышались шаги над головой. Стеклопанные подвески на люстре в квартире врача-еврея слегка дрогнули, и тиканье часов на руке, поросшей черными волосками, доносилось откуда-то издадека. На столе стояла тарелка с нетронутыми сардинками из Сицилии, хотя желудок Бланки сжимался от голода.

Он склонился над ней, лицо его было неподвижно.

— Поедешь со мной?

Он сказал это с грустной мольбой, была в нем в этот момент кака-то мальчишеская незащитность, и все казалось нереальным — все ощущения внешнего мира перекрывала шипящая теплота и бульканье радиаторов, — оставались лишь лихорадочно горячие глаза. Что он говорит? Не надо слушать его, ты же знаешь! Он лжет, ты знаешь, что лжет! Он всегда лгал — он не может иначе. Лжет словами, молчанием, пальцами, которыми касается твоего лица, сжатых губ, волос, разметавшихся по подушке.

— Тебе нехорошо? — озабоченно спрашивает он. — Ты бледна, Бланка. — Он нежно положил руку ей на лоб. — У тебя жар!

Она покачала головой, уклонилась от его руки, спустила ноги на ковер и села к нему спиной, спрятав лицо в тени. Соберись с духом, держи себя в руках, сейчас все поставлено на карту. Говори, говори!

Сам того не подозревая, он помог ей нечаянным вопросом.

— Можешь не отвечать, — сказал он, — я не так уж непонятлив. Разве сама еще хочешь спросить что-нибудь.

Она откинула волосы со лба и затаила дыхание. Потом, овладев собой и сама себе удивляясь, сказала самым безразличнейшим тоном, на какой только была способна:

— Ты угадал, я хотела спросить тебя кое о чем. Почему ты мне раньше не сказал, что Зденека давно уже нет в живых?

Как все вышло легко и просто! Ей казалось, что сказанное никогда не перестанет звучать, что оно повисло в воздухе как нечто вещественное, ей хотелось закричать и разом высказать ему все, что ее душило, что все эти дни клокотало в ней, но разум подсказывал — этого нельзя делать, если она не хочет, чтобы он снова лгал, опомнившись от собственной истерии. Овладей же собой, Бланка. Что теперь будет? Она задавалась этим вопросом скорее с любопытством, чем со страхом, и ощущала какое-то особое удовлетворение, от которого осмелела. Аплодисменты! Она была как-то мертвенно спокойна. Развязка совсем близка, выдержи!

Шорох, скрип пружин под тяжелым телом — он встал. Подошел к приемнику, повертел одну из ручек и все еще упорно молчал. В приемнике нарастал звук рояля. Глупая театральная музыка, подумалось ей, у режиссера плохой вкус.

Он повернулся к ней, и она увидела его лицо таким, каким еще не знала. Все его черты были обострены безудержной яростью, ярость

рвалась из глаз, тонкие губы сжались. Так вот он канов! От этого открытия ей стало легче. Наконец-то прорвалось его подлинное нутро! Попался, теперь уже не скроешься! Она ответила ему безразличным взглядом. Слышишь его голос? Его настоящий голос. Он сечет!

Он не сумел овладеть собой.

— Если бы было нужно, — сказал он неторопливо и холодно, — я легко мог бы узнать, кто сообщил тебе это. Ты поразились бы, как быстро я могу это сделать. Без долгих околичностей. Ты сама сказала бы мне, понимаешь? Ты сама!..

Она напрягла все силы, чтобы не показать, что ее коснулась холодная рука страха, и не отвела взгляда. Спокойно склонила голову:

— К счастью, я этого человека не знаю и потому он в безопасности. А всех тебе все равно не переловить, сам знаешь. Их много, удивительно много!..

Она осеклась под его леденящим взглядом.

— Советую тебе не говорить так. Наверно, у тебя и в самом деле жар.

Бланка поспешно переменяла тон.

— Может быть. Но почему ты... Что, собственно, это меняет в наших отношениях? Зденек... Это ведь правда, что он умер?

Напряжение в нем спадало, он сгорбился, провел рукой по волосам, вид у него был смертельно усталый, но она чувствовала, что все равно надо быть начеку. Он подошел к столику, упал в кресло, пальцы его бегали по ткани подлокотника.

— Правда, — сказал он глухо. — К сожалению, правда. — Он протянул руку к бутылке, и Бланка заметила, что пальцы у него дрожат. — Если бы это можно было исправить, если бы можно было воскресить его, я не колебался бы ни минуты... Что ж, я хотел избавить тебя от этой нелепой правды, но ты меня перехитрила. Иной раз нет ничего хорошего в том, что человек добивается правды любой ценой, запомни это, упрямая! Без правды легче жить. Люди часто гибнут из-за правды. Если ты уедешь со мной... — Он не договорил и безнадежно махнул рукой, словно никак не мог приноровиться к тому новому, что возникло между ними. Поблескивающий напиток плеснул в рюмку, которую он, вздрогнув, опрокинул единым духом.

— Давно ты это знаешь?

Бланка поколебалась.

— Страшно давно, сто лет.

Взглядом он заставил ее замолчать.

— Хочешь, чтобы я тебе поверил?

— Мы оба не обязаны верить друг другу.

Он кивнул и снова налил рюмку.

— Ты права. Вера, надежда, любовь — все это благородные понятия, которые придумали люди, чтобы не пугаться зверя в себе, — существуют на этом свете. Не родиться на этом свете — великое преимущество. Пью за это! — Он пьяно засмеялся, но, встретившись с ее взглядом, отрезвел. — Ладно, ты узнала правду и держись за нее! Изменить уже ничего нельзя. Ты разве знаешь, как вернуть жизнь

человеку, убитому год назад? Обратное сделать легко, а это невозможно...

В возбуждении он встал с кресла и опять стал ходить по краю ковра, нервно жестикулируя. По его голосу она готова была поверить, что его страдания подлинные. Если только он сам подлинный. Потом он остановился перед ней, взял ее за плечи и хрипло заговорил отрывистыми фразами:

— Не гляди на меня так! Думай что хочешь. Мы оба вели фальшивую игру — и ты и я. Наконец-то все стало ясно, а я люблю в делах ясность. Да, я обманул тебя, низко, подло, я пользовался тобой целый год, скажем так! Бог его знает почему, лгать тебе было очень трудно. Ложь отравляла мне каждую проведенную с тобой минуту. В конечном счете я обыкновенный человек, хочешь — верь этому, хочешь — не верь! Но тогда — постарайся это понять! — тогда передо мной стоял не твой брат, а преступник. Нарушитель закона и мой заклятый враг, на редкость опасный. И смелый. Мы живем не в мире идиллий. Твой брат был замешан в таком неслыханном и небывало разветвленном заговоре, что это дело превышало компетенцию примитивных ищек с Бредовской улицы. Не было другого выхода: или он, или мы... И он поделом поплатился за свою дерзость, там же, на месте. Моя вина разве только в том, что перед тем, как он плюнул мне в лицо, я не осведомился у него: «Извините, пожалуйста, нет ли у вас сестры? Есть! Тогда пardon, можете беспрепятственно продолжать, милый шуринок».

Бланка не шевелилась.

— А почему ты утаил это от меня?

— Почему, почему! Что ты хочешь знать? — Он устало сел рядом с ней, но смотрел в другую сторону. — Наверно, потому, что ты понравилась мне с первого взгляда. И потому, что я не любитель секретарш и девок из армейских борделей. Потому, что я хотел, чтобы ты стала моей, хотел целовать твою грудь, обладать тобой, слышать твои стоны. Говорить дальше? Да, это подло, низко, цинично, но это можно понять. Потом стало еще труднее, и уже не оставалось другой возможности, кроме как молчать и лгать, лгать... Потому что я не мог представить себе, что потеряю тебя. Я ни о чем не жалею, а если и жалею, так только о том, что не встретил тебя в иное время и в иных условиях. Не в нашем подлом веке! Мы могли бы жить как муж и жена, самой обычной жизнью. Но мы встретились в извращенное, сумасшедшее время... Я бы от всего отказался, если бы мог встретить тебя снова и начать жизнь сначала... где угодно и когда угодно, пусть хоть в доисторическую эпоху, первобытным человеком с дубинкой или дикарем на необитаемом острове, в Тибете, среди зулусов, где угодно! Понимаешь? Только не здесь и не так, как сейчас. Поверь хоть этому. На большее я не претендую.

Он растянулся на диване, умолк и тяжело дышал. Подвески люстр снова дрогнули от шагов наверху, потом снова стало тихо, Предательская тишина! Бланка поняла: он ждет, чтобы она заговорила. А она молчит! Ты забыла свою роль, девочка! Суфлера!

— Что ж ты не уходишь? — услышала она за своей спиной. — Теперь ты все знаешь. Или тебе кажется, что мы еще не объяснились? Ошибаешься.

Она поднялась, медленно повернула к нему лицо, попыталась заплакать, но из этого ничего не вышло. Она только покачала головой.

— О каком объяснении ты говоришь? — Она положила руку ему на локоть. — Ничего уже нельзя изменить. И меня тоже не изменишь. Куда мне теперь деться? Ты меня понимаешь?

Он приподнялся на локтях.

— Не совсем.

— Ну ладно! — Она сама наполнила рюмки и одну подала ему. — Сегодня мне хочется выпить... Я знаю, что это безумие, но изменить что-либо уже поздно. Для меня поздно. Можешь не верить, если не хочешь. Что мне с того! Сейчас уже все неважно. Остались только мы с тобой...

— Бланка! — Он потряс ее за плечи, словно стараясь разбудить. — Ты кривишь душой. Ты пьяна!

— Хотела бы быть пьяной весь остаток жизни. Тогда было бы куда проще! Ты думаешь, я не в своем уме? Я охотно стала бы сумасшедшей, мне осточертела правда! Так мне и надо! — Она разом осушила рюмку — даже слезы выступили у нее на глазах, — поперхнулась и откинула волосы со лба. — Я не привыкла отмалчиваться. Слушай же: ты обошелся мне слишком дорого... стоил всего, что у меня было. Теперь у меня нет ничего. Почему не пьешь? Я теперь уже не та, какой была, когда мы встретились. Многое я поняла, общаясь с тобой. Видимо, ты прав, хотя твоя правда мрачная и страшная... и поэтому, — она перевела дыхание и вскинула голову, — если ты сказал это всерьез, я уеду с тобой! Сейчас, именно сейчас мы сблизимся по-настоящему!.. На самом высоком глетчере мира. У нас нет ни истории, ни прошлого, мне плевать на обстоятельства, плевать на все...

Перестал дышать? Но под рукой она чувствовала живое тепло его тела. Он молчал, видимо в изумлении, но, когда она отважилась взглянуть ему в глаза, она увидела в них прежнее недоверие. Он прищурился, его взгляд стал испытующим. Медленно, с грустным сомнением он покачал головой.

— Слишком хорошо я знаю тебя, чтобы поверить, что ты можешь все забыть. Разве только если ты и в самом деле переменилась.

— Удастся ли — не знаю, но попытаюсь. Что мне остается еще? С ума сойти? Ты сам сказал, что человек может жить в любых условиях. Так ведь? Вдыхать и выдыхать — это ведь совсем просто! Не оглядывайся на прошлое — вот в чем главное. Поверь, я совсем не хочу превратиться в соляной столп... Пей же! Кстати говоря, не я одна, очень многие после этой войны предпочтут не оглядываться, не вспоминать прошлое...

Она не договорила: он схватил ее в крепкие объятия, поцелуем заставил замолчать, до боли впился в ее губы, прижал к дивану и целовал лицо и разметавшиеся волосы — она не сопротивлялась. Настойчивые и властные руки гладили ее шею и плечи. Он что-то шептал по-

немецки — в возбуждении он всегда переходил на родной язык. Сколько раз она уже слышала этот прерывистый требовательный шепот, в котором нарастала страсть! Острый запах перегара, прикосновение его опытных и вместе с тем юношески нетерпеливых рук... Его руки! Нет! Он старался возбудить ее, она вытерпела и это, но, когда он коснулся ее бедер, она вдруг воспротивилась с необычайной силой.

— Нет, нет, так не хочу! Ты же знаешь...

Вырвавшись из его объятий, она встала с дивана.

— Что с тобой? Разве я тебя обидел? Я думал...

Она молча кивнула в сторону торшера и опустила глаза. Он с облегчением улыбнулся.

— И когда ты перестанешь бояться света? Ладно, подчиняюсь, хотя и неохотно. — Лежа он потянулся к выключателю, и комната погрузилась во мрак. — Ты здесь?

— Да, — она стояла рядом и коснулась его руки, но уклонилась от ее пожатия. — Я глупая... Мне нужно привести себя в порядок. Сейчас вернусь.

— Обещаешь? — раздалось в комнате.

— С условием, что ты не будешь зажигать свет. И останешься лежать. Я приду сама, понял? Я хочу. Я ведь не кукла.

Он согласился.

Дальше, дальше! Ну иди же! Иди до конца, иди на ощупь, в потемках, путь недалек! Бланка нащупала плотную ткань портьеры, проскользнула за нее и вышла в переднюю. Ванная. Бланка нажала выключатель. Свет из матового стеклянного шара над раковиной ударил ей в глаза, она увидела себя в зеркале и с минуту стояла неподвижно, всматриваясь. Это ты. Она открыла кран и стала мыться, с бессмысленной тщательностью намылила лицо, сполоснула его, вытерла полотенцем. Это было приятно. Она заметила, что ее движения как-то механически размеренны. Еще, еще минутку. И вдруг, совсем неожиданно для себя, она перекрестилась, как ее когда-то, страшно давно, учила покойная мать. Ах, мамочка! Слезы вдруг подступили к горлу, она чувствовала, что вот-вот расплачется от слабости и одиночества... Нет, нет, нельзя!

Она вышла из ванной, не погасив света и оставив дверь полуоткрытой. Полоса света падала в прихожую, может, достигала и комнаты. Надо, чтобы было видно. Уснул он? Что, если нет? Куда там? Почему вдруг опять стало так тихо? Рояль наверху умолк, изменник, но вот снова взметнулся фальшивый аккорд. Мундир висит здесь, посмотри! Пальцы судорожно бегали по ткани мундира, цепляясь за нашивки, блестящие молнии. Пояс. Пряжка. Как это называется? Шпага, кортик? Неважно! Осторожно и брезгливо она вынула клинок из ножен — «Meine Ehre heist Treue» *. Какой, однако, тяжелый! Боже, прибавь силы! Холод металла пронизал ее тело. Она пробовала острие пальцем и в изнеможении прислонилась к стене.

* Моя честь — моя верность (и е м.).

Как долго она стояла?

Бланка подняла голову. Прислушайся! Не зовет ли? Нет, нет, опять тихо.

Ну, играй же, играй, — мысленно просила она неумелого музыканта там, наверху, — ударь по клавишам, пусть это будет для меня сигналом.

Спасибо, я иду.

Она раздвинула портьеру и, как тень, проскользнула в темную комнату.

Произошло... произошло нечто — она это знала, знала совершенно твердо, это было единственное, что сохранило ее смятенное сознание. Потом она поняла, что стоит, прислонясь к чему-то надежному, твердому, это было дерево, каштан, под пальцами у нее шершавая кора, и кругом холодно, мороз, мгла, пропитанная дымом. Она хватает воздух открытым ртом, как усталая птица, и ее тошнит, перед ней знакомая улица, телефонная будка на углу... Бланка не видит будки, но знает, что она вон там, дальше — дом, подъезд с табличками в хромированных рамках и темное окно на четвертом этаже, слева чугунная ограда парка, за ней ветер качает озябшие ветки, вдалеке гудит поезд и куда-то мчится, только она стоит, стоит напротив его дома — отбежать дальше у нее не хватило сил, — и стучит зубами, неудержимо, бессильно и смешно, и она знает, что все кончено и вместе с тем не кончено, что это никогда не кончится, ибо секунды остановились и бесконечно повторяются вновь и вновь, и она...

...она снова сидит на краю дивана, и мурашки бегут по коже, руки у нее как у куклы, из которой выпотрожили опилки, она не знает, куда их деть, она равнодушна и бездумно пуста, но внутри неумолимо звучит приказ — точный, чудовищно ясный, мучительно неотвратимый, подобный шпоре, удар которой она предчувствует всем телом. Отступления нет! Ее пугают его прикосновения в темноте. И его слова. Она слышит их, хотя не вслушивается, знает только, что это немецкие слова, но они не доходят до нее, она наедине с собой. Она и здесь и не здесь. Он тянется к ней, но она отводит его руку. Я сама. Лево́й рукой она ощущает тепло его голой груди, вот она — широкая, выпуклая, живая, поросшая мягкими волосами, вот здесь, здесь сильные, уверенные удары из глубины. Хватит! Замолчал бы, ради бога... Рука испуганно отстраняется, а сердце бьется все оглушительнее, — играй же, играй! — она отводит руку — надо, надо, да ну же! — а руки как чужие, как приставленные...

— С вами случилось что-нибудь?

Голос словно с того света. Он бьет, выводит ее из оцепенения. Что ему надо? Высокая, темная фигура. Человек остановился за ее спиной и терпеливо ждет ответа. В темноте не видно его лица.

Крик? Нет, скорей удивленный и наполовину нечеловеческий стон.

он стоит в ушах, проник в мозг, он не замолкает! Продолжается. Встань, встань и беги! Произошло! Нет, все еще происходит. Удар в бок — это ручки кресла, е е к р е с л а... оно на том же месте... все повторяется снова... это ощущение погружения, проникновения — оно в пальцах, в бессильных руках, она знает, что это ощущение никогда не забудется, не пройдет, что она до смерти будет таскать его за собой, она думает об этом с ужасом, но без тени сожаления, и все еще стоит в потемках, глаза ее расширены, дыхание перехватило, она есть и ее нет, она пятится, шарит около себя, стараясь ухватиться за что-нибудь прочное, пятится, и ей хочется кричать, скорей бы конец — хватит, хватит! Но конец еще не наступил, нет, он еще жив и хрипит... шевелится в этой жуткой ожившей тьме... слышен треск бьющегося стекла, она слышит шорох, пыхтенье — огромный неуклюжий жук, спрут... вероятно, ищет ее, чтоб не дать уйти, хрипит, нечеловечески хрипит, долго и упорно, словно от тяжелой работы... торшер падает на ковер, а она все пятится и пятится...

— Оставьте меня! — испуганно восклицает она, но тотчас овладевает собой. — Нет, со мною ничего не случилось... Спасибо... — Зубы у нес стучат, она держится за ствол дерева и слышит, как прохожий, невнятно бормоча, удаляется, каблуки его стучат в темноте, и все повторяется снова...

...Вот угол серванта из красного дерева, она цепляется за него, потом нащупывает гладкую поверхность приемника и чувствует, что больше не выдержит, что нет сил слышать этот хрип... Она бессознательно включает радио, и в едко-зеленом свете видит — он еще жив, но хрип слабеет, переходит в свистящий кашель, но не смолкает... Почему же не слышно радио, почему так тихо... о, эта хрипая, гнетущая, величественная тишина... заглушить... за-глу-шить ее... я не могу больше!.. Она на ощупь находит мембрану, пускает диск, игла падает на пластинку, шуршание, равномерное шуршание, потом слышится высокий, надрывный голос еврейского певца, он взматывается, надламывается в угрожающем рыдании, падает, как подбитая птица, песня полна отчаянья, она оплакивает весь мир и снова взмывает ввысь, бьется о стены и окна...

Бланка кидается к двери, на ходу хватая с вешалки пальто, она не в силах оглянуться, нет, нет... Дверь захлопывается за ее спиной, она бежит по резиновой дорожке, спотыкается, падает. Прочь, прочь, прочь отсюда!

Опомнись же! Под рукой у тебя шершавая кора дерева, кругом липкая тьма, мир тьмы, свисток паровоза врзается в сознание, будоражит его. Свершилось, конец, и ты это знаешь, свершилось там, совсем рядом, за темным окном четвертого этажа, надо бежать отсюда, беги же, ты слаба, перепугана до смерти, беги от самой себя, от того, что снова и снова повторяется в твоём сознании и никак не может кончиться, ведь это в тебе самой и ты не избавишься от этого до самой смерти.

Поняла? Ты уже другая, совсем не та, которая шла сюда еще несколько часов назад...

Бланка попыталась двинуться с места, и это ей удалось. Она шла как во сне, будто не по твердой земле шагала... Потом все, что давило грудь, прорвалось слезами — она заплакала тихо, жалобно, почти по-детски. Шла черной улицей, не замечая мира, в котором ей назначено жить, и плакала...

Занавес, скорее занавес!

XIV

— Вставай, молодой!

Кто-то трясет Гонзу за плечо. Приоткрыв глаза, он сразу узнал Мелихара.

— Бомбили Прагу! Только что бомбили. Ты живешь на Виноградах? Добро, беги туда, только гляди в оба! Отвечаешь за себя. И чтобы воротился к вечеру!

Гонза рысцой спускался с крутых улиц предместья, а мозг упорно сверлила одна мысль: вот и началось! Бомбили Прагу! Скорее домой!

Однако первые признаки бомбежки он заметил только на главных улицах: трамваи в смятении несутся по чужим маршрутам — здесь ведь не ходит двадцатка... Заливаются звонки. Смятение в шагах прохожих... Пронзительные сирены машин «Скорой помощи» раздвигают толпу... А так ничего особенного. Вон толстая тетка с тощей рыночной сумкой, переваливаясь уточкой, плетется по тротуару, но точно так же могла она проходить тут и вчера; в боковой улочке мальчишки гоняли тряпичный мяч, воробьи невозмутимо копаются в лошадиных «яблоках» — такие же, как год, как сто лет назад.

Горящий Эмаузский монастырь Гонза увидел еще со Смиховской набережной: языки огня, черные клубы дыма окутывали башню и часть неба. Не останавливаясь, Гонза перебежал через мост. Мутно-коричневая вода, угрожающе грохоча, валилась через плотину, от реки поднимался сырой ветер.

— Стой, прохода нет!

Гонза что-то сбивчиво толковал полицейскому, рискнул даже вытащить из кармана «кennungкарту»; на счастье, у полицейского было много других хлопот. Он махнул рукой: «Ладно, беги».

То же самое разыгрывалось на каждом углу.

И вот, наконец, Гонза увидел и удивился, что не очень поражен: развалины печально напоминали развалины других городов и улиц, какие он видывал в киножурналах «Уфа», сидя в безопасности кинотеатра, пламя жадно гложет оконные проемы, груды кирпича завалили улицу и трамвайные пути, дырявые коробки домов с вырванными глазами, выпотрошенные квартиры, где час назад сотни людей жили своей маленькой жизнью, — теперь в них грубо обнажен банальный узор обоев, видна картина, по прихоти случая оставшаяся на крюке... Почему-то именно эти мелочи действовали сильнее всего — и стекла,

стекла, целые сугробы, хрустящие под подошвами, и путаница рваных проводов над вспоротой мостовой, из которой фонтанами бьет вода прорванного водопровода... Едкий дым вызывал кашель. На лицах люфтуцев написано комичное сознание важности момента — их момента! Струи воды яростно бьют в пламя, клубы пыли щиплют глаза... Брошенная детская колясочка, полосатые перины, чемоданы на тележке, суетливые движения сотен людей, беспомощных до отчаянья, носилки... Кровь. Еще носилки... Все это было знакомо Гонзе; странное чувство — это я где-то видел! Незнакомы только звуки — в кино такие сцены обычно сопровождалась трагической музыкой Вагнера, а здесь гул и треск горящего дерева смешивались с громкими командами, плачем младенца, женскими причитаниями где-то в подворотне...

Засунув руки в карманы, спешил Гонза по знакомой улице, — сколько раз я проходил здесь! — и едва узнавал ее. Да, ей досталось, а вот соседняя почти совсем цела. Странно, нелепо, нелогично, как сама смерть, которая не утруждает себя выбором, косит наугад, как пьяный жнец. Почему этот дом, а не соседний? Гонза глядел на хаос разрушений и удивлялся тому, что не способен испытывать чувства, которые мог бы предположить в себе: ни жалости, ни участия, ни протестующей ненависти к режиссерам этого отвратительного спектакля... Ни даже страха! Только знакомое ощущение зыбкости и тщеты.

Как будто над городом промчался хулиган, одержимый жаждой бессмысленного разрушения, и тут же трусливо скрылся. Несколько секунд — и вот небо над городом снова безоблачно, солнце спокойно освещает мир, и мягкие его лучи предвещают весну. А ведь еще февраль на дворе. Деревья парка на Карловой площади равнодушно бросают холодные тени, в конце парка широким полукругом теснятся любопытные. Гонза не удержался, подошел ближе — на разрытой земле, метрах в двадцати от него, лежит громадная бомба — одинокий зверь из иного мира, выставленный напоказ осмелевшим землянам. В солнечном свете матово поблескивает темный корпус. «Разойдисы! — кричат люди в форме. — Она может быть замедленного действия!»

Кто-то сказал, что в бомбоубежище на другом конца парка были прямые попадания. «Прямо мясорубка, — сказал человек в спецовке, — нет, господа, меня в убежище не загонишь, я не крыса!»

Лица, обрывки фраз. Гонза приглядывался к людям. Что случилось с ними? Они вовсе не подавлены — они дисциплинированы и спокойны, лихорадочно деятельны. Американский налет? Слышалось до странности мало упреков и брани по адресу тех, кто все это сделал. Понятно: слишком много брани обрушивает на них каждый день протекторатная печать, чтобы у кого-нибудь была охота повосить их вслух. И вообще пражане, видимо, не поражены: то, что сегодня низринулось на них с неба, слишком давно висело над нетронутыми крышами Праги, чтобы быть неожиданностью. Большинство, казалось, приняло бомбежку с покорным пожатием плеч, как фатальную неизбежность, как нечто, что должно было случиться. И даже, несмотря на слезы женщин, осиротевших, на стоны раненых, с некоторой долей нервного юмора, ко-

торый пробуждается, наверно, только у тех, кому дано с неизведанным раньше чувством трепетного счастья понять, что они были на волосок от гибели. Смерть еще тут, рядом, они чувствуют ее всеми нервами, их ноздри еще обоняют ее непостижимый смрад, и они отгоняют ее словами, жестами, а некоторые легкой истерикой. «Я как раз сидел в клетке, не успел и штаны застегнуть, а оно как грохнет», — слишком громко рассказывал какой-то толстяк. На бровях его осела кирпичная пыль, он кашлял от дыма, глаза у него слезились, он был утомителен своей неутомимой болтовней, хотя никто его не слушал; он все еще недоверчиво ощупывал себя, налет был единственным волнующим приключением в его серенькой жизни; кто-то грубо прикрикнул на него, но он не мог молчать. Не мог! «Не успел я и штаны застегнуть». — «Да заткнитесь вы!» Но замолчал он лишь, когда мимо пронесли носилки, с которых капала кровь; испуганно отшатнулся.

Не волнуйся, может, наш дом уцелел... Но чем ближе подходил Гонза к своей улочке, тем больше видел он разрушений. По какой системе выбирали дома? Кто составлял список? Дурацкий вопрос! Гонза шел по знакомым улицам, как в мучительно ярком сне, только у этого сна был один недостаток: он был явью. И все — настоящее: пожары, развалины, вой сирен, поваленный трамвайный столб, люди, оставшиеся в живых...

Он замер на месте, но не позволил себе отвести взгляд от носилок на краю тротуара. Гляди, надо привыкать, это еще не конец, это увертюра, удар тигриного когтя, первое и мимолетное прикосновение того, что близится с каждым часом. Куда ты хочешь бежать? Гонза знал, что человек на носилках мертв. Что-то безошибочно убеждало его в этом, хотя ты был первый мертвец, которого он видел своими глазами: неподвижность его была иная, чем у живых, более неподвижной, и тишина, которая исходила от этого, была тише. Абсолютная тишина неодушевленного предмета. Как ни странно, ужаса Гонза не испытал, лишь легкое головокружение да сознание непоправимости. Какое-то клеймо на душе. Что же меня так потрясает? Эта будничность: редкие волосы убитого, сквозь которые просвечивает кожа черепа, в ямочке на подбородке следы пудры после бритья... Это напоминание об обыкновеннейших делах жизни человека было самым страшным. Запавший рот чуть приоткрыт, словно готов высказать обыкновенную до грусти тайну, на лице — почти бессмысленное выражение. Гонза отвернулся, во рту у него пересохло; он пошел дальше, но казалось ему, что весь он стал как-то тяжелее.

Места становились все более знакомыми. Витрина аптеки — она напомнила о дрожи от рассветного холода, об ожидании трамвая — уцелела. Крошечное облегчение! Магазины игрушек — Гонза стоит, прижав нос к стеклу, тихонько канючит: «Купи, мама!» Книготорговец успел спустить железную штору. Прошлое непонятным образом держится в памяти: вот он топает с кувшинчиком за пивом, на обратном пути, озираясь, слизывает горьковатую пену. Начальная школа: дед вводит Гонзу в подъезд школы, там стоит какой-то особый запах... Первый класс, портрет «батюшки Масарика», чучело хорька тарарит

пуговичный глаз. «Садись, малыш, слушай, что вам расскажет лани учительница...»

Навязчивое представление: учительница знает все на свете...

«Берегись!» — крикнули где-то. Горячая балка валится с пятого этажа на перекореженную мостовую... Его мир, мир маленьких людей, обыденных, безвкусовых домов с ненужными башенками, неровных улиц...

Гонза входит в кондитерскую Альфонса Батьки. «Динь-данн-донн», — звякает звонок. «Добрый день», — отважно пропела приветствие маленькая Итка и пригладила челочку. «Пожалуйста, леденцов на двадцатку». — «Не на двадцатку, а на двадцать геллеров», — невозмутимо поправляет ее бледный человек за прилавком, ловко сворачивая кулек... Голоса, лица, запах пива в подъездах, свет и тени — Гонза возвращается к ним, а под ложечкой у него что-то давит, и воротник у него поднят, как у вора, и чувство у него такое, словно он не был здесь долгие годы.

На соседней улице разрушены два дома. На дверях одного висела табличка «Карел Пажоут, дипломированный учитель музыки — скрипка и фортепьяно», в другом доме живет рыженькая Ганна Косова, девчонка из их класса, играла в баскет за школьную сборную.

Ту-ду-ду-дум!..

Гонза выглянул из-за угла. Низкое, эгоистическое облегчение: даже отсюда виден жестяной ящик на их окне, это «огород» деда, он там выращивает зеленый лук. Угловой фонарь, надпись мелом на облупившейся штукатурке: «Ержабек осел». У дверей, оживленно жестикулируя, толпится кучка знакомых, Гонза узнает дворника, Иткину мать... Заметив, что в его сторону направился один из соседей, Гонза поспешно поворачивает обратно.

Он бежит, мелькает под ногами знакомый узор тротуарных плиток; дорога известна до мельчайших подробностей: мимо запертой гимназии — он не бывал в ней с того самого дня, когда вышел оттуда с аттестатом в кармане, но и сейчас еще на долю секунды его коснулся знакомый страх: и зачем в понедельник первый урок — математика? Сегодня вызовут как пить дать, по алфавиту — его очередь... Нет, нет, пан учитель, он спасается от сверлящего взгляда, из меня ничего не выбьете!

Запах свежего хлеба ударил в ноздри — Гонза замедлил бег; но пекарня на углу закрыта, железная штора спущена.

Вот и ступеньки в нише подъезда, ты хорошо их знаешь!

Еще несколько шагов, и Гонза превращается в придорожный столб. Он замирает на углу, широко раскрыв глаза, хочет закричать, но только беззвучно шевелит губами, не в силах выдавить из себя ни звука... Поверил, только нащупав рукой холодный металл — гладкий столб знакомого фонаря, не устоявшего под взрывной волной и переломившегося пополам. Кругом битое стекло. Гонза двинулся вперед, ступая по осколкам, он идет по противоположной стороне, держась за стену, и все проводит по лицу ладонью. Нет! Нет! Он кашляет от едкого

го дыма, ему не хватает воздуха, щиплет глаза — как будто он плачет... Пыль, дым...

Нет, нет!

Дом, третий от угла... единственный на всей улице.. Почему? Гонза приблизился, как в страшном сне... Почему-то уцелел фасад с р-дами выбитых окон... Не может быть! За фасадом ничего не было — пустое пространство. Пустота. Дом пробит от чердака до подвала, словно мясник вырвал внутренности туши. Развалины еще тлеют. Слышатся команды, плеск воды из брандспойтов. Спокойная, удивительно спокойная папика — и всюду стекло, стекло! Пусть это только сон!

Суета людей посреди развалин казалась ему до смешного бессмысленной — к чему все это! Гонза поднял слезящиеся глаза, обвел ими упрямо стоящий фасад, сосчитал — последний этаж, четвертое окно слева... Через окно видно мутное небо, затянутое чадным дымом! Ветер дует вдоль улицы.

Взрыв — и точка на всем? Нет, нет! Стуча зубами, Гонза пробивался локтями в толпе. Еще ближе! Кто-то с налету толкнул его и не извинился. Им овладело какое-то странное оупение.

— Дальше нельзя, вернитесь! Это вам не театр, слышите?

Кто-то молился вполголоса, за спиной раздавался бессильный женский плач.

— У вас там были близкие?

— Назад, слышите? Стена может рухнуть!

Зеркало, над тахтой портрет человека с чертами Аполлона — больше Гонза ничего не может себе представить. Не получается. Он вдруг осознал, что тянет за рукав человека в форме, допытывается о чем-то, кричит так, что вены вздуваются на шее, все повторяет одно имя, твердит его как заклинание. Человек сердито вырвался, но потом лицо его, покрытое пылью и потом, смягчилось.

— Ослеп ты, что ли? — говорит он пересохшими губами. И уже более мирно: — Откуда мне знать? Списки погибших? Ты соображаешь, что говоришь? Ждать надо. Что? Спасся ли кто? Разве что на крыльях. Вот что, сыпь отсюда, приятель, мертвых и без тебя хватает! Назад, люди!

Вот и все. Гонза словно повис в воздухе. Он наклонил голову; в куче под ногами что-то привлекло его внимание. Гонза нагнулся: оторванная голова гипсового святого из разбитой витрины. Глаза из синьки на банально-благостном лице улыбались с праведным безразличием.

Гонза повертел головку в руках и гневно отбросил.

Нет.

Кафе на главной улице безлюдно, обер-кельнер в потертом фраке и грязной манишке встал, видимо раздосадованный тем, что посетитель увидел его зевком, принял строгий и недовольный вид. «У нас не переговорный пункт, не видите, кафе закрыто!» Потом он все-таки еми-лостивился и показал пальцем телефон в темном коридорчике, где пахло кухней и клозетом.

Ту-ту! Занято. Гонза с замираньем сердца набирал номер завода: на подстанции полная неразбериха, но после долгих усилий его соединили со складом.

— Материальный склад, Клапак у телефона! — Гонза узнал голос Леоша. Тот чуть не вскрикнул от изумления, когда Гонза назвался — словно он выходец с того света! — С ума сойти, Гонза, а мы-то думали... ну да, понимаю... погоди у телефона, я погляжу... — Шипение и треск в трубке длились вечность, потом снова послышался голос Леоша: — Алло, ее здесь нет. Не вышла на работу. Факт, должна была в утро. Нет, ничего не знают. А что? Да не попали в нас, обормоты. Я прямо готов со злости... Что с тобой?

Гонза повесил трубку, и вращающиеся двери вытолкнули его на улицу.

Конец главы, перевернуть страницу! Гонза поразился собственной апатии. Наверно, чтобы поверить, надо захотеть поверить. Не надо противиться фактам. Это дело желания. Мир, город, улицы знакомы по очертаниям, по материалу; что же изменилось? Они или его видение? Его несло в уцелевший центр города; он был выколоченный ковер, тело — трут, во рту пустыня Гоби; шагал, подняв воротник чужого пальто — под мышками жало, — и простуженно потягивал носом. Куда идти? Что еще искать? Грызущий приступ голода... Пустая строка: «Африка — страна плоскогорий...» Сирена! Отскочил в последний миг: машина «Скорой помощи».

Вдруг в двух шагах впереди увидел ее, сразу узнал по походке, догнал... Только лицо было другое. Простите, обознался... В кармане лежат два билета вот в этот кинотеатр, Гонза нарочно купил в ложу для двоих, фильм называется «Колечко». Что мне за дело до какого-то колечка? Странно, что и сегодня есть киносеансы. Вообще здесь все так, будто несколькими улицами дальше ничего не произошло, — будничные лица, торопливая походка, куда они все спешат? Не хотят думать об этом — что ж, естественно. Было: они сидели вот тут, за столиками этого кафе, спорили о цвете обоев воображаемой квартиры; стоит закрыть глаза, и Гонза видит Бланку. Круглое зеркало в витрине парикмахерской, на нем красно-белая реклама презервативов, а ей ничем, она причесывается перед зеркалом, гребень потрескивает в волосах. Тупое лицо гипсового святого нахально усмехается... шевелятся губы на пыльном и потном лице...

Нет, ангельских крыльев у Бланки не было, это он знает точно.

Он стоит на ветреной набережной, сплевывает в бурную воду и не хочет смотреть на пейзаж, тысячекратно запечатленный на рисунках и открытках. Как смешно перебирают лапками плавающие утки... Гонза следит за полетом чайки: вот она перевернулась в воздухе, с резким криком падает на воду, и Гонзе кажется, что он понимает единственное слово на языке чаек: «жрать, жрать!» Он немного завидует чайке: ей ни до чего нет дела. Что ты знаешь? Солнце спускается, вытягивая на дыбе тени деревьев соседнего острова,

Иди дальше!

Но — куда?

Гонза плетется через мост и вдруг, очутившись на другом берегу, словно по неслышной команде опрометью пускается бежать.

Отложи карандаш! Как это было? Помню, то ли когда я пролез через дыру в заборе, то ли, вернее, когда со всех ног бежал мимо рассыхающихся перевернутых лодок, мне показалось, что из трубы сарайчика поднимается дымок. Я не верил еще в ту минуту, это казалось мне подозрительным и грубо подстроенным, я боялся обмануться и подавил в себе робкую надежду. Странно: теперь, много лет спустя, когда я пишу эти строки, в них уже спокойная достоверность свершившегося факта — этакая относительная правда пережитого.

Да, все случилось просто: стоило только открыть дверь.

Я разглядел ее профиль даже в том скудном полусвете, который просеивался через грязные стекла. Знакомый запах холостяцкой берлоги... Бланка сидела на единственном стуле, вытянув ноги к времянке, закутанная в грубые одеяла; она испуганно обернулась, когда я вошел. Не знаю, сразу ли она узнала меня, она встала — помню, одно одеяло сползло к ее ногам, — однако не двинулась мне навстречу. Я стоял на пороге, как призрак, держась за дверную ручку, мне не хватало воздуха. Потом я захлопнул дверь и шагнул навстречу неподвижно раскрытым глазам...

— Маркиза! — тихо позвал я, обращаясь к тени. Я боялся шума и, уж не знаю почему, назвал Бланку этим давним, чуть пренебрежительным заводским прозвищем. Наверно, после долгой разлуки мне трудно было произнести ее имя.

Жива! Я воспринял это как нечто естественное и логичное. А Бланка все еще не шевелилась и — что совсем меня сбило с толку — не обнаружила ни малейших признаков удивления.

Ни радости, ни отвращения, ничего!

Мы стояли друг против друга и молчали. Не помню, как долго длилось это странное молчание. Я заметил, что губы ее, чуть приоткрытые дыханием, слегка дрожат, будто к ним изнутри рвутся слова, но голоса нет и они остаются невысказанными. Во времянке гудело пламя, через щель в дверце на белый лоб Бланки падал дрожащий свет. Она ли это? Она! Я касался взглядом ее лица — когда-то давно, страшно давно я был просто болен им, — потом, как Фома неверующий, отважился коснуться светлых волосков, расположенных веером на переносице. Бланка не отстранилась. А я, как слепец, ощупывал ее лицо, узнавал и не узнавал его, кажется, тихонько звал ее по имени — точно не помню, но помню странное ощущение, что она меня не замечает. Было в ней что-то незнакомое, какая-то перемена, сдержанное безразличие, не знаю что, знаю только, что я почувствовал себя ужасно беспомощным. Бланка! Это я! Узнаешь? Она, быть может, силилась вернуться к действительности, но это ей удалось только после того, как я схватил ее за плечи.

Тогда она протянула ко мне свои руки ладонями кверху.

— Я убила его... Вчера вечером... Не знаю... Наверно...

Я тупо таращился на ее маленькие ладони, на пальцы, исцарапанные заклепками, и целая вечность прошла, пока я понял смысл ее слов. Мозг мой был парализован, я мог ощущать только безмерную жалость, но ни слова не приходило на ум, так я был потрясен. Я заставил ее сесть. Пусть говорит!

— Я не могла иначе... Иначе мне нельзя было бы жить... Но я никогда этого не забуду, не смогу, я знаю... — Она выдавливала из себя эти слова, уставясь в догорающий огонь, и лицо ее старело с каждым словом. — Я убила человека... наверно... Не знаю! Вот этими руками, взгляни! Я их боюсь... брезгую ими... я мыла их ночью в реке... не помогло! После вчерашней ночи я — уже не я...

Она не умолкла, пока не исторгла из себя всего. Мне было нехорошо, я подумал, что отныне меня уже ничто не поразит, кроме собственной смерти.

Я придвинул от окна ящик, на котором сживал прежде, сел и слушал ее. Потом — по крайней мере мне так показалось — она немного успокоилась, если можно назвать спокойствием изнеможение, и откинула волосы со лба тем особенным своим движением, которое я так любил. Я готов был видеть в этом машинальном жесте признак возвращения к прежнему. Она посмотрела на меня с непонятным вопросом. Помню, мне хотелось, чтобы она заплакала; но этого не произошло.

«Говори», — сказали мне ее глаза.

Я встал и потянулся, чтобы выиграть время.

— Тебе не в чем упрекать себя, — сказал я самым твердым голосом, на какой был способен, я плохо понимал, что я такое несус; потом меня будто осенило: я взял ее руку, раскрыл ладонь и поцеловал. Не знаю, поняла ли она, помню только, что в ужасе отдернула руку.

Довольно! В облупленном чайнике на печурке клокотала вода, и этот мирный звук побудил меня заняться практическим делом. Здесь где-то должно быть немного липового цвета — мы летом нарвали его на Сазаве... Я пошарил в хламе на полке. Бланка поняла, что я ищу, и кивнула на полупустой кулек на столе. Я нарочно громко топал по полусгнившим доскам, чтобы спугнуть зыбкую тишину, озирая этот грязный и жалкий мирок, который когда-то так много значил для меня. Похоже на кладбище воспоминаний — на каждом шагу надгробные памятники. Вот нож. Вот зевает пустая сахарница. Вот глуповато улыбаются с цветных фотографий холеные мордашки кинозвезд, но теперь их нарочитость меня раздражает. И лишь божественная Гарбо по-прежнему сохраняет достоинство, меланхолическую загадочность, если не считать, что в свое время я пририсовал ей фербенксовские усики. В вазочке на закапанном стеарином столе сохнет веточка прошлогодней рябины. Где же кружки? Вот эта, с отломанной ручкой — моя, из другой всегда пила Бланка; не будем менять заведенного порядка.

Тонкими пальцами Бланка обхватила кружку и машинально отпила.

— Я потеряла голову, — заговорила она. — Всю ночь провела на улицах. Боялась замерзнуть и все ходила, ходила... Ко мне пристал какой-то тип, думал, что я проститутка. Я убежала от него. Не знаю точно, что я делала. Сюда я решила прийти только под утро...

Я понял, что она ничего не знает о бомбежке. В дрожащем свете печурки Бланка казалась уже совсем спокойной; я почувствовал облегчение, но ненадолго.

— Здесь мне нельзя оставаться, — сказала Бланка. — Сыч нашего Гефеста, Карел, — помнишь? — вернулся из Германии. Сегодня он пустил меня, видно, из благодарности судьбе, но вечером все равно придется убраться.

Липовый чай согревал желудок. Мы сидели рядом, вытянув ноги к огню, и отхлебывали безвкусный отвар. На первый взгляд все было как прежде, но все было не так. В этой тишине и полутьме меня охватило такое чувство, будто на свете нет больше людей — только мы двое. Последние. Или первые?..

— Почему ты не пошла домой?

— Не могу, — вздохнула она. — После такого становишься загнанным зверем, не рассуждаешь. Я забыла там сумочку, в ней удостоверение, заводской пропуск, продуктовые карточки, все... Ко мне домой уже наверняка приходили.

Ящик подо мной скрипнул. Я молчал.

— Я будто повисла между небом и землей. Что мне делать?

— Сейчас пей чай. — Наигранной решительностью я попытался прикрыть свою полную растерянность. Долив ее чашку, я стал болтать о том, о сем, стараясь собраться с мыслями. — Человек не такая уж крупная вещь, может и затеряться, и потом — до конца войны теперь недолго, может, несколько недель...

Мелихар! Мне представилось его сердитое лицо, и у меня отлегло от сердца, я ожил. Он должен нам помочь! Пусть ругается как угодно, пусть наорет на меня, как на собаку, — насчет этого я не сомневался, — но помочь он должен! А я готов стать перед ним на колени, пригрозить ему, готов на что угодно... Почему-то я был твердо уверен, что он не откажет, и с великолепным легкомыслием уже убедил себя: все спасено! Я выложил свой план Бланке, она сначала недоумевала, не верила, но в конце концов кивнула.

— Обещаю, что не буду помехой...

— А ну тебя!.. Но что с тобой? Тебе нехорошо?

Она созналась, что не ела со вчерашнего дня. Я пошарил в бумажнике, нашел талоны на сто граммов мяса и на хлеб.

— Погоди здесь, — сказал я. — Я сбегаю в город и постараюсь раздобыть что-нибудь.

Я возвращался, спотыкаясь о скользкие плиты причала — в кармане у меня согрелся тощий сверточек с еще более тощей колбасой;

я тихошьюко насвистывал блюз — тот самый мой унылый голубой блюз. Отчего-то он вдруг возник у меня в памяти, брел рядом.

— В жизни не ела ничего более вкусного, — сказала Бланка, вытирая губы.

Я с удивлением сообразил, что ей всего двадцать лет. Она всегда казалась мне старше, в особенности сейчас.

— Сегодня я впервые видел труп, — сказал я ни с того ни с сего, сам не зная зачем. Бланка не подняла глаз — может, не расслышала.

Сумерки входили через окно снаружи, но я одолел искушение и не зажег керосиновой лампы; я был уверен, что в темноте сидеть лучше. Огонь горел слабо, и в нем мне виделось лицо убитого со следами пудры на подбородке...

— Знаешь, чего мне жалко? — сказала Бланка, грея руки над огнем. — Зеркала. Наверно, его украдут. Как ты думаешь?

Я поразился такой мелочности — человек несколько часов назад пережил столько, сколько иной не переживет за сто лет. Быть может, это инстинктивная самозащита? И вместе с тем это было так похоже на ту Бланку, которую, как мне когда-то казалось, я хорошо знал, и печально напомнило прежнюю близость. Я улыбнулся.

— Ну, зеркала ведь не перестанут делать!

Она покачала головой.

— Таких больше не будет. Зденок привез его из нашей старой квартиры. Сколько я себя помню, оно висело в прихожей. Когда-то мне приходилось становиться на цыпочки, чтобы посмотреться в него.

Я представил себе безглазый, сожженный дом Бланки и подумал: не сказать ли ей все? Но только стиснул зубы. Она сидела вполборота ко мне, подперев голову рукой, и неподвижно глядела на огонь.

— Что же это с нами случилось? — спросила она. — Ты понимаешь?

Мне отчаянно захотелось курить, я обшарил все складки карманов, но не нашел ни крошки табаку.

— Не понимаю, — сказал я, помедлив с ответом. — Или очень плохо. Есть вещи, из которых не извлекаешь уроков, а если и извлекаешь, то от этого не легче. Пустые разговоры...

В душных потемках что-то нарождалось в душе — скорее смутные чувства, чем мысли, я помню еще, что у меня болела голова. Из чего мне было извлечь уроки? Из страха? Из тоски? Из чувства одури и сознания зря потраченных лет? Из той идиотской, липовой работы, которую я выполнял из-под палки? Из того, что я видел вокруг? Оплеухи, смрадная атмосфера... Протекторат? Все это придется, пожалуй, всю жизнь истреблять в себе, и еще неизвестно, удастся ли, а потом начинать как-то иначе. Иначе... Но я до сих пор не знаю в точности как.

Я плюнул на грязный пол и встал.

— Представляю себе, что ты думаешь. Да, все это не так просто. Было ведь и другое — если б не было этого другого, я бы совсем уж не знал, для чего болтаться нам на земле. Тогда уж не было бы никакой надежды. Бывали минуты, когда мне хотелось подохнуть. Не сумел!

Я открыл ногой дверцу печурки и подложил дров — почему-то я боялся, чтобы огонь не погас. В трубу ударило порывом ветра, погнало дым в комнату. Я протер глаза, отошел к окну и стал глядеть в жидкую тьму. Можно было различить контуры лодок, перила у спуска к воде. Реки не было видно, но я знал, что она там. Чьи-то шаги прощуршали по песку мимо сарайчика и затихли.

— Вчера я снова начал писать, — сказал я, помолчав. — А мне то казалось, что я уже навсегда покончил с этим. Зачем — не знаю, и не знаю, что важного и значительного могу я сказать людям. Я чувствую себя заживо ободренным кроликом. Может быть, писание — всего лишь какая-то инерция, но в ней облегчение.

Я пристально глядел в темноту. Ребята... В последние дни я много думал о них в своем вынужденном уединении; перечитывал «Лик» Галаса и ломал себе голову: почему же я сблизился с ними? О тебе, Милан, я думаю уже без ненависти, но в душе все еще спорю с тобой. Мы разные люди. Ты, быть может, в принципе прав, но в твоём изложении эта правда для меня почему-то несъедобна, ты верующий, а я даже сейчас не способен уверовать в твоё примитивное представление о рае — уж очень оно напоминает мне красочный плакат с рекламой зубной пасты, а я по натуре привык все усложнять. «Специалист по сомнениям», — так ты меня назвал однажды. Надутый, копающийся в душе интеллигентишка.

И Войта. Хотел бы я с тобой когда-нибудь встретиться, Войта! Если только это будет возможно. Жив ли ты?..

Бацилла, наверно, по-прежнему ходит к своей шлюхе, в разрешенный полицией бордель. Он доверил мне свою тайну. Мужчиной стал. Не хочу быть к нему несправедливым, но, пожалуй, он рад, что все кончилось.

И Павел... Я и думать еще не могу об этом спокойном, по-городскому бледном лице, на котором не отражались затаенные страсти. Мы даже не были с ним друзьями, но я реветь готов, как вспомню о его гибели, — я с ней еще не примирился. И не примирюсь. Почему? Не знаю. Вот его нет, а в мире ничего, ничего не изменилось. Мы называли себя «Орфей» и творили немало глупостей. Наверное, не мы одни... Чудо, что нас не переловили, как кроликов. Да, я признаю, ничего значительного мы не сделали. Пишкот не был отомщен, и от всех наших усилий фронты не продвинулись ни на шаг — и все-таки я готов сразиться с любым, кто станет отрицать, что нас соединяло нечто высокое. «Орфей»... Я уверен в этом и сейчас, хотя боюсь, что мы заплатили слишком дорого, и хотя знаю теперь, что настоящая борьба куда менее романтична и более обыденна. Она часть обыкновенной жизни.

Наверно, я все-таки что-то понял — честное слово, не помню, говорил я об этом вслух или только думал, — но важно это только для меня самого. Видно, не может человек оставаться в равнодушном одиночестве, не может не вмешаться... Не в силах он нести бремя жизни один... Не знаю, как это сказать... Очевидно, он должен присоединить свою жизнь, отдать ее чему-то большему, чем он сам, чему-то вне себя, если не хочет в известные моменты сойти с ума от сознания бессилия и одиночества... от непреходящего ужаса, от дурноги при мысли, что он живет неизвестно зачем и умрет, тоже не зная зачем... что бродит по земле пустым призраком, нулем...

Мне стало не по себе от этих мыслей, хотя они и не были похожи на ту книжную премудрость, которой я когда-то пытался ошеломить Бланку. Я чувствовал, что должен заговорить, должен разбить тишину, в которой мы завязли, эту неустойчивую тишину, в которой трепетало что-то невысказанное и плавало в теплом воздухе сарая, — что-то, чего я не осмеливался коснуться.

Плещущий шорох на крыше был хорошо знаком: это ветер трепал листья толя. Гнетущий звук!

Что ты болтаешь? Я умолк — я сразу узнал его: Душан стоял передо мной, стройный в своем черном свитере, и улыбался с необходимым, грустным превосходством. Бедняга, завел себе новые иллюзии? Слюняй! А ту, которую ты так яростно защищал от меня, ты уже потерял? Оглянись! Она для тебя уже в прошлом. Чего же стоила твоя убежденность! Впрочем, что ж, на здоровье, если с новыми иллюзиями тебе легче будет тянуть эту утомительную канитель...

Помню, я яростно воспротивился, но вновь почувствовал свое бессилие: его речи так легко покоряли меня. Оставь меня, Душан, не хочу тебя больше слушать, не могу. Думай, пожалуйста, что я примитив, животное, думай что угодно, но мною ты больше не овладеешь! Теперь я так чувствую, а для того, чтобы чувствовать так, я должен был упасть на самое дно, разбить себе лоб, и вся моя смешная напыщенность, ребяческая доверчивость, все обветшалые иллюзии — все это разлетелось при падении. Я как ограбленный гроб. Взвесил я свое столь важное «я» и ужаснулся. Да, в нем, возможно, заключено все, но именно потому оно непосильное бремя. Ты-то знаешь, ведь ты рухнул под ним. Да, это так. От него не избавишься. «Я» — слишком мало, смысл его не может быть в самом себе, и оно не спасется, даже если в страхе прильнет к другому «я»: Получатся лишь две ничтожно малые величины, и сил у них до отчаяния мало...

Я думал, это меня убьет. Но вот выкарабкался; кажется, хотя в душе моей будто воронка от снаряда... Не убеждай меня!

Аромат чая... Душан вяло пожал плечами. «Почему ты хочешь избавиться от меня? Я никогда ничего тебе не навязывал, какой в этом смысл? Вообще все в мире бессмысленно. Я и ушел из него потому, что понял это, — и потому, что не терплю непоследовательности. Что ты обо мне знаешь? И что, собственно, понял ты, дурачок? Смехотворная суетность! Сколько еще впереди у тебя таких катастроф и пости-

жений? Не лги, в глубине души ты сам предугадываешь это... Что ж, пусть будут у тебя новые иллюзии. Если я тебя за что-то уважал, так именно за сомнения, они еще кое-как держат тебя на ногах. Не завидую тебе, трудно тебе придется в жизни, вечно ты будешь искать то, чего нельзя найти. Напрасный труд, и притом пожизненный: человек умирает раньше, чем успевает хоть что-то понять...»

Ну и пусть, пусть!

Я вздрогнул, очнулся — в висках колото — и огляделся. Бланка молчала, может быть, она не слушала меня. Как ни странно, меня это не рассердило. Я подошел и стал у нее за спиной. Она не шевельнулась; она пристально глядела на свои руки.

— Помнишь, нас загнала сюда гроза, — сказала она. — И я была счастлива здесь.

— Не оглядывайся назад, — встревоженно прервал я.

Что-то опасное близилось к нам, нависло в воздухе... Мне страшно захотелось предотвратить это. Надо уйти отсюда до наступления ночи!.. Мелихар, наверно, уже кроет меня почему зря. Трусливое нетерпение овладело мною. Я положил руки на плечи Бланки, она быстро оглянулась, словно я застиг ее за чем-то запретным. Отблески огня играли в ее волосах, на лице лежали пепельные тени.

— Почему ты пришел сюда? — спросила она.

Легкомысленно улыбнувшись, я ответил уклончиво:

— Случайно! А может, и не случайно. Разве ты забыла, что когда-то мы уговорились встретиться тут, если потеряем друг друга...

Она медленно и задумчиво покачала головой:

— Не забыла. Только тогда мы имели в виду другое.

Я отвел глаза и убрал руки. Потому что даже из этой простой фразы, высказанной спокойно, без всякого выражения, мне стало ясно, что она сама поняла все. Говорить? Лгать? Нет! Мне хотелось плакать. Смеяться над этой тягостной пародией на встречу, над карикатурой того, что в фильме называют «хэппи энд». Но я справился с собой. Вот ты дождался, ты с ней, можешь прикоснуться к ней, впервые после всех этих пустых недель и месяцев, это она, и она здесь, настоящая, живая, ты смотришь на нее вблизи и слышишь ее дыхание, это та женщина, что вырвала тебя из блаженной мальчишеской безмятежности, пробудила в тебе сильнейшее чувство, на какое ты способен, в ней твоя уверенность в жизни, она твоя единственная точка опоры во вселенной, держись за нее, это та девушка, с которой ты страшно давно, затаив дыхание, пытался заговорить в рабочем поезде, которую ты потом так безумно старался привязать к себе, по которой тосковал, как голодный пес... И вот ты глядишь на нее, и все в тебе мертво, потому что ты уже не любишь ее и знаешь это, потому что ты — равнина, исхлестанная ветрами, и живут в тебе сострадание, да жалобное бессилие, да тупая тоска по тому, что было и чего уже нет, что звучало, но уже не звучит, что рассыпалось прахом в одну ночь. Возьми ее, если можешь. Нет, ты не можешь, и знаешь это! Упрскать? Кого? Смириться? Искать ее снова? Где? Как? Как это делается? Не знаю. Ничего больше не знаю...

— Ты права, — сказал я и встал. — Пойдем?

Я помог Бланке надеть пальто, потом тщательно залил остатками чая огонь — Гефест всегда настойчиво напоминал нам об этом, и я сделал это, даже зная, что мы уже никогда не вернемся сюда.

Надев пальто, я заметил, что по дороге к двери Бланка взяла со стола вазочку и спрятала ее. Никогда потом мы не упоминали друг другу об этом.

Она ждала меня у двери — плоская тень с бледным пятном лица; я ощупью нашел ее руку.

— Мы хоть остались живы, — сказал я невесело. — Придется удовольствоваться хотя бы этим.

Я поднял воротник, глубоко вздохнул и быстро открыл дверь. Мы вышли в колышущуюся темноту...

Послесловие

Сорок четвертый год — пять лет оккупации, пять лет «протектората Богемия и Моравия». Здесь тихо — сюда доходят только отдаленные отзвуки войны, здесь работают: тотальная мобилизация, рабочий день 12—14 часов. Под запретом вся общественная и культурная жизнь, запрещены чешские партии, профсоюзы, закрыты высшие учебные заведения, театры, жесточайшие кары грозят за любое проявления любого протеста. Для того чтобы люди работали, им выдают скудные пайки и регулярно терроризируют арестами.

Но, подчинясь всему, можно с грехом пополам выжить, переждать страшное время, дожидаться освобождения. Так рассуждают очень многие — благоразумные.

«...Здесь не стреляют, здесь только ждут...» — с горечью говорит Гонза.

«Хромой Орфей» — роман о жестоких буднях протектората, о бесчеловечности и скудности тех дней, когда под тяжким бременем оккупации деформировалось и уродовалось все — даже самое интимное и личное.

Это книга о лично пережитом, потому она и дает такое осязаемое и реальное представление об атмосфере того времени, о вечно сопутствующем людям желании выпасться, наесться досыта, а главное, постоянно гнетущем чувстве бесправия, подневольности, униженности человеческого достоинства. И даже эта обостренная чувствительность к погоде — так бывает у невыспавшегося, голодного и плохо одетого человека, — эти ветер, и дождь, и промозглая сырость или тяжкий зной, которые встречают героев на пустынных улицах, усиливая ощущение бездомности, неприютности. Или утренние поезда, везущие людей на заводы, — такие негостеприимные, обшарпанные... В статье, сопровождающей чешское издание романа, не случайно он назван «самой личной, интимной книгой» и в то же время «объективным свидетельством о духовном и нравственном климате протектората, о позиции большинства народа в оккупационной действительности».

Главные герои книги — юноши 24-го года рождения — сверстники Яна Отченашека, и мир, предстающий перед нами со страниц романа, мы видим их глазами. И потому в той же статье говорится, что писатель написал роман «о созревании своего поколения в растлевающей атмосфере протектората».

Обстановка в городе и на заводе, где рабочая среда не впускает в себя «тотальный сброд», тотальников, относится к ним с презрением и отчужденностью (только в самом конце книги Гонзе более или менее удается сблизиться с Мелихаром, и, может быть, со временем его допустят до настоящего Сопротивления...). Сопротивление тоже мы видим со стороны — так, как его видели эти парни и девушки, — кем-то совершенные акты саботажа, чьи-то аресты... Сопротивление существует где-то за сценой, оно безыменно. Кем был и за что был схвачен балагур Пишкот, чей пистолет был в общем-то побудительной причиной

создания «Орфея» и его единственным боевым оружием? Кем был Мелихар, почему он должен был уйти в подполье?

Этого не знают герои и об этом не говорит нам автор, потому что задача его не показ борьбы лучших представителей чешского народа с фашистскими оккупантами, не показ Сопротивления, а формирование личностей вот этих подсобных рабочих, тотальников с гимназическими аттестатами в карманах.

Этим юношам и девушкам, детям добропорядочных граждан — служащих, ремесленников, интеллигентов, воспитанникам буржуазной гимназии, может быть, труднее, чем кому бы то ни было другому, найти путь к борьбе. Разочарование, обида на отцов, без борьбы проигравших свою демократию и безропотно подчинившихся оккупантам, пуганица от беспорядочных знаний, разобщенность, индивидуализм...

Они могут опереться только на свой личный опыт, на свои смутные представления о месте человека на земле, о чести, достоинстве. Все они восстают против философии «благоразумия», дескать, «стенку лбом не прошибешь», которую исповедуют их родители, и вообще против того мира взрослых, среди которых они живут.

Но хотя намерения у них честны и мужественны, борьба «Орфея» была в достаточной мере наивна и беспомощна. Однако писатель подчеркивает, сколь она была важна для героев, для осознания ими своей моральной и гражданской ответственности, для сохранения уважения к себе, для освобождения от унижительного чувства рабства. Она явилась и проверкой моральной ценности героев — робкий толстяк Бацилла возвращается под крыло к своей мамуле, а Павел, Гонза и Войта уже не могут отказаться от борьбы. И потому, хотя распадается «Орфей», гибнет Павел, пытаясь на свой страх и риск подорвать эшелон с боеприпасами, хотя Гонза и Войта переживают глубокое разочарование в личной жизни, финал книги оптимистичен, и Войта и Гонза выйдут из оккупации с чистой совестью.

Роман «Хромой Орфей» — выдающееся произведение современной чешской прозы, он был высоко оценен в Чехословакии — удостоен Государственной премии за 1964 год.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Перевод Н. Аросевой . . .	7
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Перевод Д. Горбова . . .	207
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Перевод Д. Горбова и Т. Аксель (I—III — перевод Д. Горбова; IV—XIV — перевод Т. Аксель) . . .	307

Отчешашек Ян

ХРОМОЙ ОРФЕЙ. Роман. Пер. с чешск.
Т. Аксель, Н. Арсевой, Д. Горбова. М., «Мо-
лодая гвардия», 1967.
528 с.

И(Чехосл.)

Редактор *Н. Замошкина*
Худож. редактор *А. Степанова*
Техн. редактор *А. Бугрова*

Сдано в набор 19/V 1967 г. Подписано к пе-
чати 24/X 1967 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага типо-
графская № 2. Печ. л. 33 (усл. 33). Уч.-изд. л. 39.
Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 11 к. Т. П. 1966 г.,
№ 372. Заказ 847.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия». Москва, А-30, Суцешская, 21.



В 1968 году в издательстве «Молодая гвардия» выйдут в свет следующие произведения зарубежных авторов:

Роман Э. Манова (Болгария) «Кручи».

Роман У. Эша (Англия) «Выбор оружия».

Роман Д. Хирна (Ямайка) «Пришлый у ворот».

Роман К. Пайонковой (Польша) «Бегство от запаха свечей».

Роман Т. Валентина (ФРГ) «Оставшиеся без ответа».

Сборник И. Кальвино (Италия) «Смешные космические истории».

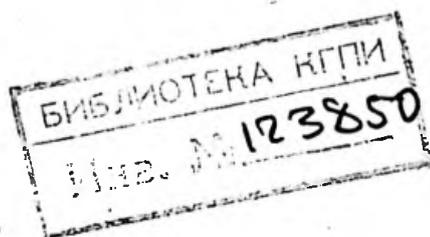
Отчешашек Ян

ХРОМОЙ ОРФЕЙ. Роман. Пер. с чешск.
Т. Аксель, Н. Аросевой, Д. Горбова. М., «Мо-
лодая гвардия», 1967.
528 с. И (Чехосл.)

Редактор *Н. Замошкина*
Худож. редактор *А. Степанова*
Техн. редактор *А. Бугрова*

Сдано в набор 19/V 1967 г. Подписано к пе-
чати 24/X 1967 г. Формат 60×90^{1/16}. Бумага типо-
графская № 2. Печ. л. 33 (усл. 33). Уч.-изд. л. 39.
Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 11 к. Т. П. 1966 г.,
№ 372. Заказ 847.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия». Москва, А-30, Сушешская, 21.



В 1968 году в издательстве «Молодая гвардия» выйдут в свет следующие произведения зарубежных авторов:

Роман Э. Манова (Болгария) «Кручи».

Роман У. Эша (Англия) «Выбор оружия».

Роман Д. Хирна (Ямайка) «Пришлый у ворот».

Роман К. Пайонковой (Польша) «Бегство от запаха свечей».

Роман Т. Валентина (ФРГ) «Оставшиеся без ответа».

Сборник И. Кальвино (Италия) «Смешные космические истории».